

НИКОЛАЙ
ЛИБАН

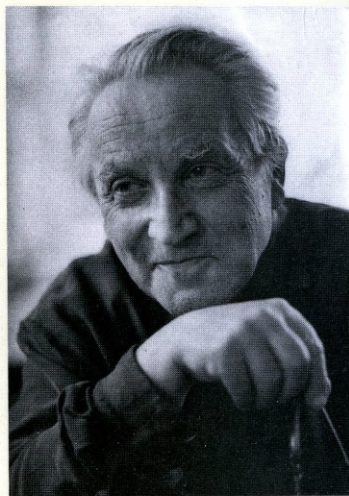
ИЗБРАННОЕ



НИКОЛАЙ ЛИБАН



ИЗБРАННОЕ



Слово о русской
литературе



К 100-летию
со дня рождения

НИКОЛАЙ
ЛИБАН

ИЗБРАННОЕ

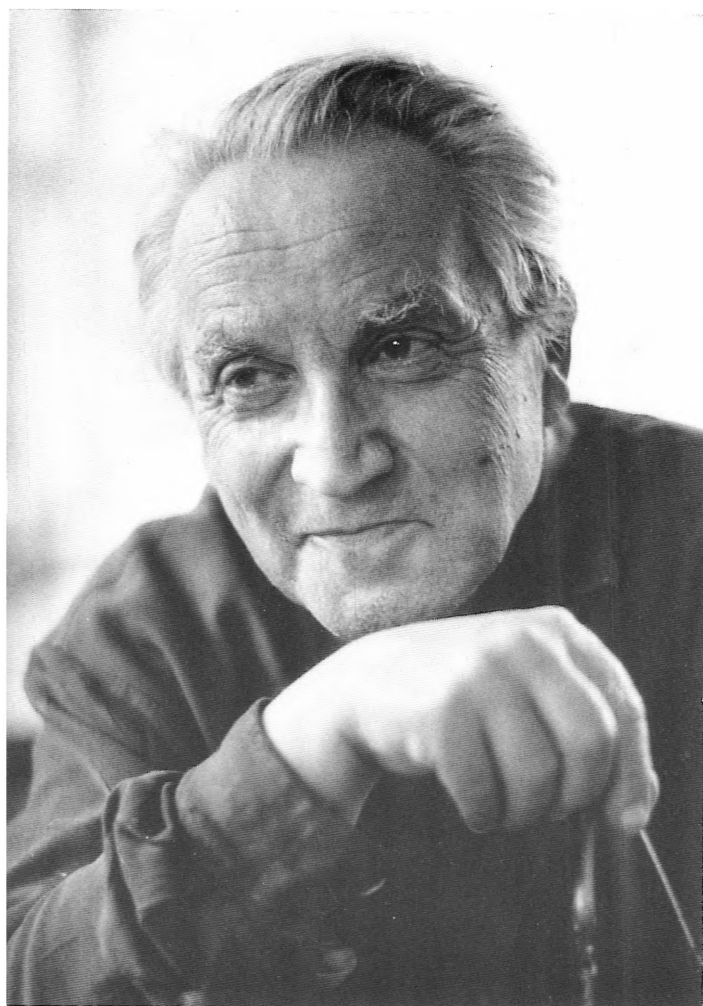
НИКОЛАЙ ЛИБАН



ИЗБРАННОЕ

Слово о русской
литературе





H. Anderson

НИКОЛАЙ ЛИБАН

ИЗБРАННОЕ

Слово о русской
литературе

*Очерки
Воспоминания
Этюды*



*К 100-летию
со дня рождения*

Прогресс-Плеяда
Москва
2010

УДК 80(470+571)(084.121)(093.3)(092)Либан Н.И.+821.161.1-821
ББК 80г(2)д.Либан Н.И.+83.3(2Рос=Рус)1+84(2Рос=Рус)6-4я44
Л55

Составитель –
В.Л. Харламова-Либан

От составителя: Выражаю глубокую признательность
филологам МГУ им. М.В. Ломоносова выпуска 1958 года
и лично С.С. Ангелиной и Т.Н. Скорбилиной
за помощь в издании книги

Подготовка текстов и редактирование –
О.А. Остроумова

Комментарии и указатель имен –
А.В. Архангельская

На фронтисписе –
Николай Иванович Либан

Либан, Николай Иванович (1910–2007).

Л55 **Избранное :** Слово о рус. лит. : очерки, воспоминания,
этюды / Н. И. Либан. – М. : Прогресс-Плеяда, 2010. –
720 с., ил. – ISBN 978-5-93006-027-0

Николай Иванович Либан (1910–2007) – выдающийся русский
ученый, мыслитель, подвижник отечественной культуры. Живое
слово, афористическая мысль, увлекательный стиль приобщают
читателя к судьбам и искусству русских писателей – Радищева и
Державина, Болотова и Новикова, Карамзина и Жуковского,
Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Нарезного, Помяловского и
Лескова...

В книгу также вошли интервью, автобиографические очерки,
дающие читателю представление об этом уникальном лекторе и
педагоге. Сборник завершается воспоминаниями учеников. Иллю-
стрированное издание посвящено столетию со дня рождения
Н.И. Либана.

УДК 80(470+571)(084.121)(093.3)(092)Либан Н.И.+821.161.1-821
ББК 80г(2)д.Либан Н.И.+83.3(2Рос=Рус)1+84(2Рос=Рус)6-4я44

© Н.И. Либан, наследница, 2010
© Прогресс-Плеяда, 2010
© А.А. Пауткин, вступ. ст., 2010
© А.В. Архангельская, коммент.,
сост. указ. имен, 2010
© А.Д. Мухина, оформ., 2010

ISBN 978-5-93006-027-0

ХРАНИТЕЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Предлагаемая вниманию читателей книга выходит в год столетия со дня рождения заслуженного преподавателя МГУ им. М.В. Ломоносова Николая Ивановича Либана (1910–2007) – выдающегося медиевиста, внесшего значительный вклад в дело филологического образования. В нее вошли работы, большинство из которых публикуется впервые. Подготовку издания осуществила вдова ученого В.Л. Харламова-Либан при поддержке его давних учеников. Помещенные в сборнике материалы охватывают весь творческий путь Н.И. Либана – литературоведа и историка русской культуры. Их совокупность убедительно демонстрирует широту творческих интересов ученого, раскрывает неожиданные и малоизвестные грани его таланта. Необычность издания заключается в том, что оно представляет тексты, различные в жанровом отношении. Это лекции и статьи, материалы к монографии и воспоминания, очерки биографического характера и записи бесед. Ряд материалов следует отнести к науковедческой области. Можно сказать, что перед нами своеобразная книга жизни русского интеллигента XX века, судьба которого неразрывно связана с историей Московского университета.

В предисловии к сборнику, содержащему обильный автобиографический материал, нет надобности подробно освещать жизненный путь ученого. Стоит лишь упомянуть о самом главном, что характеризует эту легендарную среди воспитанников филфака личность. Либан не имел громких степеней и званий. Признанием его заслуг стали всеобщая любовь и уважение. Педагог по призванию, искусный наставник, знаток русской литературы и истории, он пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и студентов. Более шестидесяти лет преподавал он на филологическом факультете МГУ, куда пришел в 1942 году, то есть

сразу же после воссоздания факультета в стенах старейшего университета страны. А свою трудовую деятельность он начал еще в 1930-е годы, окончив Государственный педагогический институт и аспирантуру при Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ). В стенах этого института, выпускниками которого были известные ученые и писатели, вел он свои первые семинарские занятия. В годы Отечественной войны выступал с лекциями перед бойцами, его голос вселял надежду в госпиталях. Уже тогда заместитель декана по заочному образованию Н.И. Либан помогал вчерашним фронтовикам найти себя в мирной жизни.

Один из журналистов, бравших интервью у Николая Ивановича, увлеченный беседой с ним, а разговор касался разнообразных научных проблем, заметил: «Не покидает ощущение, что нахожусь вне времени». Действительно, подобное ощущение не покидало многих, кто имел возможность оценить энциклопедическую эрудицию этого человека. И все же Либан не жил вне времени. За свою долгую жизнь стал он свидетелем и участником многих событий, пережил немало драматических моментов. И, несмотря на это, сумел не изменить себе, твердо следуя раз и навсегда избранным принципам, созвучным тому предмету, которому служил.

Либан отдавал предпочтение живому слову, общению со студентами. Невозможно даже представить число тех, кого увлек он за собой в мир русской литературы, кому поведал о древностях, подобно Яну Вышатичу – творцу устных летописей XI века. Сегодня, когда все чаще звучат поверхностные суждения об устарелости лекционной формы обучения, особенно ценным представляется педагогическое наследие человека, встречи с которым всегда становились запоминающимся событием в студенческой жизни. На его занятиях с первых же минут устанавливалась особая атмосфера взаимопонимания. Аудитория оказывалась вовлеченной в своеобразный диалог. Но устный рассказ, сколь бы содержателен и артистичен он ни был, сродни фольклорной импровизации. Разрозненные конспекты и воспоминания слушателей, увы, не способны передать всего богатства смыслов некогда прочитанных лекций, сохранить концептуальный строй курса, детали конкретного анализа произведений. И вот уже в начале нового века воспитанники Либана, принадлежащие к разным поколениям, смогли впервые прочитать его лекции. При содействии выпускни-

ков, обработавших стенографические и аудиозаписи, на филологическом факультете МГУ было осуществлено издание важнейших курсов, прочитанных ученым.

Конечно, не только литературу Древней Руси знал и любил Либан. Его научные интересы были на удивление широки. Трудно перечислить все общие и специальные курсы, прочитанные им за долгие десятилетия. Теория литературы, история литературы XVIII и XIX века, спецкурсы о мемуарной прозе, массовой культуре XVIII–XIX веков, творчестве Новикова, Карамзина, Лескова, Чернышевского – вот лишь частица той работы, которую с увлечением вел ученый. Составители этой книги предлагают читателю ряд лекций, фрагменты спецкурсов, посвященных тем периодам и явлениям в истории русской литературы, которые больше всего интересовали Либана.

Николай Иванович всегда призывал к изучению творчества писателей «второго ряда», стремился вернуть истории литературы незаслуженно забытые имена. Среди многих авторов XIX века с особым чувством исследователь относился к Н.С. Лескову, в чьем творчестве он видел соединение любви и истины, неустанный поиск праведного пути, ценил живое затаенное слово. Оба они умели слышать эхо столетий, перекликавшихся друг с другом. Ученый считал Лескова «наиболее русским писателем», у которого «все построено на психологии слова». С середины 90-х годов по 2007 год Николай Иванович как главный редактор активно участвовал в подготовке к изданию нового 30-томного Полного собрания сочинений писателя.

Сказовая манера, присущая произведениям его любимого автора, едва заметно проступала в бытовой беседе, лекции, выступлении. Она могла найти свое выражение в тяге к историческому анекдоту в его стародавнем понимании, афористичной максиме, неповторимой интонации и ритме речи.

Сравнительно недавно в домашнем архиве ученого была обнаружена рукопись незавершенной монографии о творчестве Н.Г. Помяловского, работа над которой велась еще в 50-е годы. Эти материалы печатаются в авторской редакции. Здесь предложен не только анализ цикла очерков Помяловского, но показана и их связь с предшествующей традицией изображения бурсы и бурсака в литературе первой половины XIX века (В.Т. Нарезный, Н.В. Гоголь). В исследовании «Очерков бурсы» отчетливо прослеживается интерес ученого к становлению просвещения в России,

в том числе к уходящим в древность формам духовного образования со всем его своеобразием и недостатками. Сейчас редко можно услышать имя создателя «Очерков бурсы», так что главы из монографии Либана знакомят уже новое поколение читателей с этим почти забытым писателем.

Многим памятна готовность, с которой Николай Иванович делился своими идеями и наблюдениями. Доброжелательный и конструктивный критик, он неизменно давал советы студентам, аспирантам и коллегам. Его мнение венчало бурные научные дискуссии, представляя обсуждаемую проблему в необычном ракурсе. К Либану обращались за консультациями журналисты, издатели, музейные работники и находили горячий отклик на интересующие их вопросы. По сути дела вся история филологического факультета в XX веке прошла перед его глазами. Вот почему воспоминания на эту тему являются ныне весьма важным источником. Его рассказ о деканах, факультетской жизни – отнюдь не официальная хроника университетского подразделения. Это взгляд старейшего преподавателя, в чем-то субъективный, но от того не менее ценный и правдивый.

Не раз случалось, когда при встрече дотолпе не знакомых между собой выпускников филологического факультета люди различного жизненного и профессионального опыта обязательно вспоминали лекции Либана, выясняли друг у друга, в какие годы посещали они его занятия. И всегда радостно делились своими впечатлениями от общения с этим удивительным педагогом. Да, его словом дорожили, хранили конспекты как реликвии. Причислять себя к ученикам Либана давно стало делом почетным. Говоря так, выпускник филфака словно возвышался в собственных глазах, будто получал дополнительный «вкладыш» к диплому. Не будет преувеличением отметить: Либан создал и долгие годы развивал свою, особую научную школу, к которой принадлежат те, кто ощутил на себе его заботу и внимание. Все они несут в себе заряд нравственной и профессиональной энергии, полученный от Николая Ивановича.

Сам Либан всегда с благодарностью вспоминал своих учителей, ценил достижения ученых-современников. Об этом свидетельствуют строки воспоминаний о А.И. Ревякине, В.Ф. Переверзеве, М.Н. Сперанском, Г.Н. Поспелове, Н.К. Гудзии и других, предлагаемые составителями этой книги.

Интерес к литературе, творчеству проявился у Либана еще в юности. И это был интерес не только познавательный, есте-

ственный для всякого много читающего молодого человека. Его увлекал сам процесс создания художественного текста, рождения книги. Он пробует свои силы на литературном поприще. Сегодня, в век сканеров и принтеров, широких, и не только с технической точки зрения, издательских возможностей, почти забыта такая экзотическая форма самодеятельности любителей слова, как рукописный журнал. Скольких усилий требовал от юных энтузиастов выпуск такого журнала, который объединял людей с различными склонностями и дарованиями. Подобная литературно-издательская игра, имитация настоящего «взрослого» журнала была школой приобщения к таинству создания книги. Один номер чудом сохранился в семейном архиве ученого.

Все материалы, переписанные каллиграфическим почерком, были сопровождаемы изящными заставками и иллюстрациями. От обложки до последней страницы журнал оформлял один человек, обладавший отменным вкусом, – тогда пятнадцатилетний друг Либана, Юрий Долматовский (1913–1993), брат Евгения Долматовского, ставшего впоследствии известным советским поэтом. Начинающему художнику суждено было стать конструктором, видным дизайнером, специалистом в области автомобилестроения. Кандидат технических наук Ю.А. Долматовский многие десятилетия будет радовать читателей научно-популярных изданий своими статьями на автомобильные темы, сопровождая их оригинальными рисунками.

В этом номере рукописного журнала помещен юношеский рассказ Либана «Рассчитали» (1928). От семнадцатилетнего автора можно было бы ожидать романтических описаний. Но нет. Перед нами неприглядный быт мастерового люда. С едва уловимыми горьковскими интонациями Либан повествует о мытарствах церковного сторожа Андрея, так и не прижившегося в городе. Зорко подмечены здесь детали церковного уклада, показана жизнь городских низов. Удалось начинающему новеллисту также зарисовки московских улиц и переулков.

Коренной москвич, Либан был знатоком столичной архитектуры, ее минувшего и настоящего. У людей, хорошо его знавших, он неизменно ассоциировался с центром нашего города. Меняющиеся на глазах улицы, особняки и подворья буквально оживали перед его слушателями. Прошлое представало в судьбах давно ушедших московских обитателей. Остоженка и ее окрестности, Арбат и Хамовники были его миром, ведь эти места Либан исхо-

дил вдоль и поперек, встречался здесь со многими замечательными людьми, фиксировал следы времени и печальные утраты.

Не только Москву и древние города северо-востока смолоду полюбил ученый. Ему довелось еще в конце 20-х годов побывать на Алтае, заняться полевыми исследованиями. Там, «на краю света», был получен обширный этнографический материал, приобретен бесценный житейский опыт, ведь столь протяженные странствия в те годы были делом далеко не простым. Читатель убедится в этом, ознакомившись с этнографическим очерком «Алтай». Древние языческие верования, ритуалы шаманизма, первозданная природа поразили путешественника. Может быть, поэтому так притягательны были его лекции о «Житии Стефана Пермского», миссионера XIV века, крестившего в одиночку в лесных чащобах коми-пермяков. Повествуя студентам о языческих капищах, верховном волхве пермяков Паме, медиевист опирался не только на сам экспрессивный рассказ Епифания Премудрого, но вспоминал и пережитое некогда в отрогах Алтая.

Как знать, возможно, еще будет написана подробная биография ученого. Эта книга – дань памяти бескорыстному хранителю русской культуры. Опубликование наследия Н.И. Либана является значительным событием для всех почитателей его щедрого таланта.

А.А. Пауткин

I

О ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Вот мы с вами и добрались до середины Киевского периода древнерусской литературы. Возможно, мне следовало начать свой курс не с того момента, с которого я начал, а с того, о котором я сейчас буду говорить, а именно с «Повести временных лет», первоначальной древней нашей летописи: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда Руская земля стала есть». Это наша история, и ее не только филологу нужно знать, но и каждому русскому интеллигентному человеку.

Человечество стремится запечатлеть себя в исторических хрониках. Их имеет каждый народ, каждая страна. Народ с того момента, когда начинает сознавать себя как историческую единицу, стремится утвердить свою историю в историческом документе, то есть в летописи. «Как же бесписьменные народы запечатлевают свою историю?» – спросите вы. Они фиксируют ее в своих песнях и сказаниях, по которым восстановить историческое событие, конечно же, очень трудно. Вашему покорному слуге доводилось жить среди ойротов и чукчей. Последние 70 лет им внушали, что они имеют отношение к государственности. Но ведь этого внушить невозможно, пока в народе не созрело сознание своей исторической индивидуальности. Русь доросла до этого сознания в X веке. Сейчас самый конец XX века. Для истории это сущие

пустяки, учитывая, что есть цивилизации, насчитывающие несколько тысячелетий. Так что мы с вами – страшно молодой народ.

Итак, в X веке только получившая письменность русская народность, еще живущая преданиями, былинами и сказками, осознает себя как историческую индивидуальность, как историческую единицу. Почему я об этом не сказал вам раньше? Потому что нельзя говорить о летописях, не сказав о том, как мы научились писать. Уметь писать означает умение думать. Когда человек пишет, он общается не с бумагой, а с вечностью. Он излагает свое понимание вещей и приобщается к общему мировому движению мысли. Вот что стало нам доступно в XI веке.

Первые летописи появляются и в Новгороде, и в Киеве. В Киеве – это значит в Киево-Печерском монастыре. В ту пору монастырь был центром культуры. Здесь сосредоточивались рукописи. Здесь сосредоточивалась историческая память. Летопись – это не газета, она создавалась для истории. Для современников она была тайной, предназначавшейся для будущего. («...Когда-нибудь монах трудолюбивый // Найдет мой труд, усердный, безымянный, // Засветит он, как я, свою лампаду – // И, пыль веков от хартий отряхнув, // Правдивые сказанья перепишет...»). Что же описывать? В «Борисе Годунове» можно найти ответ и на этот вопрос: «...Войну и мир, управу государей, // Угодников святые чудеса...» Представьте себе, все это есть в «Повести временных лет». Летопись – ни с чем не сравнимый документ. Там содержится материал и для историка, и для юриста, и для филолога. Материал исторический, естественно, становится предметом изучения историка. Но ведь параллельно здесь запечатлена и основа русской юриспруденции. В «Повесть...» вошла, по существу, вся «Правда Ярослава Мудрого». В то время формировалась наша государственность, а следовательно, и наша законность, в первую очередь само понятие закона – что можно, а что

нельзя, что запрещено, а что разрешено, каков порядок жизни. В «Повести временных лет» переписан и Закон Моисея, и римское право – сюда вошло всё. Летопись содержит материал и для географов: впервые обозначены все географические границы, все отправные географические понятия, даже приведены наименования морей и рек.

Ну а как же быть филологам, любителям слова? Ведь в начале было Слово? Для филолога здесь пропасть работы. «Повесть временных лет» написана на рубеже эпох, в такие периоды работает не только интеллект, но и эмоции. Поэтому все излагается в художественной форме, нет строгого отбора, внутренней критики, стремления к логичности. Вот почему наши летописи так отличаются от западных хроник. Там все логично, но в высшей степени сжато и кратко, кратко настолько, что по тексту не выстроишь исторически сложившейся физиономии народа. А по нашим летописям – пожалуйста. Мы так наивны в своих рассуждениях, рассказываем в них о таких вещах, которым вряд ли кто-либо поверит, но рассказываем с таким воодушевлением, что сами раскрываемся во всей полноте. В летописи, например, преподносятся как достоверный факт история о том, что белгородцы, когда Белгород был осажден, показали своим врагам колодец, куда тайно опустили кадку с киселем, и сказали: «Стойте возле наших стен хоть до скончания века, нам все равно, мы будем этот кисель есть». (В этом же духе писал Н.С. Лесков: «Мы им такую глупость подставим, что они только рты разинут».) Что может быть обаятельнее такого наивного плутовства? Или об Игоре. Он, конечно, разбойник, пошел на древлян, взял с них подать, это ему показалось недостаточным, он отпустил дружину и снова сам пошел, чтобы обогатиться. Его убили – привязали к ветвям двух деревьев и отпустили их, его пополам и разорвало. Каково было жене его, Ольге? Кстати, знаете ли вы, что, по некоторым источникам, она была не киевлянка, а псковитянка? Псков, Новгород –

это же наш северо-восток – средоточие мудрости, красоты, находчивости. Ольге было, конечно, очень тяжело. Она сначала скрыла свои чувства, но отомстила. Трижды отомстила древлянам, в конце концов необычайно остроумно сожгла город Искоростень. Это, разумеется, не по-христиански, но тогда еще христианские и языческие начала были не расчленены. Она потребовала с древлян, чтобы они выплатили ей дань воробьями и голубями с каждого двора. Те с радостью выполнили ее желание. К каждой птице по ее приказанию была привязана горящая пакля. Птиц отпустили, они полетели по своим дворам и домам и спалили город.

Как и византийские хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы, наша летопись начинается с древних библейских времен. Постепенно летописец включает в нее и нашу историю. Чем ближе по времени событие к летописцу, тем реалистичнее его описание и картины. Крещение Руси («Путьята крестил мечом, а Добрыня – огнем», то есть насильственно крестили суровых новгородцев, их рубашкой не купишь). Пиры Владимира. Слепление Василька Тербовльского (шекспировская страница). Основание Киево-Печерского монастыря (все точно описано – когда, где, что). Здесь же помещены Жития Антония и Феодосия – героев юга христианского просвещения. Вот как все это развернуто. Летописание не прекращается. Киево-Печерский монастырь был хранителем летописей и истории Киевской Руси вплоть до царствования Владимира Мономаха. Никон Великий и Нестор-летописец. Позже Сильвестр продолжил труд Нестора в Выдубецком монастыре. За ними идут уже совсем иные летописи – переписанные. Суздальская переписывает Киевскую; совершенно замечательна Галицко-Волынская летопись. Надо сказать, что многие летописи недостаточно изучены.

Вся история Древней Руси отражена в летописях. Потому-то А.С. Пушкин назвал Н.М. Карамзина «последним летописцем и первым историком». Кроме всего

прочего, заслуга Н.М. Карамзина заключалась и в том, что он изложил весь летописный материал в своей «Истории государства Российского». Это было грандиозным предприятием. После Николая Михайловича Карамзина попытался дать научное толкование историческим событиям Сергей Михайлович Соловьев в своей многотомной работе «История России». Блестящим художественным завершением этих стремлений можно считать курс лекций по русской истории Василия Осиповича Ключевского. Историческая наука за последние 50 лет страшно деградировала: утрачена главная идея истории – идея государственности.

Я так суммарно говорю о летописях потому, что вы непременно должны будете прочитать с карандашом в руке книгу Алексея Александровича Шахматова «Повесть временных лет», изданную в 1916 году в Петербурге, пересказывать мне ее вам не нужно. Имя Шахматова должно быть вам известно и по другим курсам.

Я вот говорю: «Повесть временных лет», – а ведь такого сборника не существует. Мы не знаем подлинных летописей XII века, они сгорели, мы имеем дело лишь с переписанными летописями. Когда перед вами и Киевская летопись, и Новгородская, и Владимиро-Суздальская, и Рязанская, то есть когда перед вами очень много летописей, это не «Повесть временных лет», а летописи XIV и XV веков. Как из них извлечь первые летописи, то, что принято называть «Повестью временных лет»? А.А. Шахматов совершил изумительную работу в данном направлении. По морфологическим и синтаксическим признакам он воссоздал летописи XII века. В книге Шахматова самое трудное для понимания – вступительная статья, несмотря на логичность и кажущуюся простоту. Читать ее следует, конспектируя и обращаясь к словарю в конце книги. Там приведены все случаи, которые Шахматов рассматривал в процессе своей работы над летописями. Это тяжеловато, но преодолимо, было бы желание и рвение.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слово о полку Игореве» было найдено совершенно случайно. В Москве и Петербурге в конце XVIII века существовало два кружка знатоков и любителей отечественной старины. В Москве этот кружок группировался вокруг Н.П. Румянцева, а в Петербурге – вокруг А.И. Мусина-Пушкина. Румянцев всячески поощрял собирательство старинных вещей и книг. Члены румянцевского кружка записывали былины и сказки, но более всего их интересовали старинные книги и летописи, сказания. Их следовало искать в старинных монастырях, где нередко велись погодные записи, то есть летописи. Надо учесть, что монастыри всегда были местами отдохновения и образования. В старых монастырях жила вельможи, поэтому монастыри были не чужды политике. Петербург же всегда хотел быть первым, он ведь и задуман был как столица. При Екатерине идея собирательства стала необычайно популярной. Графу А.И. Мусину-Пушкину было дано официальное дозволение знакомиться со всеми материалами во всех российских монастырях. Когда же он стал обер-прокурором Святейшего Синода, ему разрешили еще и изымать все, что нужно для Синодальной библиотеки (то есть для науки), из монастырских библиотек. Разумеется, он не мог заниматься этим в одиночку. Его помощники ездили по разным монастырям, рассчитывая найти там неизвестный материал. И, конечно, находили: в монастырских библиотеках хранились чрезвычайно ценные рукописи. И вот совершенно случайно один из комиссионеров Мусина-Пушкина купил у заштатного архимандрита Иоиля сборник, в котором был помещен Хронограф. В конце сборника находилось «Слово о полку Игореве». Архимандрит Иоиль был когда-то ректором Ярославской духовной семинарии, человек он был ученый и склонный к собирательству старинных книг. По-видимому, он долгие годы читал и пытался понять это произведение (что в наше время приведет к неверной версии исследователей).

но, когда он почувствовал годы (а их всегда чувствует старый человек) и ощутил необходимость подвести итог, он решил, что нельзя оставлять на произвол судьбы дело, которым он занимался всю жизнь. Он решился продать сборник такому просвещенному покупателю, как граф Мусин-Пушкин.

Итак, появилась новая повесть. В ней рассказывается о том же, что и в летописях, и, значит, события, описываемые здесь, не выдумка, а исторические факты. Но вот препятствие – сборник, полученный от Иоила, написан скорописью. Устав – это когда рисуется каждая буква. Вот мы говорим – красная строка, поскольку начальная буква рисовалась некогда киноварью. Ее украшали. Над созданием Остромирова Евангелия трудились долгое время, оно написано уставом. Зачастую отец начинал, а сын продолжал. Это длилось годами – ведь вырисовывалась каждая буквочка. Полуустав проще. Тут уже существуют сокращения. В Древней Руси знали, как написать «Иисус» при помощи трех букв. А скоропись еще проще для написания – писать можно без строчек и буквы не разделять. Так намного легче писать, но читать трудно. Я должен сознаться вам, что я плохо читаю скоропись. Зато устав и даже полуустав читать ничего не стоит.

Так вот, Мусин-Пушкин открыл новую повесть, начал читать со своими помощниками слово за словом, а где остановиться, не знал. Тогда он пригласил знаменитого знатока древности Н.Н. Бантыша-Каменского и А.Ф. Машиновского – одного из лучших знатоков русской истории и русского архива (брата директора Царскосельского Лицея). Работали так: каждый читал и делал заметки в отдельности, потом они встречались, сверяли и обсуждали варианты. Прежде всего необходимо было установить, действительно ли это *новое произведение*. Обратились еще к одному специалисту по древней литературе, известному составителю словарей Евгению Болховитинову. Он прочел и сказал, что ничего подобного никогда не встречал в древней литературе. К 1800 году «Слово о полку

Игоре́ве» было расшифровано (хорошо ли, плохо ли – судить трудно) и издано. Теперь всякий мог с ним познакомиться, а до того Мусина-Пушкина доносили вопросами (особенно москвичи): где был найден текст, каким размером написан, на какой бумаге, что собой представляет весь сборник. Мусин-Пушкин стал чувствовать: ему не доверяют, подозревают в фальсификации. Он издал «Слова...», но во время московского пожара в 1812 году большая часть тиража сгорела. Сгорел и подлинник.

В 1860 году П.П. Пекарский нашел писарскую копию «Слова...», которую Мусин-Пушкин сделал для Екатерины, но не успел передать. Итак, на сегодня мы имеем две неидентичные копии «Слова...». Конечно, ни в 1812, ни в 1815 году, когда только что кончилась война, было не до «Слова о полку Игореве». Но потом скептические голоса окрепли. Помните ответ Евгения Болховитинова, к которому обратились при обретении сборника со «Словом...»? (Кстати, имя его вам должно быть известно по стихам Г.Р. Державина «Евгению. Жизнь Званская»: «Блажен, кто менее зависит от людей, // Свободен от долгов и от хлопот приказных, // Не ищет при дворе ни злата, ни честей // И чужд сует разнообразных!..») Он был крупнейшим ученым и священнослужителем, в конце жизни стал киевским митрополитом. Так вот, занимаясь всю жизнь летописями и старыми книгами, имея прямое отношение к разнообразным монастырским библиотекам, он ответил: «Я ничего подобного в древней литературе русской не находил». Как человек осторожный, он не сказал, что это неподлинное произведение, но констатировал, что ничего подобного не встречал. Это настораживает – произведение не может быть изолированным...

К 1820-м годам появилось много голосов, прямо возражавших против подлинности «Слова...»: оно так совершенно, что не укладывается в нормы древней русской литературы. Особенно горячо выступали сторонники М.Т. Каченовского. Защитником подлинности «Слова...» стал А.С. Пушкин. Он посещал публичные лекции, кото-

рые читались по истории, и, когда обсуждались летописи и было высказано сомнение в подлинности «Слова о полку Игореве», обратился с вопросом к скептикам: «Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? Но Карамзин не поэт. Державин? Но Державин не знал и русского языка, не только языка “Песни о полку Игореве”. Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколь находится оной в плане ее, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления?..» Скептики озадачились, но лишь на время. В XX веке это временное затишье было нарушено. Уж очень изолированным выглядит произведение в потоке древнерусской литературы. В 1939 году возникает очень интересная и острая дискуссия вокруг «Слова о полку Игореве». А вызвала ее публикация известного французского слависта А. Мазона, где он доказывал, что не «Задонщина», написанная в XV веке, является подражанием «Слову...», а «Слово...» создано в XVIII веке в подражание «Задонщине». Дескать, такую вещь мог написать кто-то из знатоков русской истории словесности, например Н.Н. Бантыш-Каменский, кончивший две духовные академии (Киевскую и Московскую), прекрасно знавший русскую словесность, блестящий историк, полиглот, необыкновенно одаренный человек. Мазон приводил ряд аргументов. Все это было по нашим взвинченным патриотическим амбициям.

Русская филологическая наука того времени была очень сильной. Обратились к профессору Сергею Константиновичу Шамбинаго, подготовившему научное издание «Слова...» и составившему сводную редакцию «Задонщины». Он прочел статью Мазона и сказал: «Дичь! Я докажу, что “Слово...” – подлинное произведение». Наши

чиновники от науки, конечно, вцепились в него: «Пожалуйста, Сергей Константинович, вот вам столик в Ленинской библиотеке, садитесь, занимайтесь, все, что хотите...» Он сел и начал работать. К тому времени, когда он заканчивал свою работу, в Москву приехал министр иностранных дел Франции господин Бидо, и Сергею Константиновичу сказали, что сейчас неудобно выступать с полемической статьей против французского критика. Старик рассердился и ответил: «Оставайтесь вы тут со своей "Бидой", я сюда больше не ногой!» И все. Материалы его лежат, его просят, он ни в какую. Нет, и точка.

Тяжело было в стране перед войной. В войну – тем более. После войны тоже тяжело. Но к 1947 году снова стали говорить о «Слове...». Шамбинаго не хотел о нем слышать. Что ж, обратились к Николаю Каллиниковичу Гудзию и предложили ему написать опровержение версии Мазона. Он мгновенно согласился. Ему дали записи Шамбинаго – а там, как оказалось, все сделано: Шамбинаго нашел доказательство того, что «Слово о полку Игореве» было известно в русской книжности в XIV веке. Он привел обнаруженную еще в 1813 году К.Ф. Калайдовичем цитату из приписки к псковскому «Апостолу» 1307 года, где есть текстуальные совпадения со «Словом...». Поскольку Шамбинаго был превосходным палеографом, он доказал, что время создания «Слова...» – конец XII века. Гудзий, опираясь на собранные Шамбинаго материалы, написал очень хорошую статью, и вопрос, казалось бы, был исчерпан. Тем более что французский автор смутившей всех статьи, господин Мазон, сказал: «Я не знал русских архивов и не подозревал о цитате в псковском "Апостоле"».

Но не думайте, что на этом вся история завершилась. Вы знаете, конечно, что наши архивы были закрыты и лишь недавно их стали открывать. Наконец открыли и архив Спасо-Ярославского монастыря, тот самый, в котором у архимандрита Иоиля находилось «Слово о полку Игореве». Один из самых талантливых профессоров солид-

ного научного учреждения – Историко-архивного института – А.А. Зимин, искусный медиевист, принялся за колоссальную работу: подняв все записи Иоиля, он сравнивал текст «Слова...» с библейскими, евангельскими и апостольскими произведениями и пришел к выводу, что автором «Слова о полку Игореве» является сам Иоиль. Я читал его книгу в рукописи, она очень интересна по аргументации, но меня не убедила, поскольку лексические совпадения ничего не решают. Так что мы с присущим нам патриотизмом продолжаем считать, что «Слово...» – подлинное произведение, что подобные ему произведения в XII в. были, но они погибли в монастырских пожарах. Действительно, очень многое сгорело. Колоссальное число пожаров было в XVI, XVII и в XVIII веках, и множество библиотек погибло.

Так выглядит история открытия и изучения «Слова о полку Игореве». Исследователи до сих пор ищут ее автора, иногда талантливо, иногда неинтересно. Но пока автор не найден и вряд ли когда-либо будет определен. Интересно совсем другое: «Слово о полку Игореве» – южный памятник. О походе Игоря на половцев сохранились свидетельства и в Киевской, и в Суздальской летописях. Любопытно и знаменательно, что этот южный памятник дошел до нас с отпечатком не южных, а северо-западных говоров: сборник переписывался, и переписчики внесли в него особенности своего произношения. Географический путь памятника таков: родившись на юге, в Киевских пределах, судя по цоканью и шипенью, присутствующих в копии памятника, он мигрировал в Псковскую и Нижегородскую области.

Факт, что этот памятник дошел в единственном экземпляре, порой объясняют его принадлежностью к мирской, а не церковной литературе. Вряд ли дело в этом. Скорее, причина в том, что событие, в нем отраженное, имело второстепенное значение для русской жизни. Это был отдельный эпизод из жизни Киевской Руси, когда Великий князь Святослав уже потерял могущество.

Помните его Золотое слово? Ко многим князьям он обращается, иногда называя своего адресата «Великий князь». «Великий княже Всеволод», – обращается он к Владимиру-Суздальскому князю.

«Слово о полку Игореве» – сложное произведение. Его ритмичность очевидна, но его не назовешь ни стихами, ни прозой. О нем иногда говорят: «многослоен». С этим я не могу согласиться. Мы с вами на семинарах будем читать его в течение полугодия, в результате вы сможете читать любой древнерусский текст, привыкнете к языку и к тому, что нужно объяснять каждое слово. Многие исследователи считают «Слово...» вершиной древнерусской литературы. Я склонен думать, что в свое время его окружали другие памятники, созданные в конце XII века. После того, как степь разорила киевскую государственность, после того, как вся культурная, политическая и экономическая жизнь ушла с юга на северо-восток, из Киева во Владимир и Суздаль, – здесь образовался большой вакуум. Речь идет о периоде татарского нашествия. В такие времена монументальные произведения не создаются.

Построение «Слова о полку Игореве» интересно. На первый взгляд, оно традиционно: зачин, вступление, развитие действия, – но кульминации нет, есть три-четыре кульминационные точки. Автор время от времени возвращает нас к различным моментам русской истории. Зачин традиционен и ясен. За ним идет текст о певце Бояне, который жил в XI веке (это мы узнаем по именам князей, которые автор упоминает). У него своя манера, говорит автор «Слова...»: он будет рассказывать «не по замышлению Бояна, а по былинам сего времени». Кстати, «былина» в данном контексте совсем не тот искусственный термин, который, как свидетельствует В.Ф. Ржига, ввел в обиход в XIX веке А.Ф. Вельтман и которым вы пользовались на занятиях по фольклору. В «Слове...» былина – то, что было в действительности, и «по былинам сего времени» значит по историческим событиям настоящего времени. Автор претендует на роль историка. Отмечен им и вре-

менной отрезок, которым ограничивается его повествование: «От стараго Владимира до нынешняго Игоря». Спорят и о том, какого Владимира имеет в виду автор «Слова...». Д.С. Лихачев и многие другие считают, что подразумевается Владимир Святославич, который крестил Русь. С.К. Шамбинаго и В.Ф. Ржига (они совместно делали замечательный комментарий к «Слову...») резонно предположили, что речь идет о Владимире Мономахе. Присоединяясь к их мнению, скажу, что «Слово о полку Игореве» не «Илиада», действие его разворачивается на очень небольшом отрезке времени. Владимир Святославич здесь наличествует совсем в другом качестве. Ведь борются представители двух княжеских ветвей – Ольговичей и Мономаховичей. Князь Игорь Святославович всего лишь один из представителей Ольговичей, сепаратист, который сделал злое дело своим походом. До него выступил Святослав и победил степь. Он же замыслил вот что: «Преднюю славу сами похитимъ, а заднюю ся сами поделимъ». У автора «Слова...» была довольно противоречивая задача: с одной стороны, следовало осудить Игоря и отстоять идею единения, с другой – нужно было его восхвалить как «рыцаря без страха и упрека».

«Слово о полку Игореве» интересно не только в культурно-историческом, но и в художественном плане, как произведение искусства. Здесь два момента. Во-первых, изображение человека. В «Слове...» человек дан в разных ракурсах и характеристиках. Во-вторых, изображение мира природы. Человек в этот мир помещен, и он должен на этот мир реагировать. В «Слове...» же, по воле его автора, наоборот: мир звуков, красок, движений, природа реагирует на человека. Донец разговаривает с Игорем, дерево, трава сочувствуют русским воинам.

Живописный музыкальный мир «Слова...» необычен. Он отличается обнаженностью тона – и в звуке, и в цвете. Здесь нет полутонов, только чистая краска.

В «Слове...» есть языческий элемент – это метафоры. Идеология же «Слова...» христианская. Другое дело,

что в нем присутствует двоимирие и двоеверие. Но языческие представления даны уже не как божественные проявления, а всего лишь как троп.

Не думайте, что «Слово о полку Игореве» пелось, оно никогда не пелось. Об этом свидетельствует само название: «Слово...» – то, что говорится. Это постоянно подчеркивается и в тексте произведения: «Святославъ изрони злато слово». Эта вещь была написана, она читалась, а вот поэтика данного письменного памятника – песенно-былинная, и никакой другой тогда не существовало для произведений подобного рода.

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

ПОГОВОРИМ О ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА...¹

Литература этого времени – одна из самых интересных страниц нашей духовной жизни. И надо сказать, что собственно ее истории мы так до сих пор не имеем. По одной очень простой причине. Дело в том, что произведения, которые появлялись и печатались в это время, не вошли в историю литературы. То есть от них очень мало зависело дальнейшее развитие литературной мысли России. Это вполне понятно. Потому что различные государственные предприятия этого века настолько грандиозны и целестремительны, что слабая литературная мысль не поспевала за тем, что совершалось в действительности в русской жизни. Только подумать, что страна, обозначавшаяся на карте «Россия», имеет границы от Белого до Черного моря! Колоссальное пространство не только в измерении верст – километров, но в измерении географии, почвы, этноса. А новая литература только что складывалась. Исключительная литература русского Средневековья не то, что забывалась... она считалась тогда устаревшей, достоянием узкого круга людей, воспитанных на старых представлениях или, как теперь говорят, «на предрассудках», на самом деле весьма значительных в историческом и эстетическом смысле.

¹ Печатается по книге: «Время, оставшееся с нами»: Филологический факультет в 1953–58 гг. Воспоминания выпускников. Филфак МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004.

Если быть строгим, то можно без всякого преувеличения сказать, что литература XVIII века определяется пятью-шестью талантами, остальное – «мелкотравчатая литературная братия», наиболее читаемая, но отнюдь не определяющая художественно-идеологической сущности времени русской жизни. Конечно, в наше время никто не станет спорить с тем, что Ломоносов был гениален. Он один представляет собой целую эпоху культурной, научной, художественной мысли России XVIII века. Межпланетное движение и Космос, строение земли, водные просторы России, ее экономическая жизнь – это все предугадано Ломоносовым за 200 лет до нашей жизни. И нет ничего удивительного, что Ломоносов писал: «стихотворство – моя утеха», а помимо утехи была наука. Рудоплавильное дело, природные ископаемые, драгоценные камни и алмазы, или, как иногда говорят, самородки, – это все достояние его мысли, о чем он сказал так много, что потомки его многое из охваченного Ломоносовым могли только разрабатывать, усугублять. Он был абсолютно прав, когда смотрел на Россию как на источник богатства мира, кладовую ценностей. И точно так же он смотрел на язык. Вот «утеха стихотворства» – а к стихотворству-то он пришел не сразу, ведь стихотворство-то черпалось из той средневековой культуры, которой он овладевал. А все это постижение проходило в борьбе. Не надо себе представлять, что Ломоносов был один: он был один как гений, но именно в это время существовало много своеобразных талантов, во всех областях, и в первую очередь, конечно, в языке. И труды Тредиаковского были для Ломоносова необыкновенно интересны. Уже потому, что Тредиаковский первый открыл русское стихосложение. Современный человек забывает, что стихотворный язык складывался не так просто. Ведь только в XVIII веке Тредиаковский впервые понял, что у нас нет долготы и краткости слогов! Он открыл силлабо-тонический стих, то есть услышал музыку стиха русского. Но когда Тредиаковский увлекся хореем, Ломоносов не мог пережить того, что хорей – единственный метр. Ему казалось, что есть еще

что-то, метр более громозвучный, – и сам Ломоносов стал писать ямбами. И с тех пор ямб сделался самым расхожим в русской поэзии!

О Ломоносове можно говорить очень долго, а в первую очередь в исследованиях о нем привлекать не литературу, но мир наук: химии (так это произносилось в XVIII веке), например, электричества. Сакулин, один из историков русской литературы, как-то обронил такую фразу: «Ломоносов был побежден дворянской культурой». Нет. Это не так. Ломоносов включился в эту культуру, когда она только создавалась. И он и есть один из создателей этой культуры, притом хорошо понимающий, что не только один класс является носителем интеллекта, но его носителем является талант. А талант не определяется принадлежностью к тому или иному социальному миру. Вот почему в проекте университета, который был начертан Ломоносовым, имелось условие – принимать юношей без ценза, то есть принимать по дарованию. Эта идея необыкновенно плодотворна. Но она, собственно, никогда не была осуществлена. Только в последнюю революцию предполагалось идею реализовать – но тут же был введен иной ценз, принимать лишь рабочих и крестьян, как будто лишь у них есть талант! А сколько бы выучилось людей, не принадлежащих названному слою общества?

Говоря о XVIII веке, мы никак не можем себе представить этот мир без, я бы сказал, того идеологического устройства, которое испытывала Россия. Петр I когда-то заказал Лейбницу написать табель о рангах. И в XVIII веке еще мыслилось, что может быть союз королей и ученых, участвующих в управлении государством. Табель о рангах просуществовал до 1918 года. Господствующее сословие – когда-то боярское, позже дворянское – очень хорошо понимало, что оно господствующее. А быть господствующим очень трудно, потому что нужно научиться управлять. И передовая часть дворянского общества понимала, что для того, чтобы управлять, надо владеть знаниями. И щит, и топор, создающий господство, – это идеология.

И она должна быть отлита в определенные формы, потому что идеология – это не только мышление, но мышление реализованное – отлитое в области архитектуры, градостроительства, скульптуры и монументов, произведений искусства, наконец, в области музыки. Музыка придавалось очень большое значение в XVIII веке. Еще у всех на слуху была старая музыка, то есть церковные напевы, чрезвычайно богатые, музыка переплетения человеческого голоса с гласом колокола. Но как найти такое пение, такие акценты, которые утверждали бы все существующее новое? И композитор Львов очень многое создал в этом направлении. Музыка XVIII века не так бедна, как это кажется. К сожалению, в этой области – в плане широкого культурного знакомства с музыкой того времени – до сих пор мало что сделано, не только в описании, но и в реставрации ее.

Но какую же форму примет идеология? Мы здесь были не новички. Необходимо было нечто классическое. Мы знали классицизм, мы знали о нем из различных источников, исторических и духовных (церковных), музыкальных. Рядом с нами, во Франции, нечто подобное существовало. И мы наивно полагали, что это и есть классицизм. Впрочем, знали уже и название «псевдоклассический», «ложноклассический», но повторяли эти формы и повторяли.

Говорилось, что в Европе «дворянка надышалась дворянской литературой и создала литературу XVIII века». Но у нас того не было. Нам нужна была школа. Источником представлений о классицизме была и война, то есть войны античного мира были прообразом всей последующей военной стратегии. Поэтому и терминология, и тактика, и стратегия войны почерпывались оттуда. Потому первые русские военачальники охотно читали описания войн. Нет ничего удивительного в таких строках, более, впрочем, позднего времени:

Возок то вверх, то вниз ныряет,
И маршал, к спинке прислонясь,
Тихонько Тацита листает.

Забегая вперед, скажу, что генерал Ермолов специально самостоятельно изучил латынь, чтобы читать Тацита в латинском варианте.

Но сейчас не об этом, речь о том, как воспитать людей, способных воспринимать и воспроизводить новую культурную идеологию. Потому и был создан Шляхетский корпус, куда принимали дворянских детей, предназначенных для того, чтобы в дальнейшем они умели читать, писать, мыслить, создавать. Корпус не давал специальности, окончивший его мог быть и военачальником, и губернатором, и солдатом, – все зависело от человека: сможешь – поднимешься в небо орлом, нет – так останешься век мужиком. В этом Шляхетском корпусе и воспитывался русский поэт Сумароков, который считал себя вождем русской литературы. Он полагал, что он один создаст все те жанры, которые существовали в мире классицизма. Отсюда его бесконечное количество пьес для театра – он и сам играл на школьном театре. Ничто так не развивает человека, как театр, театр, который дает развязность движения, вырабатывает дикцию, мимику, эластичность тела – ох, как это потом понадобится! Нет ничего удивительного, что потом русский балет займет первое место в мире! А все начиналось там, в «осмнадцатом» столетии. Сумарокова литература считает средним по дарованию писателем, но его историческая роль огромна. Он видел в театре то же самое, что профессор – в университете. Он прекрасно понимал, что сцена – это то же самое, что лекция. Впрочем, это понимал и Петр I. Но у того было все чрезвычайно практично: ему нужна была сцена Полтавской битвы – одна происходит в действительности, другая идет на театре. Это создание общего духа, настроения, или, как сейчас говорят, патриотизма, – вот этим надо было «пропитать» молодую Россию. У Сумарокова было очень много подражателей и продолжателей, и одним из них, и его сотрудником, был поэт Херасков, тоже учившийся в Шляхетском корпусе, позднее Сумарокова. Но настолько значительное влияние на умы оказывал этот образовательный центр, что Херасков не

захотел служить по военной части, как большинство воспитанников корпуса, – он избрал себе путь гражданского человека. Библиотекарь – такова была его первая должность, а последняя... куратор Московского университета. Кстати говоря, Херасков был очень интересен как личность. Ну, какова его литературная деятельность – это другое дело. Нельзя сказать, что она была блестящей. Но его поэзия заслуживает очень большого внимания. Он первым у нас стал говорить о внутренней жизни человека. Приведу такой любопытный пример. Его стихи были популярны, настолько популярны, что стихийно национальным гимном России стало одно из них:

Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может разъяснить язык.
Велик он в небесах, на троне,
Велик он на земле, велик.

Это масонский гимн. Но он далеко ушел за пределы масонской конспирации. И сам Херасков был масоном, и не только масоном, он был другом Новикова, и отдал Новикову типографию Московского университета – он сделал огромное дело для просвещения России!

Но все дело в том, что надо рассматривать масонство не как нечто положительное или как отрицательное, а как факт, как явление. Что из того, что я Вам скажу, что я рассматриваю масонство того времени как положительное течение? Что толку, если я скажу, что магистром масонского ордена был Павел I, что казначеем масонства был Шереметев, владевший огромными богатствами, большими, чем русский царь? И масонство было неодинаковым... Но вот здесь мы убежали в сторону. Классицизм считался тем щитом, той идеологической крепостью, которая создаст незыблемость дворянского мира. Надо сказать, что русские идеологи классицизма представляли себе будущее России как некую гармонию: они были сторонниками крепостного права, но они считали, что крепостные отношения – это отношения патриархальные, что помещик должен заботиться о своих крестьянах, а крестьяне должны

любить своего помещика, как и тот любит своих крестьян. Эта социальная идиллия очень долго господствовала. И была гуманной по своему направлению. И тот же Сумароков писал, что между господским сыном и мужицким сыном «различия не вижу никакого», мужицкий сын все так же «пьет и жрет», как и дворянский...

Но времена идут. Россия переживает ряд катаклизмов – она все время в движении, все время в войне, округляет свои границы – подумать только, от Белого до Черного моря. Да, огромная территория, с огромным населением, с огромной духовной потенцией, нерасходованными внутренними силами, но идиллии, как правило, рушатся под натиском событий и слабостью людей.

Конечно, дело не в том, что Елизавета Петровна умерла, выполнив свое обещание. А какое было обещание? Обещание, о котором, мне кажется, надо всегда помнить и о нем говорить. Вступая на престол, она сказала: «В мое царствование не будет ни одной казни». И она сдержала свое слово – ни одной казни не было. Редчайший случай. Она может похвастаться перед всеми монархами мира своим миротворческим правлением. Но что сказать? Женщина остается женщиной. Это только английская королева Елизавета заявила, что никогда не выйдет замуж, поскольку может принадлежать одной только Англии. Наша Елизавета тоже сказала подобное. Но другой темперамент у нас – и она вышла замуж, за хохла, певчего, с прекрасным баритоном, взяв с него письмо о том, что он никогда не будет претендовать на русский престол. А хохол никогда об этом и не думал. Но как женщина умная, по-своему, – свой, русский бабий ум, – она знала, что ее детям будет плохо. И поэтому своих дочерей она отправила за границу. Отсюда вам и легенда, и правда о княжне Таракановой. Но это не та, которую оболостьил Орлов и привез ее в Петербург для расправы. Была другая, которую тоже поймали и тоже заключили, но не в тюрьму, а в монастырь. И у нас в Москве, в Новоспасском монастыре, эта бедняжка и провела всю свою жизнь, в заточении, в мужском монастыре. Никто не

знал, что это царицына дочка, постригли ее, как полагается, сидела бедняжка в каземате, давали ей пить и есть. И только когда умерла, ее отпевали как царственную особу, Досифея ее звали. Вот она, русская правда!

После Елизаветы взошел на престол Петр III. Он не имеет отношения к литературе, поэтому речи о нем никакой не будет. Но его жена, Екатерина, которая у нас теперь тоже «в великих ходит», ловко устроила переворот, ловко задушила своего мужа руками своих поклонников, ловко взошла на престол, и начался золотой век Екатерины. Какие льготы получило сословие? Нужно было что? В первую очередь расположить к себе гвардию. Она понимала, что военная сила ей нужна. А что она может, какие у нее ресурсы? У женщины один ресурс – обаяние. Смешно об этом говорить в наше время, когда мы знаем, что такое базис, надстройка, идеология. Подумаешь, женское обаяние! К этому не надо так легкомысленно относиться. Когда она назначала княгиню Дашкову президентом Академии наук, та, как человек умный, образованный, говорила ей: ведь я этого ничего не знаю?! Екатерина отвечала ей: женщина все знает, разве ты не знаешь, что женщины управляют миром? И против этого аргумента у Дашковой ничего не было. И она стала очень неплохим президентом. Но поссорилась со своей властной покровительницей – смешно сказать, на какой почве. После переворота Екатерина Алексеевна приказала накрыть стол и поставить три куверта. Зачем три? Дашкова не могла допустить, что в ее присутствии Екатерина будет принимать своего любовника Орлова, – это коробило ее княжеское достоинство. Вообще, дворянское сословие очень интересное. Не надо относиться к нему так пренебрежительно, оно заслуживает большего внимания, ему пришлось сыграть очень значительную роль в истории России – вынести на своих плечах и войны, и беды, и все несчастья. Невзгоды и беды – это можно догадаться! Иллюзия-то ведь не состоялась! Никакого братского, отеческого и сыновнего отношения не получилось: мужик стал врагом барина, а барин вознена-

видел своего обожаемого мужика. Все это я рассказываю «галопом по Европам», и собственно истории-то литературы здесь нет.

Но здесь надо сказать о литературных фактах. Ну, вот, например, правительница, то есть царица, считала себя писательницей: она, например, сочинила сказки для своего внука Александра:

Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоко гору,
Где роза без шипов растет...

Когда-то эта молодая женщина на многое рассчитывала. Ведь правда, когда она шестнадцатилетней девчонкой приехала в Россию, она дала себе слово, что будет царицею. И стала ею. А став, она поняла, что должна быть первой во всем и никто ей не соперник. Вот она, вся женская психология здесь! И сколько вы мне ни говорите, что у них, женщин, нежные чувства – я отвечу: по-разному! У кого нежные, а у кого властные, у кого страстные, а у кого холодные. Екатерина II в этом смысле была самой несчастной женщиной! Человек темпераментный, желающий любви – и никогда ее не получивший. Она ненавидела своего мужа, и было за что. Она никого не любила, потому что ее никто не мог полюбить. Один из Орловых говорил: «Черт дернул меня влюбиться в царицу!» Любовь по приказу. А женщина оставалась женщиной, с душой и телом волнующим. А там пошел второй, третий любовник. Впрочем, читайте интересную книжку «Фавориты Екатерины II». По приказу любить нельзя, и, как женщина умная, она это хорошо понимала...

НИКОЛАЙ НОВИКОВ

Материал, который мы с вами изучаем, можно было бы назвать «Эпоха классицизма». И хотя система классицизма совершенная (и даже надо сказать, что лучшей художественной системы, более совершенной, чем класси-

цизм, не существует, не существовало, будет ли существовать или нет – этого я не знаю, я не пророк), но классицизм не мог удовлетворять не только последующие поколения, но и современников. Нельзя было удовлетвориться триадой: на небе – Бог, на земле – царь, в поместье – помещик. Вы знаете, что французские энциклопедисты – Вольтер, Дидро – уже не могли принять этого положения. Вы видите, что классицизм имеет очень серьезных оппонентов, которые его не только не принимают, но, так сказать, в корне подсекают основные положения. Но что говорить о Вольтере, о Дидро? Это явления западные. Мы, в России, тоже испытывали такое неудовлетворение. Результатом этой неудовлетворенности и было, как вы помните из прошлых занятий, масонство, которое возникло как реакция на идеи Просвещения. И не нужно думать, что масонство у нас возникло так, на голом месте. Нет, оно тоже пришло к нам из Европы.

Очень многие люди XVIII века были масонами. Казначеем масонской ложи был граф Шереметев, самый богатый человек не только в России, но самый богатый человек в мире. А у нас, в Москве, в масонской ложе первым человеком был Николай Иванович Новиков. И это естественно. О нем надо сказать особо.

Новиков учился в Московской университетской гимназии. Плохо учился. Обычный барский мальчишка. Он был выгнан отсюда за неуспеваемость. Но это не так страшно: биографы написали, что он учился замечательно. Это неправда, ничего этого не было: его оттуда выгнали за неуспеваемость и непосещение, и, наверное, правильно сделали. Но человек он был действительно очень способный. Он служил в гвардии, как все молодые люди того времени. Между прочим, Николай Иванович Новиков был большим поклонником Екатерины II, он был влюблен в Минерву, он принимал участие в заговоре против Петра III (он стоял на карауле, когда Орловы убили Петра). Он всё это знал: знал об этом дворцовом действе. Оправданием его является только то, что когда он стал «держателем

дневной записи», то познакомился со всеми ужасами крепостного права.

Новиков стал «держателем дневной записи» (так называли тогда секретарей). Екатерина II решила созвать Уложенную комиссию для составления нового уложения (уложение – это основной свод законов). Это была замечательная комедия, всемирная: Екатерина решила всему миру показать, что она – императрица либерального направления, прогрессивная, она за свободу, равенство. В России будет парламент! В Уложенной комиссии должны были присутствовать, или представлять, люди от всех сословий: от боярства и дворянства, от купечества, от духовенства, от крестьянства. Представители всех сословий должны были выразить свой взгляд на государственное устройство, то есть выработать новую конституцию. Вот откуда конституция в России. Конечно, должны были избираться люди почтенные, на которых нет никакой тени, подозрения, или, как тогда говорили, пошлости. Конечно, мужчины только. <...>

Вот Новиков, гвардейский офицер, стал исполнять обязанности секретаря в комиссии. Государыне через комиссию можно было подать жалобу на кого угодно – на князя, на архиерея, на управителя, на помещика, на купца. Крестьяне, которые несли эти жалобы, ставили горящую свечку перед Екатериной, они смотрели на нее как на божество, которое изменит весь строй государственной жизни. И клали свои жалобы. К Новикову начали поступать самые различные просьбы на имя императрицы: по поводу обложения, по поводу несправедливости крепостного права, по поводу несправедливости мужчин по отношению к женщинам, по поводу земельных угодий, по поводу крепостных фабрик. Комиссия была завалена жалобами. У Новикова накопился колоссальный материал.

Когда Екатерина увидела состояние русского общества и состояние страны, она очень хорошо поняла, что ни о каком парламенте сейчас даже речи не может быть. Недовольство такое большое, что ей не справиться. И ко-

миссия закрылась якобы в связи с турецкой войной. Екатерина II, заявив, что страна находится в состоянии войны, что бюджет у России очень тощий, что она не может вести два таких предприятия, как война с Турцией и реформирование России, распустила комиссию.

Но Новиков, пока был «держателем дневной записи», познакомился со всей Россией, со всеми ее нуждами, невзгодами, напился тем народным горем, народным гневом, которые он читал в бесконечных прошениях. И он решил выступить как журналист. Быть журналистом, публицистом, высмеивать, разоблачать зло, пригвоздить зло к позорному столбу через печать – вот что хотел делать Новиков. Главным образом он стал выпускать сатирические журналы, где разоблачал тот гнусный образ жизни, который вели его современники.

Между прочим, это Екатерина указала на то, что в стране нужно иметь журналистику. И сама стала заниматься литературой, издавать журнал «Всякая всячина». Журналы Новикова Екатерине не понравились – ни «Труть», ни «Пустомеля», ни «Живописец», ни «Кошелек», потому что в них было столько яду, столько сатиры. У Екатерины II была установка – сатира должна быть в «улыбательном» роде: надо раскрывать пороки не отдельных личностей, а пороки явлений. Например, она очень недовольна, что у девушек спускаются чулки (тогда носили чулки, и они спускались). Екатерина обличала это, она говорила, что это некрасиво, это нехорошо, это унижает достоинство девушки, что молодой человек, увидев девушку, у которой спустились чулки, едва ли воспылет к ней нежным чувством. Нельзя за столом сморкаться – это неприлично и вредно. Она также указывала на то, как нехорошо много нюхать табак (тогда все нюхали табак). Теперь все табак курят, а тогда все нюхали – не только мужчины, но и женщины, и девушки. Немножко, понюшка табаку – как это приятно, наверное!

А Николай Иванович Новиков раскрывал пороки личности, нападая на судей, воевод, прокуроров. В его

журнале, например, опубликовано объявление, где написано: «Недавно пожалованный воевода отъезжает в порученное ему место и для облегчения в пути продает свою совесть; желающие купить могут его сыскать в здешнем городе». Вот вам явление – нехорошо продавать совесть. А на то, кто это делает, по мнению Екатерины, уже не надобно указывать. А у Новикова все наоборот: у него все конкретно. Его объявления совершенно замечательны: «На сих днях прибыли в здешний порт корабли <...> На них следующие нужные нам привезены товары: шпаги французские разных сортов; табакерки черепаховые, бумажные, сургучные; кружевы, блонды, бахромки, манжеты, ленты, чулки, пряжки, шляпы, запонки; <...> булавки разных сортов и прочие модные мелочные товары; а из Петербургского порта на те корабли грузить будут разные домашние наши безделицы, как-то: пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотна и проч. Многие наши молодые дворяне смеются глупости господ французов, что они ездят так далеко и меняют модные свои товары на наши безделицы» (это к вопросу о русско-французских торговых отношениях). У него была сатира, как теперь говорят, на экономику, на русскую экономику. Новиков был беспощадный в этом отношении человек: он всюду смотрел, всюду заглядывал и любил поиздеваться над екатерининскими идейками преобразования, воспитания. К тому же он издевался над екатерининским журналом: редактор плохо знает русский язык. И пожалуйста – он приводит примеры. Надо сказать, что Екатерина II – несчастный человек: она всю жизнь писала с грамматическими ошибками, так и не овладев этим премудрым варварским языком. Не овладела, но писала все время. Помните у Державина: «Открыла верные следы // Царевичу младому Хлору // Взойти на ту высокую гору, // Где роза без шипов растет»? Екатерина II написала «Сказку о царевиче Хлоре» – специально для своего любимого внука Александра I. Она готовила его к царствованию.

Да, Новиков очень жестоко ее осмеял. Как вы думаете, если императрица, которая пылает чувством просвещения, осмеяна журналистом, что она должна сделать? Правильно, закрыть журнал. Но этого мало. Надо уничтожить этого негодяя. А негодяй этот, знаете, что еще сделал? Он открыл в Москве бесплатную больницу, бесплатную аптеку, читальню, в которую можно было приходить читать книги, и если вам нужна эта книга, вам ее давали бесплатно. Он арендовал типографию Московского университета, куратором которого был Херасков. Новиков сблизился с Херасковым. Получив типографский станок, он буквально наводнил Россию книгами. Это были не только книги масонского содержания; здесь были буквари, учебники, географические пособия. Просвещение шло из Москвы настолько сильно, что Екатерина почувствовала, что есть два государства – ее империя и новиковская Москва. Новиков уже имел в Москве несколько книжных лавок, большой госпиталь (то есть больницу), он уже посылал студентов за границу для совершенствования в науках, после чего эти студенты должны были работать в его журналах переводчиками и редакторами. Представляете, какую деятельность он развил?! Екатерина II испугалась этого человека: он масон. Правда, он и не отказывался от того, что он масон. Новиков был привлечен к ответственности, все его предприятие было арестовано, склад и магазины закрыты, госпиталь и школы ликвидированы. Его судили и обвинили в том, что он присвоил деньги пайщиков, которые принимали участие в издании его журналов и книг. Екатерина очень хотела его казни. И его бы, конечно, казнили. Нужно было только найти такой грех, такой проступок, за который можно было казнить. И вот они сообразили: уличить Новикова в том, что он совершал хулу на Духа Святого. Это непростительный грех, который влечет отторжение от гражданства (человек лишается гражданского состояния), а там уже очень легко вообще расправиться с человеком. Но нужно было свидетельство митрополита, подтверждающее этот грех. К кому

обратиться за таким свидетельством? Хитрая Екатерина знала, что единственный, кто может ей помочь в этом деле, это митрополит Платон, Платон Лёвшин. Правда, она рисковала, потому что старик был очень своенравный. Она уже как-то раз попробовала над ним поиздеваться – и он ее высек.

Вот эта история. Князь N и его жена были в преклонном возрасте: князю уже было за 80, а княгине 70. У них не было детей. И дальние родственники уже делили имение. Князь узнал и разозлился и приказал княгине, чтобы она рожала. Княгиня смутилась, но родила. Наследники были недовольны и сказали, что она не могла родить в этом возрасте. Тогда Екатерина обратилась к Платону Лёвшину с просьбой, чтобы он рассудил, могла ли княгиня родить или нет. Понимаете, это оскорбление: монаху, старому человеку послать такой запрос. Он понял, что это издевательство, и написал: сие возможно, понеже подобные случаи в Библии указаны. И императрица осталась с носом.

Во второй раз речь шла о судьбе Новикова. И опять запрос. И опять ответ: царица земная, перед тобой, как перед Царицей Небесной, свидетельствую, что лучшего христианина, чем Николай Иванович Новиков, не знаю. Книг масонских не читаю, понеже они для меня тёмны. А все неустройство в нашей стране – от проклятых энциклопедистов. Своим ответом митрополит Платон, во-первых, опроверг то, что была хула, во-вторых, сказал, что эти книги темные, непонятные, лишены логического смысла, тем самым избавив себя от необходимости критиковать масонские книги, и в-третьих, сказал, что все безобразие идет от энциклопедистов, ученицей которых является Екатерина II. Вот так. Но все-таки Новикова посадили. Слуга Новикова просил Государственный Совет, чтобы ему было разрешено остаться в камере заключения вместе со своим господином. Что ему и было разрешено. И врач, бывший студент Московского университета, стипендиат Новикова, М.И. Багрянский, просил

разрешения остаться в камере своего пациента. Что ему тоже было разрешено. И там все эти трое отбывали срок наказания до воцарения Павла I. Павел любил делать все вопреки желанию своей матери. Он сразу же выпустил Новикова и был только очень недоволен, что тот не приехал к нему на следующий день и не благодарил за то, что он исторг его из заточения.

Вот любопытная вещь: вы знаете, что Павел I получил в русской историографии самую отрицательную характеристику: и изувер, и идиот, и садист – все что угодно. На самом деле это, конечно, было не так. Всё это выдумки гвардейской дворянской партии. Она же, эта партия, его и удавила. Он был задушен. А кто же были, собственно, заговорщики? Заговорщики эти прекрасно знали идеи масонства. Одним из заговорщиков, которого всячески обеляют, был сын Павла, Александр I, или тот государь, который в русской историографии получит название Александр Благословенный, «наш ангел». Вот этот «ангел» своего папеньку и придушил чужими руками – руками фон Палена. А ведь Александр и его окружение очень хорошо знали о масонах. И самое любопытное то, что Александр I тоже был масоном. Вот здесь сразу чувствуешь, насколько эта организация несостоятельна.

Журналы Новикова – «Трутенъ», «Живописец», «Кошелек», «Пустомеля» – очень много сделали для создания русского общественного мнения. Екатерина продолжала издавать свой журнал, но не имела должного количества читателей. Странно, казалось бы, из одного подхалимства все должны были читать. Но уже было много других журналов, которые вызвал к жизни Новиков и которые соперничали с его идеями: «И то, и сию» М.Д. Чулкова, «Ни то, ни сию в прозе и стихах» В.Г. Рубана, «Поденщина» В.В. Тузова, «Адская почта» Ф.А. Эмина. И для девушек был специальный журнал, издаваемый отставным кавалеристом. Россия переживала, как теперь говорят, бум, расцвет журналистики. Буквально все участвовали в

журнальной полемике, все спорили. И в этих спорах много было интересного и злободневного.

Это был период европейских исканий <...>

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ

А вы знаете, чем замечательна литература? Не тем, что мы ее читаем, а тем, что писатель, как любое животное, чувствует тот воздух, то настроение, которое создано, и пишет такое произведение, в котором ощущается вот это кризисное состояние. И такой писатель нашелся. Пятнадцать лет он молчал, с тех пор как приехал из Лейпцига. Образованный чиновник по иностранным делам. А тут взял и выпустил свою книгу – «Путешествие из Петербурга в Москву». Екатерина была взбешена этой книгой. На полях книги она написала: «бунтовщик, хуже Пугачева». А, собственно, что у него было написано? У него была написана вся Россия, вся, всё. Это было крепостное право – «чудище обло, огромно, стоzewно и лайй». Это была несправедливость господ-помещиков и крайнее состояние крестьян. Это было разоблачение, не только психическое, но физическое разоблачение дворянства. Вырождающееся сословие, разврат. Как его боялась Екатерина! Она очень хорошо понимала, что в «Путешествии из Петербурга в Москву» показан разврат не только помещиков, это в первую очередь показан разврат двора, ее. Она, меняющая любовников, она, которая является предметом закулисных насмешек, она, на которую смотрят, как на увядающую камелию, – она должна всех наказывать, всех, иначе не удержать ей в своих руках этой непокорной, дикой, неевропейской страны.

Вот и началось. Кого карать? Масонов? Революционеров? Или попов? Или, наконец, бунтовщиков? Посмотрите, сколько врагов. А враги все реальные.

Другая сила, с которой боролась Екатерина, – масоны. Почему с ними надо бороться? Потому что масоны – это тайная международная организация. Масоны – орга-

низация очень сильная, она может выбросить из своей среды человека, не способного носить белые перчатки, то есть быть чистым. Екатерина не была масонкой. Она зорко следила за тем, чтобы и ее чиновники не были масонами. Самое большое обвинение против Новикова было то, что он масон. Об этом я уже говорил. За это он попал в Шлиссельбург, где просидел вплоть до смерти Екатерины и воцарения Павла Петровича.

Надо и с Пугачевым бороться. Но кто может его победить? Ни один из полководцев не мог! Кто же пленил Пугачева? Суворов. Человек, который был легендой. Для него война была поэзией. И вот этому человеку, для которого война – поэзия, который привык к походам, к барабанному бою с развевающимися знаменами, – этому человеку надлежало... поймать прощелыгу. Это же позор! Полицейская обязанность! В действительности все было куда проще: Пугачев уже был повязан, когда прискакал Суворов. На его долю осталось только посадить Пугачева в клетку и привезти его в Москву для казни.

А литература, Радищев с его книгой? Он был арестован, отправлен в Тайную канцелярию к следователю С.И. Шешковскому, который был знаменит своей жестокостью. Изобретением Шешковского был заворачивающийся обруч на голову. Обруч не убивал, но страшная боль доводила человека до отчаяния. Вот это было уготовано Радищеву. Но Радищев этого не испытал по той причине, что его свояченица отнесла Шешковскому все свои бриллианты, какие у нее были. По-видимому, было много. Он взял и пытки не применил, а только записал в заключении: «Достоин поселения». И Александр Николаевич Радищев миновал эту страшную пытку и был отправлен в Сибирь. Вот там, в ссылке, он написал «Житие Ушакова», произведение чисто атеистическое. Находясь в Сибири, Радищев, как экономист, понял, какое огромное значение имеет Китай для торговли с Россией, и написал «Письмо о китайском торге». В ссылке он пробыл долго, до воцарения Александра I. При Александре I он был воз-

вращен, ему вернули его имение, чин, он был принят на государственную службу. И ему, как наиболее талантливному правоведу, было предложено составить проект конституции России.

Это уже было другое время – «дней Александровых прекрасное начало». Расцвет русского либерализма. Россия мечтала о конституции, вернее, не Россия, а группа вольнодумцев, объединенная в секретный комитет, возглавляемый Александром I. Александр I говорил: «Я республиканец на троне. России нужны новые законы. Мой комитет что-то сделает». В Секретный комитет входили Кочубей, Чарторыжский, Новосильцев, Строганов, Александр. Они собирались и обсуждали многие вопросы государственного устройства России. Но вообще-то говоря, они были лентяями, потому что сначала они собирались, обсуждали, а потом всё это им осточертело, и Александр попросил, чтобы им прислали хорошего, дельного семинариста в секретари. Его просьба была исполнена. Прислали дельного секретаря, дельного семинариста – Михаила Михайловича Сперанского. Когда его прислали, то первое время с прислугой сажали (а куда его девать?), он там ел, пил – потому всегда был голодным. А потом как-то раз случилась такая заваруха: секретаря прислали, а принять его было некому. И Кочубея, и Чарторыжского не было. Александр сказал: «Позовите его ко мне». Сперанского позвали. Император начал с ним беседовать и увидел потрясающие способности у этого человека, такую ясность ума, такую строгую логичность суждения, что Александр решил, что вместо Комитета будет один секретарь, который и должен оформить все идеи обустройства будущей России. Вот Михаил Михайлович Сперанский и стал государственным секретарем у Александра I. Вчерашний бурсак, которого дальше коридора и не пускали, сегодня уже был вхож во дворец, уже постоянный докладчик государю, уже несет личные, им написанные проекты.

Вот в каком состоянии была Россия в это время. Поэтому Радищев мог написать смелую конституцию. Он

составил проект, который был очень хорош: Россия выглядела республиканской страной. Но когда он дал его графу П.В. Завадовскому, самому близкому человеку в это время к Александру I, тот прочитал, усмехнулся и сказал: «Эх, Александр Николаевич, видно, мало тебе одной Сибири!» Радищев понял, что это значит, и вспомнил суждение Ушакова о том, что человек имеет право распоряжаться собой. *И распорядился.*

Мы видим, что появилась мысль о Боге, о вере и безверии, атеизме. Вопрос, который в XVIII веке всех волновал. Причиной этих волнений было возникновение и развитие естественных наук дисциплин. Радищев был первым, кто обратился к этому вопросу и очень своеобразно его решал. Человек, его жизнь и бессмертие волновали писателя на протяжении всей жизни. Но после смерти Ф. Ушакова его волновал и другой вопрос: какую власть имеет человек над собой? Человек – царь природы или человек только ее выражение, выражение природы? Вправе ли он распоряжаться своей судьбой, как он распоряжается природой? Это была настолько животрепещущая и волнующая мысль, что она захватила прогрессивных людей того времени. Например, такой писатель, как Болотов, просто боялся затрагивать этот вопрос и говорил, что не хочет ссориться с господами, а особенно с господами. Но это соглашательская политика, это трусость, боязнь посмотреть правде в глаза. У Радищева было совсем другое: он был человек смелый, может быть даже отчаянно смелый, когда понял, что Ушаков распорядился своей жизнью по-своему, как господин, а не как раб.

Понятие «раб» делается чуждо человеку XVIII века. И вовсе не потому, что в это время Европа уже переживала известный подъем, философский и политический, а потому что уже наступило для России время, когда обнаружились противоречия между «властителями и судьями». Кто теперь судит? Пугачевское движение очень хорошо показало, что суд является судом масс, и «не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Эта идея – веры и неверия – была настолько сильна, что она как заряд прорвалась из XVIII века в XIX, в XX и в XXI. И нет ничего удивительного, что сейчас в ряде стран в медицинских кругах утверждают, что врач имеет право на убийство больного, если больной обречен и испытывает страшные муки. Для того чтобы снять эти муки, можно больного убить. Ликвидировать, отравить – как угодно. Вот тот ход мысли, который возник в XVIII веке и который, как выстрел, долетел до нас, до XXI века. А все начиналось там.

Вот так выглядит Радищев, один из наиболее ярких людей екатерининской эпохи. Его произведения многие считают нехудожественными. И вы тоже считаете «Путешествие из Петербурга в Москву» нехудожественным, так ведь? Литературоведы – самые большие фантазеры на свете. О «Путешествии из Петербурга в Москву» очень много написано. Написано, что это произведение, в котором наличествует реализм; это произведение, в котором наличествует сентиментализм; это произведение, в котором наличествует классицизм, – все три направления эпохи отразились в «Путешествии из Петербурга в Москву». В каком смысле классицизм? В логическом? Да, произведение это очень логично. В каком смысле сентиментализм? «Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал пятнадцать лет тому назад!» – но ведь это же только эпизод. А в каком смысле реализм? Все, что плохо, – все это описано реалистически, все это так на самом деле и было. Ну, зачем так? Все было по-разному. Для того чтобы показать, что все было по-разному, я вам скажу: отец Радищева был человек изумительный, он был человек не от мира сего – устроил себе скинию, или палатку, в саду и там жил. Читал, писал. Ему приносили пищу, приносили белье. С миром он не хотел общаться, потому что в миру уж слишком много всего тяжелого, несправедливого. Мужики его от крепостного права не страдали. И пугачевский бунт не затронул Радищевых: мужики не пустили бунтовщиков в его поместье. Так что и

такое было. Все было. Но во всем всегда нужно видеть ведущую тенденцию. А ведущей тенденцией была Салтычиха. Люди ее типа и вызвали к жизни пугачевское восстание.

Историку литературы очень хочется назвать Радищева великим писателем. Тщетная попытка! Радищев никогда не был великим писателем. Он был велик своим прозрением, своей необыкновенной силой мысли и своей универсальностью. Это не афоризм, когда Сакулин пишет: «Радищев был руссоист и вольтерьянец одновременно». Он был не только руссоист и вольтерьянец, он был человек огромного интеллекта. И без всяких преувеличений можно сказать, что он прав, когда говорит: «Я зрю сквозь целые столетья». Гениальность Радищева именно в его необыкновенной силе мысли. Я бы сказал: это первый социолог в русской науке. В его «Путешествии» видно соединение разных стилей, представляется, что он синтезирует эти стили. Никакого синтеза здесь нет. Он просто использует все то, что у него есть в запасе – в запасе русской литературы. Но он куда шире и куда больше, чем литературные, эстетические, социальные представления его времени. Он философ и социолог. Он писатель, которому доступны прозрения и прогнозы. Никто так хорошо не понял обреченность дворянского сословия, как Радищев. М.М. Щербатов только ходил около этой идеи и решал ее однопланово, предупреждая о гибели сословия, если оно не исправится. Радищев показал социальную обреченность сословия и указал на тот страшный, разъедающий яд, который лежит в основе этого сословия, охватывая психическую, физиологическую, духовную жизнь класса эксплуататора, поработителя, неспособного создавать новые ценности. Поэтому деятельность Радищева занимает совершенно особое место в истории русской культуры, русского просвещения. Это гигант, подобно Ломоносову. Но только гигант в области социологии, или особого понимания исторического процесса русской действительности того времени и надвигающихся событий.

ГАВРИИЛ ДЕРЖАВИН

Гаврила Романович Державин занимался тем, что зарабатывал себе на хлеб литературным трудом. Тот или иной полковой товарищ заказывал ему написать любовное стихотворение, за это Державин получал копейку. Тот ему говорил, как зовут предмет, что написать – и Гаврила Романович писал. Так что понятие гонорара у нас очень давнее. Между прочим, эти стишки, которые писал Гаврила Романович, имели для него очень большое значение. Они в той или иной форме – в пересказах, в рассказах – достигли высочайшего слуха государыни императрицы. Но прославился Державин не стихами. Стихотворная слава придет потом. В первую очередь он прославился тем, что служил в армии А.И. Бибикова, которая должна была подавить движение Пугачева. Державин отличался необыкновенной жестокостью в подавлении мятежников. Известно, что он повесил одного из мятежников, как он говорил, «для удовольствия». Смелость, находчивость и жестокость Державина обратили на себя внимание войскового начальства. Тогда-то ему был пожалован первый офицерский чин. Потом, конечно, современники будут смеяться, что чин был пожалован не в честном бою, а за подавление шайки разбойников. Но для Державина это уже было безразлично. Слух о нем дошел до императрицы, и она пожелала видеть его и слышать его стихи. Тогда-то было написано первое стихотворение «Фелица». Первое по значению, а не по хронологии. Надо сказать, что это стихотворение было действительно очень хорошее. Оно было посвящено императрице.

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом.

Это стихотворение не было похоже на те стихи, которые в это время господствовали в литературе. Я уже вам говорил, что мы находимся в периоде, который надо назвать

классицизмом. Классицизм отличается стройностью, нормативностью, строгостью. Вы помните, Ломоносов написал очень интересную статью – «О пользе книг церковных в Российском языке». И в этой статье, или в этом исследовании (как угодно), он разделил наш язык на три стиля – высокий, средний и низкий. Высоким стилем надо писать оды и трагедии, произносить торжественные речи; средним стилем нужно писать романы, повести, рассказы; низким – комедии, шутки, анекдоты. Так вот, вдруг появляется «Фелица». И в торжественное стихотворение врывается язык и среднего слоя, и низкого слоя:

Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки резвимся порой;
То в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся.
Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож.

То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан.

Видите: самые различные слова. Лексика всех трех слоев – высокого, среднего и низкого. Это, конечно, было необыкновенно, и стихи Державина вызывали двойное отношение: нарушены нормы, но уж очень хорошо написано:

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.
(«Видение мурзы»)

Державин – поэт цветов, красок и звуков. Ни у одного из поэтов этого нет. Для русской литературы и для

русской жизни Державин был целой эпохой в том смысле, что впервые человек смог выразить свои чувства поэтически. До сих пор он выражал в литературе все это в логической, строго грамматической форме. А Державин всем этим пренебрег. Отчего пренебрег? Оттого, что он этого не знал, или оттого, что он себя считал выше этого, — сейчас почти невозможно сказать. Но то, что он пренебрег правилами поэтики, — это совершенно очевидно. На место правил поэтики и версификации пришло вдохновение. То самое вдохновение, которое сделало Державина первым поэтом России в то время и первым поэтом в России, открывшим литературный язык как поэтический. Не знаю, хорошо ли я выражаюсь, понимаете ли вы меня? Дело в том, что человек имеет потребность высказаться, сказать то, что он чувствует. Так вот то, что я хочу высказать вам, — это одно, одна форма. А то, что хочет высказать Анна Ахматова, — это совсем другое. Она скажет ту же мысль, но с таким акцентом, с такой интонацией, с таким лексическим подбором, что получится совсем не то, что я хотел сказать, а в тысячу раз богаче, отчего я буду страдать, что я этого не сказал, а сказала она. Понятно? Вот это то чувство, которое вы испытываете, когда читаете книги, когда читаете поэтов. Испытываете вы зависть к ним? Никогда? Неправда. Испытываете, когда вы читаете Толстого. О, как испытываете! Когда вы читаете «Анну Каренину» — как испытываете! И не говорите мне, что не испытываете, это вы только скрываете свои чувства.

Вот это поэтическое изображение мира доступно только большому поэту. И Державин оказался таким большим поэтом, которому было доступно изображение этого мира.

Он любил шутить в поэзии, он не боялся в поэзии шутки:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами.
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

(«Вельможа»)

Он не боялся просторечия и вульгарных выражений. Нет, это его не смущало.

Но вот он пишет стихотворение «На смерть князя Мещерского». Знаете такую вещь? Если не читали, то прочитайте немедленно, потому что там раскрывается мир XVIII века:

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет – и к гробу приближает.

Где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»

Жизнь – смерть. Вот он, основной вопрос XVIII века: благополучие, пресыщенность, роскошь, удовольствие и – ничто! Все разлетается! Где же этот человек, царь природы, который ничего этого удержать не может?

Где стол был яств, там гроб стоит.

Державин прекрасно понимал, что все проходит:

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!
(«Река времен в своем стремлении...»)

Державин первый задался мыслью: что́ есть жизнь человека, как она быстротечна. Но он был далек от религиозной идеи будущей жизни, нет, он хотел эту жизнь скорее поглотить. Он человек гедонический, ему приятно наслаждение жизнью. У Державина очень много анакреонтических стихов. У него есть необыкновенные стихи, изображающие натюрморты, все самое что ни на есть вкусное:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят...
(«Приглашение к обеду»)

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,

Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером
Там щука пестрая: прекрасны!

(«Евгению. Жизнь Званская»)

Всё, всё вкусно! Его прельщает багряный цвет ветчины! Как будто неприлично вообще в поэзии об этом говорить! Нет, это кому-нибудь другому, а ему это все прилично, потому что он до чего ни дотронется, все делается поэтическим. И нет ничего удивительного, что, когда в Лицее Пушкин прочитал свои стихи на экзамене, на акте, где присутствовал Державин, тот сказал: «В России родился новый Державин». Себя Державин очень хорошо понимал как явление исключительное, поэтическое. И вот он уходит из мира, и оказывается, что есть еще другой, новый Державин – Пушкин. А Пушкин потом ответит:

Успех нас первый окрылил:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Державин – примитивный материалист. Он не диалектик. Он готов верить во всё, что угодно: в загробный мир – во всё, но у него всё это материально, элементарно, почти смешно. Он слишком материален, у него нет полета мысли идеалиста-философа. Того, что есть у Радищева, того, что сильно сказалось в XIX веке на русском обществе. И даже не столько на 20-х годах, не на декабристах, а вот потом, в 40-е, а особенно в 60-е – на Толстом, на Достоевском, на Тургеневе, философски самом образованном среди них. Но это я в сторону, или, как говорят, а прогос.

Вообще Державин хоть человек малообразованный, по сравнению, допустим, с Тредьяковским, но зато очень одаренный, одаренный и глубокий. Вот он пишет стихотворение «Бог»:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!

Это стихотворение принесло Державину большую славу, прижизненную и посмертную. Оно переведено на

все языки мира. Уже тогда оно было переведено на французский, немецкий, английский, японский, китайский. И все переводчики были поражены глубиной мысли этого стихотворения. Ведь Державин взял и ответил на вопрос: «Что такое Бог?» Никто не смел этого сделать. Вольтер, Дидро – они все вертелись *около* этого понятия. А ответил Державин чисто поэтически. Он никогда бы не мог этого выразить в стройной, логической системе, в статье.

Любопытно, что, когда Державин перевел псалом «Властителям и судиям»:

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет! –

так вот, когда он перевел этот псалом, Екатерина была возмущена, весь двор негодовал: «Он якобинец!» Императрица ему очень деликатно сказала, что он заражен якобинским духом, если он пишет такие стихи. Но он ей ответил: «Ваше величество, это не я. Этот якобинец – царь Давид». Царя Давида нельзя было заподозрить в якобинстве.

Современные исследователи часто указывают, что в поэзии Державина очень много ошибок, чисто профессиональных: с точки зрения гармонии, с точки зрения версификации. Но это смешные указания, потому что у поэта свои законы, свои. Он пишет по вдохновению. И сколько бы ни говорили, что вдохновения нет, тем самым только доказывают, что его нет у того, который говорит, что его нет. А у художника оно есть, и талантливое произведение отличается от неталантливого тем, есть там вдохновение или нет.

Это был взлет поэзии в русской литературе, такой, я бы сказал, сверкающий меч, поразивший всю нашу поэтическую жизнь, после которого мы очень долго не могли

опомниться. Всё, что было около Державина и что было после него, – всё казалось очень бледным и слабым.

А человек Державин был консервативный, чиновлюбивый, отнюдь не принадлежавший к прогрессивным явлениям того времени. Но прогрессивные люди считали его передовым. И тот же Александр Николаевич Радищев послал ему свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Державин на эту книгу ответил почти эпиграммой:

«Езда твоя в Москву» со истиною сходна.
Не слишком ли груба, смела и сумасбродна?
Я слышу, на коне ямщик кричит: «Вирь-вирь!»
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.

Вот как понял Державин труд Радищева. Только как призыв к революции. А сколько там было интересного, большого, значительного! Это было ему недоступно. И не будем его за это упрекать и за это судить. Он велик в другом – велик в своей поэзии.

Я должен еще добавить, что в это время рядом с великим Державиным существовало уже очень много поэтов. В первую очередь – Херасков Михаил Матвеевич. Надо сказать, что стихами грешил и Радищев. Он написал интересную поэму «Осьмнадцатое столетие».

Вот когда наступил такой период, когда человек захотел высказать себя в поэзии.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?

Вот это состояние, которое так хорошо осознали мы в XIX веке, осознавалось поэтами XVIII века.

АНДРЕЙ БОЛОТОВ

Андрей Тимофеевич Болотов – писатель, драматург, хозяйственник, финансист, агроном, градостроитель, управляющий. Болотов получил образование в Кенигсберге. Когда была Семилетняя война с Пруссией и наши войска заняли Германию, в частности Кенигсберг (этот город

теперь называется Калининград – он второй раз попал в русские руки), тогда там, в Кенигсберге, наши оккупационные войска вели себя довольно тихо и мирно. Ничто не нарушалось: как текла эта немецкая жизнь, так она и продолжала течь. В университете проходили занятия, и Болотов ходил слушать лекции кенигсбергских профессоров. Потом, вы знаете, когда Петр III взошел на престол, он прекратил Семилетнюю войну и отдал Фридриху все русские завоевания на том основании, что Фридрих – его друг. А при Елизавете Петровне были блестящие победы над Германией.

Болотов написал два тома воспоминаний, которые называются «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». Вот в этих мемуарах очень много интересного – весь XVIII век в них представлен. Это не то, что у Державина – там какие-то отдельные случаи и сплетни. А здесь перед вами все столетие. Век Болотова был очень долгим: он пережил и Екатерину, и Павла, и даже Александра I.

Болотов был агроном, и крупный агроном. Петровская сельскохозяйственная академия ему многим обязана. Это он ввел систему травосеяния, он ввел систему чередования сельскохозяйственных культур, он начал прививать яблони. Он был не только агроном, он был человек, хорошо ориентирующийся в вопросах естествознания. И для того чтобы его знания не пропадали, он уговорил Новикова издавать журнал «Экономический магазин». Тогда многие журналы назывались «магазинами» (от *англ.* magazine – журнал). И вот первый агрономический труд справочного, руководящего порядка – это был болотовский журнал «Экономический магазин», издаваемый Новиковым. В своих мемуарах Болотов пишет, что Новиков очень хотел его приблизить к масонам. А он не хотел быть масоном и не стал им. А Новиков говорил, что и этот журнал должен быть масонским. Болотов соглашался, что он будет масонским, но журнал остался исключительно агрономическим, естественнонаучным.

Новиков, как человек умный и предприимчивый, очень хорошо понял, что такой журнал легко разойдется в России, потому что многие помещики ведут свое хозяйство вслепую. А тут все рассказано: по месяцам, по дням, по губерниям и даже уездам – где, что, когда надо сеять. И не только. Там, например, были замечательные разделы по строительству. Болотов любил строить, причем любил строить из тех материалов, которые были у него под ногами. Например, он очень умело использовал глины, пески, всякие связующие средства. Все это стоило очень дешево, но довольно прочно стояло несколько лет. Ему же принадлежит идея различных мельниц. Источником энергии для мельницы может быть не только вода, но также и ветер. И вот в губерниях, где много воды, там строят водяные мельницы, в губерниях, где бушуют ветра (это у нас юг) – там делают ветряные мельницы. Все это очень дешево и очень эффективно. Обо всем этом рассказывалось в журнале «Экономический магазин».

В своих мемуарах Болотов также описал построение домов. Это интересная часть его воспоминаний. Он был хорошим инженером-строителем. Он указывает, как и где надо строить из дерева, где нельзя строить из дерева, а можно только из кирпича, как готовить кирпич самим, не покупая его. Вообще он доказал своими работами, что натуральное хозяйство самое выгодное для государства и для его граждан. Крестьянин или помещик – они могут всё сделать на месте, сами, из тех материалов, которые у них есть, под ногами лежат. Вот это особенность болотовской экономики.

Когда читаешь мемуары Болотова, то видишь, какие интересы были у России в это время. Например, помимо естественнонаучных интересов, большой интерес в России в это время был знаете к чему?

Студент: К моде.

Н.Л.: Я должен заступиться за женщин и сказать, что интерес к одежде был не только у женщин, еще в большей степени он был у мужчин. Мужчины очень любили

одеваться в роскошные кафтаны. А что значит «роскошные»? В бархатные. Вот у нас сейчас отходит не то что мода, а такая глупая манера надевать красный пиджак. А тогда эта мода была в полном разгаре. Но это были не пиджаки, это были кафтаны – и красные, и зеленые, и голубые. Не думайте, пожалуйста, что они были плохо сшиты. Они были замечательно сшиты, и, что еще лучше, они были замечательно украшены. Пуговицы были, конечно, золотые, но не просто золотые, а в каждой золотой пуговке – по бриллианту. Этот кафтан был по бортам обшит золотым позументом, у рукавов были манжеты – прекрасные кружевные, они выходили из рукавов и ложились на полкисти руки. Так что, когда кавалер поднимал руку, она у него была украшена кружевом. И мужчины этим, конечно, кокетничали – красиво ставили руки на стол. Так что не одни женщины кокетки. В XVIII веке мужчины были страшные кокетки. Иногда это переходило границы. Они были так разодеты, что, когда приезжали во Францию, на них указывали пальцем, как на чудище. Помните, в «Бригадире»: Иванушка приехал в Париж, и все ему улыбаются. Он говорит: «Какой приятный французский народ – все улыбаются», – а они все над ним смеялись. Болотов описывает вот эту распространенную страсть к одежде.

Но я не об этом хотел говорить. Лучше всего Болотов написал о театре, о страсти к театру. Я уже вам говорил, что большой охотницей до театра была Елизавета Петровна. При ней же Сумароков начал ставить свои пьесы, при ней на малой сцене, то есть в Малом театре, появились различные переводные вещи. Она любила театр, была вообще женщиной веселой. А с тех пор как у нас появился придворный театр, он стал с необыкновенной быстротой распространяться в России по всем усадьбам. Помещики, страшные обезьяны, как и все мы, стали устраивать у себя театры, «как в Петербурге». Из этого ничего хорошего не получалось. Был, конечно, шереметевский театр в Останкине. Это был блестящий театр. У Юсупова в Архангельском – тоже был театр. Но как о нем пишет

современник, тот же Болотов: «Грустный оркестр». А о другом театре он говорит: устроил себе театр, нагнал своих баб, которые там пляшут, и думает, что это театр: бабы пляшут себе трепака, а зрители смотрят и хлопают.

Сказав о театре, я не сказал о театре Болотова. Андрей Тимофеевич в своем поместье (у него было небольшое поместье) тоже устроил театр. Он в этом театре был режиссером, декоратором, постановщиком, суфлером, то есть делал все, что делает каждый владелец театра. Причем пьесу он тоже написал сам. Пьеса его называется «Несчастные сироты». Эти «Несчастные сироты» очень напоминают нам фонвизинские комедии. Содержание этой пьесы очень простое: остались сироты, у них есть поместье, но нет ни отца, ни матери. Их хотят извести. Каким образом? Конечно, мы не американцы, у нас нет того, чтобы задушить, убить, прирезать. Нет, у нас все это было более мирно – отравить. А чем травить? Мышьяком – слишком дорого. Было все куда проще: у нас ведь природа богатая.

Студент: А, мухоморами!

Н.Л.: И мухоморами можно, но мухоморы – уж очень подчеркнута. Помимо мухоморов, есть очень много ядовитых грибов, обладающих необыкновенной силой яда. Так как эти сироты бедные, то им в качестве угощения можно принести пирожок с грибами, они его съедят и, конечно, отдадут душу Богу. Но у сирот есть защитники. Это их крепостные люди, которые вынянчили этих детей, сделались им почти как родные. Дело, конечно, кончается очень хорошо: отравительница дает пирог с ядовитыми грибами детям, а другой пирог, хороший, она сама ест и слугам, которым присматривают за сиротами, дает покушать, чтобы те на нее не наклепали. Но слуги понимают, в чем дело и переставляют пироги: пироги с ядовитыми грибами они подсовывают этой зломерзкой бабе, желающей отравить детей, а ребятам ставят те пироги, которые она для себя напекла. Интересно, что все монологи сделаны так же, как у Фонвизина. «Несчастные сироты»

так хорошо написаны, и так просто, и так естественно, и все эти сцены – они такие русские, бытовые, что видишь, что Болотов не только был агрономом, инженером, но он умел и писать – писать художественные произведения. Для него это была утеха.

Я вам скажу, что он был еще блестящий рисовальщик: он не только писал пьесы, но и рисовал декорации в своем театре. И декорации эти были, по-видимому, очень неплохие, потому что его потом приглашали в другие театры написать декорации, от чего он не отказывался. Вообще в натуре этого человека лежит необыкновенная способность к труду. Он ни от чего нигде не отказывается, он везде работает. Так как он очень хорошо работает и очень хорошо знает хозяйство, то его пригласили управляющим в одно богатое поместье – к графу Бобринскому.

Вот интересно: читаешь историю, читаешь родословные – один граф, другой граф, третий граф. Потом вдруг появляется какая-то совершенно непонятная и неизвестная фамилия – граф Бобринский. Что это такое? Откуда он? Граф Бобринский – незаконный сын Екатерины II. Обычно «дети царского греха», как тогда говорили, отправлялись за рубеж и где-то там терялись. Можно вспомнить эпизод с княжной Таракановой, объявившей себя дочерью Елизаветы, которую страшно боялась Екатерина. Как она ее боялась! Алексею Орлову было поручено поймать эту княжну: влюбить ее в себя и привезти в Петербург. Что он и сделал. Все, как было предписано царицей. Но Орлов сам увлекся княжной, и увлечение было такое сильное, что Екатерина II приказала ему жить только в Москве и не показываться в Петербурге. А княжна Тараканова была поймана. Вот это все – мемуары. Всякие мемуары XVIII века – это целый исторический роман.

Но не будем уходить от Болотова. Он был приглашен в имение Бобринского управляющим. Это огромное имение в Тульской губернии, охватывающее несколько сотен десятин земли, где помимо барского дома было очень много служб, и службы это всё работающие: это и мельницы,

это и риги, то есть склады для хранения зерновых, это целая ферма коров, это конский завод. Вы представляете, что это такое? Это почти целая страна, в полном смысле слова, с огромным хозяйством. Все понимали, что сам Бобринский с этим не управится, ибо мало кто может с этим управиться, только один Болотов мог распорядиться всем этим, один он мог сделать имение доходным, а не убыточным. Об этом Болотов хорошо написал в своих мемуарах.

Видите, я вам сегодня говорю о том, кем они были, люди XVIII века. Помещики, коневоды, агрономы, животноводы (я забыл сказать, что у Болотова есть очень интересное рассуждение о домашних птицах). Но есть еще одна очень любопытная страница в мемуарах Болотова. Помимо всего этого, они были еще философами. Вы представляете, какая интересная вещь? В XVIII веке были моды не только на платья. Стародум, помните, говорит: «На всё <...> мода: на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы». Была такая мода – увлекаться философией. Не все, но многие читали Вольтера. Читали Дидро, Даламбера. Не надо думать, что они всё это понимали, и воспринимали, и проводили в жизнь. Нет. Вон –

Русский Мирабо
Старого Гаврилу
За измятое жабо
Дует в ус и рыло.

Да, они не становились от этого чтения более интеллигентными. Но они могли «потолковать об Ювенале, в конце письма поставить vale», да помнили, «хоть не без греха, из “Энеиды” два стиха». Помните, у Пушкина в «Онегине»? Это всё люди XVIII века.

Какая же это была философия? Очень модно было быть атеистом. Ниспровергать, все ниспровергать.

И что если и впрямь существует Господь,
То он только есть вид кислорода,
Вся же суть в безначалье народа.

(А.К. Толстой. «Поток-богатырь»)

Болотов в своих мемуарах удержался от философии, философии атеизма, потому что боялся, что эти рассуждения будут неприятны господам и особенно господам, потому что боялся, что многие дамы, придерживающиеся противоположного мнения, то есть идеализма, с ним поссорятся. Общественное мнение в XVIII веке было всемогущим: оно могло человека раздавить и могло вознести. Впрочем, некоторые дамы тоже были увлечены атеистической философией. Не все, конечно. О них говорили, как о необыкновенном явлении.

Наш добрый Андрей Тимофеевич, сделавшись управляющим имения, вел тихий и мирный образ жизни. И пережил многих царей и цариц. Он похоронил Петра III, Екатерину II, он похоронил Павла, Александра I и остался еще при Николае I. Вы представляете, какая это временная амплитуда? От пугачевского бунта до наполеоновского нашествия. Вся Россия – в его воспоминаниях. Если вы будете читать его мемуары, вы увидите, что в отличие от мемуаров Державина они написаны очень хорошим языком. Болотов – стилист. Вообще всё, за что он брался, он всё делал хорошо – будь то литература, будь то живопись, будь то управление имением, будь то агрономия, строительство – он всё делал очень хорошо. Он был многосторонний человек.

И в связи с этой многосторонностью я должен сделать еще одно отступление. Это – черта XVIII века. Авторитетами были Вольтер и Руссо – энциклопедисты. Энциклопедизм предполагал множество возможностей. Каждый человек должен быть художником, должен быть врачом, должен быть поэтом. Ну, поэтом быть легче всего. Правда? А вот врачом уже труднее. Они все хотели врачевать. Дашкова этим грешила и даже делала хирургические операции: вскрывала нарывы. А Болотов нашел средство от многих болезней. Вы знаете, он ведь нашел пенициллин! Вот эту самую плесень, которую потом превратили в целебное лекарство, он нашел у себя в сарае, пробовал использовать в качестве лекарства – помогло. А так как у

него самого не было возможности практиковать, то он это открытие передал Новикову, а у Новикова была своя аптека и своя больница, и там этим первым пенициллином всех лечили.

ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА

Я в прошлый раз почти закончил рассказ о мемуарах. Мне осталось рассмотреть мемуары Екатерины Романовны Дашковой. Мемуары Дашковой писались не по-русски, и публиковались они не в России. Мы их сюда помещаем только по признаку жанра и времени.

Это очень интересные мемуары – «Записки Дашковой». Дашкова – урожденная Воронцова. Воронцов был канцлером, имел огромную власть и огромное состояние, имел огромное влияние и был человек весьма образованный не только для своего времени, но вообще хорошо образованный. Екатерина Воронцова вышла за князя Дашкова. Это был очень интересный и очень редкий брак, потому что это был брак по любви, в полном смысле этого слова. Они гордились тем, что им не нужно никакое сватовство, ни расчет наследства – они просто любили друг друга.

В «Записках» в очень краткой и сжатой форме описаны ее отношения к князю Дашкову, история их любви. Она, как умная женщина, не писала о том, какие страсти она испытывала. Она только описала один эпизод, когда она, беременная, чувствуя начавшиеся схватки, рискуя своей жизнью и жизнью будущего ребенка (ее безумный поступок мог повлечь за собой трагический исход), прибежала к князю Дашкову, который болел оспой. Вот единственный момент, который она описала в «Записках», и потом больше никогда нигде не писала о своих сердечных, душевных отношениях к этому человеку.

Но счастье это продолжалось недолго. Князь Дашков рано умер, оставив княгине своего сына, которого она, с моей точки зрения, погубила. Но это с моей точки зре-

ния. С ее точки зрения, все было по-другому. Она считала, что мальчику нужно дать хорошее образование. Теперь вы вспоминаете то, что я вам говорил об образовании: это время энциклопедических идей, время, когда считали, что человека нужно научить всему. А вот научить всему нельзя. И не надо. Надо только научить человека ко всему прикасаться и все понимать. То есть если ему что-то нужно, он должен уметь это найти. Вот этому умению находить и надо учить. А заставлять человека выучить всю географию, всю историю, всю топографию, всю астрономию, всю физику, всю химию – нельзя. Человек – это не гусь (тем более ребенок, подросток), не гусь, которого можно начинить всеми науками. Это невозможно и не нужно. Образование XVIII века имело ту трагическую сторону, что люди не понимали, что они – люди и что в их распоряжении очень немного возможностей, и эти возможности они должны использовать разумно. Княгиня Дашкова составила специальный учебный план для своего сына. Она просчитала все, что он должен знать, и все, что ему в жизни пригодится. И конечно, из этого абсолютно ничего не получилось.

Очень подробно Дашкова описала свои отношения с Екатериной II. Она описала саму Екатерину. Вначале это была дружба необыкновенная. Кто из них больше лгал, я не знаю, думаю, что все-таки Екатерина II, а не Екатерина Дашкова, потому что Дашкова потом осталась верна в оценках своего кумира. Кумиром была Екатерина II. Для нее все было сделано. Дашкова подготовила дворцовый переворот, то есть уголовное преступление совершил Орлов, а вот всю юридическую часть, всю процедуру возведения на престол взяла на себя Дашкова. Но она никогда не могла простить Екатерине ее интимно-вульгарных отношений с Григорием Орловым. Она пишет в своих воспоминаниях, что, войдя к Екатерине, она увидела, что стол накрыт на три персоны. Дашкова никак не могла допустить, что в ее присутствии Екатерина может пригласить Орлова (этого парвеню, выскочку) за стол. Это ее по-

коробило, и с тех пор она избегала личных свиданий с императрицей.

Мы обязаны Екатерине Дашковой очень многим. Прежде всего, Академией наук. У нас с Академией наук все не ладилось. Президентами там были наемные немцы. Их, конечно, избирали, но они получали порядочную мзду за всю эту деятельность. Екатерина II распорядилась по-другому: избрать Екатерину Романовну Дашкову на пост Президента Академии. Та говорила: «Это очень лестно, но я человек, совершенно не сведущий в науках». На что императрица отвечала: «Все в будущем». – «Я не имею никакого влияния на ученых». – «Надо распространить свое влияние, вы женщина». Когда Дашкова говорила, что Академия наук – это не клуб флирта, Екатерина отвечала: «Все большие дела, все государственные события определяются политикой женщин. Они управляют миром. А вы не можете с Академией наук справиться?» И действительно, Дашкова справилась с Академией наук, она была президентом Академии, она призвала многих русских способных людей работать в Академии наук. Было обращено внимание на студентов Московского университета, на студентов Петербургского университета. Особенно Московский университет славился своей талантливой молодежью, из которой и сформировалась русская интеллигенция в дальнейшем. При Дашковой Академия выпустила «Словарь Академии Российской».

ЕКАТЕРИНА II

Рядом с мемуарами всегда находится еще одна область литературы. Это эпистолография, письма. Письма – это одна из форм тренировки писательского труда. Недаром в нашей литературе, вообще в литературе существует так много писем: «Письма Эрнеста и Доравры» Ф. Эмина, «Письма русского путешественника» Н. Карамзина, «Бедные люди» – роман в девяти письмах Ф. Достоевского. Письма – вообще очень удобная форма. Человек нигде не

бывает так искренен и многоречив, как в письме. Письмо даже лучше дневника в этом смысле. Поэтому очень интересный материал представляет в XVIII веке эпистолография. Вот если вы хотите действительно ощутить образ Екатерины II и так понять его, как его понял Пушкин (у Пушкина он только в одном произведении хорошо раскрыт – в «Капитанской дочке»), то надо прочитать книгу, подготовленную бывшим студентом исторического факультета В.С. Лопатиным, «Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка». В своем предисловии Лопатин пишет, что если нет такой переписки, то вся история представляется мифологией. Это преувеличение, конечно. Но очень любопытно то, что он придает огромное значение этой переписке. Переписка имеет большое значение как в истории литературы, как в истории культуры, так и в истории людей, которые ведут эту переписку. Так что когда вы пишете письма, имейте в виду, что вы пишете не только для себя и для своего корреспондента, вы пишете для истории. Это я говорю без всякого преувеличения, потому что частная переписка нередко является таким документом, без которого, действительно, факты истории перестают звучать. К тому же в истории, как вы знаете, всегда очень много субъективного, идущего от корреспондента, идущего от многих и многих привходящих моментов – исторических, социальных, партийных и прочих.

Лопатин умудрился собрать все писульки, все записки, все черновики, все записочки, которые Потемкин писал Екатерине. Письма Екатерины легче было собрать, а письма Потемкина очень трудно. Надо сказать, что эта переписка – необыкновенно интересная вещь. Это целый мир. Дело в том, что Екатерина – авантюрная женщина. О ней много написано в беллетристическом плане, о ней довольно интересно написано в историческом плане и еще больше написано в мемуарном плане. Но никто не написал настоящий образ этой женщины. Иностранка, приехавшая в Россию с твердым намерением стать императрицей этой великой страны. Она об этом впоследствии на-

писала очень откровенно. Брак с Петром III для нее был пустой формальностью: она никогда его не любила и вообще не признавала за человека. Она считала его, как теперь говорят, недоумком, человеком неразвитым, необразованным и вздорным. Она не находила в России людей, с которыми могла бы общаться. Елизавета Петровна, которая привезла ее в Россию, смотрела на нее как на материал, из которого надо слепить русскую царицу. И это ей не удавалось. Елизавета требовала, во-первых, чтобы та ходила в баню. Баня – это наше национальное учреждение. Она сохранилась не потому, что негде мыться, а потому, что это очень приятно – стегать себя березовым веником, лежать на полке и млеть; а потом, все русские люди так мылись. Какая-нибудь там сауна – да пропади она пропадом, сауна, – в бане тебя так веником отшлепают! А еще хорошо после бани выпить холодного кваса. Елизавета Петровна так и делала сама. И она хотела, чтобы эта девчонка тоже мылась в бане. А девчонка не хотела – не хотела ни париться, ни квасу пить. Елизавета Петровна требовала, чтобы она приняла православие, – как же она станет русской царицей, будучи католичкой. На что это похоже! Перекрестили ее быстро – стала православной, имя нарекли – Екатерина. А вот дальше уже было хуже. Елизавета Петровна, как женщина русская, выросшая в законе, знала, что в среду и пятницу не надо есть, а надо поститься. А эта немецкая мамзель говорила, что это вредно для желудка. Вы понимаете, какую бурю негодования это вызывало у Елизаветы Петровны? Как это пост может быть вреден для желудка? К тому же Елизавета Петровна послала свою племянницу (если исходить из того, что Петр III был ее племянником) в церковь стоять утреню, обедню, вечерню. А та говорила, что католики всегда сидят. Опять негодование! Какое нам дело до католиков? Пусть хоть лежат! А нам стоять полагается. Так что Екатерина Алексеевна жила в затруднительных условиях. Но самое, конечно, неприятное было то, что Елизавета Петровна требовала, чтобы она рожала – нужен наследник на русский престол.

А она говорила: нет, не могу. Тогда та уже подходила чисто теоретически, что, если, дескать, Петр Федорович – человек неспособный к этому делу, выбери себе, кого хочешь, вот из этих троих. Екатерина, ничуть не смущаясь, сказала: «Я выбираю всех трех». Тут уж Елизавета Петровна не выдержала, махнула рукой и больше к племяннице не приставала. Вот так в этих условиях росла и складывалась московская царица Екатерина II.

А потом, конечно, появились амуры. «Пора пришла – она влюбилась». Влюбляться было легко: прикажет кому-нибудь себя любить, тот и будет любить. Но, конечно, это была не любовь, и Екатерина никогда не была любима: нельзя же любить по приказу. И вот эта большая, настоящая женская любовь пришла к Екатерине II, когда она встретила Потемкина. Потемкин – человек очень интересный. Как он попал ко двору, как это все стряслось?

XVIII век вообще полон неожиданностей. Вы, наверное, обратили внимание, что там всё люди, которые «попали в случай». Так было и с Потемкиным. Так было и с Орловыми. Орловы привлекали, конечно, удалью и бесшабашностью. На Орловых можно было положиться: эти кого хошь убьют и все, что им прикажут, сделают. Дикари и разбойники. Правда, Орловых сейчас усиленно реабилитируют, говорят, что один из Орловых сделал очень много для России: вывел особую породу рысаков. Наверное, вы слышали такое выражение – «орловский рысак». Это, действительно, русская порода, выведенная Орловым. Орловы очень много сделали для сельского хозяйства. Но интеллектуальный, духовный мир у них был крайне ограничен. Они были ребята молодцы, на все руки, особенно в драке. Здесь им равных не было.

Потемкин попал ко двору совершенно случайно, так же как Разумовский. Вы знаете, что Елизавета Петровна была замужем за Разумовским. Это был своеобразный брак: ей разрешили выйти замуж за него с тем условием, что их дети ничего не будут наследовать. Разумовский был необыкновенно красив. Елизавета увидела его в церкви – на

клиросе пел. Вот и представьте себе огромного детину, брюнета, с чудным баритоном. Ну, как в него не влюбиться! Елизавета Петровна и влюбилась. А когда влюбилась, когда стали жить, она и сказала ему: «Жить без Божьего благословения нельзя, надо повенчаться». И ночью тихонько повенчались в Москве. Так что Разумовский был мужем императрицы, но не был ни царем, ни принцем, ни придворным человеком. Прецедент для Екатерины был.

До смеха случаи совпадают. Потемкин учился в Немецкой слободе в заведении Литкена, затем поступил в гимназию при Московском университете, был отмечен как лучший студент и представлен ко двору. Но вскоре обленился и был исключен за непосещение. Далее обычная военная карьера и – письменное обращение к императрице с рядом проектов. Тогда он был замечен государыней, в дальнейшем приближен как человек умный, талантливый, необыкновенно красивый, с прекрасным голосом. Артистизм его был покоряющий. Можете себе представить: мужчина огромного роста, брюнет, с чудным баритоном! Впечатляет? Немудрено. Он действительно был необыкновенный человек. Но, по моим представлениям, он был все-таки человек больной – больной шизофренией. У него были периоды депрессии, когда он ничего не мог делать. Он призывал дежурного офицера и требовал, чтобы тот ему читал псалмы. Вот тот бубнит. Потемкин слушает, слушает, а потом говорит: «Ведь завтра надо в походы идти!» Всё это – пюпитр, молитвенник – всё летит. «Прошка, форму!» На него натягивают форму – и он уже совсем другой человек. Такие приступы у него бывали довольно часто.

Хитрая немочка, тогда уже будучи царицей, заметила его и приблизила к себе. И увидела, что этот московский медведь знает науки не хуже, чем она, что он прекрасно знает латынь, античных авторов. К Вольтеру, Дидро и Руссо он относится не то что снисходительно, но во всяком случае, как и полагается всякому просвещенному человеку, критически – у всех он находит какие-то

недостатки: Руссо необразован, Вольтер слишком циничен, версификации (стихотворства) не знает. А он все это превзошел в гимназии, уж там-то их выдрессировали. Почему выдрессировали? Потому что для тех людей, которые там учились, единственной возможностью устоять в жизни было образование. У них не было ни связей, ни достояния, то есть наследства (земель, поместий), – ничего у них не было. Но как раз гимназия, университет и дают стране людей необыкновенно памятливых, знающих. Никто другой не может рассказать нам так хорошо историю России, как они. На что она нам? А вот приходит время заключать договор с другой державой, здесь надо всё вспомнить, как было в XI, в XII, в XIII, в XIV, в XV веках, где какие проходили границы, кто какими землями владел, для того чтобы сказать, что эта земля наша. Вот Потемкин был человек образованный и схоластически выученный. Представьте, какого соперника Екатерина подготовила для Орловых!

На этой почве даже была «русская дуэль» у Потемкина с Орловым. Вы знаете, что такое «русская дуэль»? Это очень простое дело – когда друг друга мужики бьют под микитки. Без всяких правил. Что там в Европе – секунданты, сходятся-расходятся... Нет! Орлов напал на Потемкина, Потемкин ему наподдал, а Орлов ему глаз выбил. Зато и Потемкин его измял, потому что сызмальства привык к кулачным боям: у нас это был самый распространенный спорт. На этом дуэль и прекратилась. Оба они служили государыне, и оба были врагами и соперниками на российском любовном фронте. (Я был удивлен, когда недавно по телевизору услышал, что вводится «новый» вид спорта – кулачный бой, бой без правил. Можно бить противника как угодно и по чему угодно.)

В этих сообщениях, конечно, наличествует анекдотический элемент. Но этот элемент очень много проливает света действительности на факты, на события, происходившие в то время. Благодаря им мы, безусловно, психологически приближаемся к тому времени.

Вот этот человек, дикий, медведь, но чисто русский медведь, сказал Екатерине: «Интересы России – на Востоке. Нам нужен Константинополь. Россия должна простираться не только до Константинополя, но поглощать те пределы, которые турки отвоевали у греков». С точки зрения Потемкина, главная опасность была в Турции. Восток – вот что самое страшное для России. Его мечта была – Константинополь. Мечта эта, конечно, пленяла и Екатерину, которая была влюблена в Потемкина. Русские притязания на Константинополь, то есть борьба за Босфор и Дарданеллы, – это та борьба, которая продолжалась весь XVIII и весь XIX век, и война 1914 года, то есть Первая мировая война, – это была война за Константинополь, за проливы Босфор и Дарданеллы, это была война, в которой никто не выиграл.

Второму внуку Екатерины при крещении даже дано было имя Константин, потому что он должен был сделаться императором Константинополя. Она очень хорошо понимала, что все наши интересы лежат на Востоке, что нам нужно завоевать Константинополь, что это миссия России.

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс.

Но случилось так, что она этого не смогла сделать. Почему? Ведь, собственно, очень многое уже было сделано для того, чтобы овладеть Константинополем. Уже были завоеваны Молдавия, часть Румынии. Это все совершалось под непосредственным, как теперь говорят, руководством Потемкина. А руководство его было в том, что он не препятствовал начинаниям, и тем сделал благое дело. Воевать он не умел, но он очень умело подбирал людей, которые склонны к войне. Он завоевал Крым. Теперь надо завоевать Константинополь. Его движение на Восток было необыкновенно сильным. Екатерине это очень нравилось. Но Константинополь он не завоевал. Помешала случайность. Екатерина хотя и была сторонницей женской эмансипации, сама своими страстями не владела. Как человек неуравновешенный, как человек неустойчивый и перемен-

чивый, она очень скоро разочаровалась в Потемкине. Причем разочаровалась во всем: в его знаниях, в его достоинствах, в его голосе, в его умениях – ей все показалось плохим. А главное – в его возрасте. Екатерина хотела, чтобы ее друг был человек молодой: «Он старик!» Хотя он не был стариком.

Потемкин узнал о своей отставке. Для него это была целая трагедия. Заявляя, что он едет в Петербург «зубы дергать», Потемкин дает ясно понять, что эта фраза относится к Зубову, вытеснившему Потемкина из сердца и жизни императрицы. Разрыв Екатерины с Потемкиным был для нее не менее тяжел, чем для последнего. Человеческие слабости возобладали над государственными интересами. Только этим можно объяснить ее письмо Григорию Александровичу, где она дает ему ряд важнейших государственных поручений, делая вид, что якобы ничего не произошло между ними.

Он не пережил этого разрыва. Он умер, возвращаясь из Бессарабии в Россию. И уж совсем анекдотом звучит «историческое» свидетельство – медицинское: умер от малярии. Пора, кажется, привыкнуть к таким свидетельствам о смерти, где истинной причины эскулап никогда не указывает. Диагноз всегда «объективен» и сомнителен.

Вся эта драма, Екатерины и Потемкина, описана в этих письмах. Вот почему мне очень хочется, чтобы вы их прочитали. И не когда-нибудь, а именно теперь, когда вы занимаетесь XVIII веком.

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

Время, в которое начинал писать Карамзин, справедливо называется эпохой классицизма. Мы, конечно, во многом обязаны здесь в первую очередь Франции, потому что она была законодательницей тех норм классицизма, которые унаследовала от античного мира. Многие исследователи называли это время эпохой не классицизма, а ложноклассицизма, указывая, что новое время не воспроизводит классических образцов, классических норм античного мира. Конечно, то, что было в XVII–XVIII веках в Европе, не было повторением классического мира античности, хотя был сохранен и закон единства (единства времени, единства места, единства действия), была сохранена и система имен-характеристик. Конечно, все это было.

Это величайший, крупнейший период в жизни человечества, не только России. Классицизм – это явление общемировое, европейское. Мы уже говорили, что классицизм – такое направление в искусстве, в жизни, в мышлении, в ощущении, где все подчинено разуму, рациональному началу, где все обоснованно, все строго, все – я бы сказал – геометрично. Это искусство охватывало буквально все сферы человеческой жизни. Та строгость, рационализм, почти геометричность, которая соблюдалась в архитектуре, также соблюдалась и в литературе, и, если хотите, в науке. Очень интересно можно рассуждать о классицистической драме, где было обязательно, чтобы порок был посрамлен, а добродетель торжествовала. Но если вы вдумаетесь во все эти доктрины, то все-таки не сможете

отказать себе в том, чтобы упрекнуть классицистов в искусственности, нежизненности. Вот, допустим, в драматургии местом действия был дворец или храм. Очень редко в этой драматургии изображается площадь, то есть масса, толпа, очень редко можно было говорить о том, что все люди одинаковы. Нет, здесь есть герои и есть серая масса. Вот произведения классициста – это произведения о героях. И поэтому пьесы классицистические всегда были посвящены героям. Но если вы вдумаетесь в это, вы скажете, что жизнь состоит не только из одних героев и даже не герои определяют жизнь, определяют действительность. Её, жизнь, определяют многоликие, многочисленные человеческие судьбы.

Я все это говорю к тому, что Карамзин был одним из первых писателей в нашей литературе, который выступил против этого классицистического, рационалистического отношения к искусству, к человеку, к жизни. Конечно, он не был тем, кому покорился мир. Уже до него говорили о том, что есть и другое миропонимание, а именно – понимание сентиментальное. Что такое «сентимент»? Сейчас это почти пренебрежительное слово: «Ах, эти сентименты!» Сентиментальность – значит чувствительность, самое главное в человеке и искусстве – это чувство. У Карамзина даже есть такая статья, которая называется «Чувствительный и холодный» – о рационалисте и романтике. Один человек все определяет, как мы бы сказали, умственно, а другой все определяет чувственно. Один исходит из пользы, а другой исходит из чувства. Польза не является единственным удовлетворением человека. Это минутное, а если не минутное, то не вечное, а если даже вы скажете, что польза рациональна, то противник скажет: она выгодна, но холодна и бесчувственна, она не дает наслаждения человеку. Человек наслаждается не только материальными благами, человек наслаждается чувствами, которые превыше всех материальных благ. И это очень интересно.

Когда вы входите в классицистический парк, вы видите подвесные аллеи, фонтаны, зеленую скульптуру. Зе-

леная скульптура – это особым образом подстриженные деревья и кустарники. Из них можно сделать все, что угодно: можно сделать человека, можно сделать животное. Вот ты идешь по аллее, и вдруг навстречу тебе лев, такой же зеленый, как все остальное. На самом деле он не лев, это только зеленая скульптура, но человек того времени был в восхищении от того, что он на дорожке увидел льва и лев его не укусил. Лев – царь природы, и человек тоже царь, но царь, который может сделать все.

Но эти подвесные аллеи, эти замечательные фонтаны, эти зеленые скульптуры очень быстро человеку прискучили, надоели, потому что не находил он здесь «уединения более с собой». Природа должна быть такой, как у Жан-Жака Руссо: это та, с которой ты можешь говорить один на один, тебе не нужны свидетели. Зачем тебе все эти зеленые скульптуры, эти блестящие фонтаны, эти роскошные дорожки, строго распланированные, расположенные в геометрической пропорции – точно так же, как в XVII веке во Франции у Людовика-Солнца, Людовика XIV. Вы знаете, что на приемах он выходил в зал, и придворные располагались лучами около него, то есть он стоял в центре, а из этого центра-солнца исходили человеческие лучи, обогревающие весь мир. Вот это, может быть, очень красиво. Но это все-таки маскарад. Человек XVIII века устал от этой искусственной красоты. Ему нужна была естественная красота, ему нужен был человек с его чувствами и переживаниями, с житейскими ощущениями. И они должны были найти отзвук в искусстве.

Карамзин был тот писатель, который понял, что классицизм бессилен ответить на те вопросы, которые предлагает себе человек. Почему он предлагает? А потому что он живет уже другим миром: «имей сердце, имей душу – и будешь человек во всякое время». Его уже не удовлетворяют ни дворцы, ни парки, ни блестящие выходы, ни праздники, ни балы. Его удовлетворяет другая жизнь: «в уединении я более с собой». Размышления, разговор с собственным сердцем, вопросы и ответы самому

себе – вот что сейчас стало предметом литературы. Вы спросите: почему так случилось, почему это все произошло? Это все произошло потому, что люди, человечество встали на другую ступень развития. И прежде всего, развития не столько цивилизованного, сколько культурного. Цивилизация – это внешнее устройство. Цивилизация – это комфорт. Цивилизация в какой-то степени даже роскошь, потому что комфорт всегда на грани роскоши. А культура? Культура – это создание внутреннего мира человека. Вот в этом смысле очень интересна ошибка Чаадаева. Вы знаете такого человека? Петр Яковлевич Чаадаев, знакомый Пушкина и ваш знакомый. Его ошибка в том, что он говорил, что английский парламент ему куда ближе, чем чум самоеда (это эвенки или поморы, хотя, по невежеству, их называли самоеды. Это такая чисто бабская, пренебрежительная форма отношения к так называемым малым народам). Так вот, для Чаадаева английский парламент есть идеал, а чум, прогоркший от жира и запаха, – это то, что ему чуждо. В то время как в этом чуме собираются такие же парламентарии, у них тоже свой стиль жизни, тоже избирательная система. То есть они такие же люди, только стоящие на другой ступени цивилизации по историческим, географическим причинам. Интересно, что когда в России произошла революция и все эти малые народы оказались не малыми, то есть выяснилось, что их мир совсем не так беден, как это представляют люди, считающие их колониальными народами, то многие, многие понятия исчезли. И вот здесь и встал вопрос культуры и цивилизации. Дело в том, что если человек кончил университет, это еще совсем не значит, что он культурный. Но то, что он цивилизован, – безусловно. То, что ему привиты определенные навыки нового времени, то есть времени цивилизации, безусловно. А вот культура – это то внутреннее, что создается человеком на протяжении многих веков, то, что передается, то, к чему вырастает человек. Поэтому какой-нибудь абхазец бывает куда культурнее, чем европеец, но абсо-

лютно нецивилизован. Если, конечно, он нахватал какие-то там верхушки цивилизации и перенял их, то они вовсе еще не вошли в плоть и кровь этого человека, этой народности.

Вот Карамзин все это понял. Он понял, что он человек другой степени культуры. И тогда-то у него и сложилось то, что называется новый взгляд на жизнь, новое отношение к окружающему миру. Тогда он стал сентименталистом, то есть поэтом, писателем чувства. Я не хочу сказать, что до Карамзина этого не было. Нет, конечно, Карамзин был тот писатель, который поглотил, в полном смысле слова, культуру и цивилизацию Европы.

Вот третья часть курса и посвящена становлению русского интеллигента на материале творчества Карамзина. Ему нужно было понять, кто же он есть, в чем его суть. И, конечно, здесь началось чтение.

Мы алчем жизнь узнать заране,
И узнаем ее в романе.

Огромное количество книг было прочитано Карамзиным. Вообще XVIII век характерен для России поглощением книг. Они как оголтелые читали, потому что чувствовали: я – человек, но что это такое – они не отдавали себе отчет. Они ехали за море. Они ехали в эту Германию – отсталую, кстати говоря, страну, но у немцев, уже была развита философия, у них уже был Шеллинг, Фихте, Гегель, – и жадно это впитывали, но многого не понимали в классической философии, то есть в той самой философии, которую немцы получили от античного мира. Но немцы это все осознали. «Сумрачный германский гений» это все принял, и русский путешественник, русский читатель отправлялся в эту туманную Германию для того, чтобы познать, что же такое феноменология духа, что такое отрицание отрицания. Конечно, ехали не только туда. Ехали в Швейцарию, потому что Швейцария – это родина Жан-Жака Руссо. Ехали во Францию – и там они встречали антипода Руссо – Вольтера. Кстати говоря, они друг друга ненавидели. Руссо ненавидел Вольтера, а тот ненавидел

Руссо. Предприимчивый и расчетливый Вольтер создал себе состояние, обеспечил материальное благополучие и определенное положение во Франции и при дворе. А Руссо, женеvский часовщик, был почти нищий. Он никуда не хотел идти, он был влюблен в это Женевское озеро. И когда Вольтер ему предложил (оскорбительное предложение!) поселиться у него, на одной из вилл, можете себе представить, как он это принял!

А у немцев в это время был Гёте.

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.
Изведен, испытан им весь человек!

(Е.А. Баратынский «На смерть Гёте»)

Он написал «Страдания молодого Вертера», произведение, которое на протяжении почти полувека волновало весь мир, и особенно Россию. Не было такого интеллигентного человека в России, который бы не прочитал «Вертера». Что там волнует? Чувство. Какое? Любовь. Все меняется: географическая карта, воззрения, деньги, – а любовь не меняется. Она как беззаконная комета. Вот эта беззаконная комета и привлекает людей. У классицистов что? Там обязательно: любит – не любит. Не любит – значит, кинжал в грудь. Любит – ура! Для Карамзина это уже было неубедительно. Он уже был заражен и «Вертером», он был заражен Руссо.

Вот в этой атмосфере Европы и России рос Карамзин. В одной из лекций я вам прочитаю такой раздел, как «Карамзин и Европа», где мы будем рассматривать замечательное произведение – «Письма русского путешественника». Но сегодня о другом. Сегодня о пути в литературу.

Итак, все определилось. Определилось то, что Карамзин – писатель. Вы знаете, писатель должен быть проповедником, то есть он должен говорить с сердцем человека. И если вы скажете, что Карамзин – писатель-психолог, то вы не ошибетесь. А если я вам скажу, что Карамзин влиял на Достоевского, то я тоже не ошибусь. А если вы меня спросите, каково влияние Карамзина на русскую

литературу, то я отвечаю: огромное, хотя это в наше время почти никто не признает.

Он сентименталист. Он поэт в широком смысле этого слова – по восприятию и выражению мира. Поэзия – это тот мир, где слово значит больше, чем заключено в рамках лексического значения. Значение слова очень велико. Вернее сказать, что слово многозначно. Но эта многозначность слова – только в поэзии. Если вы это будете применять на практике, в жизни, в письме, даже в прозе, то, кроме конфуза, из этого ничего не получится. А вот в поэзии слово больше, чем его номинальное значение, куда больше. Я вам прочитаю стихотворение, которое, кажется, никакого смысла не имеет:

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копыя заката
Протянули ко мне острие.
<...>

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой Рукой!
(А. Блок «Ты в поля отошла без возврата...»)

О чем здесь сказано? Какая здесь информация, как теперь говорят? И вообще, смотрите: «О, исторгни ржавую душу!» Почему душа должна ржаветь? Ей хорошо, если она заржавела? «Со святыми меня упокой» – это кого? душу? или того, кто это пишет? «Ты, Держащая море и сушу // неподвижно тонкой Рукой!» О ком это речь? А в то же время это очень красиво, вы не находите?

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой Рукой!

Красиво, и в смысле инструментовки хорошо, и в смысле ритма хорошо. А вот в смысле смысла? Какой смысл? Вот первое, что я хотел сказать, что Карамзин этот

смысл нашел. Он написал замечательное стихотворение «Меланхолия», это его программное стихотворение:

О Меланхолия! нежнейший перелив
 От скорби и тоски к утехам наслажденья!
 Веселья нет еще, и нет уже мученья;
 Отчаянье прошло... Но, слезы осушив,
 Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь
 И матери своей, Печали, вид имеешь.

Человек не может быть всегда хи-хи-хи, ха-ха-ха, похожим на смехача-клоуна. У него наступают минуты грусти. Это не так плохо. Эта грусть связана с полярными периодами в жизни человека: когда человек еще молод, когда чаша бытия только коснулась его губ, и когда он начинает понимать, что есть еще и другое, и для каждого человека это «другое» – страшное – старость. Он весел и боится, что это веселье уйдет, он боится, что это веселье не вечно. Ему так хорошо, но наступит время, когда будет грустно. И так действительно делается. Приливы и отливы веселья и грусти, радости и печали. Но печаль – это не так плохо. Потому что если нет печали, то не будет и радости. Палитра всегда должна быть разнообразна.

О Меланхолия! нежнейший перелив
 От скорби и тоски к утехам наслажденья!

И Карамзин понял, что перелив, который есть в душе человека, можно выразить в словах, в звуках. Это стихотворение программное. Он об этом и будет писать. Но был бы он стихотворец! Карамзин очень хорошо понимал, что поэт – это дар богов, что поэтом надо родиться.

Не для житейского волненья,
 Не для корысти, не для битв,
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуков сладких и молитв.

А он, Карамзин, рожден для того, чтобы понять: «се человек».

Среди русских писателей он особенно интересен. Вы на втором курсе? Какие вы счастливые. И вы знаете по-

чему? Сказать? А вы не обидитесь? Потому что вы ничего не знаете, и в этом огромное счастье, потому что перед вами мир открывается все новыми и новыми своими страницами. Вот Карамзин был точно в таком состоянии, в каком вы сейчас. Перед ним тоже раскрывался этот мир, он тоже ничего не знал. Как теперь говорят, информации у него было меньше, чем у вас. Но он понимал, что он не поэт. Поэтому обратился к прозе. Вся его литературная деятельность, конечно, прозаическая. Он прозаик. «Меланхолия» – удачное стихотворение, удачная находка, а вообще он прозаик. В прозе он себя чувствует легко и свободно. Как мы увидим потом, он пробовал себя абсолютно во всех жанрах.

И вот этот прозаик выступает перед нами как совершенно оригинальная личность – по охвату материала. Ему доступны самые различные области человеческого существования. Здесь и романтические чувства, и жертва, здесь и несчастная любовь, и отчаяние, и восторг – весь мир человеческих ощущений и поступков. Все знают Карамзина как писателя каких повестей? Во-первых, конечно, «Бедной Лизы».

Здесь утопилася Эрастова невеста.

Топитесь, девушки, в пруду есть много места!

Вот такая эпиграмма сопровождала эту повесть. Когда «Бедная Лиза» была напечатана, появилось очень много повестей, написанных на ту же тему. В общем, можно было назвать почти пятнадцать повестей, которые были написаны на ту же тему. То, что «Бедная Лиза» была самым популярным произведением в России, – это совершенно верно. И то, что она вызвала эту эпиграмму (и не одну эпиграмму), – это тоже понятно. Потому что всякое произведение, которое делается очень популярным, обязательно порождает эпиграммы.

Но самое замечательное, конечно, в «Бедной Лизе» – это открытие Карамзина: «и крестьянки любить умеют», и крестьянки чувствовать умеют. Вот это была целая революция. Вы не думайте, что он так это сказал, по вдохнове-

нию. Нет, не только. Он сказал то, что уже было осознано. Вспомните Парашу Жемчугову, эту знаменитую актрису шереметевского театра. Роман был очень простой: Шереметев шел по своим владеньям и увидел девушку, которая шла навстречу. Он ее спрашивает: «Ты чья, красавица?» Она отвечает: «Я раба господина графа Шереметева». Эта раба стала госпожой. В XVIII веке, веке предрассудков, Шереметев все-таки женился на своей рабе, потому что он ее очень любил. И она ему отвечала тем же. Это была трагическая любовь. Параша умерла очень скоро от чахотки. Вы, конечно, сейчас говорите: почему он не мог ее вылечить? Что, туберкулез такая страшная болезнь? Да, от этой болезни умирали цари и их дети.

Так вот, «и крестьянки любить умеют», и крестьянки чувствовать умеют. На первом месте – чувство. Вот это то самое чувство, о котором нужно писать. Не о баталиях, не о сражениях, не о победах, не о генералах, не о героях, а о чувствах.

Тема Карамзиным найдена. Но все дело в том, что жизнь остается жизнью. В жизни очень много перипетий – бытовых, смешных, комических, трагических. Как с этим быть? И Карамзин на это ответил. Он стал писать повести. Причем повести самые различные. Вот появляется повесть «Наталья, боярская дочь». И в ней есть всё. Но это «всё» как раз и мешает. Автору нужно выкристаллизовать одну идею, центральную тему. Вокруг этой идеи может группироваться сколько угодно второстепенных, третьестепенных. В повести «Наталья, боярская дочь» какая идея? Идея любви. Но эта повесть вместила в себя всё: и любовь, и жизнь, и события, и историю. Не слишком ли много всего? Вот эти привходящие идеи – они мешают. Получился лубок. И произведение поблекло. К нему потом очень редко обращались. И Карамзин сам это очень хорошо понимал.

Он ищет в жизни другую тему. Какая тема должна захватить писателя? Тема жертвы. Вы обращали внимание на то, что жертва всегда захватывает читателя, так

же как и писателя? В жертве есть что-то таинственно-прекрасное. Жертва – то, что необъяснимо. Откуда появляется эта способность к жертвенности, никто еще не сказал. Говорят, конечно, «он пожертвовал ради идеи», но как это осуществилось, как это мог он сделать, какая внутренняя сила его побудила к этому – на этот вопрос нет ответа. И Карамзин пишет такую интересную повесть, как «Марфа-посадница». Это уже исторический материал. Содержание этой повести очень хорошо: Марфа-посадница, последние дни Новгорода Великого, покорение Новгорода Москвой, изображение участия монарха в этих событиях. Марфа Борецкая – посадница, в ее руках много власти. В сущности, всю политическую интригу ведет она. Она выгоняет монаха, который говорит: горе тебя ждет, и не только тебя, но весь Новгород наш. Она не придает этому значения. Но он второй раз приходит на пир, на братчину, и плачет там. А она не понимает, что за кривлянье у этого монашонка. И когда Борецкая взглянула на сидящих за трапезой, то увидела знакомых бояр без голов. Вещее предзнаменование. Повесть полна глубокого трагизма. Это даже не драматизм, это трагизм. И вот, как это часто бывает в жизни и в искусстве, у автора, у Карамзина, здесь предвосхищена еще одна стезя в литературе – это история. И мы еще будем об этом говорить.

Я сегодня буду говорить о «Письмах русского путешественника». Я бы хотел, чтобы вы прочитали об этом прекрасную монографию В. Сиповского, которая так и называется: «Карамзин, автор “Писем русского путешественника”». Я скажу вам так: если бы Карамзин написал только две книги – «Письма...» и «Историю государства Российского», то и тогда его значение было бы огромно. Вот в это время, между «Письмами русского путешественника» и «Историей государства Российского», прошла вся жизнь Карамзина.

В «Письмах русского путешественника» перед нами встает молодой человек, который путешествует по

Европе. Мы с незапамятных веков смотрим на Европу как на источник познания. Недаром существует варяжская теория: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Эта теория многими демагогически используется. На Западе она используется как тезис, что Россия – это не историческое явление, то есть русский народ – не исторический народ.

Это та самая схема Гегеля, который поделил весь мир на исторические и неисторические народы. И Россия попадает в неисторические народы по его схеме уже потому, что она слишком поздно появилась на театре европейского развития. На эту теорию потом было очень много ответов. Но оставим их пока в стороне. Они нам сейчас не нужны. Сейчас нам нужно понять, что Карамзин, как и его соплеменники, начиная с петровских времен смотрели на Европу как на кладовую великих знаний и открытий. И поэтому Карамзину, естественно, хотелось объехать всю Европу.

Хотел объехать целый мир,
А не объехал сотой доли.

И он совершил это путешествие. Из каждого города, где он был, он писал письма. Писал в Россию, своим друзьям, своим знакомым. Письма вначале адресованы к лицам, но вскоре они теряют адресата; и Карамзин начинает писать о том, что он видит. Потом эти письма составили целый том.

Карамзин открыл собою новую страницу в литературе. После «Писем...» в русской литературе появилось очень много описаний путешествий. Русские писатели, словно набросились на этот жанр и стали писать и писать. Весь XIX век в путешествиях. Здесь и Гончаров, здесь и Григорович, здесь вся интеллектуальная жизнь России. Но пока это все впереди у вас. Пусть об этом вам говорит тот профессор, который будет читать XIX век. У меня более скромная задача – жанр путешествия в XVIII веке, «Письма русского путешественника».

Вспомним, какое это время, когда Карамзин совершает свое путешествие, какие фигуры существуют тогда в мире и в России, что совершается.

Чем замечателен XVIII век? В первую очередь тем (сейчас это стало уже трюизмом), что XVIII век был «окном в Европу», тем, что начиная с этого века Россия перестала быть полуазиатским государством. Она делается в полном смысле этого слова европейским государством. И это ее европейское положение сохраняется вплоть до нашего времени. Это заслуга XVIII века. Не так просто было совершить скачок в несколько столетий, для того чтобы сравняться с Европой в культуре, в знаниях, в мышлении, в открытиях.

Это «громкий век военных споров» и по преимуществу громких побед на суше и на море. Это период морских завоеваний, а еще больше – морских открытий. В это время открыт Берингов пролив. Беринг, русский капитан (он не русский по национальности, но состоял на русской службе), начал служить рано, еще при Петре, и прослужил почти всю первую половину XVIII века. Им открыт целый ряд островов, им открыт пролив, носящий его имя – Берингов пролив. В это же время была открыта Камчатка. Открыта, но еще не описана. Только позднее будет экспедиция на Камчатку и появится «Описание земли Камчатской» С.П. Крашенинникова. Когда развернешь перед собой географическую карту и начинаешь смотреть – что, когда, где было присоединено к России, то поражаешься, что XVIII век поглотил все крупнейшие морские победы, все крупнейшие морские открытия. Правда, и потом были открытия, но не столь значительные, частные (много было открыто новых островов). Вообще Россия стремилась из страны континентальной сделаться страной морской. И это ей удавалось. Елизавета Петровна была покровительницей Ушакова и всего мореходства. И Екатерина в этом смысле была человеком, который всячески этому способствовал. Главную роль в качестве покровителя и организатора морских походов играл Потемкин. Полуостров

Крым был присоединен им. (Замыслы Потемкина были очень интересны, как вообще вся его биография интересна.) Мог бы быть специальный курс «Морские открытия XVIII столетия». Англия плавала по морям и была великой морской державой. А все самые крупные открытия падают в XVIII веке на Россию: и Берингов пролив, и острова моря Лаптевых, и Командорские острова – все это XVIII век. И недаром тогда появилось у нас такое понятие, как «русская Америка». Ведь русские мореплаватели были открывателями этой «русской Америки», и Аляска очень долго была принадлежностью России, до тех пор пока ее не продали американцам. Но продали уже в XIX веке, а открыли в XVIII.

Итак, Карамзин вырос в обстановке новых отношений, новых идей. Он не был человеком петровского времени. Его нельзя назвать и человеком екатерининского времени.

Карамзин выступает как писатель, желающий прежде всего понять, где истина, кто мудрецы, как их найти. Книжки – да, он многое прочитал. Он читал и Лессинга, он читал Гердера, он читал и Канта. Он жадно читал все, что можно было прочитать. Не знаю, понятно вам или нет то чувство, которое было у Карамзина. Но все дело в том, что молодость – она очень жадная, ей всегда надо еще и еще, больше и больше. Ему мало было прочитать, ему хотелось видеть этих авторов, так сказать, физически почувствовать, что это за люди, как бы прикоснуться к ним. Карамзин является тем писателем и той индивидуальностью, который больше всего интересовался внутренним миром человека. Но знание внутреннего мира человека уже не удовлетворяло его потому, что он знал только один свой внутренний мир. Нужно знать это вообще, то есть нужно знать, что такое внутренний мир и какой этот внутренний мир у других – какой он у Гёте, какой он у Шекспира, какой он у Вольтера, какой он у Руссо. В самом деле: Жан-Жак Руссо – любимый писатель Карамзина, и не только Карамзина. Как было Карамзину, молодому человеку,

отказаться от того, чтобы увидеть места, связанные с памятью Руссо? Как говорится в народе: «Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать». И с целью этого познания Карамзин отправляется в свой вояж по Европе. И это замечательно.

Но как прикоснуться к этим людям и как вообще понять европейский мир? Саратов и Тамбов – это не Европа. А Карамзин именно из тех мест: богатые, сытые, урожайные, зажиточные, хлебородные губернии России. Но не хлебом единым жив человек. И вот перед нами этот человек. Он твердо решил, что поедет путешествовать. Здесь мне остается только сказать еще несколько слов о том, что он не один, что в XVIII веке стало модно уезжать за границу, учиться за границей, принимать идеи, которые есть в Европе, и возвращаться в Россию. Отсюда у нас появились французомамы, галломаны, англомамы. Иногда это принимает очень смешные формы. Помните, как у Фонвизина в комедии «Бригадир» Иванушка говорит: «Тело мое родилось в России, это правда, – однако дух мой принадлежит короне французской!» Ну, «ах, Франция». Но это все поверхностное, конечно. Но это поверхностное имело тоже свое значение.

В Средние века люди тоже путешествовали. Вы помните, как я вам рассказывал о паломниках, о каликах перехожих, которые ходили из одного святого места к другому, как приносили они потом известия о тех чудесах и чудотворцах, о которых им рассказывали. Тогда тоже был период путешествий. Но то были путешествия по святым местам. Теперь совершают путешествия по культурным местам, если говорить современным языком. Вот такая интересная параллель. Русский человек по природе бродяга, его все время тянет куда-то, он недоволен тем местом, где он находится, ему нужны новые и новые земли, новые виды, новые ощущения, новая природа. Он необыкновенно любопытен. И Пушкин страшно неправ, когда он пишет: «Мы ленивы и нелюбопытны». С первым, пожалуй, можно согласиться, а вот что касается второго,

то вся история говорит обратное. Поразительно любопытны! Не останавливаемся ни на минуту, все время в пути. Недаром Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» пишет: мы все время в пути, мы точно на постое, мы передвигаемся с необыкновенной быстротой, мы, люди одной страны, чувствуем себя гражданами мира. Как хорошо это.

Итак, Карамзин, наконец, решил уехать. Какие затруднения были у него?

Студент: Финансовые.

Н.Л.: Вы говорите с точки зрения нашего современного человека. Нет, финансовых затруднений у него не было. Он был симбирский помещик, то есть его родители были симбирские помещики, денег у них было достаточно. Кстати говоря, путешествие в Европу не так дорого и стоило, потому что жизнь в Европе не была дорогой, если это не роскошество. Нет, у Карамзина были другие затруднения. Конечно, в каждом городе его охотно принимали, как вы понимаете. Почему? Потому что это русский. А русский – это вроде как экзотика. В XVIII веке русский в Европе – это была все-таки экзотика. Еще в XIX веке Тургенева, знаете, как называли? Его называли «белый негр». За что? Вот за его взгляды. Его гуманизм, его всечеловечность казались французам смешными. Его понятия верности, любви – казалось, все это такой архаизм, который может быть пригоден только для мира дикарей. Так к нему относились братья Гонкуры, так к нему относились и другие. Тургенев не написал свои записки путешественника, но он очень много написал о Европе в своих письмах к друзьям и знакомым. Ну, и друзья и знакомые о нем тоже немало написали.

То, что Карамзин – русский, это, конечно, был его плюс и его минус. Плюс – потому что они никогда не видели русского. А куда он шел прежде всего, когда приезжал в тот или другой город, к кому он обращался, как вы думаете? Он шел к ученым в первую очередь. И вообще это очень правильная вещь – когда вы хотите что-то узнать, вы обращаетесь к ученым. У нас эта традиция со-

хранялась очень долго. И в XIX веке, и в XX русские студенты не учились в одном университете. Они, допустим, в Монпелье слушали одного профессора, в Париже – другого, в Данциге – третьего. Те величины в ученном мире, которые тогда существовали, привлекали внимание молодых людей, которые, естественно, шли их слушать. Потому что сдать предмет, вы по собственному опыту знаете, не так уж трудно. Когда вы хотите сдать тот же XVIII век – прочитали книжку Орлова, пошли и оттарабанили, и никто вас не может остановить, потому что всё у него написано, и у вас всё это в голове, и вы всё рассказали – какие могут быть претензии. Но если бы был жив Павел Александрович Орлов, то, наверное, вам было бы интересно пойти к нему, его послушать. Соприкосновение с таким ученым необыкновенно интересно. Оно обогащает. А в Европе это было еще более ярко. Потому что в это время складывались различные научные школы. Здесь были школы математиков, школы физиков, школы химиков, биологов, филологов, историков. И когда сейчас начинают посылать молодых людей за рубеж – мне это очень нравится. Правда, сейчас все-таки нет того, чтобы посылать к какому-то ученому. Студент едет в страну и там сам разбирается. Во времена Карамзина это было не так. И вот когда Карамзин приезжал в то же Монпелье, его спрашивали: «Из какого вы университета?» А он никогда ни в одном университете не учился, представляете? Это не то, что вы приехали и вас спрашивают: «Из какого вы университета?» Вы говорите: «Я из Московского университета!» – и перед вами все двери открываются. А Карамзин не учился в университете. Вот тут-то и начинались у него затруднения. Он шел путем самообразования. И первой ступенью его образования было путешествие. Здесь он очень много преуспел.

Он пишет в своих письмах, как трудно ему расстаться со своей землей, как он боится вступить на европейскую почву, как дорога ему Россия, ее обычаи, если хотите – предрассудки. «И дым Отечества нам сладок и приятен!»

Вот с этими чувствами он уезжал: «Расстался я с вами, милые, расстался!» Но его вела огромная тяга к знаниям, к широким знаниям, вот к этим всепоглощающим знаниям. Быть европейским человеком, знать все, что делается в мире, – это очень интересно.

Карамзин едет в Европу. Этот молодой человек еще даже не предполагал, что мимо него пройдет столько событий и потрясений. А он должен на все это ответить – как каждый мыслящий человек, тем более филолог. Ведь филолог – это совершенно особая порода людей, вы это знаете. То, что недоступно другому, то доступно нам, потому что наше мышление, то есть филологическое мышление, есть не что иное, как перекресток философских и естественнонаучных знаний, не выразившихся в формулах. Каждый филолог – врач, каждый филолог – инженер, каждый филолог – художник. Он обладает всеми этими дарованиями. И только в отдельных случаях проявляются эти дарования. Вот я все это говорю вам потому, что речь идет о Карамзине. И когда вы читаете Карамзина, вы можете сказать совершенно спокойно: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Вот как оно льстит вам – это уже все от вас зависит.

Первые впечатления Карамзина от такой Европы, как Прибалтика (к тому времени это уже были русские владения). Здесь он встречается с той же самой провинцией.

Наконец он попадает в Кенигсберг. Его удивляет там особый порядок жизни. Все ему чуждо и непонятно: и архитектура, и планировка, и уклад жизни, и больше всего, конечно, чистота, городская чистота. Все убрано. Впрочем, это он уже мог наблюдать и в Риге. Но тогда он на это мало обратил внимания. А здесь его это поразило. Но он приехал в этот город не ради того, что он чистый. У него были очень серьезные намерения: он хотел увидеть Иммануила Канта.

Для Карамзина и для русской культуры Кант, действительно, был явление в высшей степени значительное.

Я уже не говорю о том, что Кант был явлением общеевропейским и, можно сказать, мировым. Его работа «Критика чистого разума», его работа «Пролегомены» – это такие вещи, которые никогда не выйдут из употребления философски мыслящих людей, философской науки. Иммануил Кант – один из тех, кто знаменует собой развитие философской мысли мира. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель – вот те имена, которые были постоянно на устах русских людей XIX века. На этом зиждилась вся философская мысль. Естественно, Карамзин, как любопытствующий и как любознательный человек, должен был познакомиться с Кантом. И он оставил очень любопытные записки об этом философе в «Письмах русского путешественника».

Чем был интересен Кант Карамзину, что его привлекало в нем? Конечно, привлекало логическое мышление (это то, что необходимо каждому человеку), когда путем различных логических манипуляций или спекуляций (пожалуйста, не путайте это слово «спекуляция» с тем, что происходит на рынке) идея, введенная в оборот, порождает новую идею. Это, конечно, Карамзина очень привлекало. И привлекало еще потому, что Карамзин не был философом. Для него философия – это все-таки *terra incognita*. У него не было философического мышления. У каждого человека есть свое мышление – у одного филологическое, у другого философическое, у третьего лингвистическое. С большим уважением я отношусь к этому мышлению – лингвистическому. Когда вам читали введение в языкознание, вы говорили о Потебне? Потебня – это чудный пример человека с лингвистическим мышлением. Он филолог, лингвист, и для него слово – это целый мир. Он может прочитать целую лекцию на тему «В начале было слово». Почему оно было в начале? Что оно заключает в себе? Что такое слово? Слово – это не только форма общения между людьми, это целая история человечества, это поэма, это мир. Вот этого представления у Карамзина не было. У него слово было – красотой. Слово – звук,

слово – музыкальное звучание. Но слово куда более объемно и более значительно.

Конечно, Карамзин уже читал Канта в России. Канта тогда в России все читали. Больше, чем сейчас. Сейчас мы очень мало читаем Канта. Мы сейчас мало читаем философских книг вообще, не только Канта. Мы очень мало читаем Гегеля. Фихте – совсем не читаем, Шеллинга – совсем не читаем. Современные интересы, исторические, военные, военно-политические, отодвинули философию, философия сделалась достоянием узкого круга философов-профессионалов, способных только преподавать ее в высшей школе. В то время, о котором я говорю, философия была предметом всеобщего интереса, ее изучали. Она обещала что-то открыть, что-то объяснить. Но по мере развития этой науки ее популярность все время падала. Недаром в конце XIX века Владимир Соловьев страстно призывал: «Любите философию». Он уже непосредственно обращался к читателю. Не узкому, а широкому читателю: любите философию, потому что вам она откроет новые миры.

Итак, Карамзин в Кенигсберге решил встретиться с Кантом. У него к Канту не было ни письма, ни записки – ничего. Он пришел совершенно просто: позвонил, ему открыл старичок, тщедушный, поседевший. Карамзин сказал: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту». Интересно, что Кант его здесь же пригласил сесть (значит, эта прихожая была своего рода интерьером) и стал с ним разговаривать на философские темы. Этот разговор Карамзин записал. И потом это письмо он опубликовал. Это замечательный отрывок, где Кант изложил Карамзину свою теорию из книги «Пролегомены». Причем изложил в такой ясной форме (Карамзин во всяком случае передал это так просто и ясно), что многие никогда бы не прочитали «Пролегомены», если бы не читали «Письма» Карамзина. Там было все понятно. Кант ему показал, что такое физика и метафизика. Помните, когда я говорил о Карамзине, издатель

журнала «Детское чтение», я сказал, что Карамзин издавал его вместе с Петровым, а Петров был учеником Шварца. Вот теперь пришло время, когда я могу рассказать о Шварце. Шварц читал лекции в Московском университете по метафизике. Метафизика в переводе означает «после физики», то есть речь идет о том, что есть мир физический и мир нефизический, то есть мир умозрительный, мир, не поддающийся эмпирическому анализу. Вот это и есть тот самый чистый идеализм, о котором сейчас мы почти не говорим. Вы живете в то время, когда не идет речи ни о материализме, ни об идеализме, потому что современная мысль боится как того, так и другого. Материализма боятся, потому что он бесперспективен, идеализма боятся, потому что он внеисторичен и венаучен. Вот Шварц был масоном. Масоном-иллюминатом. Он представлял, что весь мир может быть переделан путем нравственного совершенствования. Какая польза человеку, что совершаются революции, происходят перевороты, приходит на смену одного деспота другой деспот – что от этого выигрывает человечество? Оно ничего не выигрывает, а только испытывает болезни и поражения. Необходимо другое: нужно совершенствовать внутренний мир человека. И если этот внутренний мир совершенен, то не нужно будет никаких революций, все будет гармонично. Вот этой гармонией Шварц и увлекал своих студентов Московского университета. Шварц недолго жил, он очень рано умер, не записав своей теории метафизики. Интерпретация метафизики, которую предложил философ Кант, не получила свое оглашение, свое распространение, свою публикацию в трудах Шварца.

А следующие страницы посвящены уже другим героям, с которыми встречался Карамзин во время своего путешествия. Но о них в следующий раз.

«Расстался я с вами, милые, расстался!» – это постоянный рефрен того произведения, которое мы с вами сейчас изучаем, – «Писем русского путешественника». Карамзин предпринял путешествие по Европе и уже встретился с Кантом, о чем я вам рассказывал в прошлый раз.

«Письма русского путешественника» необыкновенно интересны. Их можно рассматривать в двух планах. Один план – это план чисто историко-познавательный, даже географический, даже этнографический: Карамзин едет по Европе и описывает каждый город. Это не так уж в конце концов интересно современному человеку, тем более что от описаний тех городов, в которых он был, мало что сохранилось; сейчас эти города выглядят совсем по-другому. Достаточно было двух столетий, чтобы все изменилось. Другой план – это люди, которых он встречал в этих городах. А вот здесь ничего не изменилось. Люди, их мысли, их чувства, их настроения, их влияние на развитие мировой цивилизации или на развитие духа остались непреложными. И вот эта сторона «Писем...» очень интересна. Пожалуй, она и является главной в «Письмах...». Карамзин сам знакомится, знакомит нас с тем, что создано наукой, с ее, так сказать, достопримечательностью, тем борением духа, которое характерно для человека. Он описывает людей, с которыми он встречается, входит в общение, чьими мыслями обогащается.

Но когда мы с вами читаем «Письма русского путешественника» и встречаем описание того или иного города, того или иного факта, нас, конечно, не может не интересовать это с точки зрения познавательной. Как путешествует Карамзин, как вы думаете? Это по-русски называется конка: фургон, где поставлены скамейки, этот фургон тянут лошади. То, что было и у нас. Только у нас такие фургоны ходили в городах, а способ передвижения из города в город у нас был другой – тройка, от станции до станции бегали тройки лошадей. А на Западе ездили эти фургоны. Люди, которые их обслуживали, назывались почтальонами. Почему почтальоны? Потому что они возили почту. Они же были и распорядителями, то есть продавцами билетов, они же объявляли станции. И вот Карамзин на конке путешествует по Германии.

Германия – страна философии, поэзии и религиозной мысли (этого со счетов сбрасывать нельзя, потому что

движение Лютера – это вещь исторически огромная; движение лютеранства и католичества – это целая история человечества, западного мира). Германия – это не только поэзия, не только музыка, не только религия, но и еще педагогика – область, на которую сейчас никто не обращает внимания. Кроме методических пособий, никто ничего по педагогике не пишет. А между прочим, это та область, от которой зависит очень многое. Бисмарк говорил: «Войну выиграет прусский учитель». И немцы очень любили это повторять после войны 1941–1945 годов. Поверженная Германия верила в свое возрождение, верила, что победит все-таки простой учитель. А чем он победит? Вот тем, что у него есть: поэзия, философия, религия. Как вы думаете, у Гёте чего больше – поэзии или научных трудов? По объему в четыре раза больше статей по науке – по ботанике, по физике, по физиологии, чем поэзии. Но это не значит, что у него нет прекрасных работ о литературе, художественных произведений. Все читали такую вещь, как «Страдания молодого Вертера»?

Студент: Говорят, что этот роман вызвал эпидемию самоубийств в Европе.

Н.Л.: Конечно, и в этом нет ничего удивительного, потому что повесть написана с такой силой, что Карамзин, наш путешественник, в полном смысле обомлел, когда он это прочитал. Отсюда его стихи: «О Меланхолия! нежнейший перелив...» Гёте открыл целый мир. Появилось оправдание грусти, печали, тоски – все это допустимо, и все это надо пережить. Появилось представление о том, что любовь – это состояние на грани болезни и счастья.

«Страдания молодого Вертера» Россия читала, как теперь говорят (очень некрасиво), взхлеб. Об этом романе пишут все русские писатели XIX века – иногда сознавая, какое впечатление произвело на них это произведение, иногда не сознавая. Оставим их. На Карамзина это произвело огромное впечатление. Неужели он не поймет того, что совершается с человеком? Где найти тот инструмент, которым можно все это привести в норму? Что –

меланхолия, только? Нет, еще работа души, работа внутреннего мира.

В Германии Карамзин посещает многие города: Дрепт, Данциг, Дрезден, Лейпциг. Везде его поражает опрятность, чистота и красота. В Европе, точно так же как и в России, каждый город представлял собой нечто своеобразное. Так же как и у нас, было, допустим, когда-то Рязанское княжество, Новгородское княжество, точно так же это было и в Европе. Отдельные города были совершенно самостоятельными единицами, в которых были свои правители, даже свой язык. Язык эльзасца не походил на язык берлинца. Это был тот же немецкий язык, но с совершенно другой акцентировкой.

В долине Эльбы Карамзина поражает, как он говорит, «прекрасная натура и плоды трудолюбия». Вообще мы с вами попадаем в мир не индустриальный, а земледельческий. Такова тогда была Европа. И что его удивляет, и что его восхищает – это виноградные сады, лозы винограда, парящие в воздухе: «огромные гранитные скалы <...> превращены в сады». В отличие от Берлина, в здешнем городе все наполнено миазмами. Потому что никакой канализации там не было, все это текло в канавах, и только липы поглощали эту отвратительную, омерзительную атмосферу. Поэтому берлинцы, немцы очень заботились и до сих пор заботятся о растительности, о цветах, о деревьях. Это характерная черта европейца. Она тогда сложилась, в те далекие времена. Для того чтобы в городе можно было жить, надо, чтобы город был зеленым. В Лейпциге Карамзин как раз встретился с тем, что весь город превращен в прекрасное цветущее утро. Чередование полей, различные краски этих полей: зеленые, красные, зелено-синие, даже голубые – это трава, желтый – хлеба, овсы, пшеница. Этот мир разноцветья создавал изумительную картину, которая действовала на Карамзина восхитительно. Но там он был очень недолго, потому что у него был свой маршрут. Он хотел объехать целый свет и стремился вперед. Пересекая Германию, он попадает в Швейцарию.

Швейцария для русского человека всегда была обетованной землей. До сих пор Швейцария остается замечательным курортом. Швейцарский воздух целебно действует на больные организмы. Карамзин в Базеле – первом городе, который он встречает в этой благословенной стране. Швейцария замечательна не только Рейном, этим водным каналом, который берет начало в Швейцарии и протекает по всей Германии, не только Рейхенбахским водопадом, который находится среди альпийских гор. Швейцария замечательна тем, что у нее совершенно особое географическое положение. Альпы, горный целительный воздух, замечательная растительность, обилие воды, «дедушка Рейн», как зовут его немцы, – это все создает необыкновенную картину. У нас река, которую мы очень любим, – матушка Волга. У них – это Рейн. Рейн, протекающий через Швейцарию, Германию, Австрию. Рейн, действительно, необыкновенно красив. Всякий молодой человек, который начинает заниматься филологией, в частности Карамзиным, конечно, мечтает об этом путешествии – повторить путь Карамзина. Карамзин, когда попал в Швейцарию, даже написал в одном из писем: если бы мне надлежало сию минуту умереть, то я хотел бы умереть только в Швейцарии. Я бы вот так и лег на швейцарскую землю, на этот зеленый луг, вдыхая благоухающий, чудный, целящий воздух, для того чтобы последний вздох мой был так легок, как легок воздух здесь.

Но его интересовала не только эта поэтическая, пейзажная сторона путешествия, хотя она тоже очень существенна. Его всегда занимала мысль, которая потом была развита многими учеными, о том, что географическая среда определяет характер и склад человека. «Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее; дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве». Тогда еще никто серьезно над этим не думал. Тогда еще не занимались изучением соотношения природы человека и природы мира,

окружающего человека: что люди едят, какие у них есть водные и воздушные ресурсы, как вообще влияет окружающая среда на человека. Это новация более поздняя, это XIX век. Эта теория иногда принимала такие, я бы сказал, анекдотические формы. Наш критик Дмитрий Писарев очень хорошо писал о том, почему такой миролюбивый характер у индусов. Потому что они вегетарианцы, потому что они не едят мяса. Почему они так долго живут? Потому что у них окружающая среда настолько благосклонна к человеку, что она дает ему силы. Эта теория у Писарева во многом преувеличена и, даже мне хочется сказать, окарикатурена. Но то, что среда и человек тесно взаимосвязаны, это верно.

Карамзин в Швейцарии. А что такое Швейцария для русского человека? Это, во-первых, Женева, Женевское озеро. Это мысли о Руссо. В России куда более популярен был Руссо, чем Вольтер. Вольтер был властителем дум, а Руссо владел нашими чувствами. Руссо заставил говорить о внутренней жизни человека. Жан-Жак Руссо известен чем? Своим необыкновенным гуманизмом. Он не ученый – он философ. Но не тот философ, который все распределяет по системе, у которого везде есть тезис, антитезис, синтез, который знает, что такое «Пролегомены». Нет, это другой философ. Это философ-мудрец, который говорит о том, что он чувствует. Это философ, создающий свою систему – как назовет ее Карамзин, «систему сердца». В этом отношении, конечно, очень интересна книга Руссо «Общественный договор». Вот для юриста – это замечательная книга. В каком смысле? Ни один юрист, ни сейчас, ни потом, не будет согласен с теми идеями, которые изложены в этой книге. Для них есть один закон – юридический, то есть закон, установленный порядком вещей. Этот закон был сложен в далекие времена, во времена Рима. Римское право вошло во все юридические кодексы мира. Так или иначе, но вошло. А у Руссо это все отвергается, потому что есть закон высший – это закон сердца, это закон человеческой любви, человеческого оправдания или человече-

ского осуждения. В конце концов нет такого преступления, которое бы не нашло своего оправдания; а наказание лежит не в принудительных мерах, не в тюрьмах, не в застенках, а в той муке, которую будет испытывать человек, раскаиваясь в совершенном преступлении. Мука эта может прийти только тогда, когда сердце человека начнет ощущать всю красоту мира и все безобразие своего поведения. «Общественный договор», с точки зрения юриспруденции, не выдерживает никакой критики, но, с точки зрения человеческих отношений, является изумительным документом человеческой души.

Женевский часовщик был явлением мирового значения. Он первый заговорил о том, что называется внутренний мир человека, о том, что выше юридической науки, выше юриспруденции есть наука сердца. Карамзина это очень трогало. Карамзин был вообще необыкновенно чувствительным. Вот почему и вся его литературная система, то есть его поэтика, или, лучше сказать, его эстетика – это сентиментализм. А сентиментализм – это чувство. И никто так ему не близок, как Руссо. И вдруг он, Карамзин, на земле того человека, который написал «Общественный договор».

Здесь, в Швейцарии, Карамзин встретит очень много интересного. Во-первых, он познакомится с Лафатером, которого он и раньше знал по его сочинениям. Надо сказать, что Карамзин очень долго и настойчиво готовился к своим путешествиям. Он читал. Вы представляете, он едет в Швейцарию и читает все, что можно было прочитать о Швейцарии. На русском тогда о Швейцарии нельзя было прочитать, но на французском, на немецком – очень можно было.

Швейцария – страна, поделенная на две части: одна Швейцария французская, другая Швейцария немецкая. Стык двух культур. В немецкой Швейцарии язык немецкий, а во французской – язык французский. В государственном устройстве – это устройство кантонов, и каждый кантон совершенно самостоятельный: никаких, так сказать,

претензий одного кантона к другому не может быть. Швейцария, после того как она завоевала себе свободу, не вступила ни в одну войну. Она оставалась нейтральной.

В нашей речи осталось слово «швейцар» – привратник, стоящий у двери. Откуда это пошло? Европейские армии нанимали швейцарцев, потому что это честный, неподкупный, смелый народ. Швейцарец не может изменить, швейцарца нельзя подкупить, он абсолютно честен, он предан своему слову. Для него слово – закон.

Швейцарские банки – самые надежные в мире. Почему? Карамзин увидел, как бьют какого-то мужчину. Он вступился за него: что вы делаете? зачем вы его обижаете? – Он вор, он украл. У нас в Швейцарии нет воров и нет воровства. Этот прибежал откуда-то из Пруссии. Мы видим это, мы слышим по его говору. Он не должен быть среди нас. Понятно? Честность, преданность, мужество так характерны для этой республики.

Швейцария – это республика! Что значило для Карамзина оказаться в Швейцарии после монархической, крепостнической России! Только представить себе! Вы возразите: мало ли республик? Нет, это республика не по названию, это республика по духу. Нигде нет полиции, ты спокоен и свободен. Это свобода внутренняя. Нигде человек так хорошо себя не чувствует, как в Швейцарии. Впоследствии в «Истории государства Российского» Карамзин решает вопрос, какая форма правления должна быть в государстве. Он говорит: конечно, как в Швейцарии. И если говорить о республиканских взглядах Карамзина, то они все здесь. А дальше Карамзин продолжает: но для России это невозможно, Россия слишком большая, чтобы быть республикой. Это может быть только маленькая страна – Швейцария, где все видно, где все люди знают друг друга, где жизнь каждого человека как бы вошла в жизнь другого. Поэтому для России единственная форма правления, говорит Карамзин, – это самодержавие.

После того как Карамзин переступает порог Швейцарии, его постоянно преследует мысль о том, что в жиз-

ни необходимы три наставника – учитель, врач и священник. У них у всех одна и та же задача – все они учат, все они исцеляют или излечивают болезни и все они обязаны наставлять. Учить, лечить и наставлять. Эта идея наиболее ярко раскрывается в форме проповеди. Всеми этими тремя качествами, способностями, по мысли Карамзина, должен обладать писатель. У Карамзина даже есть такая формулировка: «Дурной человек не может быть хорошим автором». Но рядом с этим миром духовных исканий существует мир насилия и мир войны. И Карамзин очень хорошо это понимает. А как его можно исцелить, изменить, переделать? И вот он ищет таких людей, которые это совершают. И он их находит, конечно.

В Цюрихе Карамзин встретился с Лафатером. Это довольно интересная личность, и очень близкая по духу Карамзину. Лафатер – проповедник. У него только одно орудие – просвещение, обучение, воспитание через проповедь. Но обучение, просвещение кажутся совершенно иллюзорными по природе. Так сказать, это не универсально, это не может подаваться всегда и везде. Но Лафатер считает по-другому. Он считает, что нужно это совершать там, где уже последняя черта, где уже нет для человека никакого спасения, никакой возможности.

Карамзин явился к нему так же, как и к Канту, и представился русским путешественником, желающим с ним говорить, так как он читал его статьи. Лафатер сказал ему, что счастлив познакомиться с русским, что он много слышал о России, о ее величии и значительности, что он непременно с ним поговорит. Но не сейчас. Сейчас я занят написанием писем. Вы оставайтесь здесь, в моем кабинете, если хотите, пользуйтесь всеми книгами, которые здесь стоят, а я должен писать письма. И он удалился. Карамзин в раздумье – что ему делать: уходить или ждать, пока он кончит писать письма. Но все-таки остался, и понятно почему: его интересовала библиотека Лафатера, его интересовал подбор тех книг, которые у него в библиотеке, наконец, его просто интересовало, как долго

он будет работать. Но Лафатер очень долго работал. И только к обеду освободился. На следующий день Карамзин опять пришел к нему, и Лафатер просил Карамзина вместе с ним отобедать. Обед тоже очень интересен. Не только потому, что там подали какие-то кушанья (хотя это, наверное, тоже интересно, правда? Как по-вашему?). Не хлебом единым жив человек, но все-таки хлебом. Когда Карамзин вошел в столовую, оказалось, что огромный стол уже было накрыт на пятнадцать кувертов, то есть приборов. По числу этих приборов появились и гости, которые сочли за честь обедать вместе с Лафатером. Но тот был необыкновенно прост в обращении, сдержан в суждении, расположен к гостям и, не отдавая никому особого предпочтения, был настолько деликатен, что мог вести разговор со всеми присутствующими. Когда обед кончился, Лафатер сказал, что он хотел бы видеть Карамзина завтра в это же время, в этой же комнате на другом обеде, где будут другие его друзья – это ученые, профессора различных университетов. Карамзин понял, что столовая Лафатера – своего рода салон. Но не такой салон, как у нас в России, где дефилировали светские дамы, аристократы-мужчины, где речь, все держалось на остроумии и колкости, а салон людей мыслящих. Это салон интеллекта. И действительно, Карамзин не разочаровался. Он в следующий раз тоже пришел к обеду и тоже застал за столом целое научное собрание. Он понял, что Лафатер притягивает к себе людей, многих людей. И, естественно, что Карамзину захотелось знать, в чем же сила притяжения этого человека. Поэтому он считает своим долгом проследить его день, день Лафатера. А день его начинается утром, рано: обычная масса, потом занятия в школе, а потом посещение больных. А как же вот, собственно, те, которые не поддаются его влиянию? А таких не может быть. Когда людям так тяжело, что у них только и есть другие, те, которые не признают лафатеровской манеры обращаться с людьми, тогда Лафатер говорит какому-нибудь богачу: «Вы должны этому человеку помочь материально». И тот помогает.

Сила притяжения Лафатера заключалась в его нравственном превосходстве. Духовная власть Лафатера куда больше, чем любая административная, полицейская власть.

Целый ряд статей Лафатера, которые читал Карамзин, были, в сущности, посвящены педагогике и теологии. Сам Лафатер – священник, активно, так сказать, действующий, или, как теперь любят говорить, работающий со своими прихожанами, или паствой, которую он пасет, или опекает. Интересно (Карамзин узнал об этом совершенно случайно), что все свои гонорары от статей, конечно, это небольшие гонорары, но все-таки это гонорары, Лафатер отдает нуждающимся в его пастве. То есть попросту – бедным. Но не только это создает популярность ему в округе. Вот съезд этих ученых – они ведь не нуждаются в его подачках. Он же ничего им не платит за то, что они приходят. Они приходят, потому что их притягивает его нравственная сила.

Карамзин рассказал такой эпизод: он пришел к Лафатеру в назначенный час. И Лафатер ему сказал, что он может пойти вместе с ним. Куда? – Увидите. Через час они оказались в деревне в очень бедном домике, но чистом, опрятном, по-немецки ухоженном. Лафатер вошел и сказал Карамзину, чтобы он следовал за ним. Карамзин увидел на постели лежащую старуху. Она сказала Лафатеру: «Умираю». Лафатер очень спокойно отнесся к этому и сказал: вот и настал час твоего освобождения. Но ты не волнуйся, не бойся. Дальше ведь будет лучше. Ты только сбросишь с себя болезнь и тяготы. И ты будешь такой счастливой.

Карамзин внимательно следил за лицом Лафатера и старухи. Ему казалось, что в этот момент они были очень похожи по тому спокойствию и той странной улыбке, которая разливалась и у того, и у той. Лафатер был очень спокоен, сосредоточен – больше, чем обыкновенно. И такое же спокойствие проявлялось у его слушательницы. Он положил свою руку старухе на голову, как бы передавая ей какую-то магнетическую силу своего организма, и потом,

поцеловав ее руку, сказал: «Ну, прощай». Встал и ушел. Лафатер показал Карамзину силу магнетизма, или гипнотизерства. И не какого-то особого гипнотизерства, а такого, которым обладает каждый человек: каждый человек свою духовную силу может передать другому. Здесь сила заключалась в успокоении. Современная медицина говорит, что можно убрать человека искусственным путем, если есть страшная болезнь, которую не вылечишь. А Лафатер говорит: есть такое средство, которое заменяет все, – сила убеждения, побеждающая боль. А вся сила убеждения заключена в слове, но не всякому дана власть слова.

Лафатер успокоил умирающего человека, сказав, что ничего страшного нет, что это твое естественное состояние, ты сейчас просто освободишься от болезни и будешь спокойна. Эти слова, эта интонация, эта уверенность передаются человеку, ибо уже никакой другой надежды нет. Не всегда человек надеется выздороветь, но всегда человек надеется на успокоение, на исчезновение боли. Вот Лафатер это и сделал. Карамзин мало понял, он не знал, как ему реагировать на все это, и спросил: «Где вы берете столько сил и столько терпения?» Лафатер посмотрел на него вопросительно и ответил: «Друг мой! Человек может делать много, если захочет, и чем более он действует, тем более находит в себе силы и охоты к действию». Когда они вышли из дома, они ни разу не возвращались к этому событию. Лафатер не желал говорить о том, что произошло, что он сделал, что он говорил, как он поступал. Там другой мир, совершенно другой мир наступил для Лафатера, и Карамзин понял, что этого мира, который только что встал перед ним, нельзя трогать. Это тайна Лафатера, это то, чем он владеет с такой необыкновенной, нечеловеческой силой, перед которой все человеческое приобретает красоту. После всего этого совершенно ясно, что Карамзин не мог стать масоном. Как смешны и ничтожны масонские ритуалы перед победой слова над страхом смерти!

Вот это знакомство, это обогащение, которое Карамзин получил от Лафатера. Но когда они вернулись домой,

и спокойно, не вспоминая о том, что видели, что пережили и почувствовали, Лафатер спросил его, а не согласится ли Карамзин перевести некоторые его статьи и опубликовать в России. «С удовольствием», – сказал Карамзин, но задумался: найдутся ли в России читатели, которые будут читать Лафатера, есть ли у него в России читатели? Некоторое время подумал и ответил себе: для Лафатера найдутся читатели во всем мире. Но когда? И отвечая себе, так сказал: всегда.

Ну, что я могу сказать по этому поводу? Я могу сказать по этому поводу, что среди нас, сидящих в этой аудитории, никто не прочитал ни одной строчки Лафатера. Почему? Он у нас неизвестен, абсолютно неизвестен. И не только он у нас неизвестен, как автор определенного, что ли, направления. Он у нас неизвестен ни в философии, ни в богословии, ни в истории. Вот этот цюрихский мудрец, в сущности говоря, человек, который выступает как светило мира, то есть человек, от которого исходит этот свет просвещения и любви, он неизвестен миру. Усилия Карамзина исправить эту историческую ошибку ни к чему не привели. А почему? Видите ли, в чем дело, всякое произведение, литературное, музыкальное, живописное, должно иметь почву, только на этой почве может оно существовать. Если этого нет, то произведение не воспринимается, просто не воспринимается. Вы обратили на это внимание? Очень многие художественные произведения, живописные произведения не воспринимаются. «Квадрат» Малевича так и не был воспринят. В каком смысле не был воспринят? «Квадрат» остался квадратом. Он не определил собой ни одного живописного произведения в последующем. Интересная вещь: мысль, глубокая мысль – она оказывается недоходчива. Она обязательно должна падать на удобренную почву. Малевич, конечно, не погиб, а вот «Квадрат» его не осветил последующую живописную культуру, хотя сам Малевич, безусловно, гениальный художник.

Покидая Швейцарию, Карамзин пишет: «Да будет их республика многие, многие лета прекрасною игруш-

кою на земном шаре». А в одном из писем он говорит: как жаль, что русские не могут жить так, как живут швейцарцы, что Россия не может быть Швейцарией. Швейцария – это такая маленькая страна, где все можно устроить, а Россия – такая огромная, что едва ли в ней что-то можно устроить. Но все-таки она прекрасна!

Итак, мы вместе с Карамзиным путешествуем по Европе. Сегодня Карамзин приехал в Париж.

Париж, Франция его очень интересовали. Почему они его очень интересовали? Он хотел и не мог понять, что такое революция. Он просто не мог понять: как беспечные французы могут лить столько крови? И вообще, что это такое – революция? Карамзин пошел в Национальное собрание, сел на скамейку, к нему подошел церемониймейстер в черном кафтане и сказал ему, чтобы он пересел на другое место. Он пересел на другое место. К нему опять подошел человек в черном кафтане, и сказал, чтобы он пересел на другое место. Там располагались по партиям. Каждая партия имела свою скамейку. Когда Карамзин наконец уселся там, где его никто не трогал, он стал слушать речи. Он пишет, что они были очень темпераментные. «Я видел одно из самых бурных заседаний». Но из-за чего же все? Он только слышит: «свобода, равенство, братство», одни требуют крови, другие говорят о бескровности, одни утверждают необходимость казни, другие говорят о всечеловечности. Тогда он решил посмотреть, что же делается во дворце. И вот здесь он был поражен: двери дворца были открыты теми же лакеями, которые служили королю. А публика ходила по всем покоем, без всякого стеснения садилась на кресла и на диваны дворцовой мебели, громко говорила. Наверное, дворец никогда не слышал столько человеческих голосов, сколько в это время. Его это интересовало, и он ходил несколько дней подряд по улицам Парижа и наблюдал то, что мы сейчас называем массы.

Париж, мечта его жизни. Впрочем, не только его: все люди конца XVIII века мечтали об этом городе, называя

его столицей мира, потому что Париж был законодателем мод – в первую очередь, художественных (тогда не существовало слова «эстетических», но слово «художественных» было в большом ходу). Это касалось, в первую очередь, литературы, художественных произведений, недаром во Франции, в Париже, даже существовала Академия надписей и словесности. Французы очень беспокоились о чистоте речи, и поэтому они учредили эту Академию, где изучали правильное произношение слов и правильный отбор слов, то есть лексику. Они хотели сохранить лексику в неприкосновенности, в чистоте (это то, чего не было у нас и за что мы теперь горько расплачиваемся). Это вполне естественно, потому что время, о котором мы с вами говорим, это время «бури и натиска», это время, когда происходили самые различные потрясения в обществе. Карамзин попал в Париж, когда уже отгремели первые раскаты революции. Академия надписей и словесности была создана до революции, но после революции (это особенно было важно) ее значение возросло – значение ее деятельности, работы возросло, потому что революция очень сильно подействовала на язык. В качестве примера я могу вам привести такой факт: Петр Яковлевич Чаадаев писал на чистом французском языке. И французы говорили: «Он пишет так хорошо, как у нас писали до революции». Естественно, что Академия словесности была тем учреждением, где шли дебаты. Вы представляете себе, какой это был мир: с одной стороны – баррикады, смена партий, смена вождей – Марат, Дантон, а с другой стороны – разбор слов. Лексика делается предметом изучения и предметом борьбы.

Но не только Академия надписей и словесности делала Францию законодательницей художественной моды. Во Франции сосредотачивался весь цвет мировой литературы. Вольтер, властитель дум того времени, жил в Париже. Но его уже не было, когда Карамзин туда приехал. Он уже, как говорится, в Бозе почил. В последние годы своей жизни там жил и Руссо.

В это время во Франции сосредоточена лучшая часть мировой драматургии. Пьесы Корнеля, Расина, Мольера, Бомарше идут на подмостках Парижа. В революционном Париже, перегороженном баррикадами, поглощенном борьбой партий, театры полны. На подмостках театров вы можете встретить и «Сида», и пьесы Мольера – «Скупой», «Мнимый больной», «Мещанин во дворянстве» (кстати говоря, очень характерная пьеса для этого времени), вы также можете встретить здесь и других авторов. Здесь впервые возникает тот образ, который делается характерным и любимым, – Фигаро. Это демократ, это человек из народа, который по своим достоинствам, по своему уму, по своим воззрениям стоит куда выше своего господина. И «Слуга двух господ» – пожалуйста, вот вам, человек находчивый, умный, остроумный и в то же время оратор. Вот эта гамма чувств и мероприятий, конечно, не могла не восхищать парижан и не могла не быть предметом изучения и увлечения Карамзина.

Карамзина, конечно, интересовало и другое. Карамзин ведь был поэт, то есть он хотел быть поэтом. Он любил меланхолическую поэзию, поэзию сердца. «О Меланхолия! нежнейший перелив...» А во Франции в это время поэзия сердца уже угасала, здесь появлялись другие идеи. Не забудьте, что Карамзин был во Франции тогда, когда должна была взойти звезда Наполеона. Наполеона еще нет – еще бушуют партии, еще работает во всю гильотина, еще маркизы ходят на эшафот, еще катятся их головы, но уже такая атмосфера, когда все чувствуют необходимость твердой власти порядка. Наполеон и был тем человеком, который, став командующим, а потом генералом революции, а потом первым консулом, а потом диктатором, а потом императором, установил эту власть. Вскоре вся Европа будет охвачена наполеоновскими войнами. Вот накануне этих событий Карамзин прибывает в Париж. Париж наэлектризован.

Он очень хорошо описывает, как он ходит по улицам Парижа. Его, конечно, восхищает французская архитек-

тура. Он посвящает целый ряд страниц собору Нотр Дам де Пари – Собору Парижской Богоматери. Вообще, дорогие товарищи, это надо видеть. Если это нельзя видеть в натуре, то можно видеть в репродукции. Это, действительно, «разговор в камне». Французам удалось то, что никому не удавалось, – заставить скульптуру говорить. Вы привыкли к тому, что скульптура – это застывшее явление. Некоторые говорят, что это застывшая музыка. Нет, это не только застывшая музыка, это явление, когда камень одухотворен, камень очеловечен, камень наделяется способностью говорить. Карамзин был в восторге от французской скульптуры. А ргорос скажем, что французская архитектура и французская скульптура всегда были законодателями эстетической моды в строительстве.

Вот эти произведения буквально поражали Карамзина. И по поводу этих своих восторгов, впечатлений Карамзин пишет. И здесь надо не согласиться с некоторыми исследователями, которые говорят, что эти письма писались дома, что Карамзин сперва путешествовал, а потом дома их записал. Не совсем так. Он путешествовал, записывал и посылал письма своим друзьям, но потом, когда приехал обратно в Россию, он обратился к своим письмам. Вас это удивляет? Тогда письма писали в двух экземплярах. Один экземпляр посылали, а другой, черновик, оставляли у себя. И Карамзин, действительно, значительно дополнил эти письма размышлениями от виденного и слышанного, что-то пересмотрел, добавил какие-то исторические, географические и статистические данные. Тем и ценна эта книга, что в ней очень много, как теперь говорят, информационного материала о Европе. И когда он стал издавать свои письма, то издавал не те маленькие записочки, которые делал походя, путешествуя по Европе, а как бы целые трактаты, где писал все, что его волновало. Это очень интересно. Недаром те исследователи, которые занимались «Письмами русского путешественника», указывают вот на эту черту. Возникла даже такая теория, что и «Путешествие из Петербурга в Москву» – это путеше-

ствие Радищева за своим письменным столом. Говорили, что он все это написал не путешествуя, а, так сказать, воспроизводя, что могло бы быть.

Карамзин, как настоящий писатель, не мог обойти такой существенной стороны жизни, как искусство, литература. Но не только художественные, литературные произведения его волнуют. Есть еще один объект познания – человек. Отсюда его характеристика парижан. В первую очередь, конечно, парижанок, которые славились своей красотой, изяществом, туалетами, воспитанностью, грацией. В России начиная с XVIII века создавали особую систему воспитания. Большое внимание уделялось воспитанию девиц. В екатерининские времена был создан так называемый благородный пансион, где учили девиц, как нужно себя вести. Зачем выдумали благородные пансионы? У нас в XVIII веке совершенно отчетливо понимали, что женщина в доме, в семье – это основной музыкальный инструмент, это тот камертон, по которому настраивается быт, устройство, уклад семьи.

Почему я об этом стал говорить? Потому что эти свои представления, привезенные из России, Карамзин проверил или поверил (как угодно) на парижанках. И здесь получилась очень любопытная картина. Во-первых, он все это нашел действительно так. Но он заметил одну очень существенную черту: что все это не только модернизировано, но очень много опошлилось. Уже приняло такой неприличный вид кокетства. И в этом нет ничего удивительного. Это период, когда появляются во Франции куртизанки, это период, когда не только писатели, но люди света делаются людьми полусвета, когда появляется понятие «содержанка», когда появляются женщины – владелицы очень больших капиталов только потому, что они красивы. А дальше Карамзин перелистывает еще одну страницу и видит, что в этом же мире люди прекрасного пола просто продают свою красоту. И наконец он пишет о черни: здесь красота втаптывается в грязь и от нее ничего не остается. Вот такие наблюдения, ощущения, представ-

ления дают ему картину Парижа. В его письмах Париж многогранен. Очень интересно описание Елисейских полей, где мир красоты природы, мир красоты человека постоянно омрачается миром денег. Вот если бы я вам читал эту лекцию лет 20 назад (могло бы так случиться? – со мной могло, а с вами не знаю как, могло бы или нет), я бы, наверное, очень много говорил здесь об ужасе капитализма. Для Франции еще не наступившего, но уже наступавшего. Буржуазия уже рвалась не только к деньгам – она рвалась к власти, к обладанию всем и вся.

Карамзина интересуют дворцы, башни, балы, театры. Карамзину надо всё видеть. А что «всё»? Мы всегда хотим идти по чьим-то стопам, правда? И Карамзин тоже хотел пройти по стопам – по стопам Петра I. Петр, путешествуя по Франции, зашел в Дом инвалидов. Во Франции существует такой Дом инвалидов, где находятся, как теперь говорят, на государственном обеспечении все инвалиды, пожелавшие сюда прийти. Это хромые, безрукие, безногие, слепые, изуродованные в сражениях. И Петр сказал: я бы хотел, чтобы в России был такой же дом инвалидов.

Карамзина интересует и дно, дно Парижа. И он, как честный художник, не может пройти мимо этого мира. Ему нужно посетить таверны, ему нужно заглянуть в дешевые трактиры, ему нужно походить по паркам тогда, когда там пирует чернь. У нее свои праздники, свои удовольствия, свои песни, свои пляски, свои костюмы – все свое. Это другой Париж. Как это было интересно русскому человеку, который приехал из мира, где еще существует рабство. Крепостное право – ведь это рабство, хотя многие историки отрицают это, говорят, что крепостное право не рабство, а договор между помещиком и крестьянином. Но это только красивые слова. Помещик все-таки был рабовладелец, потому что он мог продать своего крестьянина – в розницу и скопом целую семью. Это то, что для Франции уже было невозможно. Там уже был другой мир, другие отношения. И перед автором совершенно очевид-

но возникал вопрос: а что же лучше – сытый, спокойный, довольный крестьянский мужик или свободный французский поселянин? И что он должен был ответить на это? Нет свободного мужика и тем более нет свободного французского поселянина или рабочего, или, как тогда говорили во Франции, блузника, то есть того, кто связан с производством, с фабрикой.

В Париже Карамзин встретил и некоторых интересных людей. Например, он встретил французского историка Левака, который написал «Российскую историю». И рассуждения Карамзина по этому поводу очень интересны. Карамзин пишет: я сказал ему много приятных слов, комплиментов. Но вам, друзья мои, я могу сказать правду: у нас нет истории, и иностранец ее не может написать. В его жилах течет совсем другая кровь. Взгляд иностранцев на то, что русская история неинтересна, – это факт, который можно назвать недоразумением. Наша история не менее интересна, чем европейская. У нас был свой Карл Великий – Владимир Святославич, крестивший Русь; у нас был свой Кромвель – Борис Годунов. И вообще если русскую историю рассказать талантливо и описать все те перипетии, которые пережила наша страна, это будет самая интересная история (интересная – в смысле читабельная). И наши княжеские споры, междоусобицы – они тоже исключительно драматичны. Едва ли Европа может нам противопоставить что-нибудь более интересное в этом плане. Но у нас нет истории, она не написана, она ждет своего автора.

Вы уже догадываетесь? Вы уже догадываетесь, что у Карамзина была мысль когда-нибудь написать историю государства Российского. И он ее написал. И написал блестяще.

Путь к истории, конечно, долог. До Карамзина у нас никто не мог написать истории России, несмотря на то что были специальные указы государей: Ломоносову поручалось написать историю. Но он не историк, он ничего не мог написать. О чем чистосердечно и говорил. Одному Татищеву удалось начать писать историю России. Но он на-

писал только два тома, а последующие два тома, которые были найдены значительно позднее, – только наброски и планы. Это «взгляд и нечто». Вот это «нечто» могло быть прекрасной дипломной работой каждого из вас. Причем такой работой, которая бы сразу обратила на вас внимание, как на личность. Вы меня слышите? И ваше сердце не дрогнуло? Никто из вас не сказал: «Желаю славы я»? А надо. Иван Болтин, начав писать историю, как бы убоился. Это единственный историк XVIII века, который хотел написать, и как будто у него были данные для этого... Но историк – это человек особый, это вроде как вдохновенный поэт. Историю надо писать, проникая в глубь истории, восстанавливая психологические, исторические, географические, этнографические особенности того народа, который проходит перед историком на протяжении многих веков. То, что потом с таким успехом сделал Ключевский. Но путь Ключевскому открыл Карамзин.

Карамзин написал полную историю России, уже со своей методологией, то есть со своим пониманием движения, своим пониманием революции, реакции и политического уклада страны. Речь шла о России, но в сознании и мировоззрении, в подходе историка, конечно, маячила идея революции и покоя. А это могло случиться так только потому, что он уже был человеком европейски образованным. Не только в смысле школы, а в смысле понимания процессов, которые совершались. И эти процессы происходили на его глазах. Ведь он поехал в Европу тогда, когда во Франции происходила Великая французская революция. Он застал французскую революцию, он бывал в Народном собрании, он встречался с отдельными участниками, вождями этой революции, которые не очень-то его жаловали. То есть он для них был попросту ничто. Но они для него были очень интересны. Постепенно у Карамзина создалась своя система исторических воззрений, в частности – на революции. Вот где формируется первый русский историк. Тогда он, молодой человек, еще не мог дать себе полный отчет, кто такой Дантон, кто такой

Марат. Он, человек, который был современником этих людей. Перед ним прошли такие явления, как якобинцы, перед ним прошли такие вещи, как массовые казни, перед ним прошло падение Империи, перед ним прошла революция, выродившаяся в наполеоновскую империю. Перед ним прошел такой интереснейший процесс, как Отечественная война 1812 года. Вот где ему нужно было решать вопросы России и Европы. Но об этом потом.

Париж. Вот он, весь Париж: сверкающий, роскошный, модный, в пудре и в помаде – и Париж грязный, растрепанный, развратный, полунагой. А вы знаете, писателю такого типа, как Карамзин, русскому писателю, так трудно было это все понять. И не будем скрывать правду: многого он и не понял. Мне бы хотелось только одно: мне бы хотелось, чтобы вы – не сейчас, конечно, а когда-нибудь: летом, а может быть, когда будете на пенсии – взяли и прочитали «Письма русского путешественника». Это познавательно. Это просто интересно.

Карамзин покинул Францию и переместился в другой европейский центр. После изящной Франции он посетил капитальную Англию. Карамзин приехал в Лондон. В «Лондон щепетильный». А что значит «щепетильный»? Вы читали пьесу Лукина «Щепетильник»? Щепетильник – это торговец мелким товаром: бусами, колечками, булавами, застежками – «все, чем для прихоти обильной // Торгует Лондон щепетильный». Это такой околочувелирный товар, безделушки. У вас есть бусы? Вот это вы у щепетильника купили? Где же вы его поймали? На рынке. В Лондоне это был целый культ. Там можно было купить щетки какие угодно: для платья, «двадцати родов и для ногтей, и для зубов». А какие щетки были для ногтей? Обрезать ногти, чистить, а еще – полировать. Это такая щеточка, на которую надета замша – и пожалуйста. Наши дамы от нечего делать, когда они не вышивали, сидели и полировали ногти. И, конечно, мечтали. О чем? Они уже читали о Грандисоне, они уже читали «роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный».

Карамзин переселяется в Лондон. По дороге туда он удивляется: все убрано, все чисто, все геометрически правильно. Маленькие домики из красного кирпича, перед каждым домом есть тротуар, который хозяйка моет щеткой. Здесь все необыкновенно убрано. А вот и сам Лондон. Лондон, конечно, поражает в первую очередь грандиозным сооружением – Собором апостола Павла. Это действительно замечательное сооружение, очень интересное по архитектурному решению: огромный купол, который покрывает весь собор, держится не на столбах. Архитектурный расчет такой, что полусферический купол как бы парит над всем зданием. Это архитектурное чудо, увенчанное золотым куполом.

Очень интересны суждения Карамзина об архитектуре, о Соборе святого Павла, этой грандиозной машине: это только величие, это величие силы. Но это еще не величие духа. Это не то место, где человек чувствует себя в союзе с Богом. «Вы думаете, что друг ваш, пораженный величием храма, был в восхищении? Нет; мысль, которая вдруг пришла мне в голову, все испортила: что значат все наши своды перед сводом неба? Сколько надобно ума и трудов для произведения столь неважного действия? Не есть ли искусство самая бесстыдная обезьяна природы, когда оно хочет спорить с нею в величии!»

Конечно, Карамзин заходит внутрь этого здания. Он прошел и сел. Англичане все англиканцы (это одна из ветвей христианской церкви; очень демократичная, кстати говоря). У них на богослужениях не стоят, а сидят. Богослужения у них довольно торжественные, потому что там играет орган. Не знаю, слышали вы когда-нибудь орган или нет. Это чудный инструмент. В Соборе святого Павла орган, в котором несколько тысяч труб. Представляете, что это такое? Какое это звучание? У нас в Большом зале Консерватории в Москве тоже очень хороший орган. Те, кто не был на органном концерте, обязательно пойдите. Это вещь незабываемая, на всю жизнь: множество труб играют различные мелодии. Ни один

инструмент не может сравниться с органом. Орган – это целый мир. И вот когда Карамзин попал в собор святого Павла (надо сказать, что он никогда органа не слышал), и когда он его услышал, и увидел, что все сидящие смотрят, слушают, и они молятся, он говорит: во время этой музыки нельзя не молиться, настолько она чарующая и настолько она обладает способностью адресоваться к сердцу человека. У нас был знаменитый органист Гедике, к сожалению, он давно уже умер. Но органные концерты сохранились. Мне посчастливилось несколько раз его слышать. И один раз я его слышал с трубачом. Был такой трубач Еремин, который солировал. Это было изумительно. Я только тогда понял, что значит трубный глас ангелов. До тех пор я думал, что за безобразие такое: ангелы дуют в трубу, как это некрасиво. А вот когда я услышал трубу на фоне органа, я понял, что это изумительная красота. И Карамзин пережил это ощущение изумительной красоты.

Но, как я уже сказал, Карамзин всегда смотрел на мир широко. Он увидел, что у англичан нет живописи. Их живопись небогата. Но зато у них очень много скульптуры, и эта скульптура выразительна и, как Карамзин пишет, захватывающая. Он увидел, что у англичан нет литературы, что Англия бедна литературой. Вам, конечно, на память сейчас же приходит Диккенс, правда? Но ведь дело в том, что Диккенс – это было позже. Когда Карамзин был в Англии, тогда еще Диккенса на свете не существовало. Но здесь же Карамзин пишет: зато у них есть Шекспир, которым искупается бедность литературы английской. И здесь целый трактат о Шекспире. Любопытнейший трактат.

И, как всегда, Карамзина, конечно, интересует человек. Человек во многих, так сказать, плоскостях. А среди людей кто на первом плане у Карамзина? Конечно, женщины, конечно, девушки. А как иначе? Я уже сказал, что женщины – это камертон, по которому настраивается все общество. И Екатерина II у нас очень хорошо это понимала. Когда она думала о создании новой породы людей, она

прямо говорила: когда будут воспитанные девицы, образованные жены, империя будет процветать. Потому что будет воспитанная семья, а семья есть основная ячейка государства. Но вы не воображайте много о себе, не воображайте.

Так вот, Карамзин обращает особое внимание на англичанок: они очень милостивы, по преимуществу белокуры, у них светлые волосы и голубые глаза, очень хорошие фигуры и красивые ноги, но больше всего ему нравится, как они хорошо владеют лошастью. Они все наездницы. И так хорошо владеют конем, что наши гусары могли бы у них поучиться. Но когда он попробовал заговорить с одной весьма воспитанной и благопристойной девушкой и спросил ее о чем-то, она посмотрела на него как на сумасшедшего. Естественно, потому что это нарушение тех норм, которыми живет Англия. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а тем более молодому человеку с девушкой. Вас не примут в доме, если вы мало знакомы с хозяином дома. Вас просто не примут. Вот эта замкнутость очень поразила Карамзина.

Это люди замкнутые, расчетливые и холодные. Особенно это чувствуется в мужчинах. Они как будто занимаются только тем, что совершают свои коммерческие и деловые предприятия. Они очень скупы. Если хотите, даже бесчеловечны. У них бедность считается пороком. Если человек беден, значит, он сам виноват в своей бедности, и никто ему не поможет. Карамзин пишет: я был свидетель такой сцены. Мой соотечественник совершенно издержался в дороге. За столом сидели француз, англичанин и он, бедняга. Все пили и ели, смеялись. Его спросили: в чем дело? Он сказал, что у него в кармане остался один шиллинг и что он не сможет доехать до русского консула с таким капиталом в кармане. Тогда англичанин, который здесь сидел, человек весьма почтенный и, как я узнал потом, весьма богатый, встал и ушел. А француз, услышав о неприятности моего соотечественника, высыпал на стол золото и сказал: «Берите, берите, сколько вам

нужно». Мой соотечественник сказал: «Но ведь я же вас не знаю, и вы меня не знаете. Как я с вами рассчитаюсь?» – «Если вы порядочный человек, если вы сеньор – джентльмен, то вы меня найдете и вернете то, что вы сейчас возьмете». Я подошел к этому французу, пожал ему руку и сказал: «Вы настоящий Крез». Мой соотечественник отсчитал себе несколько монет и сказал: «Спасибо, я непременно выполню то, что вы сказали». И в этом весь характер двух наций!

Карамзин посещает английский суд. Он был в восторге от этого института, от суда присяжных. Но ему этого было мало. Он хотел во что бы то ни стало видеть и другие учреждения. И, конечно, он пошел в больницы. И был поражен, что там так чисто и так много докторов. Он спросил одного лекаря: а многие ли у вас умирают? Тот, не улыбаясь, ответил: вы, господин, наверное, не знаете, что там, где болезнь, там неизменно смерть. Конечно, умирают. Но мы делаем все, чтобы смертных случаев было меньше. Карамзин подумал: я видел больницу. А что же с теми людьми, которые потеряли разум? Как они? И он пошел в сумасшедший дом. И здесь он был буквально поражен. Он видел этих больных, они тоже, конечно, все чисто одеты, многие из них спокойные, одни называют себя Кромвелем, другие Карлом Великим, а одна женщина сидела на полу и страдала оттого, что ее завтра казнят. И врачи никак не могли убедить ее в том, что казни не будет, она никому не верила. «Ну, а что же другие?» – спросил Карамзин. «Пройдите к ним». И он увидел сцену, которая потрясла его: человек был прикован к стене, буйство его казалось непроходимым. Нет, не все может победить английский порядок. Есть, по-видимому, такие миры, перед которыми английский порядок слабеет.

Карамзин покидал Лондон и Англию без особого восторга, потому что он везде видел параллели, контрасты: он посещал таверны, видел уличный разврат, картины детской проституции. Он понял, что есть другой Лондон, другая, реальная Англия, не та, которую он принимает за

страну идеальную, страну порядка, но та страна, где очень много страданий и горя.

Приступаем к рассмотрению «Истории государства Российского» Карамзина. Это произведение выпадает из поля зрения исследователя как XVIII века, потому что оно написано в XIX столетии, так и исследователя XIX века, потому что Карамзин всем своим творчеством принадлежит XVIII столетию. Для нас это произведение интересно прежде всего как синтез творчества Карамзина.

Работа, написанная Карамзиным, огромна. Никто до него не брался за это историческое предприятие. До Карамзина нет историков в полном смысле этого слова. Книга Татищева «История России», два тома, о которых было сказано ранее, только намечала те идеи, которые необходимы историку, желающему воспроизвести исторический процесс. Пушкин был абсолютно прав, когда он назвал Карамзина «последним летописцем и первым историком России». Карамзин действительно пересказал русскую летопись – в полном смысле этого слова. Но этот пересказ интересен теми оценками, которые Карамзин давал историческим событиям. И прежде всего эти оценки имеют ценность не как мнение историка-аналитика, а как мнение художника.

Ведь все дело в том, что Карамзин, написавший многие исторические повести, прекрасно понимал, что ему не хватает именно исторических фактов в широком смысле этого слова, фактов событийных, топографических и, наконец, бытовых – того, без чего, собственно, художественное произведение не может существовать. Если не все три, то один из этих элементов должен присутствовать в художественном произведении и быть доминирующим, или сопутствующим, или комментирующим. Вот этот недостаток своего творчества Карамзин очень хорошо осознавал. И, приступая к написанию «Истории государства Российского», он ставил перед собой совершенно определенную задачу.

Эта задача была в первую очередь гражданская. Я уже вам много раз говорил о том, что народность, нация начинает себя осознавать как историческую силу с того момента, как она создает историю. История фиксирует бытие нации. Вот почему в XVIII веке, когда создается новая государственность (я имею в виду время Петра), у многих современников возникает настойчивое желание — написать историю. Сам Петр был в этом заинтересован. И в последующий екатерининский период эта идея господствовала. Екатерина всячески старалась извлечь из истории тот материал, который бы работал на современную Россию. И только Карамзин взял на себя бремя этого труда. И выполнил его. Уже в XIX веке. К этому времени он многое пережил (Екатерину, Павла, Александра I), наполеоновские походы, французскую революцию, цепь потрясений в Европе. Всему этому Карамзин был свидетелем, и все это он должен был оценивать и понимать. И, приступая к русской истории, он должен был соотносить явления русской действительности с явлениями мирового движения, прошлое с современностью.

Огромно создание Карамзина по значимости и по объему. Нужно было пересказать русскую летопись! Только ли пересказать? Нужно было понять, как возникает эта народность; нужно было как-то осмыслить варяжскую легенду; нужно было понять и сформулировать значение русской идеи; наконец, нужно было отделить так называемый фольклорный материал, то есть сказочный, от действительности и в то же время нужно было сохранить народный колорит. Песни, предания, сказания, которые мы встречаем в летописи, должны были войти и в новую, карамзинскую летопись. И все это вошло. Конечно, все это имело характер повествовательный, или ознакомительный. Это еще не была та история, которая захватывала за живое. За живое будет захватывать начиная с XV века. Там материал такой близкий и такой кровный, что современник не мог на него не реагировать. На материал XIII века, ранние летописи, существует любопытный отзыв

отца Герцена: «Всё Изяславичи да Ольговичи – кому это интересно?» Действительно, Россия уже забыла о тех князьях и боярах, которые княжили и царствовали. Они сделались лишь такими «звуковыми» фигурами, за которыми мало что стояло. Но ошеломляющее действие нашествий должно было затронуть молодую нацию, ибо нашествие – это война, а Россия все время ведет войны. Эти войны прошлого входят в летопись, и эти войны прошлого проецируются в настоящее.

«История государства Российского» – это был подвиг историка-художника. Об этом труде можно говорить очень много. Наше внимание будет сосредоточено по преимуществу не на историческом изложении, а на факте беллетризации, если так можно выразиться, беллетризации истории.

Этапы истории живо вставали перед Карамзиным. Его описание крещения Руси было чрезвычайно современно по той простой причине, что он хорошо понимал, что́ есть миссия, миссионерская проповедь. Он прекрасно видел и понимал, какая пропасть существует между теми, кто обращает, и теми, кого обращают. Он понимал, что это крещение – купание, а не воспитание. Тут надо прямо сказать, что это целая трагедия в истории нации; это трагедия писателя. Трагедия в том смысле, что писатель должен объяснить социальную и духовную психологию новообращенных, той самой молодой народности, которая так далеко стояла от просвещения и понятия силы духа, силы веры. Как официальный, или официозный историк, он был связан своей официозностью, а поэтому он не мог давать критики в нашем смысле слова, то есть сатирического разоблачения, потому что это никак не входило в его задачи. Это не входило в его духовный замысел, ибо сам он в конечном счете видел в этом огромное миссионерское, культурное начало – просвещение. Но показать крещение как апофеоз ему тоже не представлялось возможным. Вот это целая тема для художественного произведения. Этот отрывок летописи об-

ращается в замечательную поэму, где наличествуют и масса, и герои, и идея, и понимание этой идеи и непонимание ее.

Но если XI и XII века выступают как в тумане, то XIII век – уже совсем другое дело. Вот здесь впервые встает тема, которая потом будет преследовать Россию всю историю: это тема степи. Степь, степняк – основной враг Руси. Это столкновения с половцами, с народностями, населяющими это огромное пространство. Карамзин, не будучи ориенталистом, не вступает в этот мир, не изображает его. Он сосредоточен всецело только на Руси. И может быть, это очень хорошо, потому что его история – это история *государства Российского*. И в этом мире борьбы со степью мы встречаем совершенно изумительную трагическую часть – изображение внутрикняжеской, или междоусобной борьбы. Племенные, родовые и другие начала выступают с такой яркостью, что любой беллетрист мог бы позавидовать этой теме. Здесь столько материала для художественного воплощения. Вот то, чего Карамзину не хватало всю жизнь. Если он всегда выступал как художник, в какой-то степени примиряющий мечту и действительность, выступал как лирик, как человек, желающий найти всем успокоение, то здесь он должен был остановиться перед правдой жизни, перед страшной кровавой трагедией междоусобной борьбы и наступления степи на славянский мир.

Конечно, здесь очень много возникало у него параллелей с западными и восточными источниками. То, что он писал в первых томах «Истории государства Российского», – ведь это все в сущности компиляции из западных и восточных хроник. Их материал перекликался с русской действительностью или давал какой-то материал для понимания того, что происходит. Карамзин сопоставлял то, что делалось на Западе, то, что делалось в норманнских странах, то, что делалось в азиатских странах, – это все повторялось на Руси. Это были такие опорные пункты, которые давали возможность историку идти дальше.

XIII век раскрылся во всей своей наготе: татарское нашествие, трагедия целого народа, порабощение сверху донизу народа, к которому по крови принадлежал он. Здесь исторический источник должен быть и справедлив и поучителен. Сколько тут различных линий для художественного воплощения!

Я сейчас все время говорю о художественном воплощении. Я не смею говорить об исторической справедливости, об исторической достоверности, наконец, об историзме, потому что это область другого специалиста – историка. Мы же с вами филологи, и поэтому мы можем черпать из этого источника только филологический, словесный, психологический материал – и не более того. Историк, социолог должен осмыслить закономерность развития. Мы же пользуемся этой закономерностью в силу художественной логики произведения. Поэтому XIII столетие от 1237 до 1380 года – это тот материал, который дает огромную трагическую картину Руси – порабощение. Никто так хорошо не понял и не оценил этого, как первый историк, в сущности говоря, свободный от предрассудков исторической науки. Все те рассуждения о восточном влиянии, о пользе восточного влияния, о необходимости рассматривать этот период как славяно-азиатский, то, что потом даст дурные всходы евроазиатских учений – едва ли нужно сейчас об этом говорить – исторически не подтвердились. А нужно говорить о том, что Карамзин увидел в этом историческом движении свет, прогресс, который сосредоточился в руках русских людей аскетического направления. Поэтому очень существенно здесь сказать о роли Сергия Радонежского. Что он и делает. Очень существенно здесь говорить о периоде обретения нации, то есть народ осознает себя как нечто целое, как нацию, здесь очень существенно говорить о Симеоне Гордом и вообще о той оппозиции, которая выросла в княжеской среде по отношению к Орде.

А перед нами выступает и другой мир – мир XIV века, мир отрезвления, мир осознания своего величия –

после сентября 1380 года, после Куликовской битвы. Для Карамзина это был этап не только развития Руси – это этап его духовного совершенствования, или обретения самостоятельности – как угодно. Здесь такой историк, как Карамзин, историк-психолог, не мог пройти, и он не прошел, мимо того явления, которое можно назвать возрождением. Русская народность вступила в новую фазу, – это вне всякого сомнения. Наступает расцвет прежде всего интеллекта и духа. Вот где надо сказать «не хлебом единым»! Это духовное начало и одерживает победу. Кстати говоря, Карамзин много раз будет указывать на то, что Русь – она тем и велика, что имеет огромный духовный потенциал. Это Сергей Радонежский, это Андрей Рублев, воспитанный в этом же мире, это Епифаний Премудрый. Это расцвет искусств, книжности и просвещения. Таков XIV и начало XV века.

Начиная с XVI столетия характер изложения постепенно меняется. Историк-повествователь перестает быть хроникером. В повествование врываются субъективные моменты отношения Карамзина к эпохе Грозного. Целых два тома «Истории» посвящены жизни и деятельности великого князя Ивана Васильевича. Его детство, и отрочество, и возмужание, и зрелость, и старость – все проходит перед взором историка и оком читателя. Эволюция, изменение характера рисуется на фоне политических событий, которые переживает Русь в это время. Миротворительный воспитанник Сильвестра и Адашева делается деспотом, не отдающим отчета в своих поступках, преступлениях. Карамзин как бы заостряет внимание на моральном падении своего героя, героя русской истории – Ивана Грозного. Его преступления делаются предметом детального описания и рассмотрения. Карамзин желает понять психологию человека, воздействие окружения, событий на сознание самодержца. Идея единодержавия, или самодержавия, уже выступает здесь во всей своей обнаженности. Метания Ивана IV от молитвы к преступлению, от раскаяния к оргии, от бунта к успокоению и юродству выри-

совыпадают с необыкновенной яркостью под пером художника-беллетриста. Александровская слобода и ее обитатели – игумен Грозный и монахи-опричники, под монашеским одеянием которых находятся роскошные одежды, жизнь по монастырскому уставу показаны как сплошное издевательство и насмешка над монастырем и над аскетическим уставом. Смех приобретает зловещее звучание, религиозная идея почти утеряна, или утрачена, или утоплена в крови безумных оргий взбесившейся опричнины. И после этого – тягостное раздумье Иоанново над собственными преступлениями.

Совершенно изумительна сцена встречи Васьки Шибанова с Грозным. Это уже чисто шекспировская встреча. В русской историографии нет ничего подобного. Я не знаю ничего подобного и в европейской беллетристике. «И на спокойное око слуги // Взирал испытующим оком». Грозный поражен стойкостью, непреклонностью, верностью раба господину. Он, окруженный лестью, вдруг увидел, что помимо лести есть другое: есть признание и привязанность, есть понятие чести – чести слуги. Не раба, а слуги, того, кто служит не за страх, а за совесть – в полном смысле этого слова.

Глубоким драматизмом проникнуты сцены беседы, столкновения и борьбы Филиппа Колычева и Ивана IV. Мы видим, как углубляется анализ внутреннего мира человека: там Шибанов – здесь Колычев.

Вообще весь том написан с таким подъемом, что он до сих пор читается как хороший исторический роман. России повезло с историческим романом. И если вершиной его была «Война и мир», то зародышем было именно карамзинское описание эпохи Грозного. Вот где вопрос личности и государства впервые встал во всей своей силе. Вопрос, над которым будет раздумывать вся Россия в последующее столетие. Каждая социальная теория будет стремиться разрешить этот вопрос. Но это только стремление. Решения его ни Карамзин, ни последующие историки не дают.

Эпистолография выступила наконец в этом томе с такой силой, как никогда еще до этого не выступала. Ни одно из апостольских посланий не может сравниться с тем, что написали Курбский и Грозный. Они, в сущности говоря, люди различных полюсов, различных цивилизаций, но люди одной земли, и не будет преувеличением, если мы скажем – одной крови. Но здесь столкнулись деспотизм и личное достоинство, и так скрестились их мечи, что нужен был какой-то большой исторический перелом, чтобы разрешился этот исторический конфликт. Этого перелома не произошло. Историки увидели в князе только эмигранта. А респондент понял его поступок как измену отечеству.

Вообще исследование, посвященное «Истории государства Российского» и русской беллетристике, которое хотелось бы сделать, настолько грандиозно, что, говоря словами древнего, «...ни самому мню всему миру вместити пишемых книг» («...и самому миру не вместить бы написанных книг»).

Вот теперь можно сказать: «Ну, Карамзин! Ну, Грозный! Не знаешь, чему более удивляться: жестокостям Иоанновым или красноречию нашего Тацита!»

Стиль гражданского пафоса у Карамзина постепенно угасает. И все ближе к Смутному времени мы видим, как возрастает субъективное разочарование автора в фактах родной истории. Но самое главное он сделал: он показал, что исторические факты могут и должны быть предметом словесного искусства. И не будет преувеличением с моей стороны, если я скажу, что эта манера художественно изображать исторический материал, была продолжена. И когда мы с вами расстанемся, я вам очень рекомендую читать «Русскую историю» В.О. Ключевского, где история встает в образах. И человек читающий не может не запомнить эпопею русской истории.

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВАСИЛИЙ ЖУКОВСКИЙ

Не без внутреннего трепета приступаю я к изложению курса по русской литературе XIX века. Естественно, меня волнует, что первая лекция посвящена не общему обзору, а отдельному писателю – Жуковскому, человеку особой биографии, особого таланта, особых духовных устремлений, не похожему на современных ему писателей.

Необходимо остановиться на отдельных фактах его биографии. От романа русского барина, помещика Тульской губернии Афанасия Ивановича Бунина и турчанки Сальхи (такой, говоря по-русски, Забавы Путятичны – Бунин увлекся ее красотой) и родился в 1783 году тот человек, которого мы называем Жуковский. Чтобы не терять дворянской крови, Бунин купил ему поместье с крестьянами, а заодно – имя, отчество, фамилию и просил своего обедневшего приятеля Андрея Григорьевича Жуковского усыновить и крестить младенца. Так мальчик стал называться Василием, получил отчество крестного отца – Андреевич и дворянскую фамилию – Жуковский. Под этой фамилией Жуковский и прожил свою жизнь, став одним из самых крупных поэтов-лириков XIX века.

Отношения Жуковского к семейству Буниных наложили тяжелый отпечаток на душу мальчика: «Я не успел быть сыном своей матери: в то время, когда начал чувствовать счастье сыновнего достоинства, она меня

оставила. Я думал отдать ей права другой матери, но эта другая мать дала мне угол в своем доме... Семейное счастье для меня не было: всякое чувство надо было стеснять в душе своей». «Я привык отделять себя ото всех... и... всякое участие ко мне казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем, не чувствовал любви...» (*Жуковский. Дневники 1810 и 1814 годов*).

Русского турчонка надо было обучать наукам, а он оказался неспособным к учению. Учителя от него отказывались, а Феофилакт Покровский, тульский педагог и литератор, выгнал мальчика из тульского народного училища за невнимание и неспособность к учению. Удивляешься, сколько страданий выпало на долю этого человека «без роду без племени, ни к чему не годного, никому не нужного»! По совету знаменитого тульского естествоиспытателя и мемуариста Андрея Тимофеевича Болотова¹ Жуковский был определен в Московский университетский благородный пансион (1797). Святость пансионского товарищества он пронес через всю жизнь. В пансионе не нужно было заниматься древними науками и классическими языками, что избавляло мальчика от лишних мучений, – пансион вообще закрывал дорогу в высшее учебное заведение и готовил к дальнейшей военной и гражданской службе. К тому же здесь открылся у Жуковского талант к литературе: он почувствовал влечение к стиху, к музыкальному звучанию слова.

В это время он был принят в семью Тургеневых (отец И.П. Тургенев и три брата: Андрей, Александр и Николай), сыгравшую огромную роль в его судьбе, становлении нравственно-философских взглядов. В одиночестве не воспитать гуманного чувства. Сердце возделывается во взаимодействии одинаково настроенных людей. Так было создано «Дружеское литературное общество», в уставе

¹ См. об А.Т. Болотове: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века: Лекции-очерки. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 136–145.

которого записаны такие цели: «дух благий дружества», «сердечная привязанность к своему брату», «доброжелательство к пользе другого». С.Е. Родзянко, А.С. Кайсаров, А.Ф. Воейков, А.Ф. Мерзляков, братья Тургеневы – члены этого общества. С Андреем Тургеневым, идеалистом, энтузиастом, страстно любящим литературу, Жуковского связывала тесная идеальная дружба. Дружба так нужна молодому человеку! А одинокому, да еще сироте – необходима! Ранняя смерть Андрея Тургенева, в 23 года, тяжестью легла на душу Жуковского. Андрею посвящено стихотворение 1803 года «На смерть Андрея Тургенева», ему посвящена элегия «Сельское кладбище», а в неоконченной повести «Вадим» во вступлении автор говорит о том, кем был для него этот юноша: «Тень твоя надо мною; она собеседница безмолвных часов моих, незримый хранитель моего сердца, так в священном присутствии клянись быть другом добродетели». «Друг добродетели» – этому девизу поэт будет верен всю жизнь.

После пансиона Жуковский служит в Соляной конторе, в бухгалтерском отделе, а вскоре становится учителем дочерей Екатерины Протасовой. Эта новая деятельность была чрезвычайно приятна для него. Он почувствовал себя учителем, человеком, могущим передать знания другому. В то же время он влюбился в Машу Протасову, 12-ти лет, что было так естественно для среды, в которой он находился. С наивностью юноши он признался матери в любви к ее дочери и просил руки Маши. Не надо говорить, какую бурю вызвало это событие. Протасова даже обращалась к митрополиту за решением этого вопроса: возможен или нет, с точки зрения православия, такой союз при наличии родственных отношений. В результате Протасова потребовала от Жуковского порвать всякие отношения с ее дочерью и уехать из дома во избежание неприятных последствий. Счастье Жуковского, что около него находились такие люди, как Тургеневы, хотя Жуковский уже привык сносить удары судьбы... Можно было переехать в другой город, отказаться от дома, но запретить

любить – невозможно. К тому же надо сказать, что в душе Маши тоже пробудились ранее не известные ей чувства. Роман не оборвался, а только ушел вглубь от посторонних взглядов. Жуковскому еще придется многое пережить: брак Маши с Мойером и ее смерть в 1823 году...

Любовь к Маше Протасовой на всю последующую жизнь принимает характер мистического преклонения. Душа растет, расходуя себя... Из-под пера поэта выходят стихи, не свойственные литературе того времени. Это был русский Петрарка:

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!

Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!

Если бы сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Прелесть жизни твоей
Сей образ чистый, священный,
В сердце, как тайну, ношу.

Я могу лишь любить,
Сказать же, как ты любима,
Может лишь вечность одна!

(«К ней»)

Пережив трагедию с Машей Протасовой, смерть ее, Андрея Тургенева, родной матери и Буниной, Жуковский становится как бы обитателем двух миров, где стираются грани между жизнью и смертью, реальным и ирреальным. Но человеческое, живое, побеждает в нем: «При мысли великой, что я человек, // Всегда возвышаюсь душою» («Теон и Эсхин»). Отсюда «Сельское кладбище» – перевод элегии Грея, который Жуковский называл своим первым стихотворением. Элегический стих, несущий тишину, успокоение, веру в будущее, характерен для Жуковского этого пе-

риода. Отсюда стихотворение «Теон и Эсхин», знаменующее собой силу и красоту чувства любви и веру в вечность. Вот почему «для сердца прошедшее вечно» и «горе и радость – все к цели одной» – эти основные мотивы поэзии Жуковского будут сопровождать все его творчество.

Писательский талант не покидает Жуковского всю жизнь. Он писал и поэмы, и повести, и басни, и сказки, и идиллии, и песни, и послания, и многое другое. Но я в своем курсе не собираюсь останавливаться на этой литературе, и вовсе не потому, что она не представляет никакой ценности, а потому, что Жуковский вошел в историю литературы прежде всего как мастер лирической поэзии, как художник, которому многое открылось, как поэт, определивший дальнейшее развитие русской лирики, останавливаясь на самых различных особенностях и вариациях этого искусства. Поэзия Жуковского – особая, отнюдь не похожая на то, что писали его современники. Он первый понял огромную разницу между правдой жизни и правдой искусства, понял, что не все можно выразить словом, но что само слово многомерно, беспредельно в своем звучании, многозвучно. Он понял, что значит музыка слова:

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенно...
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святыя таинства, лишь сердце знает вас.
Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья,
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена, –
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,

Ненареченному хотим название дать –
И обессиленно безмолвствует искусство?
(«Невыразимое»)

Здесь поэтом раскрывается сама идея «невыразимого». Искусство способно отразить только часть, отблеск ощущений – все ему не подвластно. Это чистый романтизм, ибо для реализма есть «выразимое», важно «выразимое». А здесь – бесконечное количество оттенков, ощущений, того, что несет очень много эмоционально-чувственного.

Важнейший мотив лирики Жуковского – мотив «минувшего», «прошедшего», «воспоминания». «Я и воспоминание – одно и то же», – скажет он в 1837 году. Тоска о прошедшем, счастье в воспоминаниях – об этом и в поэзии, и в дневниках, и в письмах, заметках. Так, в заметке к «Лалла Рук» Жуковский толкует афоризм Руссо «прекрасно лишь то, чего нет»: «Грусть всегда соединяется с ощущением невыразимости прекрасного, и это убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно есть восхитительная тоска по Отчизне, она действует на нашу душу воспоминанием всего прекрасного в прошедшем».

Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил
И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл.
(«Мотылек и цветы»)

Очевидно, эти мотивы связаны с сердечной биографией поэта, и с новой силой они звучат в 1818 году – времени тяжелой жертвы и совершенствования воли для поэта: «минувших дней очарованье», «святое прежде», «привет бывалый», «скажу ль тому, что было: будь?» («Песня»). Кредо поэта в это время – «жизнь и поэзия – одно». Поэзия должна возвышать душу человека. Но ведь прекрасно то, чего нет, – как же возвысится душа? Отсюда великая идея Жуковского – идея вечной красоты. Без этого нет жизни. Бытие приобретает звучание только тогда, когда оно облечено в идею вечно прекрасного:

Я музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
На все земное наводило
Животворящий луч оно –
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия одно.

<...>

Все, что от милых темных, ясных
Минувших дней я сохранил –
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы, –
Кладу на твой алтарь священный,
О Гений чистой красоты!

(«Я музу юную, бывало...»)

Для осуществления этой положительной программы лирический герой создает целый свод правил. Бодростью звучит его голос! Энергия слышится в ритме, вера в свой идеал!

Прочь, низкое! прочь, злоба!
Дух бодрый на дороге бед,
До самой двери гроба;
В высокой доле – простота;
Нежадность – в наслажденье;
В союзе с ровным – правота;
В могуществе – смирение.

<...>

Неправде – грозный правды глас;
Заслуге – воздаянье;
Спокойствие – в последний час;
При гробе – упование.

(«Певец во стане русских воинов»)

К такому идеалу может прийти человек, сохранивший чистоту души, чуждый эгоизма. И обществу, где много злого, дикого, очень нужны такие призывы поэта.

Такова светлая природа поэзии Жуковского. Читая его, не знаешь, где остановиться. Все время – поток, поток красоты. Это глубокое воздействие на читателя, эта завораживающая длительность стиха, этот постоянно

бегущий вперед, захватывающий дыхание, лексический, звуковой, музыкально-ритмический, образный ряд его поэзии – при самых разных формах выражения.

Жуковский открыл пейзажную лирику глубокого философского звучания. Это о нем можно сказать: «Была ему звездная книга ясна, // И с ним говорила морская волна, // Изведен, испытан им весь человек» (Баратынский «К Гёте»). Весь мир природы у Жуковского одушевлен, очеловечен. Он выступает как огромная, всепоглощающая стихия красоты и величия человека и мира:

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь...

(«Море»)

Лучше всего после Жуковского эти процессы в русской жизни понял и отразил в литературе Федор Иванович Тютчев.

Имя Жуковского тесно связано в русской литературе с развитием баллады (до него баллады писали П.А. Катенин, Г.П. Каменев). Жуковский буквально наполнил русскую литературу множеством баллад, разнообразных по форме и содержанию. Это и баллада-новелла, и баллада-повесть или целый роман. Причем все это ново не только как материал, как построение, но и как национальное звучание. Жуковский переносил в нашу жизнь немецкий мистицизм, но очень умно и тонко захватывая при этом наше национальное чувство. Не будем замалчивать, что баллада Жуковского не всеми была принята и оценена и могла даже стать предметом шутки и издевки, что находим в отзывах Грибоедова и Кюхельбекера.

«Светлана» как будто чисто национальное произведение, пока рассказ не дошел до сна. Наш русский вещий сон совсем другой. Если есть в нем пугающе пророческое, то реально ощутимое. У нас и мертвые-то ходят, как живые. У Жуковского герои – потусторонние жители, и во сне и наяву.

Сюжеты баллад, как мы сказали, разнообразны. Это и приключение с мертвецом, и ложность гадания, и прекрасный звук как чудесный памятник любви. Печален сюжет «Ивиковых журавлей», где трагическое содержание – гибель певца и воздаяние за преступление – сливается с изяществом формы, что составляет характерную особенность баллады. Баллада Жуковского допускает диалог. В балладе «Лесной царь» (из Гёте) диалог наполнен драматической напряженностью, подчеркнутой движением ритма скачущего коня:

«Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит». –
«О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

Нужно еще сказать, что ведь это не только открытие жанра – привлекался огромный слой европейской литературы, европейской культуры, что не прошло мимо внимания князя Вяземского: «Наша публика мало слышала о Шиллере, Гёте, Бюргере и других немецких романтиках».

Жуковский как личность чрезвычайно многогранен, разнообразен. Его трудно отнести к какому-то течению, направлению, группировке. Подчас у него встречаются совершенно неожиданные формы выражения. «Русский Петрарка», «гробовых дел мастер» представляется нам и как весельчак, юморист. Здесь нужно сказать об обществе «Арзамас» (1815), возникновение и популярность которого совершенно естественны, а может быть, необходимы на фоне утомительного литературного мистицизма того времени. «Арзамас» – шутовское общество – объединил людей различных, но имеющих одну цель – отдохнуть, поострить, выразить остроту, представить участников общества символами определенных идей. Так Жуковский имел прозвища Светлана, Гробовых дел мастер, Александр Тургенев – Эолова арфа, князь Вяземский – Асмодей, а молодой и еще не достаточно популярный Александр Пушкин – Сверчок.

(«Быть Сверчку орлом!» – скажет потом Жуковский.) Почему «Арзамас»? В одной из своих комедий А. Шаховской, член «Беседы любителей российской словесности», вывел в карикатурном виде Жуковского под именем «балладника Фиалкина». Молодой писатель Д.Н. Блудов в ответ написал памфлет под названием «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей» и прочел его друзьям. Решено было основать общество, на заседаниях которого высмеивали членов «Беседы».

Критика арзамасцев должна была «ехать на галиматье». Жуковский был не только «гробовых дел мастер», но и шутовских и шуточных дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение: при натуре идеальной, мечтательной, мистической в нем были и сокровища веселости, смешливости, залогом карикатуры и пародии. Вздорноречие Жуковского доходило до гениальности.

Я привожу этот материал, потому что нужно показать, что рядом с потусторонней мистической жизнью, изображаемой в литературе, где пальма первенства принадлежала Жуковскому, существовала и другая литературная жизнь, бесшабашная, озорная, но в строгих рамках приличия. Потом появилась идея сделать из «Арзамаса» литературное общество с направлением, но, к счастью, из этого ничего не получилось.

Если раньше Жуковский познакомил русского читателя с европейской литературой (Гёте, Шиллер, Бюргер, Скотт, Сервантес), ввел в литературный обиход их произведения, переведенные на русский язык, то теперь он берет на себя роль просветителя России в области античного искусства. И русский человек прочитает Гомера в переводе Жуковского. «Я, во время оно родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских, под старость лет... отворил для отечественной литературы дверь Эдема... до сих пор для нее запертого» (письма, 1849).

Перевод «Одиссеи» сохранил дух, колорит и звучание эллинского певца. Талант и вдохновение Жуковского воссоздали гений Гомера, и там, где не хватало знания греческого языка, помогало чутье художника: «Я старался переводить целое, сохраняя общий эффект Гомерова слога... богатый поток целого» (из письма к А.С. Стурдзе, 1849). Явление в высшей степени знаменательное! Но все дело в том, что в это время классические образцы уже не волнуют русского человека! «Другие времена – другие песни», и героем «нашего времени» является уже не Одиссей, даже не Печорин, а Павел Иванович Чичиков! Культура и просвещение прошлого как бы завершают свой путь и доделывают те постройки, которые не успели соорудить ранее, – баллады, героические песни. Время требует слуги своего, он должен рассказать о современном моменте, а не о том, что отстоит от нас на тысячу лет. Жуковский взял на себя тяжелое бремя – воспроизвести художественный мир тысячелетней давности, и поэту удалось это так, что памятник не поблек от времени, не утратил своих красок, хотя многие современники отмечали, что это не живое искусство, а художественная археология (Н. Гоголь, И. Аксаков, С. Шевырев). А.Н. Веселовский писал, что «в конце 40-х годов перевод “Одиссеи” был подвигом поэтического изолирования».

Напечатав до ста экземпляров «Одиссеи» для раздачи своим друзьям и знакомым, Жуковский почти ни от кого не получил ответа! Вот оно – равнодушие современников! «Впрочем... я пожил со святою поэзией мыслью и словом – этого весьма довольно» (Жуковский – Стурдзе, 1849).

Мы пока рассматривали поэтическую деятельность Жуковского в ее разнообразных формах и богатстве содержания. Но из нашего поля зрения не должна уйти область жизни писателя, которая не связана с литературным творчеством, но в высшей степени важна и для Жуковского, и для России, – его воспитательно-педагогическая деятельность.

Постоянно подчеркивая, что Жуковскому трудно было учиться, учителя от него отказывались, из училища выгнали, мы должны сказать, что, по-видимому, сам он стал очень талантливым педагогом и воспитателем. В том, что он плохо учился, виноваты, наверное, учителя, которые не могли его научить, а не он. Лечат, учат обычно по своей методе; если не выучился, виноват ученик, не выздоровел – виноват больной. Но ведь на самом деле все по-другому. Для каждого индивидуума нужна своя метода. Найти ее для всех очень трудно, на это требуются столетия. Это показало обучение чтению. В XVII веке ребенок выучиться читать почти не мог, и всегда вспоминаешь Остапа (Гоголь «Тарас Бульба»), который зарывал «проклятую азбучку». В XX веке ребенок выучивается читать, не подозревая, что он выучивается, и это есть высшая форма обучения.

Испытав на себе, что насильно нельзя учить, что его учили не так, как надо, Жуковский сам стал очень хорошим педагогом и сам всю жизнь учительствовал. Екатерина Протасова даже не предполагала, какую услугу ему оказала, взяв учителем своих дочерей. Потом она выгнала его из дома. Но слава учителя осталась за Жуковским и дошла до двора. В 1827 году он был назначен педагогом-воспитателем великого князя Александра Николаевича. И здесь надо остановиться. Роль педагога-воспитателя огромна. Он не только обучает – он воспитывает. В его руках весь материал, который должен быть обращен к уму и сердцу воспитанника: художественный, философский, религиозный. Учитель должен знать чувство меры, предлагая предмет, постоянно вкрапливая в него минимальную дозу идеологии, как мы бы сейчас сказали, что Жуковский, по-видимому, блестяще делал. В его воспитательно-педагогическую систему входили не только всевозможные карты, таблицы, атласы, азбуки, которые он сам придумывал и составлял для лучшего усвоения материала учеником. Все это являлось вспомогательным и было направлено на формирование мировоззрения будущего правителя России.

По плану Жуковского, все лекции должны сходиться к его, которая есть «пункт соединения», другие учителя – дополнители и репетиторы. Выбор учителя очень важен. И сам поэт, и его друзья понимали великую задачу, которую выполнял Жуковский, принося, может быть, в жертву саму поэзию. «Я принадлежу наследнику России... на всю жизнь свою смотрю только в отношении к этой великой мысли».

Роль религии в его системе огромна. Это не отдельная наука, а средство воспитания, она должна стать жизненным правилом, сливаясь со всеми чувствами. Важнейшее в педагогической системе Жуковского – наставления, которые он адресовал наследнику: «Люби и распространяй просвещение; Люби свободу, то есть правосудие; Владычествуй не силой, а порядком; Будь верен слову; Окружай себя достойными людьми; Уважай народ свой, тогда он сделается достойным уважения». Постигание науки царствовать.

Цель образования – в добродетели. Природные качества воспитанника должно развивать «через ознакомление с тем, что он есть и должен быть как существо нравственное и бессмертное».

Россия обязана Жуковскому гуманизацией. Он, сын века крепостной России, резко выступал против рабства. Своих крепостных Жуковский отпустил в 1827 году. Осуждая всякое насилие, поэт постоянно заступался за всех гонимых и угнетенных. Царь делал ему замечание, что он, Жуковский, человек двора, не может защищать тех, кого двор преследует. Поэт не возражал, но делал все по-своему. «Официальный Жуковский не постыдит Жуковского-поэта». «Не могу покорить себя ни Булгаринным, ни Бенкендорфом: у меня есть другой вожатый – моя совесть».

В 1838 году Жуковский выкупил Тараса Шевченко. Для этой цели он устроил во дворце лотерею, выставив в качестве приза свой портрет работы Карла Брюллова. Лотерейный билет выпал императрице Александре Федоров-

не, а недостающие для выкупа деньги доложили Жуковский и Карл Брюллов.

Жуковский заступался за молодого критика И. Киреевского. При встрече с царем пытался за него поручиться, на что получил резкий ответ: «А за тебя кто поручится?» Оскорбленный Жуковский прекратил занятия с князем. Какой прекрасный жест! Если нужен поручитель за учителя цесаревича, если нужен поручитель за «певца во стане русских воинов», за автора гимна «Боже, царя храни», ставшего народной молитвой, – это оскорбление достоинства! Жуковский мог обидеться и остаться с чистой совестью. Не всякий бы осмелился так вести себя с государем Николаем Палкиным! «Ну, пора мириться», – обратился к нему царь при встрече и обнял его. Но Жуковский не остановился на этом и написал Бенкендорфу. «Ответа не имею... но что надобно было сказать, то сказано» (из письма И. Киреевскому).

Здесь не место перечислять все добродетели Жуковского. Многие писатели ему обязаны: и Герцен, и Баратынский, и Кюхельбекер, и Пушкин, и декабристы. И почти никто не благодарил его за добрые дела. Они воспринимались всеми как норма, как будто так и надо. Из этих бесконечных черт складывается нравственный портрет поэта. И, конечно, находятся злопыхатели, эпиграммисты, которые хотят принизить его доброту («Из савана оделся он в ливрею, // На бархат променял свой лавровый венец, // С указкой втерся во дворец, // И там, пред знатными сгибая шею, // Он руку жмет камер-лакею – Бедный певец!»).

Но желчь бессильна опорочить то, что прекрасно. И историк литературы не может не указать на огромную роль Жуковского в деле возвышения сердечности и доброты! Став лучшим педагогом России, он так воспитал Александра II, что в России были успешно проведены реформы, до которых поэт не дожил. А ведь все было подготовлено трудами этого человека. В 1837 году было принято путешествие Жуковского с наследником по Рос-

сии – обручение с Россией. Были посещены Великий Новгород, Ярославль, Кострома, Тюмень, Тобольск. На обратном пути – Курган, Златоуст, Симбирск. В Кургане Жуковский встречался с каторжанином бароном Андреем Розеном и другими декабристами. По-видимому, здесь и была адресация воспитателя к наследнику по поводу будущего помилования этих людей. Та цепь реформ, которые Александр II провел, сделавшись самодержцем, почти продиктована Жуковским. К сожалению, историки прошлого не обратили на это внимания.

Жуковский умер в 1852 году в Баден-Бадене. В том же году его прах был перевезен в Петербург на кладбище Александро-Невской Лавры и похоронен рядом с могилами Карамзина и Ивана Козлова. В последний путь по российской земле его провожали Плетнев, Федор Тютчев, студенты Петербургского университета и воспитанник Жуковского – наследник престола, будущий император Александр II.

То, что я сейчас собираюсь дать как обобщение, вполне могло быть предложено и как вступление к лекции о Жуковском. Жуковский – мастер, создатель красоты. Красивости он избегал и был певцом красоты истинной. Но «певец» – это мало по объему звучания его поэзии. В сущности говоря, лирическая поэзия Жуковского предвосхитила собою лирику начала XX века. Все течения, школы, которые потом возникли: символизм, акмеизм и другие «измы» – есть не что иное, как заимствование или подражание лирике Жуковского. С той очень существенной разницей, что в этих поэтических школах мы довольно хорошо просматриваем именно мастерство школы, технику, чего мы не видим у нашего поэта, ибо у него и форма, и содержание нераздельно и органично переплетаются. Ни один русский поэт не писал метрами столь многообразными. Жуковский первый употребил дактилические окончания в русском стихе, гекзаметр был для него новым музыкальным аккордом, многие его пьесы напи-

саны пяти-, четырех-, трехстопным смешанным ямбом. Бессоюзие, остановка, недомолвка – любимые приемы его поэзии. Жуковский никогда не утомляет – он очаровывает. XX век утратил в своей поэзии эту нравственно-возвышенную ноту, этот прорыв в «невыразимое», «небесное». У Жуковского эта слитность возможна потому, что у поэта все направлено к «цели одной» – красоте мира, которую он видит вокруг себя, и красоте в душе человека. И эта красота звучит в слове, выражая «невыразимое». В сущности, это было целое открытие, целая эпоха в осознании психологии творчества. И прозаическая речь становится такой же мелодичной и звучной, как стихотворная. Белинский был прав, сказав, что без Жуковского не было бы Пушкина.

Жуковский стоял выше всех политических идей и социальных ограничений, то есть это не мешало ему быть добрым. Он называл декабристов «разбойниками» и заступался за них, просил им пощады. Любовь, одна любовь руководила им. Он сердцем чист. Эту чистоту сердца он пронес через всю жизнь, далеко не легкую! Нигде не пошел против своей совести. Поэту открылось самое большое в жизни – чистота нравственного чувства. То, что писателю 50-х годов (Л. Толстому) досталось ценой мучительных противоречий, размышлений, то Жуковскому пришло как откровение, как ощущение, как воздух, которым он дышал. «И этот-то души высокий строй <...> // Он завещал взволнованному миру» (Ф.И. Тютчев).

Заканчивая рассмотрение творчества Жуковского, считаю своим долгом указать на книгу А.Н. Веселовского «Поэзия чувств и сердечного воображения» – замечательное исследование, равного которому в нашей науке нет. Занимаясь различными теоретическими проблемами, по преимуществу синтетического характера, академик Веселовский не мог не обратить внимания на творчество Жуковского, понимая, что это – крупное историческое явление, в отдельных случаях определившее собой дальнейшее развитие русской поэзии. В концовке книги Веселов-

ский приводит «прощальное» стихотворение Жуковского «Царскосельский лебедь» (1851), которое очаровывает своим поэтическим звучанием, задушевной скорбью и является в полном смысле излиянием чувств поэта:

Лебедь благородный <...>
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!
А когда допел он – на небо взглянувши <...> –
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте...

Спев свою «лебединую песнь», Жуковский продолжает жить в своем творчестве, которое навсегда останется образцом для создания русского стиха, а жизнь его – примером нравственного подвига в любых исторических условиях.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Приступая к рассмотрению творчества Пушкина, необходимо сразу сказать, что автор лекций-очерков далек от мысли представить весь творческий путь писателя.

Поскольку каждый период творчества Пушкина совпадает с периодами развития русской литературы, то мы находимся в довольно благоприятном положении; характеризуя особенности тематики и творческой манеры поэта, мы неизбежно должны останавливаться на особенностях сентиментализма, романтизма и реализма у Пушкина.

Необходимо помнить, что у поэта в ранний период очень много юношеского задора, улыбки, переходящей в смех, желания критиковать и смеяться над всем, над чем не принято смеяться. Молодой человек, семь лет проведенный в закрытом учебном заведении и мечтающий вырваться на свободу, с наслаждением обращается к эротической тематике и широко ее использует. При анализе раннего периода видим, что эротика делается господствующим мотивом поэзии Пушкина. Достаточно вспомнить такое стихотворение, как «Монах», которое в известной

степени предвосхищает будущую поэму «Гавриилиада» (1821). Здесь же много и других стихотворений эротического характера: «Опытность», «Красавице, которая нюхала табак», «Блаженство», «Рассудок и любовь», «Гроб Анакреона». Этот поток стихотворений очень хорошо определяет молодого человека, желающего познать все прелести вольной жизни. Эротическая поэзия с ее легким, звучным стихом, перемежающимся с остроумием и улыбкой, была настоящей школой для поэта, в которой оттачивалась техника стиха, его музыкальное звучание, лексическое богатство. Это та школа, с которой поэт вступил в большую литературную жизнь. Вот почему поэма «Гавриилиада» звучала как произведение мастера. В поэме, написанной на волне эротического разгула, автор издевается над основными положениями христианской религии, евангельский материал в «Гавриилиаде» делается предметом скабрёзного анекдота. Эта скабрёзность у поэта не исчезает вмиг, остается всегда воспоминанием и требует ответа, объяснения. Так через девять лет «Рыцарь бедный» стал как бы ответом на «Гавриилиаду». Материальное и духовное здесь сливаются воедино. Поэт задумывается о нашем бытии, взвешивает *pro et contra*, и благородство рыцаря тогда приходит на ум.

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму...

Наступит другое время, время переоценки ценностей, наступит расплата за «Гавриилиаду», когда поэт скажет:

...в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,

И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

(«Воспоминанье»)

Эта исповедь, полная тревоги и скорби, переходит в бурю отчаяния гения:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
(«Дар напрасный, дар случайный...»)

Ощущение гениальности у поэта сопровождается пониманием невозможности переделать, преобразовать мир: не все подвластно поэту, хотя он и чувствует свое могущество, свою силу. Где выход? Где исход? Где примирение и в чем утешение? И с благоговением Пушкин поэтически изложит молитву Ефрема Сирина:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
(«Отцы пустынники и жены непорочны...»)

Таков итог философско-религиозных исканий поэта!

Но вернемся к периоду Лицея. Здесь встречаем и другие произведения, описывающие различные факты жизни: «Тень Фонвизина», «Городок», «Сон», «К Жуковскому», «Воспоминания в Царском Селе». В стихотворении «Городок» описана библиотека поэта, некоторым авторам дана характеристика, то иронически-шутливая («Ванюша Лафонтен»), то довольно точная сатирическая («фернейский злой крикун» – о Вольтере).

Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин.

Вся мировая и русская литература разместилась на полках поэта в его студенческой келье. Вот его чтение, вот его культура! «Друзья мне – мертвецы, // Парнасские жрецы». Эти стихотворения показывают связь поэта с традицией, культурой XVIII века, на которой он вырос. Любопытно: путешествующая тень Фонвизина замечает, что русская поэзия оскудела (разговор Фонвизина с Хвостовым).

Как видим, в этот период Пушкин не только увлекается эротической поэзией, но и входит в орбиту литературного движения времени: отказ от классицизма, обращение к сентиментализму и, безусловно, тому направлению, которое делается господствующим, – романтическому. Традиционно возникновение романтизма связывают с Французской революцией. Европа, потрясенная событиями во Франции, цепь маркизов и виконтов, идущих на гильотину сложить голову, кровавая борьба партий, рожденных революцией, случайные фигуры, возникающие на исторической сцене: вчерашний офицер, никому не известный корсиканец, даже не француз, делается главой Франции. Генерал – маршал – консул – император. Необыкновенно быстрое движение, рожденное вихрем революции. В угаре наполеоновских успехов возникает множество мыслей, исторических и философских: так ли все совершается? Или лучше обратиться к Руссо, у которого закономерность природы сливается с закономерностью жизни человека? Эта ситуация воспета, поэтизирована гневно-чарующим стихом Байрона. А что же в России?

Необходимо помнить, что для России литература – всегда больше, чем литература. Это прекрасный барометр общественно-психологического состояния нации. В это время создаются первые романтические поэмы Пушкина. Этот период, к которому относится и вольнолюбивая лирика, ясен в смысле выявления идей и не требует особых объяснений. Все относится к идеям декабристов – поколению, которое решило, что России необходима революция. Отсюда, от декабризма, идея романтического героя,

несущего мысли о прогрессе, преобразовании, переустройстве внутреннего мира человека.

С идеями декабристов Пушкин соединяет в поэзии то, что имел предшествующий век: широко использует карамзинские идеалы красоты природы и человека и здесь же помещает радицевскую правду «Путешествия...» («Деревня», «Вольность»). Сложность в другом: как эти идеи вплетались, эксплуатировались в господствующем направлении – романтизме? От кавказского пленника до Алеко («Цыганы») – целый путь развития, исканий не только политической, психологической мысли, но и художественных исканий новых форм выражения духовного состояния героя. Герой становится глашатаем времени.

Кавказский пленник «бежит законов душных городов». Но из тюрьмы цивилизации он попадает в тюрьму дикости, делаясь пленником-рабом черкесов. Одна черкешенка свободна. Только любовь руководит ею. Но, вступив в борьбу с условностями мира, она жертвует жизнью. Конфликт любви и свободы прозвучал и в лирике Пушкина этого периода, не говоря уже о поэме «Бахчисарайский фонтан».

Особенно подробно тема свободы разработана в поэме «Цыганы»: бегство от цивилизации в мир природы и естественных отношений, презрение и осуждение господствующих в обществе законов.

...Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!

Тема всеисильной, всепоглощающей любви почти байроновски звучит в этой поэме. Но свобода Алеко – свобода эгоиста. Он хочет воли лишь для себя. На песню Земфиры «Старый муж, грозный муж» он отвечает:

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Человеческое чувство не подчиняется ни законам цивилизации, ни законам свободы. И романтический герой

не выдерживает экзамена жизни. Алеко не может принять свободу для всех – она принадлежит только ему. Мир свободных цыган тоже не принимает Алеко.

Оставь нас, гордый человек.
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним –
Не нужно крови нам и стонов –
Но жить с убийцей не хотим...

И какой скорбью звучат слова старого цыгана, раскрывающего трагедию, пережитую им в молодости:

И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.

Авторский вывод – последний аккорд поэмы – звучит как справедливый приговор:

Но счастья нет и между вами,
Природы гордые сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.

Создав образ Алеко, Пушкин выразил сомнение в прогрессивности и жизненности романтического искусства. Приговор романтическому искусству найден: искусство – правда, а если нет правды, то нет совершенства в таком искусстве.

Духовные и душевные переживания нации сливаются с переживаниями автора. В этом смысле период южной ссылки необыкновенно плодотворен и интересен. Он заставил поэта отойти от мишурной жизни Петербурга, от внешних увеселений дворцовых празднеств, но именно это отторжение дало ему иной взгляд на вещи, сделало поэта «истинным романтиком».

«Истинный романтизм» – это выражение мы часто встречаем в пушкинских заметках, ремарках, письмах того времени. Так Пушкин шел к реализму, то есть такой социально-синтетической форме выражения идей, когда психологический элемент становится основным для изображения человека и действительности. Мир идей стал

определять мир вещей. Этот период очень важен в плане литературно-исторического осознания поэтом того, что переживает нация, человек или герой – как угодно.

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.

<...>

Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

(«Чаадаеву»)

Исключительная творческая активность, напряженность этого периода, охват самых различных сфер, от психологических, элегических пейзажей, музыкальных лирических сюит («Редет облаков летучая гряда», «Погасло дневное светило») до исповедальных («Я пережил свои желанья», «Чаадаеву», «Раевскому»), – свидетельство творческого взлета поэта.

Репрессии идут, безусловно, на пользу Пушкину. В наше время такое утверждение почти парадокс. Во времена Пушкина ехали на Кавказ за славою, за смертью, за здоровьем, на военную службу, в ссылку. Пушкина ждало более суровое наказание – ссылка в Михайловское.

Глушь, разоренное поместье, где и людей-то нет. Старуха-нянька и ее родственники – вот весь «салон» молодого поэта:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.

(«Няне»)

«В глуши слышнее голос лирный, // Живее творческие сны...». Одиночество, гнетущее одиночество... Скорее писать, писать обо всем. И в первую очередь, конечно, о себе: что делается внутри себя, что переживается, рвется наружу... Отсюда замечательный поток лирических произведений этого периода.

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,
 Как гений чистой красоты.

(К***)

Мир поэта чрезвычайно широк. Его не удовлетворяет счастье обладания: «Желаю славы я, чтоб именем моим // Твой слух был поражен всечасно». Мы встречаем утверждение мысли, что счастье будет вечно:

Когда подымет океан
 Вокруг меня валы ревучи,
 Когда грозою грянут тучи –
 Храни меня, мой талисман.

(«Талисман»)

Постоянно преследует поэта тема любви и страсти («В крови горит огонь желанья»). Диалектика чувств выразилась в стихотворении «Всё в жертву памяти твоей». Торжественный гимн красоте человеческого чувства и бессмертному разуму нашел свое воплощение в «Вакхической песне»:

Что смолкнул веселия глас?
 Раздайтесь, вакхальны припевы!
 Да здравствуют нежные девы
 И юные жены, любившие нас!

«19 октября» (1825) – мир недавнего прошлого встанет перед поэтом. Самые лучшие воспоминания нахлынули на него. Если раньше он писал: «в глуши, во мраке заточенья», то теперь меняется его настрой, и лучшие годы встанут перед ним. Лицей. «Отечество нам – Царское Село». Здесь первые познания наук, здесь признание поэта, знакомство с Державиным, который понял, что русская поэзия имеет достойного наследника, что родился «новый Державин». Все это поэт пережил в юности, а теперь воскресил в памяти и выразил в слове:

Старик Державин нас заметил
 И, в гроб сходя, благословил.

Лицейсты, ставшие мореходами, канцлерами, военными, дипломатами, являли собой новую Россию, которая значительно опережала европейский мир. Превыше

всего Пушкин ценил товарищество, ту дружбу, которая соединила воспитанников Лицея, столь различных по характеру, по складу, по мироощущениям, по идеалам, по целям, которые они ставили перед собой. Летопись их дружбы так прекрасна, что ее нельзя выразить в прозе, да это и не нужно. «Служенье муз не терпит суеты, // Прекрасное должно быть величаво» – с этим девизом художник прожил всю жизнь и был высок в своих желаниях и побуждениях. Какая чудная гармония великого поэта!

В это же время поэт обращается к мусульманскому Востоку – работает над переводом Корана. Интерес его к Востоку давний. Знакомство с ним главным образом зиждилось на знании Византии (тоже Востока для нас), которая издавна была учительницей Руси. Коран – это другая область жизни Востока, мусульманского, ранее совершенно неизвестная Пушкину. «Подражание Корану» нельзя рассматривать как этапное произведение и думать, что это ведет к демократизму (см. Г.А. Гуковского). Оно нас может интересовать в другой плоскости. Несмотря на политическую и психологическую актуальность переживаемого момента, Пушкин всегда стремился испытать силу, а может, и могущество поэтического звучания. Это необходимость его художнической природы. И он обращается к переводу Корана как к памятнику восточной культуры.

В послемихайловский период Пушкин достигает виртуозности стиха. Это период высшего мастерства поэта. В это время он владеет всеми метрами (размерами) для стихотворного оформления мысли. Ему как бы безразлична тема, описываемое событие. Принципиально для него нет разницы, что писать: шутливую эпиграмму, мадригал или стихотворение, похожее на политический трактат. Вот, например, «Моя родословная» – это полемика, публицистика.

Как поэт, как гражданин и человек, он идейно связан с тем, что пережила Россия, и не может не писать о людях, которых он знал и искренне любил. Какой задушевностью и непосредственностью дышат строки:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Но, прекрасно понимая трагизм события, он должен его живописать:

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла...
<...>
Погиб и кормщик, и пловец! –
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою –

вот картина декабристского восстания, аллегория 14 декабря («Арион»).

В это время поэту приходится пережить самую большую трагедию. Душой он весь в декабристах, здесь все его симпатии, здесь мечта – «звезда пленительного счастья», но уже проскальзывает и скепсис по отношению к будущему.

Трагизм в том, что Пушкин понял обреченность восстания 14 декабря, и дело вовсе не в несвоевременности, а в исторической неподготовленности декабристов, в пропасти, лежащей между ними, хотевшими осуществить революцию военным путем, и народом.

Новая аллегория встает перед нами: «И вырвал грешный мой язык» – самоупрек поэта («Пророк»). Здесь жажда другой деятельности – гражданской.

Другая аллегория современного мира – «Анчар». Идея зла и высшей несправедливости, обреченности человека звучит в этом стихотворении. Преступление князя и гибель окружающего мира:

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Но жизнь и ее суровые законы остаются непреложны. Поэт обязан быть гражданином и вождем.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни.

Прославляя Петра Великого, поэт указывает, каким должен быть русский император:

Во всем будь пращуру подобен,
Как он, неумолим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

(«Стансы»)

Это в то время, когда «Едва взошел он на престол, //
Тотчас накуролесил: // Сто двадцать человек в Сибирь со-
слал // И пятерых повесил».

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

(«Друзьям»)

Не один Пушкин излагал «языком сердца»: нельзя забыть благородного поступка Н.С. Мордвинова – отказ подписать смертный приговор пятерым декабристам.

Изображение величия и красоты этих событий перемежается размышлениями о мрачности и неопределенности судьбы поэта:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом...

От этих мыслей и чувств хорошо спрятаться в домашнем уюте, в повседневности:

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..

(«Дорожные жалобы»)

Каждодневность деревенской жизни зимой, обывательский помещичий быт, в котором поэт находит искру

удовольствия, показаны в стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне?»:

Но если под вечер в печальное селенье,
 Когда за шашками сижу я в уголке,
 Приедет издали в кибитке иль возке
 Нежданная семья... <...>
 Как оживляется глухая сторона!
 <...>
 ...и дружный смех, и песни вечерком,
 И вальсы резвые, и шепот за столом,
 И взоры томные, и ветреные речи,
 На узкой лестнице замедленные встречи;
 И дева в сумерки выходит на крыльцо...

В этот обывательский мир естественно врываются лирические ноты:

Когда я слышу из гостиной
 Ваш легкий шаг, иль платья шум,
 Иль голос девственный, невинный,
 Я вдруг теряю весь свой ум.
 <...>
 Ах, обмануть меня не трудно!..
 Я сам обманываться рад!
 («Признание»)

Но жизнь не оставляет поэта в это, казалось бы, безоблачное время. Угасание любимого существа вызывает боль сердца, а ужас приближающейся смерти звучит как приговор:

Так вот кого любил я пламенной душой
 С таким тяжелым напряженьем,
 С такою нежною, томительной тоской,
 С таким безумством и мученьем!
 («Под небом голубым страны своей родной...»)

Все прах, все тлен, все гибель без возврата...

...Но чувства продолжают жить. И память сердца сильнее памяти рассудка. Художник вновь возвращается к мыслям, чувствам, что отлетели от него, и говорит о том, что вечно:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный...
<...>
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...
(«Что в имени тебе моем?..»)

Отнюдь не вся лирика Пушкина охвачена в этом изложении. Но эту задачу автор и не ставил перед собой, потому что она невыполнима. Мы умышленно обошли такой раздел, как «Песни западных славян», очень важный в творчестве поэта, но требующий особого рассмотрения. Также очень многие лирические стихотворения, без которых творчество Пушкина явно неполно, остались за пределами нашего анализа.

Нам, наследникам Пушкина, отстоящим от него на 200 лет, не так уж важно точно определить, какие именно идеи им воплощались в тот или иной период его творчества, особенно если речь идет о реальном комментарии, прикреплении стихотворения к тому или иному лицу или событию. Куда важнее понять, что его слова, выхваченные из живой речи или придуманные им, не претерпев никакого изменения, не потускнев от времени, продолжают не только использоваться нами как средство общения, но волнуют нас, наполняют наш чувственно-эмоциональный мир, и мы не обращаем внимания на то, что они были рождены два века тому назад. То же самое происходит и со звуками его поэзии. Они не утонули в общем звучании мирового оркестра поэзии времен и народов последних столетий. Возможно, ключ к пониманию этого процесса в формуле, взятой у другого поэта: «При мысли великой, что я человек, // Всегда возвышаюсь душою» (Жуковский). Разгадка, по видимому, здесь. Всечеловечность, человеческое, то, что никому не чуждо, – нетленно, не подвержено времени. Это вечное и является пафосом поэзии Пушкина, и последние два столетия это доказали воочию.

Ссылка в Михайловское. 1824–1826 годы. Провинция... Как часто она была предметом поношения наших писателей, историков, беллетристов. А ведь это – одна из самых драгоценных страниц русской истории. Зброшенная, потерявшаяся среди степей и снегов, она неизбежно вызывала тени того исторического прошлого, которое является цементом для нации. Отсюда жадное чтение карамзинской «Истории» о самых трагических периодах (или, как теперь говорят, периодах разлома) и желание написать «истинно романтическую трагедию» – так назвал Пушкин «Бориса Годунова». Среди запустения, снегов и ветров он создал себе особый мир, где ему открылись тайны шекспировской диалектики образа и фольклорная манера изображения человеческого характера.

Именно здесь, в Михайловском, в сознании поэта происходит огромная работа: осмысление исторического процесса, свидетелем и участником которого он являлся. Он современник александровской реакции, мракобесия и мистицизма, современник Аракчеева и Священного союза, восстания греков, европейской реакции, пришедшей на смену революционным потрясениям Европы... И народ как историческая сила встает перед ним во всем своем многообразии. Теперь не приходится в воображении создавать, а можно в реальности видеть эту пеструю толпу на ярмарках, в постоянном общении. Литературные источники, Карамзин, летописи, нянькины сказки – все сливается в единое целое и требует извлечь идеи, которые могли бы осветить закономерности, происходящие в настоящем.

Поэт приступает к написанию «истинно романтической» трагедии «Борис Годунов». Это произведение поражает своей многоплановостью как в смысле решения вопросов исторических, так и переключкой с современностью, современными ассоциациями.

Естественно, что манера Корнеля и Расина, придворной драматургии была не просто чужда, а непригодна для осуществления той идеи, которая овладела Пуш-

киным. Он расположил трагедию «по системе отца нашего Шекспира» – вот с этого момента и начинается то, что мы называем реализмом, а Пушкин именует «истинным романтизмом». Но многоплановость трагедии так велика, что она не могла быть принята как обычное, как то, что мы привыкли видеть на театре. И нет ничего удивительного, что Николай I, как рядовой обыватель своего времени, замечает: «Нужно переделать на манер романов Вальтера Скотта».

Собственно, в пьесе представлены все слои России. Народ – любимая тема Пушкина. Но какой народ? Вот его «любовь» к царю: намазать глаза слюной, чтобы видели, что плачет! Он не привык плакать. Да это и не его стихия. Его стихия – бунт, кара, меч! А на площади – общий поток, здесь нужно быть как все, а не то будет плохо! Кому? Всем. И эта настороженность, которую уловил писатель, в высшей степени характерна. Это потом народ будет кричать: «Ступай! вязать Борисова щенка!» А пока он трет глаза себе луком или слюною.

Тема народа проходит через всё произведение Пушкина. Этот персонаж представлен в различных аспектах: от «темной» толпы, играющей роль статиста в истории, до народа-судии, воплощения исторически справедливого, беспристрастного суда как в государственных делах, так и в личной жизни человека, осознающего свою ответственность перед справедливостью, перед высшей правдой. Этот замысел настолько грандиозен, что, естественно, он не мог вписаться в формы драматургии допушкинского времени.

Но ведь не только народ – вся Россия оказывается перед судом поэта. Какая чудная сцена – разговор Бориса с патриархом, когда последний предлагает перенести мощи царевича Димитрия в Успенский собор. Один Шуйский понимает, что этого нельзя делать. У него умная мысль: верит он или не верит в то, что говорит патриарх, но он очень хорошо понимает, что нельзя святыню перебрасывать с места на место. Он доказывает собственным

свидетельством смерть царевича. И весь совет – и Борис, и бояре – понимают нелепость предложения патриарха.

Лента рассказа о событиях увлекает читателя: патетический тон повествования о величии современности, находчивость ловкого монаха-авантюриста Отрепьева сменяются изображением быта процелыг-монахов, собирающих милостыню на Храм Господень и тут же пропивающих собранное. «Сцена в корчме» подкупает своей непосредственностью и богатством бытовых деталей. «Все нам равно, было бы вино... да вот и оно!», «пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим» (Варлаам). Вот оно, народное творчество.

В трагедию введены совершенно различные лексические пласты, свидетельствующие о богатстве языка писателя: разговор Воротынского с Шуйским (начало трагедии), сцена в Чудовом монастыре, воскрешающая монастырский уклад XVI века, сцена в корчме и сцена у фонтана.

Автора трагедии занимает вопрос: возможно ли ввести в текст пьесы романтическую сцену? То, о чем шла речь в «Кавказском пленнике» – о душе любовника, о мире страстей, теперь надо раскрыть в монологе блестящего авантюриста:

С а м о з в а н е ц

Нет! полно:

Я не хочу делиться с мертвецом
Любовницей, ему принадлежащей.

<...> скажу

Всю истину; так знай же: твой Димитрий
Давно погиб, зарыт – и не воскреснет;
А хочешь ли ты знать, кто я таков?
Изволь, скажу: я бедный черноризец;
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком, свой замысел отважный
Обдумал я, готовил миру чудо –
И наконец из келии бежал
К украинцам, в их буйные курени.
Владеть конем и саблей научился;

Явился к вам; Дмитрием назвался
И поляков безмозглых обманул.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признанием моим?

Гениальное решение Пушкина – даже для авантюриста страсть выше успеха политического, государственного! Решение темы страсти (которая всю жизнь волновала и преследовала Пушкина, которой была посвящена вся его лирика): страсть не подвержена ни классовым, ни историческим потрясениям.

И совершенно замечательное совпадение: то, что поэт испытал и показал в мире образов, созданных им, испытала страна. Борис Годунов – узурпатор, хоть он никого не убивал, если не считать, что Дмитрий был убит по его наговору. Но ведь Александр I тоже не убивал, хотя был в заговоре с убийцами Павла. Это страшная параллель. История монархов всегда перемежается с заговорами, отравлениями, убийствами. И как страшно говорит юродивый: «Нельзя молиться за царя-ирода – Богородица не велит». Это за какого царя? За Бориса? Или вообще за любого царя-ирода? Разве Россия не пережила Смутного времени?

Вот эти постоянные параллели, то, о чем Пушкин говорит: «уши юродивого торчат», эти постоянные намеки на переключки фактов истории с фактами пушкинской поры и делали пьесу необыкновенно современной.

Еще один аспект – национальный уклад, колорит, быт. Приведу только один пример. Воскрешен XVI век, монастырский уклад, вот келья летописца Пимена, и все рассказано об Иване IV Грозном, о его раскаянии, борении, бессилии и желании заглушить это бессилие силой властителя.

Действительно, написано в шекспировской манере, так убедительно и многопланово, что ни один театр не может хорошо поставить. Почему? Автор лекций мог бы ответить так: нет гения-режиссера, равного по гениальности поэту.

В 1828 году, спустя три года после восстания декабристов, была написана поэма «Полтава». Социальный заказ в этой поэме был выполнен: Россия получила прекрасную военно-историческую поэму, которая по своим художественным достоинствам была куда выше того, что мы встречаем в европейской литературе. Вот когда «Петриада» превзошла «Генриаду» Вольтера¹. Художественным завершением «Петриады» можно считать поэму «Медный Всадник».

Военно-историческое полотно в «Полтаве» было написано Пушкиным не только вдохновенно, но исторически совершенно правильно, то есть документально. Россия встала перед читателем во всем своем блеске и военном величии. Столкновение русских и шведов естественно и убедительно нарисовано поэтом:

Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
<...>
Уходит Розен сквозь теснины,
Сдается пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен.

Образ Петра, военного гения России, прекрасен и величествен. Классицизм здесь приобретает реалистические очертания:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь как божия гроза.

В той части, где изображается любовь Марии и Мазепы, разумеется, военный мотив отсутствует. Тема возвышенной любви делается, в сущности говоря, содержанием поэмы. Поэт обращался к ней и в «Кавказском пленнике», и в «Цыганах», и во многих лирических произведениях и вот теперь дает блестящие откровения че-

¹ См. об этом в кн. *Либан Н.И.* Становление личности в литературе XVIII века. Лекции-очерки. М.: Изд-во МГУ, 2003.

ловеческих ощущений. «Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, – вот что увлекло меня», – писал поэт. И здесь военные события меркнут перед сердечными. Язык чувств куда острее и сильнее поражения от пули. Страстное чувство любви достигает исключительной силы воздействия на читателя: достаточно вспомнить роковое расставание Марии с Мазепой, где чувства перерастают в безумие, что создает страшный драматический накал. После этой сцены сообщение о дальнейшей судьбе Карла, Мазепы, Марии уже, в сущности, перестают волновать: остается действительное, или фактографическое, свидетельство о прошедшем и пережитом.

Но кульминация поэмы пройдена. Финал счастлив только с точки зрения государственных событий: победа русских, поражение шведов. Человеческая же трагедия выступает во всей своей обнаженности и непримиримости.

Главным, центральным или, лучше сказать, любимым произведением Пушкина был роман в стихах «Евгений Онегин» (1823–1831). Вполне естественно, что это произведение стоит в центре внимания пушкиноведения. Можно было бы говорить о целой отрасли науки, посвященной изучению романа. Отдельные ученые стремились определить емкой формулой его смысл: «энциклопедия русской жизни» (Белинский). Если вдуматься в значение этого произведения для русского читателя, писателя, литературы, всей России, то оно действительно огромно.

Его схема, или построение – как угодно, определило структуру русского романа впоследствии. Необыкновенная концентрация действующих лиц (Татьяна – Онегин). На этих двух фигурах, на их судьбе, собственно, и зиждется само произведение, ибо другие герои имеют второстепенное значение, хотя и они очень важны (Ленский, няня, семейство Лариных). Наконец, нужно сказать еще об одном герое романа, который играет в нем очень интересную роль, – это сам автор. Он объясняет значение всех

действующих лиц, дает им характеристики. Он часто с ними в дружбе, а иногда во вражде. Но он не только комментатор. Его рассуждения по поводу событий, мест, ощущений героев, авторские отступления, замечания сами по себе приобретают особую ценность, особое звучание и настолько хороши самостоятельно, что по ним можно судить обо всем, что происходит в стране. Биограф наших героев, кажется, хочет охватить весь окружающий его мир. Здесь и пейзажи всех времен года, здесь зарисовки бытового порядка (о бритых лбах, о покосах, о скоте) – охват самого большого и самого малого. Здесь оценка архитектурных ценностей, памятников (Петровский замок), насмешка и улыбка тем или иным предрассудкам старины и времени Пушкина. Я еще не сказал о том, что все это произведение свидетельствует о завершенности замысла художника и обладает необыкновенной легкостью, виртуозностью поэтического воплощения, то есть это в полном смысле слова шедевр.

А ведь, в сущности говоря, тема, избранная автором, очень шаблонна. Герой, если так его можно назвать, его детство, отрочество, зрелость – те стадии развития, которые мы будем встречать в литературе 1840–1860-х годов. Перед нами разворачивается реальная картина: младенчество Евгения, мадам, месье. Когда последнего прогнали, герой уже хочет насладиться всеми утехами возраста. И автору очень хорошо удастся развернуть перед нами цепь человеческого бытия – от колыбели до салона. Образование: «Мы все учились понемногу...». Проблема обучения связана с тем, насколько умен сам человек, остальное – это грамматическая шелуха. Но главное – этикет, мода, «он по-французски совершенно мог изъясняться». Манеры, политес, «легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно» – «и свет решил, что он умен и очень мил». С этим «аттестатом» Онегин входит в жизнь, которая ему представляется праздником: «Куда поскачет наш проказник?» Это не жизнь – это одно удовольствие. Но праздник сменяется буднями. И наступает пресыщение, самое тя-

желое пресыщение – от удовольствий. Автор показывает героя почувствовавшим скуку от балов, салонов, от одной страсти, которой он был всецело поглощен, – «наука страсти нежной». Они все – «рыцари на час» – в конце концов оказываются побежденными. Но пока еще Онегин чувствует себя победителем. А тоска уже пробралась к нему, потому что все время происходит одно и то же. Почему? У него нет цели жизни, интереса, для чего он живет.

Вот здесь-то наш автор вступает в свои права и объясняет, почему герою скучно. Что же ему нужно? Нужно общение, это то счастье, выше которого ничего нет на свете, – счастье человеческого общения. И здесь на пути героя встречается Ленский, воспитанный «под небом Шиллера и Гёте», впитавший в себя «туманный романтизм», всехристианство Шеллинга, идеи торжества духа, жертвенности... Все это было недоступно Онегину, и он узнаёт это от Ленского, этого мальчишки, влюбленного в Ольгу, то есть в мечту, в юность... У Онегина – «лед», поза, скепсис, который был выработан разочарованием. У Ленского – мечта, влюбленность, восторг. Мечта, которая не далась Онегину: у него была только победа в «науке страсти нежной», но не взаимность. Какая чудная пара! И Пушкин прекрасно это описал как автор-наблюдатель и автор, сочувствующий и той, и другой стороне. Одной – за ее восторг, красоту, мечту, наивность; другой – за ее разочарованность и, в сущности говоря, бесплодность. Все это дано на фоне хорошо известной нам помещичьей среды: патриархального быта, семьи, хлебосольства, а иногда и того форса, который свойствен мужчинам – то из уст романтика Ленского, то из уст скептика Онегина. А дальше – самый обычный эпизод из жизни этой среды: необузданность, вспышка. Онегину просто приятно было дразнить своего друга романтическим обращением с его невестой. Наивность Ленского умилительна, его жаль, потому что он не понимает природы Ольги. Он видит в ее поведении измену, а она об этом и не думает, ей просто приятно ухаживание Онегина. Здесь Пушкин гениально подметил эту черту,

присущую молодости, и сделал из нее целую трагедию, приведшую к дуэли.

Дуэль довольно подробно описана в наших романах и повестях. Но бессмысленность убийства Ленского приобретает какой-то особый трагический характер. «Убит и взят могилой». Одно мгновение – и страшная черта, отделяющая жизнь от смерти, стерта. Все исчезает. Мечты, надежды, планы, фантазии, в которые верят, как в реальность, стирает смерть. Позднее раскаяние и самоупреки Онегина. И какое глубокое сожаление высказывает автор! Но, может, ничего хорошего не было бы, если бы Онегин выстрелил в воздух? Может, судьба Ленского сложилась бы по пошлomu мещанскому трафарету? Но это только предположение поэта, а не элемент повествования о жизни ушедшего героя.

«Дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов», Онегин ничем не смог заняться. Сердечные победы ему надоели, романы прискучили, они «не волновали кровь». Приходит спасительная замена увлечениям – путешествие. Для него это только перемещение в пространстве. Онегин поехал путешествовать, но его внутренний мир не насыщается: он ничего не увидел, ничего нового не узнал; перемещаясь с места на место, он ничем не был поглощен, не был взволнован увиденным. Шли годы. Оставался только скепсис, пренебрежительное отношение к окружающему миру. Вот он – русский европеец.

Так как наш герой – искатель сердечных приключений, постоянный обитатель модных гостиных, наблюдатель, коллекционер, желающий запечатлеть в сознании чувство, женскую красоту, мы, естественно, должны остановиться на его романтических приключениях, желает он того или нет. Это одна из самых интересных линий романа в смысле сюжета, и здесь автор заставляет своего героя один на один беседовать с предметом своей возможной любви, совсем некстати возникшей на его пути.

Автор знакомит нас с Татьяной Лариной, героиней романа, которая на свою беду встретила Онегина, и не толь-

ко встретила, но полюбила его, очаровалась им и – не будет преувеличением, если я скажу – выдумала его. Наш герой – русский европеец. Это отблеск байронической поэзии, герой, о котором можно сказать, что его привлекает зло. Мы видели, что доброта и наивность Ленского были недоступны Онегину и были завидными для него. Он не мог принять эту наивность: она для него была слишком чиста и казалась ему ребячеством. Перед Татьяной явился идеал мужчины: и охлажденный ум, и резкость суждений, и сдержанность, и красота движений, и (боюсь, но не могу не сказать) – поза, да, поза, украшающая героя, и его необычность в среде, где росла Татьяна... Остальное довершили романы «и Ричардсона, и Руссо». «Мы алчем жизнь узнать заране, // Мы узнаем ее в романе». Это извечный вопрос: хорошо или плохо то, что есть литература?

Но образ соткан. И человек уверен, что сила его любви победит сердце того, кому адресованы чувства, – это совершенно замечательный психологический момент, гениально воспетый Пушкиным. Л. Толстой писал, что «проза Пушкина гола как-то». Для прозы это, может быть, и верно, но в его поэзии представлены все тайны человеческой души, не названы, не показаны, а именно представлены, когда самые слова приобретают большее значение, чем просто сообщение. И письмо Татьяны не может не затронуть Онегина. Но его проповедь как оскорбление, то есть, другими словами, он только и может сказать, что все это – минутное увлечение возраста, что это пройдет, как и все на свете: «Сменит не раз младая дева // Мечтами легкие мечты». А далее – самое обычное мужское кокетство: «Но я не создан для блаженства; // Ему чужда душа моя; // Напрасны ваши совершенства: // Их вовсе недо-стоин я». Сколько снисходительности в тоне Онегина, обращенном к страдающей девушке!

Но для Татьяны это не пройдет, для нее есть мир святой, вечный, и им она живет, своим миром, в котором есть любовь к Онегину. Одни люди могут менять свои убеждения на протяжении жизни в силу разных обстоятельств.

Но есть натуры цельные, которые не меняют своих убеждений: «каков в колыбельке, таков и в могилке». Такова Татьяна. Онегин перед ней «на ходулях», когда говорит, что любит ее «любовью брата». Он человек другой породы: он стоит «над» человеком, он смотрит снисходительно, свысока, этот байронический герой. «Но я не создан для блаженства». А для чего он создан? Он не задает себе этот вопрос. Его внутренний мир очень бедный. «Хотел присвоить ум чужой» – и не поумнел. Хотел стать поэтом – и не смог. Эти люди – порхающие по жизни, а не летающие – они бескрылые.

Интересно, что в пушкиноведческой литературе все время проводится мысль, что Онегина таким создала среда. Это и верно, и неверно. Ведь и среда тоже создается людьми, а не только люди формируются средой. Среда – это не то, что «толпа». Те, у кого есть убеждения, приходят и заставляют среду служить себе. Или делаются изгоями. Замыкаются в себе и живут своим внутренним миром, потому что им есть чем жить.

Если не бояться этого слова, то можно сказать, что Татьяна является антиподом Онегина, полной его противоположностью. В каком смысле полной противоположностью? Дело в том, что Онегин – явление не цельное. Это представитель той части русской интеллигенции, которая несет на себе печать отторжения, желания быть не тем, что она есть на самом деле. Это та самая ложная европеизация, которой была охвачена Россия на протяжении веков, – желание подражать. Отсюда у нас появились англоманы, французоманы, германофилы. Мы прикасались к самым различным мирам, не всегда сохраняя тот внутренний мир и ту культуру, которая нам дана изначально. Это положение, может быть, несколько шатко, неубедительно. Значит, мы в каком-то замкнутом кругу: все, что мы имеем, мы имеем с Запада. Хотелось бы, конечно, сказать, что не только с Запада, но и с Востока. И что движение идей, характеров, представлений обладает способностью перемещаться из одного культурно-географическо-

го центра в другой. Но даже не в этом дело, а в том, что художественный образ непременно отражает сущность национального, исторического явления. Вот это надо помнить всегда. Говоря о том, что среда формирует человека, мы уже заметили, что не только среда формирует человека, но и человек формирует среду. То есть не только формирует, но и организует, не только организует, но вдохновляет, не только вдохновляет, но определяет собой тот или иной путь развития – экономического, духовного, художественного. Это все так сложно и так необыкновенно интересно, что, естественно, наше внимание всегда обращено к искусству. И в первую очередь к искусству слова, потому что нигде так ярко не раскрывается психология человека, психология нации, как в искусстве слова. Скажем точнее, как в литературе. И русскую историю куда целесообразнее изучать не по историческим документам, а по художественным произведениям, потому что в них запечатлелись все те изгибы характера, которые переживала нация на протяжении своего существования. И Пушкин проникновенно уловил эту особенность движения идей, движения характеров, движения психологии, человеческой сущности. Татьяна – «русская душою». Что это значит: «русская душою»? Разве Онегин не русский, разве его поведение – это не поведение русского человека? Но вот здесь-то и начинается вопрос: в чем, собственно, состоит это явление – русская душа? Как часто мы встречаемся с этим термином и желаем его объяснить самими различными догадками и предположениями!

В романе «Евгений Онегин» помещены два монолога Татьяны. Все остальное – это авторские ремарки, замечания, объяснения, дополнения, а два монолога – они как бы написаны самой героиней. Она в них выразила всю свою сущность. И первый монолог – письмо, которое дышит непосредственностью, естественным чувством любви, первой любви, – так и может называться: «Первая любовь Татьяны». Говорим «первая», и подразумеваем, что есть еще какая-то вторая и третья. Нет, это ее первая

и последняя любовь. Первая любовь Татьяны настолько непосредственная, чистая и красивая, что в ней раскрылась вся природа русской девушки. И не будет преувеличением, если я скажу, что последующие изображения русской девушки – у Тургенева, у Гончарова, Толстого – во многом повторяют те же черты, так или иначе подаваемые писателем. Какие черты? Первая черта, и самая особенная, – это самобытность, то, что свойственно этому характеру, присуще только ему и не определено ни средой, ни нацией, ни воспитанием. Это предопределено характером, мы так и говорим: это человек с характером, человек, у которого есть свое «я», независимо от того, кто он.

Нам необязательно узнавать всю подноготную этого существа – достаточно с ней поговорить, то есть прочитать ее письмо, чтобы понять глубинную сущность этого человека. И в первую очередь, какую же сущность? Что ее привлекает в этом мире? Ее привлекает особенность, неординарность или, как бы мы сказали, оригинальность. Эту оригинальность она видит во всем; встретив Онегина, она видит в нем ту же оригинальность, что и в пейзаже, в восходе солнца, в вечернем угасании дня – это все оригинальность. Это не повторяется изо дня в день точь-в-точь, нет, каждый раз это все новое. Перед ней все новые миры, а с этими новыми мирами рождаются и новые ассоциации. А с этими ассоциациями рождаются новые мысли, новые ощущения. Люди типа Татьяны всегда переполнены ощущениями, настроениями, мыслями. Не той логикой мысли, к которой мы привыкли, а логикой своей – пониманием вечного движения, вечной красоты, вечной оригинальности. Все изменяется, кроме одного – кроме того мира, который ее окружает. А какой мир ее окружает? Поля, леса, реки, люди. Они изменяются? Да. Они изменяются, оставаясь самими собой. Эти мысли не могут ее не задевать, не могут ее не волновать. Онегина волнуют «гроба тайны роковые», а Татьяну это не волнует. Она не спрашивает себя, что «там», потому что весь ее мир здесь, в ней, в ней самой. Ей не нужно никаких книжных объяс-

нений, философских рассуждений. Человек обогащается не только потому, что он много читает, – обогащается потому, что он много думает о прочитанном. Он не только много думает о прочитанном, он много думает о жизни, о каждом дне, о каждом вечере, о каждом утре. О каждом проявлении мира – день и ночь, утро, вечер. Из этого калейдоскопа и складывается наше представление о жизни. В этом представлении есть еще другое, совершенно замечательное: человек думает о всех остальных, о всех людях, которые не имеют этого счастья. Об этом мире, обделенном счастьем ощущения и счастьем помощи. Вот почему так интересно, и так убедительно, и так нешаблонно звучит фраза «когда я бедным помогала». Для Татьяны это необходимая вещь, это ее обязанность, как бы мы сказали теперь – моральная обязанность. Так вырабатывается понятие морали. Каким образом? Путем наставления? Нет. Путем ощущения *необходимости*. Помощь бедным – это все равно что помощь себе. Она это делает для других, но, в сущности говоря, она это делает для себя. Она богата тем чувством, которое дано ей природой. Нельзя все валить на среду. При чем здесь среда? Это ее врожденное, это не благоприобретенное. Человек приходит в мир со смутными идеями, но эти смутные идеи – его идеи, им рождены, в нем они существуют, и он их только материализует, раскрывает, получая огромное удовольствие в этом раскрытии. Человек всегда ищет себе подобного, но это себе подобное должно быть обязательно прекрасно. Оно должно быть выше его, совершеннее его, гармоничнее. Но оно ему подобно. Вот это очень хорошо выразилось в жизни Татьяны.

Первое чувство, которое она испытала, настолько велико и настолько прекрасно, что лучшего она не желает, и вообще не желает другого. Ибо другого, лучше того, что было, уже никогда не будет. Татьяна знает, что синяя птица раз в жизни дается, и вот она ее увидела, увидела свою мечту, завершенную, воплощенную в полном виде – в движениях, в голосе, в посадке головы, в положении руки.

То есть портрет, который она себе рисовала, она увидела воочию здесь, почти физически ощутила.

А дальше очень интересно – сон Татьяны, вещей сон, который пушкинисты сводят к народности, к фольклору. Здесь, конечно, никакого фольклора нет. Это тот самый сон-бред, который мог бы быть мною объяснен чисто физиологически. Но зачем? Здесь ведь все другое. Как ее мечты не осуществились там, наяву, так они не могут осуществиться и во сне. Как там она почувствовала неприязнь в изысканной, деликатной форме (а деликатность иногда носит оскорбительный характер), так это она почувствовала и во сне. Скорей проснуться, освободиться от этого сна!

Татьяна полюбила в Онегине изысканность, красоту. Мы-то знаем: манерность. Она этого не заметила. Потом, много лет спустя, пережив все свои первые ощущения, пережив проповедь, услышанную от него, поняла это. Когда была в его кабинете, когда взяла в руки его книги, увидела, что он читает, что он подчеркивает, где ставит вопросительный крючок, прозрение наступило. Не полное, но прозрение. Кто ж он? «Чужих причуд истолкованье?» «Москвич в Гарольдовом плаще?» И это охладило ее огромную трагедию, которую она пережила будучи девочкой, выслушав проповедь Онегина и его сочувствие и объяснения, что все проходит. Для нее-то самое важное, что все остается, ничто не проходит, все вечно, что человек цельный. Эта цельность и создает прелесть жизни. Татьяна знает, зачем живет, у нее есть стержень жизни.

А жизнь идет. «Для бедной Тани // Все были жребии равны». Один только жребий, который она избрала себе, убегает от нее, и она не в силах за ним бежать и поймать его, ибо это уже не в ее власти. «Ты в сновиденьях мне являлся». Что же? Полное разочарование? Нет. Не по хорошему мил, а по милу хорош. И когда она увидела, что он не все то, что она думала, что в нем есть все те же изгибы и изъяны, которые присущи другим людям, то не пе-

рестала его любить, не предала его забвению, не отбросила своих мыслей и чувств, когда-то нахлынувших на нее, когда, еще совсем юная, только вступала на этот путь, обманчивый и ложный, но осталась верна себе. Всем женихам отказ. Боится... Чего? Себя. Боится, что эта пристань будет нарушена, что в жизни уже ничего не останется, что исчезнет и мечта. А что может быть страшнее для художественной натуры, какой является Таня? Художественная натура – это не означает, что человек должен быть писателем, или музыкантом, или артистом. Нет. Это человек, по природе художник, и художественная натура Тани заключается в том, что она понимает красоту мира, не только пейзажную, но красоту мира человеческого. Человек прекрасен. Татьяна это очень хорошо чувствует.

Но почему же этот прекрасный человек не может быть счастливым? А счастье убегает. И в романе замечательно это случайное возвышение Татьяны. Конечно, приходится удивляться, почему Татьяна вышла замуж за генерала. Сам Пушкин писал: «Моя Татьяна какой номер выкинула – вышла замуж за генерала!» Как будто это вовсе не логично: слишком жив в сердце Онегин. И хотя она теперь понимала, что любила не его, а мечту о нем, но эта мечта была ей так дорога, как сама жизнь. «Для бедной Тани все были жребии равны». Но в генерале она увидела другую индивидуальность мужчины: не скептика-отрицателя, бесплодного в своем бытии, а человека, захваченного бурей войны, «изувеченного в сраженьях», человека реальной жизни, полную противоположность Евгению Онегину. И она делается его женой, сестрой, спутницей, сиделкой, выполняя все тот же долг, с сознанием которого жила внутри себя: человеку нужно исполнить свое предназначение. Счастье амура, страстной любви, флирта – это не для нее. «Но я другому отдана, // Я буду век ему верна». И опять героиня на пьедестале, потому что она сохраняет верность чувству и своему назначению – идти на встречу людям, делать добро, составить счастье не себе, а другому человеку. Этот человек является не героем

сердца, а героем обстоятельств. Он проливал кровь за Россию. Его она и будет опекать всю жизнь.

Автор наградил Татьяну счастливым концом, или золотой страницей. Это вознаграждение за все пережитое, перечувствованное. Она – великосветская дама. «И этот дом, и вечера». И эта слава. И это поклонение. Но она не изменилась, не сделалась как другие, не надела на себя личину великосветской дамы. Простота ее оказалась куда выше изысканности. Ее искренность и сдержанность оказались выше домашнего и институтского воспитания. Ее чувство долга стало укором для окружающих дам большого света.

Вот перед этим идиолом – потерянный Евгений. Потерянный, потому что он как проигравшийся игрок. Он понял, что потерял. Но отдает он себе отчет в том, что сейчас видит не ту Таню, а княгиню в золотой раме? Татьяна указывает Онегину, что сама его любовь сейчас – это не деликатность, оскорбление чувства в прошлом:

Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете,
Теперь являться я должна...
<...>
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? Какая малость!

Ох, какие страшные слова! «Сегодня очередь моя». И вот эта очередь: осуждение, сожаление об утрате того, что есть в природе у Онегина.

Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

Он разглядел ее лишь в золотой раме, в вихре мишур светской жизни. И еще раз до боли оскорбил ее. Признание Онегина лишь доказало Татьяне правильность ее поступка. «Я вас прошу меня оставить». И какое благородство характера Татьяны: «Я знаю: в вашем сердце есть // И гордость, и прямая честь».

Почему же сейчас она не может дать свободу своему чувству?

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Белинский не понял этого, он говорит, что это рабство. Нет, это не рабство. Это верность! С таким чувством можно идти на костер, под дуло пистолета, принимать самые тяжелые лишения и оставаться собой. Эта черта очень хорошо обрисована в Татьяне. «Отдана» – значит, так положено, заведено, на этом зиждется семья. Татьяна – хранительница того миропорядка, той национально-исторической почвы, которая называется Россия. В Татьяне Пушкину удалось (как это? – секрет, секрет писателя, как это удалось барину Пушкину) раскрыть национальный характер. Это присуще только русской девушке, русской женщине. Татьяна вошла в историю русской жизни как победительница, как героиня. И Запад перед ней остановился. Такой красоты и чистоты нравственного чувства Запад давно не знал, давно утратил. А здесь есть, сохранилось – вот это национальное чувство, и историк современности должен понимать, что это не случайность, а русская идея, о которой все вопят. В природе русского человека лежит понимание верности.

Онегин – интеллигент с выхолощенной психологией, из тех, кого Достоевский назвал «вечными скитальцами», оторвавшимися от родных корней, от почвы. Татьяна – героиня почвы.

У большого писателя художественный образ всегда значительнее, чем биография героя. Он типизирует не только характер персонажа, но описывает историческую ситуацию, в которой живет и действует герой. Вот почему эти герои-персонажи обладают способностью вечной жизни. Или, вернее, возбуждают интерес у читателя на протяжении разных эпох. Меняется время, происходят войны, революции, различные потрясения, а эти персонажи продолжают вызывать интерес читателя, независимо от того,

в какую эпоху тот живет. Герои романа Пушкина «Евгений Онегин» принадлежат именно к такому явлению.

Еще в Михайловском, работая над «Борисом Годуновым», Пушкин задумал создать несколько драматических произведений. Мысль вполне понятная: ему нужно было показать природу страстей (тема, постоянно мучившая Пушкина на протяжении всей его жизни), проникнуть в тайну человеческих ощущений. Но только в Болдине, где происходил особый процесс осознания всего ранее передуманного и перечувствованного материала, можно было это осуществить. Казалось, эпическое начало делалось господствующим, и в этот чрезвычайно важный момент творческого самосознания художником создается цикл драматических произведений, связанных не сюжетом, а идеей раскрытия природы человеческой страсти: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость».

Всю жизнь поэта преследовал вопрос: что такое страсть? Он так часто звучал в его лирических произведениях, поэмах и даже в прозе. Вопрос, который его фатально преследовал в течение всей жизни. Так и в 30-е годы он вновь к нему обращается. Собственно этому и посвящены «Маленькие трагедии».

Здесь поэт изображает разные типы человеческого сознания: представления Средневековья, и эпохи Ренессанса, и человеческое отчаяние и бессилие времен стихийных катастроф уже без привязки к какому-то историческому периоду. Границы расширяются в чисто психологическом представлении, в рассмотрении внутреннего движения страстей.

Вернемся к конкретному пониманию только что сказанного. В «Скупом рыцаре» нас меньше всего интересует, что это период упадка рыцарской доблести. Важно то, что человек превращен в скрягу, скупца, накопителя, ростовщика. Здесь деньги вытесняют все чувства. Они для Скупого – божество. Он над ними властелин: «Я царствую,

сильна моя держава», но и они властвуют над ним. Это всепоглощающее чувство наживы – лучший гимн идее власти денег, ее господства. Прошлое не уходит из сознания Скупого. «Бог даст войну» – и вновь он может обратиться в рыцаря, которого влечет чувство победы, но это мечта не о будущем, а о прошлом. Деньги – это власть. И весь мир нашего героя подчинен страсти накопительства, наживы. Очень хорошо показано, что и Альберт, и принц не понимают скудости души этого героя. Здесь не просто накопительство, жадность – это поэзия власти денег, страсть. И Пушкин хочет понять генезис этой страсти. Эта страсть будет раскрыта значительно позднее и доведена до социального обобщения. Но то, что сделано поэтом – раскрытие психологии страсти, – его удовлетворяет. В сущности, эта тема будет пронизывать всю литературу второй половины XIX века. Это тема и Гончарова, и Достоевского. Для них она требует уже другой стороны, не только психологической, – социальной. Для Пушкина социальная сторона – только одна из граней психологии страсти.

Эта тема решается и в «Каменном госте», где сама страсть бескорыстна, где одна «наука страсти нежной». Для Дон Жуана в этом пафос жизни, он тоже рыцарь, победитель. Он не знает крепости женского сердца, никто из женщин не может устоять перед его обаятельностью, его любовная ложь делается полуправдой: он верит в нее, как в правду, верит, пока говорит. Наполовину правда, наполовину обольстительная ложь. Подумаешь, Скупой хвастает, что сильна его держава, – Дон Жуану это смешно. Для него важна победа над женским чувством, важно то, что он может заставить женщину полюбить себя вопреки ее желаниям, – и выше этого ничего нет. Ему смешны мужья, любовники, которые становятся на страже своих возлюбленных. Отсюда такой чудный финал: он предлагает Командору прийти на ужин, где он встречается с его женой. Как! Он, Дон Жуан, может быть побежден? Как страсть, ради которой он живет, его дыхание, как она может быть прервана, опрокинута? «Как тяжело пожатье

каменной десницы!» Так это что? Только иллюзия. Миг блаженства – и все величие Дон Жуана, вся его изысканность, жесты, слова – это что же? Жалкая игра героя, который выглядит комедиантом в собственных глазах?

Что же такое страсть? Что создали люди в эпоху Возрождения? Они тоже не могли ответить на этот вопрос.

И наконец, «Моцарт и Сальери». Здесь тоже страсть. Чувство художника и страсть мастера. Для Моцарта музыка – это так же обычно, как дыхание. Он не испытывает страсти, потому что он ничего не оставляет себе, отдает людям весь свой мир звуков. Не дорожит этим – этому нет конца, это так же бесконечно, как жизнь. Но жизнь-то не бесконечна...

А Сальери музыку алгеброй поверил, он знает, какой ценой достигается каждая нота, знает цену каждому аккорду. Для него музыка – целый мир, и его нельзя трогать. Тот, кто посмеет его тронуть, должен погибнуть. Его страсть – сохранить этот чудный мир в той прекрасной гармонии, в которой он существует. Все, что создано человеком после этой красоты, не имеет права на жизнь и погибнет. Это храм, который нельзя взрывать. Страсть Сальери – страсть консерватора, коллекционера музыки, который хочет сохранить миру всю красоту гармонии, сохранить любой ценой. Он избрал самую страшную цену – преступление. Вот, оказывается, где грани страсти. Она велика и не останавливается перед преступлением, подчиняет себе человеческое чувство, человеческий рассудок. Эти темы Пушкиным только намечены, названы для будущего, для писателей второй половины XIX века.

Другая страсть, самая страшная, перед которой Пушкин тоже остановился, – отсутствие страха перед смертью: «Пир во время чумы». Что выше жизни? Ничего. Что смерть? Она бессильна. Она может убить, но не может уничтожить. Есть силы выше смерти. У Достоевского герой скажет: «Надо научиться преодолевать страх смерти, и тогда ты бессмертен». У Пушкина нет этих слов,

здесь только одно – непризнание смерти. Пусть она пирует рядом с нами, но наш пир она не может разделить, мы сильнее ее.

Анализ разгула страстей осложнен внутренним психологическим рисунком героев. Это было внутреннее раскрытие темы. Внешнее – Средневековье, Ренессанс, природные стихии. Внутреннее – человек с его страстью. Пушкин пытался всю жизнь показать механизм страсти. Но полное раскрытие этого явления еще не пришло, не пришло историческое время. На это понадобится еще 40 лет русского гения.

«Лета к суровой прозе клонят» («Евгений Онегин»). Это не только крылатое выражение, но и очень точное изображение настроения художника 30-х годов, когда Пушкин все чаще обращается к прозе: пишет «Повести Белкина», «Дубровского» и повесть «Капитанская дочка» – во многих отношениях шедевр русского прозаического искусства. Повести Вальтера Скотта все чаще привлекают внимание русского читателя, как и историческая беллетристика вообще. Интерес к историческому роману был свойствен и Пушкину. Он пытался написать повесть «Арап Петра Великого», но, как помним, совершенно неожиданно бросил этот труд, по-видимому не найдя той сюжетной линии, или, вернее, той идеи, которая преследовала его всю жизнь: судьба и значение Петра I для России. В «Полтаве» он тоже думал о создании «Петриады», но эта тема не получила своего художественного воплощения в новой форме, а повторила поэтику прошлого, XVIII века. Историческая проблематика все время привлекает писателя. Мальчиком он пережил победоносную войну России с Наполеоном, в зрелости испытал трагедию 14 декабря – события, столь близкого ему по исторической тенденции и дорогим товарищеским связям.

Основное, что будоражило, не давало покоя, – это тема народа и просвещенного общества. Во весь рост она вставала перед Пушкиным, когда он думал о событиях

14 декабря, об этой разъединенности русского общества, его верхушки и народа.

Время, в которое живет Пушкин, – это время воспоминаний о XVIII веке («О громкий век военных споров!»). Как человеку XVIII века (в том смысле, что он родился и воспитывался в этом веке, связан корнями с его экономической и духовной жизнью), Пушкину надо было дать ответ: наследниками чего же они являются? Это век крестьянских бунтов и народных потрясений. Конечно, офицеры не могли представить, что солдат может ослушаться их приказа, поэтому они смело вывели полки на Сенатскую площадь. Но отдаление народа сказалось и здесь. «Сто прапорщиков хотели изменить государственный быт России», – Пушкин часто вспоминал эти слова А.С. Грибоедова, одного из умнейших людей того времени. Но нужно было самому понять сущность этого явления и воплотить в художественной форме. Одной художественной интуиции мало – нужен фактический материал. Отсюда желание написать «Историю Пугачева». Ему нужно было понять, как могла вся Россия поверить прощелыге и пойти против государственного строя. «История пугачевского бунта» написана на основе записок, свидетельств очевидцев или тех, кто слышал от очевидцев.

Отдаленность народа от господствующих сословий Пушкин не мог не чувствовать. Очень важен такой пример. Современником Пушкина был духовный герой России – Серафим Саровский. Но Пушкин о нем не вспоминал. Одна Россия наслаждалась праздником жизни, другая справлялась со своими угнетателями, но Пушкину и в голову не приходило пойти к этому юродивому, человеку земли, подвиг которого заключался в молчании или в стоянии многими сутками на коленях на камне. Пушкину, как интеллигентному человеку, это казалось юродством, недостойным внимания. А ведь Серафим Саровский – носитель этой эпохи, и к нему стекалась вся сермяжная Русь, как к утешителю. Идут больные, слепые, увечные, безрукие, голодные... Идут за утешением, за об-

легчением души. Среди сермяг можно встретить и важные мундиры господ. За чем? За утешением. Страдания людей разные, но все они – скорби. Забитая, убогая Россия видела в Серафиме Саровском свое отображение, ибо она живет с «запечатанными» устами и не может выразить то, что гнездится в ее душе.

Но вот наступает время мщения, войны за справедливость. Нужно воскресить эти исторические свидетельства в художественных образах – но не в классицистических, а в другой форме.

Пушкин уже овладел приемами реализма – очень многозначительное явление. Ведь это не только увлечение прозой, смена словесной формы выражения – это целый этап в художественном сознании писателя. Для этого времени характерен полный отказ Пушкина от романтизма.

«Проза требует мыслей и мыслей», она не допускает красот стиля. Поэтому проза Пушкина казалась Л. Толстому «голой». Естественно, писать о гробовщике или стационарном зрителе, об офицерской попойке и упражнениях в стрельбе – всё это не требует величавости. И это никак нельзя назвать прекрасным. Нет. Поэт сам заявляет:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор.

Вот круг представлений поэта, теперь – просто писателя, одержимого идеей правды жизни. Отсюда и «История села Горюхина», и весь цикл, написанный от лица Белкина, дворянского обывателя того времени, рассказавшего наиболее интересные, поразившие его истории. Сам автор, Белкин, отнюдь не поэтическая натура, а обычный, средний человек, типичный для своего времени, – прекрасная стилизация Пушкина.

Другая форма реалистического изображения – семейные записки как произведение искусства. Написать историю молодого человека периода пугачевской войны –

такова задача Пушкина в «Капитанской дочке». Детство, отрочество, юность, зрелость героя – все эти периоды жизни Петра Гринева нашли отражение в повести.

У Гринева есть дядька – Савельич, и о нем надо писать особо, ибо он из той «черной Руси», благодаря которой и существовал дворянский класс, и не только экономически, но и духовно, морально и интеллектуально. И это не преувеличение. Говоря о пропасти между народом и образованной частью русского общества, никогда нельзя забывать, что первыми учителями были не только Кутейкины, но та самая крестьянская интеллигенция: грамотеи, сказочницы, музыканты, певцы, живописцы и ваятели, способные ко всякому художественному делу (рукомеслу). Смышленный парнишка, приставленный к молодому господину ходить за ним и служить ему, перенимал у «Кутейкина» уроки, адресованные молодому барину. А потом всю жизнь оставался при своем господине лакеем, репетитором, воспитателем, заботливой нянькой, охранял своего господина от всех невзгод дворянской жизни – необузданных увлечений и нелепых поступков. Можно было бы написать целое исследование на эту тему, а Пушкин очень сжато, одним образом Савельича это показал. Прототипом Савельича, видимо, послужил крепостной Пушкина дядька Никита Козлов, который ни на шаг не оставлял своего господина, вместе с А.И. Тургеневым проводил своего барина до могилы в Святогорский монастырь. К нашему глубокому сожалению, пушкиноведение располагает очень небольшим материалом, связанным с именем лакея Пушкина. Факт проводов своего господина до могилы, в суровую зиму: холод, народу было немного – Тургенев, он да жандармский разъезд, чтобы покойник не убежал...

Почему же эти люди были так преданы своим господам? Что их связывало? Какая корысть? А корысти-то не было. Была забота да любовь, да привязанность к дитяти, которое уже выросло, стало самостоятельным, не всегда владеющим собой... А среда захватывала... Пирушки, кар-

ты, дуэли, цыганы, проигрыши. Вот лакей и ищет, у кого бы для господина денег занять, а последний недоволен, когда комиссия дядьке не удаётся. Я мог бы написать целое исследование об этой крепостной интеллигенции, об ее отношениях с теми, кому она служила. Савельича не пошлют в Париж учиться – он здесь нужен, при господах. В Париж пошлют повара и живописца, и тот и другой расцениваются господами одинаково – чтобы вкусно готовил и красиво рисовал.

Но есть и женский персонаж народной интеллигенции. Это не только артистки на театре, это мамки и няньки, растящие господское сословие, которые своей грудью питают малюток этого сословия, отдают им все свои силы. И мамка передает дитя на руки няньке, и та будет его «тетешкать», а начнет дитя понимать, сказку ему скажет и песню споет, на ночь колыбельную, а днем привольную, чтобы дитя не загрустило. Вот и растят этих деток, и хорошо растят, потому что нет ничего лучше и крепче крестьянского сословия. Эти люди здоровы, здесь сила («Знаешь ведь сама: сила ведь дороже разума-ума»). И растут дети здоровы, пока к ним не приставят французенку или англичанку, чтобы «в нос» говорили. К этим народным педагогам привязывались дети дворянского мира. Лучший пример – отношение Татьяны Лариной к ее няньке Филиппьевне. На протяжении всей жизни она ее помнит:

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

Это целый мир, мир поэтов, сказочников, песенников. Это дом, каждодневная жизнь, в которую вплетается песня, поговорка, пословица. Жизнь, которая подчиняется прекрасному крестьянскому ритму. Из людской она проползает в детскую, из детской – в гостиную. Умный человек это ценит, глупый отвернется как от предрассудка и отсталости. Эту идиллию крестьянско-помещичьей жизни рисовал А.П. Сумароков, и уже совсем детально

разработал ее М.М. Херасков, предполагая, что это единственный путь России.

Но вернемся к повести. Старый Гринев, обойденный в чинах, предпочел коротать время в своем имении, вспоминая о товарищах, превзошедших его по службе. Зная все превратности жизни молодого человека в Петербурге, он решил не повторять своих ошибок и отправил сына в далекую Белогорскую крепость тянуть военную лямку: «...пусть в армии послужит <...> ...пускай его потужит...». События в повести развиваются чрезвычайно быстро. Дитя перестает быть отроком. Он – самостоятельный человек. Его первый «университет» – встреча с Зуриным. Бильярд и проигрыш. Трагедия Савельича. Ссора с дядькой. Раскаяние Гринева. Встреча с вожатым. Заячий тулупчик, и опять ссора с Савельичем. Наконец, Белогорская крепость – и полное разочарование: в какой глуши, с какими людьми молодой Гринев должен провести свои лучшие годы! Необыкновенного мастерства достигают характеристики Пушкина. Все люди XVIII века предстают как живые. Чего стоит один рассказ комендантши Василисы Егоровны об их экономическом положении: «Маша – девка на выданье, а какое у нее приданое? Частый гребень да веник <...>. Хорошо, коли найдется добрый человек».

Самое интересное и большое в повести – сопоставление Гринева и Пугачева. Здесь целая гамма психологических переживаний. Сначала мы видим Пугачева как ладного мужика, пробирающегося к казакам по своему тайному делу. Замечателен разговор вожатого с хозяевами избы, давшими приют Гриневу на его пути! Весь разговор состоит из иносказаний. Молодой Гринев проявил к этому прощельге человеческое отношение – и здесь завязывается один из самых интересных психологических узлов повести. Доброе, человеческое отношение, которое Пугачев, наверное, давно уже не испытывал и запомнил на всю жизнь. Голодный и раздетый, он напялил на себя барский заячий тулупчик и принял от своего благодетеля стакан вина, что его согрело и обрадовало. Пугачев узнает своего

благодетеля, когда последнего привели вешать. Воспоминание, чувство благодарности опрокидывают разбойничий порядок, что спасает Гринева от виселицы. С этого момента Гринев и Пугачев изображаются параллельно на протяжении всей повести. Социальные и классовые противоречия уступают место человеческим отношениям. Искренность и прямодушные Гринева обезоруживают Пугачева, ведь он прекрасно понимает, что ответы Гринева могут стоить тому жизни.

Благородство, безрассудность и любовь к Маше Мироновой заслоняют Гринева реальность, когда на военном совете в Оренбурге он просит, чтобы ему дали отряд казаков, и он освободит несчастную дочь капитана Миронова, отдавшего жизнь за спасение Белогорской крепости. Генерал прекрасно понимает нереальность этого предприятия и реальность приближения орд Пугачева к стенам Оренбурга. Но ради спасения любимого человека рыцарь-романтик Гринев пренебрегает всем и, не получив помощи от государства, надеется получить ее от разбойника. Третье свидание с Пугачевым – это продолжение сердечной близости Гринева и Пугачева, когда оба поняли, что самое большое в жизни человека то, что все – люди, независимо от социального положения.

Осталось последнее свидание, четвертое, когда Гринев приходит на место казни Пугачева, и ему кажется, что Пугачев узнал его и кивнул головой, которая через секунду, «мертвая и окровавленная, была показана народу». Написано так просто, так естественно, что у читателя не может быть сомнения в том, что это правда, а не выдумка. Нет, это только правда, «истинный романтизм», где поэзия жизни сливается с поэзией искусства.

Последняя глава повести дана в том же психологическом ключе. Тяжелые раздумья Гринева-старшего о преступлении сына, опозорившем род, самом тяжком преступлении, порочащем дворянскую честь, он не может пережить этого и с этим чувством сойдет в могилу... Маша Миронова прекрасно понимает, что виной всему является

она, и отправляется в Петербург искать правды: подать прошение на имя государыни и рассказать все, как было на самом деле. Племянница истопника, у которой она остановилась, рассказала ей о привычках государыни и советовала подать в руки ей просьбу.

Здесь, в парке, Маша услышала лай белой собачонки. На скамейке сидела немолодая дама в белом платье. Она внимательно рассматривала Машу. «Вы, верно, не здешние?» – «Да, я дочь капитана Миронова». Дама в белом сказала, что знает о нем, и спросила, какую просьбу Маша имеет к государыне. Взяв бумагу, дама стала читать, и при имени Гринева лицо ее приняло суровое выражение: «Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй». «Ах, неправда!» – вскричала Маша. И все поведала Екатерине. Та поняла, почему Гринев не рассказал следственной комиссии о Маше, защищая честь девушки от оскорбительных для нее вопросов, и оценила благородство его поступка. Государыня, шедшая к власти твердой поступью, ни в чем не знавшая преград, была куда несчастнее сироты Маши, которая пережила чистую, прекрасную, возвышенную любовь. Этот мир был для Екатерины закрыт. Ее могли любить только по приказу, ее многочисленные связи не были освещены чувством любви. И как женщина, не знавшая женского счастья, она восхитилась и позавидовала сироте Маше Мироновой, и оправдала Гринева, и пожелала побеспокоиться об их дальнейшей судьбе.

Вновь встречаемся у Пушкина с идеей, что человеческое, только человеческое куда выше сословного, классового. Людей сближает взаимное душевное проникновение, разрушая все преграды. И здесь Пушкин предвосхищает русский психологический роман XIX века.

Последнее произведение Пушкина, над которым он много работал, не было опубликовано при его жизни и стало достоянием читателей после смерти поэта. Тематиче-

ски и идейно это произведение связано со всем предыдущим творчеством. Идея «Петриады», зарожденная в XVIII веке и не осуществленная, вновь была предметом художественного воплощения писателя. Намеченная в поэме «Полтава», где, как мы помним, романтический материал заслонил собой военно-исторический, она не была воплощена. Но настойчивая и подспудная работа шла, и к 1830-м годам в бумагах поэта уже находились наброски поэмы «Медный Всадник».

В этой поэме Пушкин создал изумительную многоплановость. Гимн Петру, его грандиозным преобразованиям, прославление этого времени носит возвышенно-патетический характер. В «Полтаве» Пушкин дает портретное изображение Петра в патетической манере:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь как божия гроза.

В «Медном Всаднике» отсутствует портретное изображение, в центре повествования – последствия деятельности Преобразователя:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...

Роскошные дворцы, утопающие в зелени парков. Торжественность, нарядная жизнь столицы, где праздником охвачено все:

Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом ряду
Лоскутья сих знамен победных,

Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

Никто так хорошо не выразил идею петровской власти, как Фальконе в изумительной скульптуре:

Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Европейские зодчие, ваятели, художники принесли к ногам истукана – владельца полумира – все свое мастерство:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия...

Итак, мечта о создании «Петриады», мечта двух столетий осуществилась.

Но есть и другой Петербург. Не праздничный, а обычный. Не с героями, а с обыкновенными людьми, с их заботами, мечтаниями, планами о насущном, будничном, повседневном и очень близком.

Что же можно сказать о герое поэмы, обывателе?

Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Таков Евгений. Это петербургский обыватель, дворянин в мещанстве, который нашел себе место в новой жизни. Оттесненный обстоятельствами от сословных привилегий, он оказался в новом социальном положении, которым он недоволен, но смиряется с этим. Его мечты о том,

Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливыцы,
Ума недалекого ленивыцы,
Которым жизнь куда легка!

Пушкин написал не только «Петриаду», но и повесть о Петербурге обывательском, бессильном перед стихией. Он может убежать от нее, отступить, пожертвовать всем, что у него есть, но победить эту стихию не может. И перед нами разыгрывается страшная человеческая драма, полная любви, тихого восторга, мечты и... крушения, крушения всего.

Мосты уж развели. Евгений знает: «...с Парашей будет он // Дни на два, на три разлучен». Но в его сознании даже не может сложиться представление о той трагедии, которая его ждет: наводнение, потоп! Беспощадная стихия захватывает всех и вся. Он пленник этой стихии, но не об этом его мысли сейчас. «Его мечта, его Параша» – вся жизнь его, все в ней одной. И что же? Он стремится найти дом, в котором она жила. Но ничего не находит, все смыто. Вот здесь стоял домишко бедный. Разбита жизнь, разбито счастье! «Ни человек, ни зверь», «он оглушен был шумом внутренней тревоги» и, обезумевший, увидел властелина «на звонко-скачущем коне».

«Добро, строитель чудотворный! –
<...>
Ужо тебе!..»

И показалось ему, что «грозного царя <...> лицо тихонько обращалось».

Эта страшная картина сменяется не менее драматической. Наутро неугомонный Петербург живет своей обычной жизнью. Все равнодушны. Все безразличны. Этот ужас равнодушия автор нарисовал с такой трагической силой, что поэма вызывает глубокое переживание, сострадание к этому бесчувственно-холодному миру.

Мы видим, «Петриада» без роковой схватки государства и человеческой личности была бы неполной. Кажется, Пушкин прославляет Петра, созидание, строительство. Но он также глубоко разделяет страдание «бедного Евгения», «маленького человека». А что же ему? Где его альтернатива? Только в том, что он мал и ничтожен? Ведь в этом вся правда поэмы. Там, где нет правды, нет

искусства. Здесь эта правда есть, и потому так страшно выступает искусство.

На протяжении всего творческого пути Пушкина мы могли наблюдать его стремление к реалистическому изображению мира в широком смысле этого слова. Я это подчеркиваю, потому что и лирические произведения его — они тоже реалистичны. Пушкин насытил русскую литературу, русскую жизнь лирическими стихами, или, вернее, лирическим ощущением бытия. Он открыл в природе человека такие стороны внутреннего мира, которые до него никто не решался изобразить, то есть лирические ощущения были у людей и в XVII, и в XVIII веках, но они не имели формы выхода в искусство, где бы сама лирика сделалась жизненной потребностью, необходимостью бытия. Пушкин представил всю гамму лирических переживаний всех оттенков, всех красок, всех звучаний.

Движение Пушкина было движением к реалистическому познанию мира средствами литературы. Поэт очень рано распрощался с романтизмом, романтическими поэмами. Трагедия «Борис Годунов», которую Пушкин называл «истинно романтической», — это реалистическая трагедия, в которой мы находим замечательные черты реалистического искусства, они будут сопровождать его всю творческую жизнь.

Пушкин реалистически изобразил близость, существующую между людьми. Разумеется, это близость не повседневная, а особых, трагических моментов жизни, когда обе стороны понимают, что они — люди. Помните, у Л. Толстого в «Войне и мире» встреча Пьера с Даву? Они посмотрели в глаза друг другу, и установилась та связь, которая называется человеческими отношениями. Это то же, что у Пугачева с Гриневым, что у Маши Мироновой с государыней. Все они — люди, дети одной Матери, одной земли. Эта замечательная черта реализма как формы высшего познания человека человеком была открыта Пушкиным.

Другой вопрос, который все время сопровождал Пушкина: что такое любовь? В чем ее сила? Откуда она

берется? Он, кажется, изображает все возможные оттенки этого чувства. Но вспомните, что он пишет в стихотворении на смерть Амалии Ризнич «Под небом голубым страны своей родной...». Когда на него взглянула смерть, вся красота исчезла, осталось одно – «безобразия», «безобразная наша красота, не имущая вида», уничтожение образа, прах, тлен – итог... А до «итога» мы преклоняемся перед этим, мы жаждем, мы ищем, мы влюблены... Во что? Но эту мысль Пушкин отринул – предал забвению. Снова его поэзия полна радости, солнечности, но эта солнечность уже с лучами скорби.

Идя к реалистическому познанию мира, искусства, Пушкин спрашивает, что же такое страсть? Это особое состояние духа, перед которым все меркнет, у страсти нет предела. Это я вам пытался подробно изложить, рассматривая «Маленькие трагедии».

У Пушкина страсть тоже подвержена принципу всечеловеческого познания, то есть человек может это познать, осудить. Принять как должное – нет. Но принять как реальность – может. И вот так рассуждая, я привел вас к той мысли, что реалистическое искусство Пушкина раскрыло человечность в человеческих отношениях. Это умение увидеть в другом человека – один из важнейших моментов человеческого развития, человеческого бытия, и, кажется, выше этого уже ничего не существует («Капитанская дочка»).

Но в «Медном Всаднике», вы помните, дано сопоставление двух миров. Пир, роскошество, торжество города – и Петербург заурядный, обычный, без героев, без торжества, но очень человеческий. И здесь идея не в противопоставлении величия деспота и ничтожества человека (этот человек как всякий человек). Главное в другом. Человек (Евгений), выброшенный из обычной колеи жизни, делается настолько одиноким, что ему нет сочувствующих, потому что здесь не может быть сочувствия. Горе у всех одно, а страдания разные. И Петербург торжествующий, и Петербург страдающий одинаково чужды этому

человеку, этой песчинке. Трагедии нельзя помочь! Пушкин ставит вопрос: в чем природа этой трагедии? Так устроен мир? Таковы человеческие отношения? Этому нет альтернативы. Социальные противоречия настолько остры, беспощадны и подчиняются только одному господствующему закону – закону силы. И здесь художник бессилен что-либо изменить.

Вот где гений сталкивается с тем, что называется природа вещей. Беспощадная социальная правда опрокидывает чудную идею всечеловеческого начала. Все побеждает социальное, и с этим ничего не поделаешь. Художник может это показать, раскрыть, но изменить не может! Но ведь искусство призвано изменять собою мир?..

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

Михаил Лермонтов занял свое особое место в истории русской литературы. Он выступил как самостоятельная, самодостаточная творческая личность. Соседствуя с А.С. Пушкиным, он тем не менее не может быть отнесен к так называемой «пушкинской плеяде» (Баратынский, Вяземский, Дельвиг, Кюхельбекер). В отдельных случаях поэт продолжает идеи Пушкина, но чаще всего выдвигает свои собственные, свойственные 40-м годам XIX века. И то вечное, что открыл Лермонтов, могло быть написано именно и только в это время, то есть это вечное – временное, вечное, но порождено только своим временем. «Из всех сердец, лирически настроенных, только его сердце – и ранее, и сильнее других – отозвалось на брожение нравственных понятий и чувств, каким была полна его эпоха» (Н.А. Котляревский).

Периодизация творчества Лермонтова очень трудна. Его ранние произведения (а у него все ранние – поздние он не успел написать) выступают как завершенные шедевры, свидетельствующие о большом мастерстве художника, а рядом – детские школьные упражнения.

Произведения с 1837 по 1841 год можно отнести к шедеврам. Смерть Пушкина в 1837 году потрясла всю Россию. Прямым откликом на это трагическое событие явилось стихотворение «Смерть поэта» – строки, полные негодования к гонителям и убийцам Пушкина и глубокой любви автора к России. В это время Лермонтов был тяжело болен и даже не смог проститься с умершим Пушкиным. Светская сплетня, шумевшая вокруг памяти поэта, возмущала, поднимала негодование Лермонтова. В порыве этого возмущения он и написал последние 16 строк стихотворения, за которые был выслан из Петербурга в драгунский полк:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: Он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела Он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Это очень важный период в творчестве поэта. С него начинается углубленная работа Лермонтова над поэтическими опусами. Исчезает эта манера – откликнуться на каждое событие стишком. Теперь меняется отношение к слову: оно несет большой и глубокий смысл. Само стихотворение приобретает смысл, далеко выходящий за пределы рассказа о событии («Три пальмы», «Ветка Палестины», «Дума», «Молитва», «Бородино»). Поэтический мир художника стал большим и очень серьезным. Он весь проникнут психоанализом. Все заставляет думать, размыш-

лять. Дума делается любимой формой поэтического выражения художника.

Именно в это время созданы такие противоположные по своему характеру произведения, как драма «Маскарад» и «Песня про купца Калашникова». Лермонтов весь в самых разнородных исканиях звучания, формы, содержания, идей. Именно тогда он обращается к историческому материалу: Россия, опаленная революциями Европы, пережившая Отечественную войну 1812 года («Бородино»), к личности Наполеона, вызвавшей у поэта так много мыслей (сравните «Дневник Печорина» – «Дневник Наполеона»). Переводы Лермонтова делаются почти оригиналами («Воздушный корабль»). Этот материал дает возможность выделить целый период творчества писателя, где историческая проблематика выступает наиболее ярко и полно.

Критики прошлого и настоящего времени во многом не поняли и не раскрыли сущность таланта Лермонтова. Все причислили его к явлениям исключительным, которыми природа так редко награждает человечество и как бы в отместку за свою щедрость отнимает у поэта детство, отрочество и юность. В.О. Ключевский говорил о «грусти» Лермонтова, Вл. Соловьев писал о «поэте сверхчеловечества», навязывая Лермонтову не присущую ему концепцию нищестанства. Никто, начиная с Белинского, не мог пройти мимо его творчества.

Все это я говорю, чтобы попытаться понять место и значение Лермонтова в литературе XIX века. Моя мысль – оправдание его ожесточения, оправдание в тех ложных оценках, которые к нему приросли, его реабилитация. Он не враждует с небом, он не пессимист, а эгоцентрист. У него встречается идея примирения, успокоения; идея борьбы с демоническим началом, которое столь присуще человеческой личности, – одна из главных в творчестве поэта.

Сложность биографии Лермонтова, его характера, индивидуальности является камнем преткновения для

нашего рассуждения. Личный, биографический материал часто препятствует созданию общей картины времени, в котором жил и творил поэт. Это период реакции после восстания декабристов 1825 года, когда все лучшие энергические силы были сломлены, старые пути уничтожены, новых никто не изобрел («свинцовое небо, заволакивающее душу», А.И. Герцен), – это и есть та питательная среда, которая рождает поэзию Лермонтова. Удушающая атмосфера времени вызывает протест. Он как самозащита чувств, переживаний, ощущений поэта. Отсюда его пророчества, мечты о лучшем, лирическое предчувствие того, что должно свершиться.

Особенности биографии М. Лермонтова, его характера и индивидуальности не объясняются только тем, что он сын бедного офицера и внук богатой помещицы Арсеньевой, урожденной Столыпиной, владелицы больших капиталов. Мать Лермонтова рано умерла, оставив мужу маленького сына. Стесненное материальное положение офицера не позволяло ему дать сыну должного образования. Бабушка, которая винит во всем отца мальчика, взяла внука на воспитание. Это первый узел противоречий, семейная трагедия сословного характера, которая придает индивидуальности мальчика черты оскорбленности, угнетенности, чем так полна лирика поэта:

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
(«Ужасная судьба отца и сына...»)

Если к этому прибавить внешний вид Лермонтова: сутулость, непропорционально большая голова – черты, не располагающие к нему, обиду за свое физическое сложение, которая как бы отражалась в «тяжелом взгляде», то становится понятна болезненная ожесточенность, ироническое отношение к людям, окружавшим его. Этой отторженностью, отринутостью насыщена вся лирика Лермонтова, которая несет в себе не только переживания ин-

дивида, его скорбь, но скорбь мысли. Мысль выражает отношение человека к чему-либо. А вот мысль, сама по себе скорбящая:

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
 Вот арфа золотая:
 Пускай персты твои, промчавшись по ней,
 Пробудят в струнах звуки рая.
 (*«Еврейская мелодия»*)

Легенда о шотландском происхождении поэта вызывает целый ряд картин жизни далекого шотландского мира.

Зачем я не птица, не ворон степной,
 Пролетевший сейчас надо мной?
 Зачем не могу в небесах я парить
 И одну лишь свободу любить?
 На запад, на запад помчался бы я,
 Где цветут моих предков поля,
 Где в замке пустом, на туманных горах,
 Их забвенный покоится прах.
 (*«Желание»*)

Этот уход в мир мифических предков снимает страдания, щемящую боль переживаний о реальной действительности.

Биография Лермонтова настолько своеобразна и оригинальна, что представляет собой как бы художественное произведение. Большое место в ней занимает Кавказ. Мир кавказской природы и вся тема Кавказа – это возвышающий, смягчающий и облагораживающий душу мальчика и юного поэта мир.

Начиная с детства Кавказ все время в поле зрения поэта и является одним из основных аккордов его творчества.

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
 Я посвящаю снова стих небрежный,
 Как сына ты его благослови
 И осени вершиной белоснежной.
 От юных лет к тебе мечты мои
 Прикованы судьбою неизбежной,

На севере, в стране тебе чужой, -
Я сердцем твой, всегда и всюду твой.

<...>

Как некогда ребенку, твой привет
Изгнаннику был радостен и светел,
Он пролил в грудь мою забвенью бед
И дружески на дружный зов ответил.
(«Посвящение к поэме “Демон”»)

«Синие горы Кавказа» лелеяли его, когда маленького Лермонтова лечили на Кавказе. Это время, когда Кавказ был здравницей. Поэт был в восторге от этого чудного края. Скажем больше: русские писатели XIX века выросли в условиях кавказской романтической обстановки. Это они первые почувствовали красоту гор Эльбруса и Машука, прелесть горных рек, романтику восхождения. Все это поэт с восторгом пережил и описал: «Синие горы Кавказа, приветствую вас, вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили»; «...Как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ». Можно сказать, что русская поэзия обязана Кавказу своей красочностью, многозвучием, загадочностью, музыкальностью.

У всякой поэзии должен быть фон. У Некрасова – это русская деревня, у Блока – город. А здесь – особая страна. Она поразила всех красотой, загадочностью, целебностью. Ведь не случайно Ермолов устроил там водолечебницы. Война... Куда девать всех раненых? В Петербург, Москву – невозможно. Их выхаживали на месте. Это практическая сторона. А романтическая, или пейзажная, – она яркая. Вот здесь и была поэзия: все красиво, загадочно. Конечно, с гор спускаться не позволялось: заарканят – и в плен. Но в горах – безопасно, изумительно красиво. Здесь поэзия могла развиваться совсем свободно. Это не какая-нибудь Финляндия. Здесь тепло, уютно, чудное цветение. Какая там мокрая Италия, где одна малярия! Здесь тоже есть малярия, но есть и здоровые места. Один только Л. Толстой стал писать, что никакой разницы между Калужской губернией и Кавказом нет, только на Кав-

казе горы, а тут равнины. Это было снижение романтики. А в 20–30-е годы восхождение русского романтизма было связано с этой чарующей страной.

На фоне романтического Кавказа даны и две главные поэмы Лермонтова – «Демон» и «Мцыри». Роман «Герой нашего времени» раскрывает мир красоты Кавказа уже в живописных гранях прозы, то таинственных, то спокойных в условиях обычного быта.

Ссылка на Кавказ в 1840-м году для Лермонтова стала освобождением, о котором он мечтал всю жизнь. Наконец он сбросил с себя пессимистическую тяжесть, так давившую его. В действующем отряде на Кавказе он получил орден и был представлен к золотому оружию. «Валерик» (1840) – это, в сущности говоря, военная корреспонденция, о которой так мечтал Л.Н. Толстой, будучи на Кавказе. Это целое повествование о событии – наступлении и взятии новых рубежей. Первый переход через реку; форсировать было страшно трудно. В стихотворении – протокольная точность в описании событий, все так ясно и просто, как материал для рапорта. Но эта батальная картина вписана в теплые воспоминания юности. И они, и кровавый бой даны с вечным лермонтовским вопросом: «Зачем?»

Я к вам пишу случайно; право
 Не знаю, как и для чего.
 Я потерял уж это право.
 И что скажу Вам? – Ничего.
 <...>
 Я думал: «Жалкий человек,
 Чего он хочет!.. небо ясно,
 Под небом места много всем,
 Но беспрестанно и напрасно
 Один воюет он – зачем?»

«Валерик» – это целая страница не написанной еще «Войны и мира» Л.Н. Толстого. Битва, смерть героя, бессмысленность сражения («стояли усачи седые // И тихо плакали»). Фокус заключается в том, что в этот эпистолярный жанр – обращение к когда-то горячо любимому

человеку – в эту лексику врывается смена картин, язык военной службы, другой порядок слов:

Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам,
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалось и нам –

и воспроизведение кровавого прошлого звучит как сегодняшний день. В этом и есть большое мастерство художника.

Россия и Европа – еще одна важная тема, которая проходит через все творчество поэта. Революционные потрясения Европы сделали предметом раздумий русских людей того времени. Достаточно вспомнить, как на это реагировали Герцен и Огарев. Именно тогда выкристаллизовывалась социальная мысль молодой России, выразившаяся впоследствии в «Замогильных записках» В.С. Печерина. Идея мировой несправедливости, возмездия, наказания, преследования, отмщения – все это так импонировало социальному злу современной действительности. Но где же антипод этому? Где идея справедливости, осуждения жестокости? Где любовь? «Я в мире не оставлю брата». Где этот брат? Поэт и Россия – это нечто целое. Все социальные потрясения неизбежно отражаются на ощущениях и судьбе поэта.

Уже было сказано, что юный поэт совершенно самостоятельно выступил со своей темой – это скорбящий, страдающий мир героя. Характерная черта этого мира – особый эгоцентризм. Эта идея эгоцентризма есть во всех стихотворениях Лермонтова. Особенно ярко она выражена в связи с его личной судьбой.

Весь мир сосредоточен вокруг его страданий, где поэт – лицо отторгнутое, понесшее обиду. Хотя внутреннее чувство таково, что поэта никто не может обидеть, ибо поиски внутренней жизни не могут сравниться, несоизмеримы с этой обидой. Другая характерная черта этой рефлексии – неприятие всего мира. И поэт выступает как судья этого мира, где царит несправедливость, и прежде

всего – несправедливость его собственной судьбы. Личная боль бросает отсветы на весь мир вообще. Зло, несправедливость разлиты и в большом, и в малом. Но если есть идея зла, наказания, то где же идея прощения и примирения?

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной.

(«Гляжу на будущность с боязнью...»)

Откуда эта набегающая, раздирающая душу, всепоглощающая тоска? Как он сумел, еще ничего не знающий в жизни, так много почувствовать и пострадать? Ему скучны были «предков... роскошные забавы», он прекрасно понимал бесцельность и бессмысленность существования своего и всего поколения, опаленного огнями революций Европы, неустройством России... Кто когда-либо коснулся этого мира души поэта, непонятного, загадочного, отталкивающего в своей подавляющей муке – и такого человеческого, естественного в своем щемящем душу чувстве?

Не могу на Родине томиться,
Прочь отсель, туда, в кровавый бой,
Там, быть может, перестанет биться
Это сердце, полное тобой.

<...>

Пусть паду, как ратник в бранном поле,
Не оплакан светом буду я,
Никому не будет в тягость боле
Буря чувств моих и жизнь моя.

(«Стансы»; 1830–1831)

Кажется, все ополчается против Лермонтова: люди, обстоятельства. Он не нашел себе место в университете вследствие столкновения с профессорами и поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков в 1832 году (вот амплитуда того социального времени!). Что он нашел в этой школе, кроме анекдотов и всякой пошлости? Постоянную жизнь в двух планах. Возможность ужиться с этим миром юнкеров одна – надеть маску, затаить в глубине

души высокие стремления, подладиться под общий уровень пошлости и грязного товарищества, не показаться нормальным человеком среди уродов и пошляков. Стихи этого периода по своей скабрёзности не уступают Баркову и создают Лермонтову дешёвую популярность, возбуждая против него негодование серьёзных людей. А между тем по существу он был другим человеком. Его внутренняя жизнь шла сама по себе, не соприкасаясь с армейской средой. Его внутренний мир, особый, созданный им и только для него, развивался и рос в нём. А дальше что? Что его зовет? О чем он печалится?

Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя...

(«Гляжу на будущность с боязнью...»)

Где этот «брат»? Почему он не говорит герою ободряющего слова? Не простирает к нему руки? Потому что наш поэт видит «кругом рассеянную ложь». Люди изолгались после событий 1825 года – либо молчат, либо лгут. Это нравственное падение отразилось и на старшем, и на среднем, и на младшем поколении (декабристы, последекабристский период и годы николаевской реакции). Стихотворения Огарева и Лермонтова похожи по взглядам и настроениям: терзания внутреннего мира, когда нет цели, программы («Дума»), когда нет новых путей. Эта опустошенность и дала такой замечательный пласт лирики, отразившей всю драму поколения, поражающей своей напряженностью.

Сколько всякой ерунды написано в связи с этим о романтизме – «реакционный», «революционный»! Современники говорили: «Романтизм как домовый: многие верят ему, убеждение есть, что он существует, но где его приметы, как обозначить его, как наткнуться на него палец?» (Вяземский – Жуковскому, 1824). Романтизм – антипод реализма. Мечта о прошлом и о будущем. Лермонтов – романтик. У него есть очень интересное сочетание мечты о прошлом и будущем. Но очень большое

место у него занимает мечта о настоящем. Это единственный поэт, который любит так буквально, к числу, к месяцу, ко дню недели отнести свое произведение («1830. Мая. 16 числа»; «1830 год. Июля 15-го»; «1831-го января» и другие).

Как человек он развился очень рано. Не только через чтение, но через анализ того, что совершается вокруг него, через анализ закономерности древней и современной истории. Поэт не проходит мимо всеобщего страдания, падающего на долю творцов и исполнителей истории. Ему подвластно понимание страдания большого человека, который изгнан, отторгнут. Здесь Лермонтов – властелин и может воскресить все, ему доступны и перевоплощение, и исторический материал, и идея, и душа персонажа:

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет
<...>
Зовет он любезного сына
Опору в превратной судьбе...
<...>
Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один...
(«Воздушный корабль»)

Идея злого начала, злого духа, мирового зла относится одинаково как к историческим личностям времен Лермонтова (Наполеон и иже с ним), так и к мифическим литературным образам, ставшим олицетворением зла (Сатана, Люцифер, Мефистофель, Демон). Здесь упрек Лермонтова: все имеет право на помилование, всепрощение. Идея осознания высшей справедливости – антипода мирового зла – очень важна для поэзии вообще и в особенности для поэзии Лермонтова. Как часто мог каяться этот юноша, и сколько напрасных слез покаяния он пролил! «Все лучше перед кем-нибудь // Словами облегчить мне

грудь» – вот чем он владеет. Это не каждому дано. Художник понимает свое избрание, поэтому он может выступить и как судья, и как кающийся грешник. Он уже достаточно пострадал за себя и за други своя. Невзгоды, страдания других людей он брал на себя, весь окружающий мир – это его мир. «В своей душе я создал мир иной // И образованных существование». Теперь он ищет спокойствия и тишины. Гениальные стихи «Молитвы» создают музыку постоянного незыблемого покоя:

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная
Святая прелесть в них.

Раньше поэт испытывал презрение, гонение, насмешку людей. Он ощутил их несправедливость и теперь боится, что невинному существу придется испытать то же. Поэт вверяет «деву невинную // Теплой заступнице мира холодного», становясь защитником обиженных, страдающих, отвергнутых. И за себя поэт тоже молится, мы это чувствуем, хотя он и отрицает это. Молится и «о спасении», и «перед битвою», и «с благодарностью», и «с покаянием».

Вверяя душу Матери Божией, поэт одновременно обращается к своей родной, земной матери, прося у нее защиты и покровительства. Ее напутствие любимому сыну чарующе просто:

Дам тебе я на дорогу
Образок святой.
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой...
(«Казачья колыбельная песня»)

Лермонтов – писатель очень широкого обобщения. Его желание – все совместить. При своем эгоцентризме он во что бы то ни стало стремится создать гармонию, упиться словами и мыслями. Его постоянно тянет к себе то эпическая, то лирическая поэзия. Лермонтов – художник, который выражает себя во многих жанрах. Совершенно

неожиданно возникает «Странный человек», и уж совсем неожиданно такое хорошо продуманное произведение, как «Маскарад» – романтическая драма. Ничего подобного не было ни до, ни после... Отсюда, от романтизма, широта творческого полета Лермонтова, его всеохватность, музыкальность и пластичность стиха.

Поэма «Демон» имела для Лермонтова огромное значение. Он писал ее в течение всей жизни. Замысел ее относится еще к 1829 году, когда Лермонтову было 15 лет, а окончательно завершена она в 1841 году. Пять-шесть вариантов поэмы дают полное представление о созревании таланта поэта. Но творческая особенность художника такова, что и сам вариант появляется как совершенное художественное произведение, подготавливающее почву для более совершенного.

«Демон» – грандиозное сооружение, поглотившее всю лирику. И как написано! Несмотря на юность, поэт выражал себя во всех жанрах, но жанр поэмы – любимый, и здесь можно видеть не только ранние подражания пушкинским поэмам, но и прямое соперничество с ними.

В течение всей жизни поэт убежал в мир кавказской природы. Здесь сосредоточилось все богатство лирического восприятия мира. Кавказ как «благорастворение воздухов», множество цветов, растений, гамма красок. Кавказ как представление о рае земном. Эти картины встают перед нами и в жизненно ясных образах, и в то же время они полны поэтической прелести: горы, благоухание цветов, лесов и лугов. Никто из русских романтиков не поднялся на такую высоту в поэтическом изображении Кавказа, как Лермонтов. Здесь и география (Казбек, Эльбрус, Арагва, Кура), здесь и небо Кавказа («черные ночи с огромными горящими звездами»), здесь дыхание Кавказа, его ласкающая теплота... И главный герой Лермонтова – Демон:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:

Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.

Вместе с тем в поэме постоянно присутствует идея греха, проступка и раскаяния. Трагедия Демона – это трагедия человека, не могущего преодолеть в себе демоническое начало. Демон не может стать ангелом добра. Красота природы, ее величие, благорастворение, спокойствие не могут не подействовать на Демона и не поколебать его ожесточения. Спасение герой видит в любви. Красота мира создает гармонию, которая располагает природу существа к прощению и любви. Но зло торжествует, и все, кто около этого духа зла, гибнут. Поэт был бы сусален и неубедителен, если бы действующие лица спаслись и вступили из мира необходимости в мир радости и всепрощения. Преступление и гибель реально существуют, и исцелить это вздохом и слезой едва ли возможно. Реальность вступает в борьбу с романтикой, и последняя не может победить. Но это не значит, что реальность непобедима вообще. Демон глубоко верит в то, что красота победит мир, спасет, завоюет его. Мир природы может обновить героя, и он обретет свободу, радость, умиротворенность.

Проблема зла и добра решается у Лермонтова по-своему. Победа добра над злом показана мимоходом, а тема Духа зла и его страданий так поэтически мощно, сильно написана, что остается главенствующей. Лермонтовский Демон очеловечен. Дух отрицания и сомнения страдает от утраты смысла жизни, он ищет приложения своим огромным внутренним силам, но на пиру жизни ему нет места. Мучительно ощущает он свое одиночество. Выход герой хочет найти в любви, но и здесь чутье художника подсказывает невозможность счастья. Через романтическую форму «Демона» поэт показал психологическую трагедию людей 30-х годов. Лермонтовский «дух отрицания» страдает от утраты смысла жизни. Образ Демона куда драматичнее, чем изображение Люцифера, Сатаны, Мефистофеля у поэтов, бравших эту тему. Лермонтов показывает олицетворенный демонизм, со всем тем, что свойственно

человеческой природе, которую одолевают стремление к свободе, познанию и мрачный дух сомнения. Это не демон обычных представлений: он близок к человеку, исстрадавшемуся от погибших страстей. Знание не принесло ему отрады, зло опостылело, эгоизм и отрицание не дали счастья, и лермонтовский Демон

...любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.

Лермонтов ощущает «черное» и «белое», поражение и торжество, добродетель и порок. Он знает, что это черты, присущие человеку. Но он хочет отрицать это, спорить с тем, что человек соткан из этих двух начал. Вот почему его Демон очеловечен и выпадает из ряда всей этой нечисти (Сатана и т. д.). Эти муки преодоления в себе демонического начала и есть главное настроение поэмы, ее пафос.

Поэма была так мощна и убедительна, что произвела переворот в области искусства по силе своего влияния на других художников. Врубель, углубившись в понимание сути Демона, остановился перед этим шедевром, не найдя для него реальных земных красок. Он создал целую гамму красок в результате обжига стекла, глины и металла. Вот почему так горели и переливались всеми цветами радуги крылья поверженного Демона. Рубинштейн написал оперу, воспроизведение которой на сцене представляет огромную трудность. Через этот искус пришлось пройти шедевру поэта, и приходишь к мысли, что это произведение, где в схватке над бездной оставлены борющиеся силы, еще ждет своего исследователя.

В поэме «Демон» раскрывается романтизм как основной принцип, стиль поэта. (В искусстве метода нет, все явления осознаются психологически. Метода никакого нет, то есть метод – это стиль и форма.) Лермонтов не расстался с романтизмом на протяжении всей жизни, как не расстался с «Демоном». Переступить черту романтизма

ему не было дано. Если Пушкин сумел подчинить все богатство звуков, цвета, света реалистическому началу, то Лермонтов не захотел, и не успел, и не смог поверить в реализм. Романтизм для него остался высшим проявлением искусства. Романтизм – стиль, такой же совершенный, как реализм. Но реализм не всегда давал ту почву, которая нужна человеку. Одиночество в реализме – крах, конец, беда. Одиночество в романтизме – лозунг, религия, символ веры. Романтик верит в светлое будущее души. Вот почему «романтизм – это душа» (Жуковский). Но это не только Жуковский. Это целая школа романтизма. Рядом с Лермонтовым надо поставить Герцена и Огарева. Все многообразие мысли того времени пронизано романтизмом, независимо от идеологической направленности персоналий. Они, двое мальчишек, которые «могли поместиться около ботфорта императора» (Герцен), угрожали крепостному строю России! И император подняться до них не смог. Вот это замечательный переход, ибо русское освободительное движение переживало романтизм. Во времена николаевского режима литература выступала с романтическим утверждением величия и славы человека. Вот она – диалектика! С одной стороны, символом 1840-х годов является казарма и канцелярия, с другой стороны, им противостоит вера в светлое будущее России.

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» был в высшей степени неожиданным и интересным явлением. Первый, кто обратил на него внимание, – И.С. Тургенев. Он писал: «Какая прелесть! Ничего подобного в нашей литературе не было. Конечно, это подражание французам, но все равно прекрасно!» На протяжении ряда лет (40–90-е годы XIX века) произведение в разных аспектах привлекает писателей, читателей, критиков. Интересны вариации печоринства в жизни – в быту, в провинции, в уезде. В литературе такая трактовка печоринства иногда носит комический характер, но все равно интерес к Печорину не уменьшается. Хотя мы все время говорим, что

литература в России больше, чем литература (в своих социальных, философских аспектах), сегодня нас интересует произведение в его историческом пределе, а не в дальнейшем бытовании в литературе.

Перед нами роман с очень хорошо продуманной композицией, привычным сюжетом и хронологичностью повествования. Знакомство с Печориным для читателя неожиданно и разнообразно. То он – офицер на службе у Максима Максимыча, его добрый сослуживец, сосед и товарищ; то он – аристократ, охладевший к старому нечистовому другу; то он – человек, играющий судьбой других: всем скучно, и ему тоже. Но все это – событийный материал, на котором вырастает главное содержание романа – то, о чем Печорин рассказывает в своих раздумьях. Зачем он родился? Для чего он создан? Ведь была же какая-то большая идея, предназначение, выпавшее ему на долю? Ему не суждено было его осуществить? Или оно не выпало ему? «Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями, и, выброшенный на берег, он скучает и томится...» («Княжна Мери»).

Но это только литература, мечтания. А действительность другая. Действительность – это все-таки тот светский круг, в который поставлен Печорин, где силой обстоятельств протекает его жизнь, воспитание, бытовые условия – это все изображение мира аристократического. Доктор, как правило, иностранец, сильно обрусевший, сделавшийся русским без знатной родни и капитала; этот умный штольц присутствует во многих русских романах как неизменный персонаж русской жизни: умен, честен, благороден от природы, но материально зависим. «Водяное общество» – смесь аристократии с русской провинцией; болезни и недомогания не зависят от принадлежности к сословию, потому и тянутся все в этот благословенный край – земной рай. Вот общество, в котором оказывается Печорин и где ему доставляет удовольствие господствовать. И напрасно он кокетничает, когда спрашивает, по-

чему они, окружение, так его не любят. Ответ на это простой: он все время дает почувствовать людям разницу между собой и ими – в интересах, в жизненных запросах, в одежде. И тут для Печорина огромное поле деятельности: есть очень много предметов, явлений, достойных сатиры и пародии. Его злоязычие может быть удовлетворено. Здесь раскрывается вся незатейливая интрига романа. «Салонное искусство на водах» – так можно назвать эту часть повествования. Самое замечательное, что в незатейливую историю Лермонтов сумел вложить очень большое человеческое содержание. Внешний курортный роман оказался первым русским психологическим романом, в котором необыкновенно тонко и подробно описана вся гамма человеческих чувств, где автор заставляет Печорина разоблачиться и побуждает проявить к нему сочувствие, не только назвать эгоистом, но пожалеть. Пожалеть по-человечески.

Печорин хорошо понимает, что его любовь никому не принесла счастья, в том числе и ему. Но он любил, потому что это была потребность организма, которую он удовлетворял. Печорин, сознательно или несознательно, – адепт эгоизма (он «для себя лишь хочет воли»). Отсюда его суждение, полное равнодушного цинизма, о необъятном наслаждении «в обладании молодой, едва распустившейся души!» «Она как цветок <...> его надо сорвать <...> и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!» В этом почти вся его мораль, философия счастья. И это говорит боевой офицер, благородный человек, философ! Рыцарь! Но повествование как раз приводит к мысли, что счастья у него нет. Флирт с княжной Мери – чтобы досадить Грушницкому («Как с вашим сердцем и умом // Быть чувства мелкого рабом!»). Грушницкий хочет, чтобы Печорин был его другом, – это так импозантно! Но Печорина это смешит, и он, в сущности, издевается над Грушницким, который все принимает всерьез. Снисходительности Мери к его ухаживанию, настойчивому и потому надоедливому, Грушницкий не замеча-

ет, но Печорин давно заметил и сделал, как теперь говорят, выводы... А зачем все это? Какая цель? «Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молодой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?» Ответить можно пошлостью: чтобы время провести без скуки.

Но автор дает трудный психологический рисунок героя с такой тщательностью, что читатель невольно спрашивает: его поведение – это черта аристократа, не понимающего жизни, или это – черта казармы николаевского деспотизма, или это – врожденная черта человека? На этот вопрос автор должен ответить.

Мы поставили в заслугу Печорину его пренебрежение к аристократизму, почти брезгливость. И это вполне естественно: он боевой офицер, хотя автор нигде не показывает его в военном деле. Но его поведение, смелое, самоуверенное, почти до отчаянности, свидетельствует о боевой закваске («гусарская косточка»). Противопоставление Печорина и среды очень характерно: он не конфликтует со средой, а сам является ее частью, но частью самостоятельной. Деспотия казармы не сделала из него раба. Сила воли преодолевает всякий предрассудок, настороженность. Борьба с пьяным казаком указывает на безудержную храбрость нашего героя («Офицеры меня поздравили – точно, было с чем!»).

Что общего между этим человеком, рискующим жизнью ради удовольствия, и мужчиной, который рассуждает, что надо сорвать цветок, надышаться и бросить? И вот перед нами одновременно образ героический, прекрасный по духу и – пошлый, ничтожный. Подумаешь, какая победа над девочкой, только вступающей в жизнь! И насколько Онегин в этом выше Печорина: «Тогда имели вы хоть жалость, // Хоть уважение к летам». А у Печорина нет этой «жалости», этого «уважения к летам». И вот эту пошлость, не романтизм, не «привлекательность зла» (потому что зла-то здесь и нет) Лермонтов хочет подать как пружину деятельности, а это именно по-

шлость, в какую тогу ее ни ряди. Поэтому эта часть повествования вызывает у читателя сарказм по отношению к герою.

В самом начале я не случайно упомянул Тургенева, автора, которого можно назвать монополистом в изображении первой любви. В «Герое нашего времени» — предвосхищение того, что будет во многих его произведениях. Лермонтов со всеми нюансами описывает первую любовь княжны Мери, наполняя это чувство красотой ощущения и красотой надежды. Девочка с «бархатными глазами» превращается в женщину, понимающую свою власть, свою силу, не допускающую мысли, что она может не понравиться. И в этой ситуации Печорин почти жалок, когда он говорит, что шутил, смеялся над княжной. Оскорбленное девичье чувство говорит: «Я вас ненавижу», но ведь, собственно, победительницей здесь оказалась Мери, а не Печорин, который только плохо сыграл свою роль. И Лермонтов с большим мастерством это показал.

Рядом с этим ненужным романом Печорина с девочкой, которую он не хотел ни оскорбить, ни унижить, а так — просто пофлиртовать, встает большое чувство — любовь Веры.

Как часто мы не понимаем замысла художника! Мы, то есть критика. Даже такой вдумчивый и тонкий критик, как Белинский, и талантливый Набоков не могли понять значения образа Веры для раскрытия характера Печорина и для всего романа. Набоков писал, что это «ненужный» образ. Что значит «ненужный», когда через него мы и видим всего Печорина, настоящее, глубокое раскрытие его характера? Набоков перечисляет стилистические недостатки, промахи, повторы и шаблоны, которые он тщательно отыскал в романе. Но он не увидел психологию героя времени. За всеми формалистическими промахами он увидел «гармонию частных». Набоков все понял, как формалист. Но при этом роман ему нравится, как русскому, выросшему на рассказах о России.

Об образе Веры надо сказать особо. Ведь, в сущности, вся любовно-романтическая часть повествования развертывается на фоне истории отношений Веры и Печорина. Отдаваясь всецело этой любви, будучи ее жертвой, Вера в то же время владеет самим Печориным, его душой, его прошлым, которое для него никогда не проходит, его настоящим. А будущее – кто знает? Все изломано в этом мире: Печорин не женится на Вере, потому что он страшно боится слова «брак», брачные узы для него хуже тюремных цепей. Но он, самовлюбленный, умный, допускает одну из самых больших мерзостей: разделяет любовь с другим. Он, который вообще не терпит противников и не имеет соперников. И когда, казалось бы, он избавился от этого противоречия, физически удалился, переселился в другой город, от любви-то он не избавился, он по-прежнему любит Веру и, что еще хуже, – она любит его по-прежнему. И нет силы, которая могла бы остановить их страсть. Эта страсть настолько велика и пленительна, что занимает почти главенствующее место в повествовании. Высокая патетика как бы перечеркивается пошлостью любовных отношений Веры с ее мужем, и никакие объяснения условностями времени, средой не дают оправдания этому поведению. И сам Печорин прекрасно понимает, что это чувство, от которого он бежит и не может убежать. А пошлость его положения лишь дразнит и раздражает самолюбие Печорина, не привыкшего иметь соперников. Это постоянное двоемирие Веры не только не угнетает ее, но рождает в ней силы любви к Печорину. В этом чувстве сгорают силы физической выносливости Веры. И остается только желание приспособиться к жизни, пока еще не весь женский кредит исчерпан, то есть выйти замуж. Весь этот роман, как бы стоящий «за кадром», является главным в раскрытии характера героя и композиции произведения в целом.

Описание этого большого чувства перемежается с повседневностью, мелочностью, которая окружает людей. И Печорин страшно несправедлив, когда жалуется на скуку, ибо скучать ему некогда. Он всецело поглощен отно-

шениями с Верой, где прошлое оказывается сильнее настоящего, а жизнь требует ответа на повседневное, обычное, текущее. И таким повседневным является в романе офицерская среда, которая противопоставлена Печорину: Грушницкий, драгунский капитан. Грушницкий видит, что «счастье боевое» всецело на стороне Печорина. Симпатии княжны на его стороне. Грушницкого это очень огорчает, а остальных, в первую очередь драгунского капитана, очень потешает. Ясно, что всем скучно, и сравить двух соперников очень занимательно. Что может быть мерилом высшей добродетели офицера? Конечно, смелость. А сказать о Печорине, что он – трус, – само по себе смелость, потому что это неправда. И это очень унижает Печорина, который всегда противопоставлял себя другим. А дальше – подробное описание заговора, повествование о дуэли, описание места, площадки; наконец, история с незаряженным пистолетом и раскрытие Печориним заговора в последний момент. Трагический акт дуэли противники Печорина хотят обратить в фарс, когда он будет целиться незаряженным пистолетом. Но Печорин разоблачает преступный водевиль, придуманный драгунским капитаном. Мальчик Грушницкий понимает, как далеко зашел замысел драгунского капитана, и говорит ему, что Печорин и Вернер правы. Но его мальчишеское самолюбие и мнение драгунского капитана не дают ему отказаться от клеветы. «Стреляйте! <...> Нам на земле вдвоем нет места...» – патетика речи не оставляет бедного Грушницкого и в этот момент. Как умный человек, Печорин понимает, что этим мальчишкой, которому 21 год, движет самолюбие. Почему же он не выстрелил в воздух? Потому что слишком сильна обида на то, что он мог бы стать неизбежной жертвой этого заговора. И здесь, когда речь идет о жизни и смерти, Печорин не смог подняться выше Грушницкого. И наше уважение к герою меркнет, как померкло оно у Вернера («Вы можете спать спокойно... если можете...»). Так ничтожное удовлетворение самолюбия обратилось в человеческую трагедию. Нам скажут: таковы

были порядок, честь. Но все было по-разному. И роман тем замечателен, что Лермонтов гениально ухватил именно эти черты слабости человека. Откуда это шло – от общего характера времени или от личных качеств человека – это уже тайна писателя, но он нам это раскрыл и показал.

Но «конца комедии» еще не видно. Два письма получены Печориным после дуэли: письмо Веры Печорин боится читать и сначала читает письмо Вернера, содержащее упрек. Вот так все они: сначала сочувствуют и помогают, а когда что-то совершилось, не одобряют и отступают... Письмо Веры сообщало о тяжелом объяснении с мужем и выражало чувства, которые Печорин знает до последней капли, но все равно читает с жадностью... Только одна мысль – попрощаться. Зачем? Ведь последний поцелуй и пожатие руки ничего не спасут. Зачем же этот безумный бег? Но все равно он будет, и Печорин погнал по кисловодской дороге. Он летел, как вихрь. Лошадь оступилась, сделала несколько рывков и упала замертво. Тогда Печорин понял, что остался в степи один. И вот перед нами – разоблачение Печорина, его страдание, беспомощность... Он был жалок, как бессильное, все потерявшее существо: «...вся моя твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк...».

Вот именно здесь и раскрылся весь Печорин, раскрылся трагически, по-настоящему. Он понял, как глубоки и безысходны человеческие страдания. Как он, волевой человек, смелый офицер, не дорожит собственной жизнью и кокетничает сам с собой, якобы жизнь ему не нужна? Но когда настоящая, большая жизнь его захватывает – не маскарадное бытие, а жизнь, задевающая душу, жизнь бесконечно дорогая, единственная и потому нужная и прекрасная, обращенная к дорогому существу, с которым он, быть может, расстанется навеки, – тогда он и встает перед нами во всей наготе человеческой слабости и человеческого благородства. Теперь он не скажет: сорвать цветок, надышаться и бросить – авось кто-нибудь поднимет – поднимай ты сам этот цветок, которым нады-

шался! Вот здесь раскрылся весь трагизм характера Печорина. Безысходная боль, охватившая его, все человеческое, выступившее наружу. С какой щемящей болью он догадался, что он – такой же, как все, и только напрасно пытался противиться всем, выдавая себя за нечто большее, стоящее над человеком, и сам веря в это. Только теперь он это понял. Так же хорошо, как читатель понял, что он – герой времени. Упреки: разве такой плохой человек может быть героем времени – теперь сняты для читателя. Печорин герой времени, потому что он такой же, как все.

Но это пробуждение только на несколько часов. После этого Григорий Александрович Печорин вновь надеет на себя «мундир» циника, скептика, человека, уверенного в том, что зло привлекательно, человека, ко всему равнодушного.

Так перед нами во весь рост встала трагедия человека потерянного поколения 40-х годов XIX века, где рядом с благородными порывами автор с необыкновенной жесткостью показал и другую сторону поведения героя. Подслушивания, подглядывания, выслеживания – весь бытовой шпионаж, к которому прибегает Печорин, не может быть благороден уже по своей природе. В этой жизненной практике и есть трагедия поколения. В сущности, Печорин не тот, за кого себя выдает, – он все время насмехается над теми, кто его воспринимает всерьез: «Во мне два человека»; «Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно». В воображении он считает себя великим или во всяком случае верит в свое великое предназначение, – в действительности же он прекрасно понимает ограниченность своего духовного (внутреннего) существования. Отсюда – герой «на ходулях». Его реальность заключается в том, что он показывает свою несостоятельность, противоречия, которые его постоянно раздирают. Такова действительность, что большой человек не смог себя реализовать. Но помимо этого мы увидели Печорина в истинном свете и не смели его не пожалеть, ибо ничто человеческое ему не чуждо.

Романтизм Лермонтова интересен тем, что писатель объединяет стили, широко используя реализм, даже натурализм, даже сентиментализм («Герой нашего времени», глава «Княжна Мери»). Первый русский психологический роман написан тогда, когда романтизм как таковой уже теряет свою обаятельную популярность. Для Лермонтова романтизм никогда не был переходным этапом от одного стиля к другому. И в начале своего творчества, и позже, на протяжении всех лет он оставался последовательным романтиком. Не ставя это направление ниже реалистического искусства, Лермонтов блестяще показал в своих совершенных произведениях, что всякий стиль в своем полном завершении объективно изображает действительность.

Закончив рассмотрение творчества Лермонтова, мы завершили изучение своеобразия русского романтизма первой трети XIX века.

II

ИСТОРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ

БУРСАК В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА

Школьное просвещение существовало еще в Древней Руси, но освобожденная от схоластики гражданская школа, назначение которой – готовить и воспитывать для практической деятельности, возникла только в начале XVIII века. Петровские преобразования создали новую школу реального направления, где преподавались математика, механика, «инженерство» и даже «докторство». Молодому человеку дворянской среды вменялось в обязанность овладеть наукой¹ и вступать в жизнь не только господином, но и «работником». На протяжении XVIII века характер и направление школы несколько раз менялись в соответствии с теми задачами, которые ставило перед собой господствующее сословие. Петровская школа, с ее утилитарными целями, с ориентацией на обучение техническим наукам и овладение ремеслом, предполагала, что окончивший должен активно вторгнуться в созидательную жизнь страны. Школа была неприемлема для сословия, которое после смерти Петра I на протяжении ряда десятилетий низвергало и возводило монархов на престол по собственному произволу, пока не нашло в лице Екатерины II искусного защитника своих сословных интересов. Дворянство торжествовало победу. Оно ограничивало свои обязанности перед государством, то есть оставалось военным сословием, что давало ему полную независимость, и поспешно закрепляло за собою «права» и привилегии.

¹ Закон 1714 года.

Теоретики дворянской педагогической мысли понимали, что для закрепления сословной победы мало указа – юридического установления. Необходимо создать новую породу людей, которая смогла бы удержать в поколениях достигнутое. Мысль эту особенно ярко выразил в своих работах И.И. Бецкой¹. Естественно, что дворянская школа ставила перед собою иные задачи, нежели школа петровского времени. Из фонвизинского Митрофанушки, которого в прежнее время дубиной загоняли в науку, теперь надлежало подготовить не механика-инженера-мореходца, – этот черный труд падал на иные сословия, – а воина-гражданина, способного к государственной деятельности. Школа должна была не столько учить, сколько воспитывать. Нельзя сказать, чтобы эта система пренебрегала образованием, но она не отягощала им воспитанника; он больше учился «зрением и слухом»², чем затверживанием уроков, воспитанникам «должно только в исполнение приводить то, что выучат, а не других обучать»³. Этим заранее исключалась возможность, что из числа воспитанников может в будущем выйти учёный, педагог, воспитатель, труд этот приходился на долю других сословий. Школа должна была воспитать в ученике чувство собственного, вернее, дворянского достоинства; разумеется, телесное наказание было изгнано, надлежало внушить ученику чувство кастового превосходства, воспитать независимость и свободу взглядов. Школа должна была дать «сносное» военное образование и развить физические способности воспитанника, привить ему чувство изящного, давая широкое, но отнюдь не глубокое гуманитарное образование. «Должно наипаче из сего кор-

¹ См. *Бецкой И.И.* Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества. СПб., 1764.

² *Бецкой И.И.* Рассуждения, служащие руководством к новому установлению шляхетского кадетского корпуса. Устав Императорского шляхетского сухопутного кадетского корпуса, учрежденного в Санкт-Петербурге для воспитания и обучения благородного российского юношества. СПб., 1766. С. 28.

³ Там же.

пуга произвести и воинов и граждан, искусных и в политической экономии и в законах своего отечества так, чтоб генерал, одержав победу, мог решить судное дело в Сенате, распорядиться течением доходов, исправлять земледелие, исполнять должность генерала-полицеймейстера»¹.

Сама идея такой школы даже в педагогическом смысле ложна. Труд ученика над книгой, упорство в усвоении материала недооценивается; педагог словно боится переутомить учащегося. Вероятно, при составлении проекта устава кадетского корпуса не последнюю роль для Бецкого сыграли воспоминания о петровских временах, когда молодой человек, предварительно обученный в цифирной школе или в школе местного архиерейского дома, должен был, «не жалея живота своего», постигать математику и механику. В проекте Бецкого физическому «образованию» отдается предпочтение перед интеллектуальным, и это естественно вытекает из всей его концепции. Для него дворянин прежде всего рыцарь, воин, а вовсе не учёный. Интеллектуальный труд для дворянина – не экономическая необходимость, а эстетическое наслаждение. Отсюда и ориентация на гуманитарные дисциплины, искусства: литературу, ваение, музыку. Автор педагогического проекта представлял трудности его осуществления и заявлял, что если, по несчастью, не найдутся дядьки и учителя, искусные в науках и способные во всем служить примером для юношества, «тщетны будут все предписания и все старания о произведении благонравия и успехов»². Таких учителей, действительно, не нашлось и не могло найтись, появление педагогов-воспитателей из числа воспитанников дворянской школы принципиально исключалось. Дворянская школа должна была «обслуживаться» учителями иносословного происхождения; последние должны были прививать молодым людям чувство дворянской гордости, которой сами они никак не могли обладать, или развивать свободу и независимость взглядов.

¹ Указ. соч. С. 60.

² Там же. С. 10.

Как видим, программа Бецкого была противоречива и несостоятельна по своей сущности. Дворянская среда готовила универсального человека – командира любой области гражданской жизни. Горький опыт убедил, что нельзя с одинаковой «подготовкой» делать «карьер» на паркете и на поле сражения. Военное сословие вынуждено было военизировать школу: создавать кадетские и морские корпуса, готовить военных специалистов, а не «всесторонне» образованных людей, носящих военный мундир. С созданием такой военной школы рушилась самая идея школы Бецкого, с гуманным учителем, с легким, почти свободным обучением при отсутствии всякого принуждения, с наказанием, не переходящим грани внушения, укора, обращенного к чувству воспитанника. Военная школа имела тот же распорядок жизни, что и казарма или военный корабль: подъём, маршировка, ученье. Здесь учитель – командир, офицер старой службы, способный сообщить кадетам специальные знания, ученики – солдаты, беспрекословно выполняющие приказания своего начальника; неприготовление урока влечет за собою наказание: наряд, карцер, розги. Разумеется, кадет не мог учиться «слухом и зрением», от будущего офицера морской или артиллерийской службы требовались точные знания. Такая школа всецело отвечала задачам дворянского государства, но в ней почти ничего не осталось от гуманно-мечтательной программы Бецкого, разве что непреходящее знание французского языка и бальных танцев.

Военная школа была нелегкой. Многие дворяне пытались обойти ее, уберечь сына от детской казармы: записывали мальчика в полк с шестилетнего возраста, рассчитывая, что годам к восемнадцати он получит офицерский чин и тогда уже поедет на службу; а пока что «дитя» росло под родительским кровом, получая домашнее образование. Дворянские идеологи¹ видели, что такой способ обойти закон 1714 года об обязательном обучении детей привилегированного сословия вел к печальным послед-

¹ М.М. Щербатов, А.Т. Болотов, А.П. Сумароков.

ствиям. Поколение, которому в будущем надлежало представлять цвет страны, росло невежественным, светский лоск не мог возместить отсутствия знаний. Домашнее образование было явно недостаточным, а подчас курьезным; молодой дворянин «с рук сельского дьячка-учителя переходил на руки француза-гувернера, довершал образование в итальянском театре или французском ресторане»¹.

Инстинкт сословного самосохранения подсказывал необходимость создания дворянской интеллигенции. Богородные пансионы и дворянские гимназии наполнялись детьми помещиков, которым надлежало пройти общеобразовательный курс, независимо от выбора карьеры в будущем. «Обязательное обучение, не давая значительного запаса научных сведений, приучало к процессу выучки, делало ее привычною сословною повинностью, а потом светским приличием и даже возбуждало некоторый аппетит к знаниям. Дворянин редко учился с охотой тому, что требовалось по узаконенной программе, но он привыкал учиться чему-нибудь, хотя обыкновенно выучивался не тому, что требовалось по программе»². Иначе не могло быть в светской школе. Маленький барчонок занимался тем, что его больше заинтересовывало, что развлекало, доставляло удовольствие и легко усваивалось, не требуя большого труда. Он привык во всем видеть «приятность», так он был воспитан. С детства, как только он стал себя помнить, он дышал атмосферой, пропитанную развлечением, из которой обаяниями забавы и приличия был выкурен самый запах труда и долга. Разумеется, он перенес в школу тот взгляд, который выработался в семье. Школьный учитель не был для него нравственным авторитетом, ученик мало считался с ним, как и с домашним, в котором видел образованного слугу, но не более. Школьный

¹ *Ключевский В.* Курс русской истории. М.: Государственное социально-экономическое изд-во, 1937. Ч. V. С. 213.

² *Ключевский В.О.* Опыты и исследования. Второй сборник статей. Пг.: Литературно-издательский отдел Комиссариата Народного Просвещения, 1918. С. 78.

учитель, будь то из семинаристов или из иностранцев, в глазах мальчика был не начальством, а все тем же слугой, только рангом выше. Мундир не спасал педагогический авторитет наставника, ученика раздражало в русском учителе отсутствие светского воспитания, грубость манер, от которой мальчика отучали дома, если он случайно усваивал их в людской или девичьей. Он перенимал у иностранца язык и изящество манер, презирая его общественное положение учителя-гувернера.

Новое направление в дворянском просвещении не разрешило вопроса о создании сословной интеллигенции. Школа давала аттестат – право занимать должность в коллегии или департаменте, но не подготовляла к практической деятельности. Молодой дворянин, администратор-чиновник мог распоряжаться, задавать тон, он имел некоторое образование и известную широту взглядов, но не был подготовлен к труду. Образование служило ему своего рода приправой к светскому воспитанию, а служба не являлась экономической необходимостью. Интеллектуальный труд не всегда мог его увлечь, человек всецело должен был отдаться ему, проводя жизнь в настойчивых исканиях. Дворянина больше привлекало искусство, где он подчас выступал как создатель, но чаще – как ценитель. Служебная карьера мало зависела от его образовательного ценза, положение в обществе определялось не степенью просвещенности, а количеством душ и десятин имения. Все это вытекало из прав сословия, к которому он принадлежал.

Наиболее дальновидные идеологи дворянства понимали, что помимо экономического фактора существует идеологический, и прилагали все усилия к тому, чтобы создать академии, университеты, гимназии, где обучалась бы дворянская молодежь. Разумеется, эти идеологи не шли профессорствовать в академию и университеты, труд этот был для них слишком низок, к тому же они и сами толком не знали, чему и как учить, и предпочитали меценатствовать и распоряжаться, используя в качестве «ра-

бочей силы» инсословную интеллигенцию, которой было несоизмеримо больше, чем это им представлялось. Не веря в силы отечественной интеллигенции и не желая признать интеллектуальное превосходство разночинцев, они предпочитали доверить дело просвещения страны профессорам-иностранцам, которые, приезжая в Россию, смотрели на свои обязанности только как на служебную лямку.

Развитие русской интеллигенции шло иным путем, нежели этого желали дворянские идеологи. Она создавалась из самых различных слоев, вплоть до крепостных. Восемнадцатое столетие сохранило немало имен крепостных архитекторов, живописцев, музыкантов и даже врачей. Вельможи любили посылать за границу смышленных молодых дворовых для обучения живописному, актерскому и докторскому искусствам. Последние возвращались на родину образованнее господ, оставаясь на положении прислуги. Разумеется, эта горсточка крепостной интеллигенции не могла удовлетворить растущие потребности страны. Нужно было лечить, составлять строительные проекты, учить дворянских детей, нести канцелярскую службу. Все это падало на долю разночинной интеллигенции, с которой не могли конкурировать иностранцы, наводнившие Россию и предлагавшие свой интеллектуальный труд подчас сомнительного качества.

Вся просветительная деятельность осуществлялась по преимуществу разночинцами. Дворянин выступал в одной области – литературе. И это вполне естественно. Ни одно искусство, ни одна научная область не дает столько возможностей автору стать проповедником-моралистом, указывающим путь, по которому должен идти человек. Нигде нельзя так ярко и убедительно ставить и разрешать вопросы морально-этического характера, как в искусстве слова. Дворянские идеологи прекрасно понимали огромную силу воздействия художественной литературы и выдвигали из своей среды писателей, долженствующих воспитать сословие в определенном направлении. Дворянство захватило все командные высоты: оно возглавляло армию,

создав свое кастовое военное образование, осуществляемое представителями военного сословия. Оно управляло чиновничье-бюрократической машиной и было почти монополистом в такой идеологической сфере, как литература, подчиняя своему влиянию те немногочисленные разночинные силы, которые проникали в эту сферу. Другое дело, что некоторые писатели-дворяне выступали с ограниченной критикой в целях исправления своего сословия, но подчас критика эта перерастала в разоблачение существующего порядка вещей, и писатель переходил на позиции угнетенного народа, делаясь выразителем его чаяний и ожиданий. Именно в восемнадцатом веке возникла дворянская революционность, и господствующее сословие беспощадно расправлялось с защитниками народных интересов.

Восемнадцатый век не дал дворян-учёных, для которых наука была бы жизненно необходимой сферой деятельности. Мы не знаем физиков, математиков, металлургов, филологов, вышедших из дворянской среды. И дело здесь вовсе не в том, что научная мысль была еще слабо развита, а в том, что кропотливая, настойчивая, подчас изнурительная работа была не по плечу и не по вкусу сословию, получившему «вольность дворянскую». Оно устранилось от всякого «черного» труда, перекладывая его на плечи иных сословий. И в начале XIX века только М.М. Сперанский понимал то несоответствие, которое было установлено законом и освящено традицией, между дворянством, занимающим не по праву место в государственном аппарате, и разночинцами, являющимися, по существу, не только рабочей силой этого аппарата, но и фактическими организаторами и исполнителями. Сперанский на собственном опыте постиг всепобеждающую силу труда и знания. Начав жизнь скромным семинаристом, он достиг самых верхних ступеней иерархической лестницы русской бюрократии. Он понимал не только «несправедливость» положения интеллигента-разночинца в дворянском государстве, но и губительные для дворянского со-

словия последствия, которые влечет за собой стремление устраниваться от труда и серьезного образования. Твердо решив ввести в соответствие чин с образовательным цензом, Сперанский добился закона, по которому право на получение чина статского советника имел лишь чиновник с университетским цензом или сдавший экзамен за университетский курс. Ему хотелось привить к дикому дереву культурный побег в надежде, что дворянство, щепетильное и гордое, не захочет уступить своих командных постов в бюрократии и вынуждено будет пойти учиться, что дворянство наконец поймет, что стране нужны образованные чиновники, и государство щедрою рукою оплатит их труд, ибо без таковых оно не может существовать. Мечта о просвещении сословия при помощи канцелярского циркуляра казалась почти фантастической даже самому Сперанскому. Он приложил все старания, чтобы широко открыть двери канцелярий сословию, из которого вышел сам, и был твердо уверен, что выходец из семинарии, выросший в труде, жадный до дела, алчный до денег, по-своему образованный, расшевелит сонного и ленивого дворянина, который ничего не имеет за душой, кроме гонора да запущенного родового. «Кутья» же, одетый в чиновничий мундир, будет делать карьеру, работать не покладая рук, получать чины, награды, деньги, пока не заведет своего «благоприобретенного» и не выйдет в отставку русским барином с чином и капиталом. Тогда-то поймет дворянин-чиновник, что его выживают, он останется не у дел, поймет, что нужно «образовываться», трудиться, и сын его придет в канцелярию с университетским образованием. Сперанскому хотелось возбудить энергию в дворянском сословии, сделать канцелярию средоточием умственной жизни страны. Но ему не удалось влить в жилы дворянской бюрократии деловитость «учительского сословия», как не удалось привить ей мысль, что знания – самый нерушимый капитал, наращивающий огромный процент на государственной службе. Дворянин предпочитал наращивать капитал без вклада, не затрачивая энергии, не

прилагая знаний, получать жалованье за присутствие, перелажая весь труд на чиновника четырнадцатого класса, мелкую сошку, пишущую тварь, тянущую по необходимости служебную ляжку.

Реформы Сперанского, хотя они и не имели непосредственного отношения к просвещению, всколыхнули жизнь учебных заведений. Была расширена программа гимназии, обращено было больше внимания на древние и новые языки, увеличен объем преподавания истории и других гуманитарных дисциплин; был открыт Царско-сельский Лицей – своеобразное повторение идеи школы Бецкого, но уже готовящий не универсального человека, а чиновника для административной и дипломатической службы. В Петербурге открывается педагогический институт, растет сеть частных пансионов, куда столичное дворянство охотно отдает своих детей; наконец, появляются профессора из дворян. Дворяне учились, но, как правило, не делали интеллектуальный труд своей профессией. Исключение составляет военная интеллигенция, создавшая свою кастовую школу и систематически подготавливавшая кадры специалистов. Страна же ощущала недостаток интеллигентных работников; эту брешь в какой-то мере заполняли выходцы из разночинной среды.

События 1805–1814 годов показали необходимость создания национальной интеллигенции. Но наступившая после войны 1812 года реакция придала нелепые формы обучению и не менее нелепое содержание учебным программам. В таком состоянии застали школу события 14 декабря 1825 года. Весь последующий период, вплоть до 1859 года, все типы школ: гражданская, духовная, военная представляют печальный вид казармы.

За полтора десятка лет, начиная с гражданской школы петровского времени, успела вырасти многочисленная национальная интеллигенция, почти вся она вышла не из дворянской среды. Однако уже в тридцатых годах XIX века дворянин не только потянулся в университетскую аудиторию, но и стал претендовать на профессорскую ка-

федру, иногда спускался даже до места учителя гимназии или врача и всё же раздумывал: стоит ли посвящать себя служению науке. Выходец же из иных слоев шел в науку с такой настойчивостью и энергией, что нередко оказывался победителем. И здесь далеко не всё объяснялось приверженностью к интеллектуальному труду. Интеллектуальный труд в должности чиновника старшего класса, врача, профессора, учителя гимназии не только обеспечивал разночинцу безбедное существование, но юридически в какой-то мере уравнивал его в правах с господствующим сословием. Наука была для разночинца единственной дорогой к гражданской самостоятельности и известной независимости. Выросший в нужде и лишениях, он с детства привык с упорством и настойчивостью постигать непонятную премудрость бурсы и нередко одолевал ее, если она не окончательно его одолевала. Редко удавалось ему вырваться из затхлой среды своего сословия и уйти в университет. Раньше чем попасть в университетскую аудиторию, он проходил мучительную школу, которая забивала и калечила его, где физическое наказание было нормой, а свободная мысль – вольнодумством, ересью, почти преступлением. Только исключительно физически сильные и интеллектуально одаренные могли вынести эту каторгу. По окончании бурсы они останавливались перед вопросом: хватит ли еще сил на жизненную борьбу после разрыва со своим сословием? И многие измученные бурсацкой казармой предпочитали успокоиться на поповском месте, женившись на закрепленной невесте, и идти торной дорогой «духовного квартального». Лишь немногие дерзали рвать со своим сословием и искать своего места в жизни вне «духовного ведомства». Это и была та разночинная интеллигенция, о которой уже не раз говорилось мимоходом. Жестокая школа, пройденная ею, заслуживает описания, к тому же изучение ее истории на фоне истории сословия будет реальным комментарием к интересующим нас «Очеркам бурсы» Помяловского.

Как уже упоминалось ранее, школа возникает в Древней Руси, при Владимире Святославовиче. «Сквозь туман многих веков, сквозь густую окраску позднейшего времени неясно видится нам образ Владимира»¹, но тенденция исторического развития страны совершенно отчетливо выступает наружу – это стремление молодой народности встать на арену европейского мира. Этим и было обусловлено событие 988 года², после чего Русь действительно очень скоро занимает одно из первых мест среди европейских стран Запада и Востока. Владимир намеревался «сделать ее тем, чем была в его время Греция, то есть страной просвещения. Но он имел это намерение в самом широком смысле, он хотел от Греции не только просвещения, но и художеств, хотел от нее и того, чего она не могла дать в виде современных произведений, а могла дать только в виде оставшихся памятников древности»³. Военные столкновения и дружественные союзы Руси с Византией падают на то время, когда последняя медленно угасала, всё ее величие было в прошлом. Передовые люди Киевской Руси продолжали видеть в Византии средоточие мирового просвещения, в то время как она уже обращалась в изумительный музей и колоссальное книгохранилище.

С боязливостью смотрела Византия на поднимающегося северного колосса, успев убедиться в его военном искусстве во время столкновений с ним. Она пыталась если не подчинить себе Русь, то хотя бы обезвредить церковным влиянием. К этому времени относится зарождение школы на Руси. Летопись сообщает, что Владимир вскоре после возвращения из похода под Корсунь «посълавъ, нача помати у нарочитыя чади дъти и даяти на учение кънижьное»⁴. Боярские дети были первыми учениками школы в Древней Руси. Их брали сюда, чтобы ввести в боярское со-

¹ Голубинский Е. История русской церкви. М.: Императорское о-во истории и древностей российских при моск. у-те, 1901. 2-е изд. Т. 1, первая половина тома. С. 719.

² Год крещения Руси Владимиром Святým.

³ Голубинский Е. Указ. соч. С. 720.

⁴ Шахматов А.А. Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. 151.

словие образованность и просвещение, о чем, как надо полагать, заботился Владимир. Это нужно было для великокняжеской службы, когда Русь начала играть новую роль среди других стран. Как видим, в Древней Руси вначале возникает гражданская, а не духовная школа. Странно было бы думать, что правительство Киевской Руси решилось бы обречь боярских детей на поповскую деятельность, «тем более что в жертве этой не было никакой нужды, ибо для церкви совершенно было безразлично – будут ли ее священники из детей боярских, или из кого бы то ни было. С другой стороны, и сами бояре не могли иметь ни малейшей охоты на то, чтобы отпустить детей своих в священники, ибо это значило бы то же, что иметь охоту отдать своих детей на низведение из бояр в пролетарии»¹.

Разумеется, здесь речь идет не об иерархах церкви; они, как правило, избирались из княжеско-боярской среды и были распространителями христианства. Светская власть была кровно заинтересована в успехе последнего. Христианство «было завезено из Византии, где уже вполне зарекомендовало себя как одно из средств утверждения господства феодализма»², и вполне естественно, что княжеская власть охотно выделяла десятину на содержание епархии. Но не только эти средства были в распоряжении архиерея, он сам выступал как крупный феодал, постоянно приумножая различными способами свои владения. Будучи неограниченным властителем над приходским духовенством, он рассматривал его как своих тяглых людей и облагал различными поборами. Об этих-то «тяглых людях» и идет речь. Они выполняли роль посредников в деле христианизации между высшим, господствующим духовенством и мирянами, то есть многочисленными жителями городов и сел Древней Руси.

Параллельно с гражданской школой должна была возникнуть духовная школа, способная быстро подгото-

¹ Голубинский Е. Указ. соч. С. 445.

² Очерки истории СССР. М.: Издательство АН СССР, 1953. Т. 1. С. 106.

вить нужный контингент священников для христианизации Руси. Софийская летопись под 1030-м годом замечает, что по приказанию Ярослава Мудрого в Новгороде был произведен набор в духовную школу: «Приде <Ярослав> к Новугороду <и> собра от старост и поповых детей 300 учити книгам»¹. Другими словами, старостам крестьянских общин было приказано представить триста кандидатов. В это число входили не только поповы дети, но и крестьяне, в противном случае зачем было поручать осуществление набора крестьянским старостам. Как видим, первые наборы в духовную школу – и это относится не только к Новгороду, но и ко всей Руси вообще – были принудительными, что вполне естественно для полуязыческой Руси времен Владимира–Ярослава. Княжеское правительство искало средства для привлечения в ряды духовенства людей «всякого звания» и освободило от тягла служителей христианского культа. Мера эта совершенно уничтожила насильственный характер набора и выявила многочисленных охотников. «Вовсе не из детей бояр было составлено духовенство первоначально посредством правительственных наборов: вовсе не дети бояр шли в священники и в последующее время. Никто не пойдет из лучшего положения в худшее и всякий пойдет только из худшего положения в лучшее... Положение приходского духовенства в период домонгольский и материально и нравственно было так незавидно, что охотники идти в священники не могли быть ни из бояр, ни из купцов, ни вообще из зажиточных людей, хотя бы то и крестьян, а только из людей беднейших, были они горожане или крестьяне, вообще из людей городских или сельских настолько бедных, что священство было бы для них приобретением»². Они и заполняли собою духовную школу, где византиец или болгарин обучали их на скорую руку, подготавливали к священной деятельности.

¹ Софийская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное археологической комиссией. СПб., 1851. Т. V. С. 136.

² Голубинский Е. Указ. соч. С. 448.

Духовная школа должна была приготовить из национальной среды лиц, способных совершать службу христианского культа. Богослужение требовало грамотности – «разумения книг», певческих навыков для исполнения песнопений и в какой-то мере – знакомства с риторикой для проповеднической деятельности, столь важной в этот период. Разумеется, в этой среде были люди способные, которые не ограничивались получением сана, менявшего их материальное положение, но, попав под начало ученого византийца, нередко сами становились искусными учителями¹, а подчас превосходили своих наставников. Эта немногочисленная национальная интеллигенция имела большое значение в создании русской школы.

О школе для детей «нарочитыя чади» надо сказать особо. Эта школа недолго просуществовала в Древней Руси, и дело здесь вовсе не в том, что дети боярские, попав в греческую школу и окончив ее, не имели необходимости и охоты «посвящать себя званию учителей так, чтобы последующие учителя явились из них самих»², а в том, что греческая школа по существу была чужда русской жизни и не ассимилировалась с той средой, которую обучала. Она не была согрета национальной идеей и быстро утрачивала свое первоначальное назначение – просветительницы детей княжеских и боярских. Она обращалась в обыкновенный частный пансион иностранца, где пребывание ученика обуславливалось только платой за обучение. Отсутствие княжеских и боярских детей побудило ее открыть свои двери для всех желающих, то есть способных платить. Здесь она встретила конкурента в лице русской школы, успевшей приобрести к этому времени довольно широкий размах. К тому же если вспомнить, что греческая школа была только в Киеве, а не по всей Руси, а тяга к грамотности была повсеместной (причины к тому

¹ См.: «Памятники древнерусской церковной учительной литературы» под редакцией Пономарева. СПб., 1894. С. 70–72, а также Славяно-русский пролог.

² Голубинский Е. Указ. соч. С. 724.

различны, и о них будет сказано ниже), то станет совершенно ясно, что распространителем грамотности на Руси было приходское духовенство. Оно охотно продавало свои знания, то есть обучало грамоте, видя в этом особую статью дохода¹. Эти учителя были весьма популярны в свое время. Они дорожили знаниями, которые выделяли их из общей среды, и всячески старались закрепить за собой авторитет учителя-наставника, охотно посещали за определенную мзду детей княжеских и боярских, наставляя их книжной мудрости, то есть, попросту говоря, обучали их грамоте. Обучали они и у себя на дому детей разного звания. Это была первая публичная школа, которая быстро распространялась, охватывая самые разнообразные слои старорусского общества. И странно было бы предположить², что в период своего расцвета страна оставалась без публичной школы, этого первоэлемента любого куль-

¹ Профессор Голубинский пытается доказать, что учительская деятельность вменялась в обязанность духовенству и ссылается на правила Шестого Вселенского собора: «В одном собрании канонов церковных прямо читается правило Шестого Вселенского собора, вменяющее священникам в обязанность заниматься обучением детей грамоте и содержать у себя на домах школы» (*Е. Голубинский. Указ. соч. С. 721*). Едва ли справедливо предположение Голубинского, при всей его заманчивости. В старорусских памятниках нигде нет упоминания об указанном каноническом правиле, что, впрочем, замечает сам Голубинский, и едва ли оно было известно в XI–XII веках. Более того, даже в Стоглаве (см.: гл. 25 и 26), как это ни странно, о нем не упоминается. Предположить, что оно не было известно в XVI веке, почти невероятно. По-видимому, помимо публичной школы, в древней Руси не только допускались, но и широко практиковались другие формы обучения, и их не желали стеснять, пока публичная школа не получит повсеместного распространения.

² Профессор Голубинский доказывает, что в Древней Руси вообще не было просвещения, а была лишь скудная грамотность, которая распространялась не посредством публичной школы, а по наследству, от отца к сыну или от мастера к ученику. Такой взгляд он переносит на все периоды Древней Руси, включая и Киевскую. В доказательство правоты своего мнения он полемизирует с Татищевым и, разумеется, находит у последнего ряд неточностей и даже «фантазий». Точку зрения Голубинского можно было бы и не опровергать после опубликования многочисленных работ наших историков, но необходимо отметить, что уже в 900-х годах в ряде трудов крупных западных ученых, а также и у современника Голубинского – Ключев-

турного созидания, и объяснять всё трудом и одаренностью отдельных личностей. Летописи того времени постоянно свидетельствуют об открытии многих школ, и даже таких, где преподавались латинский и греческий языки, о книжной образованности, об уважении русских людей к ученым Византии и Запада, посещавшим Русь. «Эти известия говорят не о редких, единичных случаях или исключительных явлениях, не оказавших никакого действия на уровень просвещения: сохранились очевидные плоды этих просветительских забот и усилий... образовалась литературная школа, развилась оригинальная литература, и русская летопись XII века по мастерству изложения не уступает лучшим анналам тогдашнего Запада»¹. Труды экспедиции профессора А.В. Арциховского убедительно доказали, что грамотность была достоянием не только княжеской и боярской, но и крестьянской среды.

Киевская Русь породила такую профессию, как «мастер», то есть учитель. Факт ее возникновения в высшей степени интересен. Он свидетельствует о том, что желающих учиться было так много, что приходское духовенство, выступавшее в роли учителей, уступало часть своих учеников мастерам, ибо само не могло удовлетворить возросших потребностей. В противном случае оно ни за что бы не уступило свое право получать деньги за обучение. Кто были эти мастера, с достоверностью сказать трудно. Но то, что они были людьми национальной среды, — это бесспорно; то, что они были беднейшими из этой среды, тоже не подлежит сомнению. Мастер вырастал из способного ученика школы, в которой он обучался. Ему становилось ясно, что знания свои он может обратить в профессию, которая в какой-то мере обеспечит ему материальное благополучие. Естественно, возникает вопрос, почему мастера, имея соответствующую подготовку, не пытались освободиться от

ского была доказана противоположная точка зрения, и вступать с Татищевым в полемику было бы более чем странно.

¹ *Ключевский В.* Курс русской истории. М.: Государственное социально-экономическое изд-во, 1937. Ч. 1. С. 281–282.

тяглового положения путем принятия сана? Здесь на их пути стояли четыре препятствия. Первое: принимающий сан должен был предварительно жениться. Но содержать семью человеку, живущему «от псалтыря и указки», было делом нелегким. Второе: в священники посвящались лица, достигшие определенного возраста, а до тех пор они могли кормиться только ремеслом учителя. Третье было связано с выплатой крупной суммы епископу. Русские иерархи, опираясь на пример константинопольской патриархии, ввели в практику взимание платы за посвящение. Это было обусловлено и обилием кандидатов, претендующих на священство: желающих принять сан оказалось значительно больше, чем это требовалось для княжеской и церковной власти. Здесь кончается существование духовной школы как таковой, из школы обучающей она превращается в место проверки знаний для ищущих священнического сана. Многие из этих претендентов надевали суму и шли по миру – собирать на свое посвящение. Мастеру же разумнее и выгоднее было заниматься своим ремеслом, чем нищенствовать. Наконец, четвертое препятствие – конкуренция между священниками. Духовенство выбиралось приходом, и у вновь посвященного не было гарантии, что он когда-нибудь получит место, то есть приход, если он искал священства по собственной инициативе, а не по заручительству прихода. Перспектива же сделаться «крестовым» попом, как их позднее называли в Московской Руси, то есть бесприходным священником, попросту бродягой с требником, никак не могла импонировать человеку, успевшему вкушать радость педагогического труда. Но бесспорно то, что мастер, пообжившись, женившись и обзаведясь хозяйством, настойчиво старался передать профессию своим детям. В старорусских памятниках вплоть до конца XVI века встречается упоминание о мастерах, этих безымянных педагогах Древней Руси.

Так выглядит русская школа в момент своего зарождения; такой она оставалась до исторических потрясений 1223 года.

Начиная с тринадцатого вплоть до шестнадцатого столетия «духовная школа» деградировала, быстро утрачивая свой публичный характер. Под тяжестью событий, переживаемых страной, она исчезла как учреждение. Этот процесс был вполне естественным, ибо ни один социальный организм не обладает такой хрупкостью, как школа, такой способностью быстро реагировать на политические события внутри страны и за ее пределами.

В свете национальной трагедии XIII века ясно ощущается процесс угасания публичной школы. Но это не означало прекращения книжного просвещения. Культурные накопления предыдущих веков были настолько значительны, что на протяжении полутора столетий русская литература жила художественно-эстетическими принципами, сложившимися в Киевской Руси. Для прославления национальной победы 1380 года старорусский книжник не нашел ничего лучшего, как повторить классическую форму книжного эпоса, отлившегося в военно-героическую песню. Он вливал новое вино в старые меха, и в этом была его слабость. Но самый факт обращения к лучшим произведениям литературы XII века свидетельствовал о живучести книжной традиции Киевской Руси. И нет ничего удивительного, что с середины XIV века для прославления Московского государства расцветает богатая панегирическая литература.

Духовная школа в Киевской Руси продержалась очень недолго: она перестает существовать с момента прекращения правительственных наборов в священники. Публичные школы, которыми богата была Киевская Русь, представляли, по существу, светскую школу грамотности, где преподавание велось духовенством, а учебниками являлись культовые, богослужебные книги, приспособленные для учебных целей. Обучавшиеся в ней подростки были далеки от мысли о принятии сана. Основным контингентом этой школы были дети тяглых людей. Естественно, что родители, отдавшие своих детей в школу, преследовали часто утилитарные цели. Семье нужны были

грамотные люди. Тяглый человек, вступая в договорные отношения со своим господином, юридически, то есть письменным договором, закреплял свои обязанности по отношению к нему, а господин в том же договоре указывал свои права и обязанности по отношению к тягловому человеку. Незнание грамоты затрудняло процесс подобной сделки и было крайне невыгодным для человека, не умеющего прочитать то, что написано в договоре. Договоры, писанные на бересте, найденные последней археологической экспедицией профессора Арциховского, объясняют практическое значение грамотности в среде тяглых людей. Угасание публичной школы нужно видеть прежде всего в исчезновении контингента школьников, родители которых были людьми всякого звания. На плечи их и обрушилась вся тяжесть татарского нашествия. В сложившихся условиях важнее всего были рабочие руки, даже детские, нужно было платить дань Орде. Тягловому человеку было не до школы, да и не было нужды в образовании; разумеется, ни о каких договорах не могло быть речи, когда выплачивалась «военная контрибуция» – дань.

Никаких существенных изменений в среде духовенства в этот период не произошло. Дети его, по достижении определенного возраста, наследовали места своих родителей. Правда, теперь они не посещали публичной школы, ибо таковая исчезла и лишь в некоторых областях влачила жалкое существование. Священнику не было смысла отправлять своего сына из дома для того, чтобы тот научился читать и писать. Он легко мог обучиться грамоте дома, у своего же отца. Что касается приобретения навыков отправления церковных служб, то попovich, живущий при отце, свободно усваивал таковые. Со временем он становится естественным кандидатом на отцовское место. Таким путем устанавливалась наследственность церковных мест, а это создавало касту духовенства, которое выступало как «учительное сословие», продолжая удерживать в своих руках монополию на просвещение.

Учительная деятельность духовенства значительно сокращалась с исчезновением публичной школы. Она сводилась к индивидуальному обучению детей княжеских и боярских, а иногда и тяглых людей, домогавшихся священнического сана, то есть выхода из своего положения. Духовенство неохотно бралось обучать последних, видя в них своих завтрашних конкурентов, они и сами чаще обращались к мастерам, чем к приходским священникам. Мастер был искусный, покладистый педагог, ведущий ученика непосредственно к цели, в то время как учитель-священник, воспитанный в традиции школы, стремился пропустить своего ученика через стадии обучения, пройденные им самим. Ученик не был подготовлен к систематическому обучению: он жил до двадцати пяти – тридцати лет, не помышляя о сане, вел нищенское хозяйство и, разумеется, не мог уделять время занятиям, а уже «затем принимался за ученье, чтобы, немного поучившись, идти к архиерею просить места»¹. Мастер сообщал ученику необходимые знания, которые тот был способен усвоить, готовил его к испытанию, то есть обучал чтению наиболее употребительных текстов и отправлению церковной службы. И мастер, и ученик прекрасно понимали, что успех испытания во многом зависит от величины mzды, принесенной рукополагаемым рукополагающему. Епископы видели в поставлении статью дохода и так злоупотребляли своей властью, что ростовцам и суздальцам, например, пришлось изгнать своего епископа Леона, «зане умножил баше церкви, грабляй попы»². Леон умножил количество приходов, с тем чтобы иметь возможность как можно больше ставить священников, с которых он брал весьма высокую плату за поставление. Упомянутый факт относится к 1159 году, то есть к тому времени, когда княжеская власть смело вмешивалась в церковные дела.

События XIII века, не отразившиеся на положении церкви и духовенства, ущемили гражданскую власть и в

¹ Голубинский Е. Указ. соч. С. 476.

² Там же. С. 454.

какой-то мере лишили ее той свободы действий в церковных делах, какой она пользовалась ранее. Легко представить, каких размеров достигло епископское злоупотребление в это время. Ответом на него был протест в виде ереси стригольников, распространившейся в XIV веке. Стригольники выступали с утверждением, что у духовенства нет благодати, «ибо стоит оно на мзде». Ортодоксальная церковь настойчиво и жестоко боролась с еретиками и, разумеется, победила их. Но вопрос о «мзде» не был снят и в последующее столетие.

С XV века княжеская власть, окрепшая и освободившаяся от татарских притязаний, занимается внутренним устройством страны и пытается ограничить епископское злоупотребление. Но оно было настолько распространено, что эти попытки не имели большого успеха¹. Епископское злоупотребление вело к снижению образованности белого духовенства, что подрывало авторитет церкви и княжеской власти. Этим объясняется деятельное участие Ивана III в соборе 1503 года.

Вопрос о возобновлении публичной школы волновал Русь на протяжении XV–XVI столетий. XIV век воочию показал, что еретики были более образованны, то есть начитаны, чем представители ортодоксальной церкви. Аналогичная картина повторилась и в XV веке, когда вспыхнула ересь жидовствующих. Княжеская власть видела в ересях не только церковный мятеж, но протест против существующего порядка жизни. Духовенство XV века осознало свою неспособность бороться с еретиками путем доводов и убеждений и предпочло использовать методы физического принуждения. Представители ортодоксальной церкви, «искореняя» раскол, по существу загоняли его внутрь народной толщи, и он вспыхивал в последующие

¹ Не лишен любопытства тот факт, что петровскому правительству пришлось подтвердить соборный приговор 1503 года, в котором запрещалось за поставление получать деньги или подарки. В XVIII веке, под непосредственным воздействием обер-прокурора, в архиерейскую клятву было внесено иноговорящее дополнение: «Попов <мне, архиерею> для прибытку не ставить».

столетия с новой силой, принимая иную окраску. Пятнадцатый век вынужден был признать падение школьного просвещения. Самый факт падения незамедлительно сказался на трудностях идеологической пропаганды того времени. Современник (Геннадий Новгородский) сообщает: «Се приведут ко мне мужика, и аз велю ему апостол дати чести, – и он не имеет ни ступити, и аз ему велю псалтырю дати, – и он по тому едва бредет...; аз прикажу учити их октении, – и он ни к слову не может пристати: ты говоришь ему то, а он иное говорит»¹. Попытки Геннадия Новгородского организовать при своей кафедре школу не увенчались успехом. Ищущие сана не собирались обучаться в школе, это не входило в их расчеты, они смотрели на поставление как на путь к получению прихода и к материальному обеспечению. Разумеется, княжеская власть не могла поднять образованности духовенства, она могла лишь сдерживать приток неграмотных людей в эту среду. Начиная с XVI века, с приходом к власти Ивана IV, вопрос о школьном образовании приобретает государственное значение.

Мысль о необходимости создания публичной школы была ясно выражена в соборном приговоре 1551 года. Предполагалось учредить по всем городам книжные училища в домах избранных духовных лиц, где бы учились дети духовенства и мирян «грамоте, и книжному письму, и церковному пенью псалтырному, и чтению наложному»². Эта школа предназначалась для детей духовенства и для «чад мирских людей». Она носила профессиональный характер: готовила служителей культа. Разумеется, не все прошедшие ее делались людьми клира. Воспитанники заполняли различные государственные приказы, становясь своеобразной «бюрократией» русского Средневековья. Но самый характер школы, основная направленность свидетельствует о том, что ее главная задача – приготовление людей, искусных в отправлении церковных служб,

¹ Голубинский Е. Указ. соч. С. 477.

² Стоглав, 1860. Гл. 25 и 26.

чего так настойчиво требовало возвышающееся Московское Государство. Публичная школа Московской Руси XVI века, по идее, должна была воскресить тип школы киевского периода, то есть прикрепленной к приходу. Московская Русь XVI века могла только мечтать о такой разветвленной системе школьного образования, пока что она довольствовалась открытием школ в отдельных городах. Рядом с публичной школой XVI века существовала монастырская, сложившаяся еще в XI веке. Она носила замкнутый характер: рассчитанная на пострижников монастыря, она редко открывала свои двери для мирян. В XVII веке в Юго-Западной Руси монастырская школа изменила свой характер в связи с особым политическим положением края. Монастырь вынужден был включиться в национальную борьбу за объединение Юго-Западной Руси с Московским государством.

Школы, открытые по приговору Стоглавого собора, не исключали существования монастырских; наоборот, монастырские школы должны были значительно расширить свою деятельность. Наиболее ярко процесс становления школы как института с определенной программой, строго очерченным кругом знаний протекал на Украине в XVII веке. В 1613 году Богоявленская братская школа при Киево-Братском училищном монастыре слилась с монастырским училищем Киево-Печерской лавры и получила наименование коллегии. Основатель ее, киевский митрополит Петр Могила, просил польское правительство разрешить преобразовать коллегию в академию. Польское правительство, прекрасно понимая опасность существования русской высшей школы, готовившей противников польско-католического влияния, категорически отклонило просьбу. Только после событий 1686 года, когда Киев окончательно отошел к Московскому государству, коллегия была преобразована в академию. Курс преподавания значительно расширился. Диспутам, а также латыни и другим древним языкам по-прежнему уделялось много времени. Наравне с ними изучались новые науки: математика, история и гео-

графия. Сугубое внимание было обращено на философию, риторику и пиитику; введены были богословские дисциплины. Состав профессоров был блестящий, некоторые из них получили образование на Западе, не утратив национальной самобытности. Все это делало академию замечательным учреждением своего времени. Это была школа, которая легко и смело могла соперничать с европейскими учебными заведениями аналогичного характера. Украина, освободившись от иноземного гнета, воссоединившись с Россией, получила возможность придать делу школьного образования широкий размах.

Помимо академии, которая была средоточием русского схоластического образования, создается целая сеть школ при монастырях и архиерейских домах. При этих школах устраиваются общежития, так называемые бурсы, название это было перенесено и на самые школы, а впоследствии приобрело национальный характер, несмотря на то что школы были схоластические и давали главным образом духовное образование, они все же уделяли много времени общеобразовательным предметам. Самый факт появления целой сотни училищ был в высшей степени знаменателен. Нельзя, однако, переоценивать значение духовной школы в просвещении России. Она робела перед мыслью, свято усвоив и пронеся через все века своего существования наставление летописца: «Не ищи, человеце, мудрости, ищи кротости; аще обрящешь кротость, то и одолеешь мудрость; не тот мудр, кто иного грамоте умеет, а тот мудр, кто иного добра творит»¹. Эта не книжная мудрость дает понятие о границах и характере просвещения в Древней Руси. Однако нельзя не признать, что она была единственным типом учебного заведения общеобразовательного характера. В ней обучалась молодежь из различных слоев общества, и окончившие ее были свободны в выборе профессии.

То, о чем мечтали люди Московской Руси XVI века, осуществлялось на юго-западе Руси значительно раньше,

¹ «Повесть временных лет».

чем на северо-востоке. Быстрое распространение школьного образования на юго-западе было обусловлено политическим положением края. На школу возлагалась обязанность вести борьбу за сохранение национальной самобытности. В то время как школьное просвещение на юго-западе Руси достигло определенных успехов и дало весьма положительные результаты в деле национальной борьбы, Московское государство XVII века все еще колебалось в выборе типа школы между византийским и юго-западным, «латинским». В результате в Москве почти одновременно открылись школы обоих направлений.

В школе Симеона Полоцкого, открытой в 1666 году, применялись методы обучения и программы Киевской академии. В первую очередь ученика старались приобщить к европейской образованности. Молодой человек должен был постичь латынь – язык научной европейской мысли. Юноша направлялся к ученому старцу и под его руководством начинал «учиться по “латинам”, принимался за “грамматическое учение”, и твердил походящим в то время словарькам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написание русскими литерами: ликос – волк, луппа – волчица, спириды – лапти, офира – молебен, препосит – боярин, нектар – пиво»¹. В ужасе останавливался ученик, чувствуя, как в его православную душу входит латинская ересь, искал случая принести покаяние своему московскому духовнику, но необходимо постигать науку – и он вновь твердил: онагр – дикий осел, претор – губная изба, фулцгур – молния, скандализиме – соблажняют мя. Киевский старец заставлял молодого человека читать переводные космографии, обучал его польской речи и искусству слагать хитрые вирши.

Школа Симеона Полоцкого просуществовала очень недолго и закрылась после первого выпуска учеников в 1668 году. Она оставила значительный след в просвещении Московской Руси. Страстным поборником этой шко-

¹ Ключевский В.О. Очерки и речи. Пг., 1918. С.74.

лы был ее бывший воспитанник Сильвестр Медведев; он «молил царя Федора... построить в Москве академию», разумеется, по киевскому образцу. Просьба эта была своевременной, ибо в Москве после церковных неурядиц, породивших старообрядчество, осознавалась необходимость высшей школы. Не дожидаясь открытия академии, Сильвестр Медведев добился разрешения возобновить школу Симеона Полоцкого в Заиконоспасском монастыре и в 1688 году приступил к преподаванию «граммоты, славянского учения и латыни». Сторонники греческой школы тоже испросили разрешения на расширение греческого училища при типографии, основанного еще в 1632 году. И уже в 1684 году в училище обучалось более двухсот человек.

Таким образом, в Москве существовали одновременно два типа школ: греческая и латинская. Но Сильвестр Медведев надеялся, что Спасская школа будет преобразована в академию. Он помнил, что еще «в 1640 киевский митрополит Петр Могила предлагал Михаилу Федоровичу, чтобы он в царствующем своем граде казною своею царскою повелел монастырь соорудить, в котором бы старцы и братия общежительного Киевского Братского монастыря живучи детей боярских и простого чина грамоте греческой и словесной учили»¹, дипломатически умолчав о латыни. Правда, предложение его осталось без ответа. Восемь лет спустя царский любимец Ф.М. Ртищев воспользовался этим предложением и по собственной инициативе, на личные средства основал близ Воробьевых гор Андреевский учительный монастырь. В новой школе преподавались не только греческая и славянская грамматика, но и риторика и даже философия. Школа была популярна в свое время, и некоторые из ее слушателей были отправлены в Киев для завершения образования. Сильвестр Медведев не забыл соборного приговора 1666–1667 годов, обличающего старообрядчество и практику попол-

¹ Голубинский Е. К нашей полемике с старообрядцами. М., 1905. 2-е изд. С. 35.

нения рядов духовенства невежественными лицами, «из которых иные даже и скота не умеют пасти, не то что людей». Основную тяжесть полемики с раскольниками взяли на себя представители юго-западного просвещения. Московские защитники греческой школы не представлялись Медведеву серьезными противниками. Иоасаф, вступивший после Никона на патриарший престол, был человек безвольный, «учившийся мало и речей богословских не знавший». Его сподвижником и главным советчиком в делах школы был чудовский монах Евфимий, научившийся греческому от своего учителя Епифания Славинецкого.

Московское правительство предпочло избрать третий, компромиссный путь – объединить два враждующих направления в одной школе, выдвинув на первое место изучение «наук славянских». Так складывалась будущая Славяно-греко-латинская академия.

В 1685 году из Константинополя прибыли в Москву Иоанникий и Софроний Лихуды, блестяще образованные монахи-греки, воспитанники Падуанского университета. Вначале они обучали «греко-латинскому книжному писанию» наиболее подготовленных учеников типографского училища и вели борьбу против Сильвестра Медведева, обличая его в латинской ереси. Борьба закончилась заточением Сильвестра Медведева в монастырь, где он принес покаянную и отказался от своих взглядов, изложенных в книге «Манна».

В 1687 году школа братьев Лихудов была переведена в Заиконоспасский монастырь и объединена с тамошним училищем. Новая школа получила название Славяно-греко-латинской академии. Лихуды приступили к изложению грамматики, пиитики, риторики, логики, физики, не успев полностью исчерпать так называемую *trivium* и *quadrivium* – программу средневековой высшей школы. Они скоро подверглись упрекам со стороны старомосковской партии за то, что вместо преподавания простой грамматики «забавляются около физики и филосо-

фии». Им вменялось в вину то, что они, подобно всем ученым европейских университетов, читали лекции на латинском языке. В 1694 году Лихуды были удалены из академии – раньше, чем они успели довести своих учеников до высшего класса богословия. Их место заняли воспитанники, недоучившиеся слушатели академии, которые читали свои лекции по запискам тех же Лихудов, стараясь не заходить дальше грамматики, служащей «основанием и подошвой всем свободным хитростям».

Падение академического образования продолжалось до тех пор, пока оно не перешло в руки представителя южнорусского просвещения Стефана Яворского. Славяно-греко-латинская академия внесла известное оживление в дело школьного образования. Появляется стремление учредить и другие школы. Петровское правительство назначает на архиерейские должности по преимуществу украинцев, воспитанников Киевской академии, на которых и возлагается обязанность устраивать школы при архиерейских домах. Нужно было сломить боярскую оппозицию, в которой принимало деятельное участие духовенство Московской Руси, ведя активную пропаганду среди населения против царя-антихриста. Необходимо было создать кадры образованных людей, которые государство легко могло бы использовать в своих целях. Оно стремилось превратить духовенство в послушное орудие власти, и духовное образование было важным средством для достижения этой цели. Петровское правительство, приступая к образовательной деятельности, видело в духовной школе единственный тип училища с прочной традицией, и, естественно, стремилось включить лучших его учеников в сферу гражданской деятельности. Вскоре Петр убедился, что духовная школа, с ее словесными хитросплетениями, стоит страшно далеко от реальной школы, и его замысел остался неосуществленным. Однако до конца XVIII века духовная школа постоянно пополняет своими учениками гражданскую. Во всех культурных начинаниях ученики духовной школы играли большую роль. Они становятся

учениками медицинской школы доктора Бидлоо, первыми студентами русского университета, слушателями учительской семинарии для народных училищ.

Духовное образование было доверено монахам-украинцам: они были наиболее тесно связаны со старозаветной стариной, с московским боярством, воспитывали учеников в духе покорности власти предержавшей и деятельно отстаивали петровские преобразования. В массе же духовенство представляло огромную касту жрецов, держащих в повиновении и невежестве умы, что было страшным тормозом на пути развития страны. Правительство уничтожало боярскую оппозицию. Оппозиция постоянно использовала авторитет церкви в своих узко сословных интересах. Петр уничтожил патриаршество, заменив его духовной коллегией, что в какой-то степени гарантировало от «мятежей и смущения в народе, который может помышлять, что патриарх есть второй государь-самодержец, равносильный или еще больше его»¹. С уничтожением патриаршества и учреждением духовной коллегии был сделан решительный шаг к откровенному подчинению духовных властей власти светской. С этой поры над церковью устанавливается власть обер-прокурора, «ока государева», наблюдающего за деятельностью коллегии и направляющего ее в желательное для государства русло.

Естественно, духовное сословие оказалось в полной зависимости от государственной власти. Если в Московской Руси церковь уже фактически была орудием в руках государства, то с петровских времен ее теократические притязания были окончательно уничтожены. Петровское правительство смотрело на духовенство как на резерв, удобный для различных государственных надобностей. На сословие налагались обязанности, ничего общего не имеющие с церковной деятельностью: отбывание ночных караулов, явка на пожары, проведение переписи... Священникам давались поручения административного и полицейского характера, вплоть до того, что им вменялось

¹ Духовный регламент. Первая часть.

в обязанность «объявлять» Преображенскому приказу или тайной канцелярии о «соблазнах», рассказанных мирянам на исповеди, как то: «измена или бунт на государя, или на государство, или на фамилию его царского величества», или просто слова, «до высокой его императорского величества чести касающиеся или государству вредительные». Ясно, как мало считалось петровское правительство с церковным установлением¹, видя в духовенстве не больше как род полиции. Если ко всему этому прибавить налоговую политику: козловский оклад, поставка драгунских лошадей, адмиралтейская повинность и введение особых податей и оброков взамен военной службы, то станет ясно, как сильно возросло новое обложение по сравнению с традиционными сборами, которыми исстари облагалось духовенство в виде окладного, неокладного и чрезвычайного сборов.

Духовное сословие, не будучи податным, несло целый ряд повинностей перед государством. Из касты жрецов создавалась, благодаря обязательному обучению в школе, своеобразная «интеллигенция», послушная и исполнительная. Это сословие не испытывало особого влечения к наукам, но было поставлено перед необходимостью выбора: обратиться ли ему в податное сословие, каким оно фактически оказалось в петровское время, хотя юридически это никак не было закреплено, или, преодолев все трудности школьного образования, стать учительным сословием. Разумеется, оно избрало последний путь, и на протяжении ста пятидесяти лет боролось за то, чтобы стать сословием привилегированным. Единственным средством добиться желаемой цели была школа, грамотность, образование, столь необходимое для поднимающегося дворянского государства петровского времени.

С 1721 года прохождение школы для лиц, желающих стать церковнослужителями, становится обязательным. Духовенство обращается в учительное сословие, что

¹ Разглашение священником тайны исповеди каралось лишением сана. (Примеч. авт.)

содействует его кастовости и замкнутости. Старая практика выборности духовенства приходом исчезает или сводится к формальности, заполнение же церковнослужительских мест всецело зависит от епархиального архиерея, который назначает на вакансии воспитанников своей школы. С тридцатых годов восемнадцатого столетия школы при архиерейских домах превращаются в средние учебные заведения и именуются духовными семинариями. К концу десятилетия духовные школы получили совершенно определенное направление. Меняется и характер духовных академий. Из свободной школы с различным словесным контингентом они превращаются в сословные училища, пополняющиеся исключительно лицами, кончившими семинарию. Это не могло не отразиться на характере самой школы и на тех задачах, которые стояли перед ней. Ни для академий, ни для духовных семинарий не было еще уставов или учебных правил, кроме общих «регул», «Духовного регламента», заимствованных из Киевской академии. Известное единство преподавания и организации достигалось тем, что ректоры и наставники различных типов школ были почти исключительно воспитанниками Киевской академии.

В конце XVIII века митрополит Платон проводит ряд реформ в духовной школе. Он стремится придать образованию большую стройность и систематичность, уделяя внимание богословским дисциплинам и сокращая предметы точного цикла. Митрополит Платон прекрасно понимал межеумочное положение своего сословия. Близкий к придворным кругам, он видел, что верхний слой дворянства, который управлял всей страной, был более чем индифферентен к вопросам религии. Дворянская верхушка втайне радовалась унижительному положению служителей культа, испытывая к ним чувство сословного презрения, в то же время возлагала на них воспитание пасомых в верноподданническом духе. Платон неоднократно давал понять правительству, что духовенство стоит на страже империи и выполняет охранитель-

ную роль, которая под силу только образованному сословию, он указывал на несоответствие между идеологическими обязанностями этого сословия и его общественным положением. В конце концов екатерининское правительство должно было приступить к реформам с целью упорядочения духовного образования и изыскания средств для улучшения быта сословия. Однако замыслы эти не были осуществлены, и только в 1795 году, опять-таки при непосредственном участии Платона, Синод решил разделить все семинарии на четыре учебных округа, подчинив их четырем академиям, для чего потребовалось преобразовать петербургскую и казанскую семинарии в академии. Встал вопрос и о низших школах, о так называемых духовных училищах. Практическое осуществление эта реформа получила значительно позднее, при участии Сперанского – государственного секретаря правительства Александра I. Идея создания нормальной школы для духовного сословия была развита им в докладе 1806 года «Об усовершенствовании духовных учебных заведений». Широко используя факты из истории духовного образования в России и опираясь на личный опыт, Сперанский не столько раскрыл нелепые и дикие формы семинарского преподавания, сколько выдвинул смелый проект новой организации школы и дал новый характер содержанию учебных программ.

Из владимирской глуши он попал в Петербург для завершения образования в Главной семинарии при Александро-Невской лавре. Здесь преподавались не только богословские дисциплины, но также математика, опытная физика, механика, естественная история. Жадно впитывал он богатства науки, поражая своих учителей изумительными способностями и обращая на себя внимание начальства, которое втайне готовило ему «клубочок» и архипастырскую карьеру. Трудно сказать, как сложилось бы его будущее, если бы не раздался властный окрик по адресу «князей церкви» князя Куракина, которому нужны были трудолюбивые и способные чиновники. Сперан-

ский мечтал обновить средневековую школу богатством энциклопедических знаний, которыми он сам в это время бредил. Будучи оставлен при семинарии преподавателем математики, он стремился разбудить у своих учеников пытливость ума и развить математическое мышление, чем так щедро был одарен сам. Став префектом семинарии, он приступает к чтению курса риторики, разрушая прежние, схоластические представления о предмете¹. Вся его педагогическая деятельность ясно свидетельствует о том, что ему был понятен страшный вред непролазной схоластики в преподавании названного типа школы. Тогда-то и родилась мечта о коренной реформе, к осуществлению которой он приступил значительно позднее. Естественно, перед ним вставала вся история школы, в которой он обучался, а затем преподавал сам.

Старейшее русское училище, открытое еще в 1721 году, было типичным учебным заведением того времени, со всеми схоластическими особенностями в системе преподавания и отборе дисциплин. Оно очень быстро развивалось, отвечая запросам времени. Уже через четыре года училище получает наименование Славяно-греко-латинской семинарии, что словно подчеркивает близость к московской академии. К тридцатым годам окончательно стабилизируются его программы. Но уже в 1788 году учебное заведение переживает новую реформу, оно объявляется главной семинарией, своего рода показательным учреждением для всех средних учебных заведений. В 1790 году на основе главной семинарии открывается академия. Таким образом, при Александро-Невской лавре создаются все звенья сословной школы: духовное училище, семинария, академия. В том же году владимирская семинария послала сюда своего лучшего воспитанника, восемнадцатилетнего юношу Сперанского. Через два года он был уже ее преподавателем, а спустя пятнадцать лет приступил к реформе духовной школы.

¹ См.: *Сперанский М.* Правила высшего красноречия. СПб., 1844. С. 5, 216.

Сперанскому, выходцу из бурсы, бывшему преподавателю Александро-Невской семинарии, в которой позднее учился Помяловский, прекрасно был известен как быт духовенства, так и организация духовной школы. Он стремился к радикальному изменению жизни сословия посредством образования, путем расширения объема преподаваемых дисциплин в учебных заведениях и введения новых, которые придали бы школе гражданское направление. Однако его замысел дать свободный выход из сословия посредством разностороннего образования полностью не осуществился.

В 1808 году был создан особый комитет для изыскания способов усовершенствования духовной школы и улучшения быта духовенства. По плану этого комитета предполагалось учредить для высшего духовного образования четыре академии, для среднего – тридцать шесть семинарий, по числу епархий, для низшего – духовные училища. Проект этот фактически был осуществлен только в 1814 году, когда в России существовало уже 300 учебных заведений, в которых обучалось около сорока тысяч человек. В этом же году были поданы уставы для названных типов школ. Триста сорок четыре учебных заведения с сорокатысячным контингентом учащихся – цифры поистине колоссальные для александровского времени и во многих отношениях знаменательные. Они красноречиво свидетельствуют о том, что духовное сословие закрепило за собой право быть учительным сословием и стремилось сделаться привилегированным, постепенно освобождаясь от ограничений и повинностей, возложенных на него в начале XVIII века, так же как и на другие податные сословия. Оно выслуживалось перед светской властью, предлагая господствующему сословию послушных исполнителей.

Дворянин-интеллигент, зараженный «европеизмом», не был способен к деятельности воспитателя-наставника, повседневного труженика. Он «возлагал управление своим хозяйством на крепостного приказчика или выписанного из-за границы управляющего, обыкновенно нем-

ца... Практические интересы не привязывали его к родной почве, он всегда старался стать своим среди чужих, и только становился чужим между своими, был каким-то приемышем Европы. В Европе в нем видели переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом»¹. Зияющая пропасть отделяла господствующее сословие от податного; слишком различны были их интересы. «Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада – русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и нестерпимом эгоизме»² и, разумеется, не могли влиять на умонастроение крестьянского мира, который был им чужд, непонятен и враждебен. Еще в меньшей степени мог это сделать дворянин-обыватель, стоящий во всех отношениях ниже своих подчиненных. Посредником между господствующим и податным сословиями являлось духовенство, оправдывающее авторитетом церкви существующий порядок вещей. Духовная иерархия стремилась убедить светскую власть, что выполнение охранительной миссии требует основательно и разностороннего образования. Духовная школа начинала своих воспитанников разнообразными сведениями, не считаясь с их склонностями. Педагогика этого мира не знала, что такое интерес ребенка, подростка или юноши к предмету. Ученики должны были просто впитать в себя знания, усвоить мысли наставника, не подвергая их анализу, выработать навыки. В противном случае, сословие уделяло им самое ничтожное место, обрекая на вечное дьячество, или выбрасывало вон, не заботясь об их будущем. Эта жестокость школы, естественного отбора вполне объяснима: ведь сословие стремилось доказать, что оно умеет учить и воспитывать.

¹ Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. С. 213–214.

² Герцен А.И. Собр.соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. VIII. С. 87.

Указом 1808 года было предписано зачислять в духовно-училищное ведомство всех детей духовенства с восьмилетнего возраста, и дети эти, по меткому выражению Помяловского, становились «духовными кантонистами», для которых не было иного пути, кроме бурсацкой казармы. Еще ранее этого предписания, в конце восемнадцатого века, было приказано всем церковнослужителям независимо от возраста и детям духовенства пройти школьный курс. Бородатые причетники и дети должны были сесть за скамьи для познания наук. Правда, великовозрастные очень скоро возвращались в родные места, попадая под закон о великовозрастии, который ввели церковные власти, убедившись, что ученики, обремененные семьями и детьми, насильно загнанные в училища, плохо ладят с наукой. Они могли оставаться в бурсе до скончания живота своего и не окончить ее. Еще в 1721 году предписывалось не производить в священники поповских и дьяконских детей, если они не обучались в училище, хотя бы и имели наследственные места, и отдавать предпочтение детям дьячков и пономарей, если те обучались в школе архиерейского дома. Таким образом, церковные должности были закрыты для лиц, не получивших училищного образования. Каждый бурсак, вкушая горькую премудрость школы, понимал, что вся его дальнейшая судьба зависит от учебных успехов. Ясно, какое значение приобретали знание и труд в сознании воспитанников школы. Знания были единственным средством существования, путем к получению места. В XVIII веке это не было еще так обнажено потому, что немногие из воспитанников доходили до третьего класса семинарии, стремясь воспользоваться порядком наследственности мест, но начиная с первых лет XIX столетия окончившему семинарский курс гарантировалось место священника. Правда, свободы выбора здесь не было. Бурсак должен был жениться на закрепленной невесте, вместе с приходом он получал богоданную супругу, которой досталось в наследство от отца

место – главная, а подчас единственная часть ее приданого. Ей надо было удержать за собой доход с отцовского места, а бурсаку – скорее получить приход, чтобы не умереть с голоду. В этой экономической сделке было много смешного и много трагического, о чем так красноречиво рассказал Помяловский. Дикий порядок наследственности мест просуществовал вплоть до второй половины XIX века.

Сословие зависимое и рабствующее, не представляющее чего-то единого, лишь в критические периоды своей жизни сплывало, понимая, что нарушение любого его звена катастрофически отразится на нем. Духовенство расслаивалось на различные категории, из которых одна постоянно угнетала другую: господствующее черное, монашествующее духовенство и белое, подчиненное, живущее по преимуществу от доброхотства своего прихода. Вторая группа и составляла основную массу сословия, на нее возлагались все сословные тяготы. Она в свою очередь разделялась на священнослужителей, то есть лиц, получивших сан, и церковнослужителей – лиц, не имеющих сана, обреченных на вечное дьячество и пономарство за леность и небрежение к бурсацкой науке. Эти лица, не связанные обетами и посвящением, были в то же время зависимы от церковной администрации. Верхушка черного духовенства вплоть до XVIII века в большинстве своем состояла из представителей боярства. Князья мира превращались в князей церкви, оставаясь обладателями крупных земельных угодий. «Аще у монастырей сел не будет, како честному и благородному человеку постричься?»¹ Управление епархией осуществлялось, подобно управлению княжеством, при помощи надельщиков, тиунов и других чиновников архиерейского дома. Архипастырский деспотизм царил повсюду. Грозный окрик «владыки»: «Аз в своем чернце во-

¹ Голубинский Е. История русской церкви. М.: Императорское о-во истории и древностей российских при моск. у-те, 1900. Т. 2. С. 628.

лен»¹ являлся непререкаемым законом; белое духовенство рассматривалось им не только как подчиненное, но и как податное, в котором архиерей видел своих холопов.

Духовная школа с середины XVIII века преградила путь к епископским кафедрам выходцам из иных условий. Трехстепенная школа, со средневековой системой образования, с мучительным воспитанием, отпугивала от себя и была своего рода сословной повинностью. Естественно, что только наиболее способные и физически сильные могли преодолеть ее, а наиболее честолюбивые воспитанники постоянно стремились переменить рабье положение на положение властелина, лицемерно отказываясь от радостей мира сего, обращаясь в монахов. Им быстро открывался путь к епископской кафедре. Не будет преувеличением сказать, что к монашескому обету приводило их, как правило, одно побуждение – жажда власти. «Сын дьячка какого-нибудь хорошо учится в семинарии, начальство начинает представлять ему на вид, что ему выгоднее постричься в монахи и быть архиереем, чем простым попом, и вот он для того, чтобы быть архиереем, а не внутренним нравственным побуждением, постригается в монахи, становится архимандритом, ректором семинарии или академии и, наконец, архиереем, то есть полицеймейстером, губернатором, генералом в рясе монаха. Известно, что такое генералы; но генералы в рясе – еще хуже, потому что светские генералы... все еще боятся какого-то общественного мнения, все еще находят ограничение в разных связях и отношениях общественных, тогда как архиерей – совершенный деспот в своем замкнутом кругу, где для своего произвола не встречает он ни малейшего ограничения, откуда не раздастся никакой голос, вопиющий о справедливости, о защите – так все подавлено и забито неимоверным деспотизмом... Архиерей делается господином из раба; это объясняется не только вышеизложенным состоя-

¹ Голубинский Е. Указ. соч. С. 642.

нием белого духовенства, но также воспитанием в семинариях, где жестокость и деспотизм в обращении учителей и начальников с учениками доведены до крайностей...»¹.

Черное духовенство возглавляло жизнь духовной школы, занимая административные и преподавательские должности. Богословие и общие науки преподавались монахами, «черными педагогами», по меткому выражению Помяловского, – людьми, по своему положению лишенными семейных радостей, жестокосердыми фанатиками, носящими личину святости и придерживающимися принципа: «страхом спасати, уча и наказуя».

Преподавали в семинарии также светские учителя, люди, вышедшие из бурсы, но не пожелавшие связывать себя саном, а тем более пострижением, чиновники от науки. Они прекрасно знали цену своим знаниям и понимали, что всегда обеспечат себе кусок хлеба. Не порывая с духовным ведомством, они не видели особой выгоды в получении сана и выжидали подходящего случая: выгодного места, высокого покровителя, богатой невесты, наконец, просто втягивались в службу, обучая юношество при помощи неизменной и испытанной методы «шкуропускания майскими», скрашивая свою просветительскую деятельность вкушением хмельного. Духовная школа все более приобретала стройность средневекового учебного заведения. В методах обучения и системе воспитания господствовала схоластика, сдобренная дикостью нравов чисто туземного характера.

На сословие налагалась обязанность проповеди монархических идей. Послушные проводники идей государства, служители алтаря и трона беспрекословно и педантично выполняли правительственные распоряжения, настойчиво домогаясь привилегий для своего сословия. Домогательство они постоянно подкрепляли готовностью

¹ Записки С.М. Соловьева. Пг.: кн-во «Прометей», 1915. С. 11–13.

бороться со всяким свободным проявлением мысли, используя все богатство риторического искусства, веками изучавшегося в этой среде, многообразии литературных полемических приемов, выработанных многочисленными упражнениями – от ученических сочинений до книг и статей специального характера.

Государство оценило эту деятельность и на протяжении двухсот лет расплачивалось с послушными «идеологами». Указами 1767 и 1771 годов было запрещено подвергать телесным наказаниям священников и дьяконов. Правительство Екатерины II, при генеральном межевании, выделило причту сельских церквей по 33 десятины. При Павле устанавливаются высочайшие награды для духовенства в виде светских орденов Владимира, Станислава, Анны. Указом Александра I в 1801 году окончательно отменяется телесное наказание для всех церковнослужителей, а восемь лет спустя указ распространяется и на их семьи. Во времена Николая I приходскому духовенству назначается жалованье от государства, так сказать, прожиточный минимум, но отнюдь не воспрещается принимать вознаграждение от прихода. Давая отдельные привилегии духовенству, правительство всячески стремилось осложнить выход из сословия, придавая ему замкнутый, сугубо кастовый характер. Черное духовенство поддерживало эту тенденцию, отбирало из духовной школы наиболее способных учеников, заглушая в них всякую самостоятельность мысли, и почти насильно надевало на них клобук, вознаграждая их за отречение «от радостей мира сего» материальным благополучием. Заметив в ученике склонность к угодничеству и подхалимству, предлагало ему постричься, видя в нем достойного инока в будущем; наконец, просто загоняло в монастырь бездумных охотников до соблазнов, но учившихся по первому разряду. Из этих-то воспитанников, оштрафованных монашеством за мирские радости, и приготавливались высшие рясофорные чиновники, удобные для правительства полным отсутствием собственного

мнения.¹ Разумеется, бо́льшая часть воспитанников не удостоивалась милости начальства и предназначалась к деятельности приходского духовенства, для которого возможность снять сан и выйти из своего сословия навсегда отрезалась.

Реформа 1808 года, о которой говорилось выше, не была фактически завершена. Правительствующий синод ловко использовал мысль Сперанского о просвещении сословия путем обязательного прохождения сословной школы, сделав ее принудительной. Правда, был расширен объем программ, введены новые предметы из «мирских наук», которые явились своеобразным привеском к духовному образованию. Неизменными сохранились старые методы преподавания, где всё покоилось на механическом запоминании, на долбне. В это время реформа Сперанского, по существу, была сведена на нет. Особым распоряжением детям духовенства и церковнослужителей запрещалось выходить из духовного звания. Своеобразно образованному молодому человеку закрывались все дороги, кроме духовного ведомства. Сословная школа во всех своих трех званиях всё явственнее выступала как учреждение, пост-

¹ С.М. Соловьев в своих «Записках...» рассказывает о пострижении в монахи Степана Петербургского: «...Посвящение его в монахи любопытно. Он был хорош собой и счастлив с женщинами; однажды к Платону дошла сильная жалоба на семинарского ловеласа; Платон, любивший вербовать всеми неправдами в монахи, воспользовался случаем и предложил молодому преступнику на выбор: или жестокое наказание, лишение будущности, или пострижение и архиерейство. Степан избрал последнее и превратился в Серафима. После этого события однажды Платон гулял с профессорами Академии по двору Троицкого монастыря и занимался любимую свою забавою: взглянувши на какой-нибудь предмет, он произносил первый стих, относящийся к этому предмету, а спутники должны были подбирать приличный второй стих. Взглянувши на старый царский дворец, Платон произнес: «Чертоги зрю монарши...». Из толпы спутников немедленно послышался второй стих: «Погиб Степан от секретарши!»

Этот Степан, или Серафим, оказался человеком бездарным, несмотря на то что был после митрополитом московским, а потом петербургским и первенствующим членом синода, ибо правительство любило смиренные посредственности. (См.: Записки С.М. Соловьева. Пг.: кн-во «Прометей», 1915. С. 13–14.)

роенное на манер николаевской казармы. Автор реформы расплачивался за «грехи молодости» исправной службой крупного чиновника, постоянно подчеркивая умеренность во взглядах, аккуратность в труде и свидетельствуя свои верноподданнические чувства, как и полагалось истинному сыну духовного сословия.

Видное место в изучаемой школе занимает Александр-Невская бурса, из которой вышел Сперанский. Интересна она и тем, что в ней четырнадцать лет провел Помяловский. В 1843 году восьмилетним мальчиком он поступил в Александро-Невское приходское училище, которое составляло одно целое с Александро-Невским духовным училищем и управлялось одним и тем же начальством. В 1845 году он был определен в низшее отделение духовного училища, в 1851 году – в семинарию и в 1857 году окончил ее. Зажатый в тиски духовного «просвещения», он изнывал от отчаяния и злобы, встречая на каждом шагу надругательства и оскорбления со стороны учителей и начальства, видевших в нем неподатливого, упрямого лентяя, бесчувственного к розге, смирителю буйства и гордости, внушителю прилежания и смирения. Последним качеством как раз и не обладал Помяловский, а следовательно, не мог быть не только в числе лучших, но хотя бы терпимых начальством учеников, ибо для того, «...чтобы быть хорошим учеником, мало хорошо учиться и вести себя нравственно, – надо было превратиться в столб одушевленный, которого одушевление выражалось бы постоянным поклонением пред монахом-инспектором...»¹, перед ректором, перед учителем, перед экономом – словом, перед всей бурсацкой педагогической иерархией.

Духовная школа сороковых годов представляла «идеал» учебного заведения николаевских времен. Вдохновителем и идеологом ее явился Филарет, человек одаренный и эрудированный, мастерски владевший языком, автор многих сочинений, которые публиковались не только в ведомственной печати, но и на страницах «Москвитяни-

¹ Записки С.М. Соловьева. Указ. соч. С. 12.

на». Деспотичный и ожесточенный, он подавлял всякую свободную мысль. «Талант находил в нем постоянного гонителя»¹, если «появляется живая мысль у профессора в преподавании, в сочинении, Филарет вырывает ее и, чтобы отнять у преподавателя охоту к дальнейшему выражению таких мыслей, публично позорит его на экзамене: «Это что за нелепость! Дурак!» – кричит он ему. Несчастный кланяется»². Кажется, трудно представить себе фигуру архипастыря, наиболее соответствующую николаевскому времени. Духовная школа сороковых годов, по меткому выражению Писарева, рисуется «мертвым домом», воспитательной тюрьмой, куда не проникает ни одна свежая мысль, – так все сдавлено, забито, задушено. Здесь сами знания обратились в средство подавления мысли.

Просыпались лучшие силы русского общества от мучительной летаргии мысли, а вместе с ними просыпалась и бурса. Юных отщепенцев не волновали, как волновали их отцов и старших братьев, имена и судьбы предтечей по сословию: Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева, Иннокентия Гизеля, Стефана Яворского, митрополита Платона. Иными идеалами была окрылена их молодость, другой путь избрали они себе, мечтая стать проповедниками света, апостолами новых идей, страстотерпцами грядущих событий. «Ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые суждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха»³. Именно из этого сословия вышли Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Помяловский, А.И. Левитов, Ф.М. Решетников, Ф.Д. Нефедов, Г.З. Елисеев, М.А. Антонович и многие другие – поистине, имя им легион. Они-то и придали русской литературе совершенно новый и особенный характер. Все они прошли через жестокую школу бурсы, осваивая ее темную муд-

¹ Записки С.М. Соловьева. Указ. соч. С. 16.

² Там же.

³ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. Т. IX. С. 202.

рость, но учились вне ее стен. Бурса давала им формальные знания, учила писать, говорить, щедро набивала их головы самыми разнообразными сведениями. Всем этим знаниям бурсак должен был придать иной смысл, понять их истинное значение или же выбросить, как ненужный хлам. Многие из бурсаков сумели переосмыслить накопленные сведения и сделать новые выводы, выходя на широкую дорогу свободной мысли. Их тянуло к настоящим знаниям, освобожденным от схоластики, от казенно-религиозного истолкования. Выдрессированные на силлогизмах и философской терминологии, они свободно овладевали Фейербахом, кстати сказать, впервые переведенным на русский язык семинаристом, посвятившим свой перевод воспитанникам русских духовных академий и семинарий¹. Они улавливали в философии Канта и Гегеля знакомую им схоластику и пробовали читать французских утопистов, примеряя их понятия к русской жизни.

30–40-е годы XIX века – мрачный период в истории русского просвещения. Но именно в это время сложились такие ученые, как В. Соловьев, Т. Грановский, А. Крюков, Н. Пирогов, Ф. Иноземцев, М. Остроградский, П. Чебышев, А. Бутлеров, Б. Якоби и ряд других. Не у всех хватило мужества вытерпеть эту атмосферу. Некоторые стали казенными профессорами, вступив в сделку с совестью; иные приютились под сводами министерской канцелярии, как П. Редкин; другие рано сошли в могилу, как Т. Грановский. Но развитие новых идей сдержать трудно. На смену измученным приходили молодые силы, находившие путь к распространению просвещения помимо университетских аудиторий и гимназических классов. Школьное просвещение вырождалось, теряло доверие к себе.

¹ Сущность христианства. Сочинение Люд. Фейербаха. Перевод, сделанный со второго, исправленного издания Филадельфом Феоматовым. London, 1861.

ЛЮДИ И КНИГИ 40-х ГОДОВ XIX ВЕКА*

40-е годы нельзя уловить. Что это такое?
Идея христианского социализма держалась недолго.
Фурьеризм (Фурье) я не понял. Марксизм я понял.

«Бытие определяет сознание» –
одна из самых вульгарных идей XIX века.

Из бесед с Н.И. Либаном

40-е годы – один из самых интересных периодов собирания русской литературы XIX века, того изумительного явления, которое в свое время поразило европейский мир. Здесь наряду с второстепенными именами выступают великие художники, сделавшие шаг вперед в развитии художественной литературы мира. Этот сложный процесс занимает не менее столетия (XIX век). Именно в период 40-х годов в литературе особенно резко сталкивается духовная красота человека со «свинцовыми мерзостями» того времени, что рождает мучительные поиски путей развития России.

Время 40-х годов – время идейных исканий. Мысль билась над тем, что такое Россия, в чем ее смысл. Славянофилы и западники, кружки Герцена и Огарева, Петрашевского, Станкевича... Но жизнь не могла ограничиться кружками, ведь они не восполняли брешь познания действительности. А задача познания действительности наступает с необыкновенной энергией на молодых людей того времени и требует незамедлительного осмысления, ответа. И здесь мы можем в виде трех направлений представить познание материала. Это познание действительности, связанное с общим мировым движением идей, характерных для того времени. Это познание того, что связано с жизнью повседневной, я бы сказал, художествен-

* Работа продолжает книгу «Лекции по истории русской литературы (от Древней Руси до первой трети XIX в.)». К сожалению, Николай Иванович Либан не успел осуществить этот замысел. Печатается впервые. (Примеч. сост.)

но-литературной. И это познание политической, фактической и моральной жизни общества того времени. Эти три области познания будут преследовать нас все время, потому что в них заключена русская действительность того времени.

Очень характерен и поучителен пример с В.С. Печериным. Человек большой одаренности, устремленный в классицизм, в изучение Греции, античности, признанный специалистами выдающимся явлением в медиевистике, он не мог остаться равнодушным к событиям революции 1830 года во Франции, и все его мысли, искания с этого момента относятся в первую очередь к существующему переживаемому моменту, лежат не в области древности, а в области «кричащих противоречий» – противоречий между евангельской правдой и крепостническим, рабским, деспотическим, в сущности говоря, жизнеустройством России того времени. Но преодолеть до конца тягу к познанию духовного мира и жить злобой дня Печерин не смог. Отсюда его уход из активной жизни в обществе в католицизм, желание отгородиться от действительных событий. Один из блестящих умов России делается капелланом тюремной церкви. Иногда «сумрачная» Россия все же просыпается в его сознании – отсюда его литературные корреспонденции, переписка с Герценом.

Печерин не нашел себе места в старой России. Его фигура стоит на пороге именно социалистической России. В его индивидуальной драме отразились многие черты исторической коллизии старого и нового миров.

Александр Герцен этого периода подобно Печерину чувствует всю остроту противоречий между евангельской правдой и рабской действительностью, деспотической сущностью России. Характерно отношение Герцена к евангельской правде, к чтению Евангелия, пронесенному через всю жизнь: «Евангелие читал я много и с любовью. <...> без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерьянизмом,

любил иронию и насмешку, но не помню, чтобы когда-нибудь взял в руки Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь. Во все возрасты я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу».

Остротой противоречий охвачены и Герцен, и Огарев, и многие «мальчишки», о которых позднее удачно скажет Салтыков-Щедрин: «Мальчишки – самое сильное сословие в России». Герцен, как натура энергичная, экспансивная, не мог оставаться наедине со своими мыслями и весь ушел в художественную литературу. Позднее он скажет, что повесть не его стихия; его стихия – статьи, публицистика. Но сейчас – повесть его стихия. Мир, в котором мы живем, – это «дом поврежденных», т. е. сумасшедших, с точки зрения доктора Крупова. Прекрасная социологическая повесть «Записки доктора Крупова», написанная Герценом, изображает здоровую натуру (Лёвку) и больное общество. Герцену, безусловно, удался образ тупорожденного Лёвки, он прекрасно, как художник, раскрыл внутренний мир мальчика, его различные проявления: когда Левка встретил Крупова, возвращающегося из семинарии и поцеловавшего его, как он был обрадован, смущен этим проявлением нежности, скрывая его от посторонних. Автор любит спящим Левкой, его хорошим, спокойным лицом, без следов болезни, чуть освещенным лучом солнца и как бы испытывающим всю прелесть бытия от ощущения сна: «...Под большим деревом спал Левка. ...как тихо, как кротко спал он... <...> Никто никогда не дал труда взглянуть в его лицо: оно вовсе не было лишено своей красоты. Особенно теперь, когда он спал; щеки его немного раскраснелись, косые глаза не были видны, черты лица выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно». Герцену удалось изобразить гамму психологических переживаний человека, который ничем не отличается от здоровых людей, только отношение к земле у него свое: он ее понимает, ощущает, чувствует ее красоту. Здесь Герцен-художник обернулся какой-то новой стороной, но, к сожалению,

это не имело дальнейшего развития в его художественном творчестве.

В романе «Кто виноват?» уже нет этой диалектики души героев. Здесь оставлена только схема: среда и герой – и то, что во всем виновата среда: трагедия Круциферского и Любочки, покой которых нарушает Бельтов («лишний человек») своими романтическими исканиями. Риторика Герцена, закрывающая внутренний мир героев, многим читателям не нравилась. Роман этот непосредственно связан с просветительской литературой 40-х годов («натуральная школа»). Такие черты, как примитивная сюжетная схема, отсутствие внутреннего мира героев, риторика, делают его похожим на учебник, что было характерно для литературы 40-х годов.

Творчество Герцена этого периода не что иное, как программа христианского социализма. Моментом зарождения нового социализма считается французская революция 1789 года. Часть русского общества, несомненно, сочувственно отнеслась к исторической катастрофе Франции и считала 1789 год началом новой эпохи человеческого рода. Однако у Герцена найдено только имя явлению, его название, но не сама суть, не движение. Рассмотрение сути христианского социализма здесь отсутствует.

Герцен и Огарев. Они очень разные по психологическому складу, по отношению к миру, по пониманию человека. Огарев многое взял у Лермонтова. В лирике Огарева очень сильны отзвуки поэзии Лермонтова и романтизма вообще. Огарев с романтизмом не расстался («Романтизм в нас не вытравишь», «Мир ждет чего-то...»). Его личный крах – он потерял мечту (уход жены к Герцену и т. д.). А как плохо они жили! У них не было уклада, семьи, патриархального календаря. Они расстались с патриархальным укладом жизни. У них не было семьи в том понимании, какое дает христианство. Они были на другой ступени развития, ведущей к социализму. Что касается старого мира – это упадок. Что касается нового мира – это развитие. Старые вещи, уклад, патриархальный быт спасают

человека от треволнений, которые несет с собой прогресс. Как только рвется эта связь – обязательно трагедия. Прогресс разрушает то, что есть, устоявшиеся формы жизни. В этом трагедия человеческого развития – в том, что не может быть неизменности.

Как писатели Герцен и Огарев очень разные. Один – портретист, памфлетист, очеркист. Ему удаются острые картины нравов, у него острое перо. Он умеет создать лицо, портрет. Другой, Огарев, – романтик, мечтатель, мистик. Сила Огарева – в его лирическом звучании, в исповеди души, в субъективности. Оба они автобиографичны.

Общемировое движение. Мировое движение идей того времени. Каково место России в мировом движении? Россия и Европа – какие здесь точки соприкосновения, взаимопроникновения? Каково наше историческое предназначение? Мы азиаты? Мы европейцы? Не этому ли посвящена большая часть трудов Станкевича, Герцена, Огарева, Ив. Киреевского? Это очень важно, потому что с этого момента мы можем говорить об общности движения России и Европы как явлениях одного целого. Уже заранее скажем, что это явление важное, нужное, до сих пор не раскрытое историками литературы и культуры.

В осознании фактической политической жизни их занимает течение философской мысли: Хомяков, Печерин, братья Аксаковы, Герцен – славянофилы и западники. И, как всегда, там, где у нас не хватает исторического материала для познания, мы восполняем это художественными образами, художественными произведениями. Пройдя стадию ученичества, мы не сумели вступить в стадию самостоятельного, независимого суждения о развитии истории и места в ней России.

К этому можно прибавить то, что все описанные нами сейчас факты происходят после событий 14 декабря 1825 года, т. е. когда Россия могла или хотела пережить революцию, но не понимала, что революция не совершается только военным переворотом, – это свидетельство несо-

стоятельности исторической мысли России того времени. Нам не хватает строгой логической выстроенности, исторического и идеологического мышления. Но мы преуспеваем в мышлении образами, в художественном осмыслении материала. Поэтому главным представляется движение или состояние художественной литературы 40-х годов (до середины 50-х) – беллетристики, как тогда ее называли – «натуральной школы», но в это понятие вмещено куда больше, чем привыкли видеть.

В эти годы мы видим большой интерес к биографиям. Историко-типологические явления мы подменяем фактами современности, не доводя их до обобщения. Материал биографического порядка дает довольно подробные описания времени и характера этого периода. Это целая художественная энциклопедия произведений, которые одновременно делаются и художественными документами эпохи. Биографии современников являются прекрасным документальным материалом, раскрывающим события того времени. Это, в сущности говоря, очень большой раздел, который во многом объясняет, почему у нас так много мемуара 20–30-х годов XIX века. Мы воспоминаниями заменяем наши философские, исторические суждения – это характерная черта русского мемуара.

Здесь нам важен мемуар С. Аксакова «Детские годы Багрова внука», где мемуар перестает быть им в буквальном смысле этого слова. Память лишь повод для рассуждения философского, экономического, этического характера. Без понимания мемуара Аксакова «Детские годы Багрова внука» неясен смысл этого жанра вообще и в частности трилогии Л. Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

Революционная ситуация готовилась в мемуарах. Это привело к высшей форме реализма – к русскому реалистическому роману: «Война и мир» Л. Толстого, «Бесы», «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского, «Обломов» И. Гончарова.

Из мира реального в мир идеальный – процесс едва нами уловимый, но необыкновенно ясный и четкий. Вот

где грани искусства и действительности переходят друг в друга. Вчерашнее идеальное представляется нам как реальность, как материя, которую можно ощутить, где потеряны границы между искусством и жизнью, вернее – искусство превзошло жизнь. Мы поверили в него, как в реальность, как в повседневное явление. Такой вывод дает в своем романе «Обломов» И.А. Гончаров. Роман этот написан в конце 50-х годов, время, изображенное в нем, – 40–50-е годы.

В романе чрезвычайно хорошо характеризуется «натуральное направление» глазами Обломова. В первой главе он спорит с Пенкиным: «Где же тут человечность? <...> Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только <...> без претензий на поэзию». «Не мешайте искусство с грязью жизни. Грязь жизни пусть останется. Вы все равно ничего не переделаете». Правда требует не красоты, не поэзии, а действительности.

Роман беспощаден в изображении человеческих чувств – и это было великим открытием И.А. Гончарова. У него нет снисхождения к современному человеку: здесь еще много идеальных воображений. Гончаров делает очень жестоко в «Обломове»: крах Штольца, крах Обломова. Человеку одинаково отпущены и счастье, и страдание. Переходя эти границы – счастья и несчастья – человек теряет способность действовать, управлять собой. Человек в изображении Гончарова не может вместить норму счастья и норму трагедии, потому что таких норм нет. И это было открытием Гончарова, это поразило Льва Толстого (который, кстати говоря, до такой глубины в изображении человека не дошел): «Обломов – капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. <...> ...я в восторге от Облом[ова]... Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и временный...»¹.

¹ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1949. Т. 60. С. 290.

Гончарову удалось обмануть своего героя (Обломова), показав, что «локти Пшеницыной» прекрасны не менее «снега» и «сирени» (то есть всего прекрасного в жизни). Но насладиться жизнью – еще не значит понять ее. Обломов к счастью только прикоснулся, с Ольгой, – и не выдержал его. А с Пшеницыной выдержал. Ап. Григорьев писал, что Обломову нужна была простая женщина, «без затей и выдумки», какие были у Ольги Ильинской. Ап. Григорьева вполне устраивала идея мещанской, обывательской жизни, которую Пшеницына предоставила Обломову. Простота выше всяких лирических чувств. Простота заменяет все. Почему Шереметев женился на Параше? Не только потому, что она была прекрасная актриса, а потому, что там была простота. Вот эта «простота», оказывается, и есть самое главное! Пшеницына проще Ольги Ильинской. У Пшеницыной есть сердце и любовь, где преобладает не чувственность, а ласка: и обогреет, и слово доброе скажет. Хотя смысл в этом слове небольшой (Пшеницына вообще ни над чем не задумывалась), но зато интонация богатая. А Ольга не знала своего сердца. Ап. Григорьев считал, что Ольга испортила Обломову жизнь. Надо жить сердцем, а не воспитанием. Человека можно научить, воспитать, но сердце не вложишь.

Нельзя не согласиться с мнением Ап. Григорьева, которое, в сущности, отражает целое направление русской жизни того времени. Нельзя думать, что литературная критика вся была проникнута прогрессивными идеями. Рядом с этим существовала критика повседневности, отрицающая всякие идеи. Провозглашалась одна идея – простоты как самого главного в жизни человека и в искусстве.

Ап. Григорьев – отрицатель социалистических теорий. Вся современная литература для него – литература в пользу бедных и в пользу женщин. Ап. Григорьев считал, что русский человек не может заглушить в себе голоса душевно-духовных интересов. Социализм обращает чело-

века в «свинью рылом вниз», и для русской души нет ничего противнее утопии Фурье.

Восток и Запад – разные пути, противостоящие друг другу, как теория и жизнь. Запад ограничивает человека его собственными пределами, главное здесь – реабилитация плоти, а не поиски духа. Восток же внутренне носит в себе живую мысль, «верует в душу живую». Социалисты – люди с узкими теориями: «отрицательная правота» Герцена и впоследствии – Н.Г. Чернышевский. В русской идейной жизни возобладал тип семинариста, для которого исходной точкой является отрицание, воспитанное на схемах и доктринерстве поповского социализма. «Их ведь ломали в бурсе, гнули в академии – отчего же им-то жизнь не ломать?» (Ап. Григорьев).

Ап. Григорьев по взглядам – идеалист, романтик. «Рыцарь чистого образа», как сам он себя называл. Григорьев жаждал истины «цветной», т. е. не черно-белой, а неоднозначной полноты жизни, которая не впишется ни в одну теорию. Социализм для Григорьева бесцветен, расчетлив – не такова душа русского человека. Себя он ощущал скитальцем, рыцарем на распутье:

Кто слезы лить способен о великом,
Чье сердце жаждой истины полно,
В ком фанатизм способен на смиренность,
На том печать избранья и служенья.

В этом есть, хотя и не без позы, много искренности, свободы и духовной красоты.

Пока шли все эти разговоры о социализме, фурьеризме, фалангах, правительство этому большого значения не придавало. Да и сам социализм выглядел в их глазах утопией. Но когда в «Телескопе» за 1836 год появились «Философические письма» Чаадаева, этого правительство не могло вынести. Оно обиделось и возмутилось. В «Письмах» утверждалось, что Россия не внесла ничего нового в исторический прогресс, что наше существование похоже на бивачную жизнь, где нет ничего устойчивого, твердо-

го, нерушимого. «Мы не принадлежим ни Востоку, ни Западу... не имеем традиций... мы стоим как бы вне времени, нас не коснулось всемирное воспитание рода человеческого...». «Отшельники в мире, мы не дали ничего миру и ничему у него не научились. Мы не внесли ни единой идеи в массу идей человечества. Мы ничего не прибавили к прогрессивному развитию человеческого ума, и чем пользовались, то обезобразили».

Чаадаев был объявлен сумасшедшим, его рассуждения – бредом, а сам он взят на лечебное содержание во избежание всяких неприятностей. От Чаадаева была получена подписка, что он больше ничего писать не будет. Его посещали врач и полицмейстер для освидетельствования душевной болезни. Императорский рескрипт вызвал негодование со стороны прогрессивных людей того времени и страх в обывательской среде. Чаадаев написал в это время «Апологию сумасшедшего», которую нигде не мог опубликовать. Петр Яковлевич сохранял спокойствие и невозмутимость, по-прежнему посещал общество, дворянское собрание и был как бы укором глупости и невежеству николаевского правительства.

Как могло получиться, что Россию объявляют несостоятельной, когда Россия изгнала французов и провозгласила в Австрии после конгрессов, на которых выступал Александр I, что «русский царь стал царь царей»? Полная победа русской политики в Европе. Между изгнанием французов и «Философическими письмами» – 20 лет. Но это не время для истории. Потому правительство Николая I и было так ошарашено.

Чаадаев понимал, что существующая политика ведет Россию к краху. Оно так и получилось, когда неожиданно вспыхнула война на Черном море. Флота нет, техники нет, а европейцы (Англия, Франция) поступили хитро: они бросили вперед все туземные войска (там ведь тоже были различные колониальные войска), Россия стала отвоевываться своими колониальными войсками (кавказские, азиатские), и были грандиозные потери для нее. По

договору Россия должна была уничтожить весь Черноморский флот. Так что здесь Чаадаев, как пророк, увидел будущее. Николай I понял свою ошибку, и возникла гипотеза, что он отравился, не выдержав этого позора.

Хомяков. И для Хомякова, и для Чаадаева трагично было то, что они думали о создаваемом ими мировоззрении как об универсальном материале, который дает объяснение историческим процессам. В данном случае, говоря об истории, они думали о России. Но идеология не может вырасти на пустом месте, по заказу, по построенной схеме. Идеология, или система взглядов, философия различных направлений, есть результат долгой, постоянной, болезненной работы не только человеческой мысли, но в первую очередь исторического начала. Важно, как исторические факты складываются, какой порядок принимают, что является главным, что второстепенным, где автор только медиум, а где он деспотически распределяет материал по собственному усмотрению.

Если в свое время Чаадаеву удалось ясно и последовательно изложить свою систему, и никто, в сущности, не мог его опровергнуть, кроме комических посылки «встреча по субботам», над чем все смеялись – в том числе и сам Чаадаев, понимая, что самый умный человек в России – «сумасшедший», – то положение Хомякова совсем другое. Никакой системы он не избрал. Да этого и не могло быть. Исследователь только идет за фактами и событиями, одевая их в словесную шкуру. Поэтому так слаба мысль Хомякова, пока она не одета в религиозную одежду. Но когда она «одета», она теряет свой социально-исторический смысл и является только приложением к рассказу. Поэтому о Хомякове интереснее всего писать как о хозяине, устройтеле, организаторе, практике, а не о человеке философской системы. Он был награжден практическим умом, но эта практика никогда не может быть интересна как исторический факт, а только как последовательный рассказ. В этом была трагедия автора «Семирамиды». Это

показывает то, что философии у нас в России не было. В философы мы не годимся. Блуждаем в христианском мистицизме и ничего не находим нужного, хотя все лежит на поверхности. Лучше всего эту национальную черту выразил Ф. Достоевский: «Смирись, гордый человек!» Ты строй, создавай, но в отвлеченности не лезь. Церковь отрицает философствование, признает только наитие, внутреннюю просветленность. Философствование не нужно верующему человеку. Не все ли равно, какому Богу молиться – лишь бы молиться.

У Хомякова только одна форма познания – соборная, коллективная. Индивидуального познания быть не может, потому что оно лишь часть целого. Гносеология Хомякова покоится на самом факте бытия, а не на учении о бытии. Н. Бердяев пишет, что Хомяков «не мог связать идею соборности с учением о мировой душе»¹ (и здесь куда больше можно было ожидать от самого Бердяева), но он, Хомяков, и не ставил перед собой такой задачи.

Мечты об устройстве общества без сословно-классовых противоречий откровенно высказаны Херасковым в его произведениях. У Хомякова они сохраняют почти первоначальную форму. Идеи бесклассового крестьянского мира занимали большое место у мыслителей периода сороковых годов.

Как субъективная симпатия могла перерасти в социальную доктрину? Только как мечта. (Превратить мечту в реальную помощь удалось, пожалуй, только Новикову: Херасков предоставил Новикову типографию, и он там печатал все, что хотел. Религиозную литературу он меньше всего печатал, а больше всего – агитационную, объясняющую, кто есть мужик, кто есть крестьянин.) Стихи Хомякова о России вызвали страшное недовольство Николая I. Душа России должна покаяться в тех преступлениях, которые совершаются сейчас. Это не программа – это призыв к покаянию:

¹ Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. Томск: «Водолей», 1996. С. 88.

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли.

Император отравился. Откровенно говорили, что он не мог вынести полного поражения флота на Черном море.

Гоголь – мощная фигура. В сущности, человек невежественный, без образования (кроме гимназии на Украине), но какое сильное стремление проникать в суть явлений и какое сильное проникновение в суть людей, вещей, идей! В «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Хотят обнять все человечество, как брата, а сами брата не обнимут».

Сила слова – великая вещь! И Гоголю она была дана. Он мог эту великую власть слова воплощать в разных жанрах, в разных колоритах и с огромной силой разоблачения мира!

40-е годы – тот период, когда собирается литература. И «собирает» ее Гоголь. «Бедовик», уличные музыканты – все это потеряло смысл.

Как взрыв, появился целый сборник рассказов, поразивший всех, – «Вечера на хуторе близ Диканьки». Когда Гоголь написал «Вечера...», это всё затмило – и о дворниках писать уже не хотелось. Его рассказы были настолько новы, интересны и не похожи на предыдущее, что все остановились, разинув рты, и хохотали – от критиков до наборщиков. Один рассказ интереснее и увлекательнее другого! «Этот хохол нас перепишет», – раздавались голоса того времени.

Но как художник слова, Гоголь понимал, что этого мало. И он ринулся в быт, в то повседневное, что нас окружает. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Ссора вышла из-за пустяка – как ружье проветривать. Ивану Ивановичу понравилось ружье. Он просил его продать, но Иван Никифорович отказался. Если нельзя продать, то можно поменять – и предложил бурю свинью. Иван Никифорович обиделся: «Целуйтесь сами со своей свиньей. А ружье – это вещь».

Оскорбительное слово «гусак» повисло между двумя друзьями, как роковое. И с тех пор началась тяжба. Суд еще не приступал к делу, а ссора продолжается. Каждодневная жизнь со сплетнями, интригами, наговорами – сюжет, важный для человека того времени.

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Невеста посмотрела на Шпоньку, а Шпонька на невесту. Она делала кругообразные движения на стуле. Тетушка поняла, что все решено, и обручение состоялось. Гоголь предлагает читателю уморительные сцены, но не только это. Замечательная лирическая повесть, идущая вровень с самыми чувствительными романами, – «Старосветские помещики».

Плодовые деревья, ограды, покосившиеся домики... и сами обитатели. Тайное венчание, как в лучших авантюрных романах, и жизнь шла замечательно ровно, красиво, лирично. Их особое занятие было покушать. Разговоры Пульхерии и Афанасия Ивановича. «Что Вы хотите? – И еще можно». Афанасий Иванович наедался досыта, и все проходило к общему удовольствию. Но вот случилась странная история. Белая кошка, которую очень любила Пульхерия, решила погулять и потерялась в гуще дерев, по-видимому, встретив там кавалера, который ее увлек. Когда кошечка не вернулась и на другой день, Пульхерия сказала, что это знак не к добру. Афанасий Иванович ее утешил. Но это не убеждало Пульхерию. Наконец кошечка прибежала, встала против нее и промяукала. «Это пришла моя смерть», – сказала Пульхерия. С этим настроением они и остались. И через некоторое время Пульхерия действительно заболела и умерла. Афанасий Иванович плакал как ребенок. Страдания его были неопишуты. Боялись, не тронется ли он в уме. Он проводил до могилы спутницу своей жизни, горько зарыдал и не обращал внимания ни на какие уговоры. Прошло много времени, когда автор вновь взглянул в это милое урочище. Афанасий Иванович был страшно доволен моим приездом. Мы сели за стол. Когда

девка резкими движениями засунула ему салфетку, он на это даже внимания не обратил. Когда я вспомнил Пульхерию, Афанасий Иванович залился горькими слезами. Его печаль была так велика, так неподдельна и так страшна, что автор увидел, какой может быть человеческая страсть, не подверженная возрасту. Гнездо, в котором провели они столько прекрасных дней, исчезло. Сколько там было любви! Но все проходит.

«Хохол, который нас перепишет», действительно, всех переписал – и создал героическую эпопею «Тарас Бульба», где во всю ширь разворачиваются и характеры казацкие, и характеры ляшские (ляхи – поляки). Этот художник умел показать и разгулье казаков, их буйные нравы, нестерпимый характер, и утонченное ляшское воспитание. Среди этих двух миров он ставит своего героя – Андрия. Лирического героя, полюбившего красоту полячки. Самое страшное для казака – союз с полькой. И далее – трагическая сцена: «Я тебя породил, я тебя и убью». И Остап попал в лапы поляков. На Соборной площади собрали народ, чтоб публично казнить его. Но перед этим его еще надо испытать, измучить, нанести максимум боли. Остап сказал: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» И из толпы раздался голос: «Слышу, сынок!» И голоса этого нельзя было заглушить.

В самых различных жанрах Гоголь изображает материальную, духовную, повседневную жизнь того времени.

Но он хочет представить всю Россию – и пишет поэму «Мертвые души».

30-е годы – эпоха Пушкина. И все наши представления связаны с пушкинскими представлениями как в эстетическом, так и в идейном плане. Теперь центры переместились. Сами идеи стали носить совершенно иной характер. Жизнь, отгороженная от повседневности, была приглушена, и выступила на авансцену жизнь другая – со всеми ее мелочами. Быт, мелочи повседневности, которые уже перестают восприниматься как мелочи, а воспринимаются как нечто существенное. Это относится

абсолютно ко всему. Пушкин не будет акцентировать внимание на жилете, запонках и манишке героя. Это для него несущественно, как само собой разумеющееся. А гоголевский герой весь из этого соткан. Это очень важно в ходе повествования, потому что его поступки, его идеи, его интересы – они тоже мелочны. Его страсти, вплоть до наживы, тоже мелочны. Хотя видимость очень крупная, а в сущности – у этого «миллионщика» ничего за душой нет. Но эти черты характерны не только для Гоголя, а для всего периода. Гоголь в этом смысле – «знамя». Этой особенностью мелочности, безыдейности охвачены все писатели того периода, но Гоголем эти черты схвачены чрезвычайно. <...>

Н. Г. ПОМЯЛОВСКИЙ «ОЧЕРКИ БУРСЫ»

МАТЕРИАЛЫ К МОНОГРАФИИ

Введение

«Не мне продавать бурсу», – писал Н. Помяловский своему другу Н. Благовещенскому, когда тот просил его выставить жизнь семинарии на суд общественный. Писатель не хотел трогать материал, столь ему близкий, все было вживе и въяве, раны прошлых обид и издевательств еще не успели зарубцеваться, никакая литературная обработка материала не смогла бы скрыть живой жизни, притушить откровенные проклятия автора очерков по адресу бурсы. «Я отдумал писать о бурсе потому, что не могу быть беспристрастным в этом деле». Помяловский прекрасно понимал, что между его ученическим рассказом «Махилов», где он был всего лишь робким копирующим своих предшественников с одноименной темой, и задуманным циклом очерков лежит целая пропасть в осознании материала. Очерки должны были представлять собой не только правдивый мемуар, повествующий о бурсацкой жизни, но и воссоздавать картину системы образования, беспощадно калечащей и уродующей поколения целого сословия. Сама же сословная школа, с ее ужасами и издевательствами, была лишь частным отражением общего государственного устройства. И в плане такой трактовки темы у Помяловского не было предшественников, да едва ли были и последователи. «Очерки бурсы» создавались как мемуар, но в этот мемуар с такой силой вторгался материал общественно-политической жизни, злоба дня, ответы на вопросы современности, здесь было столько авторской патетики в защиту униженных и оскорблен-

ных, что уже первым своим очерком «Зимний вечер в бурсе» писатель снискал себе страстных поклонников, прочитавших впервые повесть о своем детстве и юности, и непримиримых врагов, увидевших себя на страницах «Очерков...» в образах пастырей, наставников, учителей.

«Очерки бурсы» вызвали отклики в самых различных журналах, и нет ничего удивительного, что на протяжении ряда десятилетий велась то скрытая, то явная полемика с их автором.

Чем объяснить, что это произведение было столь популярно в шестидесятые годы? Бурсак не был откровением для русской литературы; изображение его мы находим и у Нарезного, и у Гоголя, да и сам Помяловский начал свою литературную деятельность, пытаясь отразить семинарскую вольницу в русле художественной традиции. В чем же притягательная сила «Очерков бурсы», так взволновавших современников Помяловского и принесших ему известность, далеко идущую за пределы его времени? Попыткой ответить на этот вопрос и является предлагаемая работа.

Путь Помяловского к «Очеркам бурсы»

В 1862 году в журнале «Отечественные записки» была помещена рецензия, посвященная сравнительному анализу «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского и романа В.Т. Нарезного «Бурсак». Появление рецензии можно признать вполне естественным, если вспомнить, что именно в 1862 году Помяловский выступил с произведением, во многих отношениях совершенно новым, оригинальным как по раскрытию материала, так и по тем выводам, к которым он приходил. Интерес в читательских кругах к имени Помяловского возрастал по мере появления его «Очерков» в отдельных номерах журнала «Время», а позднее – в «Современнике». Любопытнее другой факт – сопоставление «Очерков бурсы» с романом Нарезного. Здесь явно ощущается желание осмыслить произведение как историко-литературный факт, найти ему предше-

ственников, установить преемственность и наметить литературную традицию, которую продолжает и развивает Помяловский. Но автор рецензии делает поспешные выводы, принимая внешний тематический материал за сущность явления. Помяловский ко времени создания «Очерков» не только не продолжал Нарезного, но, окончательно преодолев традицию, установившуюся в изображении бурсака, выступил страстным ее отрицателем.

Тема бурсака интересовала русских писателей XIX века. Вслед за Нарезным, который первым обратился к этому миру и изобразил его в полукомическом, полусерьезном тоне, шел Гоголь со своей фантастической повестью «Вий»; с колоритными сценками, изображающими бурсацкое просвещение в повести «Тарас Бульба». Нарезного и Гоголя роднила не столько общность темы, сколько тот угол зрения, под которым оба писателя рассматривали избранного героя. И Гоголь, и Нарезный нарочито подчеркивают комичность характера бурсака: нелепую ученость, академическое «красноречие», крепость головы и кулака, тяжеловесный семинарский юмор, внешнюю неопрятность представителя «ученого» сословия и его странное отношение к чужой собственности. В этой шаржировке образа многое шло от анекдота, от бытового представления, где слово «бурсак» было синонимично дикости, тупости, пошлости при внешней учености, да и ученость сама не могла не вызывать иронической усмешки.

В 1824 году Нарезный выступил с романом «Бурсак». Вполне понятно, что роман нес на себе особенности литературных канонов, которые свойственны были тому времени. Перед Нарезным, собственно, не стояла тема бурсака, она занимала весьма скромное место как в общем объеме романа, так и в идейном значении последнего. Автора привлекала комическая сторона жизни бursы с ее «премудростью» и характерным бытом. В какой-то мере Нарезный был непосредственно знаком с бурсацкой средой по детским воспоминаниям. Когда-то ему самому пришлось испытать из этого источника мудрости. Но это были

уж слишком мимолетные воспоминания, так как писатель недолго обучался в бурсе и на двенадцатом году жизни стараниями близких определился в Московскую дворянскую гимназию. Бурсацкий период едва ли оставил значительный след в его жизни, во всяком случае в названном романе мы встречаем тот шаблон в изображении бурсака, который крепко установился не только в литературе, но и в бытовом представлении. Писателя интересовала картина бурсацкой жизни с ее внешней стороны, и с нескрываемым чувством юмора он рисовал этот мир, все его звенья – от училищной организации до портрета представителя «учительного сословия». Изображая бурсу, Нарезный сравнивает несравнимое, проводит такие параллели, которые обеспечивают ему комический эффект: «...почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим, и консул управляет оным вместе с сенатом. В консулы избирается старший из богословов, а прочие богословы и философы образуют сенаторов; риторы составляют ликторов или исполнителей приговоров сенатских; поэты называются пелерами или бегунами, которые употребляются на рассылки; прочие составляют плебеян или чернь – простой народ»¹.

Бурса и великолепный Рим – сама по себе параллель вызывает улыбку. Но Нарезный хочет, как мы указали, изобразить все звенья училищной организации, выяснить права и обязанности бурсацкой аристократии и демоса, их ответственность перед законом. «Если бы консул сделал какое позорное дело, то сенаторы доносят о том ректору, и тот немедленно снимает с него сей величественный сан и, наказав по мере вины палками, розгами или батожем, обращает в звание сенатора»².

Мягкий юмор Нарезного переходит в смех; все поκειται на комическом диссонансе: бурса – Рим, богослов – консул, философы – сенаторы и так далее. Но когда выясняется, что «закон» беспощаден к «почтенному сословию»

¹ *Нарезный В.Т.* Избранные романы. М.; Л., 1933. С. 244.

² Там же. С. 245.

и наказует палками, розгами и батожем, то видимость эпического повествования звучит явной иронией. Автор, увлеченный комичностью рассказа, торопится сообщить обо всех деталях жизни бурсака и не без чувства юмора замечает, что главный промысел «римских граждан» «состоит в пении под окнами мирян церковных песней или – если кто столько смышлен – в проворстве рук». Нарезный изображает бытовые картины, будни бурсы: «Иной басил ужасным голосом духовную песню; другой бренчал на балалайке, под звуки коей человека два или три скакали вприсядку; некоторые боролись или бились на кулачках; словом, всякий делал что хотел, при всем том один другому не мешал»¹. Быт улавливается чисто внешне; «блаженная бурса» живет, не мудрствуя лукаво, дерется, бражничает, опустошает чужие огороды и вкушает школьную премудрость, сопутствуемую лозой.

Нарезный чуток к бурсацкой речи, он легко схватывает ее оттенки и умеет церковно-славянскому речению и семинарскому красноречию придать комическую окраску. Герой его «вопиет», «ополчается философией», призывает «тени Сократа, Катона и Сенеки, сих мучеников древности»; о ватаге бурсаков, отправляющихся в чужой огород на ночной промысел, говорится: «обрекшие себя на подвиг были сопричислены к сонму избранных». Герой его, Неон Хлопотинский, склонный к семинарскому витийству, слушая известие пастуха о тяжелой болезни своего отца, раздражается ученой речью, составленной по всем правилам риторики: «В чем заключался тот несчастный casus, который прежде времени доводит отца моего до вод Стигийских?.. Каким определением рока отец мой должен последовать сыну Маину, который передаст его с рук на руки угрюмому Харону?.. Естественные ли силы или сверхъестественные указуют отцу моему берега реки Леты, из коей испив воды, он навеки забудет и свое дьячество, и сына Неона, и клирос, и колокольную?»² И на все

¹ Нарезный В.Т. Указ. соч. С. 240.

² Там же. С. 273.

это красноречие пастух замечает: «Глупый человек! Зачем тебе говорить чертовщину, которой я, благодаря Бога, совсем не понимаю».

Как видим, изображение бурсы у Нарезного дается по преимуществу в плане описания быта и нравов; отдельные эпизоды, увлекательные своей комичностью, рассказы полуанекдотического содержания, пересыпанные бурсацкими пословицами и афоризмами, нарочитые языковые противопоставления семинарской риторико-патетической речи обыденному просторечию. Изображение бурсы и сам образ бурсака имели чисто служебное значение в романе, материал, связанный с картинами, живописующими бурсацкий быт и нравы, не что иное, как своего рода бытовая орнаментика. Далее жанровой живописи талант Нарезного не распространялся, его никогда не тянуло к социальному осмыслению бурсы, он вполне удовлетворялся изображением чисто внешней стороны, писатель ограничивался ролью комического рассказчика. Тщетно мы стали бы искать у Нарезного глубокого осмысления материала, это было вне его художественных возможностей, и на этом пути он был не без последователей.

Через девять лет после появления романа Нарезного «Бурсак» в 1833 году появляется повесть Гоголя «Вий». В известной степени она перекликается с романом Нарезного, на это уже указывали в свое время исследователи Данилин и Энгельгардт в специальных работах, посвященных сопоставлению творчества Гоголя и Нарезного. Сопоставление носит чисто внешний характер и не представляет большого интереса для нашей работы. Существенным является то, что Гоголь, как и Нарезный, не делает бурсака основным предметом своего изображения, не ставит в центр писательского внимания, а привлекает главным образом для того, чтобы создать бытовую картину, внести этнографический аромат, раскрыть новый уголок жизни. Писательская фантастика Гоголя причудливо переплетается с украинским поверьем, оно-то и делается основным содержанием повести «Вий». Бурсацкий

материал, так же как и у Нарезного, служит только орнаментикой, но эта орнаментика доводится до такого совершенства, что бытовые картинки последнего, с их претензией на комизм, меркнут перед гоголевской кистью. Гоголь дает интересные языковые характеристики, противопоставления, построенные на ярком контрасте, колоритные описания костюмов, нравов, повадок, портретные изображения своих героев, доводя все это до гиперболизма, широко используя приемы комизма характеров и комизма положений, рисуя столь уморительную картину бурсацкого «бытия», что читателя захватывает внешняя сторона описания. Гоголь словно совершенствует манеру Нарезного; он отказывается от тяжеловесного юмора автора «Бурсака», от утомительных параллелей, нарочитого языкового комизма; писательские приемы Гоголя совершенно иные; желая представить «почтенное сословие», он заставляет его пройти перед читателем во всей красе, и все звенья училища, все классы сразу получают свою исчерпывающую характеристику: «Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом; были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы вечно были наполнены всякою дрянью, как то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьянками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы. Но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы – целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Философы целою октавою брали ниже; в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было, запасов они не делали никаких, и все, что попало, съедали тогда же; от них слышалась трубка и го-

релка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух»¹.

Здесь все получает свое комическое раскрытие; грамматики, риторы, философы, их возраст, костюм, голос, повадки и даже отличительные знаки. Комизм характера создается выделением деталей, как то: костюма, «предметов запаса», глаз, губ, запахов и т. п., причем детали выступают в совершенно неожиданном значении. Так, например, при описании глаз, когда вполне естественен психологический экскурс, писатель лаконически замечает: «...один глаз уходил под самый лоб...»; или, описывая губы, ни слова не говорит о том, что они тонкие, чувственные, язвительные, но не без иронии сообщает: «...вместо губы целый пузырь...». Иногда деталь служит поводом для расширения описания, изменения места действия, охвата более широкого круга явлений; так, например, «воробьенок», находящийся среди прочей «дряни» в кармане грамматика, является поводом для описания класса бурсы и подробностей училищной жизни.

Жанровая живопись у Гоголя, в отличие от Нарезного, приобретает ярко выраженный комический характер. Юмор делается основой авторского отношения к изображаемому материалу. Бурсацкие типы в повести подаются в комическом освещении: их голоса, губы, рты, заливки – красноречивые свидетельства степени их учены. «...авдиторы выслушивали своих учеников; звонкий дискань грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны были принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу... Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв»².

¹ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 2. С. 153–154.

² Там же. С. 154.

Бытовые картинки приобретают б'ольшую естественность. В описание будней вкрадывается элемент комизма, о котором автор «Бурсака» не мог и мечтать; все просто, без претенциозности, без излишней акцентировки на семинаризме, который должен быть смешон сам по себе, по замыслу писателя.

Комизм создается не столько тем, что автор ставит в смешное положение своего героя, сколько теми названиями, которые он ему дает. Так, например, называя бурсака философом, Гоголь употребляет слово философ в ироническом смысле; однако здесь слово не утратило чисто бытового, училищного значения, то есть ученик философского класса. Как бы играя многозначностью слова, он в известной мере и приглушает его ироническое звучание. Когда же художник пишет: «философия с длинными черными усами», то ирония вновь вспыхивает и многозначность слова приобретает явно комический характер. Именно этим приемом пользуется Гоголь при изображении бурсацкой Илиады: «Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины: на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех. И как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышение – наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец, и богословие, в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях»¹.

Гоголь не мог уже удовлетвориться комизмом бурсацкого быта, подчас наивно рассказанного Нарезным и недостаточно художественно осмысленного. Автор «Вия» освобождался как от излишней детализации быта, так и от анекдота о бурсаке. Целую галерею комических характеров развернул Гоголь в повести; каждая харак-

¹ Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 156.

теристика была нова, разумеется, не по психологическому раскрытию – эта сторона осталась нетронутой, а по неиссякаемым приемам изображения: «В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем ниже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца»¹. Здоровенный бурсак в роли неистовой Иродиады или страстной жены Пентефрии – прекрасная иллюстрация гоголевского приема – комизма положения. Как видим, Гоголь не только продолжал разрабатывать тематику Нарезного, но внес много своего, оригинального в художественное воплощение изображаемого мира.

Интересно, как используется язык героев для их раскрытия. Нарезный уснащает речь бурсака цветами семинарского красноречия, добиваясь комического эффекта путем несоответствия мысли и той словесной формы, в которую она облечена. Иное у Гоголя: его интересует живая бытовая речь, обогащенная всеми разговорными оттенками изображаемой среды. Она соткана из различных нитей: здесь и обычное украинское просторечие, и бурсацкий юмор, и словечки ученого лексикона с нарочитым употреблением превосходной степени, и пословичные изречения:

«– Кто ты, и откуда, и какого звания, добрый человек? – сказал сотник ни ласково, ни сурово.

– Из бурсаков, философ Хома Брут.

– А кто был твой отец?

– Не знаю, вельможный пан.

– А мать твоя?

– И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила – ей-богу, добродию, не знаю <...>

– Как же ты познакомился с моей дочкою?

¹ Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 155.

– Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойного».

Казалось, что здесь герою и надлежит препоясаться мужеством и ополчиться философией. Но всё выглядит отнюдь не по правилам риторики. Гоголю не изменяет чутье художника, и вместо «узаконенного» шаблона бурсацкой речи, пересыпанной словечками из учебника, звучит живая разговорная речь: «Кто? я? Я святой жизни? Бог с вами, пан! Что вы это говорите! да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга». И даже когда Хома Брут пытается быть красноречивым, речь его сбивчива и нелогична, мысли обрываются, аргументы странные, но все так жизненно правдиво и верно: «Я бы сказал на это вашей милости... оно конечно, всякий человек, вразумленный святому писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось дьякона или по крайней мере дьяка»¹.

Перед Гоголем, как и перед Нарезным, не стояла задача бытописания бурсы, выяснения ее социальной сущности. Для нас представляет интерес то, что они подошли к материалу с бытовой, этнографической стороны, представили этот мир как некую экзотику, заключавшую в себе нечто комическое, своеобразное, противопоставленное всему окружающему. По существу, перед нами одинаковое отношение к материалу – как у Гоголя, так и у Нарезного. Бурсацкая жизнь изображена только с внешней ее стороны и даже в известной степени идеализирована.

Помяловскому хорошо была известна прочно установившаяся традиция изображения бурсы, и он слепо следовал ей в своем рассказе «Махилов». Двадцать два года отделяют этот рассказ от повести Гоголя «Вий», но автор не избежал установившегося шаблона, во многом подражая Нарезному и Гоголю. Потребовалось долгих восемь лет, чтобы преодолеть, а затем и отринуть сложившуюся тра-

¹ Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 171–172.

дицию, когда писатель на том же материале, что и в рассказе «Махилов», смог создать совершенно новое, оригинальное произведение «Очерки бурсы». Впрочем, все это принадлежит другому периоду; сейчас важно отметить, что рассказ создавался как проба пера – первый опыт. Наступало время осознания собственной индивидуальности, избрания жизненного пути; Помяловскому шел двадцатый год. Он настойчиво искал той области, в которой он смог бы приложить свои силы впоследствии. Его тянуло и к философии, и к беллетристике, он откровенно признается, что «думал быть и богословом, и историком, и философом, и лириком и, кажется, никем из них быть не могу»¹.

«Махилов» – исходная точка творчества Помяловского, первый этюд к «Очеркам бурсы», о которых, впрочем, он и не помышлял, работая над рассказом. Помяловский предназначал «Махилова» для рукописного журнала «Семинарский листок», и в 1855 году воспитанники семинарии Александро-Невской лавры прочитали и одобрили доморощенного беллетриста. Как видим, литературный опыт не выходил за пределы семинарской среды. Ученический характер, несамостоятельность рассказа совершенно очевидны. Воспитанник петербургской семинарии, прекрасно знающий нравы и обычаи своего училища, в рассказе «Махилов» изображает бурсу в Малороссии, подобно той, которая была у Нарезного или Гоголя. Описывая эту воображаемую бурсу, он мимоходом отмечает ее преимущества перед петербургской: «...что за молодцы семинаристы. Это не то, что петербургский семинарист, которому не съесть каши более полумиски и не выпить пенного более полуштофа. Вот, например, Махилов. Посмотрите, как лихо отхватывает он трепака среди обступивших его товарищей, с поднятой вверх бутылкою, в которой плещется, звенит и играет за зеленым стеклом русская пенная. Молодец! Плеча широкие, рост в сажень, и притом красавец, каких мало»².

¹ Помяловский И. Г. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л.: Academia, 1935. Т. 2. С. 303.

² Там же. Т. 1. С. 6.

В рассказе «Махилов» бурса не подвергнута социальной анатомии, самый материал далеко еще не осознан начинающим писателем, он описывает, а не анализирует, его увлекает чисто внешняя сторона быта бурсы, ее разгул и дикая сила. Подобно Гоголю, Помяловский играет многозначностью слова, форма риторического вопроса служит ему для создания комического описания, он рассыпает блестящие юмористические рисунки всеобщее возбуждение по случаю рекреации: «Что же встревожило и обрадовало ч...ю богословию? Философ ли возмутился и ему объявляется месть и гонение? Не презренный ли словарь – исчадие мелкой бурсы – оказал словом или делом непочтение аристократу семинарии, и богослов в гневе своем хочет раздавить его, как ничтожнейшую тварь, или мало дали каши за обедом и еще меньше посулили за ужином, и вот оголодавший богослов идет войной на буфет и поварню?»¹ И как бы восхищенный «торжеством из торжеств», Помяловский не только идеализирует бурсу, но делается ее панегиристом. «Нет ни одного угрюмого лица, все поет, все весело»². Растет всеобщее воодушевление. Вся несложность идейно-тематического замысла рассказа сводится к истории любви семинариста и дочки дьячка, а также изображению бурсацкой психологии, где главное место занимает кулачное право и прославление «зеленого змия».

Почему Помяловский избирает тему бурсы, что заставляет автора стать ее бытописателем? Ответ, кажется, настолько прост и ясен, что не требует никаких доказательств: тема подсказана самой жизнью, биографией будущего писателя, Помяловский пишет о том, что он лучше всего знает. Но такой ответ, применительно к рассказу «Махилов», более чем неудовлетворителен. В «Махилове» как раз отсутствует сама жизнь; бурсаки – богатыри, семинарская вольница, пир горой, благородные характеры, широкая душа, могучие руки и прочие литературные трафареты, которые ничего общего не имеют с бурсацкими

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. С. 5–6.

² Там же. С. 10.

характерами из «Очерков бурсы». Чем объяснить, что семинарист Помяловский, которого секли по всем правилам: и на воздушных, и у печки, и у порога, ссылали на камчатку, творили ерша, загибали салазки, потчевали смазью и боговой, и верховой, и всеобщей – забыл все это и изобразил бурсу и бурсака такими, какими они никогда не были, а через семь лет прозрел и рассказал правду о бегунах, о спасенных, о засеченных и о других жертвах дикого произвола? Разумеется, никакого прозрения не было. Писатель и в 1855 году так же хорошо видел все ужасы бурсацкой жизни, но не знал тех слов, которыми мог бы рассказать правду о «свинцовых мерзостях» жизни среды, его породившей. По мере освобождения от литературных шаблонов, по мере созревания художника приходили слова и образы, нужные для правдивого рассказа о жизни людей, уже при рождении своем обреченных на поругание и издевательство. И все же рассказ «Махиллов» принципиально отличен от предыдущих произведений, изображающих бурсака: бурсак перестал быть служебной деталью, орнаментикой рассказа, комической фигурой, выхваченной из анекдота; для Помяловского он – центр внимания. Писатель пока еще не умеет раскрывать социальный характер, описание его односторонне, внимание сосредоточивается на несущественных, нетипичных чертах, но перед ним стоит уже определенная задача – стать бытописателем бурсы. Нельзя не заметить, что при всем несовершенстве рассказа через толстую кору литературного шаблона пробиваются хотя и слабые, но новые ростки художественного осмысления образа бурсака; создается повесть о бурсе. В этом весь смысл первого рассказа начинающего писателя. По-видимому, «Махиллов» очень скоро перестал удовлетворять Помяловского; он не обращался к нему впоследствии, не пробовал переделывать и обрабатывать, разумеется, не пытался и опубликовать его¹.

¹ Впервые «Махиллов» был опубликован после смерти Помяловского в 5-м номере «Современника» за 1864 год как приложение к биографии писателя.

Неудовлетворенность «Махиловым» вполне естественна. Писатель словно скользит по поверхности материала, показывая бурсаков «поющим и пляшущим племенем». Здесь не было места для изображения главного – «крепкой» бурсацкой науки, всецеленной в «тело плохо кормленного бурсака». Помяловский прекрасно понимал, что духовные училища наполняются разношерстной и разновозрастной молодежью не для того, чтобы она бражничала и дебоширила, а чтобы «вкусала» науку. Но к теме бурсацкого просвещения писатель подходит с чувством внутреннего трепета; он хочет увидеть причины ненормальностей бурсацкого образования, под бременем которых изнывает и гибнет училищная молодежь.

Для осознания этих причин писателю пришлось взглянуть на своих героев в предбурсацкий период жизни, проанализировать жизнь ребенка, еще не введенного в «храм науки», соотнести семью и школу и ответить на вопросы: как из этих здоровых и нормальных детей, выросших в нужде, но еще не испорченных средой, складываются в бурсе характеры озлобленные, жестокие, озорные. Более того, Помяловский должен был показать, как в этом мире зоологических отношений, где подросток и взрослый стараются друг другу напакостить, бурса забивала ребенка и из смышленного и бойкого мальчика делала то озорного пакостника, то полудиота, не способного к умственному труду.

Четыре года спустя после написания «Махилова» в «Журнале для воспитания»¹ Помяловский опубликовал небольшой рассказ «Вукол», дав ему подзаголовок «психологический очерк». Желание разобраться в человеческих переживаниях делается потребностью писателя. Через год он пишет рассказ «Данилушка» с аналогичным подзаголовком. Наконец, в 1860 году Помяловский публикует очерк «Долбня» с подзаголовком «Воспоминания

¹ «Журнал для воспитания. Руководство для родителей и наставников, издаваемое Александром Чумиковым», 1859. Т. V. Кн. I.

из училищной жизни», тем самым подчеркивая документальность, правдивость рассказа, его мемуарный характер.

Все три рассказа являются цепью этюдов к будущим «Очеркам бурсы». Материал выкристаллизовывается, создается галерея характеров, ставятся актуальные вопросы современности: принципы воспитания, образовательная система, значение семьи и школы, отвергаются педагогические доктрины прошлого, герой раскрывается посредством психологического анализа, в повествование вторгается речь автора, который выступает психологом-педагогом, ищущим ответы на вопросы современной педагогики. По существу, Помяловский во всех этих рассказах ставит один главный вопрос: семья и школа. Школа калечит ребенка, озлобляет его, уродует, приглушает в нем все человеческие чувства. Как сделать так, чтобы познание науки для подростка было радостью, а не страданием, как опровергнуть пословичную мудрость – «корень учения горек»? В «Махилове» не ставились эти вопросы, там бурса изображалась отдыхающей – без занятий, без учителей и учеников, усваивающих материал, без учебников и методов обучения, – словом, брался такой материал, который абсолютно не раскрывал самого главного – школы. Здесь-то и было противоречие между литературным шаблоном, который не мог преодолеть автор, и жизненной правдой. Помяловский был еще очень молод в смысле писательского опыта, но не мог примириться с тем, что было написано им ранее, и искал повода для собственного опровержения.

Преодолевая литературные трафареты, писатель выступает в рассказе «Вукол» психологом, социологом, желающим не столько живописать явления, сколько их анализировать. Эта черта была присуща Помяловскому на протяжении всего творчества. Но только в самом конце своего жизненного и писательского пути он отчетливо осознал характер своего таланта и декларировал его в предисловии к задуманному роману «Брат и сестра».

Любовь к социальной анатомии мы будем наблюдать как в ранних, так и в зрелых произведениях писателя. На примерах «Вукола», «Данилушки», «Долбни» видно, что Помяловского интересует один вопрос – воспитание и образование. Решение этого вопроса он еще не умеет связать с социальным неустройством русской жизни. Писатель настойчиво ищет ответа в методах воспитания и обучения ребенка, понимая, что талант воспитателя, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другие. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами диалектика. Учитель-воспитатель, формирующий детское сознание, закладывающий моральные основы, дающий ученику знания, соответствующие его возрасту и разумению, – вот тема, которая оставалась в тени. Немногие писатели первой половины XIX века ее затрагивали. Рассказ «Вукол» посвящен этой теме.

Учитель Гаврилыч, с бессмертной методой «с энтих до энтих», с твердой верой, что «долбляжка» – единственный путь к науке; сам он тоже когда-то вкушал латынь под розгой и навеки запомнил значение слова «artocreas», ибо сам был обращен стараниями педагогов в «пирог с мясом». Помяловский протестует против принудительной системы обучения, где все покоится на отсутствии мысли, на страхе, нелепом зазубривании – долбежке. Такая система обучения, замечает писатель, не может не поддерживаться телесным наказанием, и оно будет оправдываться как разумный момент педагогического воздействия: «Есть у нас педагоги, особенно в заведениях для низшего класса, которые считают необходимою принадлежностью воспитания – глушить детей. “Я, говорит, умею вскипятить кровь ученику. Под лозой заставлю учить уроки”»¹.

Долбня и телесные наказания – вот краеугольный камень бурсацкого просвещения. Долбня мучительная, опустошающая, при которой ученик уподобляется попу-

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 35–36.

гаю, ему легче говорить по-«шицы»¹, нежели затвердить урок, который ему абсолютно непонятен. Рядом с «тренировкой памяти» стоит «одна из отвратительных операций». Почему дядя Семен Иванович издевается над Вуколом, почему щедро наделяет его «уходиранием», почему заставляет кланяться печке? Да потому, что «в дни юности своя» прошел он через все эти наказания, восприняв науку из рук какого-нибудь Кутейкина, этого неутомимого насадителя грамотности во всех сословиях Российской империи. Семен Иванович хорошо запомнил, как в свое время наука вколачивалась в его детское тело, на собственном опыте постиг, как надо обращаться с ребенком, и опыт свой перенес на Вукола.

Помяловский все время подчеркивает, что школа – больше, чем обучение; она не кончается со школьным возрастом, она определяет весь склад духовной жизни человека, делает его проводником знаний и идей, которые он усвоил, еще будучи воспитанником; она через детей влияет на родителей и на самый характер общества. Потому-то Гаврилыч учит Вукола так, как его учили, а Семен Иваныч воспитывает племянника по той же методе, по какой был воспитан сам. Ребенок переносит воспитательно-образовательную систему дядька и дяди до тех пор, пока ему не нанесут цинично-грубого оскорбления, пока не надругаются над его детским самолюбием, не плюнут ему в душу, не дадут понять, что он – «тварь дрожащая». «Дядюшка, дяденька, бейте, но не секите, еды не давайте три дня, ухо оторвите, но не секите»². Телесное наказание страшно не столько своим физическим изуверством, сколько тем озлоблением, которое рождается в душе наказуемого. Наказуемый теряет стыд, теряет человеческое достоинство; еще не сложившееся

¹ Говорить по-«шицы»: надо разделить слово на две части, к последней прибавить «ши», к первой – «цы», последнюю произнести сначала, первую – после. Например: Гаврилыч – шилыч-Гаврицы, баран – ширан бацы и т. п. Этот язык получил начало в бурсе и употреблялся там с незапамятных времен.

² Помяловский И. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 33.

нравственное чувство ребенка не только поругано, но вытравлено; он только что входит в жизнь и уже освобожден от всех нравственных сдерживающих начал; одно чувство – чувство мести охватывает все детское существо, «...не боюсь я теперь и розг... ничего не боюсь... Да и чего ж теперь бояться, чего ж бояться?.. Пусть бьют, все одно... А и я хоть раз, да побью ж кого-нибудь... Дядю побью... палкой побью... право, пойду и ударю... Высекут? Пусть высекут... пусть...»¹.

Наказание теряет свой смысл. Оно имеет значение только тогда, когда вызывает раскаяние, когда наказуемый признает свою вину и стремится ее искупить. Если нет такого понимания, то нет вообще никакой педагогики, нет школы как института, воспитывающего и вооружающего учеников знаниями и моральными принципами, «есть только казарма для малолетних преступников, уже не исправительная, а просто карательная»².

Телесное наказание лишает человека возможности анализировать собственный поступок, внутреннего рассуждения, апелляции к своему нравственному чувству, ибо само это чувство парализовано, вытравлено. Это наказание позорит, уродует, причиняет физическое страдание, но отнюдь не пробуждает нравственной оценки совершенного проступка. Там, где наличествует грубая сила, физическое принуждение, там нет места воспитанию, то есть обращению к сознанию человека. Акт позора клеймит, объявляет наказуемого отщепенцем; тот мучительно переживает стыд первого наказания, свыкается с новым положением, открыто или скрыто мстит наказуемому, вырабатывает иммунитет против физической боли, то сжимая, то распуская тело, наконец, просто привыкает к физической боли, как вообще ко всему привыкает человек. Весь смысл наказания исчезает, когда натренированный «преступник» преспокойно спускает штаны, заявляя: «Не репу сеять», а только сечь.

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 33.

² Ключевский В.О. Очерки и речи. Пг., 1918. Сб. 2. С. 239.

Помяловского возмущает цинизм бурсацкой педагогики, которая свято усвоила библейскую истину «сляцы его выю», присовокупила чисто туземное правило «любя сына, учащай ему раны» и, припудрив все это локковскими афоризмами: ребенок – воск, молодое деревце, чистый лист бумаги, не забыла искони завещанного правила – «страхом спасти, уча и наказуя». Писатель спрашивает: чего добились эти «чугунные натуры», апостолы розги, игнорирующие детские интересы, детскую жизнь, отказывая ребенку в самом главном – в чувстве уважения к нему, как к человеку? И отвечает: педагоги палки воспитывают пакостников, озорников, «отпетых», лентяев. «Воспитатели дивятся, как это из чистого, нежного, мягкого воску вылепилось у них уродливое детище, которое, как будто белены хвативши, начинает вопить и кричать, которое поднимает палку на наставника, кусает ему руки, закапывает, подобно Остапу, учебники в землю, не боится розог, стоит как истукан по три часа на коленях. Дивятся и папенька, и маменька, и няня-старуха, и училищное начальство». Все дивятся, а сами думают: «Хотя бы выдрали озорника»¹.

Где же выход? Где то противоядие от одичания и озлобления, от превращения в животное, подобное Семену Иванычу? Выход, по мнению Помяловского, в такой школе, где педагог относится к детям с «кротостью, учтивством и любовью», где воспитатель преисполнен терпеливой любви, полон преданности своему делу, где воспитатель видит в воспитанниках будущих граждан и вселяет в них «бодрый дух и веселый нрав», а самое главное, решающее – где педагог видит в ученике равного себе, т. е. человека. Таким спасающим началом для Вукола является директор гимназии, символизирующий новый тип педагога.

«– Ах ты, дикарь, дикарь. – В голосе директора слышалась отеческая ласка, чего Вукол давно не видал. Он вдруг заплакал.

¹ Помяловский И. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 35.

– Ну, глупенький, не плачь, не скучай.

– Да я не оттого... мне не скучно... мне не жаль дядю.

– Так тебе не жалко дяди?

– Нет, здесь, может быть, полюбят меня, а дома все ненавидели, говорили, что я глуп и урод.

– Друг мой, тебя будут любить здесь. Я буду твоим покровителем...»¹

Помяловский подчеркивает, что главное качество педагога нового времени – способность человечески отнестись к ученику и понять его горести и радости. Новый учитель, «имеющий любовь к юношеству и детству, не забывший свою молодость», вытесняет из жизни и школы «приверженцев жезла», способных заставить и подлозой уроки учить. Мало-помалу выходят старые люди в отставку, выгоняются из службы, вымирают. Ученики на стороне нового педагога, они обнаруживают ненависть к воспитателям старого времени. Идет борьба.

Композиция очерка «Вукол» представляет две параллельных линии, служащие обрамлением рассказа. В них раскрывается старая бурсацкая педагогика, с ее жестоким учителем, с неизменным принципом «страхом спасти, уча и наказуя», и новая педагогика, вызванная к жизни освободительными идеями 1860 годов, педагогика, проникнутая гуманизмом и уважением к ребенку, для которого, собственно, она и существует как наука о нем, для которого также существует и школа, и сами педагоги. Между двумя параллельными изображениями учителей старой и новой формаций помещается главное – история одного детства. Центр авторского внимания – Вукол, его внутренний мир, сложная цепь переживаний и ощущений ребенка. Раскрывая характер ребенка, писатель обнаруживает большое мастерство художника-психолога. Он убедительно умеет показать зависимость следствия от причины в мире детских чувств и поступков. Вукол – пробный камень, на котором испытываются две системы – две школы; одна уродует и ожесточает, вколачивает в ребен-

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 37–38.

ка чувство раба, другая вселяет в него веру в жизнь, согревает лаской, дарует уверенность в успехе, уважает в ребенке человека. Обе школы, говорит автор, реальность.

Автор заключает, что школа, где все покоится на принуждении и страхе, несостоятельна. Подобная школа не дает благоприятных результатов: ее воспитанники оказываются навеки оглушенными, а те из них, кто «превозмог», у кого оказалась натура железная, те сами налагают теперь на молодое поколение.

Помяловский непосредственно обращается к родителям и педагогам¹ с нравоучительной проповедью. Он выступает защитником малых сих и умоляет родителей и наставников не бить детей, ибо нельзя не уважать в ребенке свободное разумное существо, носящее в душе образ и подобие Бога.

Объективный смысл очерка «Вукол» значительно больше тех моралистических сентенций, которые высказывает Помяловский-педагог. Внимательно вдумываясь в смысл поставленных вопросов – о человеческом достоинстве, о праве незащитного, о защите угнетенного, можно видеть, что, хотя эти вопросы решаются на материале детской жизни, они выходят за рамки педагогики, являясь, по существу, вопросами политической жизни России 1860-х годов. Мир детства отражает сложные социальные конфликты русской жизни кануна реформ. Разрешил ли Помяловский эти вопросы в «Вуколе»? Нет, полностью не разрешил, на многом лежит печать «педагогической» ограниченности. Но многому он дал совершенно новое освещение, показывая, что школа у всех сословий пропитана бурсацкой методой.

Писатель вплотную подошел к изображению учителя нового времени. Но изображение приняло самые общие очертания, это скорее декларация, чем художественное раскрытие. Иначе быть не могло, ибо жизнь не давала другого материала для писателя. Педагоги новой

¹ Очерк непосредственно был адресован к педагогам и родителям и печатался в «Журнале для воспитания».

школы выступали разрушителями бурсы, но последняя не сдавалась. Рутиня, застой, зубрежка, порка – все это по-прежнему оставалось в избытке и было не только массовым, но в высшей степени типичным явлением русской школы 1850 годов.

Очерк «Вукол» во многих отношениях был знаменательным фактом в творческой жизни писателя, потому что здесь было многое найдено как в плане идейно-тематическом, так и в художественном. Помяловский нашел свой жанр, уловил пропорции между повествовательным материалом рассказа и авторским суждением по поводу изображенного. Им найдена новая тема – семья и школа, тема, которая раньше не находила своего художественного претворения; правда, она скорее названа, чем раскрыта. В дальнейшем она получит большую детализацию, как бы распавшись на ряд самостоятельных тем, где главное внимание будет уделено школе. Наконец, в очерке обозначились характерные черты таланта писателя, его любовь к социальной анатомии, его приверженность к психологическому анализу героя и умение объяснить внутреннюю, духовную жизнь персонажа теми социальными фактами, которые его окружают. Словом, «Вукол» во многом уже предвещал автора «Очерков бурсы».

Вслед за «Вуколом» Помяловский пишет очерк «Данилушка». Работа над ним падает на конец 1858 года. Очерк не был напечатан при жизни автора¹. Надо полагать, что вслед за очерком «Данилушка», где изображается жизнь подростка под кровом родительского дома, так сказать предбурсацкий период, Помяловский намеревался развернуть в целом цикле очерков последующие периоды жизни Данилы, показав его пребывание в бурсе. Образ Данилушки должен был стать, по замыслу автора, идейно-тематическим и композиционным центром, вокруг которого сосредоточился бы весь материал. Такое предположение вполне убедительно, если вспомнить, что

¹ Впервые публикуется после смерти писателя в «Женском вестнике» за 1867 г., № 3.

в «Долбне» рассказана жизнь Данилушки в бурсе. Правда, там он не является центром композиции – материал, живописующий училищную жизнь, отесняет его на второй план. Все внимание писатель сосредоточивает на показе «познания наук» – долбни. Писатель понимает, что для изображения жизни в очерковой форме вовсе не обязательно сконцентрировать весь материал вокруг одного героя и раскрыть его через восприятие последнего. Становится понятно, почему Даниле, как и Цапле, Бегути, Рабыне, будет отведено скромное место эпизодического характера в «Очерках бурсы».

Помяловский отказался от первоначального замысла и использовал отдельные фрагменты из «Данилушки» в последующих повестях и очерках. Сначала же очерк создавался как проблемно-тематическое развитие «Вукола». Многие вопросы, поставленные в «Вуколе», были уяснены писателем; он освободился от патетико-риторического тона, свойственного предыдущему очерку. Так, например, говоря о телесном наказании, Помяловский не взывает к очерстившим сердцам, а иронически замечает, что оно обратилось в бытовое явление, в чем виновато бурсацкое воспитание, вошедшее в плоть и кровь.

В очерке представлена семья церковного «пролетария», этого своеобразного сельского интеллигента. Он учит грамоте, переписывает бумаги, доставленные из города, читает книги «серьезного содержания», читает «с чувством, с толком, даже с расстановкой», безукоризненно исполняет свои дьячковские обязанности, то есть «скребет октавою так, что когда приходится произнести “Господи, помилуй” сорок раз, то у него выходит “Помилосты, помилосты”». Не чужды ему художества и ремесла: «Он был мастер резать из меди и кипариса крестики, чётки, образа, деревянные ложки, ухвертки, зубочистки и другие мелкие изделия». Перечисляя достоинства причетника, Помяловский раскрывает его в сфере быта и семьи. «Жена и дети Ивана Иванова жили в страхе божием. Хотя наш Иван Иванов и придерживался того убеждения,

что жена – слабый, немощный сосуд и такой сосуд, который снаружи красив, а внутри полон скверны и нечистоты, – все-таки он любил жену, – не романтически, конечно, а по-христиански, как заповедывали святые отцы». «Он был убежден, что ребенка хоть раз в месяц следует вспарить, но имея мягкую натуру, он парил их редко, за что немало претерпевал мучений совести». Схвачены характерные черты домовладыки, творящего суд и расправу над чады и домочадцы. Помяловский научился комически изображать бытовые детали, не снижая общего серьезного тона повествования. Он сосредоточивает все внимание в первой части очерка на изображении жизни семьи. Мелькают отдельные черты характера Татьяны Карповны, чуть намечены образы Анны и Петрухи, упомянут Андрейка. Все это нужно художнику, чтобы схватить семейную картину и на первом плане поместить гордость и надежду родителей – Данилушку.

Композиционно очерк чрезвычайно интересен. Характеры Ивана Иванова и Данилушки раскрывают друг друга. Иван Иванов, уравновешенный, заботливый, способный ко всякому делу, нашел свою стезю жизни, неизменно идет по ней. Ни бурсацкое воспитание, ни среда не смогли окончательно искалечить его, заглушить в нем здравый смысл и доброе сердце, своротить его с избранного пути домовитости и семейственности. Лишь изредка его охватывало смутное чувство неизбывной тоски – соблазн «зеленого змия»: «Начнет он бродить по комнате, – бродит день, другой, не ест, не пьет, не говорит ни с кем, и все точно перемогается. Наконец, скажет: “Нет, грех уж, видно, такой!” и через полчаса является пьян-пьянехонек...»¹.

Рядом с дьячком стоит его сын Данилушка, обладающий многими качествами отца. Ясный ум, находчивость, изобретательность, способность к ремеслам, наблюдательность – словом, разносторонне одаренный ребенок; в нем ничто еще не приглушено средой, не забито бурсой. Помяловский мастерски показывает, как отцовский дес-

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 42.

потизм вырабатывает в подростке свое ребячье «хочу», как формируется волевое начало Данилушки. Смышсленный ребенок понимает, что причиной его наказания является вовсе не то, что он повесил фуражку козырьком кверху, а то, что отец расстроен и на нем срывает злобу. «Понятно, каково было Даниле, свободному, как воздух, свежему и здоровому, сильному и умному ребенку, подчиниться капризу отца и розге». Писателя привлекает эта самобытная, здоровая натура ребенка. «Даниле одиннадцать лет. Он – мальчик крепкий, здоровый и коренастый; его воспитали наш сельский воздух, здоровая пища и приволье деревенское; летом подпекло солнце, зимой отполировал мороз. В нем уже обнаруживается та же способность ко всякому делу, какая была и у отца, и то же обилие талантов». Кажется, писатель нашел ту систему воспитания, которая вырашивает нормальных, красивых людей. Данило – ребенок, но уже нужен для семьи: он помогает в доме, в огороде, в саду, нянчит маленького брата – все это поручалось Даниле по мере детских сил и все это развивало в нем практичность и ясность взгляда. Но где те образовательные сведения, которыми вооружает ребенка школа, подготавливая его к жизненным испытаниям? Ответ на этот вопрос и есть основная идея очерка.

Помяловский показывает, что самая совершенная школа – жизнь, но такая жизнь, где ребенку предоставляется возможность непосредственного общения с природой; и развивающаяся детская наблюдательность черпает из этого источника значительно больше и успешнее, чем из книг, где тот же материал втиснут в прокрустово ложе глав и страниц скучного учебника. Такой «руссоизм» не был новостью для педагогической мысли вообще. Но Помяловскому он казался весьма радикальным выходом, освобождающим ребенка от мук школы, с ее долбней и наказаниями. «Не выезжая из деревни, он знал больше всякого городского мальчика, окруженного нежными гувернантками, учебниками, глобусами, картинами и другими лицами и препаратами воспитания. Но ни один городской мальчик не видывал

картины такой, какие видывал Данило. Никому учебник не говорил так много, как Даниле говорила мать-природа. Да он и сам был дитя природы»¹.

Писатель подчеркивает, что такая «образовательно-воспитательная система» доступна только одному сословию, составляющему большую часть населения России, — крестьянскому.

Человек крестьянского мира рос и воспитывался, матерел и выходил на дорогу жизни со здоровым и ясным взглядом, с крепкими мускулами, с практическими знаниями, необходимыми ему в быту, в его повседневном труде. Подобное утверждение — преклонение автора перед крестьянской средой, к которой близко стоял Иван Иванов, которая воспитывает Данилушку. Но именно люди этого мира и тянутся к букварю, учатся у Ивана Иванова и мечтают о школе. Сам Помяловский понимает противоречивость своих утверждений. Чутье художника-реалиста спасает его от иллюзий, он прекрасно знает, что настанет время, когда его герою будут тесны просторы полей; у одаренного подростка Данилушки только один путь, и, конечно, не в природу, а в бурсу.

Смысл композиционной параллели, о которой уже говорилось, значительно глубже, чем взаимное раскрытие характеров сына и отца. Почему Иван Иванов, этот положительный характер, волевой человек, одаренный многими способностями, так и не поднялся выше дьячка, почему не кончил курса, не превозмог семинарскую мудрость? Какая гарантия, что сын, во многом повторяя отца, не повторит его и на этом поприще? К этому вопросу Помяловский подводит своего читателя всем ходом повествования.

Очерк заканчивается печальным эпилогом — отъездом Данилушки. Автор умеет показать внутреннее брение отца, отправляющего сына в бурсу: его надежды, мечты, упования на «добропамятство» и «скоровычие» Данилы, которые должны проложить ему дорогу в жизнь. Но знание жизни Иваном Ивановым подсказывает ему, что горь-

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 49.

кий путь избрал он своему сыну. Отец поддерживает бодрость духа у мальчика шуточными рассказами о бурсацкой порке и напутственными подарками, но к моменту отправки сына резко меняется настроение у дьячка, меняется и весь тон повести. Тяжелое предчувствие рождается у ребенка, а перед взрослым, прошедшим через горнило бурсацкой мудрости, заново встает пережитое. «Ну и я тебе скажу, сынок, кое-что: терпи, все терпи; вытерпишь, человеком будешь. А вытерпеть надо – такая уж участь»¹.

Прощальная сцена как нельзя лучше показывает отношение к семинарской науке как к чему-то страшному, тягостному, почти неодолимому. Это звучит и в словах отца Василия, для которого она, отделенная многими годами жизни, вновь встает тяжким воспоминанием, и в наставлении дьячка, который так и не преодолел сей премудрости и твердо убежден лишь в том, что для преодоления ее нужно выработать в себе чувство безграничного терпения: «терпи, все терпи».

Печальный колорит сцены, доведенный Помяловским почти до трагизма, раскрывает действительно одну из страшных сторон жизни духовного сословия – уход в школу. Автор показывает это и в заунывном пении молебна, и в причетах и столах матери, и, наконец, в своем собственном суждении, в своей авторской солидаризации с теми настроениями и чувствами, которые испытывают все действующие лица. «И есть чему плакать, есть!»

Помяловский словно остановился перед нерешенным вопросом. В «Вуколе» намечался какой-то просвет, возлагались надежды на учителей нового склада, которые разрушат старую школу. В «Данилушке» этот вопрос вообще не ставится. Здесь главное внимание писателя занимает семья, а не школа. Училище маячит где-то впереди, но так далеко, что Данило был уверен, что если придется ехать в бурсу, то «не раньше, как через сто лет». По мере развития очерка бурса вырисовывалась все явственнее. Хотя последняя глава не изображает бурсацкую жизнь, но общий тон

¹ Помяловский И. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 52–53.

описания принимает тягостный характер, предвещая непосредственное столкновение подростка с училищем.

Рассуждение о том, что лучшая школа – сама жизнь, настолько общо, что не может удовлетворить писателя. Он понимает, что школа есть лишь часть жизни человека, притом наиболее короткая. Человек из ученика всегда превращается в учителя, в какой бы сфере ни протекала его деятельность. Понимание жизни как школы имеет определяющее значение в воспитании человека, но отнюдь не в образовательной системе. Все это Помяловский прекрасно знал, как знал и то, что человек всю жизнь учится, обогащаясь жизненным опытом и научным познанием. Но это уже лежит за пределами школы как института, дающего знания в определенной системе.

Помяловский знал, что духовное сословие поставляет своих детей в рекруты для бурсацкой казармы. Но выхода из этой аномалии он не видел. Чем виноваты дети, выросшие в бедности, в черноте, в избе сельского дьячка, и что им сулит школа? Ту же бедность, грубость, латынь и диспуты, дикий произвол учителей и наставников. Неужели эти дети, едва осознав себя, не спросят: «Разве мы не люди?» Ответа на этот вопрос автор не дает. Новый очерк был более зрелым в смысле писательской техники, но в разрешении основного вопроса, поставленного в очерке «Данилушка», писатель оказался беспомощным. Этим и объясняется то, что Помяловский не только не напечатал «Данилушку», но даже не делал никаких попыток к его публикации, щедро используя отдельные эпизоды в последующих произведениях. Сама неудача таила в себе залог успеха. Художник видел будущий объект своего изображения, он уже знал, с какой стороны подойти к материалу. Задача была ясна – разоблачить систему образования бурсы, показать учителей, их методы преподавания, их отношение к предмету и отношению к ученикам, показать и учеников, на уроке, за книгой, в свободное время – словом, дать всесторонний анализ школы, непосредственно адресуя этот анализ к учителям и родителям.

В 1860 году очерк был опубликован в журнале «Воспитание»¹ под красноречивым заглавием «Долбня». Это был своеобразный расчет с «Махиловым». Вся несостоятельность последнего была блестяще опровергнута материалом «Долбни». В «Махилове» давалось одностороннее раскрытие бурсы; был обойден самый существенный вопрос – обучение, в «Долбне» он стоит на первом плане. В новом очерке писатель использует такой материал, до которого никто прежде него не дотрагивался, причем изображает не внешнюю его сторону, а внутреннюю сущность.

Наконец, именно в «Долбне» Помяловский уяснил для себя, какие богатые возможности дает самый жанр. Очерк освобождает писателя от обязательного пользования фабулой, давая ему полную возможность живописать и раскрывать материал, интересный и ценный сам по себе. Писатель вынес приговор бурсацкой системе образования, показал, что в условиях бурсы высокое назначение учителя-наставника низведено почти до комического положения. Сами учителя равнодушны к своему делу, и это не какие-нибудь гаврилычи-кутейкины, но те, кто овладел вершинами науки, кто «превозмог» и философию, и логику, и риторику, и множество других наук. Этим равнодушным людям вверяется молодое поколение, и они наставляют его на путь истинный. Тип учителя получает у Помяловского раскрытие в сатирическом плане; в пародийно-комической форме он показывает, что все знания, которымиотяжелена голова бурсацкого профессора, не представляют никакой ценности. «Сам [учитель] получил воспитание схоластическое, повит был топиками и периодами, превзошел всевозможную синекдоху и иперболу, острием священной хрии вскормлен, воспитан тою философией, которая учит, что “все люди смертны, Кай – человек, следовательно, Кай смертен”»². Все эти знания ничтожны не только потому, что они абстрактны, отвлеченны,

¹ «Журнал для воспитания. Руководство для родителей и наставников, издаваемое Александром Чумиковым», 1860. № 6. С. 422–423.

² Помяловский И. Г. Указ. соч. Т. 2. С. 285.

схоластичны, ложны и т. д., но прежде всего потому, что всякое знание имеет силу воздействия только тогда, когда оно согрето убеждением, когда овладевший им принимает и исповедует его как собственное убеждение, либо не принимает, опровергает, отвергает и создает свое новое. Учитель же Краснояров, изображенный Помяловским, смотрит на науку как на необходимый, но скучный проселок, «которым скорее объезжают в коллежские асесоры». Для него наука лишь путь к достижению цели – получению чина. Это тип педагога, который считает своей обязанностью удобрять «умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы»¹. Естественно, что такой взгляд учителя не может способствовать развитию в ребенке пытливости и интереса к предмету.

Весь склад мышления Красноярова отличается полнейшей беспринципностью. Для него главное в науке – это интеллектуальная эквилибристика; он мог «победоносно витийствовать на одну и ту же тему pro и contra, смотря по тому, как прикажет начальство, причем пускал в дело все сто форм схоластических предложений, все роды и виды силлогизмов и паралогизмов»². Вся скудость этой науки обнаруживается именно тогда, когда учитель доказывает, «что человек есть существо бессмертное, одаренное свободно-разумной душой, царь вселенной, – хотя, странно, вне метафизической сферы, в действительной жизни он едва ли не обнаруживал того убеждения, что человек не более, как бесперый петух»³.

Помяловский показывает казенное отношение Красноярова не только к своему делу – преподаванию, но и к самому предмету, полное равнодушие к тому, чему его учили и чему он учит. Вся его метода зиждется на долбне. Здесь нет места детской мысли, анализу, посильному разумению прочитанного учащимся. Важно не понять, а запомнить:

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1930. Т. 8. С. 117.

² Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 285.

³ Там же.

«Вырастешь – поймешь, что и для чего учил». Такое удобрение ума «наукой» для будущей жатвы страшной тяжестью ложится на ученика. «Учение здесь является решительно физическим страданием». Рядом с мучительной долбней стоит другой принцип методики Красноярова, на первый взгляд, казалось бы, не вытекающий из его системы – «возражения». Возражения должны были вызвать у ученика проникновение в материал, анализ, рассуждения. Но прежде всего, они были редки, то есть считались ученой роскошью, к тому же были абсолютно непонятны ученику: «Метафизика, риторика, схоластика слышались в возражениях Красноярова. Ученик до боли в висках напрягал голову, чтобы разрешить великие вопросы педагога-философа». Сами возражения вовсе не рассчитаны на пробуждение детской мысли и ее активизацию. Краснояров считал важным приучить ученика опровергать определенные положения уже заранее заготовленными аргументами: расчет на то, что из среды бурсаков найдется какой-нибудь «башка», который сочетает в себе способность долбить со способностью отвечать на возражения, и через несколько лет появится новый Краснояров, который так же будет «налегать» на молодое поколение. Бездушием, казенщиной веет от таких занятий; бурса выглядит казармой, урок напоминает суд и расправу, по молитве он начинается, по молитве заканчивается. Но сама молитва звучит командой, она лишена религиозной сосредоточенности и веры. В промежутке между двумя командами преподаватель обогащал учеников знаниями, то есть «...выкликал незнающих, – иных сек, иных ставил на колени или лишал обеда; потом спрашивал знающих и нередко засыпал во время ответа, а ответчику приходилось ждать, скоро ли ударит звонок и разбудит Красноярова. Проснувшись, педагог отмечал в учебнике урок к следующему дню и по молитве “Достойно есть...” уходил из класса»¹. Проанализировав урок, Помяловский спрашивает: что же дает эта «наука», какое чувство она рождает у подростка? Кроме ненависти, она ничего не

¹ Помяловский И.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 284.

вызывала у ученика. Подобно тому как бурсак приспособивался к телесному наказанию, он приспособивался и к бурсацкой науке, смотря на нее как на неизбежное зло в своей жизни, и мстил ей, как мог. Если бурсак не был «башкой» или «камчадалом», он старался скорее забыть об уроке, освободиться от тяжкого бремени «знаний», надыхаться свежим воздухом, не отравленным запахом бурсы, чтобы вновь засесть за долбню: «...скоро он [Данилушка] почувствовал, что в нем совершается что-то новое, еще никогда им не испытанное, как будто перед глазами его опустились сети, одна за другою, в бесконечном ряде, и мешают видеть ясно предметы, что голова его перестала действовать...»¹. Очерки «Долбня» и «Данилушка» по сути являются первой редакцией «Зимнего вечера в бурсе». Характеристика Красноярова и всей бурсацкой педагогики оживает в очерке «Бурсацкие типы».

Место очерка в истории русского реализма

«Очерки бурсы» Помяловского продолжали литературную традицию, которая сложилась в 1840 годах в натуральной школе.

На протяжении 20 с лишним лет мы можем наблюдать, как, начиная со школы Белинского, достигая своей вершины в творчестве писателей 1860-х годов, очерк продолжает существовать и в творчестве Глеба Успенского и, наконец, удерживается, хотя и не имеет уже доминирующего значения, в творчестве А.П. Чехова («Остров Сахалин») и В.Г. Короленко.

Писатели 1840 годов, выдвинув лозунг «социальность», реалистически воспроизводили действительность, отбирая тот тематический материал, который представлял наиболее яркую картину жизни социальных низов дореформенной России. Материал интересовал сам по себе, он не нуждался в сложном и развитом сюжете, увлекательности рассказа. Факт появления в литературе мелкого чиновника, разносчика, денщика, уличного музы-

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 286.

канта, дворника, мастерового был настолько значительным и важным, что требовал новой соответствующей формы. Писатели тех лет называли свои очерки «физиологическими», подразумевая по этим термином полное и всестороннее описание жизни, быта, социальных и правовых условий. Они непосредственно фиксировали действительность, то есть отдавали предпочтение фактам действительности перед фактами искусства. Разумеется, когда появился первый сборник «Физиология Петербурга», то Некрасов имел в виду социологическое описание жизни угнетенных слоев, само по себе интересное для писателя и читателя того времени.

Литераторы выступали с требованием уважения к человеку, они впервые сказали о том, что ни один труд не унижает человеческое достоинство. Но в этой адвокатской речи в защиту «униженных и оскорбленных», в защиту младшего брата был и элемент снисходительности к самому предмету изображения, что особенно проявилось у писателей, впоследствии ушедших в лагерь либерализма. Таким образом, писатели школы Белинского, при всем их страстном стремлении к правде жизни, не избежали односторонности. Но литература 1840 годов выполнила свою благородную миссию, выступая в защиту «униженных и оскорбленных», оправдывая, а подчас и восхищаясь представителями этого мира. Само обращение писателей к физиологии социальной жизни явилось откровением.

Писатели 1860 годов не удовлетворились этими выводами. Да и сам принцип «физиологического» изображения нуждался в значительном расширении. Если писатели 1840 годов выступали как адвокаты и «панегиристы» героев своих очерков, то писатели-шестидесятники вскрывали все язвы социальной жизни. Лучше всех эту тенденцию отразили Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» и Помяловский в предисловии к роману «Брат и сестра». Н. Успенский в «Деревенских повестях» с потрясающей откровенностью изображает неподдельную правду, взятую из быта. Решетников в «Подлиповцах»

рисует бедность, до того «облежавшуюся», что потеряно и притуплено чувство страдания от нее. Разумеется, писатели 1860 годов имели более острое зрение, нежели писатели натуральной школы. Они выросли в период казуна реформ, вступили в литературу вместе с «освобождением» крестьян и по праву могли назвать себя народными защитниками. У них появляется описание характера, внутреннее раскрытие, психологический анализ. На первый взгляд может показаться странным, что у Тургенева, Григоровича психологическое раскрытие персонажей менее разработано, чем у Помяловского, Решетникова, Слепцова. Писатели 1840 годов изображали характер односторонне, открывая лучшие черты своих персонажей, сострадая им и оправдывая их. Исключением является Достоевский. Для него внутренний мир героя всегда был самоцелью, на нем-то и строил писатель все повествование, не прощая своему герою ничего, не утаивая от читателя сокровенных, темных сторон его душевной жизни. Писатели 1860 годов, изображая внутренний мир человека, показывали всю совокупность переживаний, как положительные, так и отрицательные стороны персонажа. Писатель говорит: «Се – человек», но при этом дает объяснение причины поведения, психологического склада и духовной жизни своего героя.

Ослабление интереса к сюжету мы наблюдаем у писателей 1830-х годов, в частности у Гоголя, для которого сюжет лишь внешний повод для раскрытия материала – не в сюжетном плане лежит богатство мысли писателя, а именно в том, что выходит за грани сюжета. Интрига теряет свою увлекательную роль. Большое значение приобретают авторские отступления, рассуждения по поводу, описание автором того, что окружает героя. Такой, казалось бы, резонерский характер повествования должен был ослабить интерес к приведенному материалу. Но социальная значимость этого внесюжетного материала настолько велика, что она сама по себе имеет огромное значение. Эту сторону гоголевского творчества, то есть раскрытие жизни под социальным

углом зрения, произнесение над ней приговора и разрабатывали писатели натуральной школы.

Писатели 1860-х годов значительно развили эту тенденцию. Вопрос об отношении искусства к действительности сделался одним из коренных. Причин тому было много. Основная причина – это тот утилитарный взгляд, который сформулировали шестидесятники как в своих теоретических работах, так и в художественных произведениях.

Для разъяснения этого вопроса удобно привлечь Писарева, который довел до крайнего предела утилитарный взгляд, многое огрубил и в то же время дал нам возможность именно в силу упрощения взглядов на искусство, судить об отношении писателей 1860 годов к литературе дворянского периода. Писарев требует от художественной литературы в первую очередь познавательного значения, познавательного не в нашем смысле слова, а в том прямолинейном понимании мысли Чернышевского, что искусство должно быть учебником жизни, непосредственным ответом на поставленные вопросы, непосредственной рецептурой поведения человека в тех или иных обстоятельствах. Литература как особая форма познания действительности Писаревым практически отвергалась. Это была крайняя точка зрения вульгарного материалиста 1860 годов, однако она очень показательна и во многом проливает свет на интересующий нас вопрос.

Это объясняется новым господствующим мировоззрением – материализмом. Представители научного мира выступают не только как специалисты в своей узкой области, но и как общественные деятели (Пирогов, Сеченов и другие), в ряде случаев перенося метод своего научного мышления на факты общественной жизни. Эти взгляды молодого русского материализма не только не были чужды литературе, которая всегда шла в авангарде общественного движения России, но всячески популяризировались писателями. Отношение к литературе, как и к искусству вообще, в эти годы характеризуется рационалистичностью.

Легко себе представить, как писатель-разночинец, бурсак, прошедший через все «тернии» бурсацкого воспитания, начинал эмансипироваться в плане гражданском, этическом, философском. О чем он мог писать? Что должно было привлекать его в первую очередь? Что было пафосом его творчества? Сама реальность, пережитая и выстраданная им. Жизнь каждого из этих замордованных, засеченных, доведенных до отчаяния людей, доведенных до неистовства и скрежета зубовного, проклинающих день своего водворения в бурсе, – эта жизнь была красноречивее всякого романа, и пережитое толкало писателя-разночинца 1860 годов на ту мысль, что море страдания переплыл не только он, но и мужик, и мещанин, и все представители податных сословий, бесправные и забитые, вечно находящиеся между молотом и наковальней. Это и тянуло их к картинам жизни, которые не требовали установившейся поэтики: в произведении должны быть завязка, кульминация, развязка и прочее. Сами жизненные факты, изложенные писателями, написанные кровью сердца, были настолько убедительны и страшны, что легко вступали в соперничество с большим искусством.

Сюжет подчас стеснял свободу начинающего писателя, он лишал его возможности говорить непосредственно о тех фактах, которые ему были хорошо известны и которые, с его точки зрения, имели сами по себе первостепенное значение. Недаром Гоголь говорил, что он еще не научился у великих мастеров завязывать и развязывать художественное повествование. И писатели-разночинцы с полным правом могли повторить слова Гоголя. Но дело не столько в том, что они не умели, «как великие мастера, завязывать и развязывать» (творчество Щедрина в этом отношении прекрасно доказывает его мастерство писателя-романиста; и романы Помяловского получили высокую оценку не только современников, но и для Горького писатель был новой вехой в русской литературе), а в сознательном устремлении излагать факты жизни, подавать самые типические явления современности, живописать

социально-психологический мир нового героя, объяснять факты действительности. И очерковая литература была самой продуктивной формой, как нельзя лучше отвечавшей злобе дня. Первый, кто это прекрасно осознал и кто на протяжении всего своего творческого пути перемежал очерк с романом, отдавая предпочтение все же первому, был Щедрин со своими «Губернскими очерками».

Каковы же характерные черты очерка как жанра? Главное, что очерк – непосредственный отклик на общественные и политические события. Он легко циклизуется. Перед читателем не только проходят друг за другом сцены и события современной действительности, но и разрешаются самые злободневные вопросы. Очерк освобожден от фабульно-сюжетной стороны. Писатель-очеркист не разрабатывает сюжет в общепринятом понимании этого слова, для писателей 1840 годов, так же как для писателей-очеркистов 1860 годов, сюжет подчас является тормозом.

Актуальность тематики всегда дается в очерке как некий синтез, когда через описание отдельного события или отдельного человека перед читателем встает типичский, синтезированный, обобщенный материал. Так, например, когда Щедрин изображает Крутогорск, то перед читателем встает вся Россия, или, вернее было бы сказать щедринскими словами, «вся губернского-уездная Россия». Когда Помяловский изображает бурсу, то перед читателем – опять российская действительность, но в ином, более узком аспекте, чем у Щедрина.

Изображая быт, нравы, обычаи, систему обучения, писатель сумел показать общие черты психологии и быта, типичные для Российской империи: палочная система, взяточничество, сыск и фискальство, слепое преклонение перед властью предрержащими. Такая проекция тем более страшна, что очеркист не ставит своей главной целью проведение этой параллели, его главная цель много уже, как цель всякого художника-очеркиста, – описание бурсы, ее нравов и обычаев, ее педагогической системы. Пафос его очерков, по существу, сводится к утверждению, что

бурса забивает воспитанника, уродует и калечит его, выхолащивает из него живое чувство, обращает его либо в полуидиота, либо в подлеца и, в лучшем случае, в страстного отрицателя бурсы, в бунтаря, непосредственно протестующего против современного уклада жизни либо тайно носящего в душе своей протест, который рано или поздно выльется наружу. Но ведь это субъективный смысл; объективный же смысл очерков Помяловского значительно шире, ибо в этом узком мирке бурсы отразилась вся Россия 1850–1860 годов XIX века.

Герой очерка всегда является жизненной, типичной фигурой, и писатель-очеркист вынужден изображать его такими характерными чертами, которые заставляют читателя сразу понять, с кем он имеет дело. Приемы для такой характеристики могут быть самые разнообразные: имена, прозвища, чины и т. д. Раскрытие персонажа идет не в сюжетном столкновении – эта возможность, по существу, исключена для очеркиста. Авторское описание есть не что иное, как напоминание читателю о том, что он постоянно видит и что ускользает от его невнимательного взгляда в силу рассеянности, несобранности явления. Очеркист отбрасывает все случайное; герой или героиня очерка, если к ним применим этот термин, выступают как типические характеры, по преимуществу жизненные, постоянно встречающиеся, запечатленные в художественной форме.

Типичными обстоятельствами для очерка является та социальная среда, в которой и посредством которой раскрывается сам характер или, вернее, подтверждается авторская характеристика персонажа. Возможности очеркиста по сравнению с любой другой формой беллетристики ограничены. Именно в силу этого от очеркиста требуется такая экономия и локальность художественных средств, при помощи которых автор сразу мог бы характеризовать своего героя и в его внутренних переживаниях, т. е. в плане психологическом, и в плане социальном и сочетать эти два начала.

Если автор романа или повести может уделять десятки страниц диалогической форме, с помощью которой раскрывается внутренний мир персонажей, то очеркист должен буквально несколькими строками диалога раскрыть своего героя. Предельный лаконизм языковой характеристики героя является чрезвычайно важной и существенной художественной особенностью очерка. И дело здесь вовсе не в размерах, а в том, что соотношение авторского комментария и непосредственно изображения совершенно иное, чем в романе, повести и др. История литературы постоянно встречается с такими фактами, когда писатель характеризует те или иные события не через жизнь своих героев, а сам выступает в качестве рассказчика или повествователя, желающего сообщить или осмыслить происходящие события. Но такое авторское вмешательство в самых различных формах – то как прием автора-рассказчика или автора, сливающегося с главным героем, то как автора-публициста (философия войны у Толстого) – имеет всегда ограниченный характер, то есть данный прием может быть в произведении, может и не быть, лирические отступления могут быть, могут и не быть. Для очерка же обобщающий момент, авторское суждение являются главными и определяющими. Факт, человек, обстоятельства типичны – все это тот материал, который читатель знает непосредственно из жизненного источника. Очеркист потому и подает этот материал, что он «кричащий», и писатель выступает как общественный деятель, выносящий свой приговор приведенным фактам. Он акцентирует внимание именно на этой стороне явления, заставляя читателя быть соучастником или критиком его рассказа.

В очерке писатель не должен скрываться за спинами своих героев. Его задача не в том, чтобы создавать иллюзии существования действующих лиц и событий, им рассказанных, а описывать действительные факты, утверждать, что все это так и было, что он сам все это видел, испытал. Он доказывает, что материал очерка – это вовсе

не художественный вымысел, а человеческий документ, равноценный любому документу.

Но никогда не надо забывать, что в самом этом утверждении писателя есть нечто от художественного приема, что типизация характера присуща очерку так же, как всем другим художественным жанрам. Следовательно, сам отбор характеров отнюдь не является фотографией действительности, зарисовкой с натуры.

Говоря об очерковой литературе как непосредственном изображении фактов действительности, необходимо показать отличие очерка от романа и повести, с одной стороны, и мемуара – с другой. Роман и повесть также отражают явления действительности. Материал жизни не требует от писателя-очеркиста того, что он требует от романа, то есть детальной сюжетной разработки, продуманной интриги или коллизии в зависимости от предмета, изображенного в романе, сложной взаимосвязи героев, нарисованных в произведении. Именно это сцепление событий и героев, этот кусок жизни, особо осмысленный и повторенный художником в искусстве, не только чрезвычайно сложен по своему рисунку, но словно живет совершенно самостоятельной жизнью, прихотливой, противопоставленной жизни действительной – в том смысле, что художник-романист акцентирует главное внимание на жизни своих персонажей. Герои встают перед читателем как его друзья и враги, соперники или соучастники, и в то же время между ними и читателем существует некий водораздел, некая условность, которая характерна для всех искусств, и в частности для литературы.

Исторический роман может быть написан и в XIX, и в XX веке. И это, действительно, будет исторический роман, с наличием коллизий, с решением больших национально-исторических вопросов, интересно разработанной интригой. Естественно, что именно историчность этого романа не будет ущербной, а наоборот, будет содержательной и принципиальной, независимо от того хронологического отрезка, который лежит между историческим фактом и

временем создания такого романа. Почти невозможно представить себе очерк на историческую тему или цикл очерков, например, «Севастополь в мае», «Севастополь в декабре». Зато вполне реально создание современным писателем романа на тему «1853–1855 год». Такое сопоставление убеждает нас в том, что очерк является литературным жанром, обусловленным моментом, непосредственным первым откликом на совершающиеся в жизни события.

Внешне очерк или цикл очерков близко стоят к мемуарной литературе, но это чисто внешнее, а потому обманчивое впечатление. Очерк есть рассказ из собственной жизни о пережитом и виденном. Это действительно роднит его с мемуаром, но, кроме внешнего совпадения, мы будем встречать целый ряд различий между этими формами повествования. Мемуарист добросовестно излагает факты своей жизни; и как бы интересны они ни были, они всегда односторонни, ибо лишены обобщающего характера. Они дают частности, а не индивидуальное в общем, хотя приобретают относительный исторический смысл. Эти человеческие документы крайне субъективны, да и по природе своей мемуарист не может дать обобщенную картину жизни. Если он стремится к обобщению, к рассуждению по поводу пережитого и виденного, к выяснению типических характеров, то мы видим, как исчезает мемуарист, и факт делается не чем иным, как условным приемом художественной формы. Таким блестящим примером, где мемуарность «разрушилась» или стала художественным приемом, являются «Былое и думы» Герцена.

Легко убедиться, что очерковая литература стоит значительно ближе к роману и повести, нежели к мемуару. Очерк возник в период становления критического реализма. Действительность в ее пестроте отбирается очеркистом, отбирается наиболее яркое, типическое. Для писателей 1840-х годов прошлого столетия очерк явился определенным моментом их творческого развития. Они либо начинали с очерка, либо обращались к нему после первых опытов для того, чтобы в этом жанре отточить свою

реалистическую манеру. Для Тургенева цикл очерков «Записки охотника» был звеном в развитии реалистического искусства, так же, как для Толстого «Севастопольские рассказы» были своеобразным этюдом к «Войне и миру». Сама форма очерка толкала писателя к тщательному анализу жизненных фактов. Более того, сама природа очерка требовала героя, но не в литературном смысле. Герой романа всегда заинтересовывает нас богатством своего духовного мира; герой очерковой литературы волнует нас своей предельной жизненностью, типичностью. Эта жизненность прежде всего в том, что герой очерка не был героем литературы в условном смысле этого слова, но он всегда был наиболее ярким, сложившимся явлением в жизни. Роман о денщике, дворнике, извозчике неизвестен нам в литературе 1830 и даже 1840 годов – им отведены места «райка» в большой литературе. Но в физиологическом очерке они занимают первые ряды и раскрываются во всем богатстве социальных, психологических и этических характеристик. У Гоголя и Нарезного бурсак выступает в условно-комическом плане, у Помяловского он раскрывается в сложном социально-психологическом плане. Очерк является своего рода первым этюдом для всестороннего исследования характера героя.

Разумеется, каждый большой писатель шел своим путем. Но то, что он проходил через стадию очерковой литературы в своем развитии, это можно показать на примере творчества Толстого, Тургенева, Щедрина, Помяловского.

До этого мы по преимуществу ссылались на очерк социально-психологического характера, игнорируя тот факт, что жанр путешествия есть не что иное, как цикл очерков, своеобразно организованных.

Жанр путешествия – одно из звеньев критического реализма, он имеет своих представителей не только в литературе XIX века в лице И.А. Гончарова («Фрегат “Паллада”»), Д.В. Григоровича («Корабль “Ретвизан”»), но также и в XVIII веке в лице Н.М. Карамзина («Письма

русского путешественника»), П.И. Шаликова («Путешествие в Малороссию»), А.Н. Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву»). Если исключить имя Радищева, то станет совершенно ясно, что сам жанр, который мы назвали своеобразной циклизацией очерков, не имеет отношения к реализму. Все дело в том, что ни «Письма...» Карамзина, ни «Путешествие...» Шаликова не ставили задачи описания типических характеров. Само изложение фактов путешествия сознательно или несознательно, но противопоставлялось фактам действительности. Нарочитое стремление писателей-путешественников сводилось к тому, чтобы передавать свои сугубо личные, если так можно сказать, интимные впечатления. По существу, тип такого путешествия очень напоминает мемуар. Обобщающий момент уходил на второй план. Воспринимая жизнь, ее события и противоречия, автор стремился не к раскрытию закономерностей и их осознанию, а к приглушению этих противоречий. Художник выступал не как ученый-натуралист, а как эстет, чувствующий красоту бытия. В отдельных случаях он изливал чувства своего сердца исходя из общих гуманистических представлений о мире, жизни и человеке.

По существу, жанр путешествия, характерный главным образом для XVIII столетия, чрезвычайно близок к жанру мемуара, и вполне естественно, что он не мог долго удержаться в литературе и был вытеснен пародийно-сатирическими произведениями на самый жанр путешествия в русском сентиментализме. «Путешествие по трем комнатам», «Путешествие по карманам моего брата» свидетельствуют о том, что современники не принимают мемуара, когда он дается писателем как нечто обобщающее факты. Вполне естественно, что в сентиментализме мог возникнуть не очерк как таковой, а очерк с установкой на раскрытие личного «я» писателя, его внутреннего мира. Микрокосмос рисовался писателем как космос, переживания писателя и его ощущения представлялись как мир самоценный и главный. Также и в мемуаре личность

автора не только стоит в центре, но все события раскрываются через его личное восприятие, что свойственно сентиментализму. Следовательно, хотя мы и наблюдаем своеобразную циклизацию очерков в жанре путешествия, но перед нами не очерк, а мемуар.

Другое дело «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Для Радищева путешествие является не чем иным, как удобной формой для изложения материала действительности, значительного и важного самого по себе, не заслоненного лично-интимным ощущением. И в «Путешествии...» Радищева мы, действительно, можем найти два очень существенных элемента. Первый – это очерк крестьянского быта, социального устройства деревни, бесправия крепостного крестьянина в России XVIII века. Подобный анализ в форме очерка мы встречаем по отношению не только к крестьянству, но и к другим сословиям. В этих очерках автор выступает как писатель критического реализма. И второй существенный момент – политический памфлет на современное устройство России конца XVIII века.

*Из анализа идейного содержания
«Очерков бурсы»*

<...> Существенный и значительный смысл споров заключался в другом освещении жизненных фактов, которые привлекали писателей-демократов. Помяловский в этом смысле является одним из самых ярких и интересных писателей. Как помним, Тургенев развивал ту идею, что человеческие ощущения вечны и неизменны, что в них таится большой внутренний смысл, полный чарующей красоты. Открыто против этого тезиса Помяловский не выступал ни в одном из своих произведений, но с необыкновенной силой художника-беллетриста высветил ту социальную патологию, которая присуща людям угнетаемых сословий. Его задача сводилась к тому, чтобы показать не мир человеческих переживаний, ощущений тургеневского толка, а безобразия духовных и социальных

проявлений, которые порождены средой. Излюбленным тургеневским тезисом во всех его романах является утверждение вечности чувства, красоты, человеческих переживаний. Какой бы социальный мир Тургенев ни изображал, герои его постоянно повторяются именно в этом плане. Интимно-лирическая сторона является предметом воспроизведения, внутренним содержанием всего повествования. Здесь Тургенев достигал исключительной силы выразительности и красоты. Характер воспроизведения человеческой психологии у Тургенева и Помяловского различен. Тургенев пишет о вечном и неиссякаемом чувстве любви, независимом от сословности, общественного положения и степени развития человека. Это лейтмотив его творчества. Для Помяловского это чувство является не столько предметом описания, сколько предметом поисков, не столько утверждением, что оно вечное и неизбежное, данное человеку для счастья, наслаждения и страдания, сколько поводом для постоянных вопросов: где же оно, это чувство, где тот мир красоты, где та возвышающая сила любви? Этого восторженного поэтического чувства не находит герой романа «Мещанское счастье». В повести «Молотов» он обретает нечто похожее на это чувство в мещанской идиллии с Наденькой Дороговой. И Наденька и Молотов прекрасно понимают, что их настроения, их союз не напоминает волнений и ощущений, моря страстей или тихого огня героев Тургенева. Мещанское благополучие Молотова и Наденьки есть своего рода защита от тревожных волнений жизни и окружающего их мира.

Еще более откровенно об этом «лирическом чувстве» рассказывает Помяловский в «Очерках бурсы». Здесь все сведено к грубому расчету, цинизму, к экономической зависимости. Голодный бурсак мало задумывается над лирическим миром своей души. Любовные, семейные и даже бытовые отношения не зависят от него. Только в комическом плане он может сказать: «Аз есмь несчастный страдалец любви», причем изречение это носит чисто издевательский характер и над любовью, и над самим

бурсаком. Великовозрастный бурсак, тугой к науке, мечтает о женитьбе ради того, чтобы скорее вырваться из проклятой бурсы. Нареченную свою, как пишет Помяловский, он подчас не только не знает, но никогда не видел. «Заматеревшая во днях своих» сорокалетняя девица, получившая от отца в наследство причетническое место, ждет с замиранием сердца своего нареченного. Нареченный же сам ненавидит Богом данную ему подругу жизни, мир их отношений строится на взаимной вражде, подчас на односторонней ненависти, но почти никогда – на взаимной привязанности и любви. Рассматривая вопросы семьи, брачные отношения, Помяловский говорит, что ни в одном сословии нет такого произвола, циничного отношения к человеку, как в духовном. Здесь можно провести параллель между героями Толстого и героями Помяловского, между первой любовью Николеньки Иртеньева и сватовством бурсака, отправившегося на смотрины невесты. Помяловский видит в мире чувств героев Толстого не столько действительное, сколько воображаемое, не столько реальное, сколько желаемое. Мир подростково-юношей, изображенный Толстым, – это мир, в котором впервые зарождается и возникает щемящее чувство любви, безотчетной тоски и радости. А герои Помяловского не только не переживают по поводу впервые нахлынувшего чувства, но просто не понимают, о чем идет речь. Их жизнь настолько «утрамбована» наукой, настолько соприкасается с необходимостью мысли о хлебе насущном, до такой степени полна опасениями, как бы не попасть под розги усердного «педагогуса», что им просто не остается времени на раздумье и лирическую сосредоточенность, на любовный порыв (см. очерк «Женихи бурсы»).

В противоположность юмористической и комической манере, которая существовала в изображении любви бурсака, Помяловский с необыкновенной откровенностью, почти цинизмом заговорил в «Очерках бурсы» о «стиснутости» чувств, об ущербности человеческих ощущений, о полной забитости обитателя «мертвого дома»

бурсы. Мастер-психолог, он коснулся абсолютно всех вопросов психологии подростка и юноши: большое самолюбие, оскорбление, выработка рефлексов, озлобление, приглушение чувств, но нигде не обмолвился о лирическом чувстве бурсака. Он не хотел вступить в полемику с традицией, но, будучи художником-реалистом, он не мог описать эти чувства как реальные факты, ибо они были нетипичны и противоречили действительности.

Этот полемический выпад против Толстого и Тургенева, да и всей дворянской литературы, вышел далеко за границы тургеневского романа – с его влюбленным героем, с его изумительной красотой обрисовки женского характера. Помяловский словно говорил: все это не для нас, не для плебеев, не для нищих, которые мучаются ради куска хлеба; может быть, когда-нибудь счастье улыбнется и нам, а счастье всегда впереди. Но изобразить это счастье, вплести его в причудливый орнамент бурсацкой жизни казалось Помяловскому в высшей степени ложным и парадоксальным.

Разумеется, Помяловский не выступал как отрицатель чувства вообще, низводя его, подобно Базарову, до чувственности, но очень отчетливо выражал ту мысль, что голод не тетка, что брюхо не гусли, что лирический восторг не проникнет в душу, когда приходится «класть зубы на полку». Этот несколько грубый и в то же время в высшей степени справедливый взгляд на жизненные факты давал Помяловскому большое преимущество перед его соперниками. Материал, изображаемый им, и трактовка этого материала представляли собой мир действительных, реальных фактов, без какого бы то ни было приукрашивания, без «луча света в темном царстве». Это не был мир темноты, невежества и безграмотности – это был мир подростков и юношей учительского сословия, завтрашних проповедников и столпов церкви. Исключение из их жизни любви, человеческого чувства диктовалось вовсе не высокими идеалами христианского аскетизма, умерщвлении плоти, борьбой со страстью – все они сверху донизу,

от педагогов до учеников, были преисполнены темного суеверия, стихийного атеизма и служебной религиозности. Естественно, что в этой среде Помяловскому легко было доказать правду своего положения, обнажить внутренний мир своих героев. В нем не живет прекрасное и возвышающее чувство любви, вспыхивающее ярким пламенем счастья и угасающее бесконечной грустью. Условия, в которые поставлен человек, проклятые экономические условия, быт, нравы, обычаи в конечном счете определяют душевные толчки, стремление к счастью и прекрасные чувства.

Благородный цинизм Помяловского неизмеримо реальнее и исторически более оправдан. Тургеневских героев страсть сжигала изнутри. Помяловский показывает несостоятельность этого сюжета, которая заключалась вовсе не в том, что таких чувств и ощущений не мог испытывать разночинец по природе своей, что он, так сказать, человек низшего порядка, второго сорта, а в том, что подобные обстоятельства не типичны для данной среды, для данного героя. Но совершенно естественно, что когда бурсак выбивался из своей среды, когда все человеческое делалось ему доступно, когда из бурсака он обращался в человека, то он мечтал о реальном счастье и выковывал его себе в меру и силу своих возможностей. Он глубоко верил в это счастье даже в самые пессимистические минуты, говоря, что счастье всегда впереди. Ему было чуждо сладкое мучительство любовью, утверждение той мысли, что любовь есть мечта, которой не суждено осуществиться, но которая живет в душе нашей. Он желал не романтического счастья в мечтах, а реального счастья, сопровождающего его жизнь. В этом был огромный смысл отрицания мечты дворянских писателей и утверждение мечты, которая должна стать реальностью, обязательным жизненным фактом завтрашнего дня.

Сумел ли писатель разрешить этот вопрос в положительном плане? Не сумел. Это было под силу только Чернышевскому и Некрасову. Но суть полемики Помялов-

ского заключалась именно в том отрицании устойчивой традиции дворянского романа. Красота жизни, воспетая Тургеневым: благоухающая липовая аллея, умирающие звуки старинного вальса в вечернем сумраке, красивое устройство быта «дворянского гнезда» – вся эта поэзия, все очарование разрушались противопоставлением реальным фактам, жестокой правде антигуманного устройства жизни. Помяловский первый из писателей, еще до Салтыкова-Щедрина, выступил против дворянского романа, против поэтизации дворянской жизни в своих повестях «Мещанское счастье» и «Молотов», заявил о себе не только и не столько как полемист, отрицатель дворянской красоты, сколько (в «Очерках бурсы») как художник, давший контрастный материал по отношению к романам Тургенева. Помяловский изображает не господствующее сословие, а среднее, находящееся между вершиной духовной карьеры и дном – миром недоучившихся, засеченных и изгнанных, праздношатающихся владельцев «титулки» – бурсаков. Не о мечтаниях, а о хлебе насущном пишет автор. Не о движении сердца, не о памяти его, а о животном голоде, о физической боли, об изнурительной «долбне». В «Очерках» дается только перспектива, а не реальные действия этого бурсацкого люмпена. Но из биографий, конспективно изложенных писателем, вырисовывается будущее бурсака, который либо получает поповское место, либо изгоняется за ворота семинарии.

Два сословия, два мира, две способности ощущения. Для автора-полемиста эти контрасты дают полное основание ставить вопрос: где же вечная справедливость, где красота чувств, где возвышающая мечта, облагораживающая человека? Автор низводит общечеловеческое, вечное, непреходящее до степени социально-исторических фактов, противопоставляя идеализму Тургенева свой стихийный материализм.

Писателю, которого отнюдь нельзя назвать представителем классической русской литературы (он занимает довольно скромное место в пантеоне русских писателей

1860 годов XIX века), удалось выйти далеко за пределы бытописания и дать не только социальные, но и философские обобщения. Возможность этих обобщений нужно искать в своеобразии реализма Помяловского. Его творчество совпало с эпохой подъема общественного движения. Мир идей Помяловского был богат не теоретическими положениями, а реально-историческими фактами. Его скромный талант нашел яркое выражение в той социальной тематике, которую он избрал. Его пристальный взгляд на бытовые явления изображаемой среды никогда не останавливался только на фиксации внешних событий и фактов. Писатель всегда шел к социальным обобщениям. Там, где Помяловский оставался художником, он всегда достигал исключительной силы выразительности и смело вступал в художественную полемику с первоклассными писателями своего времени.

Нам представляется, что всякий писатель, как и всякий художник в широком смысле слова, выражая тот или иной мир идей, всегда находится в зависимости – в большей или меньшей степени – от той культуры, которая его формирует. Очень часто приходится наблюдать факт борьбы писателя с культурой, которая его взрастила, вооружила максимумом или минимумом сведений, приемов, навыков. В этой своеобразной неблагодарности нет ничего странного, парадоксального. Все дело в том, что писатель, вступающий на путь отрицания, повторяем, как всякий другой художник¹, использует те сведения и навыки,

¹ Как известно, «Товарищество передвижников» возникло после отказа группы студентов, воспитанников Академии Художеств, писать работу на заданную тему из античной мифологии. Студенты демонстративно покинули Академию и в дальнейшем работали самостоятельно. Но было бы нелепостью отрицать, что в дальнейшем они пользовались теми знаниями и навыками, которые они получили в Академии. Для 1860 годов вообще чрезвычайно типичным фактом являются конфликты между студенческой молодежью и учебным заведением, в котором она обучается. Конфликты эти, как правило, возникают на почве недовольства теми идеями и взглядами, которые им подносятся с академических кафедр. Воспитанники многих учебных заведений, получив все, что они могли получить от того или

тот образовательный уровень, который он получил, в более широком плане и, если угодно, в более прогрессивных целях. Все рассуждения о самородках в большинстве случаев либо наивны, либо просто неправильны, ибо проявление таланта в той или иной области обязательно должно опираться на какую-то культуру, без чего, собственно, и не может быть художника.

Какие же культурные силы воздействовали на Помяловского как писателя? Он, как известно, воспитанник бурсы и один из самых страстных борцов против системы бурсацкого образования и воспитания. Однако недооценка тех знаний и сведений, которые он вынес из этого учебного заведения, была бы не только неправильной, но искажала бы весь характер творчества Помяловского. Бурса научила своих воспитанников владеть пером, писать казуистические речи, проводить казенные диспуты, переводить библейские тексты, комментировать, пользуясь современным термином, или толковать Писание на основе сочинений отцов церкви – все это было «гимнастикой ума», все это изоощряло мыслительные способности воспитанника. Если к этому прибавить, что бурсак должен был вызубрить парадигмы русского, славянского, латинского и греческого языков и сами грамматики этих языков должны уложиться в голове бурсака, то станет понятным, какая настойчивость и какая огромная тренировка памяти требовалась от бурсака. Мы не говорим, что, помимо этих предметов, которые усваивались механической памятью, семинарист должен был постичь психологию, риторику, логику, гомилетику. Все эти естественные и «сверхъестественные» науки были для бурсака поистине тяжким многолетним испытанием. Программой бурсы предусматривалось и эстетическое музыкальное образование: пение по нотам, пение на гласы и хоровые концерты. Это, с одной стороны, было сущим истязанием воспитанников,

иного учебного заведения, впоследствии делаются его отрицателями, то есть отрицателями тех идей, которые преподносились официальной наукой в 1850 годы.

но с другой – развивало в какой-то степени далеко не тугое бурсацкое ухо. Педагоги – от ректора до учителя и от учителя до смотрителя – не допускали, что семинарист не имеет способностей к тому или иному предмету. Бурсак должен быть способен ко всему, и если последний не обнаруживал способностей, то причину искали в лености и быстро, но безуспешно подвергали виновного истязанию. Бурсак воспринимал азы науки, «мудро» вколоченной в него всей педагогической системой бурсы – и ненавидел ее. Готов был читать страницу книги снизу вверх, заниматься любой галиматьей, втаскивать нитку через носоглотку, многозначительно опускать голову над страницами учебника, выгоняя из своей памяти все, что им когда-либо было выучено, и все, что он когда-либо запомнил, как бы мстя этим проклятой науке.

Но как бы ни была бессмысленна, нелепа и жестока эта педагогическая система, какой бы схоластической «плесенью» от нее ни несло, воспитанник все же выходил из бурсы образованным человеком. А если говорить о таких одаренных людях, как Чернышевский и Добролюбов, то они сумели преодолеть схоластику бурсацкого просвещения. Но эта же самая бурса, которая «щедро» снабжала своих воспитанников знаниями, жестоко и бесчеловечно калечила их, доводя до отупения. Из этой-то «культурной» среды и вышел Помяловский.

Представление о Помяловском как о последнем, малоспособном ученике ложно. Склонность Помяловского мыслить, установка на логическое суждение были привиты ему именно системой бурсы. Способность к аналитическому суждению привела автора к отрицанию всей той системы образования и воспитания, через которую он прошел. Его первое философское сочинение – трактат «Есть ли душа у животных», помещенное в «Семинарский листок» – свидетельствует о том, что философский багаж, приобретенный им, был не только суммой знаний, механически усвоенных, но и пущенных им в оборот для доказательства собственных положений. Естественно, что в

одаренном от природы воспитаннике бурса развила способности мыслителя и логика, но этот мыслитель и логик переступил страницы книги и тетради. Его тянуло в сторону от абстрактных положений к иной деятельности. Он интересовался, насколько применима вся эта схоластическая система мышления, система аргументации, которой он овладевал по мере своих занятий, к фактам, его окружающим. Перед Помяловским-бурсаком расширялся мир представлений, он начинал ясно понимать, что, кроме риторики, гомилетики и богословия, существуют Пушкин, Белинский, Фейербах, отношение его к семинарской мудрости не только поколебалось, но вызвало у него самую ожесточенную реакцию.

О своеобразии реализма Помяловского

В чем же своеобразие реализма Помяловского в «Очерках бурсы»? Характерной чертой является интерес к фактам жизни. В отличие от Левитова, Николая Успенского, Воронова, у Помяловского факты, интересные сами по себе, расширены; круг литературного изображения, в частности бурсы, – это не только этнографический очерк: материал, изображающий семинарию 40–50-х годов, в своем обобщающем значении выходит далеко за пределы этого узкого круга. Писарев писал об «Очерках бурсы», сопоставляя жизнь обитателей бурсы с «Мертвым домом» Достоевского, и в этой параллели большой идеологический смысл. В бурсе – одном из уголков социального мира России этого времени – Помяловскому удалось дать грандиозную картину Российской империи, со всей ее жестокостью, произволом, чиновничеством, взяточничеством, казенным аскетизмом, иезуитизмом и необузданной дикостью. Помяловскому удалось, не прибегая к сюжетно-фабульному материалу, то есть не делая того шага, который сделали многие художники в 1860 годы, дать обобщения социального характера. И в этом смысле он, конечно, опередил не только своих современников, но даже и последующего блестящего очеркиста 1870 годов – Глеба Успенского.

Еще одной особенностью реализма является психологический анализ. Причем этот анализ у писателя всегда имеет социальный подтекст. Поистине трудно сказать, где автор более искусен – в психологическом анализе своих персонажей или в тех социальных комментариях, в которых он дает объяснение нормам поведения и внутреннему миру своих героев. Эта своеобразная мотивировка характеров и поведения героев складывалась в результате полемики с Достоевским.

Характерным является и то, что Помяловский стремился научно обосновать ту типологию и те социально-типические явления в жизни, которые им изображаются. Как правильно было замечено критиками-современниками, «Очерки бурсы» выступали против всей системы педагогического образования и воспитания крепостнической России. Но писатель был не только критиком этой системы, он не только беспощадно высмеивал нелепости педагогического устройства современной ему школы разных типов, начиная от хорошо ему известного духовного образования и кончая пансионом для девиц (см. повесть «Молотов»), но теоретически обосновал несостоятельность этой школы с ее учебными и воспитательными принципами. Принудительный метод образования, вдалбливания знаний, как справедливо замечал Помяловский, рождает отвращение к самим знаниям. Нарочито искусственное противопоставление друг другу школы и жизни вело к постоянному несоответствию между жизненной практикой и теми сведениями, которые черпал ученик в школе. Писатель показывает не только неумение педагогов разгадать склонности ученика и направить его по тому руслу, которое уготовано ему самой природой, но и принципиальное нежелание педагога рассматривать ученика как объект, в котором он должен уловить его склонности и качества. В этом смысле Помяловский был одним из крупнейших педагогов не только своего времени; он был не только достойным современником Ушинского, но во многом превзошел нашу современную педагогику, которая на

словах пропагандирует Макаренко, на практике же слепо повторяет идеи Песталоцци, часто даже не отличая их от педагогических принципов XVIII столетия: «Ребенок – воск, из которого может сделать все искусный учитель-скульптор»¹.

В той области научного познания, где писатель был компетентен, он выступал с предельной и исчерпывающей полнотой как писатель-ученый. Научно-педагогические взгляды писателя не только оказали огромное влияние на Льва Толстого или, лучше сказать, совпали с его педагогическими воззрениями, но помогли Помяловскому-художнику с исключительной силой дать материал семьи и школы, русской жизни пятидесятых годов. Это имеет значение в плане соотношения художественного и научного элемента в творческом методе писателя. Мы показали научный элемент в реализме Помяловского только в одной области – педагогике. У Помяловского было сильное стремление сочетать художественный и научный материал, или, вернее сказать, обосновать художественное изображение данными науки и в других областях – философии, социологии, географии, психологии. Но художнику это не всегда удавалось: он признавался, что у него не хватает научных сведений, «проклятая бурса» не дала ему твердых знаний, и их приходится добывать самому. Отсюда – слабость изображения «рясофорных атеистов», честных и чистых идеалистов-созерцателей, воинствующих атеистов и «благородного» компромисса между двумя последними.

¹ Теоретические воззрения ученых-педагогов XVIII века блестяще были опровергнуты в России во времена Екатерины II. Московский воспитательный дом был построен Екатериной для незаконнорожденных детей, из которых императрица думала создать третье сословие. Фабрика талантов и предприимчивых характеров – здесь должны были воспитываться живописцы, актеры, ремесленники, коммерсанты и прочее и прочее. Но как показали факты, Воспитательный дом не оправдал своего назначения в этом плане и был лишь прибежищем, где можно было покрыть грехи многих представителей дворянского сословия (см. об этом подробнее в книге «Фавориты Екатерины II», а также у Толстого – «Война и мир», черновой набросок).

В творчестве Помяловского мы видим умение выявить в воссозданном им жизненном материале общеисторическую тенденцию. У художников-романистов, будь то Тургенев или Горький, выявление тенденции, создание типа совпадают. Процесс типизации у Помяловского тот же самый, но выводы его более общи и значительны – Карась, Сатана, Аксютка и т. д. являются не только типами бурсы. Эти персонажи заключают в себе те многочисленные черты, которые романист должен был бы отбросить и которые очеркист Помяловский должен был удержать. Это дает ему возможность двумя-тремя штрихами очертить будущий путь своих героев, финал их жизни. Поскольку таких героев у писателя целая вереница, то в результате перед нами встает картина различных судеб людей, вышедших из одного социального мира и идущих проторенными дорогами «духовной карьеры» – чиновника-взяточника, причетника-полунищего, люмпена.

Об особенностях психологического анализа «Очерков...»

В чем своеобразие гуманизма Помяловского? Отнюдь не в сострадании, не в покаянном отношении к изображаемым событиям и людям. Аналитическое начало является характерной чертой отношения Помяловского к действительности. Он прежде всего констатирует факт: «Я не поучаю никого. Вот скажите этому отцу семейства: “До чего ты довел свою семью пьянством, и голод и холод, и прочее...” Он, быть может, заплачет, горько заплачет от ваших проникнутых любовью речей, представит ясно всю гнусность своей жизни, и знаете, какой будет результат? Раздумавшись и видя бессилие выбиться на добрую жизнь, он махнет рукой и скажет: “какой я негодяй!.. ох, не могу! хоть выпить с горя!” – и потащит в кабак последний салопишко жены. Зачем и тратить слова на поучения?»¹

Помяловский далек и от нравственно-обличительного проповедничества, и от призыва к состраданию мень-

¹ Помяловский Н.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 165.

шему брату. И тем не менее художник не только не останавливается перед тeneвыми картинами жизни, а изображает самые отвратительные и ужасные ее стороны. «Покажем забитость неисходную: покажем подлость и низость души закоронелую; покажем язычество этого слоя, неведение основных начал гражданственности и т. п. Полюбуйтесь! Тут будут даже отцы, растлевающие и продающие своих детей»¹. Кажется, в этом перечне – весь тот материал, который уже двадцать с лишним лет привлекал прогрессивного русского писателя, изображавшего темные и страшные стороны неразумного племени, дикость и нищету, рабство непробудное, рабство страшное. «Рабы! Все рабы! Рабы сверху донизу».

Человек у Помяловского никогда не теряет своего достоинства, на какой бы ступени социальной лестницы он ни стоял. Именно здесь как нельзя лучше раскрылось материалистическое отношение Помяловского к жизни. Его герои в первую очередь раскрываются с бытовой, этнографической стороны: дается их внешность, биографическая справка, знакомящая читателя лишь с внешней жизнью героя. Далее изображается внутренний мир героя. Человек, стоящий в центре внимания автора, отнюдь не абстрактный, а исторически социальный, со всеми ощущениями и переживаниями, которые свойственны данной социальной среде. И как бы этот человек ни был низок и подл, Помяловский умеет объяснить причину его падения. Для него человек не является загадкой, страдания человеческие, начиная от страданий ребенка и кончая страданием взрослого, сложившегося человека, не есть нечто необъяснимое, рождающее боль в другом человеке. Помяловский раскрывает психологию своих героев в их строгой социальной дифференциации. Вот почему баричи, бурсачки, крестьяне абсолютно не похожи друг на друга. Эта предельная индивидуализация внутреннего мира обусловлена исключительно материалом жизни.

¹ Помяловский И. Г. Указ. соч. Т. 2. С 166.

Помяловский прослеживает всю жизнь героя, его биографию – историю характера. Вполне естественно, что детство героев входит существенной частью в повествование. Как формируется человек? Под влиянием каких социальных сил вырабатывается характер? Как это происходит у Толстого: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!» Детство, отторгнутое от всей грязи жизни, детство бездумное и чистое, не омраченное страданиями и раздумьями человека, вступившего в жизнь, облеченного обязанностями. А у Достоевского встречаем: «самые злые существа – это дети». В «Дневнике писателя» и в «Братьях Карамазовых» есть целый ряд глав, посвященных детской психологии. Но ни Толстой, ни Достоевский не правы в этих утверждениях. Толстой с необыкновенной убедительностью показал нам диалектику души своих героев именно в «Детстве» и «Отрочестве», на что указывал Чернышевский. Тем самым он вступал в противоречие между изображенным материалом и выводами художника, ибо детство Николеньки Иртеньева вовсе не безоблачно, не бездумно, если угодно, оно даже не может быть названо счастливым детством. Материальное положение Николеньки Иртеньева не спасает его ни от трагических бедствий, таких как смерть папан, ни от роковых раздумий, ни от мучительного самоанализа. По поводу высказывания Достоевского Горький справедливо отметил, что это клевета на ребенка.

Детские характеры у Помяловского не напоминают ни Толстого, ни Достоевского. Речь идет не о мастерстве писателя, а о том объективном изображении, о том познавательном материале, который мы видим у художников.

Помяловский – писатель-аналитик, желающий доискаться до тех истоков, где человек начинает складываться в раба. Он говорит: уже в самом начале жизни – в детстве. Всей системой воспитания, образования, нормами общественного поведения человек усваивает, что все люди делятся на начальников и подчиненных; но сами начальники, в свою очередь, выступают как подчиненные. В этой

иерархии рабства, в этом постоянном воспитании низкопоклонства и смирения перед начальником вырабатывается дикое, необузданное, отвратительное отношение к человеку, вычеркивающее понятие человеческого достоинства. Писатель показывает, как воспитание раба порождает отрицание самого института рабства. Вот почему подчиненные у Помяловского делаются озорниками, «бунтарями», вечно враждующими со своими начальниками. И этот конфликт между человеком и обществом начинается в ту раннюю пору детства человека, когда он не только не отдает себе отчета в устройстве жизни, но просто многого не понимает, о многом только смутно догадывается, но ясно ощущает несправие своего рабского положения. Детство героя делается предметом анализа. Ребенок, попадая в школу, несет на себе все тяготы прав и обязанностей гражданина рабского государства. Бурса Помяловского в этом отношении – прекрасная иллюстрация. Изображая специфический мир учебного заведения, писатель в своих выводах ушел далеко за пределы этого мира.

Особенности языка «Очерков бурсы»

...Грамотность, красноречие, «писательство» принадлежали «учительной среде», которая была монополистом словесно-языковой культуры. Помяловский вырос и воспитался на семинарском красноречии и книжном витийстве, на проповедях, произнесенных «на тему». Все эти упражнения не могли пройти бесследно для него. Как Помяловский отнесся к этому материалу? Сделался ли он пародистом семинарского стиля, или был покорным учеником и продолжателем выработанных норм?

Помяловский стремится к простоте рассказчика. Языковая простота не допускает излишества тропа. Даже там, где встречаются эпитеты и гиперболы, художник искусно их прячет, подчеркивая повседневность своего рассказа, противопоставляя его литературному повествованию. Такая нарочитая установка на простоту создает впечатление непринужденности повествования. Худо-

жественные средства усиленно маскируются писателем, они как будто необязательны при описании событий и характеров – тематическая заурядность и серость не требуют «яркости» изображения. Помяловский постоянно прибегает к образной речи, но читатель этого не ощущает. Эпитеты, метафоры, синекдохи, литоты настолько приглушены и завуалированы, что первое впечатление создается такое, что писатель освободил свою речь от той художественной условности в языке, которая сделалась общепринятой и почти обязательной в литературе.

Укажем на огромное звуковое чутье писателя, на умение употреблять отдельные слова, которые сразу дают впечатление об изображаемой им среде. Помяловский в своих очерках использует прием контраста тропов. Троп очень часто выступает как прозвище, как поношение, как насмешка – ирония. Довольно широко используя не только метафоры, но и эпитеты, Помяловский часто употребляет и синекдоху. Этот троп у него имеет двойное значение. Формально эстетическое, которым пользуется Помяловский как приемом, и ироническое употребление самого термина: «Синекдоха ты этакая!» То есть, другими словами, правильное употребление «фигур» вызывает у писателя ироническое отношение к ним; сам троп, как только он перестает жить в тексте произведения, делается предметом иронии. Для Помяловского типично использование богословской лексики: «Эх ты, гомилетика!», «И началась здесь катавасия!»¹

Помимо этого, Помяловский употребляет контрасты обычного просторечия с возвышенными церковнославянскими, что создает исключительный комизм: «Тело плохо кормленного бурсака, отданное на съедение клопам и прочим насекомым, обретает покой свой в месте злачнем». Еще один прием создания комического – смешение

¹ Катавасия – мелодичное церковное пение. По-видимому, со времен Помяловского это слово получило совершенно иное значение – суматоха, беспорядок. Слово это греческое, с ударением на предпоследнем слоге – катавасія, в русском церковном обиходе употреблялось с ударением на третьем слоге – катавасія.

понятий, обстоятельств, мест действия. Учитель глубоко-мысленно предлагает бурсаку спрягать слово «дубина». Бурсак, воспитанный в чувстве глубокого подчинения учителю и сознании непогрешимости власти, выполняет требование своего педагога и «велегласно» объявляет: «Я дубина, ты дубина, он дубина...» Удовлетворенный педагог заключает: «Дерево на дерево вались!» Как видим, смещение склонения и спряжения, сочетание несочетаемого дает возможность Помяловскому создать карикатуру на педагогический процесс.

Итак, мы видим особую любовь к иронии, к пародированию, к насмешке над тропом. Писатель противопоставляет собственную речь традиционной школьной речи, которой должен пользоваться сочинитель, и создает убедительный образ теми выразительными средствами, которые живут неотделимо от сути идеи. Они – слепок мысли и чувства художника. Автор подчеркивает, что троп не нуждается в красоте словесного воплощения, что суть его не в сложности и витийстве, не в многозвучности и красивости, а в способности выразить главное, смысловое содержание. В школьно-семинарском представлении троп живет самостоятельно и независимо, он приспособлен для всех времен, он вечен, незыблем и самоценен. Помяловский издевается над этой схоластической схемой.

Писатель выступил в «Очерках бурсы» не только как художник новой, злободневной темы, но и как стилист, во многих отношениях оригинальный и своеобразный. На эту сторону творчества Помяловского не всегда обращали внимание его исследователи. И это вполне понятно. Стилистика Толстого, Тургенева, Гончарова во многих отношениях представляет образцы художественно-словесного мастерства. Но художественно-языковая культура развивалась в этот период сложно и интересно.

Писатели-шестидесятники широко эксплуатировали ту языковую грамматическую культуру, которую они унаследовали от семинарии. И у Левитова, и у Решетникова, и у Николая Успенского, и даже у И. Никитина мы

встречаем целый ряд семинаризов. Они твердо вошли в речь не только художественной литературы, но и в научную литературу, ибо интеллигенция в эти годы, начиная с 1860 и до 1880 принадлежала почти исключительно названному сословию¹. Семинаризмы в их речи употребляются вовсе не в ироническом смысле, и только в отдельных случаях происходит «переделка» слов, как, например, «благоглупость». Для Помяловского же семинаризмы были источником насмешки и сарказма. То, мимо чего проходили его современники и соратники, у писателя делалось предметом жестокой иронии и средством противопоставления естественного, живого языка мертвой, вымученной речи семинариста.

В этом плане Помяловский поражает своей исключительной целостностью. Изображая «мертвый дом» — бурсу, он сумел рассказать живым языком о том, как при помощи мертвящей речи, строгих понятий и категорий вытравлялось все живое из живого человека. Это любопытный план двуязычия: языка мертвого, который должен изучать бурсак, и языка живого, на котором он думает и посредством которого выражает свои мысли и чувства. Как видим, Помяловский оставался верен своему принципу отрицания бурсацкого образования. Отрицая бурсу, он вел борьбу с тем семинарским привкусом в литературе, который появился в 1860 годы, вытравлял витийство и красноречие, почерпнутое из гомилетики, далекое от простоты и естественности русской речи.

Писатели-дворяне привнесли в литературу дворянский салонный язык, которым пользовалось это сословие или хотело пользоваться. Но и Толстой, и Тургенев, и Гончаров в языковом отношении все были ученики разночинцев, ученики учительного сословия в буквальном смысле слова, то есть обучались дома и в гимназиях у Поповых, Ризоположенских, Крестовоздвиженских. Вся эта языко-

¹ Такие семинаризмы особенно часто встречаются у Ключевского, отчасти также у Павлова, не говоря уже о Соловьеве, Иноземцеве и Пирогове.

вая культура растворялась и перерабатывалась в условиях быта, окружения, соприкосновения с иностранными литературными источниками. Главным моментом в выработке литературного языка было обращение к речи народа, крестьянства. Орловско-курская речь Тургенева, нарочитая простота речи Толстого («До этого графа подлинного мужика в литературе не было»¹) с постоянным стремлением к крестьянским выражениям и к синтаксической конструкции, характерной для крестьянской речи, — показательный факт. Прекрасное владение крестьянской речью вытекало из их жизненной практики, из их близости к самой массе русского крестьянства. Наиболее талантливые дворянские писатели этого времени настойчиво и интересно работают над языком, постоянно его демократизируя, совершенствуя ту изумительную русскую речь, родоначальником которой был Пушкин. Демократические же писатели в ряде случаев, и это довольно распространено, вносят в литературный язык те нормы и шаблоны, которые они почерпнули не у домашнего очага, не только в результате близости к крестьянской среде, а в результате школы, которую они прошли. Школьно-семинарский отпечаток, стремление к красноречию и литературности постоянно наличествует в их трудах. Это была одна из слабостей стиля писателей-разночинцев 1860 годов. Справедливость требует сказать, что они в той или иной мере понимали эту брешь. Они часто обходили ее, стремясь преодолеть те языковые школьные навыки, которые они приобрели ранее, навыки, с которыми они пришли в литературу. Но наряду с блестящими стилистическими удачами они часто оставались в плену навыков, приобретенных в бурсе, без которых не могли, по существу, обойтись.

Первый, кто понял смысл того, что происходило в литературной практике писателей 1860 годов, был Помяловский. Понимание это пришло к нему не непосредственно через анализ языка его современников или

¹ М. Горький. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 17. С. 39.

своего собственного, а в результате анализа семинарского образования.

Помяловский подчеркивает, что бурсацкая выучка заставляет выражать свои мысли негодным языком, которым не говорит нормальный человек, и что языковые шаблоны, которые мы можем наблюдать в демократической литературе 1860 годов, несостоятельны и вредны для развития художественного слова. Они не способны выразить всю полноту и красоту мысли и чувства человека. Старый мучительный вопрос, перед которым до сих пор останавливается историк литературы: почему в 1860-е годы в демократической среде не появились писатели такого масштаба, как Толстой, Тургенев, Гончаров, Достоевский? Если вспомнить, что литературное искусство есть результат большого и длительного процесса культуры, что литература – это прежде всего мастерство слова, а слово – своего рода барометр культурного состояния общества, то станет понятным, что писатель привносит в свой труд ту литературную школу, которую он получил в результате воспитания, образования, среды и т. д. А бурса убивала в своих учениках умение владеть живым словом. Помяловский же сознательно мыслил и писал противоположно тому, чему учила школа.

Писатель понимал: литературные шаблоны и формы, тот язык грамотея, на котором его обучали, беспомощен для искусства, для выражения человеческих переживаний, для изображения жизни и страданий человека. Он был единственный из писателей-шестидесятников, кто через педагогическую призму мог взглянуть на значение и действенность языка и кто дал «аннибалову клятву» писать о народе, для народа языком народа, без стилизации и украшений, без искусственной имитации, кто понял смысл языка народа как простоту и ясность выражения мысли.

В 1860 годы вопросы языка, художественной манеры были чрезвычайно остры в русской литературе. Борьба за демократизацию языка явилась одним из основных

пунктов программы писателей-разночинцев. Пристальное внимание к художественно-стилистическому оформлению своей речи делало Помяловского многопланово-полюмическим писателем. Всё казенное, напыщенное, неестественное было предметом осмеяния. Языково-стилистические достижения писателей дворянского лагеря отнюдь не сбрасывались Помяловским со счетов, но и не вызывали у него эпигонского восторга. Тематический материал, избранный Помяловским в «Очерках», был нов и оригинален. До Помяловского никто не писал о бурсе, как он. Перед ним стояла задача художественно-стилистического оформления этого материала совершенно иными средствами. Ни имитация, ни карикатура не годны были для обличительного пафоса очерков. Шутливая шаржировка Мусоргского (музыкальная картинка «Семинарист») или злая ирония Перова (картины «Крестный ход на Пасху» и «Чаепитие в Мытищах») не могли удовлетворить по самой своей сути. Нужно было добиться простоты и ясности языка русской классики XIX века. Но в русской классике XIX века во главе с лучшими писателями никогда не изображалась среда, избранная им.

Отсюда та двуплановость, которую мы наблюдаем у писателя в художественно-стилистических средствах. С одной стороны, непосредственное повествование в формах литературного языка XIX столетия: предельно простая выразительная русская речь, которую Помяловский выработал в результате отрицания витийственного проповеднического тона. С другой стороны, блестящая манера писателя прятать в «складках» своей речи троп, чуть шаржированное выдвижение художественного приема на первое место.

Среди разнообразных художественных приемов писателя обращает на себя внимание введение в текст повествования материала, бытующего как фольклорный анекдот. Рассказ о похоронах бурсака, его чудесном воскрешении и встрече с сапожником, поданный как действительный факт, широко распространен в фольклорных источни-

ках и постоянно встречается в сборниках анекдотов и рассказов. Аналогичен рассказ о продаже души черту маленьким бурсачком; причем автор умеет фольклорно-анекдотический материал поместить в раму бытового рассказа, связанного с бурсацкой жизнью. Эта любовь к новеллистической вставке лишней раз подчеркивает в Помяловском-художнике мастерство рассказчика. Естественная языковая стихия как нельзя лучше отвечает повествованию. Анекдот, маленький рассказ из жизни той или иной семьи, случай из практики отцов и братьев, происшествие в маленьком городке или в деревне – материал, который оживляет общий характер и делает картину чрезвычайно разнообразной, пестрой, жизненно правдивой и увлекательной по своей выдумке. Возможное перемешивается с невозможным, анекдотическое с правдой, почти фантастическое с действительностью. Всё просто и ясно, увлекательно и почти смешно при всем трагизме. Писатель охватывает все происшествия, события, рассказы, слухи, поверья, предрассудки и доводит их до предела занимательности, чтобы потом развязать композиционный узел своего рассказа естественным бытовым финалом. Мастерство Помяловского-рассказчика привлекает своей непринужденностью, естественно-спокойным тоном.

Перечисленные особенности свидетельствуют, что перед нами талант крупный и давший отнюдь не всё из того, что запрятано в кладовых писательского духа <...>

Приложение

В архиве Н.И. Либана сохранился незавершенный монографический труд, посвященный «Очеркам бурсы» Н.Г. Помяловского. Он открывается введением, где говорится о том значении, которое «Очеркам бурсы» придавал сам Помяловский.

В первом разделе освещается путь Помяловского к «Очеркам бурсы», дано сопоставление очерков с романом В.Т. Нарезного «Бурсак» и повестью Н.В. Гоголя «Вий». Очерки-рассказы «Махилов», «Вукол», «Данилушка», «Долбня» выступают как этап-

ные по отношению к «Очеркам бурсы». Развитие творческого таланта Помяловского наиболее очевидно в характере психологизма как важнейшего принципа изображения героев. В «Махилове» психологизм еще несовершенен, но «Вукол» можно было бы уже назвать анатомией детства. Этот рассказ, каким он выступает в творческом анализе Н.И. Либана, позволяет говорить о соперничестве Помяловского с Л.Н. Толстым в изображении детства и отрочества. Одновременно можно увидеть и противостояние Помяловского и Толстого как писателя-разночинца и дворянского писателя. В «Данилушке» в анализе Н.И. Либана прослежена «мысль семейная», как она художественно живет в домашнем кругу дядька Ивана Иванова в предбурсовский период его сына. Что касается очерка «Долбня», то в нем интересно выявленное Н.И. Либаном мемуарное начало. Первый раздел содержит и обстоятельный анализ педагогических воззрений Помяловского. Колоритна фигура бурсацкого педагога старого типа Гаврилыча; новый тип выглядит скорее декларацией.

Второй раздел монографии¹, который носит название «История просвещения в России (Бурсак в общественной жизни России середины XIX века)», богат своим историко-культурным содержанием и широким кругом источников. Показана связь обучения и воспитания в бурсе («долбня» и розга) с общей системой самодержавной России. Ужасные методы воспитания в бурсе соседствовали однако и с обретенными бурсаками знаниями. Тем самым бурсак в системе российского просвещения выступает как фигура неоднозначная. В анализируемом разделе полно охарактеризована роль духовного сословия в школьном образовании, названы типы школ, разъяснены многие понятия тогдашней педагогики. Раздел этот имеет и более широкое значение. Его можно было бы рассматривать как самостоятельный очерк, важный не только для истолкования творчества Помяловского, но и для комментированного чтения произведений Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и других русских писателей, обратившихся к изображению духовенства.

Существенное место в приведенных материалах об «Очерках бурсы» уделено жанру очерка, его месту в русской литературе 1860-х годов. Выявляется органическая связь жанрового содер-

¹ В настоящем изд. печатается на С. 215–259 как самостоятельный очерк широкого историко-культурного содержания (*примеч. сост.*).

жания и поэтики очерковых произведений. Значительны суждения о роли диалога в очерке. Интересно сопоставление очерка с «мемуаром», с одной стороны, и романическими формами – с другой. Обстоятельно охарактеризован в соответствующем разделе идейный пафос «Очерков бурсы», своеобразие психологического анализа в изображении бурсаков. Завершаются материалы к монографии разделом об особенностях реализма Помяловского.

В результате Помяловский выступает отнюдь не как рядовой представитель демократической прозы 1860-х годов, но как безвременно ушедший выдающийся художник слова.

За то время, пока написанные Н.И. Либаном материалы к монографии об «Очерках бурсы» ждали своей публикации (с 1957 года!), были опубликованы и произведения писателя с соответствующими комментариями, и монографии о его творчестве. Однако никому не удалось превзойти Н.И. Либана в воссоздании колорита эпохи, в которую жил и творил Помяловский. Порою создается ощущение, что материалы об «Очерках бурсы» написаны их современником.

*Людмила Ивановна Матюшенко, доцент
кафедры истории русской литературы
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова*

СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ*

НИКОЛАЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ

Благовещенский, Николай Александрович [19.IV(1.V).1837, Москва, – 1(13).VII.1889, Владикавказ] – писатель. Родился в семье полкового священника. Окончил Петербургское Александро-Невское духовное училище, а затем семинарию. Благовещенский отличался феноменальной памятью и большими способностями к языкам. В 1858, через год после окончания курса, он, как человек, знающий восточные языки, а также новогреческий и умеющий рисовать, был прикомандирован к археологу архимандриту Порфирию, отправлявшемуся на Восток в научную экспедицию. В течение двух лет Благовещенский побывал на Афоне, в Фессалии, в Иерусалиме, сделал до 400 зарисовок, близко узнал быт монастырей и получил много впечатлений, способствовавших перевороту в его мировоззрении и сделавших его атеистом. Возвратившись в Петербург в 1860, он посещает университет в качестве вольнослушателя и преподает в воскресной школе. Первый очерк Благовещенского «Из воспоминаний бывалого в Иерусалиме» напечатан в 1862 в журнале «Время», в котором в том же году появляются «путевые заметки» «В Фессалии» и рассказ «Страница».

В 1863 Благовещенский по приглашению Г.Е. Благовещенского становится постоянным сотрудником «Русского

* Русские Писатели. Биобиблиографический словарь. М.: Просвещение, 1971.

Слова», а с 1864 по 1866, в период расцвета этого журнала, вместе с Благосветловым является его редактором и издателем. В 1863 в «Русском Слове» печатаются очерки «Афон», вышедшие в 1864 отдельной книгой. Благовещенский выступает как обличитель церкви и монашества и развенчивает традиционные представления об Афоне как «убежище ангелов». Книга, создавшая автору известность в 60-е и последующие годы, была встречена нападками со стороны реакционной печати и церкви и вскоре была запрещена. Антиклерикальная тема, получившая в творчестве писателя наиболее интересное и значительное развитие, продолжается и далее: в 1871 выходит книга очерков «Среди богомольцев», в которую вошел и «Афон».

Благовещенский является автором первой биографии Н.Г. Помяловского («Современник», 1864), который был его близким другом, а также нескольких повестей и рассказов, вышедших отдельным изданием в 1873. Наиболее значительные из них – повести «На погосте» («Русское Слово», 1865) и «В столице» (там же 1866, впоследствии повесть была переработана и названа «Невинные забавы») – составляют две части романа «Перед рассветом», третья, последняя, часть которого не написана и сохранилась лишь в набросках. В своем романе Благовещенский показывает жизненный путь разночинца, выходца из сельского духовенства, который, подобно самому писателю, проходит бурсу, а потом порывает со своей средой под влиянием передовых демократических идей своего времени. Об этом рассказывает повесть «На погосте», наиболее удавшаяся писателю. Во второй части герой Благовещенского, разночинец Трепетов, попадает в Петербург и становится студентом; назревает конфликт плебея и либерального барства, однако у Благовещенского он не достигает той силы и остроты, с какой обрисован в «Мещанском счастье» Помяловского. Конец героя, намеченный в третьей части, трагичен. В обстановке надвинувшейся общественной реакции (1862–1863) для демократа-разночинца закрывается возможность широкой общественной

деятельности, борьбы. Трепетов погибает, не дождавшись «рассвета».

После закрытия «Русского Слова» в 1866 Благовещенский редактирует вместе с А.К. Шеллером-Михайловым «Женский Вестник», с 1868 сотрудничает в «Неделе», затем в «Отечественных Записках». В этот период писатель начинает тяготеть к либерализму. В начале 70-х гг. в «Отечественных Записках» появляется ряд его очерков о жизни рабочих, об условиях их труда («На болоте», 1870; «Сельские фарфоровые заводы», 1871; «На литейном заводе», 1873). В 1872 Благовещенский в связи с тяжелой болезнью переселяется на Кавказ и в 1875 получает место секретаря Терского статистического комитета. В последний период жизни он в основном занят трудами, посвященными изучению Терского края: составляет «Список населенных мест Терской области», редактирует «Сборник статистических сведений по Терской области», «Статистические монографии по исследованию станичного быта», описание местных кустарных промыслов. Благовещенский вошел в литературу как представитель массовой демократической беллетристики 60-х гг. Художественное значение его повестей невелико, наибольшую известность он приобрел как автор антиклерикальных очерков «Афон».

АЛЕКСАНДР ЛЕВИТОВ

Левитов, Александр Иванович [20.VII(1.VIII).1835, с. Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии, – 4(16).I.1877, Москва] – писатель-демократ. Родился в семье дьячка. Учился в Лебедянском духовном училище, потом в Тамбовской семинарии, где был одним из первых. Однако, преследуемый семинарским начальством за чтение светской литературы и увлечение «сочинительством», Левитов вместе с товарищем, так же решившим отказаться от духовной карьеры, в 1855 отправляется пешком в Москву, а после неудачной попытки поступить там в универси-

тет – в Петербург, где становится студентом Медико-хирургической академии. Однако осенью 1856 Левитов попадает в ссылку, причины которой остались неясны. Около трех лет проводит он в глухой провинции (Вологда, Шенгурск). Здесь работает фельдшером и пишет начатый ранее очерк «Ярмарочные сцены», названный впоследствии «Типы и сцены сельской ярмарки» («Время», 1861).

Первая половина 1860-х гг. – наиболее благоприятный и творчески плодотворный период жизни писателя. Благодаря счастливой случайности он встречается с Ап. Григорьевым, некоторое время работает в редакции «Русского Вестника», мечтает о поступлении в Московский университет, знакомится с писателями и критиками, по достоинству оценившими его дарование. В разных журналах («Время», «Русская Речь», «Московский Вестник», «Современник», «Зритель», «Развлечение») появляются его очерки, рассказы и повести: «Сладкое житье» (1861), «Целовальничиха» (1861), «Степная дорога ночью» (1861), «Степная дорога днем» (1862), «Накануне Христова дня» (1861) и др. В 1865 выходит первый том «Степных очерков». В 1866 и 1867 – второй и третий тома. В 1866 Левитов совместно с М.А. Вороновым издает сб. «Московские норы и трющобы» (т. 1 и 2). В 1874 появляется сборник повестей и рассказов «Горе сел, дорог и городов». Произведения Левитова благожелательно встречены критикой, растет его популярность, особенно в среде разночинской демократической молодежи, но устойчивого материального положения это писателю не приносит. С середины 1860-х гг. он ведет кочевую жизнь, переезжает из Москвы в Петербург и обратно, часто меняет профессии. Стремясь расстаться с городской жизнью, Левитов едет в Рязьск в качестве уездного учителя, однако очень скоро он снова в Москве, дает уроки, пробует стать воспитателем в пансионе, некоторое время даже служит начальником станции на железной дороге, очень ненадолго становится фактическим редактором журнала «Сияние». Сильная нужда, а иногда и нищета вместе с болезнями

(алкоголизм и развившийся с годами туберкулез) сопутствуют писателю до самого конца жизни. Он умер в Московской университетской клинике.

С первых своих беллетристических опытов Левитов прочно входит в демократическую литературу 60-х гг., идейными вождями которых стали революционеры-демократы. Он рисует крестьянский быт до и после реформы, разорение деревни, богатеющего кулака-мироеда. Рассказы «Расправа» (1862), «Насупротив» (1862), «Блаженненькая» (1862), «Газета в селе» (1865), во многом перекликаясь с очерками его современника Н. Успенского, в которых Н.Г. Чернышевский увидел «начало перемены» в освещении крестьянской темы, рисуют деревенский быт в самом неприкрашенном виде: темнота, невежество, забитость, крайняя нищета, горе и беспробудное пьянство – в этом жизнь русского мужика. Однако в отличие от Г. Успенского Левитов старается найти в народной среде и яркие выдающиеся личности, показывает их нелегкую, часто трагическую судьбу. Гибнет красавец и богатырь, герой дворовых сказаний Ферапонт Иванов («Моя фамилия». 1863); Федор Васильев («Бесприютный», 1870), уйдя от гнетущего деревенского быта, становится «бесприютным» скитальцем; погибает от запоя и другой богатырь – сапожник Шкурлан («Шкурлан», 1863), бунтарь Петр Крутой («Степные выселки», 1864), страстно ненавидящий господ и холопов, также не вступает на путь борьбы. Герои Левитова с их богатырской силой, яркими характерами не могут противопоставить себя общественному злу, хотя и не мирятся с ним.

Во многих произведениях, особенно второй половины творчества, писатель обращается к быту закоулков, трущоб и вертепов большого города, рисует безрадостную судьбу обитателей «комнат с небилью», картины нищеты и пьянства, во многом предвосхищая изображение «дна» у Горького («Нравы московских девственных улиц», 1864; «Московские уличные картины», 1870; «Крым», 1862; «Беспечальный народ», 1869 и др.).

«Горе сел, дорог и городов» – постоянный мотив, который проходит через все творчество писателя и окрашивает его в лирические тона. Не случайно Левитова называли «певцом народного горя». В произведениях других писателей-народников, например Г. Успенского, проблемы народного быта получили более социально заостренное отражение.

Особое место в творчестве Левитова занимает трагическая судьба разночинца-бедняка («Лирические воспоминания Ивана Сизова», 1863; «Петербургский случай», 1869; «Говорящая обезьяна», 1879, и др.). Молодого человека, вступающего в жизнь полным сил, творческих замыслов, желания принести пользу народу, в дальнейшем ждут горькие разочарования, тяжелые лишения, «нищенское бесхлебье». Такова судьба самого писателя и многих подобных ему интеллигентов-разночинцев.

В своем творчестве Левитов использует в основном различные формы композиционно свободного повествования – импровизации, не связанной какими-либо жанровыми канонами: воспоминания, лирические размышления, заметки, дорожные и уличные «сцены» и «картины». Левитов – мастер сказа, повествователями в его произведениях часто выступают народные рассказчики.

НИКОЛАЙ ПОМЯЛОВСКИЙ*

Помяловский, Николай Герасимович [11(23). IV.1835, Малая Охта около Петербурга, – 5(17).X.1863, Петербург] – писатель-демократ.

Родился в семье дьякона Малоохтенской кладбищенской церкви. Восемью лет был отдан в Александро-Невское духовное училище, откуда в 1851 перешел в семинарию. Четырнадцать лет провел Помяловский в бурсе, которая наложила отпечаток на всю его недолгую жизнь и стала одной из главных тем его творчества. Тяга к литературно-

* Статья дана в сокращении (примеч. сост.).

му творчеству проявилась у будущего писателя уже в старших классах семинарии: он является наиболее активным участником и редактором рукописного журнала «Семинарский листок», где помещает ряд статей (о характере интересов Помяловского-семинариста можно судить по названию одной из них: «Попытка решить нерешенный и притом философский вопрос: имеет ли животное душу?»), а также неоконченный рассказ «Махилов» <...> По выходе из семинарии в 1857 Помяловский не спешит определиться на место, хотя родные и склоняют его к этому. Чувствуя недостаточность полученного им образования, его оторванность от жизни, он энергично принимается за самообразование, много читает, размышляет. Помяловский переживает сложный и мучительный процесс преодоления религиозного мировоззрения, взглядов, привитых духовной средой и школой. Особое влияние на него в это время оказывает революционно-демократическая критика и публицистика «Современника»: «Я, читая “Современник”, установил свое мирозерцание», – пишет он в 1862 году Чернышевскому. <...> Увлекает Помяловского и практическая работа педагога. С октября 1860 он преподает в воскресной школе, разрабатывает собственные педагогические приемы, в особенности интересуясь методикой обучения малоспособных детей. Деятельность Помяловского обращает на себя внимание известного педагога К.Д. Ушинского, инспектора Смольного института, который приглашает его преподавать в младшем классе института. Здесь Помяловский прочитал несколько лекций.

В 1860 Помяловский работает над первым большим произведением – повестью «Мещанское счастье», которая выходит в «Современнике» 1861. Повесть была встречена с большим интересом, а ее автор приглашен в «Современник» в качестве постоянного сотрудника. В том же году появляется повесть «Молотов», являющаяся продолжением первой. Помяловский получает известность в литературных кругах и завоевывает славу одного из лучших

беллетристов своего времени. В это время у писателя созревает решение «продать бурсу», и в 1862–63 в журналах «Время» и «Современник» появляются первые четыре очерка; последний, пятый из «Очерков бурсы» остался неоконченным и был опубликован после смерти писателя («Современник», 1863). Всего Помяловский предполагал написать, по свидетельству Благовещенского, до двадцати очерков, показать все стороны бурсацкой жизни, но замысел остался неосуществленным. Писателя привлекают новые темы. Весной 1862 он обдумывает содержание большого социального романа, названного им «Брат и сестра», делает к нему ряд набросков, которые потом были частично опубликованы («Современник», 1863–1864). В романе Помяловский задумал дать широкую картину жизни социальных городских низов, показать быт трущоб, притонов, кабаков, грязь и нищету. «Разоблачение гнойной язвы нашего общества» – таков замысел произведения. В последний год своей жизни Помяловский работает над рассказом «Поречане», пишет отрывок «Андрей Федорыч Чабанов», задумывает новый роман «Каникулы, или Гражданский брак», где собирается показать передовую молодежь 60-х гг.

Настроение отчаяния, бессилия перед тупой и жестокой действительностью, возникавшее у Помяловского еще в бурсе, особенно усиливается в конце жизни (1862–1863). В связи с наступлением политической реакции закрываются воскресные школы, приостанавливается издание «Современника». Писатель с горечью сознает, что «в жизни та же бурса», погружается в мрачную тоску, запивает. К этому присоединяется неудача личного характера. Умер Помяловский в Петербургской клинике от гангрены, не успев осуществить многих своих замыслов.

Наибольшую известность Помяловский получил как автор двух повестей («Мещанское счастье» и «Молотов») и в особенности «Очерков бурсы». В повестях он показывает судьбу разночинца, своего современника, с позиции демократа-просветителя, намечает пути, которые открывают-

ся перед представителями разночинной интеллигенции, вступающими в жизнь. Замысел первой повести писатель определяет так: «разъяснить отношение плебея к барству»; в ней показано пробуждение социального самосознания у молодого разночинца, непримиримость интересов и взглядов на жизнь плебея Молотова и либерального барина Обросимова. В литературе 60-х гг. этот характерный для эпохи социальный конфликт у Помяловского отражен с наибольшей остротой. Но дальнейшая судьба героя-плебея связана не с социальной борьбой, а со службой в департаменте, с приходом к «идеалу честной чичиковщины». Молотов – один из многих, рядовой разночинец, не нашедший пути к широкой общественной деятельности, оторванный, подобно самому писателю, от единственно революционной в то время силы – крестьянства. Поэтому борьба за свое место в жизни у него связана главным образом с завоеванием личной материальной и нравственной независимости. Вместе с тем он с горечью сознает ограниченность и узость своего идеала. В этом социальная драма рядового разночинца, который при всем стихийном демократизме не видит перед собой другой перспективы, кроме карьеры чиновника, «канцелярского Гамлета».

Иной путь показан Помяловским в образе другого разночинца – скептика и нигилиста Череванина, который отвергает примирение с существующими формами жизни, отрицает идеал «мещанского счастья» и «благонравной чичиковщины», но сам не видит выхода и приходит к своей мрачной философии – «кладбищенству». Безысходным пессимизмом кончает герой незавершенного романа «Брат и сестра» Потехин. Трагизм мироощущения героев Помяловского во многом отражает настроения самого писателя, который также, несмотря на свою плебейскую, «мужичью» натуру, стихийный демократизм и тягу к «Современнику», не проникся до конца идеями революционной демократии.

«Мещанское счастье» и «Молотов» – проблемные повести. В первой из них ощущаются следы влияния

тургеневской поэтики, во второй особенно чувствуется намерение автора порвать с традициями тургеневского семейного, любовно-психологического романа и создать иные повествовательные формы, соответствующие иному жизненному материалу. Проблемность накладывает особый отпечаток на характер повествования. Писатель как бы экспериментирует, ставя своего героя перед той или иной жизненной ситуацией. Рассказ о состоянии героя постоянно перебивается авторским словом, прямо выражающим мнения и оценки писателя, обнажающим его художественные намерения. Поэтому в повествовании очень силен элемент рассуждения, описания, публицистичности. Это характерная черта демократической просветительской повести Помяловского, нашедшая дальнейшее развитие в набросках к роману «Брат и сестра». В связи с этим меньшее место занимает в повестях изображение действия, динамики событий. Характер главного героя претерпевает большие изменения за десять лет, проходящие между действием первой и второй повести, но непосредственное отражение получают только начальный и конечный моменты эволюции, о самом же процессе читатель узнает из рассказов Молотова и особенно Череванина, выступающего в значительной мере в роли резонера. <...>

ТВОРЧЕСТВО Н.С. ЛЕСКОВА*

60–80-х годов XIX ВЕКА

Предметом нашего курса является творческий путь Лескова. Метод, которым мы будем пользоваться, сравнительно-исторический: мы будем говорить о творчестве писателя на историко-литературном фоне 60–80-х годов XIX века.

Писатели о Лескове

Современники недооценивали Лескова, называли его анекдотистом, фокусником слова. Они видели только то, в чем он был оригинален по сравнению с другими. Ни у Толстого, ни у Достоевского нет серьезных высказываний об этом писателе. Написал он колоссально много. Это не только графомания – это талант. Лесков – создатель эпического жанра. Он очень силен как писатель-эпик.

Горький один из первых понял Лескова. Он сетовал на то, что Лесковым не занимаются, он называл его «волшебником слова». Горький искал себя всю жизнь в полемике с большой литературой: трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты» полемична. Детство другое (у Горького была только бабушка-поэт), отрочества нет, университета тоже нет. Молодая личность черпает знания и воззрения вне университета. Горький такой же невежда,

* Легендарный курс «Творчество Н.С. Лескова» читался не одно десятилетие, вызывая неизменный интерес слушателей. Во многом благодаря неутомимой деятельности Н.И. Либана имя писателя возвращено в вузовские программы (*примеч. сост.*).

как и Лесков, хотя Лесков более образован. Для Горького в Лескове многое открылось. Если у Достоевского все держится на остроте сюжета, психологии, катаклизмах, у Толстого – на чувстве внутреннего спокойствия (когда оно нарушается, в душе героев не мир, а война), то у Лескова все держится на слове. Когда Горький писал «Город желтого дьявола», он понял, что ему не хватало слова, что главное в литературном искусстве – искусство слова, а Лесков – «Колумб слова». И. Северянин называл Лескова «прозванным гением».

*Беллетристика 60–80-х годов,
окружавшая Лескова*

60-е годы XIX века, время, когда Лесков начал свою литературную деятельность, не располагало к художественному творчеству. Процвечают вульгарный материализм: Писарев («Разрушение эстетики»), Чернышевский («Эстетические отношения искусства к действительности»), Молешотт; практицизм: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» («Отцы и дети» Тургенева). Нужна не литература, а нечто другое.

Еще в 40-е годы появляются физиологические очерки. Они были слишком фотографичны, не удовлетворяли новое время («Лоточница», «Извозчик»). Это не литература, а физиология. Течение это в литературе получило название «натуральная школа». Физиологические очерки писали В.И. Даль, М.Ю. Лермонтов, В.Ф. Одоевский, И.А. Гончаров и др. В 60-е гг. появляется другой тип очерка, где на первое место выходит социальная проблематика. В этом жанре пишут А.И. Левитов, Н.В. Успенский, Н.Г. Помяловский, Ф.М. Решетников, М.А. Воронов. Все они – бывшие семинаристы. Они принесли другие сюжеты, другой язык. Для Лескова они важны как языкотворцы и как личности. Эти писатели стоят в одном ряду с Лесковым по манере письма и реакции на русскую жизнь. Ведь судьбу трудно отделить от творчества, где-то эти миры пересекаются.

Н. Успенский – типичный разночинец. Это фигура драматическая, как и все разночинцы. Он не закончил семинарию, убежал оттуда.

60-е гг. – эпоха реформ. Обещано много прекрасных свобод: освобождение крестьян, сокращение воинской службы, новый университетский устав, развитие промышленности. Н. Успенский описал это «блестящее» будущее. В очерках «Сельская аптека», «Деревенская газета», «Вечер», «Обоз», «Бобыль» крестьяне показаны как пьяницы, идиоты, бездельники. Реакцией на произведение Успенского стала статья Н.Г. Чернышевского «Не начало ли перемены?», где он пишет о том, что до сих пор показывали угнетенного мужика, а здесь он не страдающий, а забулдыга.

Когда-то Герцен писал, что мужик в кабак идет потому, что там он барин. Успенский возражает: его туда тянет, потому что он свинья. Русский мужик не страсто-терпец, а «пьяная рожа». Успенский беспощаден в изображении русского крестьянства, оно у него не вызывает сострадания. Чернышевский видел в этом начало анализа, ответ на вопрос, что же такое деревня.

Лев Толстой приглашал Успенского в яснополянскую школу – «на какую-то дурацкую графскую затею», по словам последнего. Н. Успенский работал в яснополянской школе учителем, но рассорился с Толстым. Потом поехал в Спасское к Тургеневу – и с ним рассорился. «Нас господа теперь не обманут. Теперь мы люди свободные». Его судьба трагична. К.И. Чуковский в книге «Жизнь и творчество Николая Успенского» пишет, что этому человеку свойственно было не только писать: он и драматург, и актер, и кукольник. Успенский писал на рынке театральные пьесы, тут же изображал их и пропивал плату. Он бродяжничал, играл на гармонике, рассказывал в трактирах за деньги биографии знаменитых русских писателей. Зарезался на глазах купца – перерезал себе горло перочинным ножом близ Смоленского рынка в Москве.

Другой талантливый очеркист времени – А.И. Левитов. Это соперник Достоевского по таланту. Для Левитова все, что есть в России, – это горе (повести «Горе сел, дорог и городов»). Везде в его произведениях контрасты: великодушные – и скарედность, роскошь – нищета. В очерке «Прекрасное, но падшее создание» он рисует проститутку с натуры. Впервые этот персонаж появился у Левитова, а не у Достоевского. Он показал жизнь городского дна, трущоб («Московские комнаты с небилью» и др.), судьбу разночинца-бедняка («Говорящая обезьяна» – эпизод из романа «Сны и факты»).

О деревенской нищете пишет и Ф.М. Решетников. В повести «Подлиповцы» изображена тяжелая жизнь бурлаков, превращающая их в дикарей, жизнь, где все сведено к потребностям желудка.

Все это – фон для Лескова. Он начинал как публицист, переводил с английского, который не знал. В статье «О положении рабочего класса в Англии» писатель замечал, что оно мало чем отличается от положения рабочего класса в России. Лесков писал очерки на злободневные темы – такое впечатление, что они написаны прямо для нашего времени: о роли государства в проведении реформ, о положении в деревне, о сельском сходе и сельской общине, о том, что такое голод. Это еще не Лесков под своей фамилией. Он подписывал статьи псевдонимом Стебницкий.

Писемский и Лесков

А.Ф. Писемский – автор романов «Люди 40-х годов», «Масоны», «В водовороте». Лесков ценил его как романиста. Писемского и Лескова сопоставляют как романистов, рассказчиков, очеркистов. Лесков – сугубо национальный писатель, он удобен для изучения русского быта, русской жизни, русского характера. По романам Писемского тоже можно изучать историю: в романе «Люди 40-х годов» изображено николаевское время, русская интеллигенция.

Роман интересный. Но, как считает Лесков, в романе нельзя изображать жизнь. Задача Писемского была –

изобразить всю Россию, а вместо этого получилось – Москва и несколько провинциальных городов, усадьба. На этом фоне дается странствие молодого человека, героя романа, Павла Вихрова, который хочет быть свободным, но свободы у него нет: ни социальной, ни личной. Он помещик, но поместьем не занимается. Он общественный деятель, но общественной деятельностью тоже не занимается. Влюблен – но любовь разбилась. Он не имеет почвы под ногами.

Кто же имеет эту почву? В романе дается целая галерея людей, их прошлое и настоящее. Теперь хозяева жизни не помещики, которые вынуждены служить, а те, кто имеет деньги. Люди 40-х годов преобразились в людей 60-х годов. И Писемский думал, что это самое хорошее время для России. Лесков думал так же, выражал это в публицистике.

У Писемского мы видим только фиксацию фактов жизни, без осмысления, получился путеводитель по Москве, но нет главного – идеи жизни. А что за этим? Лесков в отличие от Писемского идет от внутренней сущности человека.

Писемский написал исторический роман без исторических лиц – «Масоны». Это движение возникло в Англии, слово «масон» переводится как «каменщик». Их эмблема – молоток и долото. У них особый ритуал: много тайных приемов, жестов; белый фартук, перчатки; в ложе на столе лежит натуральный череп – бренность человека и вечность. В XVIII веке в России было много масонских лож. Один из вождей московского масонства – Новиков, другой – его друг профессор Гамалея. О масонстве в России вы можете прочитать в книге В.А. Боголюбова «Новиков и его время» (1916).

Марфин, герой романа Писемского, масон. Ему важно приблизить к ложе таких людей, которые будут носить внутреннего человека. Сам он вечный делатель. Больница, училища, проповедь сердца, общение с другими людьми – вот смысл его жизни. Марфин окружает себя людьми,

чистыми духом: лакей, врач-материалист, женщины. Его лакей тоже масон, он внутренне красивый человек. Герой романа приобщил к движению и сельского священника, хотя тому и запрещено. Герой относится к женской красоте как к искусству, воспринимает ее с точки зрения эстетики. Но масонство несовместимо с прозой жизни. Как реалист, Писемский показывает внутренние неудачи Марфина, возникающие из-за несоответствия идеала действительности. Получился увлекательный роман, перегруженный фактами: здесь и Сперанский, первый составитель русских законов, и изображение настроений библейского общества Татариновой, и намек на хлыстовцев (была такая секта). Все это Писемский хотел осознать как явления русской жизни. Но ему не удалось все осмыслить. Как раз эта всеохватность и мешает.

В романе «В водовороте» Писемский говорит о политической жизни, борьбе классов и сословий. Это необычный для него роман, но очень современный для того времени. Главный герой – князь, который делается революционером через научные изыскания: он естествоиспытатель, материалист. Для него материя первична, она его увлекает во все это: надо установить справедливый мировой порядок; должна быть полная свобода всех чувств; распределение богатств.

Писемский делает все топорно, у него нет изящества. Это видно в изображении любви. Тургенев часто смеялся над сценами любви у Писемского, а не надо – они очень реалистичны.

Критик социологической школы П.Н. Сакулин о беллетристике 60–80-х годов отозвался так: «мелкотравчатая литература», созданная писателями, живущими «от пера» (сам термин встречается еще у С. Шевырева в 30-е годы XIX века). В чем особенность «мелкотравчатой литературы»?

Для Толстого, Тургенева творчество по сути было чем-то вроде развлечения, наслаждения. У Достоевского уже по-другому: он тоже живет «от пера». Некрасов создал фонд

помощи писателям, зарабатывающим литературным трудом. О чем они писали? У Толстого мы видим рядом с аристократами мужиков, но о простолюдинах он ничего не пишет. А ведь есть еще духовенство, разнообразное чиновничество (Гоголь первый описал ступенчатость чиновничества), мещанство – это ремесленники, мелкие торговцы. Так вот общую картину жизни России представляли именно так называемые «писатели второго ряда»: автор «бульварных романов» Крестовский («Петербургские трущобы»), Левитов («Говорящая обезьяна»), Помяловский («Мещанское счастье», «Молотов»), Решетников, Воронов.

Есть писатели талантливые, а есть бесталанные, но они все входят в историю литературы. Корифеи литературы постоянно их читали! Ведь они пишут обо всем, а корифеям главное – выразить идею, и обычно – идею века. А читатель требует от писателя ответов на вопросы сегодняшнего дня. Помимо глобальных идей, есть необходимые мелочи – вот их мы встречаем у других писателей. Вся эта суета сует, пошлость, обыденность, повседневность, «тина мелочей» – они только ее и знают и вслед за Гоголем возводят в «перл творения». Голод, нищета, которые ведут к озлоблению, зависти, – вот темы этой литературы. Тема голода была обойдена большими классиками. Но для других эта тема основная, и есть писатели, которые испытывали чувство голода (Решетников «Подлиповцы»).

Салтыков-Щедрин с необыкновенной смелостью мыслителя, умеющего смотреть в глубь явлений, сопоставил произведения Толстого («Анна Каренина») и Решетникова («Подлиповцы»). Салтыков-Щедрин указывает на социальный аспект конфликта в «Подлиповцах». Контраст, проведенный Щедриным, убедительно показывает несоизмеримость трагедии личности и трагедии целого класса.

И все это рассказывается языком, который большим писателям недоступен, непонятен как средство выражения духовно-физической сущности человека. «Мелкотравчатые» писатели создают целую языковую гамму.

А мастера целиком переносят ее в свои произведения. Художественная литература – это движение и объединение художественного опыта. Словечки, фразы героев Левитова не ускользают от великих писателей. Слова и выражения из очерков Глеба Успенского мы встречаем у Толстого. Слово «кровиночка» Достоевский взял у Левитова. Работая над романом «Бесы», Достоевский внимательно читает роман Лескова «На ножах». Название пьесы Толстого «Власть тьмы» подсказано рассказом Г. Успенского «Власть земли».

Толстой не создал реального мужика, а создал идеальный образ Платона Каратаева. У Толстого в изображении Каратаева мы встречаем страшное противоречие: Болконский говорит Пьеру, что если лишить мужика труда, то он погибнет (и здесь Толстой гениален). Но его лишили труда, а он не погиб. Образ реального мужика, со всеми его пороками и добродетелями, обусловленными бытом, социальной средой, психологией, создал Н. Успенский.

Н. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» сравнивает рассказы Н. Успенского и «Записки охотника» Тургенева и объясняет, что разница между этими писателями – в их происхождении. В этом преимущество и недостаток.

«Мелкотравчатые» писатели имели своих критиков (например, Н.Н. Воскобойников), видевших в этой литературе самое важное и нужное – живую, а не салонную жизнь.

Есть еще одна литература – «лакейская», когда писатели пишут о великосветском обществе, о котором они ничего не знают. Здесь есть только иллюзия действительности.

Раннее творчество Лескова Первые рассказы и очерки

В одном из первых художественных произведений – повести «Овцебык» (1863) герой ищет сферу, где можно примирить жизнь с Евангелием и Платоном: как приспособ-

собрать свою жизнь к древней гармонии – «во всем знать меру, быть выше страстей»? Но он не может найти ответы на свои вопросы. Писатель показывает опустошенность героя. Василий Богословский разочаровался в своих поисках: нельзя перескочить через «мужей кармана», люди не хотят дорасти до его идей. С рабочими у него не вышло, в монастыре не получилось, раскольники тоже его разочаровали, жену он оставил. В своей предсмертной записке он написал: «Никто меня не признал своим – и я сам ни в ком своего не признал. Не в ризе учитель – народу шут». Его и воспринимали только как шута, как Дон Кихота, глупца-комедианта.

Овцебыка сравнивали с лишними людьми. Но он не лишний человек, а человек, не находящий места в этой жизни. У лишнего человека нет трагедии, он не хочет покончить с жизнью, не бежит от нее, хочет ее преобразовать, но не умеет. Его главная идея – это идея свободы. Овцебык – другой тип. Он пасует перед жизнью, оказывается несостоятельным ни как атеист, ни как философ, ни как романтик (испугался любви).

Это трагический герой. Персонажи Лескова часто находят выход. Они просветленные. Лесков в своем творчестве обращается к различным периодам истории человечества и приходит к выводу, что все меняется, веяния времени меняются, а человек остается. Человек – постоянная величина на земле. Это будет у позднего Лескова. Пока – поиск.

Повесть «Житие одной бабы» (1863) напоминает очерки Н. Успенского, но Лесков осмыслил их по-другому: развернул в отдельные повествования. Он не может писать роман, для него это искусственная форма, противоположная художественной правде. В центре романа должен стоять герой, а в жизни такого не бывает. Лесков называл себя «секретарем жизни», который пишет хартию жизни, свертывая ее на валике. «Житие одной бабы» – это не роман, не одна повесть, а множество повестей в одной.

Писатель нашел свою форму романа в хронике («Соборяне»), но никто за ним не последовал, и он сам тоже. Он не романист, это не его жанр: там нужен загадочный сюжет, исключительные герои, как у Достоевского или Тургенева (сильные женщины, несостоятельные мужчины). С точки зрения Лескова, нет героев, героизация истории искусственна. Писатель идет более простым путем. Он пишет, на взгляд «шестидесятников», примитивную вещь – «Житие одной бабы». Это трудное произведение, оказавшееся «не по зубам» русской критике. Его считали слабым. Но оно не слабое, а многоплановое.

В 1860-е годы появился массовый интерес к деревне (Тургенев «Записки охотника», очерки Н. Успенского, у Толстого в «Войне и мире» Платон Каратаев). Если бы Тургенев не написал «Записок охотника», то Успенский восполнил бы это – в его очерках прекрасно изображены русская деревня и мужики. Язык Н. Успенского очень хорош: народный, прозрачно-спокойный. Это говорит о ясности и глубине таланта. Он прекрасный стилист.

Лесков называет произведение «Житие»... Вы помните такое произведение у Радищева в XVIII веке: «Житие Федора Ушакова»? Ушаков – атеист, предтеча персонажей Достоевского, который отвечает на вопрос: имеет ли человек право распоряжаться собственной судьбой? Герои Достоевского стоят над идеей смерти: человек бессмертен, если победит страх перед смертью. Но это нигилисты.

Лесков хочет развернуть не столько идею, не столько историческую ситуацию, сколько показать человека, героя, перенести понятие жизни на понятие житие, изобразить подвиг личности. Здесь есть героизация персонажа и изображение жизни как таковой: крестьянский мир, крестьянские персонажи. Особое внимание – к русской женщине. Но не как у Некрасова. Лесков дает лирический образ крестьянки. Настя – мужичка с артистической природой. Пошлость ее не трогает. Ее внутренний мир, голос сильны. Эта натура сказывается в пении. Роман

Насти и Степана дан в форме диалога-пения. Они доходят до сознания, что рождены друг для друга. «И всюду страсти роковые...» Лесков любил шекспировское, общечеловеческое. Более романического сюжета не придумаешь. Чувства героев нарастают. Куда же убежишь? Человеческая природа выступает против всех условностей, но господствующая система этого не допускает. Жизнь Насти – мытарства, которые она проходит, жестокие личные оскорбления, с ней обращаются, как с животным, только Крылушкин относится к ней по-человечески. После всех сюжетных перипетий (побег, жулик, обокравший их и не давший паспорта, тюремный смотритель, губернатор) Лесков дает трагический и предельно реалистичный финал – Степан умирает в тюрьме, а Настя замерзает ночью в открытом поле. Лескову важно показать силу сердца и чистоту души, чистый внутренний голос двух любящих сердец, который противостоит губящей жестокой реальности.

От изображения крестьянского мира Лесков переходит к изображению доктора Крылушкина. Это другой мир. Писатель дает краткую биографию Крылушкина. Как он лечит людей? Он только разговаривает с больными – да травы им дает. Настя для него – поврежденная в душе. Крылушкин – праведник, целитель, но он на периферии повествования.

Для Лескова главное – жизнь как таковая, герои неисклчительные, и здесь начинают работать все очерки с изображением крестьянского быта, уклада, крестьянской общины. Они разоблачают деревню как страшный мир полузоологического существования, прикрывающийся идеей общины. Он соперник в очерке Левитова, Помяловского, Н. Успенского. Идея Лескова в другом: нужны три праведника для градостояния. Луч света есть, писатель еще в этом не разочаровался. Настя – художник, артист в душе, но человек в ней шире артиста. Любовь – та песнь, которая поется не голосом, а всем ее существом. Это особенность женской натуры, цельной, нерастраченной души.

Ведущая тенденция у Лескова – сердце и связь с природой, которую люди теряют по глупости.

Я уже говорил, что творчество Лескова тесно связано с очерковой литературой. Он зависим от литературных тем и настроений времени. Не на «свои» темы у Лескова написано три романа («Некуда», «Обойденные», «Островитяне»). В «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) также присутствуют черты сюжета и герои, не характерные для Лескова. В этой повести писатель снова соперничает с корифеями русской литературы. Купеческая среда, как у Островского, преступная любовь, каторга, самоубийство, как у Достоевского («Записки из мертвого дома»). Убийство – это материал газет, самой жизни. Да и название повести – почти плагиат (ср. «Гамлет Щигровского уезда» Тургенева).

«Леди Макбет Мценского уезда» – симптоматичное произведение. В основе – детектив. Помните, как у Ахматовой сказано, что поэзия вырастает из мусора:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...

Так вот низменный материал, попадая в руки истинного художника, приобретает другой характер.

Лесков говорил: «Я пишу хартию – что вижу, что знаю». Но часто он пишет на основании прочитанного и пережитого в книге. У Лескова была способность перевоплощаться, создавать свой собственный мир. Он создал русскую героиню с характером леди Макбет. Сначала художник изображает тупую, животную, сонную жизнь Катерины Измайловой. Нашу леди Макбет томит скука, требующая развлечения. Любовь – подруга скуки. Третья подруга – преступление. Через преступление героиня видит возможность достичь полного счастья. И потому она непоколебима, готова идти куда угодно за этим счастьем.

Первая часть повести – любовь и преступление. Вторая часть – каторга и любовь. Каторжная часть хорошо сопрягается со страстью. Лесков снял инфернальность героинь Достоевского, Катерина Измайлова совершенно

земная, но «*всюду* страсти роковые». Лесков находит такие выходы в искусстве, которые разоблачают жизнь.

Герой, Сергей, ищет развлечения, это тип совершенно аморального человека, ничтожного, но необыкновенно по-мещански ловкого. Он находит удовольствие в мучительстве. Здесь мы ясно видим родство с Достоевским в изображении внутреннего мира человека – психологизм. Люди на каторге очень верно изображены, хотя Лесков их не видел.

Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров – проповедают, и вся литература XIX века нравственно-поучительная. В «Леди Макбет» есть преступление, но нет наказания, то есть самонаказания, нет раскаяния.

Существует два мира: тот, что вокруг, и тот мир, который создает художник, мир художественный, где описывается то, чего, может быть, и нет. У Лескова «Леди Макбет» – очерк, факт, но в центре – психология зла, правящего миром. Писатель ищет ответ на вопрос: как найти путь к человеческому сердцу, чтобы оно было построено не на зле?

*Роман в творчестве Лескова.
Антинигилистические романы
«Некуда», «На ножах».*

Слово «нигилист» было впервые произнесено Тургеневым, между прочим, самым образованным русским писателем. Идейных вождей нигилизма не было. Его истоки лежат в философии Фейербаха (это ученик Гегеля, его «правое крыло»; «левое крыло» Гегеля – Маркс). Чернышевский в своих работах основывался на идеях Фейербаха. Нигилисты – это огромная сила, бурлящая. Они приносят новые идеи – отрицание старого, атеизм. Они увлечены естественными науками – естествознание, химия, математика, физика. Герцен – аккумулятор всех этих идей, выступил с трудами, посвященными естествознанию.

Нигилисты появились во всех сословиях, больше всего их было в духовном сословии, так как там были люди

образованные и циничные (от противоречия идеального и реального). Печально, что нигилизм рядился в социалистические одежды, прикрывался мечтой о лучшем будущем. Действительно, позитивный, реальный путь, программа необходимы. Кто же может указать этот путь? Это мог бы быть Герцен, самый влиятельный писатель в то время, социалист мира и России (в его редакции скрещиваются все социалистические течения). Нигилист из дворянской среды, Герцен, с его желанием социальной справедливости верит в победу гуманных начал, и это та слабость в его воззрениях, которую мы ощущаем. Он понимал карикатурность (не литературную, а историческую, реальную) движения нигилистов – все отрицать. Основы труда остались вне поля зрения нигилистов. У них просматривается лозунг – «жизнь без труда». Нигилисты считали, что семья – обуза, человек должен быть свободен и от любви, и от обязанностей. Таким образом, переступивший предел нигилист оказывается смешным. Лесков не понял их деятельности. Впрочем, кроме коммун, у них ничего не получилось. Писатель не хотел вдаваться в теории: у него везде практические выводы.

Идея всегда светлая, а то, что нарастает на нее, – ржавчина, плесень. То же было и у нигилистов. В обществе появилась мода на фронду, отрицание всего сущего. Молодые люди тянулись к новому не потому, что у них была потребность, а потому, что это модно.

В конце концов нигилизм изжил себя, но на его почве родилось революционное движение, которое отбросило нигилизм и приняло социализм (часть его) – народо-вольцы, народники. Это все вызвали нигилисты, их роль – расчистить дорогу. Это легко, так как ничего не нужно было делать, только отрицать. Но голое отрицание не могло дать хороших всходов.

Русская литература создает целый поток антинигилистических романов: «Бесы» Достоевского, «Взбаламученное море» и «В водовороте» Писемского, «Марево» Ключникова. В журналах появляется много повестей,

показывающих нигилистов. На эту тему Лесков пишет романы «Некуда» и «На ножах». Эти произведения вызвали страх, беспомощность, раздражение, злобу в демократической нигилистической среде. Лесков бежит в Париж. Пережив общественное презрение, обрушившееся на него после выхода этих романов, писатель вернется к этим темам в романе-хронике «Соборяне».

«Некуда» (1864) – один из самых сильных антинигилистических романов, злой, но в некоторых частях беспомощный. Нигилизм в то время охватывает всю передовую Россию, что и засвидетельствовано художественной литературой – Тургенев, Достоевский, Писемский.

Нигилизм пронизывает сознание молодого поколения: «Я над всем, что существует, ставлю nihil!» Нигилисты отрицают все, что есть, в первую очередь быт, традиционный уклад – то, что мешает идти вперед, развиваться и видеть мир по-другому. Необходимость коренных перемен в России была понятна всем: были проведены крестьянская, военная, судебная, учебная, духовная реформы, изменившие многое в русской жизни. Но быт изменить почти невозможно. Нигилисты же стремились изменить именно быт. Они как электрическая нить, пронизывающая все русское общество. Идея нигилизма – отрицание всего существующего: философии – религии, быта – семьи, труда – эксплуатации, в материально-юридическом плане – собственности, даже на идеи («мы гения задушим в зародыше»).

Название романа отражает отношение писателя к нигилизму: он показывает людей, которым некуда идти. Для него нигилизм – убогое порождение, не просто не национальное, а абсурдное. Лесков 60-х годов живет в предреформенную и пореформенную эпоху: с одной стороны, Крымское поражение, с другой – вдохновляющая эпоха реформ. Писатель не верил, что на место цепей придут другие цепи. «Куда идет Россия?» – этот вопрос не раз поднимался в литературе. Лесков понимает, что нигилисты ведут ее революционным путем. Но для него это не

путь – это бездорожье. Народническое бездорожье. В романе показана Россия накануне катастрофы. Пророческие предсказания Лескова сбудутся.

Есть письмо Лескова и целое «Объяснение» по поводу романа, где он говорит о том, что изобразил разных нигилистов: во-первых, это люди увлечённые, чистые сердцем (Лиза Бахарева, Райнер, Помада), во-вторых, люди, примкнувшие к нигилистам, потому что это было модно, и в-третьих, люди низких моральных качеств, дискредитирующие идею свободы. В центре повествования герои, которых Лесков считает положительными, но заблудшими. Чистота идеи остается. Но чистых людей осталось очень немного, и они оказались не у дел. Примкнувшие поняли, что они не сила.

В отличие от других писателей он не хочет заклеить нигилистов. Как только появляется желание заклеить, пригвоздить к позорному столбу, исчезает подлинность. Писатель должен быть объективным. В романе опровергается историческое право на существование нигилизма, идеи революции. Но идею нельзя опровергнуть, ее можно принять или не принять – она складывается исторически. Идея все равно будет существовать, пусть и в урезанном виде.

Лесков рад трагедии своих героев. Но у великого художника должна быть не только трагедия, но и выход. Не по желанию его, а потому что не бывает без выхода. В «Некуда» выхода нет. (У Толстого в «Войне и мире» – война в сердце каждого человека, но все обретают мир, внешний и внутренний.)

«Некуда» – «тургеневский роман», по аромату, ощущениям, героям. «Чисто, прозрачно, красиво – и сам делаешься чище», как говорил Горький. Героиня Лескова, Лиза Бахарева, похожа на тургеневскую – девушка, начинающая видеть мир своим внутренним оком. Персонажи вроде бы те же, но наполнены они другим содержанием.

Роман, напоминающий произведения Достоевского, – антинигилистический роман «На ножах» (1870).

В нем изображается период развития капитализма в России, когда «дрянь александровского времени поднялась на поверхность» (Герцен). Первоначальное накопление порождает среду антиблагородства. Все благородное уничтожается, «все на ножах». Преступные элементы заняли видное положение, все коррумпировано. Мир коррупции порождает презрение к человеку. Деньги – явление античеловечное. Роман Лескова воспринимается как свидетельство эпохи, как обвинительный акт. В нем общество призвано под суд.

Лесков – писатель не антинигилистического направления. Просто по честности, по боязни ужаса нигилизма он заговорил об этом. Террор, начавшийся с появления нигилизма, продолжается до наших дней – нет высшего судии, все дозволено. Нигилизм говорит: «Убий!» Христианство: «Не убий». Чтобы был порядок, надо убивать, нарушать закон Божий – на этом держится коллизия «На ножах». Как найти гармонию?

Роман написан не самостоятельно. В то время в литературе был наплыв детективов (Крестовский «Петербургские трущобы»). Весь этот «мусор», детективный материал взяли и Лесков, и Достоевский (в «Братьях Карамазовых») – но у них речь идет о душе человека.

Вопросы веры в творчестве Лескова

Философский склад времени определялся размежеванием между верой и ее отрицанием, атеизмом.

Религия – камень преткновения для всех писателей. Происходит таяние веры. В произведениях того периода мы встречаем идею «и не быть Руси без боярщины», т. е. без традиции. Современники требовали ответа на этот вопрос.

У Лескова есть очень хорошее размежевание – религиозные чувства и клерикальный мир. Он этого не путает. Возьмем чудный рассказ «На краю света», полный религиозного скепсиса. Миссионер, образованный богослов, насаждает христианство. Это произведение, интересное во многих отношениях. Откуда у писателя были сведения о

русском Севере? Он никогда ведь там не был. Но художник может воспроизвести тот мир, который ему нужен. Сама идея очень интересна (всякое произведение поражает своим идейным смыслом, а форма не что иное, как выражение идеи): просвещать дикарей. Епископ едет в глушь, в далекие края, на север, на собаках, на санках. Епископ просвещенный, он окончил Академию. Между прочим, из Академии можно было поступить на 2-й курс Университета, выпускники знали два иностранных языка (не считая древних), играли на музыкальных инструментах, занимались сочинительством, владели всеми формами слова. Академическое образование было капитальным... Герой рассказа в 40–45 лет воображает, что он апостол, и уверен, что может обратить язычников в истинную веру, а в действительности он встречает дикарей, которые нравственно выше его. Мир этих дикарей более тонкий и гуманный. Дело не в том, какой ты веры, а кто ты по сути своей. Так, епископ садится к погонщику, который крещен, а его сопровождающий – к язычнику. И во время бурана крещеный бросает свою «поклажу», то есть человека, и убегает на оставшейся в живых собаке. Язычник же довозит своего пассажира до места. Обмороженного миссионера находит его сопровождающий и привозит в чум, где якуты стараются ему помочь, чем можно. И когда они понимают, что сделать ничего нельзя, шаманка танцует около мертвеца, отдавая ему последний танец смерти.

Тема века – вера и безверие – присутствует во многих произведениях Лескова. Он считает, что если у человека нет идеала, того чувства, которое живет внутри него, то этого человека всегда ждет трагический конец. Безверие, нигилизм для писателя – это примитивизм, отрицание всего сущего. У него нет таких героев, как Иван Карамазов, Раскольников, которые пытаются внести коррективы в промысел Божий. Он любит изображать дурачков, людей немного с придурью (Голован, Ахилла). У него нет героев, которые хотят заново решить вопрос: «убий – не

убий». Вся история человечества построена на убийстве. Вот он – человек, царь природы!.. У Лескова – не царь.

Достоевский считал, что важнее всего диалектика, борьба двух начал – атеизма и веры. Об этом все его романы. Писатель анализирует нигилизм, а не высмеивает. Его идея о том, что человек, победив страх смерти, становится бессмертен, взята у нигилистов. Что же останется после смерти? «Лопух»? Он берет такую тонкую материю, как совесть. Особенно хорошо это показано в образе Смердякова. Тот мечтает о французской революции, где «деспотизм рождает свободу». Он убивает, не зная, что за этой чертой. Неужели пустота? Нет – совесть, муки совести. Достоевский не смог завершить свою систему. Пока он был художником, все получалось. А когда стал писать о золотом веке, началась фантазмагория.

У Лескова есть *своя* вера. Вера – это то, что дано всем, но она не подлежит всенародному обсуждению, она не для показа. Вера принадлежит самому человеку. П. Флоренский в заметке о Лескове (по поводу рассказа «На краю света») говорил, что этот писатель лучше всех передал чувство веры «за пазухой».

Многим писателям вера была дорога по воспоминаниям детства. Лесков не исключение. В детстве бабушка таскала его по монастырям на богомолье. У писателя часто можно встретить картины монастыря. Это большая часть русской жизни. Лесков напитан этой русской почвой. В рассказе «Овцебык» он описывает свои детские впечатления: его бабушка знала много монастырей, монастырских легенд, истории икон, чудотворения. В монастырях ее тоже знали и всегда ждали. Он был ее адъютантом с детского возраста. Поездка по монастырям имела для него много привлекательного. Мальчик очень любил послушников. Этот народ веселый, шаловливый, отважный, «...и все тогда было такое милое, веселое, а теперь <...> нет беззаботного детства, нет теплой животворящей веры во многое, во что так сладко и так уповательно верилось»¹.

¹ Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 1. С. 68.

Он оставляет для себя какой-то уголок воспоминаний, где не иронизирует. Но всеразрушающий дух сомнения настолько силен в его творчестве, что позднее Лесков стал аналитиком. Предмет веры делается для него предметом анатомии. Но аналитические идеи разбивались о детскую веру. В поисках ответа на волнующие его вопросы Лесков обращался к Толстому – мудрецу и патриарху литературы и всего русского движения. «Почуяв его силу, я бросил свою плошку и пошел за его фонарем», но ответа, удовлетворяющего его, не нашел. Здесь писателя ждало большое разочарование.

Романы «Островитяне», «Обойденные»

Роман «Островитяне» (1866) не похож на произведения, которые Лесков писал ранее. «Островитяне» написаны в манере петербургского очерка, который писатель, вообще-то говоря, не очень жаловал. Но потом мы увидим, что вторая половина творчества Лескова очень часто отвержена именно к этому жанру, к этой манере, к этому пейзажу, к этой «сумрачной России».

Это совершенно особый тип романа, написанный Лесковым словно в полемике с Достоевским. Вообще Лесков как писатель очень интересен в том смысле, что он постоянно вступает в полемику с корифеями русской литературы. Тогда они еще не были корифеями, но, во всяком случае, им принадлежала ведущая роль в русской литературе – Достоевский, Л. Толстой, Тургенев, Островский. Когда читаешь Лескова, то невольно возникает параллель с теми художниками, которых я назвал, и ты задаешь себе вопрос: зачем это нужно было писателю? Обычно каждый писатель идет своим путем, пишет в своем стиле, своей манере. А Лесков очень часто изменяет этому принципу. Вместо того чтобы развивать свой стиль, свою манеру, он ориентируется на других писателей. Я делаю большую ошибку, употребляя слово «ориентируется» – потому что он соперничает. Он спорит, словно говоря: «И у меня так получится, даже лучше». Эта манера

полемиста в полном смысле слова, потому что каждый его роман – это полемика. Не только идейная, но прежде всего художественная.

Интересно, что Достоевский – первый, кто обратил внимание на Лескова, или Стебницкого, и считал, что к этому писателю надо присмотреться. Достоевский и критиковал Лескова, и считал его большим писателем, много у него брал. Он находил у него какие-то созвучия со своим творчеством, со своими воззрениями – воззрениями чисто художественными, не политическими, не философскими, а художественными. Это особые воззрения, они автономны, т. е. они присущи ему, ему одному. Только такой писатель может называться художником. Он видит мир по-своему, и его видение не совпадает с мировоззрением других писателей. Лесков именно такой писатель. Но он словно нарочно вклинивается в русскую классическую литературу, доказывая, что может творить в манере других художников. Ему подвластна особая манера, но он будет писать так, как ему нужно. «Островитяне» – роман, где Лесков, как я сказал, соперничает с Достоевским. Но таланты этих художников совершенно особые, резко отличающиеся друг от друга. И конечно, здесь выигрыша нет ни у того, ни у другого писателя. Лесков хотел разрешить по-своему проблемы, которые он наметил в своем романе. И он их разрешил.

Это решение иногда кажется совершенно неожиданным. Фигура Истомина, художника, который пользуется успехом у всех, и в большей степени у женщин и девушек, это фигура своего рода романтическая. Но она в такой же степени и трагическая, в такой же степени безысходная и в такой же степени, не удивляйтесь, если я скажу, ненужная, ненужная в действительности. Нет ничего удивительного в том, что в конце романа он исчезает, совершенно безосновательно. Куда? Что с ним случилось? Лесков не желает об этом писать: рассказчик не будет об этом вспоминать. То, что было, прошло бесследно, не оставив по себе никакого воспоминания, кроме горьких замет. Так пост-

роил Лесков этот роман. Истомин приносит только разрушение, страдания. И сам пользуется тем, что он кумир, что он может заставить людей страдать и плакать, хотя это ему не доставляет большого удовольствия. За это он горько расплачивается. Его расплата в исчезновении, он просто не нужен.

Это очень интересная тема у художника: есть герой, или псевдогерой, или антигерой, который проходит через художественное произведение и несет с собой какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то ситуации – все то, что является воскрешением, воссозданием жизни. Жизнь одного человека (кто бы он ни был: великий гений, полководец, нищий – все равно) – это есть жизнь человека. Эта человеческая жизнь есть единственный предмет писательского искусства. Вот почему Достоевский так высоко ценил эту мысль, что в искусстве, в истории, везде есть только одна тема – тема человека, а если эта тема ущербна, пуста, то нечего здесь и стараться, нечего здесь и говорить, потому что главное уходит из поля зрения, главное не имеет под собой уже никакого основания.

Вспомните, как развивается этот роман: сначала мы видим полное благополучие мещанской семьи Норк. Потом благополучие несколько колеблется смертью главы дома. Но и после этого все настолько хорошо налажено, все так устойчиво, Софья Карловна настолько хорошая хозяйка, я бы сказал, прекрасный администратор, что все продолжается так, как было при старом хозяине. И главная тема, тема человека, распространяется в детях. Роман «Островитяне» также мог быть назван «Три сестры», потому что в этом произведении речь идет о судьбах сестер Норк. Три ребенка, три сестры – Берта, Ида и Маня – делаются в полном смысле слова героинями этого романа. Судьбы сестер интересны, по-своему оригинальны, по-своему драматичны. Они из одной семьи, но у них совершенно разные характеры.

С самого начала видно, что Маня – это человек особый. Ее особость – в психическом складе, ее отношении к

людям, к миру. Ида – это тоже особый человек, она совершенно не похожа на свою младшую сестру: уже в раннем детстве у нее проявляются черты жертвы по отношению к окружающим. Все ее внимание сосредоточено не на старшей сестре Берте, а на Софье Карловне и на Маше. Берта – это человек положительный, в том смысле, что у нее все как у людей – устойчиво, нормально, хорошо. И действительно, она первая выходит замуж, и это замужество счастливое с точки зрения мещанского благополучия, потому что Шульц – очень хороший хозяин, хороший человек, хороший предприниматель, хороший организатор, негодичант, он – та сила буржуазной России, которая будет преобразовывать, образовывать, утверждать прежде всего себя. Можно сказать, что немец Шульц – пародия на Штольца (Гончаров «Обломов»).

Интересно, что Лескову все время хочется уловить национальные черты. Никто лучше него не изобразил русский характер: «кривая выведет», «авось да небось»... А в «Островитянах» он хочет понять немецкий характер. В романе дана целая галерея петербургских немцев. Петербург – искусственный европейский город, с его чиновничьим укладом, с его противоречиями – близок немцам. Самое интересное для писателя – их уклад, быт. Лесков рисует их характерные черты – расчет, аккуратность, педантичность. Автор не иронизирует, он беспристрастен. Он летописец. Но до каких пор он будет беспристрастным?

Но и немцам хочется проникнуть в русский быт, понять русский дух. Если вы присмотритесь к этому роману, то увидите, что Шульц все время хочет показать свою образованность, он все время ссылается на православных писателей, хотя он, конечно, лютеранин. Он говорит: «мы русские люди», «у нас на Руси». Это очень характерно для этого персонажа, и так же характерно, что он очень спокойно и уверенно говорит о новом доме, который он построит. И он его действительно построит. Все, что он задумал, – все сделает. Это экономически, психологически очень устойчивый характер. Но в нем нет одного – нет того наполнения,

которым «всякая душа живится и чистотой совершается». Желания жить душой, то есть понять свой внутренний мир, понять, что же такое вокруг меня и внутри меня, – вот этого здесь нет. Но надо сказать, что Берта, жена Шульца, также не хочет этого понимать, потому что понимание – это тяжесть. Познание приносит нам страдания. Каждый художник – это лицо страдающее. Жизнь каждого писателя, художника, живописца – сплошное страдание, потому что он никогда не доволен тем, что он делает. То, что он делает, несовершенно по отношению к тому, что его окружает, и это всегда мучает. И в этом смысле очень интересен Роман Прокофьевич Истомин. Но о нем дальше.

Ида – совсем другой характер. Она смотрит на Бертю с любовью и в то же время с отчуждением. Она понимает, что Берта – очень хороший человек, но в то же время это ее «хорошее» чуждо и нехорошо для Иды. Она понимает, что Шульц – прекрасный мужчина, но она относится к нему с внутренним презрением. Это презрение заключается в том, что она понимает его ограниченность, его ничтожество. И она очень любопытно ведет себя, в то время как Шульц хвастается, что он похлопывает по плечу Романа Прокофьевича, знает многих актеров и как они играют, знает, что петербургский театр – лучший театр, так что, уж если говорить об опере, то здесь, конечно, он немного уступает итальянской опере. Шульц обнаруживает свои познания о театре, но не они важны для него, а то, что он с тем актером знаком, с той знаменитостью встречался, того у себя может принять. Близость к талантам – вот что привлекательно для немцев – и для всех средних натур. Шульц ищет знакомств со знаменитостями. Здесь все на грани гоголевского Хлестакова. Помните, как там: «с хорошенькими актрисами знаком», «с Пушкиным на дружеской ноге»? И здесь та же самая нота. И у Иды эти разговоры, это хвастовство вызывает презрение. Хотя она как изваяние: ни один нерв у нее на лице не дернулся, никакой реакции не было. Она слушала – и только. Слушала – и внутри презирала своего зятя, не дав понять это

ни зятю, ни Берте, ни кому-либо другому. Она нейтральна в этой смешной и глупой комедии, которую разыгрывает Шульц. Но не только Шульц общается с талантливыми людьми, «талант» (Истомин) тоже с ним общается.

Маня – особый человек. Я бы сказал, она по натуре художник. Она воспринимает мир чрезвычайно обостренно. И когда она впервые смотрит на свой портрет, написанный Романом Прокофьевичем, она испытывает некоторое волнение, растерянность и в то же время проникновение. Она несколько огорчена, что Истомин рассмотрел ее внутреннюю сущность, угадал ее характер – она бы сказала: угадал ее душу. С этого момента начинается сближение Истомина с ней. Она еще не девушка, еще полуробенек, но уже тот самый полуробенек, который через два три года будет сложившимся существом. Ее ожидают самые большие страдания – это страдания первой любви. Лесков их очень хорошо показывает. Я думаю, что он их показывает лучше, чем Тургенев. У Тургенева здесь все расплывется, начнутся диалоги, описания, вздохи. Ничего этого нет у Лескова. Как художник с тактом, он дает это объяснение, как теперь говорят, за закрытой дверью. Ида слушает, что происходит в комнате, где находятся Маня и Истомин. Слушает и понимает, что там происходит. И в то же время стремится сделать вид, что она ничего не понимает. Это своего рода защита, чтобы никто другой не мог ничего понять. И рассказчик, который здесь присутствует и тоже понимает, что там что-то происходит, только иногда смотрит на Иду и видит, что та все понимает и только делает вид, что она ничего не слышит. Входит мать. У Иды вырывается: «Слава богу, мама пришла!» «Ах, Софья Карловна здесь!» – говорит рассказчик. Этим снимается напряжение сцены первой любви, первого поцелуя, который они услышали, но сделали вид, что не слышат его и вообще не знают, что происходит.

Рассказчик здесь, как действующее лицо, очень хороший, он заботится о Мане, об этом юном существе, которое только что входит в жизнь и судьба которого еще

неизвестно как сложится. А Роман Прокофьевич – известный соблазнитель, он смотрит на каждую женщину, каждую девушку как на жертву, его девиз – старый девиз, всем надоевший: надо сорвать распутившийся цветок, надышаться им и бросить – авось кто-нибудь подберет. Эта печоринская фраза не фигурирует в повести, но она проходит через весь характер Романа Прокофьевича. Это музыкальное звучание, которое создает особый фон романа. Он не герой-разрушитель, нет, он не демон. Это бес. Но бес страшный.

Художественная натура Мани еще ничего не создала. Она только переживает, у нее обострены все чувства, она сплошной клубок нервов, страшно болезненно реагирует на все. Конечно, она не только не противится Истмину, наоборот, идет ему навстречу, чувствует себя вдохновленной. Маня его любит так, как может любить только вступающее в жизнь существо – с необыкновенной силой, силой самозабвения, самоотречения.

И Ида увлечена Романом Прокофьевичем. Свое подспудное чувство она ни перед кем не открывает, даже перед Машей, которую очень любит, которой покровительствует.

Рассказчик, как всякий мужчина, более груб, чем женщина, по своим ощущениям, по своим представлениям, по своим духовным и душевным возможностям, считает, что роман надо прекратить, не понимая того, что это прекратить невозможно. Или почти невозможно. Потому что люди не властны над своими чувствами. С точки зрения рассказчика, человек все может. В результате уроки живописи, которые давал Истмин Мане, прекратились. Но свидания не прекратились. Опять наш рассказчик намекает художнику, что игра с огнем опасна. Роман Прокофьевич тоже понимает, что нужно это дело прекратить – и уезжает за границу. До сестер доходят слухи о том, что он там дрался на дуэли с князем. Страх Маши за жизнь Истмина – вершина, кульминация ее любви. Но взаимного чувства у Романа Прокофьевича нет.

Далее события развиваются совсем нехорошо, потому что Маша заболевает. Но это не болезнь, это беременность. Маша разрешается выкидышем недоношенного ребенка. С этого момента она тяжело психически заболевает, наступает реакция на все пережитое. Ее помещают в специальное учреждение, где стараются вернуть к нормальному состоянию. В это время и Роман Прокофьевич возвращается из-за границы. Когда ему рассказывают, где Маша и что она пережила, наш ловелас несколько смущен. «Вы, кажется, были ранены на дуэли? – Да, пуля, дрался с князем. – И глубокая рана? – Да нет, на мне все заживает».

«Все заживает, всякая рана»... Лесков одной фразой дает характер героя. И рана от Маши тоже заживет. Значит, это не трагедия. Трагедия его впереди. Шульц вызывает его на поединок. Да, пишет автор, все-таки эта сцена была тяжела не только для Шульца, но, наверное, и для Романа Прокофьевича. И хотя он спокойно вынул пистолеты и предложил стреляться, но он все-таки понял, что оскорбил честь ребенка, совершенно незащищенного человека, только что вступающего в жизнь, еще не понявшего, какое чувство его обурекает, познавшего только физиологическую сторону любви, но не познавшего духовного начала, связанного с тайнами материнства, деторождения. Эти мысли впервые пришли нашему герою. В нем происходит борение между иронией и упреком, между тем, что надо разрядить пистолет (он полуиронически, полусерьезно говорит рассказчику: так мне хочется кого-нибудь убить, давно никого не убивал), и ощущением, что он преступник, что он довел эту девушку-девочку до сумасшедшего дома. А если теперь он убьет Шульца, то разорит эту семью. Неужели он может остановиться? Конечно, нет. И он с удовольствием разрядил бы пистолет.

Но Истомин не подозревает, что, помимо побед над женщинами и девушками, бывают ситуации, когда женщина одерживает победу над мужчиной. Не ту ласковую победу плоти, для которой она создана, а другую – победу

превосходящей силы сердца. Вот об этом лучше всех написано Лесковым. Ида приходит к Истомину и заставляет его написать письмо Шульцу с извинениями. Роман Прокофьевич, который вначале смотрит на нее, как охотник на хорошенького зверька, пытается взять любезный тон мужчины по отношению к женщине, подчиняется ее тону серьезного разговора и говорит, что он готов. <...>

Роман «Островитяне» необычен для Лескова. Петербургский пейзаж, особая интрига, персонажи выглядят так, как будто сошли со страниц автора «Преступления и наказания» и обработаны рукой Лескова. Везде виден стиль Достоевского: хронологичность, обрывочность, все «а вдруг». У Лескова никогда не бывает вдруг: «Я ведь не романист, я – секретарь жизни». Лесков здесь словно состязается с Достоевским. Зачем это было нужно автору? И.В. Столярова¹, которая действительно очень многое поняла в творчестве Лескова, ближе других подойдя к решению этой проблемы, тоже пока не ответила на этот вопрос.

Вообще лесковеды – люди особого склада. Собственно говоря, они только еще складываются в отдельную школу, потому что Лесков как писатель, как классик был в тени, и даже писали в какой-то юбилей, что он принадлежит второму ряду. Почему писателей надо делить по рядам – это на совести тех, кто так сказал. С точки зрения лесковеда, который занимается творчеством писателя не от юбилея к юбилею, а вплотную, скажу, что многие важные проблемы, связанные с его творчеством, все еще не решены.

Вот и нам с вами предстоит не только ставить, но и решать эти проблемы. Кажется, что «Островитяне» – это совершенно неожиданное явление, но это только кажется, потому что до романа «Островитяне» был написан еще один роман – «Обойденные» (1865), который я считаю предшественником «Островитян».

¹ И.В. Столярова – специалист по истории русской литературы XIX в., лесковед, автор книги «В поисках идеала».

Почему Лесков стал писать романы? Ведь роман – самый худший жанр. Это бессильная попытка художника, пытающегося изобразить жизнь. Лесков видел себя секретарем жизни, который пишет хартию, наворачывая ее на валик. А что в романе? Не жизнь, а взгляд художника. Например, в «Войне и мире» нас пленяет мир, идиллия дворянского быта. А Салтыков-Щедрин бунтует против этого подхода, он пишет роман «Господа Головлевы», где утверждает, что ничего этого не было, а норма – это Иудушка и Арина Петровна.

Что роднит Лескова с господствующей стихией романа? Он тоже не может вырваться из жанровой сетки эпохи. Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» попытался разрушить жанр, но все-таки это произведение тоже роман, хоть и сатирический. «Война и мир» Толстого – тоже попытка вырваться за рамки жанра. Но философия истории и войны возникает эпизодически, все остальное – роман.

Заглавие романа – «Обойденные» – программное: герои обойдены счастьем. Эта обойденность всегда присутствует в русской литературе: у Достоевского, у которого новая жизнь, обещание счастья находятся за пределами романа. У Тургенева, у Толстого в эти годы мотива обойденности нет, но в 70–80-е он появляется («Анна Каренина»). Лесков уже не удовлетворялся критикой нигилизма. По его мнению, отрицание всего не может быть пафосом русской жизни. Он пишет «Обойденные» – любовно-авантюрный роман в ключе Достоевского.

Мне очень интересно остановиться на замысле, композиции, героях. Первое, что бросается в глаза, – Лесков в какой-то степени пародирует Тургенева. Вы помните, что у Тургенева все начинается с хроники, с предыстории героев: «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» – везде одно и то же. Герои делятся на аристократов и демократов. Лесков так же делает в начале романа. Он изображает старинную дворянскую фамилию времен Потемкина – князя Сурского, аристократа, не ограниченного никакими

законами, принципами, кроме одного – он князь, и ему все позволено. Писатель упоминает его привязанности, сердечные похождения, детей, законных и незаконных. И весь этот страшный конгломерат русской придворной жизни, жизни русского двора он неожиданно для героя обрывает: Потемкин сходит со сцены – фавориты оказываются не у дел. И теперь один путь – в деревню, где Сурский может быть первым. Он никого не принимает, не потому что не может, а потому что не хочет: как он будет принимать людей, которые стоят ниже его, а выше его никто не стоит, по мнению героя.

Результат самый трагический: опьяненный своей прошлой славой, за которую он держится как за настоящее, в бешенстве раздражения и в припадке гнева умирает. Автор уверен, что так можно кончить роман, не доведя героя до какой-то дальнейшей точки в повествовании. Вообще у Лескова здесь, как у Достоевского: помните такой прием – «а вдруг»? «Вдруг» вошел, «вдруг» что-то произошло, «вдруг» умер. Все произведения Достоевского хронологичны, вне времени, события расположены не по времени, а в обратном порядке, словно это кинематографическая лента, которая вертится в обратную сторону. У Лескова здесь та же манера, только он не пускает эту ленту обратно, а просто обрывает ее, обрывает часть романа. Лесков не сомневается, что таким «вдруг умирает» можно оборвать повествование. Получается неизвестность: пропал, исчез, никому не нужен... Зачем это автору? А затем, что жизнь бесконечно сложна. И эта сложность жизни должна быть воспроизведена сложностью сюжета. Человек, какое бы он место ни занимал на социальной лестнице, подчиняется не социальным законам, а живет по законам сердца, – в этом Лесков убежден. И как только он им изменяет, как только закон сердца перестает действовать – герой гибнет. Так начинается этот роман.

Потом сквозь туман повествования сбивчиво и неясно возникают отдельные лица. У Лескова именно «туман» повествования. Он не любит однозначности, резких мне-

ний, как Тургенев, как Л. Толстой. У него так же все сбивчиво и неясно, как у Достоевского. В этом тумане вырисовываются отдельные личности: мать, бабка, прабабка, отец, сын, внук. Лесков не скупится на психологические характеристики и социальные обобщения. Герой не один – он должен иметь предшественников. И вот четче других обрисовывается образ Долинского. Он сын хороших родителей. В каком смысле «хороших»? Они люди высокой нравственности, не от мира сего, в том смысле, что их миссия – делать добро. Это добро может быть и духовное (доброе слово поддержки), и постоянное обеспечение неимущих. Последнее приводит их к разорению. Они смотрят на это легко и спокойно, потому что все их состояние досталось неимущим. Эти блаженные, живущие сердцем, оказались в положении нищих богачей и богатых нищих – нищих по материальному положению и богатых по духовному содержанию. Но совершая эти благородные христианские поступки, родители забывают, что у них есть дети. Замечательно, что Лесков дает такую генеалогию: дети тоже должны являться носителями добра, не материального (его уже нет, остались гроши), а добра внутреннего, духовного.

Лесков строит интересную модель, как теперь говорят. Эти добрые люди – не деятели. Это «золотое сердце», но оно недеятельно. Они не борцы, не созидатели. Очень интересная мысль, потому что Лесков – художник послекрепостного времени, когда на авансцене русской жизни выступает новый активный класс – буржуазия, выходцы не из дворянской среды: эта публика никогда не умела бороться, отстаивать свои экономические интересы и имела преимущества только в силу закона. А когда закон перестал действовать, выдвинулись на первый план инициативность, предприимчивость, все оказалось в руках производителя, т. е. вчерашнего крестьянина, этого разбогатевшего мужика, которого потом назовут «кулаком», ремесленника – тех, кто своим трудом что-то создает.

Вы обратили внимание: дворянское сословие, с позволения сказать, ни к чему не пригодно. Но в то же

время оно – носитель очень большой культуры. Какой? Откуда она взялась? Что надо понимать под этим словом? В понятие «культура» входят живопись, музыка, архитектура, литература. А кто, собственно, создавал все это? Вы можете назвать много дворян-архитекторов? Живописцев? Музыкантов? Нет, очень немного. Основное делала крепостная интеллигенция. Другой очень плодотворный канал – учительное сословие, духовенство, которое, в сущности говоря, было в рабской зависимости. Между христианским рабом и мужиком никакой разницы не было: как тот, так и другой пахали, сеяли, собирали, платили оброк. Мужик больше, поп поменьше, т. к. он человек свободный, не оброчный.

Утверждение насчет крепостной интеллигенции, я думаю, не вызовет больших споров. Из поповской среды вышел гениальный архитектор Баженов – замечательный художник, тот, кто создавал камни исторической России. А где наши композиторы, музыканты? Львов да Бортнянский? Мало. Страшно мало! Вы скажете, потом появятся... А сейчас, когда наступил рывок, движение? Когда все ощущают то, о чем писал поэт:

Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

В живописи – то же самое. Были крепостные живописцы, пишущие парадные портреты по типу европейского. Ведь каждый хочет иметь свой парадный портрет! Потом, конечно, во времена Пушкина появятся Тропинин, Кипренский. А перед этим? Были Аргунов, Левицкий. Все они были крепостного происхождения. Да что говорить! Самый крупный русский актер – Щепкин – был крепостной. Этот гений! Правда, выкупили... А вот литература – это удел образованных людей: каждый человек, который взял в руки перо, уже считает себя писателем. Недаром мать И.С. Тургенева никакого различия не делала между писателем и писакой. Раз пишет – значит писатель. И за это презирала своего любимого Ивана Сергеевича.

Литературные занятия могли помочь продвижению по службе. Одна из самых блестящих фигур в нескольких царствованиях – Державин начал свое восхождение при Петре III, и всё, как он говорил, благодаря своей музе. Сколько царей пережил! В книге «Записки», где Державин пишет о себе в третьем лице, он рассказывает, как ему в служебных продвижениях помогала литература. И Державин был не один. Но многим казалось, что писательский труд – не такой уж труд. А все потому, что из этого ничего путного не получалось.

Первым человеком, который стал осознавать себя только писателем, был Карамзин. «О меланхолия!..» Писатель должен быть сосредоточен на собственном чувстве, писать о нем. Потемкин не может. Он только занимательная личность, не более. Как быть с Фонвизиним? С Крыловым? Они не рассказали о собственном чувстве. Они могли рассказать о тех безобразиях, которые были вокруг них. И только. Произведения Крылова, оставшиеся в нашем сознании, – это только басни. Вы вспомните его «Кофейницу»? Но это произведение не вошло в сознание человека, который читает для ума и сердца. А вот Карамзин, а затем и Жуковский были первыми, кто осознали себя писателями, которые только тем и занимались, что рассказывали о собственных чувствах. Жуковский открыл дорогу для создания психологического героя. Никто так много не сделал для изображения личности со всеми ее противоречиями, страданиями, счастьем, горем, порывами, как он. Когда вы будете на пенсии (я не говорю о тех, кто уже сейчас на пенсии), вы тогда прочтаете прекрасную книгу А.Н. Веселовского «Поэзия чувства и “сердечного воображения”»¹. Это очень точное определение поэзии этого автора. Вы скажете: из вашего изложения получается, что русская литература была дворянская, а не крестьянская. Совершенно верно. И очень долго оставалась такой.

¹ Веселовский А.Н. «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”» М.: INTRADA, 1999.

А вот культура, так называемая «дворянская культура», создавалась не дворянами, а той самой крестьянской крепостной интеллигенцией, которая пользовалась вкусами, запросами и представлениями дворянской среды. Вот здесь очень интересный стык. Технари допетровской эпохи не могли иметь такой вкус. Один источник, питавший наши художественные представления, – это Запад. Мы вообще обезьяны, любим повторять то, что на Западе. Но там больше плохого, чем хорошего, а способность отсеять дурное и взять хорошее – это удивительная способность молодой нации. Другой источник – народная жизнь, мифы, сказки, песни, предания. И третий, великий источник, о котором никогда нельзя забывать, – религиозный. Представления, которые получал человек почти от рождения, кодекс «Не убий. Не прелюбодействуй. Не укради»¹ – он как тогда, так и сейчас не под силу людям, но привлекателен своей идеальностью. Впрочем, идеальность всегда стояла где-нибудь сбоку – и в XVIII, и в XIX веке.

Все, что сказано сейчас, относится к родителям Долинского, этим евангельским персонажам, которые пытаются жить в мире по другим законам, и самому главному герою. Здесь его генеалогия, психология, жизненный путь. Обратим внимание, что все они «ушиблены» искусством и в большей степени – литературой. Долинский – герой особый, по своей духовной и душевной организации. Он сын благочестивой помещицы, которая все раздавала. Дети этих блаженных – утописты. Его мать – это вариант Юлиании Лазаревской XIX века. Но «Юлиания», обогатив всех и свой собственный мир, пустила по миру своих детей, и только другие сердобольные люди, сострадательные и любящие правду жизни, позаботились об этих детях. Дали возможность Долинскому кончить гимназию с золотой медалью, университет. Он стал уездным учителем гимназии, а потом писателем. Отзывчивый на всякое горе, на беду, на всякую необеспеченность, доверчивый как ребенок и без жизненного опыта, он встречается с такими

¹ Исх. 20, 13–15.

фактами, которые, в сущности говоря, могут его погубить. И первый – это его женитьба.

Здесь начинается другая линия – линия мелкопоместных разорившихся дворян, которые живут Христа ради, т. е. не в прямом смысле слова, не с протянутой рукой, не на паперти, а попрошайничают у знакомых, у покровителей – и тем, конечно, приятно какой-нибудь дворяночке дать куш, а если у дворяночки есть еще девочки – дочери, или готовые наложницы – это совсем хорошо. Одна из таких девочек, Юленька, очень хорошо это делает – выкачивает деньги из покровителя (ее маменька научила, как словечко сказать, ручку целовать, к коленочке прислониться, – школа не прошла даром). У нее самой никакого положения нет, а его необходимо создать, и она его создает, окрутив вислоухого шалопая – такая она страдающая. Долинский не может не обратить на нее внимания. Юленька его на себе женила. «Счастья он не ожидал, и его не последовало». Совсем впав в черную немощь, бедняга терпел-терпел и сбежал от жены в Петербург, а затем и за границу, в Париж. Русские люди любят убежать в Париж. Париж – самый дешевый и либеральный город в мире. И здесь он встречается с двумя русскими женщинами...

Вот это материал для целого романа, где можно написать о слабом сердце (ведь Долинский – безвольный человек). Здесь угадываются черты Достоевского. Герой живет самой худшей формой жизни, но другого ничего нет, он научился жить в новых условиях – благо за плечами университет, который всегда прокормит.

Все обойдены счастьем. Эта тема волнует Лескова. Долинский оказывается в западне случайности. Он «либерал-идеалист». Но жизнь предъявляет свои требования, а человек должен приспособливаться.

Лесков в «Обойденных» берет самые пошлые ситуации, обыденные. Этот роман можно рассматривать как ключ к массовой беллетристике, где прекрасно представлена фактография русской жизни. Для массовой беллетристики характерны натурализм, эмпирика, интриги. Она

необходима в литературном процессе: литературу создают не корифеи, они пользуются находками писателей-беллетристов, в их произведениях – объединение художественного опыта, собственного и чужого.

*Творчество Лескова периода грани,
исторической и художественной. «Смех и горе»*

Произведения, о которых мы говорили, – произведения Лескова, сложившегося художника, но не сложившегося мыслителя. Сегодня мы обращаемся к произведению того периода творчества Лескова, который можно назвать периодом грани – грани хронологической и идейной. До сих пор мы имели дело с произведениями, которые критически рассматривали и оценивали события до 1861 года, причем, как всегда у Лескова, в них изображались не исторические переживания, потрясения, происшествия, трагедии, а рассматривался вписанный в исторические события человек. Именно о человеке идет речь, и все происходящее с ним делается предметом социально-исторического анализа. После реформы 1861 года в творчестве Лескова начинается очень важный период – происходит переоценка ценностей. В дальнейших произведениях речь пойдет о мире рациональном, мире расчета, торговли, предприимчивости, голи. Какой характер примут все эти черты? Как все это будет осуществляться? Лесков не может рассуждать легко и спокойно, его гражданская позиция обостряется, когда он изображает капиталистический мир. Приходит другая жизнь, энергичная, приходят новые представления. Это новое Лесков изображает в цикле произведений, где все показано через быт. Но быт самый разнообразный, так что критики иногда не понимали, зачем он так делает. А он делает это для того, чтобы через быт разоблачить строй, уклад, всю жизнь русского общества после реформы. Как и многие, Лесков надеялся, что новые условия освобождают человека (капиталистический мир свободы), а свободы нет – то же притеснение и поругание человеческой личности.

Наиболее интересна в этом отношении сатирическая хроника «*Смех и горе*» (1871). Само ее название симптоматично: в ней очень много смешного, но смешного-печального, – и горя, самого настоящего, которое можно назвать историческим. Лесков переживал, что «читатели увидели только смех и не увидели, что смех мой – не смех злорадства, а смех скорби...»

Как всегда, автор не изображает исторические происшествия, а рассматривает человека, анализирует его и все сущее. Анализ дается через цепь курьезов, скверных сюрпризов, анекдотических происшествий, приключающихся с героем. Главное действующее лицо, он же и рассказчик, – Орест Маркович. Как всегда у Лескова, рассказ в рассказе. Начинается обычно, в чисто бытовом плане: собрались добрые знакомые у друзей. Идет спор об обычае дарить вербу в Вербное воскресенье. Все радуются: какая хорошая традиция! Ребенок просыпается, а над его кроватью висит купидон с вербой. Как это лирично и как это хорошо! Ничего, что потом жизнь будет не всегда приятна. Но в детстве, в младенчестве как можно лишить ребенка этой радости, этого удовольствия – никогда! Все на этом сходятся. Но один из гостей, Орест Маркович, считает, что это очень плохой обычай. Потому что никаких «купидонов» жизнь нам не приносит. Ребенку нужны не купидоны, а березовые веники, чтобы он знал, что жизнь нас подстерегает на каждом шагу, и с самого детства помнил о неприятностях. «Я расскажу о купидоне и о том, почему я против всяких подарков». И далее рассказ представляет собой цепь анекдотических и трагических приключений Ореста Марковича, которые доказывают правоту его суждений. Надо вам сказать, что здесь между Лесковым и Толстым идет самая настоящая полемика.

Вы вспомнили, конечно, тему детства у Толстого. «Неповторимый аромат» детства, прелесть этого времени. Прислуга в повести – как у Толстого, Тургенева: близкие отношения с ребенком. Лакей Борис носит на руках маленького Ореста, и он видит себя в сказке на сером волке.

Идиллические отношения, любовь и сердечность, чаепитие с самоваром. Лесков в этом отношении отчасти следует традиции дворянской литературы. После «Детства» Толстого было написано очень много таких произведений: «Детство Темы» Гарина-Михайловского, «Детство» Горького. Настолько была актуальна эта тема. Какое детство у Ореста? Отец умер, осталась матушка и состояние. И теперь они переезжают из одного города в другой. Орест Маркович жизнь стал узнавать в пути. Его гимназии – постоянные дворы.

Мы видим ряд прекрасно написанных пестрых картин, где представлены разные социальные слои. Везде смута, умственный и нравственный хаос, окружающий Россию. Перед нами целая галерея «героев». Вот генеральша, которая торгуется из-за индюка: «С тех пор при виде земного величия я спрашиваю себя: как бы оно держалось перед индюком?» А у героя было такое идиллическое представление о генеральше... Еще один персонаж – доктор, не верящий в медицину, генерал Перлов с его повествованием – картина, мастерски написанная сатирическими живыми и правдивыми красками. Вот сибарит-чиновник, значительный с виду (он взятки не берет – ему казна даром дает), провинция с людьми на местах. Здесь гениальные страницы как будто списаны у Щедрина – мир людей, сопоставленных с рыбами и животными (или это Щедрин списал у Лескова?). Но у Щедрина есть известная монотонность, скука из-за изощрений в сатирических изображениях. А «безмерный Лесков» обладал удивительным чувством меры.

Лесков любит подражать стилям своей эпохи, любит художественные эксперименты, которые не под силу ни одному писателю его времени: он может писать, как Щедрин, Достоевский. Он соперничает с самыми большими писателями: роман «Некуда» написан в стиле Тургенева, «Расточитель» – как у Островского. А вот у «Очарованного странника» параллелей нет (даже у учеников Лескова – Чехова и Бунина). Лесков делает вставки из чужих творе-

ний в свои произведения: с его страниц говорят разные писатели в его собственном произведении, получается полифоническое звучание. Такая манера языкописательства была доступна только ему. Это не подражание, а продолжение страниц других авторов. Что это – достоинство или недостаток? Искусная имитация или утрата авторской личности?

Вернемся к повести «Смех и горе». Орест Маркович с матерью заезжают в Петербург, к дяде – князю Одоленскому, человеку очень интересному. Владелец огромного имения, живет замкнуто, никого не принимает, неисправимый либерал, поссорился со всеми чиновниками, сановниками и изнывает от тоски. Единственное его развлечение – сравить всех чиновников, чтобы они перессорились. Это для него самое большое наслаждение. А как это сделать? Он зовет к себе дьячка-пройдоху и говорит, что нужно написать кляузу. Какую? О том, что скот губернатора попал на его владения. А он ответит на жалобу: «Я *скота губернатора* к себе не зазывал». Вас удивляет, почему он берет пропойного дьячка? Это характерная черта. Дьячки – всеми обиженные люди: его выгнали из третьего класса семинарии, после того как он успел узнать грамматику и риторику. Все экзамены в семинарии (по математике, географии) проводились в письменной форме, так что семинаристы могли сочинить все, что угодно. А на священника писали кляузы с удовольствием, потому что попам отходила львиная доля дохода.

Следующий этап в жизни героя – гимназия. Здесь уже не так, как у Толстого, совсем по-другому. Вырисовываются разные типы характеров: и мерзкий, и подлый, и благородный (Калатузов, Локотков). Возникает очень хорошая черта – общность. Как сейчас бы мы сказали, коллективизм. Все за одного – лесковский идеал. А после гимназии – в Москву, в этот замечательный город, лучший город в мире, с его университетом. Московский университет! И наш герой – студент этого университета. Вот где начинается настоящая-то жизнь. Студенческая среда,

профессорские лекции, постоянное общение, разговоры. Весь Герцен словно развернулся на страницах Лескова.

Не думайте, что Москва всегда была такой, какая она сейчас. Нет, это был прекрасный тихий город. Гулять по Москве было наслаждение. Она хранила покой, тишину. Город, который совместил в себе древнюю столицу и тихий уютный мир, мир отставных, либералов, консерваторов, город Чаадаева, Хомякова. Вот сюда попадает Орест Маркович. В Москве нашему герою надо найти крышу над головой (впрочем, раньше так не говорили: не крышу, а кров). Его ждет встреча с новым «купидоном» – карьеристом Постельниковым, который прислуживает «влиятельным» и всякому сброду. Он весь завитой бумажками, одет во все голубое: голубой мундир, голубые рейтузы, только сапоги не были такими, а все остальное было голубое. Господин Постельников, как вы сами уже понимаете, по цвету его одежды, был жандармский офицер. Он был не только простой, но и хитрый. И не только хитрый, но и подлый, как и полагается быть жандармскому офицеру. С этого знакомства начинаются злоключения героя. Вместе с Постельниковым Орест Маркович стал посещать вечеринки, которые всегда кончались, как говорил Постельников, «возлиянием Бахусу». Вообще он любил употреблять греческие слова. Он всегда говорил Оресту: конечно, я человек необразованный, я тебе не могу сказать, что мы с тобой равня. Но ты знаешь, я так люблю просвещение! О, общение с тобой доставляет мне такое удовольствие, Филимоша (он решил звать его Филимоша).

И вот однажды Ореста Марковича вызывают в жандармское управление. Постельников донес, что у него есть книга Рылеева «Думы», сообщив Оресту, что сделал это для собственного продвижения по службе. Жандармский генерал уверен, что Орест Маркович состоял в тайном обществе, где ему дали прозвище Филимон, именины которого праздновались 14 декабря. Герою пришлось, чтобы избежать больших неприятностей, идти на военную службу. Должен сказать, что во время службы в полку он не-

сколько раз был близок к самоубийству. Но что делать? Он часто вспоминал того купидона, который с березовым веником висел над его детской кроваткой. Вот оно, сбывается, думал он, – и это еще счастье.

После 1861 года Орест Маркович уходит из военной службы, уезжает за границу, а затем возвращается в Россию. Он побывал среди всех слоев русского общества (духовенство, интеллигенция) и увидел одну смуту после реформ – и в городе, и в деревне. Что же это будет? Наверное, дядя-то был прав, говоря, что вместо купидона с цветочками надо вешать купидона с розгами.

Вот он, русский мир, русская жизнь. Вот он переход от ужасного крепостного права к «счастливому» капиталистическому миру. Здесь смешалось все: и капитализм, и социализм, и феодализм. Герой в центре этих зловключений, последнее из которых сведет его в могилу. Это вся Россия, полная смеха и горя, ее трагическая история после реформы. Лесков не находит желанного синтеза, а видит горе, огромное историческое горе России.

Лесков и XVIII век

Лесков проявляет большой интерес к XVIII веку. Все писатели XIX века так или иначе к нему обращались, создается целый поток исторических романов: Г.П. Данилевский («Княжна Тараканова»), Д.Л. Мордовцев («Знамение времени», 1869, «Великий раскол» 1880), Е. Салиас («Пугачевцы», 1874), Вс. Соловьев («Вольтерьянец», 1882; «Великий Розенкрейцер», 1889). Это симптоматично: после 1861 года возникает сильный интерес к истории, историческому процессу.

Лесков, как и Достоевский, не написал исторического романа в полном смысле слова. В его рассказах мы встречаем исторические образы, параллели, экскурсы. Но главный его интерес не ко всемирной истории, а к повседневности. Лесков хочет написать исторический роман без исторических лиц. Когда же он начинает изображать исторические лица, они у него выходят комическими.

В хронике «Старые годы в селе Плодомасове» (1869) героиня Марфа Андреевна Плодомасова – историческое лицо эпохи. С точки зрения Лескова, каждое лицо эпохи – историческое. Она очень яркая личность, стоящая на рубеже веков. В этой книге изображается ее жизнь с 1812 по 1850 год. Она была свидетельницей эпох Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I.

Плодомасова появляется и в романе «Соборяне». Со своими карликами она приезжает к Савелию Туберозову. Между ними происходит разговор, где Плодомасова говорит об одиночестве: «А ты разве не одинок? Что же в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит, а все же чем ты болеешь, ей того не понять. И так всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих». Лесков с огромной силой художника воспроизводит этот разговор, так чтобы мы поверили в реальность переживаний и чувств человека. Одиночество – это одна из определяющих черт героя Лескова в XVIII веке.

В хронике Лесков показал черты исторической эпохи XVIII века. Все персонажи либо маскарадные фигуры, либо страшно одинокие люди. При написании книги Лесков обращался к труду М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России». В XVIII веке он увидел сочетание низкопоклонства и независимости. Это век выскочек. Но эти выскочки начинают чувствовать независимость. Она может проявляться в примитивном удовлетворении прихотей. Сын Б.П. Шереметева всю жизнь занимался тем, что тратил колоссальные средства на одежду, стол, экипажи. Он не носил, а «таскал свое имя», по выражению Щербатова: «Человек весьма посредственный разумом своим, ленив, незнающ в делах, и, одним словом, таскающий, а не носящий свое имя, и гордящийся единым своим богатством, в угодность монархине со всем возможным великолепием жил».

Рядом с мелкими выскочками – столпы России. Правда, их положение менее устойчиво. Лескова увлекают быстрые взлеты людей того времени. Калифы на час,

Орловы, Потемкин, Зубов, Бибииков, достигали огромных высот. Но особенно писателя интересует их падение. И что после падения?.. Внешнее благополучие в конце концов сменяется отставкой, ссылкой – в лучшем случае в Москву, город «отставников» (позже сюда сошлют Ермолова, Чаадаева). Жизнь бывших вельмож превращается в нищее прозябание.

Хроника «Старые годы в селе Плодомасове» обильнее по своим открытиям, чем «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина, трилогия Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

В другой хронике, «Захудалый род», изображен Дон-Кихот Рогожин. Его поиски жизненного идеала напоминают искания героя рассказа «Овцебык» Василия Богословского. В Рогожине чаадаевская разочарованность. Он познал в жизни куда больше, чем предки: кроме материального благополучия, есть еще благополучие внутреннего мира.

Лесков выбрал в герои не Радищева, не Новикова, не Львова, а Рогожина, Плодомасову, карликов – детей XVIII века. Писателя не волновали крупные гениальные исторические фигуры, его волнует человек. Самое главное для писателя – внутренний мир человека. Это единственный храм Лескова, только этому богу он поклоняется. Достоевский в одном из писем заявлял: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать». Лесков такое заявление сделал в своем творчестве.

Историю делают люди не важные, не великие, но каждое лицо для Лескова историческое, жизнь каждого – история своего времени. Больше всего его привлекает на рубеже веков *преполоение*, интересное и страшное. Человек заблудился и потерялся в столкновении естественных наук с безудержным идеализмом века. Писатель хочет понять, каково философско-психологическое место человека в этом мире. Его интересует человек, безликий в социально-историческом плане. Это просто человек.

Роман-хроника «Соборяне» (1872)

Роман был основным жанром русской литературы XIX века. Помните, как у Пушкина:

Мы алчем жизнь узнать заране,
И узнаем ее в романе.

К этому времени европейский роман уже выдохся. Предтечей романа являются физиологические очерки, которые потом войдут в роман. Все писатели начинали с очерков. Достоевский создает судебную и каторжную хронику. Лесков тоже связан с очерковой литературой: в «Леди Макбет Мценского уезда» есть черты этого жанра (сравните с названием рассказа Тургенева «Гамлет Шигровского уезда»). Но это произведение, как и другие первые художественные произведения Лескова, романично. «Леди Макбет Мценского уезда» – повесть, которая имеет все элементы романа: наличие любовной интриги, конфликтность, хронологическая объемность.

Перед писателем этого времени стоит трудная задача – создать общерусский роман, всесловный. Попытки предпринимают и Лев Толстой («Война и мир»), и Достоевский. Последний, правда, не считал, что существуют социальные миры, для него существует индивидуальность. Он создал русского человека во всех его проявлениях – в восторге и гадости («Братья Карамазовы»). Русский роман по преимуществу семейственный (Толстой «Война и мир»). Писателей в первую очередь заботит психология – история души человека. В романах мало места отводится истории, экономике, географии. В центре повествования – человек, его внутренний мир. Литература – это молитва, исповедь человека. И в этой молитве читатель сливается с автором.

Лесков говорит, что жизнь противоречит роману, но ищет себя в этом жанре. «На ножах» не свойствен ему, но проблематика, «завихренная система» – его. Но это только поиски романа. Лесков вообще не любил этот жанр, считал его бесплодным, бесполезным: «Мне не нравится,

что в романе обязательно нужна коллизия “влюбился – женился” или “влюбился – застрелился”. Он не понимал, что 60–70-е годы XIX века – это эпоха русского реалистического романа, которая повлияла на всю мировую литературу.

Лесков хочет написать роман бытовой, исторический, но без исторических лиц, где было бы описание времени, быта, нравов, воспроизведен язык того времени. Лесков – писатель камерный, без перспективы (как Толстой или Достоевский), у него все по-домашнему: повседневная, обывательская, мирная жизнь, но переполненная тревожными событиями. Он нашел такую форму романа, до которой другие не доходили – роман-хроника, роман-летопись. Сперва он назывался «Божедомы», потом – «Соборяне». Оригинальная вещь. Это хроника не поколений, а отрезка времени. Теперь можно себе представить, что такое роман в понимании Лескова, поскольку «Соборяне» ни на что не похожи. Это его, Лескова.

Действительно, всеобщий роман. В нем описаны: духовенство, дворянство, нигилисты и народ во всех его проявлениях. Эти группы очень пестрые. И первая – духовенство, «соборяне», то есть клир собора. Савелий Туберозов, Ахилла, Захария...

Задача простая: обо всех пишут, а о попах не пишут. Нужен роман о попе. Это ведь мир второстепенных людей. Что о них писать? Савелий Туберозов – главный герой романа, как Лесков ни отказывался от него. Сделать героем романа священника – большая смелость. Духовенство всегда было на задворках русской жизни и искусства. До Лескова попов изображали только пародийно-сатирически (вспомните картину Перова «Чаепитие в Мытицах»). Это сословие «вне закона», не то чиновники (это городские священники), не то мужики (это сельские священники). Отношение в обществе к ним презрительное. «Колокольные» дворяне, как их называли, – люди третьего сорта: власть имеющие, но сами подвластные. Они должны отстаивать свою независимость, но их положение трудное.

А ведь духовное сословие должно быть тем миром, который формирует идеологию.

В центре повествования – жизнь протоиерея Савелия Туберозова, связанная с различными явлениями русской действительности и быта. Лесков показывает Туберозова в рясе и без, как проповедника, Савонаролу, и самокритичного человека. Писатель раскрывает мир его идей, страстей, работы интеллекта.

У Туберозова не литературная биография, а будто взятая из жизни. Фамилия у него семинарская. Такие фамилии давали поповским детям архиерей или инспектор (так у пяти братьев могут быть разные фамилии). Если ты румяный мальчик – будешь Румянцев. А вот этот – орел! Он будет Орловым. Встречались и совсем удивительные фамилии – Дюмафис (это архиерей Дюма-сына читал). Фамилия героя – производное от «туберозы» – цветка белого цвета, символа чистоты. Он закончил семинарию, прошел все ее классы – и грамматику, и риторику. И все науки превзошел. Ему был прямой путь в академию. В России было два учебных заведения, где протекция не имела силы, – это Военная и Духовная академии. Там преподавали лингвистику, литературу, историю, географию, слог, то есть умение писать. Туберозов все время пишет (ведет дневник): это навык семинариста, который не может не писать. После академии выпускника ждал богатый приход (если он женится), но обычно выпускники становились монахами и получали епископат. Вместо того чтобы идти в академию, Туберозов пошел в попы.

Хотя Лесков назвал свой роман хроникой, писателю часто нельзя верить. Здесь не только хроника, где главный герой окружен повседневными фактами, событиями, людьми. Здесь есть и любовная линия. Но это необычная любовь – Лесков не побоялся взять такую тему, как роман попа и попадьи (попадью зовут Наталья Николаевна – так же, как жену Пушкина). Он проявляет стеснительность в раскрытии их отношений, чтобы не нарушить их красоту. Это очень важно – деликатность писателя, кото-

рый не говорит о страсти. В их отношениях есть трагическая нота – это трагедия бесплодия. «Вспомни, голубь мой, может быть, где-нибудь есть твой голубенок, и если есть – пойдем и возьмем его», – предлагает Туберозову попадья. «Голубенок» – протест против дворянских представлений о незаконнорожденных детях. В этих словах привязанность, чувство матери, перед которым Туберозов должен был преклоняться. Это дает ему право говорить о красоте души русской женщины («где, кроме святой Руси нашей, рождаются такие женщины?»).

У Лескова нет изображения детей. У него нет смелости Достоевского и Толстого, он боится изображать детей. Не потому, что отрицает семью или дети для него – вопрос второстепенный (как это было у нигилистов), но в силу особенностей своего таланта.

Идея Лескова в том, что Туберозов трагически одинок. Нет людей, которые могли бы понять его. Здесь интересна встреча с Плодомасовой, у которой своя трагедия одиночества – разделяют его только карлики. Она лучше всех понимает Туберозова. Всякий человек, обладающий интеллектом, внутренней силой мысли, стремящийся себя познать, неизбежно приходит к одиночеству. На этой страшной мысли писатель построил весь роман, весь жизненный путь героя.

Туберозов знает, во что верит. И эту веру он может передать другим. Лесков показывает такую особенность – помимо убеждения словом, есть убеждение чувством – это интуиция, которая передается от одного к другому. Красноречивое молчание – это есть у Савелия. Можно сказать, что он экстрасенс. У него есть эта сила убеждения – и ты все равно делаешь, как он хочет. Хотя он прямо и не говорит о своих желаниях. Это власть человека над человеком – то, что развито на Востоке. То, о чем писал Н. Рерих. Люди, подобные ему, стоят вне литературы, вне искусства. Рериху открыто больше, чем Лескову.

Туберозов должен сказать миру правду, а кто хочет эту правду слушать? «Старик-то у вас совсем маньяк

сделался...» Туберозов страдает от легкомысленного отношения людей к России, к ее истории. Люди много смеются, повсюду ложь, непонимание фатальности, которая лежит на человеке.

Кто же окружает Туберозова? Дьякон Ахилла – это образ комический. Это большой ребенок, от него много шума и скандала. Он однолюб: полюбил детским чувством Савелия. Ахилла выступает за порядок, стоит горой за свои убеждения, а убеждений-то нет. Образы даны на контрасте: богатырь Ахилла и слабый телом Захария, Захария с потомством и одинокий Савелий. Бенефактов слаб телом, но памятливы. Нищий духом, он остался хранителем поповки. Захарий – воплощение христианского всепрощения, незлобивый, неумный, глуповатый, но вымолил у Савелия «прости мя». Надо быть тонким художником, чтобы отрицательные черты объявить положительными и возвести их в «перл творения».

В «Соборянах» изображается дворянский круг: градоначальник, почтмейстер, почтмейстерша – снисходительно относятся к Савелию, но в свой мир не допускают. Здесь дается целая галерея нигилистов. Препотенский – антипод Туберозова, хотя они люди одного круга и одного воспитания. У Препотенского – своя идея: он материалист, своего рода просветитель, выступает за свободу выражения чувств, человек образованный, редактор журнала, пишет. Но он сеет дух сомнения, раздора. Лесков к этому времени, пережив общественное презрение, мог вернуться к теме нигилизма. Для писателя самым трудным был расчет с прошлым. Он тоже был гоним за идеи против нигилистов, которые, как считал Лесков, разрушают Россию: «Патриотическое начало – величайший вред для России», – рассуждают нигилисты. Здесь он сводит с ними счеты, избегая при этом карикатурности; его герои – это государственные чиновники, блюстители порядка.

Гроза, стихия, которая выше всяких мер предосторожности, наводит Савелия на мысль, что он должен сказать всю правду: отцы города, которые должны блюсти

мир, жалки и ничтожны перед Божьим миром. Он собирает всех чиновников, чтобы прочитатъ им проповедь – манифест христианского социалиста. Вот он – путь подвига одиночки. И – расплата: «жизнь кончилась, началось житие». Им займется Консистория – учреждение, стоящее над церковью, следит за духовенством, чтобы не говорило лишнего, не вело пропаганды, не произносило проповеди экспромтом. Защиты от нее нет, архиерей бессилен, приход тоже. Расправу осуществляют приехавшие за Туберозовым жандармы. Савелий оказался в камере, он не служит, ему запрещено говорить. Но думать запретить нельзя! Самое отрадное и страшное – мысль. Она вдохновляет, она же и точит человека. Надо много сказать – и нельзя. Слово никогда не может выразить всей полноты мысли человека. А если и может – то где аудитория? Люди, окружающие его, все равно ничего не понимают.

Сцена смерти Туберозова – одно из лучших изображений смерти в русской литературе. Так не удавалось ни Толстому, ни Достоевскому. Смерть Зосимы у Достоевского напоминает тайную вечерю: чтение Евангелия, разговор Алеши с Зосимой – смерть перестала существовать, наступила вторая жизнь. Достоевский изображает героя на грани земного существования и ухода из реального мира. Смерть же Туберозова дается в жизни; нет этого перехода за грань смерти, желания познать, что «там». Лесков показывает, что в Савелии была мощь, реальное осознание происходящего и негибкая воля к жизни даже в час смерти. Разговор Ахиллы с Туберозовым – прост, обычен, естествен, реалистичен. Толстой и Достоевский все время хотят переступить эту черту дозволенности. Великая вещь для художника знать меру – и Лесков ее знает. И здесь Достоевский и Толстой уступают Лескову.

Лесков нашел свою форму романа – хроника, но никто за ним не последовал. Так, как он писал, никто не писал. Но он тоже не продолжил свой опыт. Лесков – не

романист, это не его жанр. Потом он разочаровался во многом – в борьбе за истинную церковь (из письма Щебальскому: «Теперь... я не написал бы “Соборян” так, как они написаны»).

Лесков плохо поддается изучению, не вписывается в общую схему развития идей. «Соборяне» не штудия, это то, что написано однажды, и повторить этого нельзя. Это единственное произведение, эпохальное. Почему единственное? Во-первых, необычен мир героев; в других романах нет этого мира или они не герои. Во-вторых, показана провинциальная среда, дрянной городишко, глубокое темное захолустье. «Соборяне» захватывают острые моменты жизни, здесь – детали, которые запоминаются (Туберозов не может закинуть ногу на телегу – трудно, тогда это сделал жандарм). Это роман всесловный, где представлены духовенство, дворянство, мещанство, гольтьба, люмпен, который существовал только в бульварных романах. И все это вместе – Россия. Россия Лескова – естественная русская тягучая жизнь, повседневная обычность, русость. Пусть это мир средний, но он дан с такой выразительностью, что делается лучшим документом эпохи. Лесков был писателем мещанской среды в тот период, когда эта социальная прослойка делается существенной в русской жизни. У Б.А. Грифцова в «Теории романа» о «Соборянах» сказано, что это удачная иллюстрация, энциклопедия нации, история народа, нравов, обычаев. С точки зрения Лескова, история – это быт, верования, отдельные экскурсы, исторические сюжеты без выдающихся лиц.

Есть таланты аналитические, а есть фиксирующие. Лесков – летописец, по нему можно изучать историю. В частности, момент, когда люди перестали осознавать связь настоящего и будущего. Лесков – выразитель соборного начала в русском человеке. В этом его актуальность. Писатели – плохие мыслители, но могут давать потрясающие художественные изображения.

*Русский национальный характер
в изображении Лескова*

Повесть «Очарованный странник» была написана Лесковым в 1873 году, в самый продуктивный период его творчества. Это программное произведение, то есть в нем есть то, что потом реализуется в остальных произведениях. Наряду с «Соборянами» и «Запечатленным ангелом» «Очарованный странник» может быть назван шедевром русской повести XIX века. В одном произведении автор показал самые разные сферы русской жизни: здесь и крепостной уклад в имении графа, и южная степь, пленником которой стал герой повествования, здесь и поразительное изображение отношений животного и человека. Это жизнь, наворачивающаяся на валик: детство, юность, территориальные перемещения, фантастические элементы, страдания, любовные истории, человек и животное. И особая миссия героя, Ивана Северьяныча, – искупление собственного греха. Цепь приключений и фатальность. «Очарованный странник» – одна из тех повестей, которую нельзя бросить на полдороге благодаря такой манере повествования, когда факты и персонажи цепляются друг за друга. И вся история подается в элементарной, несерьезной форме.

Может быть, некоторые исследователи в какой-то мере правы: «Очарованный странник» впитал в себя очень много из авантюрной повести Запада и России. Необыкновенно детство героя: он был обещан Богу, но это обещание не оправдывается. Мальчик, стараясь установить справедливость в животном мире, заводит голубей. Он совершает подвиг спасения графской четы во время езды на бешеных конях, а затем бежит из графского дома в знак протеста против несправедливости наказания. Встреча с цыганом. Обманутый им, без денег, без дома, выброшенный за борт жизни, он попадает в полицию, где его снова обманывают. Дальше – путь на ярмарку и очарованность лошадьми. Потрясенный красотой коня, который достанется победителю своеобразного поединка на плетках,

Иван, по существу еще мальчишка, засекает плеткой своего противника. По обычаю татар теперь он обладатель коня, жены, всеми уважаемый человек. А по нашим законам он «убивец» и достоин каторги. Татары спасают его и увозят в улус. Теперь он пленник: «Якши урус, будешь жить у нас. Лечить коней. У тебя будет все, – жены, кони, все. Только кожу на пятках подрежем и насыплем туда щетинки, чтоб не убежал...»

Лесков может передавать жар, разогретый воздух и полную тишину – азиатский покой, совершенно недоступный европейцам. Степь. Здесь помещен русский человек, он приспособливается к этим условиям: начинает понимать татарский язык. Целыми днями глядит он в азиатское жаркое небо, в его переходы от голубого до темно-багрового, пока не спустится ночь и не загорятся звезды. Недолгая его жизнь вся перед ним. Память возвращает его в графское имение, в душе крепнет решение убежать. Вот и счастливый случай – русские миссионеры посещают улус, чтоб обратить неверных. Однако на его просьбу они отвечают отказом: нельзя вмешиваться во внутреннюю жизнь народа, попал в плен – терпи, на то воля Божья. К тому же одному миссионеру отрубили голову, а второй исчез неведомо куда... Щемящая тоска не покидает нашего героя. А вот и новые миссионеры, эти – буддисты. Судьба предшественников пугает их. Наскоро показав иноверцам Золотого змея, они покинули опасные пределы, забыв в попытках ящик с пиротехникой. Практический ум Ивана Северьяныча включился тут же, он устроил татарам такое огненное пиршество, что те легли на землю и стали ждать конца. Он же бежал (со щетиной в пятках он справился сам). Графское имение, порка и снова ярмарка, где торгуют лошадьми. Человек. Свобода. Лошади. Стихия. Обретение воли. И опять единение с конем.

Есть что-то извечно поэтичное в общении русского человека с конем: он и скачет на нем, и пашет, они кормят друг друга, конь выносит из битвы, из огня, не оставит в беде. Человек объезжает коня. Для Ивана Северья-

ныча – в этом вся жизнь. Откуда взял Лесков коня-зверя? Из сказок, былин, песен? Нет, это только фон. Этот конь – и реальность, которая окружала Лескова, и создание его поэтического воображения, жаждущего потрясений.

В русской литературе нет подобного изображения лошади, это почти очеловечивание животного: грация, красота, разнообразие «характеров», раскрывающихся в общении с человеком, – все это подробно выписано. Иван Северьяныч Флягин – конник, вернее, поэт-конник. Он лучшую часть своей жизни проводит среди лошадей и находит у них отклик на свои душевные побуждения. Его все время вырывает животное. Это совсем другой мир – мир человека и животного. Здесь и человек тоже животное, они сливаются, у них один и тот же характер, повадка, восприятие мира.

Встреча с князем – следующий этап жизни героя. Хоть он и жил стихийно, но жил в особенном мире – в очарованном. И сам обладал особой притягательной силой; все, все хотели, чтоб он работал у них. Князь не нарадуется на своего «конэсера». Если Иван Северьяныч купит коня, то это будет всем коням конь. И все-таки новая стихия врывается в жизнь нашего героя и захватывает его.

Иван Северьяныч – огромный младенец, человек с детской душой и богатырской силой. Он прошел через все испытания: огонь, война, любовь. Но что это за любовь? Начало загула – встреча с магнетизером. Цыгане, Грушенька. Ее голос, руки, волосы, тоненькая полоска пробора, прикосновение. «Как будто ядовитую кисточкой уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет». Какие уж там чужие деньги! Князевы «лебеди» стадами срывались под ноги Грушеньки. Она божество, мадонна. Это не авантюрная повесть, там нет таких мотивов, как отказ от земного счастья, благоговение, преклонение перед женской красотой. Особый мир открылся Ивану Северьянычу – небывалый мир первого чувства, где земная страсть слилась с неземным, мучительно-прекрасным. Лескову на редкость удалось описание разгульной силы

платонической любви героя, как если бы он сам был захвачен этой цыганщиной.

Но автор вовремя затормозил и дал тривиальный исход с нарисованными сукнами: белая горячка, разговор с князем. Страсть обуздана, начинается новая тема – сродства душ, новый этап отношений между Иваном Северьянычем и Грушей. Князю она набила оскомину. Он женится на деньгах, пренебрегая достоинством и приличиями.

Князь – свистун, меркантилист, подлая душонка. Лесков дал искаженного, мерзкого Печорина. У Печорина есть благородство, у князя – нет. Печорин может убить Грушницкого, князь – нет, зато может всех обмануть. Это не повесть, это вставной элемент. Лесков не делает грубых выпадов против современных авторитетов. Это не Достоевский (который назвал князя Мышкина Львом Николаевичем, чтобы досадить Толстому, и роман назвал «Идиот»; в лицо не скажешь, а в романе можно). Лесков этой грубой насмешки не допустит, но вырождение Печорина показывает с удовольствием.

Флягин, вернувшись из отъезда по князьевым делам, сталкивается с Грушей, равно близкой и к самоубийству, и к убийству, и выполняет ее последнюю волю, чтоб не дать ей совершить грех – по-цыгански, с ножом, расправиться с совершенно неповинной разлучницей. Он сталкивает ее с обрыва в реку.

А сюжет все еще вьется. Герою по воле автора предстоит попасть на военную службу вместо крестьянского сына безутешных родителей, там отличиться, совершив геройский поступок на войне, получить повышение. Иван Северьяныч стал дворянином, так как носит георгиевский крест. Но что это за дворянин – тысяча обязанностей и никаких прав! Потом ему предстоит попасть на «фиту», постричься в монахи (здесь развертывается эпический рассказ о жизни в монастыре), а там, к своему и всеобщему удивлению, начать пророчествовать. Пробовали его от вредной напасти отучить строгостью – помогло, да не долго. Тогда по совету лекаря отправили его попутеше-

ствовать. Иван Северьяныч отправляется по Святой Руси. Вот он и плывет на пароходе на Соловки, а если будет война, сменит «клубочок» на «амуничку» и положит живот свой за отечество. Так кончается история, рассказанная самим героем по просьбе пассажиров парохода. Начало и конец повествования смыкаются.

«Очарованный странник» – это жизнь одного человека. Перед нами целая цепь законченных повестей, рассказанных самим героем. Он увлек слушателей: они сначала слушают недоверчиво, потом – заморожены его рассказом и наконец – очарованы. «Повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души». Эта повесть вполне могла быть романом, в ней есть романические узлы. Но романа здесь нет. Некоторые исследователи сравнивают ее с авантюрно-приключенческим романом: убийства, романтическая любовь, географическое перемещение, элементы мистификации или мистицизма, типичные герои – авантюристы различных мастей. Но это чисто внешнее.

Иван Северьяныч – простой русский человек. Это не герой, не рыцарь. Это рыцарь каждый день, не он ищет приключений, а они его. Он не Георгий Победоносец, но все время побеждает. Убийства, если их попробовать классифицировать, такие: убийство монаха – по глупости, из озорства; убийство татарина – в состязании, честной борьбе; Груши – в силу ее просьбы. Приходится оправдать этого человека во всех убийствах, кроме первого случая. Сдругой стороны, основная черта героя – его жертвенность: он спас графа и графиню, спас девочку, так как стало жалко мать. Он не может пережить убийства Груши, чувствует себя грешником (уходит не глядя и не зная куда). Он идет вместо рекрута в солдаты – во имя искупления своего греха. И в этом авантюрная повесть европейского склада не выдерживает противопоставления.

Черта жертвенности, покаяния вообще характерна для русского национального характера. У Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова – у всех раскаяние.

В повести «Очарованный странник» эта черта имеет доминирующее значение. Это заставляет нас думать, что перед нами не авантюрная повесть, которой нет эквивалента в европейской литературе. Там все моменты есть – а раскаяния нет.

* * *

Прошлый раз я излагал материал, связанный с повестью «Очарованный странник», исключительно для того, чтобы выкристаллизовать национальный характер героя. Элементы криминальности в этой повести не ведущие. Необычность характера – вот яркая черта. Все вращалось вокруг него. Иван Северьяныч Флягин сделался для нас единственной точкой, на которой сосредоточилось все наше внимание.

Лесков любит давать образ не идеальный, а реальный, даже чрезмерно реальный. Иван Северьяныч по своим умственным способностям человек «немного того», он не рационалист, мечтатель. Он в душе артист. Как будто несколько придурковатый и в то же время необыкновенно практичный, он в мире обычных людей своего рода уникум, способный на чувство необыкновенной силы. По своей природе Иван Северьяныч – художник. Много понимает не сознанием, а ощущением, интуицией. Лесковский герой знает, то есть чувствует, что надо сделать, что сказать, ответить, он никогда не думает (кроме интеллектуального героя, каким является Туберозов).

Но ведь у Лескова никогда не бывает произведения с одним героем, его герой всегда обрастает средой, или, как сейчас бы мы сказали, коллективом, который заставляет его раскрыться полностью. В «Очарованном страннике» использован именно этот прием раскрытия характера главного героя. Не то что описание его, не то что его характеристика или портрет – все это есть, но не в этом главное. Главное в том, что Иван Северьяныч Флягин поставлен в такой ряд обстоятельств, которые сами заставляют его раскрыться, в этих обстоятельствах он действует со-

вершено различно, своеобразно, я бы сказал – оригинально. И читатель постепенно забывает, что это повесть, что он имеет дело с литературным произведением. Его попросту увлекает одна, вторая, третья авантюра, которые выпадают на долю лесковского героя. Оттого-то многие исследователи рассматривают повесть «Очарованный странник» как авантюрно-приключенческую. Но это в своем роде единственное произведение.

«Очарованный странник». Вдумайтесь в это название. О поэтике названий лесковских произведений можно говорить долго. Островский, к примеру, часто делал заголовками своих пьес поговорки. Лесков – никогда, у него иначе. Заглавие является тезисом всего произведения. Названия его вещей играют различными гранями смысла произведения. «Очарованный странник»... Это название – ключ к повести. Странничество поэтической души, бессознательно тянущейся к красоте, способной прочувствовать ее совершенство, – и человек во власти чар, околдованный. Зависимый от прелести, не владеющий собой из-за своей бесконечной впечатлительности, слабый при всей своей по-былинному богатырской силе. Как можно его обвинять?

А вот другое название – «Запечатленный ангел»... Здесь и ангел, и печать. И бесплотное идеальное начало – и бездушие, механическое кощунство государственной машины, способной продырявить шедевр и поставить на лице Архангела печать. Здесь и впечатлительность души ищущей, тяготеющей к духовному совершенству, беззащитной. Здесь и великое мастерство – умение запечатлеть идеальное.

Когда читаешь Лескова, бываешь так захвачен текстом, что невозможно себе представить, что автор не переживал того, о чем он так увлекательно пишет. Есть очень немного таких писателей, которые описывают то, что они не видели. В этом состоит сила убеждения художника: мы принимаем Кутузова таким, каким он описан у Толстого, а Ришелье – как у Дюма. В рассказе Лескова «На краю

света» природа Севера описана очень точно. А ведь Лесков там не был, но он передал ощущение морозного воздуха, захватывающего дух. Это дар проникновения. Этот дар он обнаружил в «Запечатленном ангеле».

Повесть «Запечатленный ангел» (1873), одно из самых ярких и совершенных своих произведений, Лесков написал на основании тщательного изучения научных и документальных материалов, представляющих собой два пласта знаний: жизнь раскольников и искусствоведческий план – старинная русская иконопись XV–XVII веков. Лесков заготавливает материал двух планов: исторический и научно-познавательный – для цикла очерков «С людьми древнего благочестия» (1863). А потом он создает рассказ «Запечатленный ангел», где предметом художественного осмысления становится научный материал. Он этот материал перевоплощает и дает вторую жизнь произведению, которое уже есть, но которое он изменяет. И возникает впечатление, что в рассказе он пишет о той среде, которую знает. Этот мир его завораживает. Это особый мир представлений, навыков, укладов различных городов: Нижний Новгород, Москва, Поволжье, Жостово. Писателя интересует, как жизнь отразилась в искусстве: мир изографов, состав красок, манера письма, характер живописцев. Очень многие страницы посвящены именно этому миру искусства и касаются всего: от характеров иконописцев до состава левкаса. Предметом изображения становится самый материал иконописца.

Но ведь Лесков создает не искусствоведческий трактат, здесь должен быть повествовательный сюжет, интрига. Поэтому здесь художник делается дважды художником. Лесков описывает приключения в необычном мире с искусствоведческой и бытовой точек зрения. Все начинается с рассказа, но он перерастает в действие, и рассказчик исчезает.

А сейчас – небольшой исторический экскурс в область старообрядчества. Оно возникло в XVII веке в ответ на нововведения патриарха Никона. Русская жизнь была тогда

очень пестрой. Когда восседал на троне Михаил, все зависело от его отца, патриарха, который вернулся из плена и всем управлял. Тяжелее пришлось его сыну – Алексею Михайловичу. Власть должна была быть единодержавной, а почва под ногами колебалась (польская интервенция, шведская война, междоусобицы), не на что было опереться. Что бы там ни говорили, опорой для власти всегда является идеология, а извечно она была в русской православной церкви. Но неустройство в церкви было огромно: под влиянием поляков проник католицизм, под влиянием шведов – лютеранство, татар – омусульманивание. Все это сплелось. Все это надо было нейтрализовать. Церковь оставалась ортодоксальной, но ее устои расшатывались. Тогда Алексей Михайлович решает создать «Кружок ревнителей благочестия», который должен был заботиться о благонаравии церковной службы и неукоснительном соблюдении ее последовательности. А то ведь творилось невообразимое (и это в свое время высмеивал Курбский): шла служба, а кто-то тут же пел, другой – читал, третий – молился возле принесенной из дому иконы. Последовал запрет: своих икон в церковь не носить! Ограничили время службы, отменили одновременное пение и говорение.

Но жизнь ведь идет своим чередом – умер старый патриарх, избрали Никона, человека решительного, крутого, реформатора по натуре, которого царь, отличавшийся мягким и общительным нравом, считал своим другом. Никон сначала отказался быть патриархом. Тогда царь в Успенском соборе, перед мощами святого Филиппа, поклонился Никону в ноги, умоляя его принять патриарший сан. И тот согласился с условием, что его будут почитать как архипастыря и дадут устроить церковь. Царь, а за ним все – и духовные власти, и бояре – поклялись ему в этом. Никон тут же приказным порядком все изменил. Чтобы вернуться к византийским первоисточникам, нужно все старинные церковные книги перечитать и ошибки исправить! Это мероприятие было решительным и трагическим, с него-то все несчастья и начались. Русское духовенство

очень плохо знало греческий. За три столетия переписчики нашибались, исправляющие их вносили новые искажения. Например, в Номоканоне написано: «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава тебе, Боже», а в другом экземпляре «Аллилуия» повторяется лишь два раза, значит, нужно исправить. А ведь сколько святых молились по этим книгам! Они от этого стали священными и святыми. «При чем тут Византия? – сердились сторонники старины. – Она же пала под саблями турок, опоганена мусульманством, покорилась Магомету, она нас наставлять не может!» Никон был очень умным и находчивым человеком, он возражал: «А мы возьмем толмачей с Украины». Нашли специалистов в Могилевской Коллегии (Петр Могила с большим трудом создал Коллегию – поляки не дали назвать ее Академией; оттуда вышли Дмитрий Ростовский, Иннокентий), и толмачи хлынули в Россию. Святое святых – церковные книги подверглись сверкам с первоисточниками на древнегреческом и исправлениям. В глазах сторонников старого порядка это было святотатственным нарушением древнего благочестия. Никон объявляет троеперстное крещение, а старики презрительно говорят: «Табак нюхают».

Помните картину «Боярыня Морозова» Сурикова? Там на заднем плане в направлении движения ее руки стоит маленькое островерхое строенье – это церквушка. В старой архитектуре были башни, убегающие ввысь, из дерева. Так вот, Никон запретил строить такие церкви, приказал строить пятиглавые, как в Византии, чужие. Реформа коснулась и музыки. Стали петь не по крюкам, а по нотам. Старообрядческое пение по крюкам очень немелодично для непривычного слуха. В церкви появились певчие, и происходило что-то вроде концерта. Изменилась и иконопись. Она стала более изысканной, но уже не так проникающей в душу. Уходили в прошлое старинные лики с их бесконечной грустью и тишиной. На иконе со вмещаются человеческий облик и нечеловеческий: большие глаза, тонкие руки, поворот туловища, грусть в гла-

зах, бесконечная грусть... Как изобразить Бога? В старорусской иконе потеряно все плотское и оставлено сверхчеловеческое, нет объема. А в новых изображениях нет сверхчеловеческого. Боги делались людьми, молитвы – концертами, здания – не те. Это была духовная база для разногласий, оппозиции.

Но ведь для того чтобы провести реформы, нужны колоссальные деньги. Патриарх Никон, как человек умный, из народа, представитель среднего слоя духовенства, нищих попов, отлично знал, что с бояр да купцов многого не получишь, а вот сельский поп с мужичков возьмет все что нужно. Он и обложил церковь податью. Теперь Никон как царь, у него и двор свой. Алексей Михайлович не может с ним не считаться. Но крестьяне с ним мало считались. А сельские попы говорили уже: «Никон – волк!» И произошел страшный раскол между церковью и старообрядцами. Государство, Алексей Михайлович должны были встать на сторону Никона, так как это было передовое направление. Преобразования были необходимы России.

Раскол принес разорение стране. И духовенство изнывало от налогов, и мужики. Во главе старообрядцев стоял протопоп Аввакум, исключительно интересная личность. Раздались его свирепые проповеди против патриарха Никона. «Я его лаю, Антихрист он!» – писал Аввакум. И был в конце концов сожжен вместе со своими ближайшими приверженцами в Пустозерске (там за лесом есть площадка с его именем и крестом). Люди целыми деревнями уходили в леса. В расколе участвовали бояре (Урусовы, Морозовы). Почему? А потому, что они при Никоне утратили былое политическое значение, потеря власти их оскорбила. Часть боярства, обиженная придворными интригами, утратившая свое политическое значение, хваталась за раскол, как за соломинку.

Был уничтожен Аввакум. Позже – судим и сослан Никон. Новое церковное устройство утвердилось, но старообрядчество не теряло своей жизненной силы. В XVIII веке преследования старообрядцев привели к самосожжениям:

изба горит, а они стоят внутри и поют канон. Что могут сделать власти с таким пренебрежением к смерти? Петру I все это было безразлично – пусть только платят. Хочешь ходить с бородой – ходи (и у Христа была борода!), но только изволь платить за бороду.

Внутри раскола было множество сект: беспоповцы, бегуны (бегали от всякой власти), прыгуны (прыгали от чиновников, полиции – так сказать, неуловимые спортсмены), хлысты (это была страшная секта). Надо было что-то делать: сектантство – страшная вещь.

В XIX веке старообрядцев старался «приручить» киевский митрополит Платон (в миру Николай Иванович Городецкий). Он придумал: пусть старообрядцы остаются старообрядцами, но нужно ввести единоверие. Поскольку у старообрядцев не было епископа (они своих попов выбирали, и на тех, таким образом, не было благодати), Платон предложил им: «Мы вам дадим настоящих священников, они будут вести службу по вашим книгам, так, как вам нужно». Священники с охотой и интересом отнеслись к этому начинанию, но старообрядцы – ни в какую. Иной священник ждет, ждет их к службе, а потом пойдет в соседний лесок и отыщет их там, творящих молитву. Самое противное, что в это дело была вовлечена полиция. Это как раз то самое время, о котором пишет Лесков в «Запечатленном ангеле». Митрополит Платон увидел, что раскольников так просто не убедишь, что они устраивают диспуты, и там их, начетчиков, не побьешь.

Эти споры были и в наше время. Как-то лет 50 назад в летнюю ночь перед праздником Владимирской иконы Божией Матери я видел, как сходились раскольники и православные у озера Светлояр Нижегородской области. Одни шли в черном, другие – в белом. И те и другие несли в руке по полену. Признаться, это меня озадачило. Люди в белом с поленьями и в черном с поленьями располагались отдельными группами. Каждый пел свой псалом. Когда стемнело, каждый прикрепил к своему полену зажженную свечу и пустил по воде. Озеро в ложбине, ветра

нет. Какая это была красота! Поленья почему-то сомкнулись в круг, и посреди озера образовалось два светящихся кольца от горящих свечей – реальное и отраженное, не менее яркое. И тут они запели... Кольцо из свечек и крюковое пение – страх и восторг!

По преданию, в озере Светлояр утонул город Китеж, и благочестивый человек, если обойдет вокруг озера, увидит тот город.

В старообрядческой среде складывался ранний русский капитализм. Так как старообрядцы были люди гонимые, им надо быть обеспеченными деньгами. Их среда – это тот мир, где каждый друг за друга заступится. Такая сплоченность и помогла им выжить и в XVII, и в XVIII, и в XIX веках. Оттуда – Мамонтовы, Алексеевы (Станиславский), Щукины, Морозовы. Наши меценаты – из старообрядческой среды (Бахрушин из кожевников, Морозов из мануфактурщиков). Среда эта была исключительно здоровой, талантливой, работающей, крепкой своей взаимовыручкой и сплоченностью, богатой. Они работали на совесть, не изменяя своей вере, живя идеально чистой семейной жизнью. (Пока жена жива – не смеешь жениться вторично, иначе тебя задавят, экономически задавят.) Старообрядец не мог пить водки, иначе его просто выбросят из среды, сочтут ничтожеством. Он не курит (тяжело быть старообрядцем!). Строили себе в стороне, подальше от властей, дом, вокруг деревья, река, в глубине дома – облюбованная комната, в которой разложены иконы (с ними они никогда не расстаются). И живут и трудятся с молитвой. Старообрядчество – это, в сущности, сильный экономический союз с поддержкой религии. У мастеров – золотые руки, у главарей к тому же ясные головы, так они и соединялись в артели, профессиональный и экономический союз, освященный единой верой. Необоримые люди! Но было у них одно уязвимое место...

Это уязвимое место было и в той артели каменщиков (мостостроителей), о которой повествует Лесков в «Запечатленном ангеле». Артельщики – люди умелые, но в

некоторых вещах беспомощные. Они нуждались в посреднике между собой и властями, в организаторе, который бы вел всю их документацию, и провизией бы обеспечивал, и по почте деньги семьям бы переводил. Есть такой персонаж и у Лескова. Пимен, конечно, прохвост, «пустоша», но без него никак невозможно. По виду он благообразен, нравится городским властям, умеет найти к ним лазейку, но по сути – болтлив некстати, и приврет, и не слишком честен. Лесков умеет таких изображать, видел их, когда служил у А.Я. Шкотта.

Артель каменщиков возводила восемь быков на Днепре, и старообрядцы-артельщики жили привычной им жизнью, очень довольные своим местопребыванием. Там тополя были островерхие, и очаровали они их своей схожестью с рисунками на полях их молитвенных книг. И довольны они были тем, как спорилась работа, а главное, тем, как славно смотрелись их любимые иконы в потайной комнатке – «Пресвятая владычица в саду молится» и «Ангел-хранитель», строгановской работы. Мир, тишина, чистота, все украшено белыми полотенцами – такая благодать, что уходить не хочется. И тут случилось несчастье: икона ангела упала с аналая. Как она упала – неизвестно, только с этого-то все и началось.

Лесков говорил, что он не писатель, а секретарь жизни, передающий, записывающий факты. В городе евреи торгуют контрабандой, чиновники едут на ревизию. Глава ревизии поехал, действительно всех накрыл. За взятку отдал печать, чтобы евреи опечатали свои лавки. Торговцы контрабанду вынесли, переждали день-другой и требуют с него денег, а не то грозят подать в суд за срыв коммерции. За деньгами кинулись к староверам, а тем неоткуда их брать. Тут все и заварилось. Жена ревизора наслала на староверов жандармов, те приехали и увезли иконы, запечатав их сургучом, и икону ангела тоже: «пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь,

в слезе растворенная...». Тогда артельщики решают поменять иконы. А для этого нужно найти мастера, изографа, который напишет новую икону.

Дальше в повести начинается новая история. У Лескова очень часто в одной вещи – несколько рассказов. Рассказ для Лескова – главный жанр, и он им почти бравитурует: рассказ в рассказе; рассказ, претендующий на историю; рассказ, носящий характер любовного приключения, трагедии. Иногда Лескову бывает трудно, он не может остановиться: «Житие одной бабы» пишет так, как писали современники – Левитов, Успенский, Решетников. Но те писали локальные рассказы, а у Лескова – много страниц, соединенных легкими мостиками, которые почти не различишь. Исследователи сравнивали его рассказы со сказками «Тысячи и одной ночи».

Новый поворот сюжета: рассказчик Марк и отрок Левонтий отправляются на поиски изографа. По пути старообрядцы встречаются с пустынноиком Памвой. Он еретик, то есть новой веры, у него не может быть никакой истины, по мнению рассказчика. Но «Левонтий хочет узреть, какова благодать господствующей церкви». Памва не речист. На все отвечает: «Слава Богу». Происходит немой диалог: Левонтий и Памва что-то говорят друг другу без слов. Марк понимает, что Памва и в аду утихомирят чертей: «сам просится в ад, на все отвечает смирением, он и демонов всех к Богу обратит, недаром я его опасался». «Неодолимый сей человек». Человек лишен всякой злобы, словно и не человек. И Памва посеял сомнение в душе странника Марка: «Значит, сильна церковь, если такая вера».

Повесть «Запечатленный ангел» всех восхитила, пока не был напечатан финал. Финал неожиданный и почти неправдоподобный: разоблачение чуда неубедительно. Англичанка наклеила бумажку, а она отлетела. У Лескова все на грани случайности. Он показывает, что чудеса – это только случайности, совпадения, смешные и в то же время трагичные. Писателю чудеса не удаются: он человек приземленный, несмотря на поэтичность его

произведений. Мера вымысла и мера фантазии не выходят у него за рамки действительности. Сам писатель признавался, что ему пришлось переделать конец. Эта одна из тех вещей, в которой Лесков не смог или не захотел дать разрешение конфликта.

Исследователь хочет видеть в изучаемом произведении шедевр. Лесков, может быть, боялся этого шедевра. Прозаизмы – одна из лучших сторон его творчества. В «Запечатленном ангеле» прозаизм на прозаизме.

В этой повести одна идея – найти истину. Через что? Через изображение ангела. «Над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единомушья его с отечеством утолил».

«Левша»

В «Левше» (1882) поражает юмор, сосредоточен он в основном в языке. Рассказчик начинает так: «Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил». Едва ли так, именно этими словами, мог заговорить рассказчик. Это говорит автор.

В этой маленькой повестушке, в этом «сказе» Лесков в юмористической форме повторил все те идеи, которые он постоянно развивал в лучших своих произведениях, ему предшествующих. Однако это произведение не напоминает ни одно из предыдущих, и совсем не потому, что он одел его в новый «костюм» сказа. На самом деле «Левша» – имитация сказа, а не сказ. Ни в каком сказе

вы не встретите «твердоземного моря», «Аболона полведерского», «двухсестной кареты» – это все словечки, выдуманные автором, тот словесный аксессуар, которым Лесков украсил свою повесть. Это такой многоплановый художник, который умеет одну и ту же проблему поворачивать в разные стороны, рассматривать одно и то же с разных точек зрения и создавать каждый раз оригинальные, новые образы.

В «Левше» разворачивается повествование с огромным историческим фоном: Петербург, Тула, Лондон. Александр I, Николай Палкин, казак Платов (чем-то это напоминает историю градоначальников Салтыкова-Щедрина), англичане, тульские умельцы, английский шкипер, граф Чернышев и так далее. Оно ведется так, что создается иллюзия реальной, возникающей на глазах и развивающейся жизни. Здесь типичная лесковская панорама: быт, история, этнография. И характер человека.

Психология русского человека дана в нескольких ракурсах. Это и западник Александр I, «республиканец на троне». Это характер русского европейца. Это и Николай Палкин – тоже русский европеец, но жестокий, не подверженный либеральным идеям (он скупо представлен Лесковым). Казак Платов (этот тяготеет к славянофилам). Платов не понимает, зачем по Европам ездить, ежели «донцы-молодцы дванадесять язык прогнали», а государь просит Платова: «Пожалуйста, не порть мне политики».

Национальный же герой для Лескова – Левша. Он не только умелец, но и умница, и патриот, и честнейший человек. Он не прельщается английской приманкой: «Мне, – говорит, – с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет», «зачем напрасно девушек морочить». Мастер не собирается оставаться в Англии, «идея эмиграции» для него исключена, на предложение англичан остаться (все условия создадут – только работай!) отвечает отказом.

Герой безмерно талантлив. Но рядом с этой гениальной Россией писатель нарисовал такую безнадежность,

такую мрачную картину русской жизни, какую никто из русских писателей не рисовал. Ни Салтыков, ни Достоевский – никто. Да, солнечная, чарующая Россия, которую он изобразил в «Соборях», (не расставайтесь со сказкой) навсегда от него ушла. Теперь у него все другое. Вот один эпизод – страшное изображение, как Левшу везут на извозчике из одной больницы в другую, как его сбрасывают с пролетки, тащат за ноги, и он головой стучается о ступени, сдают в простонародную Обухвинскую больницу, «где неведомого сословия всех умирать принимают» (раз у него нет «тугамента», в другие больницы его не брали). Когда приехали, он еле говорил. А того английского шкипера, которого никто переписать не сумел, приняли по-божески: вымыли, вытерли, побрили, дали гуттаперчевую пилюлю, и он жив-здоров, в почете и уважении, справляется о своем русском камраде. Чужеземный шкипер на нашей земле себя превосходно чувствует, до самого Скобелева Михаила Дмитриевича, не знавшего ни одного поражения дошел, потребовал, чтоб тот заступился за Левшу, и Скобелев делает что может. Посылает к Левше врача, а Левша только и успел что перед смертью последнее слово, к государю обращенное, высказать: «...у англичан ружья кирпичом не чистят; пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся». Врач тут же к графу Чернышеву, чтоб тот государю доложил, а Чернышев его прогнал. Что такое врач в Российской империи? Клистирная трубка, которая должна знать свое место! Этот граф Чернышев одно время был адъютантом Наполеона. Александр и Наполеон решили обменяться адъютантами – такой красивый жест братьев-императоров. Чернышев, хоть и был адъютантом Наполеона, но собирал военные сведения посредством подкупа, а использованные бумажки под ковер клал. Когда дело было сделано, он затосковал по России, так затосковал, что взял и уехал из Парижа в Петербург. Наполеон был поражен, что его «брат Александр» приставил к нему адъютанта-шпиона! Впрочем, и наполеоновский адъютант занимался тем же при

русском царе. Россия и Европа – вот вопрос, который во все времена стоял перед русским человеком.

Но вернемся к нашему необразованному гению – все претерпевшему и испытывавшему русскому человеку. Идея «Левши» ясна: Россия – та страна, с которой ничего нельзя сделать, она начинена талантами, себя не сознающими. Они растут не в академиях, не в университетах – нет! Это та земляная Россия, которая, как ключевая вода, как россыпь золота, прет из почвы. Только не трогайте их, дайте им жить по-своему, и все станет на свои места.

* * *

Лесков – сугубо национальный писатель. Он удобен для изучения русского быта, русской жизни, русского характера.

Лесков составил каталог национального характера. Тогда как у других писателей герои разных произведений, в сущности, являются вариациями одного психологического типа. У Толстого во всех романах встречается Нехлюдов. У Достоевского – человек из подполья. У Гончарова – везде Обломов (Райский). У Тургенева – несчастный герой, русский интеллигент, мямля, растяпа, ничего не умеющий, нерешительный.

Идеал Лескова – свободный человек, и в этом смысле он писатель 60-х годов. Лесков любит давать образ не идеальный, а реальный, даже чрезмерно реальный. Особенность лесковского героя в том, что он показан таким, какой он есть. Лесков не заставляет его каяться, проходить испытания. Писатель далек от поучений, морализаторства. Он по-настоящему крепко и истово верил в русского человека и при этом не идеализировал его. Глупость, воровство – все это при нем, он даже щеголяет этим.

Но зато он во всем виртуоз – каменщик, изограф... Он безгранично талантлив. Моцартовское начало живет в русском человеке очень сильно, и это дает Лескову надежду, что нация имеет особую мессианскую роль, позволяет верить в будущее России. Лесков никогда не был славя-

нофилом, не верил, что свет придет с Востока, не разделял идей старообрядцев, но их чувство красоты, поэтичность, гармоничность, нравственная крепость, мастеровитость убеждали его в природной неодолимости русских людей. Он верил в Ивана – Ивана-дурака, Ивана-царевича, который не слезал с печи, с царем говорил, жар-птицу за хвост поймал, все преодолел и царство возглавил. Лесков верил в его талант. И здесь он спорит с Гончаровым, который изобразил русского человека как творца, ничего не сотворившего (Обломов).

Тема русского национального характера замечательно раскрыта в «Очарованном страннике», «Левше» и других рассказах. Иван Северьяныч, Левша – типичные герои. Левша – русский гений, необразованный, у него нет никаких понятий о науке. Вся его сила – в руках, умении, искусстве. Этот характер художника – русский национальный характер, с точки зрения Лескова. Артистизм натуры русского гения в том и заключается, что это не Леонардо, который, как анатом, может по линейке измерять пропорции. Этот ничего не может – только собственными перстами. Это схвачено очень верно, характерно.

Но у Лескова всегда слышен вопрос Гоголя: «Русь, куда ж несешься ты?» У него везде – горькая мысль о том, что страна рождает гениев, но не может пережить, применить этой гениальности. Иван Северьяныч – артист в душе. Но жизнь его – это задворки, конюшни, дьявол на гулянке. Чего достиг Левша? Что было итогом его жизни? А вот чисто русский спор – кто кого перепьет. В этом – трагический парадокс русской жизни.

Эти рассказы входят в цикл рассказов о праведниках. Новая грань национального характера. «И пошел я искать праведных», – пишет Лесков. «Без трех праведных несть граду стояния». Луч света еще есть. Лесков еще в этом не разочаровался.

Праведник – исключение. Для него святость – это норма поведения. Он светоч миру, сосредоточивший в себе все лучшее своего времени, ориентир для всех. Это

вневременное явление, это люди будущего, пример для воспитания души, духа. Праведник выпадает из понятия повседневной жизни. Это человек, избравший крестный путь. Лесковские же герои, наоборот, живут в «гуще мира». Вы помните, как у Пушкина? «Но строк печальных не смываю»: поэт не отказывается от «черненького» в своей жизни. То же мы видим у Лескова. Его праведники – обычные люди. Как говорит его герой, Зенон из легенды «Гора», «я вовсе не свят и даже наоборот, я очень грешен». Но эта обычность делает их необычными и оригинальными.

Праведник имеет власть не над другими, а над собой. Лесковские праведники – это люди долга. Но нет специальности «праведник». У Лескова он тоже человек. Это люди, предпочитающие деятельное добро. Писатель их ищет в разных сословиях: Шерамур – разночинец, Туберозов – протопоп, Павлин – швейцар, Постников – солдат, Рогожин – дворянин, Протозанова – княгиня. Свой долг Протозанова видит в том, чтобы «себя поочистить, умы просвятить знанием, а сердца смягчить милосердием». В отличие от героев Достоевского, которые занимаются теретизированием по вопросам веры и безверия, мировоззрения, лесковские герои – практические праведники.

Лесков подошел к русской жизни с такой стороны, с какой до него никто не подходил. Он нарисовал человеческие характеры различных сословий и социальных групп: от боярской знати до низшей братии. Все эти русские люди, так живописно представленные Лесковым, по существу, всеобъемлющий уникальный словарь русского языка. Его произведения дают материал для исторических очерков, художественных этюдов, армейских обзоров, истории русского духовного сословия от дьячков до архиереев. Это, очевидно, и придает его произведениям такой запас прочности.

Лескова я считаю наиболее русским писателем в том смысле, что у него все построено на слове. Все сословия, герои говорят своим языком, шероховатым, грубым,

неряшливым. Лесков виртуозно владеет словом. Может, поэтому современники настороженно относились к нему. Его не столько интересует сюжет, образ, герой, сколько звучание слова. Трудный он писатель, трудный для понимания. У него никогда не знаешь, что хорошо, а что плохо. Лесков – человек мысли, глубокой и постоянно скрытой. Между ним и читателем всегда стоит стена. И Толстой, и Достоевский проще. И в смысле языка они проще. У них все работает на психологии героя, а у Лескова все работает на психологии слова. Гончаров, Толстой, Достоевский пишут мыслями, у них везде – идеи, идея делается господствующей. У Лескова идея спрятана за словами, у него все в слове. Критики называли его манеру «шутовством». Но через слово у него раскрывается суть. Лесков – писатель слова. «Горьким словом моим посмеюся». Его сила в языке.

КРИЗИС ХРИСТИАНСТВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И РУССКОЙ ЖИЗНИ*

И аз же тебе глаголю: «Яко ты еси Петр,
а на сем камне созижду церковь мою».

Мф. 16, 18

Семидесятые – девяностые годы XIX столетия и начало XX – период необыкновенно повышенного интереса к христианству, а в сущности, период его разрушения. Среди писателей-разрушителей нужно назвать Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и Н.С. Лескова. При их огромном интересе к религии они становятся ее комментаторами, дополнителями, а иногда и создателями своего учения, якобы христианского.

Лев Толстой постоянно пользуется положением «Царство Божие внутри нас». Но он только взял саму идею, а христианство, которое проповедовал Иисус, вообще отринул. Толстой создал свое Евангелие, отверг все формы церковного служения, совершенно не понял триединства и выступил с новым учением, которое изложил в трактатах «В чем моя вера?», «Соединение и перевод четырех евангелий», «Краткое изложение евангелия», «Учение Христа, изложенное для детей». В последний период своего творчества он как бы отрицает все те идеи, которые были оставлены Учителем. В этом смысле интересна реакция общества на учение Толстого: многие увлеклись его идеями и создали якобы «новую» систему воззрений – «толстовство». «Толстовство» было связано с опрощением, отрицанием всякой возможности всей полноты проявлений человеческого духа.

* Впервые опубликовано в кн.: Русская литература XIX века и христианство. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 292.

Толстому казалось, что наступил период освобождения от закрепощения, созданного веками господства церкви, искажившей учение Христа. Чтобы понять и познать истинного Бога, необходимо, по его мнению, освободить это учение от всех искажений.

В этом смысле Толстой очень интересен как реформатор, как человек, преобразующий то учение, которое существует уже две тысячи лет.

Рядом с Толстым нужно назвать Достоевского – писателя, которому сейчас уделяется очень большое внимание в плане проповеди им христианских идей. Его произведения переполнены цитатами и ситуациями, восходящими к евангельским текстам. Но если романы Достоевского не только проанализировать, но и прочувствовать, то станет очевидным, что в них столько же веры, сколько и неверия. Родион Раскольников, Иван Карамазов мучимы неверием. Соня Мармеладова успокаивает, но не убеждает. Вообще ко всему творчеству художника эпиграфом можно было бы поставить слова: «...бурю внутри имея помышления». Достоевский весь в противоречиях. У него столько же Бога, сколько и атеизма. Это как раз тот писатель, который с наибольшей силой отразил период религиозных исканий, неудовлетворенности, отрицания, обращения, низвержения – то, что выражают слова апостола: «Господи, верю, помоги моему неверию». Ведь все его романы наполнены изображением борьбы веры и неверия.

Не менее интересен и Н. Лесков, которого почему-то долгое время считали писателем христианского направления, отстаивавшим веру, писавшим только о вере. Но любое его произведение говорит о том, что вера писателя все время колеблется. Он любит описывать чудеса, но все эти чудеса не чудесны, они результат случайности, совпадений. Это своеобразная «игра» в чудеса. Чудо исчезновения печати на образе (иконе) ангела разъясняется просто в конце рассказа «Запечатленный ангел»: «...просто отлетела она ...просто англичанка не дерзну-

ла ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада», а бумажка отлетела¹. Так Лесков показывает трагикомичность ситуации, объясняющей чудо житейскими обстоятельствами, и чудо обращается в ничто.

Говоря о начале XX столетия, необходимо обратиться к тем писателям-критикам, которых теперь у нас называют «христианскими философами». Я имею в виду Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Семена Франка, – все они писали о религии в период напряженных религиозных исканий, когда эти искания приобрели характер почти трагический. В связи с этим следует упомянуть о факте создания в Петербурге Всероссийского теософического общества. Оно было создано по инициативе Дмитрия Мережковского. С просьбой о разрешении общества он обратился к Николаю II. По Высочайшему повелению общество было разрешено. Его председателем назначен умный митрополит Петербургский Сергей, а сопредседателем – молодой, талантливый, блестяще образованный, полиглот епископ Сергей Страгородский, которому суждено было дожить до середины 40-х годов нашего времени.

Почему возникла необходимость в создании Теософического общества? Стало ясно, что форма христианства, существовавшая в рамках церкви, уже не удовлетворяла духовных потребностей людей. Теософы полагали, что если они проникнут в суть этого явления и откроют своим современникам истинное учение Иисуса, то тем самым спасут христианскую идею. Бердяев, Булгаков, Франк и были подняты этой теософической волной.

Что такое теософия? По сути, это то же, что и богословие. Значит, то богословие, которое существовало ранее, оказалось несостоятельным.

Разрешенное по Высочайшему повелению Теософическое общество не вступало в противоречия с церковной

¹ Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 4. С. 383.

идеологией или церковной наукой, т. е. богословием. Однако идея теософии подрывала основы настоящей богословской мысли. Она была чрезвычайно простой. Чиновники от церкви не могут удержать истинных идей христианства потому, что они чиновники; этим должны заниматься люди по призванию, по духу. И эти люди стали писать.

Появились интересные работы, например, Василия Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского», в которой решались прежде всего чисто церковные, конфессиональные вопросы. Кто прав? Православный русский Бог или католический? И вот у Достоевского Великий инквизитор, исполнитель воли католической церкви, говорит Христу: «Это Ты? Ты? ...Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавить к тому, что уже сказано Тобою прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь, знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это, или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к Твоему костру угли...»¹ И Иван Карамазов говорит Алеше: «Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению, по крайней мере: “все, дескать, передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере”»².

Ограниченность этого взгляда очевидна. На этой ограниченности сосредоточил свое внимание В. Розанов, вместо того чтобы понять, что у Достоевского идея другая: не только осуждение католичества, но и осуждение государственной Церкви, в то время как сам писатель меч-

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1927. Т. 9. С. 247–248.

² Там же. С. 248.

тал о поглощении Церковью государства. Но это были субъективные мечты Достоевского, и они не важны. Кроме них в романе есть объективное содержание, объективные идеи, которые активизируются, – то, что является подлинным искусством.

Занимаясь «русской идеей», Бердяев утверждал, что России без православия нет. Но это ведь только декларация, однако, на ней держатся все его произведения и статьи. Это основной тезис, который Бердяев постоянно развивает. Но какое отношение это имеет к христианству? Разве христианство – это не общечеловеческое учение? И, тем не менее, «могучая кучка» религиозных философов первой трети XX века все свои идеи свела к национальному русскому началу. Конечно, здесь в ход идут знаменитые строки Ф.И. Тютчева из стихотворения «Эти бедные селенья...»:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.¹

Но разве непонятно, что эта идея есть не что иное, как разрушение идеи христианства? Где же идея всеобъемлющей любви? Идея страдания? Подвига? Где идея «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Почему все они исчезли? Почему на их место выступили идеи узконациональные? А ведь в том и сила христианского учения, что оно всеобъемлющее, не имеющее ни географических, ни национальных границ.

Наши же писатели-критики (Булгаков, Бердяев, Розанов, Франк) как раз и поставили эти границы, тем самым разрушив здание, которое они собирались реставрировать. То, что это разрушение, – совершенно очевидно. Их писания явились ярким выражением кризиса христианства. И это надо понять. Им казалось, что они несут свет истины, но светочами они не оказались.

¹ Тютчев Ф.И. Стихотворения (Библиотека поэта. Большая серия). Л.: Советский писатель, 1939. С. 112.

Сказал Иисус: «...ходите, дондеже свет имате, да тма вас не имет: и ходяи во тме не весть, камо идет» (Ин. 12, 35); «И свет во тме светится, и тма его не объят» (Ин. 1, 5). Но русские писатели-критики ходили не в свете, а сами создавали тьму. Они отринули детскую непосредственность веры: «...аще не обратитесь и не будете яко дети, не внидете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Они сделали из веры предмет философии, предмет социологии и истории. И это погубило саму идею.

Вообще величие исчезает тем скорее, чем больше о нем говорят. Все это вело к ниспровержению христианской этики и, в конце концов, – веры. Ведь сила христианства в его этических идеях, к которым каждый человек, хочет он этого или нет, постоянно обращается. Человек не может быть их постоянным исповедником и проводником, ему это не под силу. Человек слаб, дьявол силен. Но идея всегда является ему путеводной звездой. «Аз есмь путь истинный», – сказал Господь.

И этот путь истинный, оказывается, нужно расчитать, как это делал Толстой. Этот путь истинный нужно противопоставить пути отрицания, как это сделал и Достоевский, и Лесков в своем романе «На ножах». И что же дальше? А дальше нужно все исправлять. И названные выше русские философы взяли на себя мессианскую роль исправителей. А это привело к оскудению.

Великое счастье, что никто из этих писателей не написал Жизни Иисуса (это очень хотел сделать Достоевский). «Жизнь Иисуса» написал Ренан... Это очень хорошая беллетристическая книжка. Но позитивистская позиция автора не только не обогатила Евангелие, но явилась карикатурой на эту Вечную Книгу.

Евангелие – великое литературное произведение. А.И. Герцен говорил, что это самая светлая книга, какую он прочитал. Но почему никто и никогда не сделал художественного анализа этого произведения? Написаны только хронологическое повествование, бытовое, философское. В чем собственно литературная сила Евангелия?

Сила его языка? Художественного мышления? Никто не проанализировал художественного своеобразия Евангелия, никто не взялся за эту работу, – и очень хорошо, потому что этого нельзя сделать! Можно оперировать человека, но воскресить его нельзя. Это не во власти человека. Такая реанимация невозможна. Так же и здесь.

Итак, что же получилось в результате? В результате произошло разрушение. Как только художник, исследователь касался этого материала, как только начинал его «препарировать», – тем самым он его разрушал, а разрушая, готовил какой-то новый путь.

С моей точки зрения, эта разрушительная работа очень похожа на работу, которую провели французские энциклопедисты для подготовки Великой французской революции. И русские писатели, о которых я говорил выше, готовя русскую революцию, фактически отринули все религиозно-этические представления и поставили вопрос о необходимости идти по новому пути. И этот новый путь – путь отрицания. Любовь, вера, кротость, милосердие, брак, семья – все это с необыкновенной озлобленностью разрушено. Такова была реакция на Евангелие, и это было продолжением того, что делали Толстой, Достоевский, Лесков. Отсюда господствующий атеизм, разрушение всех ценностей, осмеяние всех «старых» представлений. Отсюда уже не индивидуалистический бунт Ивана Карамазова, а физическое уничтожение всего – иконы, кресты, церковная утварь в лучшем случае относятся в музеи, храмы уничтожаются или обращаются в бани, склады. Наступает период полного разрушения, полного уничтожения многовековой христианской культуры.

Что же это такое? Это проявление полного кризиса христианства. В медицине кризисом называется такое состояние больного, когда он находится на грани между жизнью и смертью и либо начнет выздоравливать, либо погибнет. Что же произошло с христианством? Погибло оно? Нет! Однако агония продолжается. До окончательного выхода из кризиса еще очень далеко. То увлечение

христианством, которое сейчас наблюдаем мы в обществе, – это не глубинное чувство веры, пробудившееся в душах людей, а всего лишь мода. Никто еще во Христе не крестится, а тем более во Христа не облачается. Пока все только внешне!

Конца кризиса еще не видно! Большой еще на грани страшного исторического рубежа! Как будет дальше? История покажет.

Христианство по сути своей есть величайший революционный переворот в истории человечества, и, видимо, чтобы обрести истину, ему необходимо испытать и пережить кризис, пройти через горнила страдания, неверия, отчаяния.

III

РАССЧИТАЛИ*

(РАССКАЗ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Москва просыпалась. По ее улицам уже мчались трамваи, порою встречались автомобили, медленно ехали извозчики, покачиваясь на козлах и широко зевая. Шум все увеличивался и увеличивался, наполняя улицу нестройной музыкой гула, звона и лязганья. Но в переулке было еще тихо, даже солнце здесь светило как-то особенно: лучи его падали на золотой крест угловой церкви, что важно обрисовывалась на фоне зеленого ковра весенней травы, по которому бегали золотые лучи. Недавно распутившиеся листья на деревьях грелись на солнышке, блистая глянцевитой поверхностью и изумрудной окраской. Необъятная лазурь неба была спокойно-неподвижна, не видно было облаков, все небо было подернуто голубой паутиной; лишь в одном месте эта паутина была прорвана, и оттуда лились ослепительные лучи солнца.

Постепенно оживает и переулок; по тротуарам проходят люди, медленно едет извозчик, опустив низко вожжи, промчится автомобиль, и опять переулок погружается в полусонливое состояние.

В начале восьмого Андрей вышел из своей хибарки и, побрякивая огромными ключами, которые он нес, качаясь из стороны в сторону, пошел по направлению к

* Впервые: М.: Рукописный сборник «Начало». 1928.

церковным дверям. Это был человек среднего роста, нижняя часть лица его обросла бородой, в которой местами виднелись седые волосы, а из-под жидких бровей смотрели голубые глаза; они были тусклы и, казалось, ничего не видели. Одет он был в выцветший пиджак, широкие штаны; полинявшая зеленая фуражка, надвинутая на лоб, на ногах огромные сапоги. Когда он шел, то широко расставлял ноги, как бы боясь задеть носком одного сапога за другой. С виду этому человеку можно было дать лет за сорок.

Подойдя к двери, он начал вставлять ключ в замочную скважину; ключ выскальзывал из рук, ездил по замку, но в скважину не попадал. В глазах у Андрея был какой-то туман, ему казалось, что в руках у него два ключа, а скважины нет, и ее нужно где-то найти. Тяжелая голова тянула книзу, непослушные руки делали что-то странное, ноги не хотели стоять, на лице выступали капли пота. Андрей снял фуражку, достал из кармана тряпку бурого цвета, вытер лысину, потом лицо, высморкался, понюхал табак и с первого же раза вставил ключ в замочную скважину, повернул его два раза, потянул к себе, потом навалился всем телом на дверь, отчего она, скрипя, отворилась, а ноги его в коленках согнулись, и он чуть не упал. То же самое он проделал с другой дверью.

Когда он вошел в церковь, его охватил сырой воздух церковных сводов и запах ладана, на него пахнула прохлада, и он почувствовал себя немного бодрее, хотя голова была по-прежнему тяжела и ноги плохо стояли. Андрей взял веник и пошел подметать в алтаре. Сор как-то не выметался, приставал к ковру. Андрей ерзал по полу с веником и суконкой в руках и, кряхтя, говорил: «У, Господи, грех-то какой, вот еще искушение». Кончив с этим делом, он начинал разжигать кадило, но и здесь все вываливалось из рук. Когда он разжег уголь, то пошел посмотреть, много ли времени осталось до звона; до девяти было еще далеко, и он сел на свое место — это было возвышение в одну ступеньку, на которой во

И, побрякивая огромными ключами, которые он нес, качаясь из стороны в сторону по направлению к церковным дверям. Это был человек среднего роста, нижняя часть лица его обросла бородой, в которой местами виднелись седые волосы, а из под жидких бровей смотрели два голубых глаза; они были тусклы и, казалось, ничего не видели. Одет он был в выцветший пиджак, широкие штаны; полинявшая зеленая фуражка, надвинутая на лоб, на ногах огромные сапоги. Когда он шел, то широко расставлял ноги, как-бы боясь задеть носком одного сапога за другой. С виду этому человеку можно было дать лет за сорок.

Подойдя к двери, он начал вставлять ключ в замочную скважину; ключ выскальзывал из рук, ездил по замку, но в скважину не попадал. В глазах у Андрея был какой-то туман, ему казалось, что в руках у него два ключа, а скважины нет, и ее нужно где-то найти. Тяжелая голова тянула книзу, непослушные руки делали что-то странное, ноги не хотели стоять, на лице выступали капли пота. Андрей снял фуражку, достал из кармана тряпку бурого цвета, вытер лысину, потом лицо, высморкался, понюхал табак и с первого же раза вставил ключ в замочную скважину, повернул его два раза, потянул к себе, потом облокотился всем телом на дверь, отчего она скрипя отворилась, а ноги его в коленках согнулись и он чуть не упал. То-же самое он проделал с другой дверью.

Когда он вошел в церковь, его охватил сырой воздух церковных сводов и запах ладана, на него плхнула прохлада и он почувствовал себя немного бодрее, хотя голова была попрежнему тяжела и ноги плохо стояли. Андрей взял веник и пошел подметать в алтаре. Сор както не выметался, приставял к ковру, Андрей ерзал по полу с веником ису-

время обедни стояла просвижня. Садясь сюда прежде, Андрей уносился мыслями в деревню, к полям, к скотине, к небольшому домику с кирпичной трубой, к темному лесу, что от станции верстах в пяти, вспоминал себя молодым, здоровым парнем в красной рубахе, в высоких длинных сапогах, с гармошкой. Но сегодня он не предавался этим мечтам; он видел перед собой золоченые стены иконостаса, темные лики икон и, ни о чем не думая, бессознательно смотрел в пространство. Мысли как-то выскальзывали из головы, обрывались старые, лезли новые, распирала голову, вдруг сразу исчезали, оставляя его одного.

Андрей старался сосредоточиться на вчерашнем дне, тускло вспоминая, что вчера что-то случилось. Наконец-таки он вспомнил, что он вчера пил с зонточником, что был вдрызг пьян и, когда пришел в церковь ко всенощной, то едва держался на ногах. Вспомнил, что священник выгнал его из церкви и сказал, чтобы он искал себе места, так как сторожа больше не нужно, а в воскресенье чтобы зашел взять расчет. Вспомнив все это, Андрей испугался: он привык к частым нотациям священника, но никогда еще не видал его таким резким и сердитым, как вчера.

«И почему это так? – думал Андрей. – Вот был молодым парнем, и то никогда не был пьян; выпью, бывало, половинку и хоть бы хны! А тут намедни выпил рюмку для бодрости и уж на ногах не держусь... Да раньше как-то и пить не хотелось, а теперича так вот тянет, потому пойдешь по приходу с праздником поздравлять, один поднесет, другой поднесет, к вечеру и скапутишься. Денька через три сам купишь побаловаться, потому хочется, а там, глядь, зонточник угостит».

В это время дверь отворилась, и вошел священник. Андрей встал и, взявшись за бороду, сказал:

– Здравствуй, батюшка.

Священник бросил на него косой взгляд, но ничего не ответил. Он несколько раз перекрестился белой холе-

ной рукой, отчего его красивая серая ряса едва заметно сдвинулась на плечо. В левой руке он держал серую фетровую шляпу, сшитая по нему ряса обхватывала спину, а ниже талии шли небрежные сборки. Острижен он был коротко, его волосы, зачесанные назад, напоминали скорей шевелюру художника, чем священническую гриву, аккуратно подбритые бакенбарды, тщательно расчесанная небольшая борода и немного приподнятые кверху усики – от всего этого веяло светскостью.

– Здравствуй, Андрей, – сказал священник, повернув голову в его сторону.

– Здравствуй, здравствуй, батюшка. Как жив-здоров, что-то твой портрет плох.

Но священник не вслушивался в слова Андрея, он пробежал глазами по церкви и, остановясь на Андрее, спросил:

– Ключи у тебя?

– Ключи? – переспросил Андрей. – У меня ключи, где же им быть, как не у меня!

– Дай сюда их! – сказал священник.

Андрей тупо посмотрел на него, не понимая, зачем ему ключи, и пошел к ящику, на котором они лежали.

– Ведь я же тебе говорил, что ты должен искать себе место. Церкви нужен работник, а ты работать не можешь.

Андрей обернулся лицом к священнику, слушая, что он говорил, но не мог сразу понять смысла его слов.

– Почему не могу работать? – спросил Андрей, по-прежнему тупо смотря на священника.

– Потому что ты пьешь, приходишь на службу пьяный!

– Пьяный? – повторил Андрей.

– Да, пьяный, – продолжал священник, – а нам пьяниц не нужно.

– Не пьяней тебя, батюшка, – перебил его Андрей. – А только я тебе скажу единственно, что это ты зря...

Но священник не дал ему договорить:

– Давай ключи и уходи вон! А в воскресенье зайди к старосте и возьми расчет.

В его голосе чувствовалась раздражительность и нетерпение, серые глаза немного поглубели, веки из розовых сделались красными, а левая бровь сильно поднялась кверху. Андрей подал ключи, взял фуражку, тяжело вздохнул и вышел на улицу. Он качался из стороны в сторону, голова была еще тяжелее, ему сильно сдавливало горло, дышать было трудно, внутри его была буря, его кто-то давил, душил, жег, колол, холодный пот выступал, и маленькие капли бежали по шее. Его бросало то в жар, то в холод, он кое-как добрался до своей хибарки и бросился на постель вниз лицом. В церкви было по-прежнему тихо, и только из алтаря доносилось невнятное чтение правил, которые священник не успел прочесть дома.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Андрей проснулся от сильного шума; он спустил ноги, протер глаза и посмотрел в ту сторону, откуда доносился шум. Посередине комнаты стояли двое печников, один из них держал в руке пустую бутылку из-под водки и что-то кричал, другой судорожно сжимал кулаки и каждую минуту готов был на него наброситься.

– Убью! – закричал печник и бросил бутылку в голову своего противника. Тот отпрыгнул, и бутылка со звоном разлетелась на кусочки. Началась потасовка: рвалась, треща, рубашка, сыпалась матерщина, били друг друга кулаками в лицо и неистово кричали.

– Убью! – кричал печник, разбивший бутылку, и, отбежав в сторону, держась обеими руками за рот, из которого хлестала кровь, он дико завывал: – Убью, убью, все равно убью!

Подойдя к печке, увидел большое полено, обрадовался ему как находке, схватил его, поднял над головой и побежал к двери, за которой скрылся другой.

– Куда? – закричал зонточник тоненьким голосом, – куда мое полено прешь?! Положь на место!

И пошел к печнику, бросив зонтик, с которым он возился.

– Подавись своим поленом! – рычал печник. – Подавись им, рябой черт!

Зонточник замахнулся. Печник бросил полено на пол и, не обратив на зонточника никакого внимания, пошел к двери.

– Что он? – спросил Андрей, смотря на зонточника, который ставил полено на прежнее место.

– Он-то ничего, на копейку выпил – на рубль загулял. А ты что, проспал обедню, вот тебе теперича поп и вжарит. Ключи-то у тебя?

– Ключи? – спросил Андрей, бессмысленно глядя на зонточника. – Какие ключи?

– Ты что? Не проспался, что ли? Вестимо какие, церковные.

– Церковные? – переспросил Андрей.

– Ну да, церковные.

– Нет, не у меня, я теперича к этому делу некасаем.

И вдруг ему сделалось тяжело, что-то сильно сдавило горло, на душе сделалось гадко, хотелось поделиться с кем-нибудь своим горем, хотелось выплакать всю горечь, рассказать, что он уволен, что идти ему некуда, да и не зачем.

– Что с тобой? – спросил зонточник у Андрея, который как-то странно опустил голову на руки, смотря на грязный пол.

– Со мной-то так, ничего...

– Что так? Небось, батька выгнал, вот и купоришься.

Эти слова задели Андрея за больное, горло еще сильнее сдавило, слезы подступили, а в ушах так и звенело: «Выгнал, выгнал...»

– Правильно ты сказал, Никитич, выгнал он меня, зарезал, без ножа зарезал, хоть в петлю полезай, кому я нужен. В деревне не примет ягодка (так он звал свою

жену), тут не наймешься; а жрать надо, вот теперича хоть с голоду подыхай.

Он безнадежно махнул рукой, понюхал табак и, тяжело вздыхая, стал озираться по сторонам. Зонточник о чем-то думал. Он смотрел на Андрея своими маленькими серенькими глазками, утонувшими в рябой коже лица.

– За что ж он тебя выгнал? – спросил зонточник.

– За что? Говорит, ты пьяница, а нам пьяниц не нужно. Ты, говорит, пьешь...

– А сам-то он не пьет, что ли?! – запищал зонточник. – Ведь он, небось, как сам-то нарезается, а других за это без хлеба оставляет. Вот подадим на суд, будет ихней долгогривой братии. Не горюй, Андрей Ваныч, мы это дело сварганим, дай только за полбутылкой схожу.

При этих словах зонточник подмигнул Андрею одним глазом и пошел к двери. Андрей остался сидеть на постели, он безразлично мотал ногами и смотрел по сторонам. В комнате было душно, пахло махорочным дымом, который стелился синим облаком, заволакивая все предметы, темными силуэтами смотрели постели, растянувшиеся гуськом вдоль стены. Они были грязные, оборванные, вместо подушек навалено какое-то тряпье, около постели зонточника лежала груда ломаных зонтиков, на полу валялась селедочная голова, какая-то железная банка и стёкла разбитой бутылки. Грязные стены сливались с серым потолком, и тусклый свет оконного стекла, что под лестницей в уровень с землей, освещал убожество этой комнаты.

Дверь отворилась, вошел зонточник. В одной руке он держал две полбутылки, в другой – черный хлеб и колбасу. Он положил хлеб на стол, откупорил бутылку и достал из столика две жестяные кружки, стал звать Андрея. Андрей со странным безразличием подошел к столу, сел на ящик и смотрел, как зонточник резал колбасу широкими кружками, наливал водку. Андрею не хотелось говорить, не хотелось думать, хотелось смотреть

на эту булькающую водку, хотелось выпить ее и вновь налить и слушать, как она будет булькать, и опять выпить, и так все время.

– Ты что задумался? Пей, друг, ничего, на суд подадим, денежки получим, а там – валяй в деревню.

– В деревню? А что мне там делать? В деревню ехать – деньги надо, а где они у меня?

– А на суд-то подадим?

– На суд?.. С чего ж это мне судиться-то?

– Как с чего, ведь тебя выгнали, рассчитали, что ты делать-то будешь?

Андрей, слушая, пил водку, заедал ее хлебом и смотрел на зонточника растерянными глазами, в которых начинали бегать огоньки хмеля:

– Что делать буду? Что бог даст, то и буду делать.

– Дурья твоя башка, что тебе бог твой местечко, что ли, приготовит. Говорят тебе, на суд подавать надо. В союзе-то ты состоял? А в страхкасу за тебя платили?

– Как же, состоял, и в страхкасу платили.

– Плохо дело. За что же на суд подавать?

– Не знаю, – сказал Андрей и бессмысленно посмотрел на зонточника. Мыслями он был далеко от настоящего. Ему не хотелось думать о завтрашнем дне, не хотелось вспоминать, что он рассчитан, что нельзя оставаться без места. Он хотел думать только о прошлом, воскрешая в памяти несколько счастливых случаев из прошлого.

Перед ним вставала деревня, с ее мужиками, поля, сходки, и опять становилось тяжело. Жаль было хозяйства, ведь он-то, Андрей Антонов, ни перед кем в деревне шапки не ломал, а теперича нищим придет, ради Христа будет просить, чтобы в работники взяли. А что, и теперича можно хозяйство поправить, были бы деньги.

– Много ли денег в суде дадут? – спросил Андрей, оборачиваясь к зонточнику.

– Много ли дадут, не знаю, смотря какие показания будут. Я думаю, мы покажем, что тебе за два года не уплачено, и в союзе ты не состоял. Ведь тебя недавно провели?

– Недавно...

– Эдак, значит, выйдет рублей двести, а может, двести пятьдесят...

– Двести?! – повторил Андрей и посмотрел на зонточника, не смеется ли он. – Двести рублей. Это на двести рублей можно и хозяйство подправить, и ягодка, пожалуй, примет. Потому и в деревне деньги самое главное дело...

– Да они и в городе не последнее, – перебил зонточник.

– Нет, не говори, Никич, в городе наняться можно, а в деревне – где наймешься. Вот приедь я в деревню без денег, что я делать-то буду, а коли у меня деньги – другой разговор: и почет тебе от мужиков, и ягодка к тебе эдак... Потому я с деньгами, а без денег плевать они на меня хотят. Вот я ушел из деревни, отбился от хозяйства, а понече как трудно начинать-то будет. А почему ушел – потому деньги надо. Война началась, неурожай, ягодка первая померла, ну, тут и пошел разлад, в город, стало быть, за деньгами идти надо. Пошел, да и застрял. А ведь я до единой копейки все в деревню посылал, думал, хозяйство получше сделать, а оно вон как вышло...

– Да, – сказал зонточник, не глядя на Андрея. – А раньше-то у тебя хорошо было?

– Раньше-то, когда с первой ягодкой жил? Хорошо, ой как хорошо, Никитич. Ты вот не женат, не знаешь, что такое жена, а я вот как начну говорить о покойной ягодке, так словно меня кто ножом режет, потому я ее любил, и она меня любила, Никитич, сильно любила. Уж когда ей умирать пришло, и то говорит мне: «Ты, говорит, Андреюшка, не горюй, не пропадет хозяйство, женись на Авдотье». Женился я на Авдотье – как жить в деревне без бабы? Да нельзя было в деревне оставаться, в город надо было идти деньжонок заколотить: хозяйство распадалось; лошадь пала, а какое хозяйство без лошади. Вот и пришел в Москву, нанялся в эту церковь сторожем, как вол зиму работал, только бы всем угодить; на лето собирался в деревню, деньги скопил к тому време-

ни, другой день не жрамши спать ложился, все думал на лошаденку, взял отпуск, да и поехал в деревню. Только вижу, не та мне честь, кто смеется, он, мол, дескать, подцепил девчонку и думает, она с ним живет. Терпел я, думал, зря брешут. А то иду как-то в праздник от обедни, вижу, мальчишка соседов сидит на заваленке. «Здравствуй, говорит, дядя Андрея; Сенюшка-то наш на прошлой неделе у твоей Авдотьки ночевал». Зло меня взяло, так бы, кажется, и пришиб мальчишку. «Что, говорю, зря брешешь-то». — «Не брешу, дядя Андрея, он и сейчас к ней пошел». Больно мне сделалось.

Прихожу домой, вижу, впрямь сидит у нас Сенька соседов. «Здравствуй, говорю, Степан Лексеич, что ж в церкви не был?» А он смеется и говорит: «Мы уж отмолились, Андрей Ваныч, пришли молодую жену поздравить». Затрясло меня всего, схватился я за топор да на него. Он из избы, я за ним. С тех пор не люб он мне сделался, видеть я его не могу. Вижу, не место мне в деревне, взял и поехал в Москву. Ну и шабаш, ни одной копейки не послал в деревню. А до этого не пил, ей-богу не пил, как каторжный работал, каждый день где-нибудь дрова колот; в одном тут доме дворником нанялся, улицу мел, даже грешить стал, никому этого не говорил, я тебе, Никитич, скажу. Да, грешить стал, вором сделался, потому деньги уж очень нужны были. Ковры я из церкви украл, много их там, ну я два и взял, думал, хозяйство устроить, как с первой ягодкой, да не судьба, верно. А ведь я первым мужиком в деревне был, двадцать пять овец было, корова, лошади, птицы столько, эхма! Не судьба мне, Никитич, быть хозяином, не судьба.

Зонточник вслушивался в слова Андрея, смотря на него пьяными глазами, вслушивался и вспоминал, что его когда-то тоже тянуло в деревню, что он мальчишкой был взят из деревни, увезен в город, отдан в учение к зонточнику. Долго не мог привыкнуть к городской обстановке и не раз думал бежать от хозяина. И сейчас его потянуло в деревню. А между тем комната постепенно напол-

нялась жильцами. У стола уже сидели двое печников, пекарь, сапожник. На столе стояли неоткупоренные бутылки; раздавались пьяные голоса. Десятисвечная электрическая лампочка освещала красные лица, в комнате стоял гул и крик, каждый пел свою песню, каждый старался покрыть всех своим голосом.

Так продолжалось до тех пор, пока крепкий сон не сомкнул их усталых отяжелевших ресниц.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всю неделю Андрей ходил по знакомым, спрашивая, нет ли где местечка. К вечеру обыкновенно приходил домой пьяным, и когда зонточник спрашивал его: «Что, опять нарезался?», Андрей отвечал:

– С горя, Никитич, ей-богу с горя, душа у меня болит. В деревню ехать надо, а как ехать без денег? Вот последние пропиваю, что при расчете получил.

– На суд подавай! – кричал зонточник.

– На суд, – повторял Андрей. – Это с церковью судиться, стало быть, с богом. Нет, не буду!

– Дурак ты!

– Какой есть, – отвечал Андрей, – а только судиться не буду.

Так повторялось изо дня в день. Напрасно зонточник уговаривал его подать на суд, доказывая ему, что церковь не права. Андрей твердил свое: «Не буду я с церковью судиться!» Зонточник кричал на Андрея, ругался, а тот бессмысленно глядел на него и повторял вечный ответ: «Судиться не буду, как хошь, а только я с Богом судиться не буду!»

В субботу Андрей пришел раньше обыкновенного и трезвым. Зонточник удивился этому случаю и насмешливо спросил:

– Что, Андрей Ваныч, все пропилил?

Андрей, не отвечая, пошел к своей кровати. Он долго копался у нее, разбирая какие-то тряпки, потом достал

из-под кровати корзинку, начал рыться в ней и вынул оттуда небольшой засаленный мешочек, взял из него деньги и стал бережно отсчитывать, поминутно прикасаясь к губам указательным пальцем. Самую истрепанную трехрублевую бумажку он отложил.

Зонточник с удивлением смотрел на Андрея:

– Что, никак ехать хошь в деревню? – спросил он, щуря маленькие глазки, отчего они сделались еще меньше.

– Еду, – ответил нехотя Андрей.

– Когда ж едешь-то?

– Завтра.

– Стало быть, на суд подавать не будешь.

– Не буду, – буркнул Андрей, снимая с кровати мешок, набитый соломой и служивший ему матрацем.

– Так-то, Андрей Ваныч, – сказал зонточник, хлопнув себя рукой по коленке. – Так-то, стало быть, к яголке под бок.

И зонточник захохотал громким, раскатисто-неприятным смехом. Андрей посмотрел на него. Зонточник продолжал смеяться. Андрей отвернулся: ему неприятен был этот смех. «Вон они, люди-то добрые, – думал Андрей, – вместо того чтобы совет какой подать, ободрить, вон он чем занимается». А зонточник продолжал смеяться.

– Да перестань ты, ишь, прорва какая, – закричал Андрей, оборачиваясь к зонточнику.

Тот удивился, что Андрей, всегда молчавший, умеет кричать. Молча посмотрел он на Андрея и опять захотел, так громко, что Андрей вздрогнул:

– Фу ты, пропасти на тебя нет! Ишь ты, ободрать тебя!

Андрей взвалил мешок на спину и пошел к двери.

– Осерчал, парень, – запищал зонточник, – чужак. За что, сам не знает. А вот поди ж ты!

Зонточник был немного навеселе, и ему хотелось петь. Он запел своим писклявым, дрожащим голосом любимую песню:

Маруся отравилась,
В больницу отвезли...

* * *

Андрей вышел из дому, когда с колокольни угловой церкви стал доноситься звон колокола. Это было одно из тех воскресных утр, когда, после долгих серых будней, сопровождаемых дождем, наконец наступило воскресенье, улыбнулось солнечным светом, и усталые, запыленные горожане, переполнив трамваи и автобусы, спешили за город, чтобы подышать свежим воздухом.

Когда Андрей вошел в церковь, народу было еще очень мало, и, став на свое прежнее место, начал слушать часы, которые дьячок гнусавил себе под нос. Началась обедня; что-то запели, и Андрей услышал знакомый ему голос. Он сделал шага два вперед и посмотрел на клирос. На клиросе стоял священник в серой рясе. Андрей остолбенел, впялил в него глаза и не мог оторваться. Не то злоба, не то ненависть заговорили в нем. Он смотрел, как священник открывал рот, когда пел, как подымал бровь, и вдруг вспомнил, что он тоже поднял бровь, когда крикнул: «Дай ключи!» Андрей стал красться вперед и, дойдя до колонны, остановился. Отсюда он мог свободно видеть священника, видеть его всего, с головы до ног, он был ему противен, омерзителен, но он хотел его видеть, хотел закричать, что грех ему будет. Андрей не слышал службы, не видел перед собой служащего священника, не понимал, что пели и читали, не крестился. Он смотрел на клирос и видел перед собой серую рясу, длинный нос, высоко поднятую бровь, он ничего не слышал. Нет, слышал крик священника. Ему казалось, что вот-вот священник обернется и скажет: «Уйди вон». Священник обернулся. Андрей замер. Он стал на колени, стараясь не смотреть на него, но это было одно мгновение. Когда Андрей посмотрел на клирос, священник тоже стоял на коленях и небрежно крестился.

Впереди у самого алтаря стояла старушка и клала частые земные поклоны. Андрей очнулся, вспомнил, что сегодня он уедет, что зашел попрощаться с церковью да помолиться, попросить у Бога удачи. И он стал класть земные поклоны, широко крестясь и что-то бормоча. Но молиться он не мог, его молитву заглушало пение священника. Андрей встал с колен и, не отрывая глаз от клироса, простоял до конца обедни. Обедня кончилась. Вышел священник и стал давать целовать крест; народ потянулся, кашляли старушки, постукивая палками, на которые они опирались, тяжело вздыхали, а у выхода рассказывали, кто на ком женился, какой безбожник в ихнем доме живет, какие службы бывают в других церквях. Андрей тоже пошел с народом, он приложился к кресту и уже хотел зайти на клирос, чтобы попрощаться со священником в серой рясе, как их взгляды встретились; Андрей поднял ногу, чтобы поставить ее на ступеньку, но вдруг ему показался этот человек мерзким и отвратительным, и он пошел к выходу, тяжело вздохнув. У входа он встретил старосту, шедшего к поздней обедне.

– Прощай, Дмитрий Петров, в деревню еду.

– Прощай, Андрей, живи, как люди живут.

– Какая моя жизнь, – сказал Андрей и поспешил выйти из церкви, чтобы староста не начал его спрашивать о том, как он живет.

Когда Андрей вернулся от обедни и вошел в комнату, освещенную тусклым светом оконного стекла, в ней уже не было жильцов. Все разбрелись. Кто на бульвар пошел пощелкать семечки, кто в пивнушку, а кто на рынок – потолкаться, и только зонточник по своему обыкновению сидел на постели, разбираясь в большой куче поломанных зонтиков, а у окна сидел косо́й Петька-печник, задира и драчун, левый глаз его был подвязан тряпкой. Он держал гармонику и, почти прислонясь к ней ухом, пел:

Эх, ягода-малина,
Моя девка Катерина...

Звуки наполняли комнату, а Петька растягивал и сжимал гармонь.

– Андрей Ванычу почет, – сказал зонточник, увидев Андрея в дверях. – Как отмолился?

– Отмолился, – ответил Андрей, ставя у двери железный прут, служивший ему палкой.

– Ну что, Андрюша, теперь, стало быть, в поход? – спросил Петька, перестав играть.

– В поход. Только теперича пожевать надобьсь сперва.

– Выпьем, что ли, на прощанье-то, – сказал зонточник, широко улыбаясь.

Андрей не ответил и полез в стол, доставая оттуда чайник с вчерашним чаем и сухую булку. Петька не играл. Все молчали. Андрей размачивал в чайнике черствую булку и громко чамкал губами.

– Ну-ка, Петя, – сказал зонточник, – сыграй-ка ему отходную.

Петька засмеялся и стал растягивать гармонику.

– Не выходит, – добавил зонточник, – эх, гармонист!

– У меня-то не выходит! – взъерепенился Петька. И он стал играть плясовую, пристукивая ногой и подпевая: – Эх, ягода-малина...

Зонточник только махнул рукой и энергично плюнул:

– Наладил свою «ягоду», как она тебе не надоест.

Петька не ответил и перестал играть.

– Нет ли у тебя, Петя, веревки? – обратился Андрей к Петьке, который смотрел в окно.

– Есть, – отозвался Петька.

– Дай ее мне, пожалуйста, а то мне нечем связать корзину с мешком.

Петька встал, подошел к постели, достал из-под подушки веревку толщиной в палец.

– Во-во, – сказал Андрей, идя навстречу к Петьке, – во-во, мне такую и нужно, спасибо тебе.

– Не толста ли?

– Нет, в самый раз, покрепше будет.

Андрей связал веревкой мешок и корзину, надел пиджак, нахлобучил фуражку.

– Ты что, уж готов? – спросил зонточник.

– Да кажись, все.

– Когда ж ты уложился-то?

– Да еще вчера.

И зонточник торопливо стал искать фуражку. Андрей перекрестился на угол, затянутый густо под потолком паутиной, взвалил через плечо корзинку и, обернувшись к Петьке, сказал:

– Прощай, Петя, всем нашим поклонись, скажи, дескать, за все благодарен. Прощай, Никитич, – говорил Андрей, протягивая ему свою широкую, шершавую руку в мозолях. – За все тебе благодарен, уж такое тебе спасибо. Я тебя, Никитич, не забуду. Прощай!

– Да я тебя, Андрей Ваныч, провожу до трамвая, – и зонточник надел мятую фуражку.

– Проводишь, ну что ж, спасибо скажу.

И они оба вышли на улицу.

На улице было душно. Палящее солнце припекало спину, а ветерок поднимал облако пыли кверху, обдавая потом толпу прохожих дождем серых пылинок. Андрей и зонточник шли молча. Зонточник оглядывал пеструю толпу прохожих, заполнившую тротуары. А Андрей смотрел вниз, за сотнями башмаков, мелькающих перед его глазами. Они подходили к площади, на которой была одна из конечных остановок трамвая, где должен был сесть Андрей. В левой стороне от площади тянулся бульвар; он манил к себе, обещая прохладу широких ветвей липы. Длинной красной вереницей растянулись трамваи вдоль бульвара. Около трамваев бегали газетчики и навязывали свой товар. В трамваи заходили слепые и, гнусава, пели, шмыгали беспризорники.

– Вот в этот сядем, – сказал Андрей, указывая на трамвай, стоявший в конце, совсем пустой, который только что пришел.

– Да он не пойдет, – возразил зонточник.

– Зато он пустой, сесть можно.

– Твое дело, – ответил зонточник и протянул Андрею руку, когда они уже подходили к трамваю: – Прощай, Андрей Ваныч.

– Прощай, Никитич, – говорил Андрей, крепко сжимая руку зонточника в своей. – За все тебе спасибо, уж такое тебе спасибо.

– Не за что, – отвечал зонточник. – А только зря ты на суд не подал.

– Не могу, Никитич, истинный Господь, не могу. И рад бы, и деньги вот как нужны – позарез. А как подумаю, что с Богом я судиться-то должен, так от всего отрекаюсь.

– Брось ты это, не было Бога никогда, да и не будет. Я сам раньше тоже веровал, а теперь, как стал умнее, то вижу, что все это попы выдумали. А народ-дурак несет им деньги.

Андрей ничего не ответил, он еще раз сжал руку зонточника своей корявой рукой и полез на площадку. Когда он поставил мешок и корзинку на площадку и стал смотреть в ту сторону, куда должен был уйти зонточник, его уже не было; он утонул в пестрой многолюдной толпе.

Андрей остался на площадке; он сел на корзинку, поставил у ног мешок и стал смотреть на площадь. Долго смотрел он на площадь, вернее, не смотрел, он смотрел куда-то туда, вдаль. В трамвай входили нищие, газетчики, наконец-то вошел кондуктор и прервал пение слепого, который только что начал петь.

– Уходи, уходи, дед, сейчас тронемся, – говорил кондуктор, отрывая билеты.

Поводырь поспешно повел старика к передней площадке, а кондуктор дернул шнур. Раздался звонок, и трамвай тронулся.

Перед Андреем замелькали дома, люди, извозчики, магазины, автобусы и автомобили. Все мчалось, все спешило, и Андрей сам мчался. Он высунул голову и, щуря

глаза от пыли, которая обдавала ему лицо, смотрел вперед, видя перед собой все новые и новые картины, он видел бульвары, театры, проезжал мосты. Трамвай постепенно набивался народом, и было жарко. А Андрей все ехал и ехал, до тех пор пока кондуктор не крикнул:

– Курский вокзал!

Все стали выходить из трамвая, Андрей тоже вышел. Его серенькая фигурка, с мешком и корзинкой через плечо, скоро затерялась среди многолюдной толпы идущих к вокзалу. На вокзале было много народу. Все толкались, суматошились, кое-как Андрей добрался до кассы, где продавались билеты дальнего сообщения, и стал в очередь. Здесь народу было немного меньше. Очередь была небольшая, и Андрей скоро очутился перед кассой.

– Вам куда, гражданин? – говорила кассирша, обращаясь к Андрею.

– За Тулу...

– Да станция-то какая?

– Ивашково.

– Ну вот, так и нужно было говорить сначала, – сердилась кассирша, роясь в билетах. – Возьмите свой билет, гражданин, Ивашково.

Андрей взял билет и пошел к носильщику.

– Как к дальнему-то?

– На Тулу, что ли?

– Ну да, на Тулу.

– Вон, иди к той двери, сейчас пускать будут, – говорил носильщик, указывая на другой конец вокзала.

И Андрей, широко расставляя ноги, бежал к двери. Когда раздался звон вокзального колокола, Андрей уже стоял у открытых дверей, через которые шел народ. Он протискивался вперед, поправляя корзинку. Веревка сильно резала ему плечо, и он поминутно тянул к ней руку.

У перрона контролер проверял билеты и пропускал к составу. Андрей вошел в вагон, сел у окна и стал дожидаться.

даться отхода поезда. А по перрону шли сцепщики, смазчики; они были грязны, вымазаны смазочным маслом, по их коричневым загорелым лицам бежал пот. Раздался свисток, через несколько секунд поезд дернулся вперед, потом назад и пошел, пыхтя и взвизгивая, оставляя за собой вокзал.

В вагоне было тихо. Народу мало, и только слышен визг колес, бегущих по рельсам. Андрей сидел на лавочке, облокотившись на палочку, и смотрел в окно. А в окне мелькали роща, луг, пашня, тянулся лес. Андрей, глядя, невольно задумался о деревне.

Он живо представил себе ее, но себя он не мог представить в ней. Воспоминания прошлого были ежедневными грезами. Он их как бы выучил наизусть, они ему надоели, как надоедает ребенку каждодневная сказка. Прошлое было мечтой, безвозвратно потерянным временем. А настоящее слишком темно и беспросветно.

«Примет ли ягодка? – думал Андрей, опираясь грудью на палку. – А что если не примет, куда мне деваться, на много ли хватит моих тридцать рублей, может, правда, нужно было подавать на суд. Ведь Никитич мне добра желал. А бог-то, что бог-то, может, его никогда и не было. Нет, есть Бог, великий, всемогущий, всеведущий». «Нет, – кричал другой голос, не было его и никогда не будет!» «Великий, всеведущий Бог», – повторял Андрей, глядя по сторонам вагона. Глаза Андрея остановились на последней скамейке в углу.

На ней сидел пожилой священник, длинные волосы его развевал ветер, врываясь в окно. Он низко опустил голову и о чем-то думал. Вдруг Андрею сделалось тяжело-тяжело. Он вспомнил, что эти слова – «великий, всеведущий» – говорил ему священник в серой рясе на исповеди. Говорил ему, что нужно любить друг друга, что самое главное в жизни – это любовь. «Где ж она? Где ж она, эта любовь?» – шептал Андрей, и из его голубых мужицких глаз текли слезы на красное, загорелое лицо в морщинах. «Великий, всеведущий», – кто-то кричал и смеялся, и когда

смех стихал, раздавалось глухое эхо: «Нет его, и никогда не было». Андрей прислонил голову к стенке вагона и вытирал слезы тряпкой бурого цвета, от которой сильно пахло табаком. «О чем же я плачу? – думал Андрей, утирая слезы. – Эх, какой я мужик стал плохой, словно баба какая. Ягодку первую похоронил, уж на что горько было, и то не плакал, а тут поди ж ты». Он еще не мог дать себе отчета в том, что с ним случилось, он только чувствовал, что он что-то теряет, чувствовал внутри себя какой-то сдвиг, но что все это значит, он не знал.

Поезд мчался все быстрее и быстрее, унося Андрея прочь от Москвы.

АЛТАЙ*

(ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

Я вот вам расскажу, как с шаманом на Алтае повстречался. Когда я уже окончил школу и нас никуда не принимали, нужно было странствовать... Тянуло. Я и Саша Каменский, товарищ, с которым мы вместе играли в футбол, и Игорь Константинов, ученик Варвары Сергеевны Смирновой, – мы обратились к академику Ферсману, Александру Евгеньевичу. Пришли и сказали, что нам очень хочется путешествовать – нас привлекает Алтай. Он говорит: «Вот и хорошо. Я как раз тоже начал заниматься Алтаем. А что вы можете делать?» Наглость наша была беспредельна: мы сказали: «Все!» – «Ну, например, что – все?» Я говорю, что могу описать нравы, обычаи, уклад, флору, фауну. А Каменский мог все вычертить, любил карты: «Могу сделать картографические наброски». Александр Евгеньевич говорит: «Это очень важно». Игорь сказал, что может рисовать (у него отец был художником-декоратором Большого театра, и он тоже рисовал профессионально). Ферсман говорит: «Ну, прекрасно, больше ничего и не нужно. Вы получите туристические направления, мы вас финансируем немного, настолько, чтобы вам хватило на жизнь; дадим вам сухой паек, крупы, масло – все, что вам нужно, я вас направляю в Главное туристическое управление. Если особенно будет тяжело, откуда-нибудь телеграфируйте».

* Впервые: Литература Древней Руси: Лекции-очерки. М.: Изд-во МГУ, 2000. С. 70–71.

Вот мы и взяли билеты до Новосибирска, а оттуда до Улалы ехали на таратайках. А здесь нам сказали: «Все. Теперь только верхами». В туристическом бюро нам дали проводника, четырех лошадей и два битюга. Так мы поехали через тайгу.

У нас был замечательный проводник, Аполлон Табакаев. Он когда-то был проводником Кожевникова, знаменитого алтаевода. Что там страшного, когда такой проводник? Он всюду проведет: там же есть тропы. Тайга страшна для того, кто не знает ее! Тогда ты погиб. А проводник – все знает. Как-то мне Табакаев говорит: «Хочешь, я проведу тебя через китайскую границу?» Я говорю: «А зачем мне?!» – «В Китай попадешь». Я говорю: «Нет, не хочу в Китай». – «Не хочешь, не надо».

В тайге надо было осваиваться. И не только в тайге. Тайга – это лес. Но ведь нужно было осваиваться и с людьми. Ночевали в тайге. А в тайге чем хорошо? Ночью хо-о-о-лод-но! Да и вообще опасно в каком-то смысле: там все-таки зверье есть.

Так что костер разводишь, и один у костра дежурит, всю ночь, а на смену ему другой – первый ложится спать. А чем не хорошо-то! Очень холодно. У костра лежишь, пузо греешь, а спина и все прочее так мерзнет! Невыносимо. Ну, перевернешься. Я так однажды перевернулся и сторел, то есть у меня пальто загорелось и от хлястика до низу прогорело. Ну, тут уж другие почувствовали запах гари, вскочили, стали меня катать по земле, чтобы погасить. А в конце экспедиции... что мне делать с этим пальто, в Москву так ехать? На рынок! Тогда было плохо с ширпотребом, все бросились на это пальто. Я говорю: «Да, что вы, оно дефектное». «Ничего, – говорят, что дефектное». А когда увидели... Стали по-народному говорить, чего нет: «Оно, – говорят, – безж...пое!» Так пришлось за бесценок и отдать, ничего не поделаешь.

А вот когда мы через тайгу прошли, попали в алтайские деревни, алтайские поселения. Ойроты, жители Алтая, – совершенно замечательный народ. Такие ма-

ленькие... одно плохо, что они все больные были, у них был туберкулез и бытовой сифилис. Ну, я это знал, конечно, поэтому у меня был с собой спирт. Наберешь в рот спирту, держишь его... А у них такой обычай: тыходишь в чум – он тебе сейчас же трубку в рот дает – они же все «куряки», и мужчины, и женщины. А нельзя не принять трубку – это оскорбление, уж тогда ты ничего не узнаешь. А если ты взял, закурил – это уж «трубка мира». Так это хорошо и так интересно! Ну, я подружился со многими из них. Одна ойротка ко мне очень хорошо относилась – такая милая старуха. Говорила: «Я тебя накормлю». У них посередине чума огонь, который все время горит. И вся жизнь сосредотачивается около этого костра. Я ей: «А что ты мне дашь?» – «Увидишь, увидишь». Она взяла миску, плюнула в нее несколько раз, своим подолом протерла, насыпала туда ячменной муки, плеснула водички, замесала, юбку свою подняла и на своей ляжке из теста выбивала лепешку, и я вижу, как катышки грязи сбиваются вместе с тестом, а нога делается все чище и чище... Ойроты вообще ведь не моются. Они считают, что мыться – это грех: смывать с себя счастье жизни. А она, выбив, повесила эту лепешку на гвоздик, висящий над огнем (она должна была высохнуть и запечься). А что, не есть? Конечно, ел, облизывался и говорил: «Якши, якши» (хорошо, хорошо). Они ко мне очень хорошо относились, и я к ним очень хорошо относился. Вот в этой семье я и познакомился с шаманом. Уже полгода прошло. Мои спутники уехали. А мне казалось, самое интересное только начинается. То есть этнографический вкус развивался необыкновенно сильно. А я знал, что будет камлание. А что такое камлание, вы знаете? Это кровавое жертвоприношение. Это только в книгах можно прочитать – я это видел в натуре.

Я очень просил хозяина взять меня с собой на камлание. Он отвечал: «Нельзя». «Упроси шамана, – говорил я, – я тебе отдам все, что у меня есть, все отдам, упрости!» Они поспорили со старухой, которая все что-то лопо-

тала хозяину. А у них, как у всех монголоидов, лица совершенно каменные: никогда не поймешь — смеется он или плачет, хорошо это или плохо, молчит и все. Потом как-то раз пришел к вечеру уже и говорит: «Шаман сказал: “Якши”». Я говорю: «Дай я тебя расцелую!» — «Не надо»... А через два дня шаман пришел в чум. Входит человек монгольского вида, сколько лет ему, трудно сказать: сорок или пятьдесят, или шестьдесят, — они все поначалу для меня были на одно лицо и «на один возраст». Я ему поклонился в пояс. Он улыбнулся и совершенно правильным русским языком говорит: «Что, молодой человек, хочешь посмотреть или помолиться с нами на камлании?» Я говорю:

– И то, и другое.

– Но ты ведь безбожник?

– Да.

– Ведь это плохо, — говорит шаман. — Но это ведь у тебя от глупости.

– Почему?

– Потому что ты ничего не знаешь.

– То есть как я ничего не знаю?

– Так. Ну, что ты знаешь?

– Я много знаю.

– Ну, скажи мне, «Пролегомены» кто написал?

– Что-о-о?

– «Пролегомены», слышал такое слово?

– Кант.

– А! Значит, знаешь, кто такой Кант, — говорит шаман, — а можешь изложить, что он там написал?

А я балдею буквально. В этой глуши вдруг появляется шаман, который «Пролегомены» читал! А Шаман продолжает:

– Ты слышал такое имя — Гегель?

– Еще бы, конечно.

– А что ты его читал?

– Лекции.

– А что он писал о душе?

– Он ничего не писал о душе.

– Нет, невежественный юноша: он писал, только ты не читал! Ты глуп, и мне спорить с тобой бессмысленно, потому что я владею многим, а ты ничем не владеешь. Я имею власть над собой... и над тобой.

– Что это значит?

– Ты видишь мою руку?

– Вижу.

– А вот этот нож ты видишь? Так смотри!

Со всего размаху он бьет ножом свою руку: вот здесь, и здесь, и здесь. И я вижу, что острие ножа, проткнув ладонь, уперлось в стол.

– А кровь видишь?

– И кровь вижу.

Шаман показал ладонь, облизал ее с двух сторон.

– А теперь ты видишь кровь?

– Нет, не вижу.

– Это значит, – говорит шаман, – я владею собой.

Клади свою руку!

– Зачем? – воскликнул я.

– Я тебе дам нож, и ты ударишь.

– Нет. Я не хочу.

– Потому что ты не веришь, – говорит шаман, – и ты вообще ничему не веришь. Но ты хорошо сделал, что к нам приехал: ты многое увидишь... До свидания, юноша.

Я поклонился ему в пояс. Он даже не обернулся...

Из европейцев единицы присутствовали на камлании! Это интереснейшее событие, вместившее в себя весь драматизм жизни людей другой цивилизации. Воспроизвести то, что один раз почувствовал, второй раз очень трудно: для этого нужна и соответствующая обстановка, и соответствующий настрой, и соответствующее здоровье. Ни того, ни другого, ни третьего у меня сейчас нет. Нет... Я только могу изложить те факты, которые как-то запечатлелись в моем сознании. После моего свидания с шаманом были для меня мучительные дни раздумья –

разрешишь ли шаман мне присутствовать на камлании: я несколько раз смотрел на своего хозяина, не говоря ни слова, но взгляд мой был вопросительным. И он отворачивал от меня свое лицо. Однажды вечером, когда он возвращался, я подошел к нему якобы с тем, чтобы взять у него трубку: это обычай всех ойротов – они все курят, не выпуская изо рта трубку. И в знак приветствия и дружбы он обычно дает свою трубку тебе в рот. И ты должен курить. В противном случае никакого контакта не будет. Боже упаси показать, что ты брезгуешь или пренебрегаешь, – ничего этого не должно быть. Я взял трубку. Он на меня посмотрел и говорит: «Согласился». Я понял, что шаман разрешил мне присутствовать на камлании. Для меня это была большая радость!

Вообще-то говоря, я ведь не этнограф. Мои путешествия по Алтаю да и по другим частям страны носят чисто дилетантско-познавательный характер. Если бы я был географ, я бы, наверное, из этого материала сделал очень многое, но это совсем иная область... это не география, это – этнография, наука, совершенно потерявшая популярность в наше время, *народоведение, страноведение* – такие термины, на мой взгляд, даже выпали из нашего обихода, нашего лексикона... Но как бы то ни было, мне было разрешено присутствовать на камлании. И однажды днем хозяин мне сказал: «Собирайся!» Что значит собираться? Мне дали лошадь – это замечательные алтайские лошаденки. Они небольшие, очень добрые, покладистые, выносливые и бегут иноходью: особый лошадиный шаг – мягкий шаг. На этой лошадке сидишь в седле и не чувствуешь седла, потому что она ногами переступает ритмично – у нее нет рывков. Мне дали хорошую лошадку. Я взобрался на нее и только тогда заметил, что возле нашей юрты уже очень много людей, сидящих на лошадях. Через несколько минут вся эта кавалькада двинулась вперед. Я затерялся в толпе таких же паломников, как я, едущих на камлание. Ехали гуськом. Тихо. Почти никто не разговаривал. Лошади шли мерно и

красиво. Так продолжалось несколько часов. Надо сказать, что тайга имеет свою прелесть – прелесть завораживающего леса. Это не наш русский лес: у нас-то все свое. А в тайге это все чужое, огромное, давящее. Ты во власти тайги, лес твой хозяин и твой господин. Тебе оттуда не выйти. Надо сказать, что ведь никто в тайгу в одиночку и не ходит. Не только потому, что зверя боятся, а потому, что не всегда надеются на свою ориентацию. А попасть в тайгу и не выйти из нее – это значит погибнуть... Несколько часов мы ехали так, наконец ко мне подъехал мой хозяин и завязал мне глаза платком. «Ну, думаю, началось! Тут они где-нибудь меня сбросят, а место неровное, везде овраги, маленькие горные речушки, если один останешься – никогда не выберешься». Ну, я слышал, что за мной ехали, впереди меня ехали, и поэтому с завязанными глазами я также ехал, не скажу спокойно, но совершенно равнодушно, как ехал бы и с открытым взором. Именно тогда, когда мне надлежало открыть глаза, то есть снять платок, что сделал мой хозяин, было уже поздно. Высоко стояла в небе луна, освещающая замечательную поляну. Я увидел очень-очень много лошадей и людей. Но плато я еще не видел. Утром мы опять тронулись в путь: еще примерно двое суток езды. Наконец приехали в тайгу, где внутри леса, или тайги, как угодно, – огромная площадка, или плато. Это был круг, впрочем, это я условно обозначаю как круг, потому что мне он казался бесконечностью, такой он великий. Вокруг него люди, сошедшие с лошадей. Лошади стояли в стороне. Наконец откуда-то вывели лошадь и стали ее гонять по корду, все сильней и сильней – она бежала быстрее и быстрее, ее били бичами, то гикая, то всхлипывая, то выкрикивая. В конце концов, когда этот бег превратился в какой-то вихрь, откуда-то четверо накинули на нее арканы – на каждую ногу по аркану – и со всего маха ее разорвали, то есть растянули. Лежа на спине и не в силах дергаться, потому что она была натянута арканами как струна, она лежала, ожидая своей участи.

Подскочил шаман. Он быстрым движением разрезал ей горло и от горла почти до паха провел ножевой разрез, выхватив, в буквальном смысле слова оттуда сердце. Вынув дымящееся сердце из лошади, он его поднял высоко над головой и, как бы показав всей толпе, несколько раз обошел лошадь, а потом – ударив одной ногой о другую, а потом – ударив бубном о коленку, а потом – ударив рукой о другую коленку, а потом – ударив бубном в голову, а потом – начав бубном бить изо всех сил, все время держа сердце, еще дымящееся, над головой, он стал совершать различные ритуальные танцы. Ну, это я только потом понял, что это ритуальные танцы. Тогда мне казалось, это какой-то вихрь! Ничего подобного ни в каком балете я никогда не видел и, наверное, не увижу, потому что все было в вихре движения. Шаман носился как дикая птица опаленная. Он бил в бубен, он плясал, он выкрикивал, он подскакивал, он опять поворачивался, он, казалось, зачаровывал всех тех, кто был около него. В этом диком, страшном танце была, казалось, вся жизнь этого странного маленького народа, который называют ойроты. Сейчас он был не маленький. Сейчас здесь было очень много величия и силы. Их вождь и их владыка, шаман, совершая свой ритуальный танец, делал что-то страшное, ибо люди замерли, впились в него глазами и не смели дышать. Так было почти час. А шаман все плясал, все плясал, все плясал. Силы его, безусловно, истощались, потому что шел уже третий час этой дикой пляски. Так мне казалось, что третий час. Может быть, это было больше или меньше, я сейчас не могу себе отдать отчет. Помню только одно, что затем, изнемогая, он упал, не выпуская сердце из рук, лицо его исказилось, на губах его была белая пена, он держал по-прежнему сердце высоко над головой. Вся толпа замерла. И только потом, один за другим, ойроты подползали к нему, касаясь его рукой и желая услышать то слово, которое он говорил. Это что-то вроде пророчества, предсказания, определения. Конечно, я не только не полез туда, я и не посмел,

настолько все это было мистически напряжено. И драматический накал, который там был, не сравнится ни с одним спектаклем современного театра! А между тем ойроты разделявали лошадь. Откуда-то появились котлы, в которых варилась конина. И сваренный кусок конины небольшими частями раздавался каждому присутствующему на камлании. Люди устали от всего виденного и пережитого. Они как бы подкрепились этой малой пищей и постепенно, один за другим, садились верхами, тихой поступью покидали то место, где недавно свершалось их великое действие обряда. Мой хозяин последовал их примеру. На третий день мы были дома, то есть в своей юрте, где можно было выпить немного арочки, водки из ячменя, съесть лепешки, которые изготовлялись из ячменной муки, и отдохнуть от виденного и пережитого.

Естественно, что все это не могло быть не замеченным молодым человеком, который случайно попал в этнографическую стихию. Но все дело в том, что сама эта стихия заволакивает, завлекает, затягивает. Если есть камлание, если есть провидение, предвидение, значит, есть еще что-то. И это еще что-то мне тоже показали. И это была Долина смерти – место, где хоронили ойрота. Кладли в трясину и все. Чтобы посмотреть на Долину, нужно было войти в нее по тропочке... Но это уже совсем другой сюжет. И для другого рассказа.

IV

ЧЕЛОВЕК КРАСИВОГО ИНТЕЛЛЕКТА*

(О Г.Н. ПОСПЕЛОВЕ)

Я самый старей на факультете и все помню: и как создавался факультет, и его первых деканов, и как сформировалась кафедра теории литературы. Произошло это почти анекдотически. Геннадий Николаевич Поспелов был членом кафедры истории русской литературы XIX века, а заведовал кафедрой Александр Николаевич Соколов, приглашенный А.М. Еголиным. Между ними часто возникали споры философского толка, которые носили довольно острый характер. Споры эти не были противостоянием или идейной борьбой, скорее, они вызывались несовместимостью их как разных типов ученых. Соколов много лет провел в Московском областном педагогическом институте, где его научный руководитель, В.Р. Щербина, открыв в своем студенте, а затем аспиранте недюжинный дар стилиста и редактора, давал ему для обработки свои научные труды. Учитель и ученик так притерлись, что нередко Соколов вписывал свой текст в сочинения руководителя. Все шло отлично, и все-таки Александр Николаевич нервничал. Еще до пединститута он блестяще, среди первой десятки выпускников, окончил Московскую духовную академию. Снабдив его исключительными для того времени знаниями, духовная академия портила ему биографию и сообщала всем его завоеваниям некую мнимость. Точивший его изнутри страх делал его изоэрен-

* Текст речи, произнесенной на заседании кафедры теории литературы 18.12.1992 года. Запись Л.Я. Давтян, примеч. Л.В. Чернец.

ным, гибким, уязвляющим. Блестящий эрудит в области философии, Соколов не обладал такой же концептуальностью мышления. А Геннадий Николаевич был самостоятельно мыслящим, ясным, прямым. В ифлийские времена после Г. Лукача и М.А. Лифшица он был лучшим нашим философом. (Кстати, как позже выяснилось, Геннадий Николаевич чувствовал подспудную неуверенность своего постоянного оппонента. Когда Соколова не стало, он сказал: «Мне всегда было жаль Александра Николаевича: духовная академия искорежила ему жизнь».)

И вот, помнится, как-то в ответ на реплику Соколова Геннадий Николаевич возмутился: «Почему вы позволяете себе называть меня механицистом?» Это прозвучало резко. Слишком резко и громко. И в наступившей тишине не менее громко прозвучал голос секретаря факультетского парткома П.Ф. Юшина: «Хватит! Необходимо, чтобы на факультете была кафедра теории литературы. Создадим. Есть кандидаты!» Юшин был человек импульсивный, необыкновенно приятный и вместе с тем крайне неорганизованный. Он развил бурную деятельность. Нажали туда, нажали сюда, потом опять нажали, нажали, как у нас водится, и выжали: сформировали кафедру теории литературы с Геннадием Николаевичем во главе.

Но всего этого могло и не быть, если бы в 1949 году, в разгар борьбы с космополитизмом, Пospelов был бы изгнан из университета с нелепым ярлыком «компаративиста на службе у космополитов». А он был от этого на волоске¹. В своих лекциях Геннадий Николаевич тогда часто ссылался на труды А.Н. Веселовского, это привлекло внимание Московского комитета, выискивающего еретиков в университете. Была создана специальная комиссия (тогда все комиссиями увлекались), возглавляемая категоричной и весьма воинственной, но малокомпетентной в

¹ См. статьи в «Литературной газете», содержащие резкую критику взглядов ученого: «Особое мнение профессора Г.Н. Пospelова» В. Новикова (1947. 15 окт.), «Псевдонаучные заметки» Е. Ковальчик (1949. 28 сент.).

литературоведении партийной дамой. Геннадий Николаевич, вышедший из переверзианской школы, никогда компаративистом не был, и у Веселовского его как раз интересовала теория самозарождения сюжетных мотивов, противостоящая теории их заимствования¹. Но об этих тонкостях комиссия не подозревала. Ей нужна была достаточно крупная фигура в качестве «козла отпущения». Партийная дама обрушила на Е.С. Ухалова свою патристическую гневливость. «Я знаю, за что вы его держите, – выговаривала она нашему секретарю, – вы его держите за то, что он у вас самый умный!» Почувяв за всей той страстностью стремление выслужиться, Ухалов начал по-своему выгораживать Геннадия Николаевича, хотя область научных интересов Поспелова была для него *terra incognita*. Надо сказать, что партторг Ухалов был предан Октябрьской революции не по долгу службы. В Гражданскую войну он партизанил, колчаковцы дважды водили его на расстрел, он много претерпел, лишился глаза. Ему было ясно, что студентам нужнее высокоумный и требовательный Поспелов, чем амбициозная комиссия. Сначала он настоял на том, чтобы Поспелов довел учебный год до конца. Когда же в конце года его вызвали на проработку в МК (а может, и в ЦК, не помню точно), он возмутился и начал протестовать: как? он более полугода работает с Поспеловым, перевоспитывает его, тот уже начал признавать свои ошибки, и его сейчас снимать? Это означало бы лить воду на мельницу врага! Такова примерно была логика его рассуждений... И ему удалось отстоять Поспелова, хотя сам Геннадий Николаевич не подозревал об этом, считая себя преследуемым, а не воспитываемым. (Я уверен, что Ухалов нашел бы способ отстоять и А.А. Белкина, если бы тот так неожиданно не перешел на факультет журналистики.) Ухалов обладал здравым умом и золотым

¹ См. статью Г.Н. Поспелова «О сюжете и ситуации» (Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. 1948. Вып. 7). Перепечатана в его книге: Вопросы методологии и поэтики. М., 1983 (С. 179–181 – о теории А.Н. Веселовского).

сердцем. Для него был важен человек в целом. Зная, что Поспелов был учеником В.Ф. Переверзева, который входил в состав ЦК меньшевиков, он и его, должно быть, считал меньшевиком, но отстоял, потому что действовал не по букве, а для пользы дела.

На самом деле Геннадий Николаевич никакого отношения ни к меньшевикам, ни к большевикам не имел. Он был учеником Валериана Федоровича Переверзева, крупнейшего в то время литературоведа, наиболее последовательным, но не самым любимым. Любимым был живой, непосредственный, увлекающийся Ульрих Фохт (мы его, посмеиваясь, между собой звали «апостолом Иоанном»). Ко всем выступлениям и высказываниям своего ученика Геннадия Поспелова В.Ф. Переверзев относился очень внимательно. Ученик был более последовательным в своих логических построениях, чем учитель. Чувствуя это, Валериан Федорович не упускал случая подчеркнуть: «И все-таки схоластического у него много». Как-то, обращаясь к Поспелову, он сказал: «Есть еще эстетическая сторона, Геннадий!» Эстетическую сторону произведений Геннадий Николаевич осмыслял в середине своей жизни.

Сейчас судят о Переверзеве по его книгам. Я же знал его лично и помню, какого огромного ума он был человек. Отношения между учеными тогда были очень непростыми. Я, будучи аспирантом Валериана Федоровича и увлекаясь древнерусской литературой, посещал два семинара – Переверзева и М.Н. Сперанского. Как-то, возвращаясь после занятий по Мертвому переулку с Михаилом Несторовичем и заметив Валериана Федоровича, я поздоровался с ним. Однако мои профессора прошли мимо друг друга, как незнакомые. Это меня поразило. «Михаил Несторович, – спросил я, – отчего Вы не поздоровались с Валерианом Федоровичем?» – «А Вы отчего поздоровались?» – «Как же, он мой научный руководитель, я хожу на его семинар». – «Тогда не посещайте мой. Ваш Валериан Федорович – меньшевик!» Когда с тем же вопросом я обратился к Переверзеву, то получил анало-

гичный ответ: «Тогда не ходите на мой. Ваш Михаил Несторович – кадет!»

Сейчас очевидно, что вульгарный социологизм не тот скальпель, который годится для работы с художественным произведением. Но в ту пору, когда все бредили марксизмом, нам всем – и старым, и молодым, и совсем юным – нужна была система взглядов, которая объясняла бы все, все ставила бы по своим местам. И все приняли вульгарный социологизм за марксизм, и в первую очередь его основатели. Переверзев был очень горд поддержкой Плеханова. Факты, факты, груды фактов – это уже давно никого не устраивало. «Пушкин годится для тех, кто принадлежит к его классу!» Как за это схватились! Д.Д. Благим была написана книга «Социология творчества Пушкина», причем талантливо написана. (Иногда кажется, что, если филологу заказать, он напишет что угодно и докажет, что белое – черное, а черное – белое.) А потом произошел кризис. Социологическая теория, может быть, еще и продержалась бы, но была дана команда сверху: «Не годится!» Причем эта команда исходила не из своеволия и глупости, просто при социологическом подходе многие художники слова выпадали из литературы. Оставался в стороне граф Ал. Толстой или, скажем, такой талантливый стилист, как Пантелеймон Романов (его до сих пор не изучают, очевидно по забывчивости). Что тут началось! Большинство принялось каяться. Другие же перекрасились и стали гонителями вульгарных социологов. Валериана Федоровича отправили на казенный счет на «экскурсию» за колючую проволоку. (Кстати сказать, Михаил Несторович поехал в том же направлении, но не смог вернуться. Бывших антагонистов постигла одинаковая участь, для властей они были явлениями одного рода.) Что же делал Геннадий Николаевич? Он не каялся. Его разжаловали, но помиловали – дали чиновничью должность районного методиста. Что ж, сын инспектора народных училищ, он стал пунктуально исполнять свои новые обязанности. Когда

кляп изо рта вынули, он стал вновь читать лекции, а затем и писать. Для себя (не публично!) Геннадий Николаевич подверг критическому анализу теоретическую систему взглядов В.Ф. Переверзева, школу которого он прошел, и в процессе этого переосмысления стала складываться его собственная оригинальная система, которую он разрабатывал и шлифовал в течение многих лет¹. Среди многих воспоминаний, которыми хотелось бы поделиться, есть одно, особенно дорогое для моей памяти. Я любил ходить на концерты. И любил ходить один. Как приятно идти после концерта по ночным улицам молча, а музыка еще звучит, ты весь переполнен ею. И вдруг после концерта Константина Николаевича Игумнова в фойе консерватории я встречаю Геннадия Николаевича. Спрашиваю: «Вы один?» – «Один. А Вы?» – «Я тоже». Ну, и пошли в сторону Никитских. Так было несколько раз, и всегда на концертах Игумнова, несравненного Игумнова. Геннадий Николаевич был очень тонким музыкантом, прекрасно играл на фортепьяно. Музыкай был полон его дом еще и потому, что обе его дочери – музыкантши: одна пианистка, другая виолончелистка. Мало кто знает, каким разносторонним и интересным человеком был Геннадий Николаевич, например, что он хорошо разбирался в астрономии.

Я знал Геннадия Николаевича шесть десятилетий. Впервые увидел, когда ему было менее 35 лет, он «набирал высоту» после разжалования и читал нам, студентам городского пединститута, лекции по истории русской литературы XIX века. Слушал я его и в ИФЛИ, и в университете. Здесь, в самом начале 50-х, вслед за собраниями, призванными искоренить в его лице космополитизм, он подряд читал введение в литературоведение, историю русской литературы XVIII и XIX веков, теорию литературы,

¹ Критический анализ взглядов В.Ф. Переверзева см.: Поспелов Г.Н. Методологическое развитие советского литературоведения // Советское литературоведение за пятьдесят лет: Сб. статей / Под ред. В.И. Кулешова. М., 1967. С. 28–37; и др.

из года в год вел семинары по творчеству Тургенева, Некрасова, читал спецкурс «Гоголь и натуральная школа». «Теперь я вижу весь процесс», – сказал он с удовлетворением. Это был его «звездный час».

Он обладал постоянно обогащающимся сильным интеллектом. И этот интеллект был красив. Убежденный в истине своих высказываний, Геннадий Николаевич всегда был самым собой: и тогда, когда наотрез отказался подписать письмо против А. Синявского и Ю. Даниэля¹, и тогда, когда не согласился с трактовкой М.М. Бахтиным полифонического романа Достоевского, с его утверждением, что голоса концептуально мыслящих героев равны авторскому². Что ж, так он думал, а следовательно, и действовал, и высказывался.

Когда мне доводится читать курс по истории русской филологической науки, я всегда говорю своим студентам, что место Геннадия Николаевича Пospelова рядом с А.А. Потебней и А.А. Шахматовым. Он создал цельное учение, свою предельно развитую и законченную теорию литературы. Эти ученые оставили свет. Пока Россия во мгле, но я уверен, придет время, когда книги Г.Н. Пospelова обретут новую остроту. Мертвые живут, как живые, пока живут их идеи.

¹ Опубликовано под заглавием «Нет нравственного оправдания» в «Литературной газете» (1966. 15 февр.).

² См. рецензию Г.Н. Пospelова на книгу М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (1963): Преувеличения от увлечения // Вопр. лит. 1965. № 1.

«Я ЧАСТО И БЛАГОДАРНО ВСПОМИНАЮ...»*

Перелистывая страницы жизни, я невольно вспоминаю лица людей, близких мне и далеких. Все это тянет за собой подробности быта, ту самую тину мелочей, которой каждый из нас окутан. Но здесь же и крупнейшие исторические потрясения, действительными лицами и статистами которых мы были.

Я часто вспоминаю моего благодетеля (другого слова для него я не нахожу), который на протяжении многих лет был для меня другом и Аристархом, путеводителем в мире неизведанного. Это было в 30-е годы прошлого века, когда мне удалось наконец поступить в Институт повышения квалификации преподавателей. Он недолго так назывался и через полгода был преобразован в Московский городской педагогический институт (позднее, он получил имя В.П. Потемкина, а потом его благополучно слили с Ленинским пединститутом, то есть МГПИ имени В.И. Ленина). Кафедрой русской литературы там заведовал молодой профессор Александр Иванович Ревякин. Он первым обратил на меня внимание и потом, на протяжении долгих лет, постоянно интересовался моей судьбой и моими успехами.

Никогда не забуду такой эпизод. В те годы я увлекался всем: литературоведением, историей, географией и т. п. Познакомившись с академиком А.Е. Ферсманом,

* Впервые: Островский, Чехов и литературный процесс XIX–XX веков. Сб. статей в память об А.И. Ревякине. М.: INTRADA, 2003. С. 539–541.

мы с моими друзьями отправились на Алтай. Комплексная экспедиция была очень интересной, и результаты ее академику понравились: картографический материал был ценным, мои заметки, по-видимому, тоже чего-то стоили, а рисунки Игоря Константинова были прекрасно исполнены и даже участвовали затем в выставках. А. Каменский получил рекомендацию от академика для поступления на геофак МГУ. В то время поступить в высшее учебное заведение было очень трудно. Ферсман и мне предлагал рекомендацию, но я сказал, что меня увлекает литература, а не география, и этнографией я интересуюсь как частью фольклора. Ученый посетовал, и мы разошлись.

Помимо жизненных, этнографических знаний, с Алтая я привез и целый ряд заболеваний. В то время я уже был студентом II курса, страстно увлеченным идеями историко-литературных построений. И единственный человек, с которым я мог делиться своими мыслями, был Александр Иванович Ревякин. Часто я провожал его домой после лекций, и наши беседы были для меня чрезвычайно ценны. А.И. Ревякин вводил меня в курс большой науки.

Однако здоровье мое все ухудшалось. Необходима была госпитализация. Я лежал в клинике Е.Е. Фромгольда, но улучшений не было. Профессор не хотел согласиться с предположительным диагнозом: туберкулезный перитонит, зная, что это не лечится. И вот в это самое время, когда я там медленно умирал, дверь отворилась – и вошел А.И. Ревякин. «Что случилось? Я не вижу Вас на лекциях целый месяц, наконец, узнал, что Вы больны, и сейчас же приехал». Прочитав мой диагноз, он сделался мрачным и все время повторял: «Вы только поправьтесь, только поправьтесь. Я обещаю сделать Вас своим ассистентом».

Время шло... Я поправился, вернулся в институт и вновь стал посещать лекции профессора А.И. Ревякина. Он читал все: и теорию литературы, и XIX век. Будучи

человеком увлеченным, он вместо двух часов часто мог прочитать и три. Этот особый азарт ученого передавался аудитории. Он любил дело, которым занимался.

Я посещал Александра Ивановича и дома. Жил он тогда в довольно стесненных квартирных условиях. Небольшой кабинет был весь уставлен стеллажами, наскоро сколоченными и заполненными множеством книг. Одна из полок была заставлена журналом «Земля Советская». Редактором и непременным автором многих статей этого издания А.И. Ревякин был в 1929–1931 годы. Однако очень скоро журнал был закрыт, а его ведущий автор был объявлен кулацким критиком. Меня интересовало направление этого журнала и произведения тех писателей, которые там печатались: С.П. Подъячев, В.М. Бахметьев, А.А. Демидов. Александр Иванович не любил говорить об этом времени, но его иногда прорывало, и он с вдохновением начинал рассказывать о значении крестьянской литературы для русской жизни, о трудах, успехах и неудачах «сеятеля и хранителя». «Подумайте, это та самая Россия, которая веками создавала материальную и духовную сущность страны; это – народная жила, которая питала огромную Россию. И неужели это явление не заслуживает своего журнала, специального изучения?»

А.И. Ревякин принадлежал к той интеллигенции, которую по праву можно назвать народной, вышедшей из самой глубины русской жизни. Он обладал счастливой способностью понимать, как эта народная стихия растила, кормила и оплодотворяла национальную идею России. Поэтому его лекции по литературе XIX века были наполнены не только теоретическими рассуждениями о классицизме, романтизме, реализме, патриотизме, но и всепоглощающей идеей народности. Его мысль всегда была яркой, ясной, раскрывающей глубину его философских раздумий.

А.И. Ревякин прочитал колоссальное количество книг. Как ученик П.Н. Сакулина, он старался перелопатить

тить все, что было создано в литературоведении и педагогике, и в то же время он был очень современен. Всякая новая работа вызывала у него моментальный отклик, что находило реализацию в статье, отзыве, в лекциях.

Он, как никто другой, понимал, что сила России не в нефти и газе, а в земле. По сути, в науке А.И. Ревякин был поэтом земли, и в этом смысле мне трудно найти для него другой – параллельный или сопутствующий – образ.

ИСТОРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ЗА 60 ЛЕТ*

Мне очень хотелось бы рассказать, как факультет жил 60 лет. Вот смотрю на аудиторию и не нахожу уж тех людей, которых помню много лет на факультете. Люди уходят. Одни – по естественным причинам, другие – по лености, по болезням, как угодно... Так вот. Тот факультет, который мы знаем как «филологический», возник из ИФЛИ. Обстоятельства были таковы, что в 1919 году историко-филологический факультет Московского университета был ликвидирован. Он считался реакционным. Это было на самом деле именно так. Многих из профессоров этого факультета я знал, когда был мальчиком. И не стало в стране факультета, который бы готовил специалистов-филологов для высшей школы. Вся филологическая жизнь после ликвидации историко-филологического факультета переместилась в пединститут. Радциг, Попов работали в пединституте.

Наконец сообразили, что нужно готовить кадры для высшей школы. Вот для этого был создан Институт филологии, литературы и истории (ИФЛИ). И наш филологический факультет – наследник ИФЛИ, потому что от «старого» историко-филологического факультета ничего и никого не осталось. Был лишь один преподаватель, профессор Петерсон, работавший приват-доцентом на старом факультете. Он еще знал профессоров Грушку, Хвостова,

* Последняя публичная лекция. МГУ, Пушкинская гостиная. 2002.

о которых мне рассказывал. Но в ИФЛИ пришли уже другие люди.

Создать историко-филологический факультет было поручено Карповой, сестре крупного партийного работника, которая носила псевдоним «Большевичка». Она была женщина образованная и сумела собрать тех, кого еще можно было собрать. Среди таковых Соболевский, Покровский и целый ряд гимназических преподавателей. Среди нас теперь ифлийцев осталось всего трое: ваш покорный слуга, П.Г. Пустовойт и В.И. Кулешов.

60 лет прошли совершенно незаметно... Я начинаю с момента возникновения этого нового факультета, то есть старого факультета в новых условиях. Новый филологический факультет тоже был создан «по приказу свыше» — догадались, что одного ИФЛИ мало, нужен именно университет. Администрация ИФЛИ, как, например, последний его ректор, Илья Саввич Галкин, был очень доволен, что может быть ректором университета! Когда было объявлено о начале историко-филологического факультета, это был 42 год. Ни кадров, ни студентов не было, работники ИФЛИ эвакуировались, студенты тоже частично ушли в армию, частично эвакуировались. По существу, приказ начать занятия был отдан, а с кем и кому заниматься, было неизвестно.

В то время упала бомба на главное здание, разбила вдребезги актовый зал. Но в газетах было напечатано, что Московский университет приступил к занятиям, филологический факультет работает в полную мощь... А мощи то и не было. Самым любопытным было то, что никто не хотел быть деканом. Наконец уговорили преподавателя с кафедры древних языков. Он говорил, что не может, что «не административный человек». А ему говорили: «Ничего. Мы вам поможем». — «Да я и ходить не могу» — «И не надо. Сидите на месте». Таков был первый декан...

Свято место пусто не бывает. Потребовали, чтобы декан был не только умеющим сидеть, но чтобы мог и ходить. А кто? В Москву в то время въезд был возможен толь-

ко по вызову. Стали «смущать»: кто пойдет на место декана, тому будет дано разрешение на въезд в Москву. И это плохо действовало. Почти не действовало. Университетские люди, находившиеся в эвакуации, достаточно наездили. Сначала – в Ташкенте – многие умерли от жары, потом переехали в Свердловск – там много умерло от холода. Предпочли сидеть на месте. Наконец было предложено деканство Григорию Осиповичу Винокуру – это замечательный человек, очень интересный ученый! – который ответил согласием, но предупредил, что у него блуждающий тромб, и в каждую минуту он может умереть. «Неважно, – говорят, – работайте, пока живы». «А потом, – говорит, – у меня нет часов, я буду опаздывать». Часы достали. Вернули ему квартиру на Арбате. Он приехал и был доволен, что опять в Москве. Винокур – очень талантливый лингвист. Как он сам себя называл, «ушаковский мальчик»; я теперь почти никогда не слышу это словосочетание. А тогда оно было весьма широко распространенным: вокруг Ушакова, замечательного знатока русского языка, группировались молодые люди (среди них был и А.А. Реформатский). Мне посчастливилось иметь дело с этим человеком. Он был не только замечательным лингвистом, но и благороднейшим человеком. Я бы мог привести такой пример. Наверху в какой-то момент поняли, что нужен новый словарь современного русского языка – сколько событий-то произошло! Война, революция... Ушакову предложили, чтобы он создал коллектив, который бы занялся составлением такого словаря. Вы знаете, как он ответил? «Я не могу без В.В. Виноградова. Виноградов в ссылке – верните его – и мы составим словарь». Вы представляете мужество этого человека?! Это период очень жестоких сталинских преследований – летели и те, кто виноват, и те, кто не виноват. И что вы думаете? Слово Дмитрия Николаевича было настолько весомо, что Виноградова сейчас же вернули из его первой ссылки.

Я помню, как на аспирантском объединении (мы пригласили тогда Ушакова) стали обсуждать социалисти-

ческие обязательства: у каждого обязательно должно быть не менее двух статей, выполнить во что бы то ни стало! Ушаков же ответил так: «Я плохой здесь судья... По-моему, торопиться не надо: если в голове нет ничего, то не надо никаких статей. Нужно ждать, когда что-то в нее придет. Вот когда надумаете, тогда и напишете». – «Но мы с этим не можем согласиться, Дмитрий Николаевич». – «Да я ни на чем не настаиваю»... К несчастью, он погиб во время эвакуации: возраст не выдерживает тех «температур», природных и социальных, которые ему пришлось пережить. А «ушаковский мальчик» Винокур у нас читал текстологию. Вы знаете, что он нам сказал: «Я хорошо не знаю, что такое текстология, я могу только объяснить, что значит это слово, “текстология” – текст и... разумное его чтение». Текстолог – это особая одаренность. Их – так же немного, как поэтов. Я знаю только одного текстолога – это Бонди, он очень хорошо читает Пушкина. Для него не существует нераскрытого, зашифрованного Пушкина. Во многих книгах очень хорошо написано, что такое текстология, но те люди, которые так хорошо объясняют, – сами не могут читать тексты. Это не только наука о почерках, но особое качество человеческого характера, человеческого глаза.

Григорий Осипович был настолько обаятельный человек, что при всем критицизме к текстологии, который у меня тогда был, я должен был все прочитать. И когда я пришел к нему и сказал: «Я прочитал и то, и то, и то, но все-таки не усвоил, что такое текстология», он ответил: «Не беспокойтесь, я тоже не усвоил. Пусть она существует, она никому не мешает, а во многих случаях даже помогает, когда попадает к одаренным людям».

Григория Осиповича Винокура на посту декана сменил Николай Каллиникович Гудзий. Это был декан «с часами» и с характером, и с огромным «рвением»: как человек энергичный, он считал, что все может сделать. И действительно много сделал. Галкин ему поручил филологический факультет и велел сделать факультет таким,

каким он был в 1900-е годы. «Сделаешь – дам квартиру». Это был их обычный прием: за квартиру надо было работать. Гудзий получил квартиру... но куда позднее! Галкин свое слово сдержал.

Уже все возвращались из эвакуации, потянулись преподаватели... А мест нет. Ведь в то время, когда был отдан приказ о создании филфака, занятия велись теми людьми, которые случайно остались в Москве. Прочие же оказались не у дел. Очень большая была трагедия в полном смысле слова! Еще была проблема. Гудзию надо было отправлять людей на трудфронт. А кого отправлять? Вы знаете, что наш факультет юношами никогда не славился, как назвал его один драматург – «факультет невест». Были и юноши, которые не выражали особого желания сейчас же ехать на фронт. Галкин отдал приказ: «Того, кто не едет, под суд, сейчас же». Николай Калинин должен был выполнять эту прокурорскую роль. Комизма здесь было больше, чем трагизма. Девчонки плакали, мальчишки ссылались на болезни. Если бы только ссылались! Какие были мальчишки! Я помню одного мальчику: у него не двигалась правая рука и левая нога. Кроме того, он был весь перекошен. Гудзий ему говорит: «Вы должны ехать на трудфронт, получайте путевку». Тот ее держит, вертит, спрашивает: «Когда и куда?» Гудзий обращается ко мне: «Что нам с ним делать?» Я говорю: «Отправить работать в поликлинику, вот и все, это же тоже трудфронт»... В поликлинику пришлось отправить многих.

А время было тяжелое. Рабочие руки были необходимы. Много было казусов. Учился один аспирант. Теперь он доктор наук, процветает. Вот Гудзий ему говорит: «Марк, ты должен ехать». – «Нет, я не поеду. У меня диссертация». – «Иди объясняйся к Галкину». Приходит: «Профессор Гудзий прислал меня к Вам сказать, что я не поеду. У меня крупная научная работа. И уже есть научные заслуги». Надо сказать, что Галкин был человек решительный и не без административного опыта – он был приказчиком в именьице Реформатского, бывшего инте-

ресным культурным центром. Галкин вспылел: «Не поедешь? Обрить его и в изолятор». Его моментально обрили и отправили. Но потом выпустили. Бритым Марк ходил довольно долго, и ни у кого уже не было желания как-то уклоняться от трудфронта. Конечно, я, наверное, должен был бы говорить о том, что это был героический период, что все хотели на трудфронт, бежали, подавали заявления, — ничего этого не было. Было то, что я вам говорю. Да на этом фоне! Вы знаете, о каком фоне я говорю: ведь немец стоял под Москвой, в Кунцеве, и бросал плакатики:

Милые дамочки, не ройте ваши ямочки.

Мы скоро к вам придем и радость принесем.

А дамочки рыли ямочки, ставили надолбни и ждали подмоги... И наконец пришла Панфиловская дивизия! Тогда и университет вздохнул. И студенты появились. Гудзий сделал свое дело. Как мог.

Он не был администратором. Он был чудный человек, знаете, насколько хороший? Помню, я с ним повздорил, может быть, даже обидел. Я ему сказал: «Николай Каллиникович! Вам будет очень тяжело после этого разговора, Вы будете извиняться!» Он говорит: «Простите! Ради Бога! Я сейчас извиняюсь». Вот его характер. А вообще он был вздорный, вспыльчивый хохол... А как он любил факультет, любил университет. Его заветная мысль осталась неосуществленной: он очень хотел оставить по себе память на факультете. До сих пор на нашей кафедре висит портрет Гудзия, существует его бюст. Но после его смерти бюст бросили. Никому не нужен ни его портрет, ни бюст. В. Кусков притащил бюст. «Что, — говорили, — здесь кладбище что ли?» Долгое время он стоял в одной из комнаток, пока не догадались поставить в деканате. Гудзий всячески старался увековечить свою деятельность. Редко можно встретить человека, который, будучи награжден всякими учеными регалиями, понимал, что он недолговечен как ученый. Гудзий принадлежал именно к этой когорте. И чтобы оставить по себе добрую память, он обратился в министерство с просьбой, чтобы университет

открыл стипендию его имени: в это время много переиздавали его учебник, деньги были, и эти все деньги он отдает в университет. Проценты давали бы ежегодно такую сумму, на которую студент может существовать. Благородно, а? А какой был ответ? Нельзя допустить капиталистические формы обогащения. Мне кажется, что по этическим причинам это в высшей степени несправедливо, что Гудзий забыт, мы к нему не обращаемся. А ведь сделал-то он немало: Гудзий возродил древнерусскую литературу в высшей школе. Древнерусская литература в высшей школе не преподавалась! На пятом курсе, как дополнение: тогда другой был порядок – на 1 курсе советская, на 2-м XIX, на 3-м XVIII век. Он же добился, чтобы ему дали возможность прочитать курс в Высшей партийной школе. Мы уже сейчас не знаем, что такое ВППШ. Это, в сущности говоря, аппарат: там готовятся кадры, которые управляют государством, то есть получают инструкции из ЦК и свято их проводят.

И вот наш Гудзий в ВППШ читает курс древнерусской литературы. И доказывает, что идеи социалистические, коммунистические, идеи всемирного братства заложены здесь, только здесь – в национальной русской литературе, которая сыграла «революционизирующую» роль в сознании народа. Ну что?! Те-то подумали: «Да! А ведь это можно использовать, с помощью этого можно управлять». Все! Курс в ВППШ прочитан, а следовательно, его нужно читать и в вузах – вот где памятник Гудзию! Он открыл древнерусскую литературу в то время, когда она была закрыта.

Он не пользовался большим уважением у ученых, он не знал греческого, плохо знал латынь и иностранные языки. Киевский провинциальный университет, в котором он учился, был одним из худших университетов (лучшие были – Петербургский, Московский и блестящий Казанский, конечно). Родители его хотели, чтобы он был врачом – независимая и выгодная специальность. Но этот молодой человек решил по-другому: он приехал в Москву для того, чтобы защищать магистерскую диссертацию, без

гроша в кармане. А как жить? Надо поступать учителем в частную гимназию. То есть надо быть любезным, находчивым, красивым, галантным. Он и был необыкновенно галантен по-своему, то есть, не получив светского лоска, будучи в сущности демократом до мозга костей, он очень любил шаркнуть ножкой, целуя руку дамы, а иногда и девушки, без разбору, не понимая, что это неприлично! (Руку по правилам хорошего тона раньше позволялось целовать только замужним дамам). А все-таки он был обаятелен! И даже такая красавица, как Валентина Александровна Дынник (ее имя тоже исчезло из нашего оборота, а она когда-то блестяще читала курс западной литературы) называла его: «Самый любезный и самый красивый урод в Москве». В дни юбилея филфака меня постоянно коробило то, что о Гудзии не было сказано. Нельзя, чтобы имена людей уходили в песок. Это наша история. Факультет – это часть университета. Университет – это государство. Государство – это мы... или вы.

На смену Николая Каллиниковича пришел новый декан. Это был Виктор Владимирович Виноградов. Гудзий был очень доволен, но... он говорил: «Подождите, он сперва поссорится с вами, а потом перессорит всех». Виктор Владимирович пришел в очень удачное время. Почему удачное? Иногда отдельные слухи, оговорки, случайности дают необыкновенно ценный материал для поворотов истории. Я помню, в то время Крючок (так называли автора знаменитого учебника русского языка Крючкова) преподавал русский язык в Военной академии. Не удивляйтесь. Тогда наблюдалась одна очень интересная тенденция: вождь всех народов считал, что нужно всех учить, и страна была поглощена учением. Были различные политические кружки, разнообразные занятия так должны были поглощать, чтобы некогда человеку было держать в голове «завиральные» идеи. А Виктор Владимирович отличался злоязычием. И без разбора. За это злоязычие он и поехал в «места не столь отдаленные». А так как Крючок учил всех генералов, то имел право сказать: «Надо гра-

можно писать, Вы, Ваше превосходительство, много ошибок делаете. Разве Вас можно поставить рядом с царским генералом?» «Ученик» отвечал: «Нельзя, но я исправлюсь». Как бы человек высоко ни сидел, как только он попадает во власть педагога, педагог может делать с ним все что угодно. И поэтому у Крючка установились добрые отношения с генералитетом. Спросили его как-то: «Ну, что тебя сокрушает?» – «Моего учителя упекли». – «Взяли бы да обратились с письмом к самому главному», – говорят. «А через кого?» «Это уж наше дело. Мы сумеем. Нас учишь писать, так сам напиши». Крючок не только сам написал, но и подписи собрал. Подписал Шамбинаго, известный стиховед. Кстати, Шамбинаго был жуткий пьяница, но такой, что выпьет литр водки – и «ни в одном глазу», а рассуждает как! Вот Крючок попросил подписи. Шамбинаго говорит: «Конечно, подпишу. Но нужно набраться храбрости». «Храбрость» не замедлила явиться. И так Крючок обработал несколько человек. А генералы отнесли куда надо. А ситуация была такова, что наверху жесткую политику по отношению к гуманитариям в тот момент хотели несколько скорректировать. Вовремя все подоспело! Виноградова вернули. И не только его, и многих других. Но наша политика – это в духе России – не останавливаться на полпути.

Надо сказать, что Виноградов имел смелость на допросах своему следователю доказывать, что он самый умный человек в России, что умнее и образованнее его нет. А в тот момент наверху созрела мысль: показать, что Россия, Советский Союз – это европейский центр. И вот на Виноградова посыпались милости: его сейчас же сделали действительным членом Академии наук. Виноградов – декан филологического факультета МГУ. Виноградов – декан филологического факультета университета в Ленинграде. Виноградов – главный редактор нескольких филологических журналов, Виноградов – руководитель талантливой молодежи, некоторые сейчас сидят против меня. Но быть зоилом тяжело! Его скептицизм, его мизантро-

пия через два года всем надоели. А ведь какой был размах – «всемирный»: ему дают одну квартиру, другую, третью!.. А в кабинете русского языка в МГУ и по сей день висит портрет Виктора Владимировича – в центре! Не так, как у нас Гудзий на кафедре русской литературы, где-то там, над диванчиком! Почему? Хотя он формалист (но теперь, конечно, это неважно), он один из самых крупных ученых того времени. Другое поражает! Где его школа? Ученики-то его физически остались, но в душе Виноградов претендовал именно на «виноградовскую школу», на господство в умах, в логике, в слове. Да... Это был очень яркий период и, безусловно, всколыхнул университетскую жизнь. Но как вам сказать? Те, кто наделены очень большой властью, всегда оказываются во власти власти. И в вопросах кадров Виноградов оказался очень уступчив. Например, «освободил от педагогической работы» дочь Айхенвальда, предоставив возможность только академической – в Институте русского языка. У меня с ним не было никаких отношений. А иногда он меня «не замечал». Может потому, что понимал, что я знаю Москву и ее людей, и отцов, и дедов, и внуков, кто где жил, где крестился и женился, я здешний уроженец – неприятный я человек! Со мной был такой казус. Я тогда был замдекана по заочному обучению. А кадры тогда были в распоряжении «местной» администрации. Нет специалиста по диалектологии. Я нашел интересного диалектолога, профессора Валентина Галанова, составившего диалектологический атлас. Я спрашиваю Богоявленского (был такой классик): кто может быть по диалектологии? Он говорит: «Самый лучший профессор Галанов. Он недавно вернулся из ссылки, вас это не пугает?»

– Ну, знаете, чего же мне пугаться? А за что его сослали, он ведь такой безобидный?

– Да такая глупость, он ведь музыкант, у него страсть к регентству. Ну, взяли в стенной газете написали, как его диалектология перекликается с церковным пением, – и он уехал в ссылку, правда, всего на год.

Только я принял на работу Галанова, как Виноградов присылает мне на работу аспиранта-диалектолога. Я оставил Галанова – этого мне никогда не простили! Умные люди умеют мстить красиво: прихожу я как-то в кабинет декана, он официально подходит ко мне и говорит: «Очень приятно, Виноградов». А ведь прекрасно понимает, что я его не могу не знать. Вот эти мелочи ранили. Еще один случай. Был у него замдекана Ухалов – и действительно, самое настоящее «ухало»! Расскажу сначала о нем. Как-то пришел ко мне проверять практические занятия по древнерусской литературе. Внимательно слушал, потом спросил: «Чему ты их учишь?» – «Читать и понимать текст» – «Это каждый дурак умеет». Я говорю: «Дурак-то, может, и умеет, а вот умный не разумеет». Слово за слово, он мне текст читает, я ему отвечаю, получается дискуссия, я вижу, он человек в псалмах начитанный. Я спрашиваю: «Откуда это у тебя все?» – «А тебе все расскажи?» – «Половину». – «Ну, половину расскажу: я же старообрядец, меня готовили в наставники, все библейские тексты я на зубок знаю, лучше вас». И он действительно знал Писание!.. А все люди тщеславны. И Ухалов тоже. Виноградов ему и говорит: «Вам надо быть не только замдекана, но и профессором. Пора». А тот, бедняга, и поверил ему! И этот наш самый «профессор» мог сказать такую фразу: «Пушкин умер от дуэли». Ведь он был даже образован, но по-своему, и совсем не интеллигентен. Велел Виноградов и дощечку заказать: «Профессор Ухалов». «Чтобы я был спокоен», – говорит. И Ухалов заказал. И повесил. И чувствует себя, бедняга, профессором, и ждет решения, и все на декана Виноградова смотрит, когда тот приезжает. А тот улыбается. Внезапно Виноградов говорит: «Знаете, на ВАКе не удалось вас утвердить профессором, очень многие были против». – «Возвращаться к своему прежнему званию?» – в ужасе спрашивает Ухалов. «Возвращайтесь» – «Яко пес на свою блевотину?» А он холодно: «Именно так. Мы тоже в Писании начитаны».

Следующий декан, Александр Николаевич Соколов, очень интересная фигура. Вот вам образец нашего полного забвения людей ушедших: он написал работу по истории русской поэмы. Кто-нибудь сейчас цитирует эту работу? А ведь это капитальный труд и замечательный. Биография Соколова очень примечательна. Ради хулиганства я однажды стал писать «Силуэты русских профессоров и доцентов филологического факультета». Потом бросил... А его силуэт написал. Александр Николаевич окончил Духовную академию «в первом десятке».

Вам непонятно, что это означает? Академия могла выделить 10 человек, которые получали все преимущества: если идет в монахи – очень скоро епископская кафедра, если остается в Академии, то он профессор и читает тот курс, который назначит Совет. Если он идет в попы, ему самый богатый приход. Наш герой был прекрасным стилистом, замечательным грамматистом, он безукоризненно знал латинский и греческий, очень хорошо немецкий, достаточно французский. Был музыкантом, владел скрипкой и фортепиано, у него был абсолютный слух. Вот этого Соколова и встретил Виноградов на факультете. А привел его на факультет Еголин, заместитель Агитпропа ЦК! Что это такое, некоторые еще должны помнить: это вся политика и идеология страны. Виноградов «выглядел» Соколова. Конечно, Соколов ему не рассказал того, что никому не рассказывал. Случилась эта самая «беда», как тогда говорили, то есть революция. А на выпускном акте Соколов произнес речь, в которой доказывал, что только самодержавие может спасти русскую православную церковь, только церковь может спасти несчастную Россию. Да написал каким слогом! Ну, а после этого что делать? Конечно, заняться «туризмом», пуститься в бега – к знакомым крестьянам, в хозяйство, в «экономiku»: счетоводы всем нужны, он на счетах – пожалуйста, все что угодно: его отец был рабочим на железной дороге...

Так вот, Виноградов увидел этого господина и попросил написать несколько бумаг «на досуге». На следующий

день Соколов их принес. «Как, уже?» Виноградов прочел: «Гениально. А Вы где учились?». «После Академии я окончил областной пединститут, закончил аспирантуру и был рекомендован в докторантуру». – «Так Вам надо скорее защищать докторскую». Соколов ее защитил. Блестящая диссертация! Виноградов решил: «Лучшего замдекана мне не нужно». Александр Николаевич стал замдекана. Потом Виноградов решил: «Замдеканства вам мало, вы должны заведовать кафедрой русской литературы». И вот здесь он может упиться властью, сколько угодно: он ходит по урокам, слушает, как читают латынь и греческий, русскую словесность. Он слушает лекции социолога «до мозга костей» Г.Н. Пospelова, ученика Переверзева. И понимает, что все бегут его слушать, потому что у него система, у него концепция. Для Соколова все выводы этой системы «неверны», но системы нет у других! И Соколов задумывает объявить свой курс теории литературы. Соколов не был речист, он не был оратором – он был логист, необыкновенный, трогательный, живой, чего нельзя было найти в Пospelове. Вот «добродетель Соколова». Он насладился славой и успокоился: позже отказался от деканства, отказался от заведования кафедрой. Однажды я у него спросил: «Ну что, уже насладились всем этим?» – «Да, – говорит, – сполна. Знаете что, и это, и все, радио, и телевидение – это так скучно...» Ну, да я вас утомил порядком...

А следующий декан был (тоже ученик Виноградова) Роман Михайлович Самарин. Приехал из Харькова тоненький-тоненький, как точеная трость. В Москве отъелся и стал похож на бочку. У него были очень трудные проблемы: он считал необходимым делать себя проводником марксизма-ленинизма, каковой, кстати говоря, знал плохо. Он был учеником, и хорошим учеником, Александра Ивановича Белецкого, известного еще до революции харьковского профессора-словесника, ставшего позже видным советским академиком. Самарин обладал хорошей речью и оратором был замечательным. Отец, Михаил Самарин, прекрасный филолог, дал ему прекрасное гимназическое

образование, Роман был полиглотом. Когда немцы пришли в Киев, отец не успел уйти. Роман убежал, а тот оставался и продолжал работать в Киевском университете, который немцы не закрывали. Это, конечно, было пятно! И Роман понимал, что ему будет трудно жить с этим пятном, и решил быть «проводником» марксизма. В управлении факультета ничего особенного не сделал, только опирался то на Белецкого, то на Виноградова, потому что Виноградов очень считался с Белецким. А.Ф. Лосев называл Белецкого «маленьким Веселовским» – тот действительно очень много знал, но так и не оставил ничего капитального. Роман Михайлович помер рано, обуреваемый всякими страстями житейскими, деканское место опять оказалось пустым...

Что делать, как быть, кого посадить на это место? Надо найти временно исполняющего. А кто же согласится быть «временным»? Ну, а у нас есть молодой доктор – Кокорев. Он, конечно, не очень молод, но доктор молодой. Ему-то и предложили, но с некоторой долей сомнения: сможет ли? «Ну, что, – говорит, – я могу. Я все могу. Как хорошо – сесть в это кресло!» Ну, а делалось им что, принцип-то какой? Что секретарь принесет – то он и подпишет. Так что было это периодом «междоцарствия». А после сего появился декан, который сел в это кресло на долгое время. Это был Алексей Георгиевич Соколов.

Я думаю, выбор был сделан не без участия ректора, Ивана Георгиевича Петровского – человека чрезвычайно умного, чрезвычайно проницательного, прекрасно понимавшего все тонкости управления. Достаточно сказать, что отец его был крупный предприниматель, фабрикант, дорога ему в университет была закрыта. Тогда он поступил в университет... дворником. Дворничал, дворничал, а потом, как человек рабочей специальности, поступил и на рабфак университета, там быстро обнаружили, как он хорошо готовится – его перевели с рабфака на факультет, а на факультете он обнаружил очень большие способности математика, очень скоро его избрали членом-корреспондентом, и очень

скоро стало известно «наверху», что такое Петровский! И, как тогда говорили, «Хозяин» был очень доволен, что университетом управляет беспартийный!

Соколов... Этот жил только факультетом и все знал, что делается на факультете, – от уборщицы до академика. Абсолютно все. Но его всегда смущала одна вещь (я это смущение видел в жизни во многих): я видел, что тайно он боится, что он больше того, что он есть. Ощущение, что «ты не тот, кем называешься», всегда было Алексею Георгиевичу свойственно. Ну, а деканом на самом деле он был замечательным и человеком замечательным тоже. Я ему однажды сказал: «Знаете, какой недостаток у вас есть?» – «Какой?» – «Факультет должен стремиться быть таким, каким был в 1913 году». А он так серьезно ответил: «Я все это сделаю». И действительно пытался к этому приблизиться. А дальше что? Его хотели проводить почти с позором... но этот позор не состоялся: один из членов нашей кафедры¹ выступил и сказал, что «лучше декана, чем Соколов, не было! А что будет дальше – увидим».

А дальше был Леонид Григорьевич Андреев, у которого были самые блестящие планы либерализации. Но он все же немного хотел «бежать впереди паровоза». Роковым оказалось то, что он поссорился с ректором и сам подал заявление об уходе, доказывая этим жестом, что он прав. Но наше время не жестов, а тонкой иезуитской политики! Политика всегда эгоистична и всегда действует в тандеме, иначе она проваливается!

Иван Федорович Волков был деканом спокойным, тихим, и особенно никаких событий не происходило.

«Ходить бывает склизко по камушкам иным, о том, что *слишком* близко, мы лучше умолчим». А как умолчать? Помню я, сидел в кабинете Соколова, который ко мне хорошо относился, который спас мне жизнь, кстати говоря... И вот вбежала какая-то девчонка: щеки красные, пышущие здоровьем! Я смотрю на него и на нее. Разговор короткий. А он – была у него такая манера – ронять слова:

¹ Николай Иванович Либан – (примеч. сост.).

«Ну, как, Марина, справитесь вы со своей работой?» – «Да. Я все сделаю» «Ну что ж, очень хорошо, я учту. Идите». Я спрашиваю: «Кто это?» Он: «Вы знаете, а вы приглядитесь, это очень интересный экземпляр. Это будущий администратор, уверяю вас, ведь это редкое явление, и найти “администратора по природе” очень трудно». Потом я этого администратора встретил у себя на экзамене: она сдавала древнюю литературу и все время путала даты. Я тотчас же вспомнил эту девчонку, только щеки побледнели, но речь хорошая, взгляд ясный. «Какая, говорит, оценка у меня получается?» – «Да что-то около пяти» – «А я бы хотела, чтобы не около, а полностью» – «Будет со временем». Время шло... И эту девушку с пылающими щеками и путавшую хронологию я встретил в коридоре – она шла покорольски, зная свою силу. Первое, что сделала Марина Леонтьевна Ремнева, – поняла, что нельзя держать старших преподавателей в их безнадежном положении. Она поняла, что в спешке наши ученые не успевают получить степень, ведь в старом, дореволюционном университете было очень просто: сдал магистерский экзамен – все, он магистр. И она стала побуждать к написанию научных работ, посылать по возможности многих за рубеж – прекрасная система воспитания. И она поняла и сделала еще одно большое дело: «не единым хлебом жив человек», но все-таки «и хлебом», – и обеспечила хлеб, даже тем, кто уже не мог работать, и детям тех, кто оставил этот бранный мир. Я бы мог много говорить об этом. Но страшно впадать в крайности. Недохвалить – нельзя, перехвалить – нельзя...

Я очень люблю один афоризм: «Всякое безобразие любит свое приличие». А вот мое безобразие забыло приличие – я вас держу уже больше часа. Потому простите меня и позвольте поблагодарить за внимание.

МЕДИЕВИСТЫ*

Когда существа развились,
каждое из них возвращается к своему началу...

Л. Толстой

– Вы как поедете? – голос Николая Ивановича в телефонной трубке звучал немного глухо.

– На метро.

– Прекрасно, это лучший путь. Доезжаете до Парка культуры, переходите по подземному переходу через Садовое кольцо. Знаете Метростроевскую? Бывшая Остоженка. По правой стороне проходите мимо небольшого букинистического магазина. Идете дальше. Около теперешнего Института иностранных языков (бывшее Коммерческое училище) переулок, он спускается вниз к Москве-реке. Наискось от серого особняка (дом купца Бутикова), налево будет Бутиковский переулок, на углу его – красный кирпичный дом, второй этаж, вход со двора.

Май. Буйная зелень заполняла прогалины между красными кирпичными домами. Кое-где виднелись цветущие белые деревья. Давным-давно в уютных этих дворах, видимо, цвели целые сады. Еще раньше, до того, как москвичи поселились тут и развели сады, здесь лежали заливные луга. Они подходили к самым кремлевским стенам. Сладко пахло сено, уложенное в стога. От них, говорят, и пошло старое название Метростроевской – Остоженка. Улица о стогах. Стояли здесь и конюшни, царские. Это было в то время, когда на протекающей по Александровскому саду Неглинке с шумом и скрипом крутились колеса водяных мельниц, а Борис Годунов служил конюшенным боярином.

* Впервые: журнал «Знание – сила», июль 1984 года. Запись С. Жемайтиса.

– Знаете, кто такой конюшенный боярин? – говорил нам на лекции по древнерусской литературе доцент Московского университета Николай Иванович Либан. – Не знаете? Так это же все равно, что министр путей сообщения.

И лекция прерывалась, вернее, продолжалась любопытным этим перерывом. Он говорил нам о Степенной книге, рассказывающей о иерархии древнерусского общества, о том, как наездницы в красных платьях и высоких шляпах сопровождали царский поезд по улицам Москвы, рассказывал нам о быте книжника, о том, как готовились чернила из дубовых орешков, или как делалась бумага с водяными знаками, или как встречали иностранные посольства. И все это – в деталях, в тех так трудно находимых подробностях, за которыми чувствовалось время, часть большой эпохи.

Кто-то из студентов попросил Николая Ивановича дать библиографию для курсовой работы.

– Я избегаю давать библиографии.

– Почему же?

– Так...

– Но почему же?

– А зачем мне лишать вас удовольствия?

– Какого?

– Искать самим. Может быть, вы найдете книги, которые не заметил я. И среди книг вы пойдете своим путем.

Он будто боялся навязать нам какой-то иной, не наш собственный путь.

Старый дом, старая лестница, небольшая комната, окнами в небольшой дворик. Двор вымощен булыжником, на веревке ветер треплет белье. В комнате – часы. Одни идут с семнадцатого, другие – с восемнадцатого, третьи – с девятнадцатого века. Идут по-разному. Одни торопливо, вторые размеренно, третьи вроде бы кое-как: смешивая тики и таки. Казалось, сверь – и все покажут разное время. И вдруг: бом, бом, бом, дзинь, дзинь, дзинь, бум, бум, бум – ударили все сразу. Родилась единая музыка из боя и звона по-разному работавших и по-разному «установ-

ших» часовых механизмов семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков.

– Кто я? – переспросил как-то Николай Иванович. – Я педагог и считаю это звание не ниже звания ученого.

На филологическом он читает спецкурс по театру восемнадцатого века, по Достоевскому, по Писемскому, по Лескову, но главное его призвание – это русская литература двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого, средневековая литература, а значит, и история. Словом – медиэвистика.

– Как я стал историком литературы? По-видимому, все началось еще со школы, с моего первого педагога Варвары Сергеевны Смирновой. Училась она в Сорбонне, Берне, Берлине, на сельскохозяйственных курсах. Варвара Сергеевна была медиком, химиком, географом, биологом, знатоком литературы, работала по этим специальностям по очереди, пока не стала школьной учительницей.

Мы с ней много путешествовали, по существу обошли всю Россию: Ростов, Суздаль, Переславль-Залеский – во все эти города мы ходили старинными трактами, лесными дорогами.

По-видимому, именно встречи с родной землей, со старинными городами и селами и породили во мне интерес к древней культуре.

Позже я узнал, что в открывшемся тогда Институте философии, литературы и истории, – ИФЛИИ – преподает известный академик-медиэвист Михаил Несторович Сперанский. Сегодня больше известен почему-то его брат, Георгий Сперанский, врач-педиатр. Жорж – так называл его Михаил Несторович, как-то обмолвившийся в разговоре со мной: «Вот Жорж, что он умеет? Разве что детям пиявки ставить. А я – действительный член восьми академий, и почему-то меня никто не знает».

Михаил Несторович был именно не почетным, а действительным членом нескольких зарубежных академий. Окруженный представителями самых разнообразных литературных школ и направлений, он казался одиноким,

неким осколком прошлого века. Он стоял как бы чуть в стороне от бурной литературоведческой жизни двадцатых годов.

Я пришел к Михаилу Несторовичу с разными идеями. То сделать, это... «Ну хорошо, — он говорит, — идеи всегда хорошо, ну а вот вы читать умеете?» Умею, говорю. «Нет, вы не поняли, вы можете читать по-гречески?» Нет, не могу. «Ну тогда что же вы пришли ко мне? Вам нужно идти в приходскую школу».

Я буду учиться, сказал я. Он, видимо, не поверил, но все же сказал: «Ну что ж, давайте попробуем. Я вам дам азбучку, учите. Выучите азбучку, придете так через недельку, а можете и раньше». Я пришел ровно через неделю. Говорю ему: — Альфа, бета, гамма... «Ну а теперь нарисуйте!» — Не умею. «А надо вот так. Вот так рисуется. Давайте вашу ручку, не бойтесь, проведем линию вместе...»

Я не знал, куда деться от стыда! Порисовали мы с Михаилом Несторовичем. «Ну что ж, учите дальше, приходите еще через недельку, а если выучите, то можно и раньше».

Я пришел ровно через неделю.

«Ну как, рисуете?» — Рисую. «Ну ладно, давайте читать». — Я не умею. «Научитесь». Так и прочли первую строчку Гомера. А через полгода я уже читал по-гречески. Потом Михаил Несторович сказал: «Ну что мы с вами читаем этого Гомера? Ведь вам же нужна византийская литература, та литература, которая затем переводилась на русский язык». И мы стали читать Иоанна Дамаскина. Ну а так как я помнил все это наизусть по-славянски, то я наизусть и прочитал.

Михаил Несторович говорит: «Не может быть, здесь какая-то хитрость. Почему вы так бегло прочитали? Что-то здесь не так, нет, не может быть, вы где-то подсмотрели. Ну да ладно. Теперь будем читать Кирилла Туровского.¹ Только вы будете читать по-старославянски, а я буду читать по-гречески то, откуда он это все списал, а потом

¹ Древнерусский писатель.

будем наоборот. Я по-славянски, а вы ищите, откуда он это списал».

Так я научился читать. Было это в тридцать втором году. Медиевистика меня стала увлекать все больше и больше. Я поступил в аспирантуру Института истории, философии и литературы. Мой официальный руководитель¹ слыл, как тогда говорили, вульгарным социологом, а вторым руководителем, к нему учиться я ходил домой, был Михаил Несторович.

Однажды вместе со Сперанским вышли на улицу. Идем мы и встречаем моего профессора. Я здороваюсь, он молчит, Михаил Несторович тоже молчит. Я говорю: Михаил Несторович, почему вы не здороваетесь? А он: «А ты знаешь, кто это?» – Знаю, этой мой научный руководитель! «Так зачем ты ко мне приходишь?» – Как? Это крупный ученый, социолог. «Ученый? Водопроводчик, а не ученый. Он ничего не знает». – Михаил Несторович, нельзя так рассуждать. «Кто к кому приходит учиться, я к тебе или ты ко мне?» – Он же умный человек. «Он умный, а ты глупый. Чему он может научить? А его книги? Это ведь фантазии, ни знаний, ни фактов. Социолог? Водопроводчик... Странно, зачем ты приходишь?»

Потом на кафедре МГУ Либан был тоже как бы несколько в стороне. Тогда настоящее было парадоксально, бурно, необычно, и его как-то забывали связывать с прошлым.

А он, вероятно, выглядел чужаком, ушедшим с головой в неудобоваримые, труднопонимаемые обороты почти исчезнувших языков, литератур. Но вдруг что-то повернулось. Время? Люди? Медиевистов стало уже двое, потом трое. В наши дни на спецсеминаре по древнерусской литературе уже двадцать-тридцать слушателей. Кто-то скажет: «Мода, пройдет». Но не проходит. И настоящему нужно прошлое. Рождается мостик. Он связывает литературу, живопись, музыку, культуру. Ту и эту, сегодняшнюю со вчерашней, вчерашнюю с поза-позавчерашней.

¹ В.Ф. Переверзев.

– А греческий мне был необходим.

– Зачем?

– Мне нравилось, и я не задавал себе этого вопроса. Но в общем-то, наверное, потому, что я решил стать медиевистом, а два образа, один – Византии, второй – России, для исследователя древней русской культуры неотделимы. Они издавна срослись тончайшими, но прочнейшими связями. В Византии скрещивались пути торговые, экономические. И не только они. Пути древних знаний, философий. Веку к тринадцатому-четырнадцатому вся идейная мудрость Византии, воплощенная в вещах, если можно и книги считать вещами, и в лучших ученых, несущих идеи, вся эта мудрость собралась... Где? Не знаете? Ну как же, безусловно же, на... – Николай Иванович сделал большую паузу, – на Афоне...

От длинной необычной паузы название выделилось, покрупнело. Он часто разрывает фразу, дробит ее на слова. Так они подчеркиваются, становятся выпуклыми.

– Афон.

Снова большая пауза. Будто он представляет перед собой, проигрывает, какой этот Афон, как выглядит, что там есть. И вдруг следует описание.

– Пустынное место. Холмистое.

Пауза.

– Невысокие кусты, камни, стены древних храмов. И пришедшие с разных концов Земли странники в тиши огромных библиотек.

Большая пауза. Либан как бы обдумывает, формирует в себе новый, может быть, даже для него новый образ, который выльется в слова.

– Рукописи. Переплеты из белой и коричневой кожи, звуки перелистываемых пергаменных страниц. Своеобразный треск, не шелест.

Пауза.

Я помню, как впервые увидел Николая Ивановича. В аудиторию вошел небольшого роста человек в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке. В руках он

держал книгу с несколькими закладками. Не торопясь подошел к кафедре и некоторое время медленно оглядывал аудиторию. И заговорил.

Что я запомнил тогда? Скорее всего, необычность голоса, тона самой лекции, прерывистую интонацию. Иногда лекция обрывалась, казалось, на самых интересных местах.

– Что дальше? – переспрашивал Николай Иванович. – А дальше очень интересно. Рассказать? Нет, вы лучше сами прочтите, скажем, у Ключевского.

И нам захотелось читать. Не сразу. «Кто же читает в университете? – говорит Либан. – После. Уже после окончания МГУ».

– Если не ошибаюсь, вы хотели услышать о Майкове? Прекрасно. Но, знаете, рассказывать лишь об одном Майкове было бы неинтересно. Почему? Да потому, что Майков нам любопытен не в одиночестве, а в сопоставлениях и исторических параллелях. Я думаю, кроме него, нам придется привлечь и других героев. Каких? Ну, не обо всем сразу. Итак, Майков. Скажу сразу, что интересен он мне, с одной стороны, как личность, с другой же – как тип личности, общий склад которой можно найти и в других героях.

Родился Майков в сложное время. Да и кто, спрашивается, когда-либо рождался в простое время? Пятнадцатый век, знаете, голод то в Пскове, то в Новгороде, то в Ростове, то вообще повсюду сразу, а однажды, как писал летописец, полетел «крылатый червь», саранча то есть, и уж поел от души, ничего не оставил. А правит Иван III. Интриги, то одно княжество отколется, то другое... Семья Майковых попадает в опалу. Это нам известно достоверно. А дальше начинаются неясности. В медиевистике так бывает сплошь и рядом. В Средние века люди вообще мало рассказывали о себе, предпочитали хранить свое имя в тайне, особенно люди, как мы бы сказали сегодня, творческие – зодчие, художники, писатели, а по призванию Майков был писатель. Но это позже. В то время, о кото-

ром я говорю сейчас, это был, думаю, юноша, изнеженный аристократическим воспитанием, тяжело переживающий падение своей семьи, унижение родных и близких. Человек скорее застенчивый, чем шумный, скорее скрытный, чем открытый. С детских лет он «навык грамоте», то есть любил учиться. Тогда три четверти всей учебы составляло обучение грамоте.

Известно также, что в юности, не довольствуясь теми знаниями, которые получил, он ушел искать новые. Куда? Ну, куда же тогда ходили учиться? На Восток, в Византию.

Я думаю, именно из Византии вернулся он с теми знаниями, теми концепциями, которые позже развивал в своих немногочисленных, но очень популярных у современников произведениях. Вернулся, вдохновленный идеями, как мы бы сейчас сказали, гуманизма и психологизма, со своей концепцией человеческой личности.

Эта концепция имела два плана. Первый план – индивидуальный. Здесь Майков выступает как писатель, философ, психолог. Главным же для него было изменение своей собственной жизни, себя самого в соответствии с выработанными им идеалами любви, братства и бескорыстия.

Второй план творчества Майкова носит уже социальный характер. Он старается примирить социальные противоречия современного ему общества, ищет пути для устранения несправедливостей и средневекового варварства по отношению к человеку. Он исходит из светлого человеческого начала, которое должно проявиться в обществе, в частности обличает современное ему духовенство за то, что оно стяжало огромные богатства, в то время, как люди умирают от голода, гибнут от холода.

Наш герой исходил из того, что основная движущая сила совершенствования человеческих отношений – самосовершенствование человека. «И напрягая ум свой, – писал он, – старайся найти мысленно то место, где помещено твое сердце, и пусть ум твой всецело остановится здесь. И сначала найдешь там большой мрак и жестокость, и чем

больше будешь упражняться в этом днем и ночью, тем скорее найдешь здесь неиссякаемое наслаждение. Когда ум твой соединится с сердцем твоим – он увидит нечто такое, чего никогда не видел: внутри сердца он увидит свет и себя всего просветленным и полным рассудительности. Дальнейшее ты узнаешь собственным опытом, упражняясь в наблюдении за своим умом». Открытие ума сердцу и сердца уму, по мнению нашего героя, важнейшая задача, – выражаясь современным языком, задача примирения рационального и иррационального, то есть та задача, которую считали важнейшей такие гении русской литературы, как Л. Толстой и Ф. Достоевский.

Всматривание в людские судьбы и характеры прошлого позволяет порою увидеть вроде бы неожиданные параллели при сравнении людей разных эпох. В разные эпохи вы вдруг снова и снова обнаруживаете определенный тип человеческой личности. И вот сейчас я представляю себе еще трех людей, трех писателей и общественных деятелей разного времени, и в их темпераментах, характерах, интересах, поступках мне рисуется некая единая, свойственная и Майкову, «структура личности». И видится некоторый общий путь.

Герой первый

– Теперь мне бы хотелось сказать о людях, которые, казалось бы, не имеют к Майкову прямого отношения, но которые частично восприняли его идеи. Позиция их имела несколько иные корни, чем позиция нашего главного героя. Сегодня такую позицию мы скорее всего назвали бы социально-экономической...

Гуманные идеи Майкова носили несколько отвлеченно-литературный характер. Например, его нестяжательство. Согласитесь, что человек не может уж совсем ничего не иметь. Накопительство не должно становиться целью существования. Сегодня это социальная норма. Но ведь родилась она не сразу. И не просто так. Были люди, которые ее выработали. Приятно извлекать из небытия

забытые или почти забытые исторические фигуры. Темнота прошедшего рассеивается, и события, время освещаются живой человеческой судьбой, страстями, увлечениями, поступками. Так о ком я хочу сейчас рассказать? Безусловно же, о Федоре Ивановиче Карпове.

Личность блестящая, человек разносторонне образованный. Филолог, математик, астроном, дипломат, Федор Иванович Карпов как бы собрал в себе характернейшие веяния времени, и в нем, как ни в одном другом русском общественном деятеле того времени, проявилась жажда к социальному переустройству общества.

Сведения о Карпове отрывочны. Свои взгляды, как тогда было принято, он излагал в «письмах» к видным государственным деятелям.

Происходил Федор Иванович Карпов из старинного тверского боярского рода, многие из представителей которого перешли на службу Москве как раз перед политическим падением Тверского княжества. Первое упоминание о Карпове относится к периоду, когда наш герой принимал участие в походе Ивана III на Новгород. Знаете, как раньше ездили? На широкую ногу. Огромный поезд с кухнями, собаками, ловчими для охоты. С шатрами, шитыми золотом. С одеялами, сделанными из «собольих пупков» (то есть из брюшков соболей), с пением, игрой на звучных музыкальных инструментах. С частыми и долгими остановками. Великий князь вез с собой многочисленный штат приближенных: стольников, думных дьяков, конюшенных, постельников. Вот среди нескольких десятков постельников Ивана III в этой поездке можно найти и имя Карпова.

В скором времени можно видеть его и на дипломатической службе. Он начинает работать в восточном отделе Посольского приказа. Здесь он занимается взаимоотношениями России с Крымом, Турцией, Ногайской Ордой, Казанским ханством. Известно, что в начале шестнадцатого века Федор Иванович ведет переговоры с западными послами, в том числе с известным посольством

Сигизмунда Герберштейна, оставившего знаменитое описание русских нравов и обычаев XVI века.

Несмотря на заслуги, Карпова часто «обходили по службе». Чин окольничего – начальника приказа (по-современному – министра) он получил, по-видимому, лишь в самом конце своей деятельности.

Итак, кто же такой Карпов? С одной стороны, это блестящий и искусный дипломат, человек, во многом формирующий внешнюю, да и внутреннюю политику государства. А с другой – личность мятущаяся, не довольствующаяся своим высоким положением и выгодами, которые можно из него извлечь.

Когда Карпов достиг высокого положения и смог относительно свободно высказывать свои мысли, происходит разительная перемена, словно родился новый, скрытый до сих пор человек, и этот человек по своим взглядам, по позиции, которую он занял в жизни, очень напоминает Майкова.

Что создал Карпов? Да свою оригинальную политическую программу. Основное в ней – это освобождение политической мысли от догм церкви. В своих письмах к митрополиту Даниилу он выступает против доктрины «всетерпения», противопоставляя проповедуемому христианством терпению правду, нужную для того, чтобы «сподвигнути дело народное». Федор Иванович считает, что господство порядков, основанных на терпении, вызывает нарушения в структуре общества, в его благосостоянии. «Долготерпение в людях без правды и закона общества добро разрушает и дело народное ни во что низводит, злые нравы в царствах вводит и творит людей государем непослушных за нищету», – пишет Карпов.

Задача государства, по его мнению, в установлении гармонии и справедливости. Причем Карпов здесь следует Аристотелю и разделяет людей в гармоничном обществе на несколько типов: «добрых подвластных», «неповинных и вредных», то есть таких, которых нужно защищать и которые сами этого сделать не могут, «вредных и озлобляю-

щих», «злых» и т. п. Проникшись светлыми мечтами, он пишет о земном благоденствии, некоем утопическом государстве, земном рае, который неизбежно должен наступить путем совершенствования общества, формирования нового, светлого, красивого, доброго человека.

Герой второй

— Конечно, мысли, высказанные Федором Карповым, обсуждались и тревожили умы, давали боковые побег, проникали в литературные произведения, например, публициста Ивана Пересветова или политического деятеля и писателя Смутного времени Авраамия Палицына, тревожили в семнадцатом столетии Ивана Хворостинина, который выступал с резкими обличениями боярства своего времени. Интересовали они, видимо, и иных людей, тех, о которых нам сегодня ничего не известно.

В семнадцатом веке эстафета этих идей была передана и известному политику и дипломату боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину.

Карповские «мечтания», подхваченные Ординым-Нащокиным, неожиданно приобрели государственно-экономические формы.

Родился Афанасий Лаврентьевич в начале XVII столетия, по-видимому, около 1606 года, в семье дворянина среднего достатка. Детство провел на Псковщине. Западная окраина Русского государства. Интереснейшие места, возможность читать «заходящие» из Западной Европы естественнонаучные книги, разговаривать с торговыми людьми. В доме отца учителя познакомили Афанасия с грамотой и дали некоторые начатки математических знаний. Позже он изучал риторику и языки: польский, латинский, немецкий, молдавский.

В тридцатые годы XVII века Ордин-Нащокин стал доверенным лицом псковских воевод. В его обязанности входило установление от их имени контактов с представителями царского двора в Москве. Он как бы попадает на «внутреннюю» дипломатическую службу. Вскоре на

способного молодого человека обратил внимание казначей приказа Большой казны Богдан Минич Дубровский, который и привлек его уже к настоящей посольской службе.

Вскоре наш герой участвует в переговорах с шведскими послами, затем он посол в Молдавии, в дальнейшем входит в межевую комиссию по обсуждению спорных шведских пограничных дел, участвует в посольствах в Швецию. И всюду Афанасий Лаврентьевич ратует за заключение «вечного мира», пойдет ли речь о Польше, Турции, Крыме, тунгусских и амурских племенах.

Позже, при переговорах с Польшей в 1664 году, Ордин-Нащокин сформулировал свое посольское кредо словами: «Доброе дело начинати в договоры вступати». В докладе «О миру Великой России...» наш дипломат рисовал перед скептиками из бояр заманчивую картину мирного, «торгового» бытия, он же не уставал повторять, что только «вечный мир» может прекратить длительные споры и кровопролитные войны между соседями, что вслед за миром оживятся разоренные войной земли, разовьются торговля, ремесла, искусства...

В 1667 году боярин Ордин-Нащокин возглавил Посольский приказ и получил титул «царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель». В его ведение также попали Смоленский разряд, Малороссийский приказ, Новгородская, Галицкая, Владимирская чети (то есть учреждения, в ведении которых находились отдельные земли и города). Так он превратился из простого дипломата в «министра иностранных дел», а если учесть подчиненные ему многочисленные внутренние ведомства, то и в «председателя совета министров». Нащокин еще и прирожденный экономист, он являет собой как бы прообраз будущих многоплановых деятелей петровской эпохи, людей, одновременно увлекающихся науками, искусствами, экономикой, промышленными преобразованиями, дипломатией, жадно впитывающих в себя знания. Он, так же как и Карпов, думает о претворе-

нии в жизнь своих утопических мечтаний, об экономическом переустройстве общества.

22 апреля 1667 года издается под его редакцией текст Новоторгового устава, покровительствующего отечественной торговле. Одновременно создается под его же руководством корабельная верфь на Оке в селе Дединове. При Ордине-Нащокине были организованы первые постоянные дипломатические представительства России за границей. Отправляются посольства и в Среднюю Азию с целью разведать пути в Индию для установления дипломатических отношений.

Ордин-Нащокин приступает к выпуску того, что можно назвать первой русской газетой, в которой, как бы мы сейчас сказали, «используются материалы иностранной печати».

Вот так жил «посольских дел оберегатель». Деятельность этого человека была характерна для XVII века. Он во многом подготавливал почву для реформ петровского времени.

Николай Иванович провел руками по подлокотникам старинного кресла.

– А вообще приятно, да наверное и полезно, собирать старые вещи. Они передают обстановку. Время. Приятно представить, с какими часами ездил в карете Евгений Онегин. Вот они, каретные, – Николай Иванович поднялся и взял с комода небольшой из коричневой старой кожи футляр, бережно раскрыл его и достал прямоугольные со стеклянными стенками и небольшим круглым циферблатом, с золочеными боковинками часы. – Так их вешали, за этот вот крючок. Цокают копыта, покачивается карета, а Евгений Онегин раскрывает, вынимает из пахнущего кожей и бронзой футляра эти часы... На стене – кованные, восемнадцатого века. Все их детали выкованы кузнецом: пружинки, шестерни, колесики. А вот это уже рококо, – Николай Иванович показал на стол, там под стеклянным колпаком часы – белые, мраморные с золоченой бронзой.

Приятно, конечно, представить обстановку и через обстановку – время, через время – эпоху, через эпоху – человека: писателя, боярина, крестьянина. Но вскоре я понял, что вещи собирать не стоит – всего не соберешь. Нет. Гораздо приятнее и интереснее коллекционировать идеи. След идеи во времени – это уже традиция. Проследить, как она зарождается, как развивается, как пленяет различных людей в разные времена, как уходит вглубь, отвергается временем, выбирается на свет, чтобы снова и снова то скрываться из глаз, то очаровывать своим блеском.

Бом, бом, бом, бом. Бам, бам, бам. Бим-бом, бим-бом, бим-бом, бим-бом. Снова забили первые, вторые, третьи часы. Отмечая первый час нашей беседы, отсчитывая свое время с восемнадцатого, с семнадцатого, с девятнадцатого, начала двадцатого столетий.

И, странное дело, мне вдруг показалось, что на небольшой этот час время замерло и все оказалось где-то рядом. Четырнадцатый век пришелся рядом с девятнадцатым, а девятнадцатый – с пятнадцатым. Ожившие герои как бы оказались в одном времени, и неожиданно встретились, столкнулись их позиции, вкусы, пристрастия.

Герой третий

– Мне бы немного хотелось сказать о человеке, творчество которого с первого взгляда не имеет, казалось бы, к Древней Руси и к тем героям, о которых я только что говорил, прямого отношения. Я имею в виду Льва Толстого.

В определенный момент своего развития Лев Толстой открывает новую грань своей личности, становясь просветителем, протестуя против неправды, насилия, защищая чаяния русского крестьянина и рабочего, восставая на догмы православной церкви, несущей ложь и оправдывающей всем своим существованием несправедливость существующего порядка вещей. Именно в этот момент Толстой напишет: «Когда существа развились, каждое из них возвращается к своему началу», – и это не случайные слова. Ибо сам Толстой во второй половине жизни вернулся

к своему началу, к своим истокам, к позиции, оказавшейся выраженной еще в пятнадцатом веке, позиции нестяжателя, гуманиста, общественного деятеля и просветителя, борющегося за лучшее будущее своего народа. Но, как мы знаем, перелом в Толстом произошел после мучительной борьбы и исканий.

И, безусловно, нельзя сводить всего Толстого к этой позиции. Толстой огромен, многогранен, он впитал в себя выдающиеся достижения всей мировой культуры.

В связи с этим и в культуре, как в отдельной личности, как и в личности Л. Толстого, бывают моменты возврата к прошлому, к тому в прошлом, что утверждает начала гуманности и справедливости.

О раскрытии Толстым в самом себе новых граней, связанных с древними пластами русской и мировой культуры, пожалуй, лучше других сказал известный знаток творчества Льва Николаевича Борис Эйхенбаум: «Архаистическая система – не просто элемент, оставшийся от уже преодоленного и доживающего свой век явления, а, наоборот, заново восстающая и имеющая основания для нового успеха, хотя и коренящаяся в прошлом сила».

Вообще, обращаясь к мировой культуре, он как бы тяготеет к прошлому, к XVIII, XVII векам. Быть может, здесь сказывается черта «архаистического» типа его таланта, который часто подсознательно искал опоры не в настоящем, а в прошлом.

– Послушайте, – Николай Иванович взял со стола старую, потрепанную книжку, раскрыл ее и прочитал: – «Даже Пушкина он, по собственным словам, серьезно оценил только в 1857 году, прочтя его “Цыган” в прозаическом переводе Мериме (очень характерно!). Все его чтение, так или иначе, связано с традицией прошлого века – с традицией дедов, а не отцов». Эти строки также принадлежат Эйхенбауму, который подробно раскрывает архаистические пласты в творчестве Толстого. У нас, к сожалению, нет времени подробно толковать об этом. Скажу только, что и в жизни своей, как и в творчестве, Толстой во многом архаист.

В самом деле, кто Толстой в это время? Литературное счастье только улыбнулось ему. Но его имя вдруг начинают забывать. «Люцерн», «Альберт», «Семейное счастье» современная критика обошла полным молчанием. В пятьдесят девятом году Толстой пишет своему новому другу Б.Н. Чичерину: «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил». Толстой признается также и В.П. Боткину: «Изящной литературе положительно нет теперь места для публики».

Что же случилось с изящной литературой? Она в то время, кажется, потеряла свой авторитет. Ее место заняла публицистика. Перевес социальных и политических вопросов над всеми иными ощущается резко. Очень резко. Выдвигается Салтыков с публицистической сатирой. Тургенев пишет «Отцов и детей». Салтыков говорит, что теперь больше Гёте перечитывать не станут.

В это время Толстой уже не военный. Не журналист. Даже не профессиональный литератор. Как смотрят на него? Да как на чудака, отщепенца, уединившегося в имении, как на сторонника отвлеченного морализирования и «изящного» в литературе. Он сам относит себя к некоей категории людей, которые «просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре». На какой же позиции он стоит? Да на позиции моралистической, «вечной», которая противопоставлена всем другим. Позиции, очень напоминающей позицию Майкова или Карпова с Ордин-Нащокиным, в определенный момент открывающих в себе философов-утопистов. Демократ, нестяжатель, аристократ, архаист. Фигура, уходящая своими корнями, своим противодействием времени глубоко в древность, в глубинные пласты русской культуры, к Майкову и дальше. Он как бы проносит в себе идеалы, волновавшие древнерусских писателей уже в пятнадцатом, шестнадцатом веке. Как человек, проповедующий равенство, братство, необходимость изменения общества, как философ, постоянной мыслью которого является мысль о слиянии с народом, как нестяжатель, отказывающийся от накопления

непомерных материальных благ, Толстой восходит к более древним пластам древнерусской культуры и в этом смысле занимает позицию архаиста.

Толстой вбирает в себя одновременно обе позиции, оба течения: и то «майковское», о котором я говорил, и второе, представленное Карповым и Ордин-Нащокиным, то, которое привело в конечном итоге к XVIII веку русскую культуру.

И главное для нас сегодня – в традиционности такой позиции, в ее нужности в тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, девятнадцатом веках. Как я уже упомянул, развитие Толстого в этом смысле напоминает развитие всей русской культуры, которая, постоянно обогащаясь достижениями мировой культуры, обнажает древние пласты, те пласты, которые в силу исторических причин вдруг становятся современными.

Безусловно, нужны люди, накапливающие опыт прошедших столетий, опыт культурный, нравственный, бытовой, с тем чтобы пронести его в себе, донести через время, через социальные бури, через ломки традиций, через сложную многообразную жизнь, донести, чтобы рассказать нам о нем, чтобы повлиять на нас, чтобы мы лучше почувствовали свое время, трансформацию прошлого в настоящем. Это мостики, переброшенные через время, по ним к нам переходит живое прошлое, избегшее той ломки и переелки, которая неизбежна при обычном проходе через время, через историю.

Судьбы Майкова, Ордина-Нащокина, Федора Карпова – лишь короткие фрагменты из истории. Толстой и все эти люди вдруг оказываются для нас рядом. Они соединены общими мыслями о человеке, о том, каким он должен быть, каким ему надо стать, о том, каким должно стать все человечество.

Не дошли до XX века. Жаль. Мало времени. Но еще все впереди. Приходите, – сказал Николай Иванович мне на прощанье.

ЧАС ВНЕ ВРЕМЕНИ*

В.Л. Николай Иванович, как стать хорошим филологом?

Н.И. Не поступать на филфак.

– Если бы я не поступил, то ничего бы не узнал и не понял. А вы стали бы тем, кто вы есть, без филфака?

– А я ничем и не стал.

– Возможно ли выйти на высокий уровень понимания литературы, не учась на филфаке и не имея возможности читать нужные книги?

– Читать можно всем, без всякого образования. У меня был один студент-заочник, очень хороший студент, сумасшедший. Он написал прекрасную книгу.

– То есть вы в филфаке смысла не видите?

– Я просто ограждаю человека от возможных неприятностей.

– Они могут быть везде. Мир полон искушений.

– Искушения могут быть только от женщины. Или от игры в рулетку. Других искушений на свете не существует.

– То есть на географическом факультете человек будет огражден от неприятностей?

– Да, конечно. Он будет путешествовать, ходить по горам, описывать все это.

– А что же на филфаке такого опасного?

– Это слишком сложная вещь. Пересекаются лингвистика, история литературы, история культуры, гражд-

* Впервые: Журнал «Союзное государство», янв., 2007. Запись Вл. Лихваря. Печатается в сокращении (*примеч. сост.*).

данская история. Надо все охватить, а от этого голова всегда пухнет. Вот человек поступил на химфак, проучился пять лет – и он будет химиком, так? Три-четыре года в лаборатории – хорошо, он уже кандидат. Какую-нибудь дрянь нашел, соединил – пух-пух! – взрыв! – он уже доктор, уже открытие. А тут человек всю жизнь работает, всю жизнь читает, всю жизнь сравнивает – и где-то в 90 лет он может сказать: да, теперь я понимаю, что такое история литературы. А ему уже помирать пора.

– Может, в этом есть смысл?

– Чтоб помереть-то? Конечно, а как же. Большой смысл в том, чтобы помереть.

– Если наш молодой человек все же поступил на филфак, что бы вы ему посоветовали? Ведь все равно придут. Хотелось бы, чтобы они услышали ваше слово.

– Пусть найдет хорошего руководителя, и тот возьмет его в подручные.

– Значит, надо найти наставника?

– Да, товарища. Руководителя. Руководитель должен быть товарищем. Мне студенты говорили: хотим изучать то-то и то-то. Это, говорю, все ерунда, что вы хотите. Надо выбирать не писателя, а руководителя семинара. Запомните это.

– Николай Иванович, что посоветуете молодому человеку, потянувшемуся к серьезному чтению и зашедшему в книжный магазин.

– Не покупать книг. От них много пыли. Пусть возьмет в библиотеке, почитает и вернет.

– А в библиотеке что взять?

– Пусть возьмет «Записки охотника» Тургенева и наслаждается. Что может быть лучше «Записок охотника»?

– А почему именно они, а не, например, «Дубровский» или «Преступление и наказание»?

– Потому что это сборник, и он может прочитать любой рассказ – «Бежин луг» или «Живые мощи», что ему захочется. Написано очень хорошим языком, прекрасным языком. Очень локально, то есть сжато, понятно. Краси-

во. Тургенев вообще замечательный писатель. Романы у него плохие, но «Записки охотника» замечательные.

– А может, «Стихотворения в прозе»?

– «Стихотворения в прозе» – это более поздняя вещь.

Это не для начинающих.

– Если человек хочет познакомиться с древнерусской литературой, с чего вы посоветуете ему начать?

– Пусть читает мою книжку «Литература Древней Руси: лекции-очерки».

– Вы считаете, что нельзя без теоретической подготовки прочитать, например, «Слово о Законе и Благодати»?

– Конечно. Человек испытывает такую муку от этого «Слова...». Без объяснений все ценное, интересное пропадает.

– Если в двух словах, то в чем кардинальное отличие древнерусской литературы от современной?

– В двух словах? Ничего общего. Абсолютно.

– А есть ли произведения древнерусской литературы, которые созвучны нашему времени?

– Сегодняшнему – нет, а вот во время войны были такие вещи, например «Повесть о разорении Батыем Рязани». Очень созвучно было. А сегодняшнему дню... Вот разве что из литературы XVII века – плутовской роман. В предыдущие века – подъем патриотических чувств после 1380 года, после Куликовской битвы. Это время Андрея Рублева, это время преподобного Сергия.

– В древнерусских книгах соединяются высокая художественность, политическая злободневность, публицистичность и духовно-нравственное начало. Есть ли в современной литературе подобные произведения?

– Эта современная литература должна еще приплачивать тем, кто ее читает. Кто будет ее читать, пусть тому заплатят хотя бы по сто рублей за книгу.

– Круг вашего чтения сейчас?

– Что я читаю? Пожалуйста. В связи с написанием главы «20–30-е годы XIX века» читаю Полное собрание сочинений Лермонтова, дневники Блока. «Историю русско-

го искусства» Никольского – главу о Врубеле, статью Фохта о «Демоне» Лермонтова и... забыл, как называется эта история русской литературы, которую написал для духовных училищ... Дунаев, да! Глупую книгу Дунаева. Разумеется, я не вступаю с ним в пререкания.

– А лет 20–30 назад?

– Некогда мне это было. Я прочитал в университете все курсы: историю древнерусской литературы, литературы XVIII века, литературы XIX века, спецкурс по теории литературы, спецкурс по введению в литературоведение и еще 23 авторских спецкурса.

– Что вас привело к Лескову?

– У меня был период, когда я считал своей внутренней обязанностью восполнить брешь. С моей точки зрения, два писателя, которые не получили правильного освещения в русской историографии, – это Лесков и Короленко. Вот с Лесковым получилось, нашлись ученики. Видуэцкая такая есть, доктор наук, весьма почтенная. А в Петербурге – Столярова. Вот уже 10 томов Полного собрания научного издания Лескова готово.

– А как вы почувствовали, что Лескову не отдано должное?

– Я же читаю курс по истории литературы. А когда читаешь курс, видишь, чего не хватает.

– Трудно было организовать семинар по Лескову? Его ведь не жаловали...

– Зато меня жаловали. Я читал курс по русской литературе. Вы мой курс не слышали, нет? Повезло вам. Студенты, которые меня слушали, обычно записывались на мой семинар. Объявил Лескова – и всё.

– Препоны не ставили?

– Кто?

– Администрация. Ведь некоторые его вещи подрывали идеологические основы той системы...

– Ну, это и «Бесы» подрывали.

– ...и тут вы открываете семинар по писателю, который написал «Некуда» и «На ножах».

– Я же не такой глупый, как вы думаете. Семинар-то по Лескову, а не по роману «На ножжах».

– То есть сама фамилия Лесков была вполне приемлема?

– Конечно. Горький писал: «волшебник слова». Горький – пролетарский писатель, вождь пролетарской литературы, любимец Политбюро. Горький сетовал на то, что Лесковым не занимаются. А тут – пожалуйста. Здорово?

Я очень люблю у Лескова одну повесть. В ней рассказывается, как архиерей объезжает северные острова и встречает трех подвижников на Валааме. Они уже такие... обросли тиной, от всего отказались. Он их спрашивает:

– Как вы молитесь?

– Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас.

– Какая дурацкая молитва! Повторяйте за мной: Отче наш...

– Они все повторяют. И он уехал довольный, что их научил. Едет и видит: к нему эти подвижники по воде подходят и просят:

– Владыка, повтори, пожалуйста, еще, а то мы забыли.

Владыка тогда задумался: кому у кого учиться? Им у меня или мне у них, которые по воде аки по сушу идут?

В.Л. А как вы относитесь к современным эпатажным писателям, таким как Сорокин, Пелевин, Стогофф?

Н.И. Это все уже было. Это сортирная литература.

– А примеры сортирной литературы прошлого?

– Сколько угодно! (Далее следует несколько бескупюрных цитат). Это все печаталось, особенно в конце XIX – начале XX века. Период Распутина, всякой такой дряни.

– То есть нельзя сказать, что в таких произведениях гибнет русская литература?

– Абсолютная чепуха! Они никакого отношения к литературе не имеют.

– Сорокин, по-вашему, не относится к русским писателям?

– Раз он погружается в сортирную тему, значит он сортирный писатель. И все.

– А по каким критериям вы называете человека писателем? Ведь Сорокин – талантливый человек...

– Нет. Совсем не талантливый.

– У него глубокие вещи, интересная композиция, образная система.

– Есть хорошая пословица: «Дурак врет-врет – да правду скажет». Понятно? Не все плохо, есть какие-то проблески хорошего.

– И все-таки: критерий определения писателя?

– Критерий один – талант. Вот Пришвин – писатель, потому что у него есть талант. Талант выражает идею времени. Эта идея может быть выражена как политическая, как социальная, как духовная, как религиозная, но именно идея времени. А что у Сорокина? Идея времени – сортир.

– А что если наша жизнь сейчас по большей части стала сортиром, как ни страшно это звучит?

– Писатель призван изменять жизнь. Вам нравится «Война и мир»? Да? А почему? Разве там все написано так, как было на самом деле? Конечно, нет. Толстой так подал материал, так его осветил, так сгруппировал, что вы не хотите ничего другого признавать, кроме того, что есть. Вы же не делаете акцента, допустим, на том, что Николай Ростов ездил к своей даме на Пречистенку. Толстой ввел это просто как необходимую черточку Ростова.

– Если непечатная лексика в литературе уже была, то почему все-таки не было ее засилья?

– Просто раньше это считалось неприличным, понятно? Неприличным. Как неприлично, извините, портить воздух в присутствии других людей. А сейчас, когда демократия, все прилично, все разрешено. Даже врачи советуют: не сдерживайте, пожалуйста, газы, которые вас мучают. Нужно их выпустить – и тогда вам будет легче. Вот и выпускают...

– То есть легализация мата – процесс не литературный, а социальный?

– Конечно.

– Какие вам вообще видятся перспективы союза «человек – книга»?

– Я не вижу этого союза. Я вижу другое: как книга постепенно уходит от человека. Книгу выживает кино. Книгу выживает радио. Книгу выживает телевизор. Сейчас книгу выживает еще и компьютер.

– Перспективы для книги безрадостные?

– Да, я думаю, что ее роль будет уменьшаться, пока наконец молодой человек, состарившись, не поймет, что самый лучший источник – это книга. Ни кино, ни телевизор, ни компьютер не могут ее заменить.

– Получается, что уменьшается сфера влияния книги, но сохраняется ее нравственная роль в жизни человека?

– Совершенно верно.

– Это никакое время отменить не сможет?

– Нет. Время может отменить дыхание, а? Ну вот.

– Специально для журнала «Союзное государство» можно пару вопросов?

– Пожалуйста.

– Как вы относитесь к Белоруссии?

– Мне симпатична эта страна, этот народ. Правда, там достаточно серьезно польское влияние, чем, к сожалению, пользуются американцы.

– Россия и Белоруссия: с исторической точки зрения этот альянс положительный или отрицательный?

– Положительный, конечно. У нас много общего: один язык, одна вера.

– С верой, наверное, не так просто, ведь в Белоруссии есть и католичество (то же влияние Польши разве сбросишь со счетов?), и протестантизм?

– Большинство жителей этой страны православные, значит, вера у нас общая.

– Ну, а какие еще моменты, по вашему мнению, свидетельствуют о нашей общности, родственности?

– Мы вместе пережили, выстояли самую страшную войну в истории человечества. Войну против России, против славян прежде всего. И белорусы, может, больше всех испытали на себе ужасы этой войны. Но и фашистам в Белоруссии не поздоровилось: с Брестской крепостью и нашими партизанами они ведь там повстречались. Это не Украина, где гитлеровцев с хлебом-солью встречали.

– Как вы относитесь к Лукашенко?

– Хорошо отношусь, нравится он мне.

– Как вы думаете, возможно в перспективе объединение России и Белоруссии в одно государство?

– Думаю, нет.

– Почему?

– Это невыгодно для Белоруссии. В составе России она вряд ли сможет существовать так, как сама считает нужным. Я вижу перспективным союз России и Белоруссии как двух братских, дружеских государств, а не вхождение Белоруссии в состав России.

– Но ведь Запад может задавить Белоруссию как самостоятельное государство.

– Не задавит.

– Почему?

– Россия не позволит.

– Николай Иванович, что вас радует в жизни?

– То, что я живу. Что я дышу.

– А если жизнь связана со страданием, с унынием?

– Что такое уныние, я не знаю.

– Счастливый человек. Вас радует просто присутствие на Земле?

– Да, я рад тому, что снег пошел. Тому, что вечер наступил. Что солнце встало. Этому я рад, очень рад. Тому, что вы пришли. Тому, что у меня есть такой ученик, который хочет быть доктором. Не меньше. <...>

Я РОДИЛСЯ В МОСКВЕ...*

Я родился в Москве, в Неопалимовском переулке, крещен в церкви Неопалимой Купины.

Папа был самый непутевый человек... Уж если он мог вторым браком жениться на девушке, которой было 17 лет!.. Ему уже было 58 или 60. Расторгнуть в те времена предыдущий церковный брак было невозможно, как вы понимаете. Поэтому я и ношу фамилию своей матери, Марии Романовны Либан. А мать моя, Мария Романовна, – дочь присяжного поверенного Романа Иосифовича Либана. А Роман Иосифович и Евгений Иосифович – дети виконта Либана, полковника французской армии, который объявил Эльзас независимой республикой. Эльзасцы ведь это не французы, это какая-то смесь французского и немецкого. Полковник Либан был казнен, лишен всех орденов, званий и состояния, а вся семья его выслана в Россию. А в России сыновья его учились в Варшаве, в университете на юридическом факультете, а дочь училась в Петербургской консерватории.

Фамилия отца была Лавров. Как я уже сказал, это был самый непутевый человек. Он кончил шесть факультетов. Лица, получавшие университетское образование, автоматически удостаивались личного дворянства. Основная его специальность была финансист, юрист. Одно вре-

* Печатается по Сб. Филологический факультет МГУ 1950–1955. Жизнь юбилейного выпуска (Воспоминания, документы, материалы). – М.: Редакция альманаха «Российский Архив», 2003. Печатается с изменениями.

мя он даже был товарищем председателя Крестьянского банка, товарищем председателя Купеческого банка. Он постепенно разорял дворянские банки.

Еще он был историком и филологом. Но, по-моему, он вообще ничего не писал. А что касается филологии... филологическое образование считалось общеобразовательным. Его получали для хороших манер.

Мама у меня была замечательная. Когда отец умер и она осталась вдовой, первое, что она сделала, она организовала бесплатный детский сад для детей рабочих. Он существовал до 17 года. А потом ее выгнали из заведующих, сад передали Наркомпросу. И она продолжала работать там воспитательницей. А через пять лет ее выгнали и вообще, потому что комиссии не понравилось, что дети пели что-то вроде «В лесу родилась елочка...» Ее спросили: она человек религиозный или нет. Она сказала: «Да». И комиссия вынесла решение, что религиозный человек не может воспитывать детей.

Она обратилась в какой-то комитет профсоюзный и встретила Миленчанскую, крупный профсоюзный деятель, которая стала интересоваться, в чем дело. Мама ей все рассказала. Та говорит: «Какая вы счастливая женщина, что у вас есть Бог в душе. Вот если б у меня был, я была бы счастлива». А у Миленчанской была трагедия – у нее была девочка-идиотка. «Я вам найду работу». И она определила ее в РИО ВЦСПС, редакционно-издательский отдел. Но там тоже не нашлось места, в конце концов, по-видимому не без участия Миленчанской, ей нашлось место в книжном магазине. Директором его был Демидов, такой писатель был, из крестьян. «Мне, – говорит, – очень нужен заместитель, но чтобы был честный». «Ну, вот есть такая, – ему говорят, – но только плохо, что она в Бога верит». «Нет, – говорит, – это как раз очень хорошо».

Семья была религиозная. В этой семье была моя бабушка, двоюродная или троюродная, я уж не знаю, Александра Дмитриевна Хаецкая, урожденная Себелева. Ее муж был сын польского революционера Хаецкого. Вот она-то

и была заправилой в семье. И когда пришло «безрелигиозное воспитание», она сказала: «Хорошо. Ну, вот пусть он подрастет. А пока он будет изучать историю у Бахрушина». Это был известный профессор Московского университета, племянник того, который создал музей (он жил в Денежном переулке, в собственном доме).

Несколько раз я стоял посошником с патриархом Тихоном. Посошник – это мальчик, который в стихаре держит посох Владыки. Он служил у нас в церкви Покрова в Левшине, и, конечно, он никогда никого не брал с собой в помощь, а только двоих иподиаконов.

Религиозное воспитание я получил в церковной школе протоиерея Георгия Чинова. Она просуществовала до двадцать пятого года, в Москве, в Мертвом переулке в церкви Успения на Могильцах. Чинов был главным бухгалтером, то есть, по-нашему, главным экономистом «Кожтреста». Он был вообще человек очень образованный, владел шестью языками, сам вел переписку со всеми, как теперь говорят, фирмами, которые покупали у нас кожу. Русская кожа – одна из лучших. И в то же время он был настоятелем церкви Успения на Могильцах. Произносил замечательные проповеди. У него-то я научился говорить. Он был полиглот. Если он в Сорбонне мог читать «Историю христианства»! Понимаете, русский поп в католическом центре читает историю христианства! А потом что было с ним? Потом ему предложили снять сан и оставаться на старом месте. Он отказался. Ну, тогда, естественно, его «сократили». Но это для него был не удар. А вот когда через три года его церковь закрыли, для него это был удар! Жена купила ему дачу, чтобы он там жил. Но это уже была жизнь-угасание.

У меня детство было счастливое. Счастливое. Необыкновенное. Мы жили в Москве, в Денежном переулке. Я родился в 1910 году. Так что я учился в советской школе, в бывшей женской Хвостовской гимназии. Во время революции научные работники решили сделать для своих детей школу – не единую трудовую, а подобную гимназии.

Так что у нас в школе преподавался латинский язык. Преподавал Шендяпин. Куницкий преподавал физику. Он знаменит тем, что учил Леваневского летать по звездам. Он был доктором наук, даже членом-корреспондентом Академии наук, по-моему. Затем профессор Баев, астроном. Георгий Иванович Фомин, преподаватель русского языка и литературы, воспитанник Московского университета, и он кончил потом Шелапутинский институт (идея этого института состояла в том, чтобы подготавливать директоров и инспекторов школ). Альма Юльевна Островская, француженка. Василий Григорьевич Колесов, биолог. Это очень колоритная фигура. Сын ломового извозчика, который кончил университет и попал вот в такую школу, в которой часто преподаватели в учительской говорили по-французски или по-немецки. Еще помню Елагина, географа, совершившего путешествие вокруг света несколько раз. Самый яркий и самый любимый преподаватель – Фомин. Потом мы очень сблизились. Это уже после окончания школы, когда я работал в университете. Я его разыскал. Очень часто бывал у него дома, иногда он заходил ко мне домой...

На мое мировоззрение влияла одна из моих школьных учительниц, она же – врач, она же – географ, агроном. Не удивляйтесь, для этого поколения окончание пяти-шести факультетов – это не исключение. Варвара Сергеевна Смирнова. Замечательный человек! Она прошла всю войну 14-го года полковым врачом. Я с ней очень много путешествовал по России – Ярославль, Владимир, Суздаль. Это восьмые-девятые классы так называемого «спецуклона».

В этой школе я учился с первого по седьмой класс. А потом спецшкола. Вернее, тогда называлось это спецуклон, «общественно-педагогические курсы». Это восьмой и девятый класс.

Я сбежал в восьмом классе юнгой на корабль. Мальчишке нужно мужество – я и убежал. Мама плакала и молилась. Маме доктор говорил: «Не волнуйтесь вы,

ангел мальчишкам соломку подстилает, а иначе все б их головы полетели...» Я сказал, что я еду корреспондентом «Пионерской правды», уговорил Женьку Долматовского, чтобы он дал мне такое направление. А потом, когда я в Архангельск приехал, меня, конечно, никто не брал никуда. А потом какой-то старый матрос мне сказал: «Брось ты эту бумагу!» Он еще энергичнее выразился... «Тебя никто не возьмет с ней. Вон в Мурманске нужен мальчишка – поезжай туда». Я кое-как добрался до Мурманска. Меня взяли на научно-экспедиционное судно юнгой. Вы знаете, что такое юнга? Мальчишка на побегушках. Мне тогда было лет четырнадцать или пятнадцать.

Я вернулся через год. Дошел до Шпицбергена – на воде не плавают, а ходят. А когда мы вернулись обратно со Шпицбергена в Архангельск, капитан подозвал меня и говорит: «Ну, вот что. Я тебе дам бумагу, тебя примут в школу штурманов дальнего плавания. Понимаешь, как это важно!» Я говорю: «Да-а... я хочу поступать в вуз». «Плюнь ты на это! Что тебе вуз? Кончишь ты вуз, что ты будешь... учителем, бухгалтером? А капитан дальнего плавания – всегда человек». Выписал мне зарплату, что я заработал за это время, и отпустил меня...

Первую работу я нашел на Брянском вокзале, когда грузил дрова и натянул себе грыжу. А потом устроился разнорабочим в типографию «Искры». Я поступал в университет, между прочим. После окончания школы меня никуда не принимали. Нужен был рабочий стаж. Тогда была совсем другая система поступления, чем сейчас. Подавали документы в Мандатную комиссию. И Мандатная комиссия отбирала: кого можно допустить до экзаменов, а кого нельзя допустить. Так что меня первое время даже не допускали. Не член профсоюза. Не член комсомола.

Здесь был анекдот. Я работаю разнорабочим во дворе. Тут влетает парнишка: «Ты бы мог работать корректором! Что ты здесь корячишься?» Я был очень доволен: меня взяли в корректорский отдел, научили корректуре.

И я пошел поступать в университет. Но это считалось работой служащего, не рабочего. Погорел. Видите, как...

Я потом поступил в пединститут. Таких горевых, как я, было много. У меня в классе был товарищ, Даня Шуб. Жил он трудно, его отец был репрессирован: он был членом «Бунда», очень крупный экономист. Даня ко мне приходит и говорит: «Коля! Ты знаешь, я нашел место, где нас будут учить! Открылся пединститут по повышению квалификации учителей». Я говорю: «Как! Ведь я не учитель». – «Ты ведь все время даешь уроки». (Я давал уроки по литературе, по истории, географии.) Я говорю: «Меня туда не примут». – «Не беспокойся. Меня уже приняли. Я студент первого курса и договорился о тебе. Иди к декану Алле Львовне Каплан». Принес я все документы, которые не были приняты в университете. «Идите, – говорит, – в 68 аудиторию, я внесу вас в списки». Я говорю: «Как?!» – «Ну, вот так». А потом этот институт повышения квалификации обратили в Московский городской педагогический институт. Сперва он был без всякого имени, а потом ему дали имя Потемкина.

Был там замечательный профессор Ревякин Александр Иванович, он первый обратил на меня внимание. Когда я окончил этот институт, он мне говорит: «Попадайте в аспирантуру, я вас беру». Я говорю: «Александр Иванович! Я хочу в аспирантуру ИФЛИ». Он отвечает: «Хорошо. Я вам напишу рекомендацию». Ну, вот я и поступил в ИФЛИ. А ИФЛИ во время войны влили в университет. Вот как я оказался в университете.

Сдаешь экзамен – попадаешь в аспирантское объединение, и там Валериан Федорович Переверзев тебе предлагает темы. Я выбрал «Русский исторический роман».

Семинар Переверзева по XIX веку – самый впечатляющий, самый интересный. Кстати, Переверзев не окончил курса университета (он учился на естественном факультете). Он все время сидел в тюрьме – пять лет в царской и семнадцать в советской. Умер, впрочем, на свободе. Он был меньшевик.

Древнерусскую литературу в ИФЛИ преподавал Михаил Несторович Сперанский. Но потом отказался от преподавания, подав письмо Бубнову: студенты на таком низком уровне, что им нужно в сельской школе учиться, а не в вузе. – «Я прошу Вас перевести меня на должность переплетчика». И его отчислили. Еще приходит на ум имя Геннадия Николаевича Поспелова.

Я чуть было не сказал, что не было значительных семинаров в МГУ... Был семинар Бонди, безусловно. Может быть, семинар профессора Николая Леонтьевича Бродского по кафедре русской литературы – у него бывало до шестидесяти человек на семинаре!

На кафедре русского языка, конечно, Дмитрий Николаевич Ушаков – я слушал его лекции. Русский барин. Человек был гармоничный. Конечно, назову романиста Максима Владимировича Сергиевского. Он никаким ораторским талантом не обладал, но он был очень умным. И лекции его отличались умом и только! И поэтому, что бы он ни говорил, все было очень интересно и значительно. А германист – Александр Иванович Смирницкий!

Артистичность – это слово, которое имеет много значений. Филолог не должен быть артистом, ему это мешает. Впрочем, иногда получается очень хорошо. Вот, был Федоров, не Коля Федоров, классик, а «маленький Федоров», Анатолий, зарубежник, блестящий лектор, он кончил театральное училище при Камерном театре, в театр его не взяли из-за маленького роста, а вот лекции он читал замечательно. Костя Цуринов тоже очень, очень талантливый был лектор, но вот где талант, где болезнь, иногда трудно было различить. Но самым артистичным человеком на факультете была тетя Поля – уборщица, которая гоняла студентов по коридорам.

В университете не было хороших лекторов, если не считать Александра Ивановича Белецкого, который случайно попал в университет во время войны.

Аракина я знал очень хорошо. Досадно, что Владимир Дмитриевич Аракин ушел из университета с англий-

ской кафедры: его расхождения с Ахмановой, в сущности, не должны были отразиться на манере преподавания этой дисциплины. Ахманова боролась за свою лингвостилистику, которая всюду «проникла», в результате, конечно, студенты хуже знали язык, хуже его усваивали. И жалко, что вся энергия Владимира Дмитриевича была направлена только на пединститут, в котором он так успешно, много и долго работал. Университет потерял такого замечательно-специалиста, блестящего педагога и большого ученого. А ведь Аракин учился в Военно-исторической Академии до революции! Его путь был – путь дипломата, которым он не стал. Ну, и Академия была закрыта.

Из лингвистов же хочу вспомнить о Михаиле Николаевиче Петерсоне, который первым стал читать в университете индийскую филологию. Первый-то курс его был литовский язык. Вера Александровна Кочергина – его любимая и самая талантливая ученица. Она и у меня в семинаре тоже училась.

Евгения Федоровна Гринева была очень симпатичная женщина, заведовала кафедрой французского языка, а потом «смутилась» тем, что надо было ехать за границу, – уехала и потеряла кафедру. Клавдия Александровна Ганшина была хорошей преподавательницей французского языка.

Хочется мне сказать о Леониде Григорьевиче Андрееве. Умен. Волевой человек. У него все конечности во время войны были обморожены. Вот где болезнь преодолевается знанием, наукой! Вот была у меня такая теория: почему все силы, которые бросает организм на борьбу с болезнью, не бросить на борьбу за знания? Тогда эти силы будут заглушать болезнь. Такие больные какое-то время живут полноценной жизнью, но потом все равно погибают. И таких людей достаточное количество на филфаке, у которых интеллект побеждает природное заболевание. Но это дело психолога.

Кафедра славянской филологии была захудалая. Прежние все были переарестованы тогда за то, что уча-

ствовали в журнале «Slavia». А из новых – Селищев! Тоже очень крупный ученый.

Из классиков я помню Дератани. Он был подтянутый, аккуратный. Но губительный отзыв Грушки так и остался на всю жизнь за ним. Дератани написал текст диссертации на латинском языке и защищал ее на латыни. А Грушка сказал, что «здесь много пота, но мало таланта». Вот это для истории! Он таким и был: «много пота»... Конечно, помню Радцига, Попова, Шендяпина... Леонида Петровича Богоявленского, эллиниста и латиниста. Александр Николаевич Попов был прекрасный преподаватель, у него до революции была своя частная гимназия на улице Знаменка, которой он был и владельцем, и директором, он мне много о ней рассказывал. Он был не только классик, но и русист, более всего интересовался Островским и Алексеем Константиновичем Толстым, любил Полонского, Майкова. Кроме того, он был заядлым театралом, сам играл в молодости в спектаклях и до конца жизни оставался любителем театра.

Валентин Фердинандович Асмус – это научный соперник Лосева¹. Соперник в каком смысле: это две фигуры! Валентин Фердинандович был вообще человеком очень воспитанным, но цену себе он знал. Я помню, как одна дама сказала Асмусу: «Так хорошо вы читаете!» Он ей ответил: «Это вам так кажется, потому что не с кем сравнивать». Он на филфаке читал, но не логику, которую он читал на философском, а, кажется, историю философии.

Значительные личности: Владлена Мурат, Валя Мирошенкова, однокурсница Мирошенковой – Нина Клячко, которая вышла замуж за Шендяпина, а позже уехала в Израиль.

Из моих учеников настоящие филологи – Ирма Павловна Видуэцкая, Лидия Опульская, она, правда, больше у Гудзия училась, но иногда ко мне заглядывала.

¹ В середине 50-х годов на даче Н.И. Либана в Домодедове Лосев работал над книгой «Античная мифология» – (примеч. сост.).

Фольклористы – это Эрна Васильевна Гофман-Померанцева, блестящий фольклорист, образованный человек, тоже полиглот, она, несчастная, страдала от своего происхождения в те времена – она была немкой. Ее подруга, Софья Исааковна Минц-Семенова, была очень хорошим фольклористом. Главой фольклористики был Юрий Матвеевич Соколов, он создал кафедру фольклора в университете, и кафедра состояла из двух человек – он и Эрна Васильевна.

...Помню Валентину Александровну Дынник. Настоящая светская дама – в обращении, в одежде, в походке, в разговоре. Сегодня дам много – валетов нет! И поэтому тяжело быть дамами. Очень.

Из молодых помню Марка Щеглова, он был моим студентом. Нужно сказать, что к биографии Лакшина надо прибавить его близость с Марком Щегловым. Был такой Щеглов, очень талантливый человек, инвалид, у него был поврежден позвоночник, он лежал. У Щеглова была масса идей, интересных мыслей. Я его знал потому, что некоторое время был замдекана по заочному обучению, я его принимал в университет, а потом участвовал в его судьбе. Он писал об Ахматовой, что-то о советской литературе. Он занимался в семинаре у Гудзия, там же, где занимался и Лакшин, отсюда их знакомство. Лакшин его водил на концерты, в консерваторию.

Яркий был человек, погиб от своей болезни очень рано.

Помню Славу Грихина. Совсем не реализовался. Времени не хватило, а был очень талантливым человеком.

У Турбина хороший был семинар. Турбин был для меня, так же как и Марк, тоже мальчишкой. Ну, в моих глазах он так и остался мальчишкой: фантазер, положительных знаний у него было очень мало. Оригинал. В меру это хорошо. А он был не в меру, нет. Вот он очень любил Поттебню – но не знал материала, которым владел Поттебня. Почему? Потому что Поттебня был полиглотом! Ведь что подводит современных филологов? То, что они «народ

одноязычный», – знает он, допустим, один язык или два языка, и ему кажется, что он уже все понимает, а здесь сотни языков, буквально! Когда читаешь, например, А. Веселовского, надо все время обращаться то к одному словарю, то к другому, то к третьему. Это россыпь языков.

Разделение филологии на литературоведение и лингвистику – это неправильно, это страшная ошибка! Потому что лингвисты не читают художественного материала, попросту говоря. Я помню, как Самуил Борисович Бернштейн хвастал, что не дочитал до конца «Войну и мир», так роман ему надоел. А древние языки нужны всем филологам. Отсутствие их в образовании для всех филологов не то что губит филологию, а обедняет, обедняет до невозможности.

Филология – это наука. Очень большая! Очень значительная. Почему считают, что это не наука? По очень простой причине: потому что этой наукой овладеть чрезвычайно трудно. Ох, очень много нужно для этого. Подготовка. Память. Усидчивость. И... немножко таланта. Филология именно отличается умом. Без ума там ничего не сделаешь.

...Человек, который кончил историко-филологический факультет, вовсе не обязательно шел преподавать в гимназию. Хотя гимназический преподаватель был очень хорошо обеспечен. Он получал квартиру. Он получал жалование. Он получал награды. Он получал чины. И государственную пенсию. Учитель гимназии занимал почти такое же положение, как врач, хотя был куда более обеспечен, чем врач. Правда, тогда была градация: в гимназию поступить на службу было трудно, только выпускникам университета достаточно легко. А были еще городские училища – это совсем другое. Потом гимназии были разные – мужские и женские. Положение учителя женской гимназии было совсем не такое, как мужской. Хуже. Это было другое министерство – Министерство императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III. Женские гимназии были негосударственными, а мужские –

государственными. Женские так ведь и назывались «мариинские» – везде, по всей России. Но зато в женских гимназиях были свои привилегии: другие награды, забота о родственниках. Какой-нибудь там Петр Иванович, который преподает музыку в женской гимназии, мог рассчитывать на то, чтобы детей его большой семьи куда-то пристроило Министерство Марии Федоровны, в институты, в пансионы. Не только классики на филфаке, Радциг, Попов, Шендяпин, были гимназическими учителями в прошлом. А вот Сергиевский, о котором я говорил, был первым избранным директором Второй московской гимназии – его избрал коллектив. Я не помню, в семнадцатом или восемнадцатом году. А до этого только назначались, а министр представлял царю кандидатуру каждого директора, по всей России!

...Редактор – очень нужная профессия. Редактор – это все равно что дирижер в оркестре: он должен все расставить по своим местам. Автор написал. Очень часто бывает, когда автор написал, что-то он по-своему сделал. И это «по-своему» вовсе не всегда хорошо. К тому же автор всегда находится под каким-то влиянием. А редактор все это видит, может даже что-то вычеркнуть, может автору указать на неудачные места. Редактор, в сущности говоря, часто бывает соавтором. И в этом нет ничего плохого! Ирма Видуэцкая – выдающийся редактор, вообще выдающийся человек, безусловно; замечательный редактор Лидия Опульская.

...Все ученики, которые у меня учились, любимы мною. Все без изъятия. Часто брал неспособных и делал людьми.

Это ерунда, что «раньше были лучше студенты, сейчас они стали хуже». Да ничего подобного. Я Вам должен сказать, что это не студенты стали меньше читать, а все стали меньше читать: компьютер, телевизор, конечно, парализовали чтение. Чертов ящик. Допустим, «В мире животных» – прекрасно, «Подводные путешествия Кусто» – тоже очень хорошо.

В свое время я был суровым экзаменатором. Вы знаете, послужило перемене во мне совершенно ничтожное событие. На меня пожаловались. И не кому-нибудь, а ректору, Ивану Георгиевичу Петровскому. И Петровский вызвал меня к себе и говорит: «Вот, Николай Иванович, вы знаете, на вас жалуются, совершенно невозможно с вами заниматься, вы так суровы». Я говорю: «Так что, подать заявление об уходе?» – «Да нет, ну, что вы! Вы только поймите, что ведь вы ставите отметку-то не ему, вы отметку ставите себе. У нас ведь “штучное” производство: чему научил – то и получай. Так что я не прошу вас снижать требования к студентам». Я говорю: «А вы просите, чтобы я повысил требования к себе?» – «Я этого не говорю» – «Но ведь логика вашего рассуждения такова?» – «Совершенно верно, такова». И этот разговор меня заставил подумать о многом.

...Я думаю, мой курс «Древнерусской литературы» был удачным. Но не менее удачным, с моей точки зрения, был курс «Вторая половина XIX века»: Герцен, Тургенев, Толстой, Достоевский. И революционные демократы: Помяловский, оба Успенских, Левитов, Решетников, Воронов, которого я ввел в литературный обиход и которого вообще обходили и не знали. Это бульварный роман, массовая литература, литература на потребу дня. В ней есть своя ценность. «Петербургские трущобы» сейчас экранизируют, их смотрят. И они, действительно, смотрятся увлекательно. Ничуть не хуже этих американских... Но это наша историческая жизнь.

Из бульварных писателей интересны Салиас, с его бесконечными романами, Мордовцев... А Боборыкин – это уже не массовая литература, это уже серьезная. Это соперник Толстого. Но он больше всего исторические факты излагает. Он историк, и это ему очень мешает. Он не интрижен.

Самое интересное для меня в этих писателях было то, что классики-то из них многое ценное «вытащили», а первоисточник забыт. Они создали язык второй полови-

ны XIX века – Достоевский, думают, выдумал слово «кровиночка». Макар Деушкин пишет: «Кровиночка ты моя». Это не Достоевский выдумал, это у Решетникова мелькнуло, а Достоевский только ухватил. Классики очень многие находки языка заимствовали у тех, кого мы уже не читаем и считаем, что все это «мусор». А на самом деле это тот самый мусор, из которого мастера-то брали!

...Лесковым я стал заниматься давно, очень давно. Я его считаю наиболее русским писателем – в том смысле, что у него все построено на слове. Это писатель слова. Его не столько интересует сюжет, образ, герой, сколько его интересует звучание слова.

Трудный он писатель. Трудный для понимания. У него никогда не знаешь, что хорошо, а что плохо. Достоевский проще, и Толстой проще. И в смысле языка они проще. У них все работает на психологии героя. А у Лескова все работает на психологии слова. Мне кажется, что картина духовенства, которую он изобразил, не должна оскорблять чувства религиозного человека. У него очень хорошее размежевание: религиозные чувства и – клерикальный мир. Он этого не путает.

Сейчас какое-то измельчание в русской науке. Как оценить ее состояние? Я расскажу вам очень хороший анекдот. В начале революции очень любили анкеты. И вот старому еврею дают анкету, а там – первый вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» Он думает, думает и пишет: «Сочувствую, но ничем помочь не могу»... Я в курсе современной науки, и все время был в курсе. Но это все-таки не наука: в науке должна быть своя терминология, в первую очередь. А этой терминологии нет...

Формализм – Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум – это очень хорошая вещь. И многие современные статьи – это просто пересказ того, что было открыто в этой области в конце 20-х. Это крупное явление. Но однобокое. Это все только форма.

Какая плохая литература – советская и постсоветская! Там, где они немножко смотрят на классику, что-то

получается, как Трифонов, например, он хороший писатель. И все-таки, в глубоком смысле, это перепев того, что уже было. Там заниматься-то нечем. А из эмигрантской литературы я прежде всего называю Бунина. А Куприна даже не назовешь и эмигрантом! Шмелев – это большая литература. Набоков – это трагическая личность! Это настоящий художник, не обретший почвы. Вообще нельзя быть писателем на чужой земле. Он писатель. И писатель величайшей литературы, которая не сделалась величайшей! В этом трагедия. Она величайшая по потенции, но не по действительности. Сделано ли в исследовании этой области что-то значительное? Не знаю. Думаю, что нет. Когда-то Алексей Георгиевич Соколов занимался этим периодом, но всегда был связан политическими соображениями. Да и сейчас никто ни от чего не освободился.

«Я ПЕРЕЖИЛ ТРИ ВРЕМЕНИ...»*

[О семье, детстве и юности]

Род наш путаный. Несчастный род – по судьбе.

Бабка моя, Юлия, сбежала с французом. Все бросила. Потом ее француз бросил и обобрал. Когда она вернулась, отец, Роман Осипович, сказал, что не хочет ее видеть, дал денег, и она ушла к матери, Анне Меркурьевне (она жила своим домом).

Роман Осипович – адвокат, товарищ знаменитого Плевако.

Младший сын Юлии и брат Марии Романовны (моей матери) пристроился около нее. Когда надо было идти на войну 1914 года, Сережа был очень огорчен, что нет женщины, которая бы его благословила. Он погиб на войне.

Старшую сестру, Нину Романовну, загрызли волки. Ей было 24–25 лет. Она была атеистка, революционерка-народница. В рождественский сочельник стала учить крестьян безбожию. Они ее выгнали, а по дороге ее волки разодрали.

Мария Романовна, моя мать, вышла замуж в 18 лет. Она была красавица. По существу, это была продажа. Ну, что такое гражданская жена? Она же никаких прав не имеет. Мария Романовна училась в Харьковской гимназии и за отличные успехи награждена книгой Авенариуса «Отроческие годы Пушкина». Книга эта у меня сохранилась в очень хорошем состоянии.

* Запись бесед В.Л. Харламовой-Либан, 2005–2007 годы.

Мои сестры, Оля и Маруся, умерли маленькими.

Мой прапрадед по линии Марии Романовны – епископ Иоасаф Горленко (Белгородский). Он епископствовал на юге Украины.

Александра Дмитриевна Себелёва – моя дальняя родственница по матери, Марии Романовне. Наставница, друг. Демократка. Смолянка. Училась в Смольном институте вместе с Коллонтай. Но в знак протеста (был бунт смолян против деспотизма) ушла из Смольного, а Коллонтай осталась.

Мария Романовна была очень робким человеком. Она всю жизнь всего боялась. Была очень добрая, хорошая, исполнительная, но всего боялась. А Александра Дмитриевна была совсем не робкая. Она владела гипнозом, все умела делать. Со мной была очень ласкова. Но в первый раз, когда я не пришел ночевать, она меня сильно по щекам отшлепала.

Я был застенчивый мальчик. Потом я стал нахальный.

Однажды на меня пожаловалась прачка Нюша. Мне было 7–8 лет. Я сказал ей, что она хамка. Ох, какую я получил взбучку от Александры Дмитриевны! Нет, меня не били. Но словесная была взбучка. Мне доказали, что тот, кто так говорит, сам является хамом. А ведь на всю жизнь запомнил!

Жаль, что ты не увидишь Панпушко Михаила Васильевича, генерала артиллерии. Это был бы мой крестный отец, но он заболел, и вместо него был дьячок. Панпушко жил в том доме, где и мы. Он был очень высокий, такая громадина, вот как этот туалет. Его переехало орудие. Шли полевые занятия. Он не рассчитал и вовремя не выскочил из-под орудия. От боли он сошел с ума. Год он был сумасшедшим. Но он был человек такой физической силы, что брал лошадь за передние ноги, как мы собаку. Настоящий богатырь! Он все это перенес, остался жив и через год вернулся на военную службу. Он мало разговаривал. Их было семь братьев, и все генералы. Один из них

изобрел химические отравляющие вещества. Ему поставлен памятник в Петербурге. Самый молодой, Владимир, тоже был огромный. Очень хорошо сложен. Красивый, стройный, выточенный. Он приходил к нам оставить сундук с вещами. Накануне революции он получил генеральский чин, но тот уже был никому не нужен.

Революция дала детям футбол. Это очень организовывало. Знали иностранные слова (например, офсайт), выучивали их и этим щеголяли.

Мальчиком я был посошником патриарха Тихона. Это приятно, красиво. Ты узнаешь, что такое молитва. Я боялся, что мои одноклассники на меня наговорят, но они боялись сделать мне дурное, и никто ничего не сказал.

Варвара Сергеевна Смирнова – учитель, врач, биолог. Закончила 5 факультетов, училась в Сорбонне. Очень сильный, добрый человек. Спасла меня в тяжелую болезнь. Выходила. Религиозный человек, переживший атеизм. Характер крутой (из рода Скуратовых). Варвара Сергеевна – педагог, имевший огромное влияние на мои представления, на мой внутренний мир и на мое интеллектуальное развитие. Под ее руководством я прочитал много книг, и еще больше я узнал от нее об авторах этих книг. Она была человек исключительной образованности. Не то важно, что она кончила пять факультетов и училась в пяти иностранных университетах, а то важно, что она понимала, что значит наука, что значит внутренний мир человека, как человек складывается в личность – вот это, конечно, было самое большое. Я с ней путешествовал по всей России.

По России я был почти везде: Киев, Киево-Печерский монастырь, Крым, Одесса и вокруг. Кавказ, Тифлис, Ереван. Новгород Великий. Псков. Волга. Самара, волжские города. Архангельск. Вологда. Кирилло-Белозерский монастырь. Карелия. Петрозаводск. Алтай¹. Тайга. Ярославль. Соловки. Владимир. Суздаль. Орел, Курск.

Желание знать Россию – это очень развивает.

¹ См. в настоящем издании С. 458.

Стихи, сочиненные мною в 15 лет:

Утонувши в паутине синей
Куполами золотой листвы,
Пробегают мысли юные,
Как весенние цветы. <...>

Остановились мечты
Здесь эмигранта молодого,
И уязвили две иглы
Страдальца русского народа... <...>

Москва – его родимый город,
Он здесь родился, здесь умрет. <...>

Бог спас меня от этой каторги – эмиграции.

Каждый день старею и старею,
Каждый день желтеет кожа рук,
И по-прежнему уж больше не смеется
Голубой овал усталых губ. <...>

У нас был литературный кружок. Мы издавали рукописный журнал «Начало». Туда входили братья Долматовские, Николай Коголь, я, мой друг Колосов Дима, он напечатал там свою повесть «Побег».

У меня был большой рассказ «Рассчитали»¹. Я там Горькому подражал. А второй раз издать у нас переписчика не нашлось. На машинке мы не хотели. Нам казалось это некрасиво. Дмитрий Колосов был большой мой друг. Очень способный человек. Кончил географический факультет. Экспедиция на Север. Попал под облучение. Вернулся в Москву, но ничего нельзя было сделать. Ему было лет 25.

Брат Евгения Долматовского, Юрий, – художник-автомобилист. Проектировал автомобили. У них была чудная мать – Адель Марковна, она всегда всем помогала. Отец их был известный адвокат. Его посадили, сослали, квартиру на Гоголевском бульваре отобрали.

В школе я учился вместе с М. Садовским. Он еще мальчишкой чувствовал себя актером.

¹ См. в настоящем издании С. 437.

НАЧАЛО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СБОРНИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. ЛИБАНА.
СБОРНИК ИСПОЛНЕН Ю. ДОЛ-
МАТОВСКИМ И В. ГУРМАНОМ.

1928

Мы жили очень дружно. Друзья моей юности: Саша Каменский, Дима Колосов, Даня Шуб. Вместе мы были на Алтае. Алтай я пережил эмоционально очень тяжело. Это путешествие меня совершенно измотало.

Я вспомнил, как школу прогуливал. 6 класс. Второе полугодие. Как я собирался в школу? Клял в ранец книги, тетради, «торопился не опоздать». А сам гулял! Весна! Так я гулял долго. Пока на улице меня не встретил одноклассник. «Коля, почему тебя нет в школе?» – «А я гуляю. Вот послушай, как ручьи журчат, птички поют!» Он, конечно, послушал, но все рассказал матери, а она – школе. Я потом на второй год остался и уже слушал уроки, а не ручьи.

Я с детства не любил похороны. Всегда, когда надо было хоронить, я убегал. Я люблю живое.

Мой учитель, Георгий Иванович Фомин. Демократ. Кончил МГУ и был рекомендован в Шелапутинский институт инспекторов гимназий. Корпус охранителей. Его жена, Марья Николаевна Гидеонова, дочь директора императорских театров. Это была не пара. Брат Марьи Николаевны учился в Кадетском корпусе, где занимались революцией. Читали книги, сочиняли прокламации. Написали письмо Гидеонову. Он ответил: «Я вам поручил воспитывать сына Отечества, верните мне мальчика без идей. А если не можете, оставьте свое место». Директор корпуса решил не трогать Николая Николаевича Гидеонова. Дело замяли.

Меня, подростка, очень интересовал вопрос активного и пассивного протеста. Я носил мешчанский картуз. Это было подражание Георгию Ивановичу Фомину, учителю словесности. Я ему завидовал. Его никто не любил, кроме жены, аристократки. Он был худой, желчный. Надо всем смеялся так, как будто и не смеется. Мне нравилась его ирония и неприступность. Но у меня не получалось быть таким. Я думал, что доброта – это не качество мужчины. Но ты знаешь, свою натуру не переделаешь.

«Погасла свечка – исчезла чудная узбечка». Это сочинил Вас. Григ. Колосов, биолог школы, где я учился.

На Собачьей площадке был дом Хомякова. Я туда ходил с трепетом. Мое знакомство с ним давнее. С 5 класса. У него прекрасные пронзительные стихи о России, я полюбил их на всю жизнь:

С душой, коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

Сейчас там все снесли, растащили, поломали, бросили. Хомяков привлекал меня своей преданностью России, славянской идее. Хомяков и Чаадаев – антиподы. Хомяков переводил с французского языка «Философические письма» Чаадаева. А в историографии утвердилась тенденция, что славянофилы – реакционеры.

Когда мне было 15–16 лет, я работал в РКИ (рабоче-крестьянская инспекция). Я спасал проституток от их деятельности. Одна из них, Зинка. Я не дал ее выселить из Москвы и пристроил в библиотеку к Марии Романовне. Потом она стала работать в больнице. Надо мной они смеялись и называли «чудной». Через много лет, когда я попал в больницу и у меня была тяжелая операция, она мне там встретила. Узнала. Обрадовалась. Звала «чудной» и очень хорошо за мной ухаживала.

Я видел и Брусилова. На квартире генерала Доливы-Добровольского. Его дочь, Нина, училась со мной в одной группе на педагогических курсах (8–9 классы – спецуклон. Там же училась княжна Борятинская). Алексей Алексеевич Брусилов – генерал новой формации. Он отличался уже не огромным ростом, а умом. «Брусиловский прорыв» (война 1914 года) вошел во все учебники истории.

Нина Доливо звала меня к ним: «Коля, приходи к нам. Потанцуем». – «Ты же знаешь, что я не танцую». – «Ну, хорошо. Тогда посидишь со стариками. Они тебя очень любят. Говорят, что ты единственный приличный человек». Я пришел. Подходит один, я здороваюсь. Он такой весь в искрах: глаза искрятся, улыбка искрится. Это был Брусиллов. Он сказал, что в учебниках о нем правды нет – одни небылицы. У него была своя трагедия. Его сын, филолог, единственный специалист по языку майя. Он считал, что должен продолжить дело отца. Попал в «белые части». Они его зверски убили, отомстив за то, что Брусиллов перешел на сторону Советской власти.

В одном из московских переулков есть особняк, который был дан Брусиллову Советской властью. В него бросили бомбу. Сейчас там какая-то иностранная миссия. После смерти Брусиллова его жена не захотела жить в России.

Я работал в школе в Лужниках. Мне было 17 лет. Сначала это была привилегированная школа, потом стали привлекать крестьян. Это были очень хорошие дети, только неразвитые. Я преподавал русский язык, литературу, историю (5–6 классы). Когда наступило раскулачивание, один из мужиков, Парфен, не пошел в колхоз, не ушел из Лужников. Я к нему приходил, спрашивал, как он живет.

– Вот руки есть. Видишь, руки. Их не отнимешь.

– А животина у тебя есть?

– Вот, смотри!

И приводит зебру:

– Она может работать.

К нему пришел налоговый инспектор, стал требовать платить налог за лошадь. А Парфен говорит: «Это не лошадь. Это зебра». Через несколько дней инспектор опять пришел и говорит: «Вот смотри – справочник. Здесь написано: «Зебра – африканская лошадь». Плати налог!» Но Парфен платить не стал и зебру отвел в Зоологический сад, откуда ее и взял. Инспектор приходит:

– Где зебра?

– А я откуда знаю? Ушла! В Африке где-то шатается.

У нас в Левшинском переулке (рядом с Денежным, где я жил) дворничиха, когда детей звала, кричала: «Мури́, Клуди́, Серге́й, Нату́лий, Катерина! Обедать – щи есть!» Мальчишки выучили и передразнивали ее. Иногда сбегались и с Пречистенки, спрашивали, где пожар.

Это срам и позор, что Пожарский переулок, где сами камни говорят, что люди буквально ходят по истории, – и эта историческая Остоженка уничтожается.

Что значит «Хамовники»? Производство ткани, так же как и «Кожевники». Ткацкое, полотняное, скатертное дело.

Разве кто-нибудь думал в 1917 году, что через столько лет будут ставить памятники царям? [Открытие памятника Александру II у Храма Христа.]

[О Манеже]

Я родился в Москве и помню это здание, когда оно еще было непосредственно манежем – то есть местом, где гоняют лошадь на корте. Потом его перестроили: круг, который выходил в Александровский сад, срезали, сделали прямую стену и устроили гараж ЦК. Потом снова перестраивали, и одно время даже хотели снести, но здание отстояли, и тогда его приспособили к выставочному залу. Ведь здание само по себе очень привлекательное. На выставки я туда практически не ходил – не интересно было. Для выставок это мало приспособленное место. Оно, конечно, большое, но для выставки нужен свет, определенное направление солнечных лучей. А этого там нет. Самое интересное в Манеже – это его конструкция. Он построен без подпор. Там балка проходит через все здание – такой особый технический расчет, и она нигде не закреплена

гвоздями. Все держится на шипах. Это было прямо гениальное решение для начала XIX века.

В 35 лет я читал лекции для артистов Большого театра. Тогда я уже работал в МГУ. За лекцию платили 100 рублей, и это было много.

[О писателях и литературе]

Жуковский очень сильно влиял на Александра II. Жуковский завершает сентиментализм. Литературоведы не согласны: романтизм предпочтительней сентиментализма. Жуковский шире и выше. Само понятие «меланхолии» очень широкое. Веселовский в своей книге о Жуковском везде ищет клише. У него школа исторической поэтики – повтор выстраданных образов, формулы выстраданного чувства.

Все творчество Жуковского – молитва.

У Жуковского один талант – любовь к прекрасному. После Веселовского критические работы о поэте выглядят очень скромно. Почти не пишут о нравственной чистоте его таланта. У Жуковского одухотворенность, бесплотность. У него нет фамильярности, что будет потом, у Пушкина. Недаром за тем утвердилось, что он «похабник». Но он знал, что у Жуковского можно заимствовать («гений чистой красоты»). Жуковский много сделал для России.

Как все-таки чувствуется постепенное падение культуры. Пушкина читать не скучно. Не надоедает. Читаешь и не замечаешь, что читаешь. (Это когда он «дурака не валяет».) А у Гоголя уже временами скучно. У него большой талант, но с прорехами. От Пушкина до Гоголя – уступка демократизму, простоте. Пушкин ведь очень изысканный, изящный во всем. «Прекрасное должно быть величаво». Это его принцип. И того «горшка», о котором он говорит, он все-таки нигде не нарисует («щей горшок да сам большой»). Он нигде не уступает наплыву демократизма XIX века. И все было подано как новое качество.

Гоголю был не по силам его талант.

[Запись с лекции по литературе XVIII века.]

Зинаида Волконская – одна из интереснейших женщин России: она поэтесса, она певица, пианистка – вообще человек необыкновенной одаренности и необыкновенной красоты. Кто в нее был влюблен?

Студент: Царь, наверное.

Н.И.: Вы отвечаете так, как мужики в «Кому на Руси жить хорошо»: «Кому живется весело?» – «Царю!» Нет, ну что же вы. Я все-таки имею в виду круг литературных имен. В нее был влюблен поэт Дмитрий Веневитинов. У него был перстень, который Веневитинов хотел надеть либо на свадьбу, либо в день смерти. Когда он умирал, Хомяков надел ему на руку этот перстень. Веневитинов спросил: «Значит, я все-таки делаюсь мужем Зинаиды Волконской?» Тот ему сказал: «Нет». Веневитинов сказал: «Понял, все понял» – и умер. Это история одной любви, очень интересная. Я вам сейчас ее рассказываю не потому, что она мне случайно пришла на ум, а потому, что это всё – в русле таинственного, нераскрытого – масонского.

60-е годы XIX века. Россию тянет к национально-историческим обобщениям широкого масштаба. (Толстой, Герцен, Достоевский.) Не только Россию, но и всю Европу.

Когда я прочитал первый раз «Обломова» Гончарова, мне было 15 лет. Как мне стало жаль Обломова! И как я испугался, что я на него похож! А сейчас он у меня вызывает раздражение, хочется сказать: дурак, что ты делаешь? Роман написан очень хорошо. Язык! Ни одного лишнего слова. Диалог идет легче, чем у Толстого.

Как я завидовал Штольцу: ему давались науки, а мне не давались. Мой талант – это не талант, а судьба.

Русская жизнь не показала выхода из «обломовщины». Штолец – это не выход. Обломов умер спокойно, никого не потревожив, не нарушив спячки, которая была

вокруг разлита. Он даже как-то примирил жизнь «спящую» с жизнью «деятельной». И как это, в сущности, справедливо и трагично, что Ванечка уже в гимназическом мундирчике, а Андрей Обломов, наследник Ильи Ильича, – о нем вообще ничего не сказано. Штольц, наверное, не допустит, чтобы был еще один Обломов. У Ольги и Штольца не было детей, как у самого Гончарова.

Гончаров не дотрагивается до тайн религии, христианства. У него это только обрядовая сторона, праздники. И в этом смысле он ничего не разрушил, как Толстой и Достоевский.

Христианский социализм вырос из идей христианства. Потом народовольцы.

«Подпольный человек» вырос из мечтателя 40-х годов. Пройдет 20 лет, эта эволюция образа – это настолько точно!

Достоевский всю жизнь стоял перед вопросом веры и неверия. Он был верующий атеист. Он тот, кто мог сказать: «Господи, помози моему неверию». Достоевский – растленный писатель. Белинский написал: «Надулись мы с Достоевским». Повесть «Бедные люди» – глубоко гуманистическая вещь, а «Хозяйка» – там все держится на патологии, развращенной пошлятине, на сексуальных передрыгах, а от него ждали продолжения «Бедных людей». Это уже в ключе декаданса. Декаданс – это падение, извращение. Когда-то я был без ума от Достоевского. Я прочитал его от корки до корки. Я понял, что это страдающий писатель. И страдания свои он хочет передать читателю.

Когда читаешь «Войну и мир» – так хорошо написано! А другое у него скучно. Там такая жизнь прекрасная, замечательная. Это живая жизнь, но в ней нет патологии, сексологии. У Толстого не было «чистоты нравственного чувства» в жизни. Но свою мечту об этом, или идеальные

представления, он выразил в художественных произведениях. Это и есть диалектика. В жизни – одно, в искусстве – другое.

У Чехова лучше всего написан «Дядя Ваня». «Чайка» мне не нравится. «Вишневый сад» написан как пародия на дворянскую культуру, трагедию разорения. Чехов – демократ. Андрей Кончаловский очень талантливо поставил «Дядю Ваню». Очень гармонично, ничего лишнего. Это великая вещь, когда ничего лишнего. У Чехова хороши юмористические рассказы.

Я люблю стихи И. Никитина, Некрасова, Ал. К. Толстого.

Из поэтов я люблю Некрасова. Человек он был дрянной, а стихи писал хорошие.

Да, я вижу тебя, Божий дом,
И апостола Павла с мечом,
Облеченного в светлую ризу.
Выводи ж на дорогу тернистую,
Разучился по ней я ходить.

У Ал. К. Толстого мне очень нравится «Сон Попова»:

На маленьких салазках
Министры вниз летят.

Вот Юрий Лоциц – он христианин, и он это не растерял, не расплескал. А Б. Пастернак хотел быть христианином, но не смог эту цельность в себе выдержать.

Стихи Ларисы Васильевой очень хороши: музыкальны, живописны, драматичны (в меру). Она владеет стихом. Свободно. Это мастерство. Культура взята ею самой. Она запустила руку в чернозем и вынула оттуда горсть благородной, благоухающей плодородной земли. И отдала это людям – то духовное богатство, которое рассеялось вокруг. У нее природная хватка, как у всякой богатой на-

туры. (Как она, будучи у меня в семинаре, скрыла свой талант?) Талант в лирике – проникновение в человеческую душу. Так в XIX веке мог только Фет. Много солнечного, человеческого. Л. Васильева – настоящий лирик. У нее внутренний глаз – глаз художника.

[Запись с лекции по литературе XVIII века.]

Дорогие товарищи, господа. Надо говорить так: господа-товарищи. Мне эта форма очень нравится. В 1908 году был издан приказ, чтобы всех называли «господа», после 1905-го года. И вот в деревню приезжает полицейский и говорит: «Господа мужики, господа бабы». Эти «господа» садятся и спрашивают: «А почему мы господа?» – «А потому что вас произвели в господа». – «Да мы мужики, мы бабы». – «Ничего, сойдете за господ. Вот вам надо платить такую-то дань». Все воют. «Нет, раз вы господа, вы богатые».

Так вот, господа студенты, вы какие книги читаете по моему курсу? Говорите правду.

Студент: Г.А. Гуковского. П.А. Орлова. Д.Д. Благого.

Н.И.: Гуковский, Благой. Надо обязательно читать. Орлов Павел Александрович – очень неплохо написано. Гуковский – очень хорошая книга, он очень труден по своему социологическому направлению. А Сиповский – это лучший учебник, он лучше всех написал. Он, прежде всего, лучше всех их знал XVIII век. Знание фактического материала – это ведь тоже очень много значит.

30-е годы XX века – там Есенин, Маяковский, противостояние классике. Маяковский ниже Есенина, по таланту, приспособленец. У него была тайная тетрадь стихов, которую никто не знал. Были Светлов, Багрицкий. Но все мои писатели – от Древней Руси до XIX века. В современных я ничего не нахожу. Это не мой мир.

В современной литературе видно оскудение душевности. Вместо любви – в основе ненависть (классовая борьба

ба). Не соединение душ, а разъединение. Вместо совести – классовая мораль. Уникальность личности сведена до винтика. Вечное (бесконечность) заменено на злободневное (сиюминутность). Область литературы прошлого – мимолетный лик земной, который соприкасается с вечностью, а корни всего, происходящего здесь, – в мирах иных. В современной литературе вместо жизни – идея, вместо человека – носитель идеи, представитель класса. Свобода выбора, свобода совести закреплены.

Живая жизнь требует постоянного выбора, участия всех чувств, работы ума и сердца. А здесь – механическое следование идее. «Мы» вместо «я». «Я» ни за что не отвечаю; есть головы, а я – человек маленький. Раз человека освобождают от личной совести, ответственности, то он сличает свои действия с чужими. Ценна не индивидуальность, а похожесть, униформа. Любят по классовому признаку. Раньше – увозы, а теперь сами любящие предпочитают любви верность классу.

Социальный титанизм: единицы – носители истины, остальные – механические исполнители. Идея «шигалевщины» – головы сровнять, гении нам не нужны.

«Котлован» – для чего роется? Для Дома. Для кого Дом? Для человека. А человека-то нет.

Цель преподавания литературы – изменить эту основу на прежнюю: любовь, уважение к любому человеку. Заменить оскудение. В литературе выделять не идею, а сопереживание, развитие чувств ребенка. Мысли – общи, чувства – уникальны, в них проявляется и раскрывается личность.

Текст – живой организм, ни на что не похожий.

Стефан Цвейг утратил семитский характер и покорился европейскому мышлению, чувствованию. «Незримая коллекция». Углубление Достоевского. Описание поведения слепого. Он расхваливает коллекцию, которой уже нет. Она распродана, но он относится к ней как к существующей. Отношение незрячего к тому, что он не

может видеть, но чувствует. Такой психологический мир, очень интересный.

Роман Роллан – очень чистый писатель. Очень нравится «Очарованная душа». Общегуманитарный еврейский вопрос. У Толстого он заимствовал «чистоту нравственного чувства».

Диккенс – очень колоритный. Попадаешь в Англию, в эпоху, забывая, что ты в России. Очень хороша характеристика типов: гуманисты, пройдохи. Он психолог. Мало литературного – это самое главное.

Никакая другая литература так не возвысилась, как русская. И возвысилась своим пониманием человека.

У меня написано 300 страниц о Помяловском. Это была целая диссертация. Но появился некто <...>, которому надо было срочно печататься, и я уступил ему место.

Жаль, что никто не написал монографию «Место сословий в русской жизни».

Я вписал крестьянский мир в мир привилегированный. И этим сделал упрек пушкиноведению, которое одну Арину Родионовну превознесло, а дядьку Пушкина забыло.

Кто написал о Серафиме Саровском и Пушкине? Кто теперь обратит на это внимание? О крестьянской интеллигенции и барине тоже никто не писал.

[О книге «Лекции-очерки по истории русской литературы первой трети XIX века».]

Хорошо, что книга о Ваньке Каине и «Записки» Болотова сейчас переиздаются.

У меня была идея – написать историю движения критической мысли в России. Не по темам, а как двигалась критическая мысль.

Я много занимался «второстепенными писателями». У них всегда видно, даже там, где это не нужно, как работает метафора. А у большого писателя это все органично. Ему не нужна лишняя метафора. Но сами гении многое у них взяли.

Художественная литература не нашла отражения нынешним бедам человечества. Писатели забыли, что главное – человеческое сердце и борьба, страдание, связанное с ним. Литература так называемого «факта» тоже не выдерживает критики. На литературу понижен спрос. Нам нужен сегодняшний факт – говорит обыватель. Такая односторонняя тенденция нехороша.

Серьезный писатель не может учитывать читательский спрос. «Не продается вдохновенье...» Только на расстоянии может возникнуть большое и серьезное.

Первый признак того, что произведение хорошее – когда о героях судят и говорят, как о живых людях. То же и в театре. Но я мало видел таких спектаклей. Билет в театр всегда стоил дорого.

Нашему искусству была чужда идея народничества.

Формализм – то, что может быть вспомогательным для исследования, но вторую жизнь дать исследуемому предмету (искусству) не может.

[О врубелевском стекле.]

Эпоха декаданса. Оно было в ходу. Ничего не изображает (волна, море – абстракция). Декаданс – утрата формы. Форма должна быть разрушена. Это очень существенно в выражении содержания и чувства. Так убивается и содержание. Остается только настроение. Содержание было заменено настроением, и утрачена сама идея формы.

Открыли ДНК. Но еще не прочитали. Генетическая карта. Таблица Менделеева еще не заполнена. Но ДНК –

это куда сложнее. А расщепление атома однажды открыли – сделалось преступлением против человечества. Но человеку, видимо, не все дано.

[О Лескове]

Кто-то написал донос на мой семинар по Лескову. Сказали, что семинар надо закрыть. Я всех распределил по кафедрам. Меня вызвали писать заявление о закрытии семинара. Деканом тогда был Ухов. Потом выяснилось, что писали не из семинара, а из парткома. Это еще хуже. Писали из зависти.

Я вел семинары по Лескову лет сорок. Я его, можно сказать, в люди вывел. И в том, что Лескова теперь рассматривают как классика, есть и моя заслуга. Я его из «второстепенного ряда» в первый ряд поставил.

Я хочу от вас рассуждений об идее, об искусстве. Сейчас образовательный ценз очень снижен. Филологу не нужно заниматься религиозными вопросами. Сейчас другая психика, другой мир, более бедный. Последние исторические события сняли духовные страдания, само понятие духовно-душевных страданий. После революции были другие страдания: нет хлеба, нет денег на гроб, похоронить близкого человека не на что.

Сейчас не может быть Печориных, Вер, лесковских героев.

[Университет]

Я прочитал в МГУ 23 курса. И первый – «Северная агиография и монашество в северных монастырях».

Когда я работал замдекана на вечернем отделении, я сказал выпускникам: «Выше поднимайте стяг апостольского живого слова!»

Человек одного со мной круга и хорошо ко мне относящийся А.К. Старкова (преподавала английский язык) говорила: «Когда я служила у Либана на ночном отделе-

нии...» Или: «Если Либан направил свои войска, значит он победит».

Еще в ИФЛИ я с Еголиным принимал экзамен по литературе у Твардовского. Твардовский написал «Василия Теркина». Герой с таким именем есть у Боборыкина. Но Твардовский утверждал, что он не знал этого автора и этого имени.

У меня всю жизнь была идея перевести энергию болезни на энергию постижения знаний, и тогда больного можно излечить. Я всю жизнь занимался больными.

А.Г. Соколов говорил обо мне, что писать у меня диплом – счастье, потому что я с каждым студентом работаю над каждым словом.

Ты обратила внимание, что работы, написанные по заказу, очень бесцветны, неинтересны? В них нет никакой мысли.

Сейчас идет грызня вокруг словаря Ожегова. Хотят объявить несостоятельной такую огромную работу. Переиздание словаря в первоизданном виде без «г» и «ж», из-за которых разгорелась полемика.

Сергей Иванович Ожегов – очень талантливый человек. Лингвист.

Шведова – умница, с ясной головой (одна из дочерей Айхенвальда, который писал «Силуэты русских писателей»). Виноградов, когда она работала в МГУ, решил ее убрать, как «дочь эмигранта», в Академию наук, подальше от студента.

Я думаю, что Интернет не может быть системой обучения. Нажатием кнопки знаний не получишь. Важно, как человек ищет ту или иную книгу. Он и другие читает, отбирает нужное, ненужное. И сам этот поиск уже интересен и плодотворен.

Всегда надо помнить: милости хочу от природы, а не жертвы. (Надо отдавать людям столько, сколько они требуют.)

Я заступался за А.Г. Соколова. Он мне когда-то жизнь спас, когда я был тяжело болен. После моего выступления мне хлопали стоя. Но партрешение отменено не было, и деканом назначили Андреева. Потом был И.Ф. Волков, с ним у нас были хорошие отношения. Он сразу сказал: «Я ничего делать не буду».

Моя борьба с идеализмом началась на кафедре теории литературы, когда Г.Н. Пospelов всех пичкал Гегелем. А.Н. Соколов знал философию лучше Пospelова. Наука, знания раскрепощали человека.

П.Н. Сакулин – ясный. Он пишет мыслями, а не словами. Современные литературоведы пишут словами, которые не складываются в мысли.

Я пережил три времени, три формации. И не хотел бы пережить это еще раз. И ни в одном времени не было хорошо. (Как было на рабфаке: «Минус умный – плюс дурак».) Но я избежал всяких репрессий. Разве этого мало? Э.В. Гофман-Померанцева (профессор, доктор) мне говорила: «Давайте, Николай Иванович, соберем советский фольклор». Я сказал: «И что тогда будет? Мы с этим фольклором на Соловки поедем». Я понимал, откуда ветер дует: со стороны реакции или прогресса.

Движение диссидентов вовсе не прогрессивное явление. Сахаров открыл бомбу и ужаснулся своему открытию.

В академической среде главное кого-нибудь свалить, показать, что этот авторитет ничего не стоит.

А.Н. Соколов – автор учебника по литературе XIX века. Я был в соавторах первой редакции. Соколов кончил Духовную академию. Доказывал, что только самодер-

жавие спасет Россию, церковь. Когда евреев выгоняли из МГУ, он приставал ко мне с моим мнимым еврейством. И тогда я ему вспомнил о самодержавии. А Василий Федорович Надеждин – очень яркая личность – говорил, что только революция откроет дорогу православию. В.Ф. Надеждин работал переводчиком в Тимирязевской академии, читал на многих языках. Погиб в ссылке в 30-е годы.

А.Н. Соколов ударился в бега, работал бухгалтером в колхозе в какой-то деревенской глуши и даже получил «Похвальный лист».

Галина Кузьминична Белоусова работала на кафедре, очень хороший человек. Хорошо ко мне относилась. Когда стали печатать мои лекции, она сказала: «Эх, Николай Иванович, что же Вы так поздно писать стали? Ведь сколько ума зря ушло!»

[О театре]

«Горе от ума» в постановке Мейерхольда мне не нравилось. Наверное потому, что я любил Малый театр. Мне казалось, что у Мейерхольда все неправда. Сцена пополам. Наверху – Чацкий, Фамусов. Внизу – три офицера. Читают стихи Пушкина «Пока свободою горим...» и другие. Декабристский дух комедии. От Грибоедова мало что осталось, а отсебятины много. Но там были очень красивые сцены: огромный рояль белого цвета, Чацкий в черной мантии. Это черное на белом смотрелось очень эффектно.

Искусство не может изобразить «как в жизни». Но обмануть зрителя можно. Его спектакли вообще очень запоминались, хотя я их не принимал. У Мейерхольда специально подчеркивалось, что это искусство, а не правда. Я, наверное, по натуре реалист. Мне близки передвижники. У Мейерхольда главный прием – гипербола, а я этого не люблю. Еще я у него помню «Рычи, Китай!» Помню Бабанову в роли китайчонка. Это было очень хорошо. Изумительно. Талантливо. Как она пела песню, вешаясь в знак протеста на двери каюты капитана. Там все держится на

том, что капитан – зверь. Его понимает только дочь. Но дочь обожает этого китайчонка. Он полон гордости и независимости. Это изображение жестокости и любви было замечательно показано. Там все держалось на Бабановой, конечно.

Театр Мейерхольда был мне для полемики, для неприятия. Я там все смотрел, но ничего не принимал. Малый театр был мне для успокоения. А Камерный театр Таирова – это для души и художественного ощущения.

Алиса Коонен – моя любовь в 15 лет. Это было просто божество. Это актриса мирового звучания, мирового! То, что она играла, запоминаешь на всю жизнь. Это божественная фигура. В ней все было гармонично. Талант Коонен – в перевоплощении, когда веришь образу, когда забываешь, что это театр. Коонен – актриса слова. Декорации и все – это тонуло в актерском исполнении. Идеи Таирова, по-видимому, воплощались только в Коонен. Но у него все актеры были очень талантливы. Коонен замечательно играла и в концертном исполнении в Клубе железнодорожников. Когда она читала «Пер Гюнта», я плакал.

Алла Тарасова играла Анну Каренину как домработницу. Это очень неудачный спектакль, хотя все говорили, что гениальный. <...> Ведь образ надо из чего-то создавать. Актер перевоплощает писателя. Вообще нельзя ставить то, что не написано для сцены. Вот Островский писал только для театра, и до сих пор можно ставить. Мастерство! Его пьесы живут до сих пор, и актеру там есть что делать. Правда, там режиссеру мало что остается делать. Островский – это мастерство!

В 6 классе мы ходили в театр Вахтангова. Спектакль «Коварство и любовь». У нас были билеты на последний ряд галерки, а мы сидели в первый ряд партера. Администратор был возмущен и запер нас в своем кабинете. Когда он пришел нас выпустить, мы просили, чтобы он оплатил нам билеты: во-первых, это дискредитация Советской власти,

во-вторых, мы следующий раз также придем, и в-третьих, нам не дают эстетически развиваться, а мы так любим театр, последние деньги на билет откладываем.

МХАТ начала XX века. Трагедию пьесы «Вишневый сад» хотели показать, как в жизни. Для этого надо было быть не исполнителем, а участником. В жизни они хотели быть господами. Показано было все предвзято. Еще А. Суворов говорил: не дай бог быть господином. Можно быть только тем, кем родился. Произведение воспроизводилось не так, как на самом деле, а как оно преломилось в сознании буржуа.

Немирович стоял несоизмеримо выше Станиславского по мировоззрению и эстетике. Мейерхольд называл его «приживалой», а он, в сущности, задавал тон всему театру.

[О Вертинском]

Это было уже после войны. Я слушал его только один раз. Это был голос с очень выразительной дикцией. Особенно приятно было слушать «Я маленькая балерина», «Я не знаю, кому и зачем это нужно». Он производил впечатление, какое может производить артист, особенно русскими вещами. Стоял огромный белый рояль. И он был на его фоне как черная птица. Его манерность, видимо, была необходимостью жанра. Казалось бы, это вообще должно уйти из сознания. Но время не стерло ничего. Один из бывших офицеров говорил, что его концерты дороги потому, что он может передать то, что мы чувствуем, а мы чувствуем весь трагизм положения России.

[Из воспоминаний о Павле Корине]

Я познакомился с Кориным. Он тогда был модный художник. Он написал огромное полотнище «Русь уходящая». Корин интересен не только этой композицией. Есть еще этюды, типажи, бесконечное количество различных русских типов: монахи, священники, юродивые, нищие,

калеки. Одного такого нищего он нашел на паперти и уговаривал идти к нему домой. Он сначала не соглашался. Но потом есть захотелось. Из нищего падали вши. Корин сказал, что это лучшая модель. Когда нищий нажрался, он потерял свой страдальческий вид и стал довольным. Женé: «Зачем ты его накормила? Он перестал светиться. Он мне испортил всю композицию».

Корин обладал какой-то особой способностью, что лица светились изнутри, тот внутренний свет, который бывает от святой жизни. Я там часами простаивал. Но разговаривать с Коринным было неинтересно. Ворошилов ему говорил: «Ты наш, пролетарский! Зачем ты имеешь дело с попами?» Они тоже хотели, чтобы Корин писал их портреты. Но их лица уже не светились. Корин был замечательный художник-психолог. Я спросил, у кого он учился. – Как у кого? У жизни. – Но какого направления? – О, этого я не знаю. Я художник не направления, не течения, не школы. Я художник от рождения, кисть в руки я взял мальчишкой, а как получается, я не знаю. Жуков хотел, чтобы я написал его портрет. Но он не мог все время сидеть. Вы мундир свой наденьте на денщика. А как же фигура? Мне ведь главное лицо. Смотрят на лицо. Лицо Корин написал. А когда надо было все ордена выписывать, Жуков не согласился, и Корин писал их на память.

Этюды для Дворца съездов. Посмотрите. Лента событий советского времени. «А вот я вам скажу по секрету: мне не удается мозаика в стекле. Я не мозаичист. Это должен быть другой художник. Знаете, что интересно, вот я кого-то пишу, а он и не подозревает, что я о нем все знаю, влезаю к нему в душу. Врачи-хирурги влезают в человека и выворачивают наизнанку, так и я».

На П. Корина я обиделся. Он сказал мне, что не знает, «какая я Русь – ушедшая или уходящая». В день его именин я его поздравил с ангелом и принятием причастия, а он мне говорит: «Я вам так скажу: вы мне нравитесь, хочу написать Ваш портрет, но не знаю, кто вы. Не знаю ваш внутренний мир, а обидеть вас не хочу». Так мы

и расстались, не поняв друг друга до конца. Думаю, что он схитрил.

Я в душе, конечно, пожалел, что не будет портрета...

[*Любимые цитаты*]

Душа растет, расходуя себя.

Быстры, как волны, дни нашей жизни.

Что ни час, то к могиле короче наш шаг. (*Студенческая песня*)

[*Из лекции о 40-х годах XIX в.*]

Жизнь можно было сделать куда лучше. Почему не сделали? Ведь Херасков предлагал идеальное устройство. Подумать только! Вся интеллектуальная жизнь России ушла на поиски и построение социализма, и оказалось — не то! Как после этого строить курс?

Наступил период, когда приходится говорить не о том, как изучают того или иного писателя, а о том, кто изучает, какая у того или иного исследователя *идея* при изучении писателя. Ибо наступило время не *литературоведения*, а время *видения*. На протяжении последнего столетия много написано о писателях XIX века. Какова идеология самих авторов? Как этот мир идей воздействует на читателя? Попросту говоря, всестороннее изучение истории. К этой задаче мы совсем не подготовлены, не изучены сами исследователи, которые называют себя «пушкиноведами», «толстововедами» и т. д. — к ним нет подхода, а они этого требуют! Изучение не литературы, а идеи, которая лежит в литературной среде. Но к этому еще не готов современный интеллектуальный мир.

Кто Царь-колокол поднимет?

Кто Царь-пушку повернет?

[*О религии, христианстве*]

Мой герой — Нил Сорский. Вот о ком я бы должен написать монографию. Но материала у меня мало. Мате-

риал – это очень важно. У него школа на Афоне. Он оттуда все взял. Мне он близок своим внутренним светом. «Стяжание – это прах». «Надо иметь пояс да гребень».

Хитрость – это для примитива. Подставить щеку – это такт христианского смирения. Христианский такт – сделать врага другом. Сделать вид, что ты не обижен, апеллируя к чувству противника.

У меня в большом смысле не было врагов и противников. Так все, мелкие сошки.

В Москве был протодьякон Холмогоров. Царю Александру III за границей показывали то, другое, а царь говорит: «У меня в Москве Царь-пушка и протодьякон Льюшка» (Илья). Он пел не хуже Шаляпина. Говорил, еще неизвестно, куда больше народа придет – слушать меня или Шаляпина. Сила голоса у него была такая, что, когда он произносил молитвы, лопались стекла. Стекольщики стояли рядом, чтобы стекла вставлять. (Мне рассказывал внук Ильи Холмогорова, тоже протодьякон.) Его портрет написал П. Корин. Очень хороший портрет.

Я монархист, но не антисоветчик.

В 1917 году курсистки отвоевали себе право учиться в высших учебных заведениях. Дети писарей, дьячков. В Синодальное училище брали на полный пансион: еда, три костюма, три пары обуви. У священника 12 дочерей. Что с ними делать? Надо найти 12 женихов. Замуж их выдавали за церковных пролетариев (псаломщик, звонарь и т. д.). А потом – счастье великое.

Уничтожили попов, духовенство. И через сколько-то десятилетий это появилось опять. Появились секты. Но идеология христианская.

Роль духовенства в истории русской культуры решающая, с моей точки зрения. Не дворянства, а духовенства.

Народовольческая литература выросла из идей христианства. Поэтому в нее пошли многие студенты, молодежь. Их привлекала не религиозность, а идея жертвы, подвига, равенства, братства. Это все заповеди Нагорной проповеди.

У иудеев сложились догмы, нормы, представления. Все было определено. А Иисус пришел и все наносное, лишнее снял. Освободил от всего лишнего. Так столкнулись две системы: римский материализм и иудейский идеализм. Это очень интересно. Но наши догматики не умели этим заинтересовать и всё рубили с плеча: либо так – либо так. Бога нет, и никаких гвоздей. Иудеи не верят в воскресение. У них Иисуса Христа украли; нет понятия вечной истины, все исторически конкретно, осязаемо. У христиан понятие вечной истины. Так христианство и иудейство остались вечно несоединимы. Христа они считают самозванцем.

Христианство, его принятие было очень тяжело. Это была историко-психологическая ломка.

Павел был позднее Петра. Он проповедовал как наследник Христа через Луку. Павел и Петр – это враждующие силы, по-разному понимающие христианское учение. Петра приговорили к распятию, как бунтовщика. Он потребовал, чтобы его распяли ногами кверху. А Павла нельзя было распять. Он был гражданин Рима. Ему отрубили голову.

Надо научиться жить, и тогда ты сделаешься неуязвимым перед жизненными ситуациями. Крещеный человек не боится отчаяния, потому что он знает: за ним Бог. Сначала человек рождается от плоти и греха. А второй раз – от Бога. Для обретения души. Тоска, страдание, грусть до отчаяния... Но это обретается человеком. Идея делается материальной силой – это Маркс только Евангелие перефразировал. Благодать – она бесконечна, она повторится.

Евангелие – показ неземного через слово. Это намек на слово. Показать душу нельзя. Евангелие показывает неземное. Это совсем другое измерение. Сейчас почему нет Воскресения? Сейчас много механических способов: пересадка органов. Это можно считать воскресением? Всякое вдохновение от Бога. По мере разгадывания тайны природы разумом многое душевное уходит, чудесное исчезает.

В Чистый четверг все говели, ходили причащаться в церковь. Я был маленький. На меня надевали голубую рубашечку, штанишки до колена и желтые ботинки, которые я ненавидел, потому что хотел черные (что стоило их мне купить?). Потом мне разрешалось съесть кусочек кулича до Пасхи, и я спрашивал, не будет ли это большим грехом. Молитву этого дня я помню с детства:

Вечери Твоей Тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими;
не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда,
но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи,
во Царствии Твоем.

Русская идея исходит из Евангелия. Иисус, умирая, сказал Иоанну: «Се Матерь твоя» – о Богоматери. Это его завещание. Это говорит в пользу семейных отношений, связей.

Родитель по духу всегда выше своих детей. Любви у родителя всегда больше, чем у наследника. Это и по отношению и к отцам, и к матерям. Такова природа человеческих отношений.

В купеческой среде появилась пословица: как есть отец, так убил бы его; как нет отца – так купил бы его.

Наша семейная икона – «Нечаянная Радость». Все члены нашей семьи прибегали к ней в чаяниях и были вознаграждены в прошениях и молитвах.

Икона Богоматери написана моим прапрадедом Меркурием Радонским.

Он благословил свою правнучку Марию Романовну Либан. Он считал, что люди живут плохо, в мире нет справедливости и, будучи одним из богатых помещиков юга России, отпустил всех своих крепостных с землей, с тем наделом, которым они владели. Родственники его упрекали и говорили, что он оставил свою дочь без приданого. На что он отвечал: если будут любить, то и без приданого возьмут.

Умер он нищим, работая живописцем в церквях. Скончался под куполом, который расписывал. Дочь его, Анна Меркурьевна, похоронила его тихо и скромно.

Я ведь неплохой звонарь – очень любил звонить в колокола. Я еще застал слепых звонарей. Они могли звонить «Не рыдай мене, Мати». В Ростове, когда я водил экскурсию, ударил в колокол, а уже нельзя было. Пришлось извиняться перед начальством.

Слушал патриарха Алексия на Рождество. Я подумал, как трудно быть торжественным, говорить так, чтобы люди чувствовали торжество.

Я часто думаю: человек молится о близких, живых, умерших. Но есть ведь не только православные. А как с иноверцами? У Нила Сорского я прочитал, что можно молиться и об иноверцах.

На святки ходили христословить. Ребята говорят: пойдем христословить. Кто пирог даст, кто конфетки. Все поют «Рождество твое, Христе Боже наш...» Звезды делали из картонки и носили по домам.

Раскольники не пускали в свою среду. Интеллигентные люди, придерживались строгих правил поведения и нравственности. Отсюда произошло сращивание капитала. Они объединялись, потому что их притесняли. Много дали государству, искусству, промыслам (фарфор Кузнецова, фабрики Морозова). Не пьют, не курят, не ругают-

ся. Очень строгий семейный уклад, нет разводов. Не можешь сладить с грехом – иди в скит. Но в среду свою они не пускают. Сейчас их немного осталось. Их капитал от труда. Они помогали революции. Группа капиталистов, которая хотела их свалить и своими идейно-религиозными связями встать во главе государства. Власть дворянская. Государство содержится за счет капитала. Поэтому надо взять власть через революционеров. Но у них не было экономической власти, и они просчитались.

Старообрядцы старались, чтобы дети учились в учебных заведениях. Читали религиозную литературу в подлиннике. Когда произошла реформа орфографии в 1918 году, они отказались писать по новому образцу. Считали, что Петр I погубил Россию.

Афоризмы, мысли

Есть учёные и учёные.

Не верь науке – верь себе!

Всем должна править нравственная идея.

Язык надо делать шелковым.

Надо выбирать достойных противников.

Литература – это наука, которая начинает изучать все сначала.

Хорошо заниматься литературой – ужасно быть царем!

Самомнение пишущего («я единственный, кто это знает») – путь к познанию.

Мне обидно только одно: я поздно стал автором.

Моя манера – я все делаю капитально.

В 20–30-е годы над умершим пели: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

Талант – это вдохновение, это сердце.

В человеке силен эмоциональный комплекс и нервы. Это и есть талант.

Счастье у жизни надо просить так, как беспризорник просит папиросу: «Дайте мне закурить, а то я плюну вам в морду, у меня сифилис».

Вещи переживают людей и сами продлевают жизнь тем людям, которые их хранят.

Я смерти не боюсь – я ей низко кланяюсь.

Репутация дороже денег. Печальная, потому что несовременная констатация.

[*Об одной известной даме*] Она не двуличная – она столичная.

Сейчас у людей не жизнь, а какая-то пеструха.

До чего хорошее слово «погост» – погостил и хватит...

У меня перед Россией долг. Я вождь всех отринутых, отверженных, больных.

Что может быть лучше России? Ничто. Никогда. Нигде.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ*

Мне предложили изложить биографический очерк, касающийся лично меня. Откровенно говоря, я не знаю, какой интерес это представляет. Думаю, что никакого. Кому представляет, так это единственно мне. Мне интересно услышать себя, свой голос, мнение о себе много лет спустя, когда, кажется, все осталось где-то там, далеко-далеко позади. Итак, я рассказываю.

Первое, что меня очень интересует и всегда интересовало, это то, что я очень любил ходить в гости. Но, разумеется, один я не мог ходить в гости. Я ходил в гости с мамой. И очень долго держался руки ее, как бы боясь потеряться в гостинной. Это меня довольно часто забавляло и до сих пор навевает целый ряд воспоминаний. В гости мы ходили два раза в год. На праздники – на Рождество и на Пасху. То есть, конечно, не в день Рождества, а в пределах этого праздника. Ходили как бы поздравить с праздником, а на самом деле здесь было сосредоточие воспоминаний, рассказов, т. е. у каждого возникала целая поэма о его прошлой жизни, не только у маленьких, но и у взрослых. «Вы помните, как тогда было?» И вот начинается рассказ, что когда-то что-то было. Вот и сегодня будет так же, как много лет тому назад...

Моя мать, Мария Романовна, снарядила меня в гости, то есть мне дали новый костюмчик и желтые ботинки. Я их ненавидел. И до сих пор я ненавижу желтые ботин-

* Запись В.Л. Харламовой-Либан, расшифровка О.А. Остроумовой.

ки. Они свидетельствовали о моем несовершеннолетии, они подчеркивали, что я не взрослый, а подросток. И вы знаете, я эти желтые ботинки ненавижу до сих пор. Я не покупаю принципиально обувь желтого цвета.

Ходили в гости два раза в год – на Рождество и на Пасху. Оба праздника очень хорошие. Во-первых, они очень сладкие. На Рождество такие вкусные бывают вещи – пальчики оближешь. А на Пасху – о-о-о, там вообще! Там одни куличи чего стоят! Сырная, или творожная, пасха – это все такие вещи вкусные. И малодоступные в обычное время. К этому, конечно, примешиваются конфеты. Тоже неплохая вещь – конфеты.

Мы жили в Денежном переулке. Этот переулок одним концом упирается в Арбат, другим концом – в Пречистенку, теперешняя Кропоткинская. Из Денежного переулка мы шли пешком на Плющиху, где жила подруга Марии Романовны Лидия Георгиевна Дубровская. Тоже примечательная личность. Чтобы охарактеризовать этих людей, я приведу только одно суждение. У меня был товарищ – Андрей Михайлович Никитин, очень обстоятельный человек, практический человек. Когда я его познакомил с Дубровскими, он мне сказал: «Послушай, разве сохранились еще такие люди? Это ведь из Диккенса они вернулись, из Пиквика, это Пиквикский клуб. Таких людей ведь вообще на свете не существует. Это сплошное добродушие, приветствие, услуга. Коль, я очень хочу бывать в этом доме». Я говорю: «Да пожалуйста, бывай! Тебе будут только рады». И он действительно там бывал и говорил: «Ты знаешь, оказывается, действительно, такие люди еще есть». Так вот к этим людям Пиквикского клуба мы с Марией Романовной и пошли в этот вечер. Нужно было нанести обычный визит. Но мы очень долго не приходили. Очень долго. И я много раз спрашивал: «А почему мы не идем? Почему мы не идем?» На что Александра Дмитриевна говорила: «А ты знаешь, что у нас траур? Какие тут гости?» Мне было так стыдно, что я не знал. В течение года я не дога-

дался. Ничего не сказать, не написать, не передать. Какой же я скверный мальчишка!

Александра Дмитриевна была человек умный. Она говорила: «Скорбь только тогда скорбь, когда человек скорбит сердцем. Вот тогда это скорбь. А если он только вид делает, что он скорбит, это ничего, это не скорбь».

Возвращаюсь к нашему путешествию к Дубровским, которые жили на Плющихе. На Плющиху-то мы ходили пешком. Из Денежного переулка на Плющиху пешком. Самый опасный был переход через Зубовский бульвар. Большое движение по тем временам. Но мы мужественно выстаивали, пока все проедут, и только тогда переходили. Все эти люди очень интересные. Лидия Георгиевна Дубровская – дочь крепостного повара, который был так предан своим господам, что после освобождения в 1861 году, когда все уже были свободные, и он в том числе, он не пожелал никуда уходить и поселился в кухне у них, заявив, что ему здесь лучше всего. Это был уже старый человек, но еще продолжавший готовить. А Плющиха была тем замечательна, что там было очень много вольноотпущенных и просто ремесленников. Вольноотпущенный – это тот, который получил вольную еще до 1861 года. А чем они жили? Огромная улица Плющиха была заселена ремесленниками. Какие ремесленники? Кондитеры, булочники, повара, люди различных профессий – парикмахеры, сапожники. Они все ютились в каких-то каморках, но очень держались за свою каморку, за свою независимость. Здесь разыгрывались страшные истории. И когда спрашивали: «Почему же? Чем вам было плохо?» Отвечали: «Тоска заела». Эти люди очень часто спивались и, как правило... Что бывает, когда человек сопьется? Совершенно верно, удавленников было очень много. Это были несчастные люди.

В этот мир мы приходили с праздником. И надо было принести какой-нибудь подарок всем знакомым этого мира. Какой подарок? Самый ничтожный. Пачку папирос, коробку конфет, билет в театр (между прочим,

они все были страстные театралы и необыкновенно нежны и расположены к гостям). Вот гости появлялись у Лидии Георгиевны, а вся эта шантрапа, узнав, что гости, приходили и говорили: «С праздником вас!» – и сейчас же уходили. И когда им говорили: «Подождите, немного подождите!» – «Нет, нельзя, нельзя нарушать ритуал». И все они уходили. Когда я вырос, я спросил: «Они что, побоялись, что им дадут вознаграждение какое-нибудь?» – «Да нет, что вы, они просто показывали свою деликатность».

В этот мир меня и водила Мария Романовна. «Людей любить надо. Ты это понимаешь?» Я отвечал: «Понимаю», хотя абсолютно не понимал, что значит любить людей. Не понимал. Если правду сказать, я до сих пор этого не понимаю – что значит «любить людей».

Тот день, о котором я сейчас говорил, был для меня особенно памятный, потому что он был окрашен очень тяжелыми событиями. Пришел Юрий Николаевич, это сын Лидии Георгиевны, и сказал: «Маме на прошлой неделе ампутировали ногу». Тогда я еще не знал слово «ампутировали». Мне объяснили: отрезали. Значит, она теперь без ноги? Без ноги, и страдает от этого страшно. «Тяжкая доля, ужасная доля, ляжет в доски это мертвое тело».

И мы расставались, дети уходили домой. Лидия Георгиевна говорит: «Колечка, я буду молиться за твою мать, мою подругу, но и ты помолись за меня». Вот с этим заветом я и оставил эту семью. Надо сказать, не без пользы для себя. До сих пор я всех этих людей помню.

И теперь я понимаю, что значит «людей *любить* надо». Это значит уделять им часть своего счастья. Человек счастлив! Лишь бы он не был скуп. Лишь бы он уделил часть своего счастья своему другу, своему близкому. Вот так, как я сейчас – уделяю часть своего счастья, огромного, огромного счастья, моим близким людям, с которыми меня свела судьба. Это мое счастье. И больше этого счастья, выше этого счастья в мире ничего нет.

Я сегодня буду говорить об одной очень интересной фигуре в нашей жизни. О Георгии Чинове. Человек, во многом заслуживающий полного доверия. Меня всегда привлекали люди широко образованные. Георгий Чинов был действительно широко образованный человек. Он кончил Петербургскую духовную академию. Но не в этом была его образованность. Свою образованность он обнаружил уже в годы революционной жизни России, когда страна оказалась перед очень тяжелым фактом изоляции от другого мира. Он владел множеством языков, то есть был полиглот в полном смысле этого слова.

А задача у него была очень простая – установить экономические отношения со всем миром, который торговал с Россией кожей. Россия всегда считалась лучшим поставщиком кожи. В годы революции этот авторитет померк, кожу перестали вывозить, то есть продавать, и, естественно, это нанесло очень большой экономический ущерб. Вот ему-то и было предложено восстановить экономические отношения и перечислить, что Россия может предложить Западу, какие кожевенные товары. Но я никогда не знал, что Чинов был знатоком кожи. Откуда у него это кожевенное образование, я тоже не знаю. Знаю только очень хорошо, что в течение нескольких лет, по моему шести или семи лет, он установил экономические отношения со всем миром. Шла оживленная переписка, которая, конечно, подкреплялась оживленной торговлей. Оттуда пошли деньги, а туда пошли русские кожи. Такого эффекта никто вообще не ожидал – ни в России, ни на Западе.

Чинов был человек необычайной энергии. Как только он переехал в Мертвый переулок и занял один из заброшенных домов, сейчас же была пущена центральная отопительная система, дом стал отапливаться, немедленно было все вымыто, вычищено, натерто, посажен у дверей привратник – вообще жизнь получила свое правильное течение. Он стал председателем домоуправления. Интересно, что, помимо такой экономической деятельности,

он считал, что в доме, где он живет, не может быть бедных. И поэтому все бедные были взяты на учет, им всем была оказана материальная помощь, как денежная, так и продовольственная. Это был феномен. И с этим феноменом нужно было считаться. И в течение пяти или шести лет с этим считались. Потом ему стали давать помощников, которых бы он научил тому, что он сам умеет. Он говорит: «Я с удовольствием бы это сделал, но не могу научить людей иностранным языкам в течение десяти дней. И не только десяти дней, но и в течение года не могу». А жизнь шла. Требования предъявлялись. Время его очень интересно распределялось: утром он уходил на службу, как и полагается, в гражданской одежде, с обычным бюрократическим портфелем, и находился там до тех пор, пока требовало этого расписание присутствия. Потом он уходил с работы и направлялся в церковь, где служил обедню. Как только кончал обедню, он опять надевал на себя гражданскую одежду...

...Голос его был особенно выразителен и ясен, когда он останавливался на тех или иных эпизодах – ночь над Иерусалимом, Гефсиманский сад. Все это живописно и убедительно показывает лектор. Мы внимательно следим за его движениями, потому что очень много повествования заключается в движениях, в мимике. В этом особенность была лектора Чинова. Он не просто лектор. Я бы сказал, это лектор-художник, исполняющий отрывок, который он наметил для оглашения и слияния с публикой. Чего стоит одна сцена: немеющие губы предателя Иуды и открытый взгляд Иисуса! Ведь это же не описано – это только передано, чисто внешней стороной, драматически. Но это очень красиво и очень убедительно. В этом сила его лекторского мастерства. Когда я как-то обмолвился, сказал, что он сделал из меня человека, то это была не оговорка. Я действительно понял, что можно книги читать, можно их проглатывать, а можно их переживать. И вот это переживание, это слияние автора со слушателем – одна из величайших сторон лекционного мастерства магистра Чинова.

К сожалению, я должен останавливаться и на таких моментах, как трагическая сторона его деятельности. Рядом с таким успехом ему было предложено оставить сан и получить место генерального директора коммерческой организации. От чего он категорически отказался. Тогда ему дали понять: «Собственно, у вас нет другого выхода, ведь вы же лектор, вы художник, вы без этого жить не можете». – «Да, но отказаться от своих взглядов, от своих убеждений я тоже не могу».

А что дальше? А дальше взяли, да и закрыли его церковь – вот и все. Но она не единственная, можно и в другой служить. Нет, с него взяли подписку о том, что он не будет выступать в качестве священника. И он дал такую подписку. Не он один. Много тогда их было, которые подписались.

Мир этого человека очень интересен. У него остался всего один выход. Какой? Зеленый змий. Он, голубчик-хмель, и вырастет, и прокормит, и душу отведет. И никуда-никуда не уведет в сторону. Вот какие мысли были у него в те страшные годы. А ведь, в сущности говоря, это можно было все преодолеть. Таких, как он, было много. Вон с его товарища Могилевского взяли подписку, что он не будет выступать. А сын дал подписку, что он не допустит. О семье скажу два слова. У него был сын, очень хороший. До сих пор жив. Но какая жизнь... с платком во рту. Он был инженер, никакого отношения к этому духовному делу не имел. И целый год ходил несолоно хлебавши. Ему все говорили: «Вы же сын попа». Он говорил: «Но ведь я же инженер!» Конечно, его в конце концов приняли на работу и дали ту же самую ставку. Но этот год надо было пережить – и отцу, и сыну. У него была дочь, то есть была и оставалась, конечно. Прекрасная. Ей повезло. В каком смысле? Она вышла замуж за священника. Отец Владимир был настоящий русский поп. Я его очень хорошо знал. Мне нужно было отслужить панихиду по тете, по Александре Дмитриевне. У меня не было денег. Я ему говорю: «Отец Владимир, отслужите, у меня денег нет». Он гово-

рит: «Ничего, без денег тоже можно». Так вот этот отец Владимир служил у Троицы, на Смоленской площади. Его основные богомольцы были извозчики, «ваньки», как их звали. И он с ними очень хорошо дружил. В каком смысле хорошо? Они его понимали, и он их понимал. Не было у них денег («Денег нет, отец Владимир»), – ничего, на том свете угольками. Отец Владимир был огромного роста, широкие плечи, спина.

Церковь закрыли. Он не пал духом, переехал в Дорогомиловскую слободу, в собор, в который никто не ходил. Как он там появился – народ повалил туда гурьбой. Через два года и ту закрыли. «Да, говорит, церквей знаете сколько в России-то. Всех не закроешь. В одном месте закрыл – в другом открыл. Вот и все».

Дочери все равно нужны деньги, чтобы жить как следует, не нищенствовать. И жили как следует, не нищенствовали. Не беда, что поповна.

Вот она картина быта этого человека. Терпение и труд все перетрут!

Болезнь довольно сильно потрепала меня. Хотя была совершенно ничтожная операция проделана в клинике по поводу туберкулезного подозрения. И все-таки я был очень слаб. Мой друг Дима Колосов настаивал на том, чтобы меня показывали разным врачам. И в этом смысле очень интересно: его отец, видный врач, гинеколог, его мать – очень хороший терапевт, но уже не работает, – они все приняли участие в моей судьбе. Мария Романовна, которой мало приходилось иметь дела с медициной, была поражена, сколько энергии, интереса и просто теплого отношения они проявили к своему новому пациенту! Я уже не говорю о том, что ребята, то есть те, с кем я учился и с кем кончил школу, постоянно ко мне приходили. Это был Юрка Есенин, в первую очередь, сын Сергея Александровича Есенина. Он приносил книжки, очень хорошие книги, из отцовской библиотеки. Тот книги собирал, но не читал их или читал редко. Юрка любил рассказывать о

том, как они жили, у Юрки была чудная мать – первая жена Есенина, простая женщина, корректор в типографии «Искры революции». Она мастерила нам несложный чай и маленькие бутербродики, когда наша мужская компания уставала от различных обсуждений, проектов, идей. Так протекала моя жизнь.

Надо сказать, что не только ребята ко мне приходили, но Дима Колосов, уезжая в экспедицию, поручил своему отцу наблюдать за моим здоровьем. И тот действительно наблюдал. А так как Дима непосредственно навещать меня не мог (он был все время в экспедиции), то он писал отцу, Михаилу Алексеевичу, письма, в которых очень просил посетить меня и сообщить, как мое здоровье. И старый профессор отправлялся в любую погоду, в жар и холод, в Зеленоградскую, где мы жили на даче. Ну, что за дача? Ни у кого не было дач... Не было дач просто. А надо было жить на свежем воздухе, на даче. И самый непрacticный человек оказался самым практичным. Варвара Сергеевна обратилась к директору Зеленоградской школы с просьбой, чтобы она нам уступила два класса, в которых мы могли бы провести лето. Та сказала, что с удовольствием, но уже три класса она уступила – Кузьминой Вере Дмитриевне. А теперь, значит, вы хотите? Я должна и для вас это сделать. И все было сделано. Июнь, июль и половину августа мы жили на даче, то есть в двух классах, которые были преобразованы в жилые помещения. И все это было совершенно замечательно, потому что во всем была любовь и огромная забота каждого о каждом.

Однажды туда приехал Михаил Леонидович Иванов, тоже доктор, и тоже по просьбе. Он встретил своих старых товарищей и говорил: «Ну, что же, теперь новый фронт?» Сам он был хирург и занимался полевой хирургией, то есть всегда проводил операции под огнем. Он осмотрел меня очень хорошо и сказал: «Ну, что же, выздоровеет, конечно, еще бы! Во-первых, лето, во-вторых, условия – чудные дачные условия, а в-третьих, люди, которые его окружают. Вы что думаете, это так просто?» Он уехал.

Какие события были потом? Первое событие – это то, что я был разлучен с Юркой Есениным. Его призвали в армию. Но в это время я уже ходил на дальние расстояния. И когда я провожал Юрку, он говорил: «Ну, что же, я себя чувствую по меньшей мере гусаром, когда такой кавалергард, как Либан, меня провожает». К несчастью, потом мы уже никогда не виделись. Он исчез из поля моего зрения. Ни письма, ни записки – ничто не действовало. Я пришел к его матери и спрашиваю: «В чем же дело?» Она говорит: «Сама не знаю. Ездила в часть, спрашивала – никто никакого ответа не дает».

Осень наступала. Надо было переезжать на зимние квартиры. То есть переезжать в Москву, отказаться от дачи, от этих классов-комнат, в которых мы так хорошо расположились и так хорошо жили. Но Михаил Алексеевич Колосов, это отец Димы Колосова, любил повторять такую поговорку: «Боги завистливы». Это относилось к тому, что наше благополучие было нарушено. И нарушено целым рядом страшных событий. Первое событие – Дима Колосов, находясь в экспедиции, попал под облучение (он был на Севере, где проводились опыты с излучением). И потом никакие средства уже не могли помочь. Он довольно быстро сгорал, сгорал у нас на глазах.

Это была страшная катастрофа для всей нашей коммуны. Но как тебе сказать, молодость – она вообще очень жестока, кто-то погибает и кто-то выживает. Так вот тот, кто выжил, не хотел признать трагизма положения, им все еще мерещилось солнце.

Его отец, Михаил Алексеевич, своей поговоркой, что «боги завистливы», все время нас раздражал. Я смотрел на него и думал: «Неужели у него столько энергии и оптимизма, что он может шутить в это время?» Но это была моя неопытность, ему было не до шуток. Он вообще уже смотрел на жизнь какими-то другими глазами, глазами хирурга. Он продолжал делать операции, хотя одна из больных ему перерезала сухожилие: во время операции дернулась и ланцетом срезала.

А здоровье мое улучшалось, и настолько хорошо я себя почувствовал, что в октябре месяце я уже стал преподавать в школе. Представляешь, что это значит? Самое трудное было то, что школа находилась в Бауманском районе. Нужно было на работу ехать на трамвае. А тебя в трамвае тискают, прижимают, а живот-то у меня распорот. Его, конечно, зашили, заставили носить корсет, но все это не то, не свое брюхо. Когда Михаил Леонидович Иванов меня смотрел, я ему жаловался на то, что толкают, прижимают. Он мне говорил: «Ну и что же? Очень хорошо. Это гимнастика для вашего брюха». Я понимал, что это плохая шутка. Ничего! Самое страшное уже пережили. Я не знал, что я самое страшное пережил. Мне казалось, как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Но молодость брала свое.

Жизнь моя резко изменилась после того, как я окончил школу. Я оказался в совершенно неожиданном положении. Когда-то я думал, что когда буду взрослым, я все переделаю по-своему, и все будет очень хорошо. Вот теперь, когда я стал взрослым, ничего не переделал по-своему. Но стало несколько лучше, чем я предполагал. Во-первых, когда я первый раз принес домой свой заработок, а это было 300 рублей, это была огромная сумма, Мария Романовна даже удивилась: «Откуда у тебя такие деньги?» Я рассказал ей, что меня зачислили в штат культработников ближайшего завода, бывший «Гужон», и мне положили такой временный оклад, пока я организую всю работу. Вот я организовал всю работу, то есть расписал, какие должны быть кружки, какие должны быть экскурсии, путешествия, конференции. У меня так это все хорошо получалось, что когда культкомиссия стала проверять и это все читать, то сказали: «Ну, это фантазии, этого у нас никогда не будет». Что делать? Фантазия, но очень хорошая. И с этим все согласились. Больше всего меня расстроило то, что на мои фантазии мало кто ответил как следует. Например, один ответ был такой. Когда я предлагал путешествие

на Кавказ, то нашлось несколько охотниц поехать на Кавказ познакомиться с жизнью горцев. <...>

Этот период был недолгий в моей жизни, потому что очень скоро комиссия культурного развития завода была пересмотрена и отклонена. Но на мое счастье выпало другое.

Надо было учиться, поступать в вуз. А кто возьмет? Я был уверен, что экзаменов вступительных я не сдам, у меня просто не хватит силенок. Я это все рассказал Даньке Шубу, моему приятелю по школе, он человек еврейского оптимистического склада, который сказал: «Знаешь, Коля, в жизни есть всегда два выхода. Как в нашем организме, так и в жизни. Если не сдашь экзамена, значит надо поступать без экзамена». – «А кто же примет без экзамена?» – «Ты знаешь, мой друг Абрам Олейников тоже не мог сдать экзамена. Помнишь, ты его готовил, и он был в отчаянии, что ничего не может сделать». Я говорю: «И что?» – «Представь себе, он поступил, его зачислили!» Я говорю: «Как?» – «А очень просто. Его знакомый – член комиссии. Комиссия была составлена для иностранных абитуриентов. Он взял и поместил туда Абрама Олейникова как иностранца. Он шутя говорил: они же иностранцы, евреи. И он так спокойно прошел этот страшный экзаменационный период. Принес и показал свою зачетную книжку. – Но ты же не иностранец? – Нет, я иностранец, по всем спискам числюсь иностранцем. – Но ты же русский подданный? – А там нет графы «подданство». Вот и тебе надо найти такую лазейку, где бы ты мог поступить без экзаменов». Я говорю: «Данька, но ведь я же не еврей». – «Знаешь, Коля, на некоторое время надо делаться евреем».

Даня пришел ко мне однажды утром и говорит: «Коля, я нашел место, где нас будут учить». Я посмотрел на него с удивлением и сказал: «Кто нас будет учить? Кому мы нужны?» – «Ты знаешь, создается крупнейшее предприятие мясной промышленности, это огромный комбинат, где будет начальная школа, средняя школа, высшая

школа». Я пошутил: «И академия наук». – «А ты не шути. Вот меня уже записали в среднюю школу, я уже теперь не праздношатающийся, а студент математического отделения Педагогического института». – «И что тебе будет за это?» – «Мне ничего не будет. Я могу посещать занятия, у меня будет студенческий билет, и я буду студент. Общественное положение, понимаешь?» – «Плохо», – ответил я. «Так чтобы хорошо – вот иди завтра к 10 часам по такому-то адресу к Алле Львовне. Она декан всего нашего дела. Я уже говорил о тебе, и она сказала: пусть приходит, мы его определим». Я к этому отнесся в высшей степени не серьезно, но все-таки пошел. Когда пришел в третью группу русского отделения, я был поражен: меня предупредили, что это бывшие учителя, которые повышают свою квалификацию. Но там ни одного учителя не было, ни одной учительницы не было. Какие-то хромые, слепые, горбатые люди, которые говорили, по-моему, на разных наречиях, только не на русском. Определили мне место, я сел и стал ждать. Ждал недолго, наверное, часа два. После этого пришла девушка, которая перечислила всех по фамилии и указала, кому куда надо идти. Это был первый день моих занятий в новом институте.

А все дело сводилось к чему? Московский городской комитет решил создать свой комбинат со всеми отделениями. Но это еще не все, надо набрать людей. А где их набирать? Люди не хотят просто так идти, им нужно какое-то обеспечение – зарплата или стипендия, на худой конец – назначение, то есть командировка. Но все это очень быстро устроилось. Московский комитет партии решил: не нужно такой долгой организации, у него будет в Москве свой пединститут, и все студенты, которые до сих пор существуют рассеянными, будут собираться в одном месте. Так что дней через десять был полный порядок! То есть всех выгнали, остались только те, которые будут называться студентами Московского педагогического института. Без экзаменов. Какие экзамены?! Мы кончили школу, нам нужно, чтобы у нас был 8 и 9 класс закрыт. Вот и за-

крывай. Вот они нам и закрыли его в этом пединституте. Пединститут – это было название института. А первые курсы его – это была самая настоящая школа. МОНО. А потом он стал просто Городской педагогический институт. И мы оказались студенты этого института. Такое счастье редко бывает. Не ждал, не гадал – и в студентах оказался.

Меня приняли по очень простой причине: тогда было такое общество – ОДН (Общество «Долой неграмотность!») Я был активный член этого общества. И очень многих неграмотных обратил в грамотные. Вот эта неграмотно-грамотная партия обратилась в ректорат Пединститута с просьбой, чтобы меня приняли. И приняли. Тогда была демократия. Можно было по просьбе сделать то, другое, третье.

Шелапутинский институт – это был институт, организованный высококвалифицированной педагогической частью. Там на одного шелапуту полагалось 3–4 профессора. Шелапутин его организовал. Шелапутин – это очень крупный педагог, известный не только у нас, но и за рубежом. Он должен был подготовить директоров и инспекторов учебных заведений.

И туда, в Шелапутинский институт, определяли наиболее успешных студентов, кончивших Московский университет. Вот он учится в университете, кончает университет. Специальность – филолог или историк. Он может выбрать либо Шелапутинский институт, либо специальность, ему подходящую. А «Шелапут» готовил инспекторов и директоров гимназии. Я в Шелапутинский институт никогда не поступал. Туда было трудно поступить. То, куда я попал и все прочие, это был не Шелапутинский, а это был набор студентов, нужных, чтобы заполнить места.

После МОНО (8 и 9 класс) мы работали учителями. Я проработал учителем в общей сложности 12 лет.

А дальше было очень интересно. Вот работаешь в школе, уже как специалист. Ты еще не имеешь диплома, но работаешь как специалист, числишься как специалист.

Вот выясняется, что ты не специалист, а попал вот так, совершенно случайно. Что с тобой делать? Обрати тебя вон? Нет, это не годится. Ты должен экстерном сдать ту разницу, которая есть. Этот экстерн иногда затягивался на несколько лет, на два, на три года. Но каждого человека ценили и не выпускали из поля зрения. Вот и меня ценили и не выпускали из поля зрения. В результате я кончил Пединститут, Московский городской педагогический институт. Ему потом было присвоено имя Потемкина. Был такой министр Потемкин. Это 30-е годы. Это первый министр просвещения с высшим образованием и вообще с европейскими замашками, вплоть до того, что у него даже был кабинет – кабинет эстетики. В этом кабинете он купался, то есть принимал ванны, принимал массаж. Мы слышали об этом.

Вот так текла жизнь. Потемкин был обычный учитель, очень языкастый, который очень много разговаривал о культуре, о просвещении, о воспитании, об этике, об эстетике. Чего лучше? Вот такого нам и нужно! Его и послали за границу – дескать, вот у нас какие есть. А потом, когда он уже стал знаменит, сделали институт его имени.

Ведь очень хороший анекдот был. Какой? Кто какое место занимает? Президент занимает свое место, Луначарский свое место, а Потемкин до сих пор занимает свое место и никому не уступит.

Я там учился 4 года. У меня диплом этого института. В это время обратил на меня внимание Ревякин, который считал меня самым выдающимся студентом этого факультета.

Александр Иванович Ревякин – это молодой профессор, ученик Сакулина. Крестьянский сын, крестьянина-«подкулачника», потому что он имел шубу с каракулевым воротником и ботинки с рантом. Знаешь, что такое рант? Это когда они скрипят. Он кончил Потемкинский институт, только раньше меня, значительно раньше. Кончил аспирантуру Потемкинского института, защитил степень,

и его все время обвиняли в механицизме. Это такое течение в философии, где все объясняется чисто внешними фактами. Не внутреннее развитие, а внешнее. Мы считаем, что развитие возникает в результате столкновения, борьбы противоположностей. Его обвиняли в том, что он был против этого. И он все доказывал, что он – «за», а ему говорили: «Да нет, это вы говорите, что вы “за”, а на самом деле вы “против”».

Он хотел, чтобы я шел в аспирантуру. А я уже был человек взрослый, я уже чувствовал себя птицей высокого полета, я уже понимал, что мне в этом провинциальном пединституте не место. Провинциальном – по характеру. Потому что в Москве был университет, а этот институт все время претендовал на статус второго МГУ. А в МГУ говорили: университет один, какой там второй?

Я ему сказал, что хочу поступать в ИФЛИ, в институт философии и литературы. «Пожалуйста, я вам напишу рекомендацию. Могу вам написать рекомендацию в партию». – «Так вы же беспартийный». – «Моя рекомендация в партии тоже понадобится».

Но к этому времени я уже был знаком со многими людьми, и в частности с таким человеком, как Андрей Михайлович Никитин. Знакомство это произошло в том же потемкинском институте. Однажды Ревякин подзывает меня и говорит: «Николай Иванович, идите сюда». Я пришел. «Вот Андрей Михайлович Никитин, прошу познакомиться. Это наш новый студент. Он пылает страстью, хочет быть филологом. А сам он по специальности экономист, кончил Плехановский институт. Но, видите ли, экономика ему не понравилась. Меняет специальность. Я вас прошу взять над ним шефство. Помогите ему, расскажите ему, что такое филология, чем мы занимаемся, какие у нас вопросы, какие проблемы». Я говорю: «Александр Иванович, я с удовольствием, но ведь я сам ничего не знаю». – «Вот это и хорошо, что вы осознали. Знаете, как сказано? Скромность украшает большевика». – «Да я не большевик». – «Ничего, со време-

нем будете. Я дам вам рекомендацию в партию». – «Да мне не нужно в партию». – «Вам не нужно – нам нужно. А вы, Андрей Михайлович, слушайте Николая Ивановича, он человек солидный, многое знает. Он учился меньше, чем вы, а знает больше». Я думаю: ну, это плохая рекомендация. А этот Андрей Михайлович говорит: «Ну, что же, Николай Иванович, будем знакомы». Я говорю: «Да, будем». – «Ну, давайте заниматься». – «Давайте», – говорю. «А когда начнем?» Я говорю: «Да вот сейчас начнем. Кончатся занятия – и поедем ко мне домой. Я здесь недалеко живу, в Денежном переулке». И вот мы стали заниматься вместе, то есть я ему рассказывал то, чего сам не знал. А он очень внимательно занимался. И все говорил: «Я тебя буду звать Коля». Я говорю: «Давно пора». – «Так вот что, Колюня, это, конечно, хорошо, но все-таки надо знать, за что деньги платят. Я, как экономист, тебе прямо должен сказать, нам надо организовать такую комиссию, которая брала бы деньги». – «Ну, кто нам будет платить?» – «О! А мы устроим лекционное бюро, будем читать лекции». – «Кто же нас будет слушать?» – «Дураков на белом свете очень много. А вот Пушкинский юбилей. Ты знаешь, сколько будет заявок? Сколько будет заявок! Все хотят в пушкинисты, а никто ничего не знает. Вот давай напишем пробную лекцию». – «Ну, давай». Мы написали первую лекцию. Он говорит: «Я ничего не боюсь, боюсь только вопросов. Это я могу все выучить на память, а вот вопросы... Зададут вопрос – а я ответить не могу. Что делать тогда?» Я говорю: «Не беспокойтесь, не зададут». – «А почему не зададут?» – «А мы так подстроим – все будет ясно».

Вот это знакомство, перешедшее в самую настоящую дружбу. Андрею Никитину я очень многим обязан. Он меня научил практической стороне жизни.

И я читал лекции в Московском городском лекционном бюро. Оно было, оно существовало, а мы туда пришли работать. Но оно было неизвестно. А Андрей Михайлович говорил: «Реклама, Николай Иванович, реклама!»

Это 1937 год. Едем в поезде. А кто едет? Бригада едет. А что это значит? Это значит лектор и четыре чтеца, или пять чтецов. А разговоры о чем: мы здесь стихи читаем, а там что читают? Завтра их повезут расстреливать или нет – вот об этом и «читают». Об этом лучше не говорить. Наша задача – все тихо и мирно, все довольны, всем хорошо.

Пушкинский юбилей проходил по всей стране. Не было ни одного закоулка, где бы не прошли лекции о Пушкине. В сапожных мастерских, в портняжных мастерских, в парикмахерских. И их слушали. Сперва, конечно, не хотели. Но потом, когда услышали, что Дантес – «белогвардеец, убил революционера...»

Однажды прислали записку, в которой было написано: «Товарищ лектор, объясните, как могло получиться так, что Дантес, убийца Пушкина, является членом государственного правительства? Он сенатор Франции? Это ваше мнение или вы ссылаетесь на какой-то источник? Если ссылаетесь на источник, то немедленно укажите. Если ваше мнение, то я тоже посылаю вам свой картель». Какой государственный источник, когда это напечатано в газете! Это общеизвестно. Это мы не знаем, а во Франции это знают, и во всем мире это знают. Убийца Пушкина был Дантес. А потом он сделал блестящую карьеру. А ведь мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. И вот вы говорите, что вы посылаете свой картель... Во-первых, вы должны посылать через секунданта. Кто будет вашим секундантом? И потом: какая форма оскорбления нанесена вам? Это же процедура, а у вас это все сгоряча. Поэтому я предлагаю вам отступить от этой позиции, не ставить себя в смешное положение, чтобы было напечатано в газете, что спустя век люди очнулись и один из них даже решил выступить в качестве дуэлянта и мстителя – уничтожить «проклятого белогвардейца» Дантеса.

Все это уже быльем поросло.

Валерьян Федорович Переверзев – студент естественнонаучного факультета Харьковского университета.

Но, как часто у нас случается, своей специальностью он мало занимался. Будучи естественником, он стал заниматься вопросами литературы, литературы как искусства, как формы идеологии. И на этом фронте очень преуспел. Он выступил с двумя работами – о Гоголе и Достоевском. Уже сами эти имена указывают на широту взглядов этого человека. Гоголь – это центр литературной борьбы и становления русской литературы XIX века. Все, что было после Пушкина, принадлежало Гоголю. И Переверзев прекрасно это показал на образцах, привлекая второстепенных писателей. Вообще надо сказать, что работа Переверзева о Гоголе – работа классическая! К сожалению, она сейчас забыта. Люди, которые занимаются Гоголем, менее всего обращаются к этому капитальному и интересному исследованию. И вторая работа – о творчестве Достоевского. То есть это как раз вершина развития русской литературы второй половины XIX века. Это Достоевский, Гончаров, Толстой. Вот здесь-то и скрестились все явления, все особенности русского литературоведения.

Сегодня я должен сказать очень немного о Переверзеве как писателе. Первое, что характерно для Переверзева как писателя (я подчеркиваю – как писателя), – это его слог. Он замечательный стилист. Он пишет так, как будто он пишет художественное произведение, а не научное исследование. О нем нельзя сказать, что он скучный. Ты читаешь его с увлечением, с увлечением *читателя*. Но это читательское увлечение будит научную мысль. Поэтому написанное Переверзевым о творчестве Гоголя – это действительно изумительное художественное произведение. Я не имею возможности подробно остановиться на этом, потому что у меня другая задача, но никто, кроме Переверзева, не сказал, что это центр литературной жизни того времени, не показал, какое значение Гоголь имел для русской литературы, для ее становления, для ее развития, для воплощения тех идей, которые были характерны для России. И второе: я думаю, очень важно то, что Переверзев, как художник, обратил особое внимание на

язык Гоголя. Здесь нет никаких выкрутасов, здесь речь идет о художественном слове, которое затрагивает и волнует читателя, где читатель и автор сливаются в одно целое – целое познания. Это немногим дается. Переверзеву это давалось. Когда сейчас читаешь его работы, мысленно восстанавливаешь себе его портрет: это человек невысокого роста, кривой, т. е. он одним глазом почти не видел, человек, не любящий фразу, он избегает всех красот речи, он говорит просто, потому что это прекрасно. Вот эта черта его характеризует как писателя умного, в первую очередь подающего читателю мысль, и эта мысль будет все время вас преследовать. Я мог бы еще очень много говорить о Переверзеве как авторе, потому что это действительно автор единственный в своем роде. После Переверзева в русской критике уже равного ему никого не было.

Я допустил такую фразу, что политика очень мешала Переверзеву. И от этой фразы я не отказываюсь и теперь. Будучи членом меньшевистской партии, он проводил ее идеи. Да какие тут, собственно, идеи? Речь шла о судьбах русской жизни, русской революции, русской истории – вот та идея, которую он проводил, та идея, которая охватывала всю Россию. Поэтому когда говоришь, что политика ему мешала, то имеешь в виду, что она мешала в том смысле, что он на это делал акцент, что политическая жизнь страны упирается в такие тупики, из которых она не может выйти, потому что она идет по неправильному пути. Вот здесь он, конечно, очень интересен. Просто как мыслитель, как писатель. Он дважды был репрессирован. Первый раз – царская тюрьма, 4 года. Потом, казалось, когда произошла революция, все старые представления рухнули, но он опять был репрессирован, и уже не в царской тюрьме, а в нашей, провел 17 лет. Как видите, опыт у него огромный. Он без труда мог бы написать историю русской тюрьмы. Но он не написал. Потому что слишком много общего было в тюремном характере той эпохи и его времени. И над этим, конечно, стоило кое-кому задуматься, и в первую очередь задумался он. Потом насту-

пило время его ссылки, его каторги, потом решили о нем вообще не вспоминать – «вульгарный социолог», клеймо есть, и можно спать спокойно. Можно ли спать спокойно, мы узнаем подробнее из следующих наших бесед.

Это был единственный человек, о котором можно сказать – мыслитель. Я у него учился. Он считал, что я человек, ушибленный буржуазным литературоведением. Это Сакулин в первую очередь, конечно. С Переверзевым у нас ни человеческие, ни научные отношения не сложились, но он имел на меня огромное влияние – научное, в смысле социологии, вульгарной социологии, от которой все отрещиваются. Я очень часто говорю: я последний ученик вульгарной социологии. И это не *façon de parler*, нет. Это правда. Я думаю, что понятие «вульгарная социология» существует, но реально этой вещи не существует. Социология не вульгарна. Она нужна и в науке, и в искусстве, и, если угодно, в жизни.

Когда занимаешься популяризацией известных явлений, то приходит очень много посторонних мыслей, а их не хотелось бы разбрасывать так зря. Но в данном случае, когда я говорю о Переверзеве, то хочется многое сказать, очень многое. Ну, во-первых, сами подумайте, какой бы там ни был он, Переверзев, «вульгарный», «не вульгарный», но он был, и он оставил после себя очень существенный след в науке. А что о *нем* написано? О нем, о его личности? Ведь, помимо ученого, есть еще личность. Так вот о личности Переверзева ничего не написано, т. е. ничего не напечатано. А это очень интересная личность. Я уже обмолвился, что это обитатель различных тюрем – царской и советской тюрьмы. Неужели это все бесследно проходило для него? Из какого бы металла он ни был сделан, такие вещи бесследно не проходят. И, конечно, это описать надо во что бы то ни стало! А сколько было у него учеников, последователей, восхитителей, которые до сих пор... нет, теперь уже нет, но еще 10–15 лет тому назад были живы и даже здорововали, и даже занимали посты и с улыбкой говорили, что они когда-то были уче-

никами этого профессора. А это всё уходит. Но уходит, не оставляя следа. А след-то должен быть. Такие явления не уходят из жизни бесследно. И об этом очень хотелось бы рассказать.

Но я, к сожалению, бессилён это сделать, потому что я отделен другой жизнью, другими годами. Эта часть его бытия мне неизвестна. А такие люди, как Фохт Ульрих Рихардович, его любимый ученик, кстати говоря, очень талантливый человек; Поспелов Геннадий Николаевич, тоже его ученик, менее талантливый; Цейтлин, его ученик, – они ничего не написали о своем учителе. А ведь они ему очень многим обязаны. В смысле школы, понимания предмета, понимания науки – они всецело обязаны ему. Как будет восполнена эта брешь, я не знаю, но мне кажется, она должна быть восполнена. После смерти Переверзева его дети опубликовали собрание сочинений его произведений¹. Туда входят работы о Гоголе, книга, которая называется «Творчество Гоголя», книга, которая называется «Творчество Достоевского». И очень хорошая и интересная работа о Гончарове. А ведь помимо этого у него еще есть много неопубликованного, и никто к этому не прикасался. Дети опубликовали по известной причине. Они, конечно, не хотели, чтобы память об их отце исчезла.

Сегодня мне предстоит говорить на тему Переверзев о Гоголе. Это очень интересная тема. Но очень сложная и большая. Во-первых, что интересно? Внимательно вслушайтесь в то, что я сейчас буду говорить. Переверзев представляет себе историю литературы как явление демократическое. Главным писателем этого демократического направления был Гоголь, который пришел на смену аристократизма, изысканности Пушкина. И Переверзев очень хорошо подбирает материал, характеризующий русскую литературу периода Гоголя, указывает, что это есть один из основных периодов русской литературы. Никто до Переверзева о Гоголе так не писал. О нем писали по-разно-

¹ *Переверзев В.Ф. У истоков русского реализма / Сост. В.В. Переверзев и В.В. Переверзев. М.: Современник, 1989.*

му, но никто не писал о Гоголе как о явлении эпохальном. Ведь интересно: книги о Гоголе у Переверзева не закончены, как не закончено само изучение Гоголя Переверзевым. Первый том «Мертвых душ» замечателен, второй том куда слабее, а третий том вообще не вышел. Объяснение этому дал только Валерьян Федорович. Это объяснение лежит в природе самого гоголевского творчества. Трагедия Гоголя была лучше всего раскрыта Переверзевым. Во втором томе мы не видим выхода. Первый том замечательный. А второй? С чем остались люди? С тем, что бричка Чичикова уехала, в то время когда хоронили прокурора. Да, здесь талант Гоголя оказался недостаточно великим, чтобы показать, что случилось с Россией. В это время он, конечно, пишет «Выбранные места из переписки с друзьями»; различная переписка, вспомогательные материалы – все, что не входит в художественную литературу, но так или иначе проливает свет на те трагические явления, которые переживает Россия и которые так убедительно раскрыл Гоголь, и так убедительно охарактеризовал Валерьян Переверзев.

Вот эту сторону жизни литературы и надо охарактеризовать, и раскрыть, и показать. А хватит ли у нас на это сил или нет? Вот на этот вопрос я ответить боюсь. Почему боюсь? Потому что знаю, что не хватит. Знаю, что творчество Гоголя есть не что иное, как обрыв. Не у Гончарова был обрыв, там, с Райским. Нет, обрыв был здесь. Нельзя было объяснить, что происходит, куда идет Россия, можно было только поэтически изобразить тройку. «Куда ты мчишься?» Помните это место? Тройка (это Россия), куда мчишься? «Все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи». А ответа нет. Потому что его нет в русской жизни.

Сегодня я буду говорить об исследователе, который нас интересует. Переверзев не написал историю литературы. Он только сделал два огромных раздела – литература гоголевского периода, литература периода Достоев-

ского. Ясно, что между этими двумя крупнейшими явлениями было что-то третье. Об этом третьем, может быть, я и скажу, если хватит времени и сил. Но пока речь идет только о первом периоде, т. е. литературе, которая связана с именем Гоголя.

Гоголь – это целый пласт русской жизни, русской культуры. Все, что до Гоголя, – это Пушкин, самый крупный, самый большой, самый, если угодно, интеллектуальный и эмоциональный писатель России. Но после Пушкина место в истории литературы, твердое место, занимает Гоголь. Недаром о нем говорили: «Этот хохол нас всех переписет». Он их действительно всех переписал, то есть написал больше, чем все остальные – и не только по качеству, но и по количеству.

А о чем он писал? Он писал о России. И сейчас я должен сделать несколько отступлений и сказать, что же такое Россия чисто внешне. Это сословное государство. Понятно? Каждое сословие – своего рода замкнутый мирок. В этом мирке есть свои руководители, свои предводители, свои главные, второстепенные деятели. Но это очень строго организованная система. Какие сословия? Дворянское, господствующее, безусловно, во всех областях – науке, культуре, искусстве. Крестьянское сословие как антипод дворянской культуры. Мещанское. Вот это то сословие, которое ни к какому не принадлежит и в то же время является очень большим балластом русской жизни на протяжении всей ее истории. Ну и, конечно, духовное сословие. А почему так важны эти сословия? Потому что они являются частью государства, и самой существенной частью. Каждое из этих сословий считает себя первым, и это не фраза, нет. То, что дворяне считают себя первым сословием, это вполне естественно: им принадлежит власть, им принадлежит право, им, наконец, принадлежит экономика, богатства земли, леса, воды – это их собственность. Недаром ведь существовало Министерство дворцового ведомства, т. е. для того чтобы это имущество не расхинилось, не исчезло, существовало целое министерство, кото-

рое занималось хранением и распределением этих огромных ценностей. И сейчас, когда идешь по Пречистенке, встречаешь дома, которые принадлежали Министерству дворцового управления. Там свой штат, свои должности. И своя иерархия. Откуда-то надо было награждать людей за их подвиги. Откуда брать средства для наград? А награждали чем? Не только чинами, награды чинами, как тогда, так и сейчас, считали совершенно одинаково – украшение, и только. А настоящая награда – это не только чин, а то, что связано с этим чином, т. е. земля, крепостные души. У графа Бобринского (это граф, конечно, липовый, это один из незаконных детей Екатерины II) владения – это целое государство: свои фабрики, свои заводы, свои мельницы. Никто не мог управиться с этим хозяйством. Нужно было пригласить А.Т. Болотова, который был образцовый хозяин, чтобы он мог наладить коммерческую, хозяйственную жизнь в этом владении.

Но помимо вот этой экономической силы, должна еще быть интеллектуальная сила, т. е. образование. Это очень интересно. Целое сословие, духовное, должно было заниматься образованностью. Вы представляете, что это такое? Целое сословие, т. е. часть России, занимается тем, что образовывается. А ведь все это делалось как? Добровольно-принудительно. Есть священник, у него дети. 10–12–15 человек. Противозачаточных средств тогда не знали. Куда девать их, армию всю? Для них существуют учебные заведения: школа, начальная школа, бурса, за ней идет семинария, а за семинарией – по способностям. Есть способности – из семинарии попадешь в Академию. Нет способностей – что делать, останешься простым попом, или дьяконом, или дьячком – еще хуже. А на что жить? Содержание-то грошовое, значит, надо жить на доброхотство – что даст приход, что дадут богомольцы. Семинария кормит, одевает, обувает, там все казенное, только учись, Ваня. Ваня учится. Но все люди грешные: учиться хорошо, а лениться еще лучше. Отсюда семинарский отсев. А куда его девать? Певцы, чтецы – их куда-то надо

устроить. Если ничего не получается – один путь. Лоб забить, в армию, там научат.

Мы видим, что создается целая армия интеллектуальных работников, как мы бы сейчас сказали. Так как люди, кончившие семинарию, мечтают стать независимыми и в то же время стать учеными, они пытаются поступить в Академию. Поступить в Академию – это не так просто. В Академию надо быть рекомендованным. А факты рекомендации какие? Во-первых, претендующий на положение студента Академии должен знать четыре языка: два древних и два новых. Во-вторых, он должен быть музыкально одаренным, т. е. он должен уметь петь, играть на каком-нибудь инструменте и сам должен сочинять мелодии. Это необходимое требование, без этого никто не будет разговаривать с человеком. Наконец, он должен обладать очень хорошими знаниями в области истории, истории литературы, истории искусства, т. е. здесь гуманитарная образованность академика, будущего академика, должна быть необыкновенно высока. Поэтому в Академию поступать было очень трудно, отбор был очень большой. И нет ничего удивительного, что из той массы людей, которые кончали семинарию и претендовали быть академиками, поступали буквально крохи. Лица, кончившие духовную Академию, пользовались многими преимуществами. Во-первых, по окончании Академии они могли быть преподавателями гимназий, во-вторых, будучи академиками, они могли поступить в Университет на второй курс историко-филологического факультета, без экзаменов, разумеется. В-третьих, академик мог работать в самых различных учреждениях – медицинского, филологического, исторического цикла. Вот такая армия интеллектуальных работников была подготовлена русским правительством до революции. Нет ничего удивительного, что многие лица, кончившие академию, не пожелали далее связывать свою судьбу с академией и церковью. Они пожелали быть свободными гражданами России. Тем более что они были нарасхват.

Академик, человек, кончивший академию, мог поступать куда угодно, в любую канцелярию. И везде для него находилось место.

Я это говорю к чему? К тому, каковы были ученики у Валерьяна Федоровича Переверзева. Они тоже были его учениками. Но дело в том, что к ним он относился очень скептически, я бы сказал. Он считал, что у них прежде всего не хватает философской широты взгляда, лингвистических знаний, языкового чутья, что все это только интуиция, а не наука. Вот почему среди учеников Переверзева очень мало лиц, кончивших Духовную академию. Академики считали, что он дилетант, что социология не та наука, которая может ответить на все вопросы. А вопросов было очень много. И на все надо было отвечать. Среди самых талантливых учеников Переверзева – Ульрих Рихардович Фохт. Это человек блестящего образования. Он не только полиглот, но он очень хороший лингвист. И не только очень хороший лингвист, но он очень хороший психолог. Мне пришлось слушать его выступление, заключение по кандидатской диссертации, посвященной роману Достоевского «Преступление и наказание». Я был поражен той глубиной анализа, который Фохт проделал, изучая эту диссертацию. Идея была какая? Ну хорошо, можно отрицать то, другое, третье. Но человек чем-то должен жить, внутренняя жизнь должна обогащать человека. Если у человека нет веры в силу собственного убеждения, то что все остальное? И вот когда мне запала эта мысль: если у человека нет этого внутреннего убеждения (то есть какого убеждения? Убеждения, что все существует по Высшему проявлению), то чем он живет? Ему нечем жить. Отсюда такое большое количество самоубийств, умопомешательств, отчаяния, духовная деградация общества. Вот трагедия людей, потерявших веру в собственную веру. И это говорит материалист, вульгарный социолог, как его называли. А большей, так сказать, интуитивности, большей проникновенности, большей человечности я не знаю. Это было поразительно. Когда кончился диспут,

я подошел к Ульриху (у меня с ним были очень хорошие отношения, он ко мне очень хорошо относился в отличие от Переверзева), я ему говорю: «Ульрих Рихардович, но как же так, вы же материалист!» Он посмотрел на меня и говорит: «Эх, Либан! Если бы все измерялось только одним словом! В науке слово не всегда обозначает то, что оно обозначает». Это мне запомнилось на всю жизнь – что «слово не всегда обозначает то, что оно обозначает». Я ему стал что-то говорить про Марра. Он послушал, послушал, улыбнулся и сказал: «Ну хорошо, об этом в следующий раз». На этом наш разговор и кончился. Следующего раза не было.

<...> Дела мои шли довольно успешно: я учился в аспирантуре ИФЛИ, сдал уже все экзамены, кроме французского языка. Моим научным руководителем не мог быть Переверзев, он в это время уже был в ссылке. Моим научным руководителем стал Д.Д. Благой. Я выразил Благому свой восторг по поводу того, что он мой научный руководитель. Это было время, когда я начал льстить людям. Беспардонно льстить. Благой принял это очень спокойно, рассудительно, красиво, сказав, что ему приятно слышать такой нелицеприятный отзыв от ученика. Но здесь надо сказать, что семинарские занятия, которые проводил Благой с аспирантами, были на редкость скучными, беспроблемными. Я там никак не мог себя проявить. А другие проявляли. Но проявляли главным образом путем рассуждений, разговоров. Методологии никакой не было. Вот отсутствие методологии, т. е. отсутствие системных взглядов, их очень здорово подкосило впоследствии.

Прошел пушкинский юбилей – с необыкновенной торжественностью. Потом много раз я спрашивал у людей, весьма авторитетных: «Как же так? Такой торжественный юбилей – в то время как война на носу». Мне отвечали: «Вот потому и нужно было торжество, чтобы заглушить страх перед войной». А то, что война на носу, это знали очень многие. Уже все готовились к эвакуации.

Все, кто заинтересован был в системе политического управления страной.

Войну встретили по-разному. Сотрудники ИФЛИ все еще демонстрировали свою военную мощь, хотя уже никакой военной мощи не было. Шли митинги. На нашей территории, конечно. Шли митинги в поддержку Советского Союза, в поддержку свободы, демократии и прочее. А с той стороны, со стороны Германии, шли не митинги, а самая серьезная военная подготовка. То есть готовился удар, мощный удар. И самое неприятное, конечно, что об этом знали у нас. И мы не были готовы к принятию этого удара. Молотов объявил о том, что Россия вступила в стадию войны и «война должна продолжиться годик-другой, мы не рассчитываем на долгую затяжную военную игру, мы знаем, что мы довольно мощная страна и что Германия не может нанести нам сокрушительного удара».

Положение делалось очень серьезным. Немцы стояли у ворот Кремля, образно говоря. Поэтому было приказано провести 7 ноября парад на Красной площади, затянуть небо, то есть сделать его непроницаемым для противника, и вывести все наши войска в торжественной форме. Не делая никаких заявлений. Когда это было сделано, на какое-то время наступило затишье, то есть страшное чувство – что же будет дальше? А дальше было все: массовый бросок немецких войск в сторону России. И пригороды Москвы все были оккупированы немцами. Немедленно были подтянуты сибирские войска в Москву, которые создали своеобразное укрытие, способное не допустить немцев до Москвы. А в это время в Москве шло торжественное заседание в метро на станции «Площадь Маяковского». Как будто ничего не происходило, все спокойно. Там шли доклады о положении дел в стране, о наступлении Германии, о нашем решительном отпоре немцам.

А на фронтах шла страшная мясорубка. Не успевали вводить новые и новые части. Но сибирские части, ко-

торые прибыли в Москву, сделали свое дело: немец был отброшен. И все эти временно занятые города, такие как Калуга, Клин, Дмитров... все это было освобождено от германцев. То есть попросту немцы сами ушли оттуда, потому что им создали такие условия, что они не смогли воевать. Но война не только не кончилась, а наоборот – она вступала в самый ожесточенный период. Здесь и проявились таланты военачальников. Здесь и выявилось, кто действительно герой, а кто только названный. Борьба, страшная, отчаянная. Она прежде всего отразилась на экономике. Был введен паек, карточная система. Три категории: «А», «Б», «В». «А» – это можно жить, «Б» – можно пробовать жить и «В» – это просто голод, краюшка хлеба. Это так, конечно, гипербола, но это очень небольшое количество хлеба.

«А» – это науке. Я относился к «В»: степени не было. Самый последний – «В». 300 граммов черного хлеба. Килограмм мороженой картошки. Профессора получали категорию «Б». Категорию «А» получали академики, политработники.

Всю войну я работал в университете.

Было 16 октября, когда считалось, что Москву сдадут. Все были уверены в этом. И все побежали из Москвы. Университет не работал. Они же все убежали. А кто не убежал, все-все попали в армию. А кто не попал в армию – те все на трудфронт.

Что я делал? Страшно было. Могу привести только один пример. Посоветовался я с Марией Романовной, это моя мать. Анна Алексеевна¹ забрала свою мать, парализованную старуху, и годовалого Николая² и отправились в эвакуацию со своим издательством «Иностранский рабочий». Сколько труда стоило ее уговорить не делать этого! Бесплезно! Мария Романовна говорит: «Колечка, кто нас там ждет? Мы приедем на пустое место. Нас там никто не ждет. А куда мы будем возвращаться, если будем, – тоже

¹ Жена Н.И. Либана (*примеч. сост.*).

² Сын Н.И. Либана (*примеч. сост.*).

неизвестно. Так что я советую тебе уходить с войсками, а здесь я останусь одна». Приехал Андрей Никитин. Он уже служил в армии в это время. Меня не было. Он говорит: «Мария Романовна, через 2 часа сюда войдут немцы. Я приехал взять Николая. Николаю Ивановичу нельзя оставаться. Это равно гибели. У меня есть два часа в моем распоряжении, я это могу сделать». Хорошо, что меня не было дома! Два часа истекли, меня нет. Он говорит: «Больше ждать не могу». Уехал на своем автомобиле – военном автомобиле. Через два часа немцы не пришли. И на следующий день не пришли.

И вот вся та масса людей, которая когда-то ушла из Москвы на восток, оказалась теперь в чистом поле. Куда идти? Вперед, т. е. на восток? А куда на восток-то? Транспорт не готов взять и увезти в Ташкент. Было критическое положение, страшное положение у этих людей. Все, кое-как шкандыбая, добирались до теплых городов. Некоторые дошли даже до Ташкента, до Самарканда. Дошли – а дальше что? Где приютиться? На бульваре, на скамеечке. Погода прекрасная, тепло. Но было не только тепло, было и жарко. Вот здесь начались инфаркты, ведь это все старые люди были – эти профессора. Это все было старье. Они умирали – не стоя, а сидя. Кому посчастливилось выжить – тот выжил. Ждали зимы, лишь бы только до зимы дожить, то есть до холодов. Это самое трудное – дожить до холодов. Тогда стали хлопотать, чтобы местом эвакуации был не Ташкент, а Свердловск. Из этой парилки – в холодную яму, в Свердловск. И так это продолжалось почти три года – вот такая бестолочь.

А я работал в университете. Да, отдан приказ, чтобы университет работал, хотя там студентов нет, профессоров нет. Но есть приказ, чтобы были расписания составлены, чтобы они везде висели, чтобы была образцовая посещаемость – все это было. Даже отбирали студентов на трудфронт из тех, которые остались. Вот остался такой мальчик Полянский, он пришел в комиссию к нам (а я был членом комиссии), а у этого мальчика одна рука не рабо-

тает и одна нога не работает. Хотели, чтобы он шел разгружать. Гудзий меня спрашивает: «Ну, куда мы его пошлем?» Я говорю: «Ясно куда». – «Говорите, говорите куда!» Я говорю: «В поликлинику». Он спрашивает, куда идти. Я говорю: «В поликлинику идите». – «А что мне там делать?» – «Пусть напишут свидетельство». – «О чем?» – «О том, что вам физический труд категорически запрещен». Он пошел туда, ему сказали: мы напишем, но никто с этим считаться не будет. Ему и написали: «Физический труд категорически запрещен ввиду таких-то, таких-то болезней». Он пришел к нам, принес эту бумажку. Гудзий говорит: «А теперь что?» Я говорю: «А теперь очень хорошо! В его личное дело подошьем копию, а оригинал оставим себе». – «А это зачем?» – «А потому что с вас спросят, Николай Калининвич, на каком основании вы?..» – «Ну, я тогда к вам пошлю». Я говорю: «Пожалуйста, присылайте». А Гудзия в это время выбрали деканом. Я говорил: «Вам очень повезло». А я был секретарем кафедры русской литературы. И замдекана – лет семь, наверное, всю войну и после войны еще четыре года.

Люди возвращались с войны. А куда им деваться? Они шли в университет. А в университете я организовывал лекции по марксизму-ленинизму. Сам читал древнюю литературу, XVIII и XIX век.

О Николае Калининвиче Гудзии, к сожалению, очень мало написано. Хотя надо сказать, что он всячески стремился увековечить свое имя в Университете. Он сделал заказ нескольким художникам, которые должны были написать его портрет. И портреты его действительно были написаны. Но, как всегда бывает у нас, хорошая затея кончилась почти анекдотом: после смерти Гудзия не знали, куда деть эти портреты. Одно время их поместили в коридоре, проходной комнате, так что никто не мог понять, почему они здесь. Другой раз поместили в учебной части, где находилась картотека работ ученых Московского уни-

верситета. Кстати говоря, там были многие интересные работы, а Гудзия там не было.

Заслуга Гудзия перед Университетом, перед наукой, перед общественностью следующая (с моей точки зрения, очень большая). Надо сказать, что историю литературы преподавали начиная с советского времени: первый период – это был период советский, потом XIX век, потом шел XVIII век. И где-то там в самом конце помещалась древнерусская литература. Гудзий, как человек очень энергичный, предприимчивый и напористый, решил изменить все и сделать так, как должно было быть. С этой целью он обратился в Центральный Комитет партии, предложив свой курс лекций по древнерусской литературе, который шел не в хвосте, а был первым. И замечательно то, что этот курс древнерусской литературы доказывал патриотический характер русского народа, русской литературы, патриотический характер того замечательного направления, которое было дано русской жизни начиная с XII века. И своими рассуждениями он зачаровал членов ЦК, которые, разумеется, раньше никогда не читали древнюю литературу. И когда они узнали, что, оказывается, самый-то агитпроп здесь, в древней литературе, чего там куда-то ходить, вот здесь надо брать все, что нужно для пропаганды советских идей, с этого момента началась перестройка истории русской литературы. Это огромная заслуга Гудзия. Он занимался немного Толстым, он занимался отдельными произведениями древнерусской литературы. То, что он сделал с курсом, поместив древнерусскую литературу в начале истории России, это, конечно, грандиозная заслуга. И никто уже после него периодизации не пересматривал.

Надо еще сказать, что портретов Гудзия было два – один живописный, а другой скульптурный. Поскольку скульптурный портрет был темный, то не совсем догадывались, о ком это речь, кто, собственно, представлен. И куда его девать? Но был такой декан, Алексей Георги-

евич Соколов, который решил, что особенно рассуждать не нужно. Лучше всего портрет декана Гудзия поместить в кабинет декана, чтобы все знали, что декан был всегда. Вот во времена Гудзия был воздвигнут монумент в его честь. И до сих пор этот скульптурный портрет находится в кабинете декана. И до сих пор не все знают, чей это портрет. Никакого, так сказать, комментария, объяснения нахождения этого достопримечательного шедевра нет. А можно было бы сделать очень интересную экспозицию с прекрасным историко-литературным комментарием, если бы люди немного шевелили мозгами и понимали, что само имя декана – имя преходящее: сегодня декан один, завтра будет другой. Фамилия другая, но декан-то останется. Декан – такое же твердое имя, как факультет. Мы не придаем значения терминологии – и делаем огромную ошибку и вводим в заблуждение наших младших товарищей.

Положение мое делалось весьма трудным. Я переживал очень тяжелый период. У меня не было никакой поддержки, опереться мне было не на кого. То есть, другими словами, все окружавшие меня люди, ко мне расположенные, были от меня отодвинуты, или вообще исчезли, или вообще никак не реагировали на события научной и политической жизни, которая протекала в стенах университета. Вот в этой самой обстановке мне и пришлось работать. Единственное, что я мог делать, конкурируя с другими, – это мои административные способности. Как администратор я был все-таки очень хороший и незаменимый специалист, потому что другие работники филологического и исторического факультетов просто не знали ни предмета, ни специфики работы, ни кадров. Это все мне было доступно. Что было делать? Дело было одно – надо было работать как можно больше и на самой низовой работе. Ни в коем случае не высовываться. А вот на низовую работу никто не хотел идти. А я эти низовые

работы охотно брал и выполнял. И делал это с блеском. Это меня спасало. Но как бы то ни было, через некоторое время совершенно ясно было, что и это не будет долго. Нужен новый заведомо русской литературы. Предложили Ожегова. Ожегов сказал: «Я буду работать, если со мной будет работать Либан. Один я работать не буду». Нашли соломоново решение – сделать двух заведующих отделами. Как? Ну, они между собой договорятся как. Два завотдела. Договориться мне с Ожеговым, конечно, было несложно. И мы эту работу стали делать. Вся трудность была в том, что эту работу контролировали Виноградов Виктор Владимирович, которого вернули из ссылки и сделали действительным членом Академии наук, слово которого было решающим, и Бернштейн Самуил Борисович, которого никто не контролировал, но его положение было тоже не менее резким. Он быстро защитил докторскую диссертацию. А контролем он почти не занимался. Он говорил: «Для меня абсолютно безразлично, кто как преподает. Важно, чтобы преподавали хорошо». Вот в этой обстановке я и работал. Причем я еще оставался секретарем кафедры русской литературы. Заведующего кафедрой русской литературы Еголина сняли. И не только сняли, его лишили звания кандидата в ЦК. Он был кандидат в ЦК партии. Понятно, что это такое? Это член правительства. Этого звания его лишили и назначили его директором Музея Ясной Поляны, где он должен был жить. Но он там никогда не бывал. Это привело к тому, что его оттуда тоже выгнали, и он оказался безработным. Я спросил Самуила Борисовича: «Самуил Борисович, каково же будет положение предметов, которые сейчас преподают?» Он мне ответил: «А, собственно, почему вы об этом беспокоитесь? Вы читаете свой курс, вы ведете практические занятия, вы работаете под моим началом, и вам не надо об этом беспокоиться». – «Да, но Виноградов же все-таки заведует кафедрой». – «Номинально да, а фактически нет».

Виноградов делается редактором многих литературных журналов. Он декан Московского университета, он

декан Ленинградского университета. Он дома почти не живет, а живет в вагоне, то есть переезжает из одного города в другой. Чтобы показать свою власть, свою независимость, он устраивает лекции во время студенческих занятий. В большой аудитории он устраивает лекции для тех, кто хочет его слушать. Таких много находится, которые, вместо того чтобы идти преподавать, идут его слушать. Фактически срываются занятия. Он перессорился буквально со всеми у себя на кафедре, а потом перессорился со всеми в Университете, а потом перессорился с руководящим составом Университета – и должен был подать в отставку. Но это все вокруг; так сказать, до мелких сошек это не доходило, это их не затрагивало. Затрагивало только в том смысле, что начались сокращения, увольнения, перераспределение нагрузок. И здесь надо было быть на чеку. Не попасть под увольнение очень трудно, а попасть – очень легко. А избежать этого тоже возможно. Как? Заранее подать заявление – об уходе.

Самуил Борисович Бернштейн говорит мне: «Вам, Либан, некуда уходить. Вы при месте, и держите это место». Это уже было очень много: я знал, что я при месте. А в это время происходит поток несчастных случаев, ведь вся эта публика-то живет на нервах. Бернштейнов было двое: Бернштейн-умный, о котором я говорил, и еще один Бернштейн-красивый, тоже очень талантливый человек. Их держали на всякий случай: если кого-то надо уволить – вот есть кого уволить. Прошел этот шквал – шквал увольнения, научного раскулачивания. Тогда известная нормализация была в моде. Половина ректората была отстранена. А очень многие просто умерли. Понятно почему: потому что они были лишены всего – и академического пайка, и конверта (т. е. специальной зарплаты: кроме обычной зарплаты давали еще конверт, в этом конверте находилась зарплата примерно в 2–2,5 раза больше, чем она приходилась по расписанию).

В этом грустном положении – без поддержки близких людей – и оказался твой покорный слуга.

Что делать? А ничего не делать. Надо делать то, что раньше делал.

А жизнь-то не уходит, жизнь идет. И нужно все время работать. Все время работать. И твой покорный слуга, моя благодетельница, все это время работал. У него не было выходных. И он никогда ни в чем не отказывал. И за это, наверное, ему многое простится. «Не судите». И я никого не судил. Но никогда ни в какие сделки с совестью не вступал. Об этом торжественно заявляю этому аппарату¹. Всё.

Домодедово, лето 2007 года

¹ Запись была сделана на диктофон (*примеч. сост.*).

V

Дорогому Николаю Иванову
Низчайший поклон и добрые пожелания
в день 1-го мая и во все последующие
времяна.

Все-таки хорошо, что движут к
белоч свете такие люди, как Вы. И когда
встречаемся с такими людьми, становимся
как-то радостно и светло на душе.

С благодарностью вспоминаю наши
с Вами встречи, но всегда лучше встречи
за многое-многое благодарен Вам.

Будьте здоровы! Живите еще
лет 150.

Всегда Вам Я.С. Мухомов.

25.11.79г.

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ ИВАНОВИЧЕ ЛИБАНЕ

Ирма Видуэцкая

Встреча в сентябре 1955 года с Николаем Ивановичем Либаном – моя самая большая удача в жизни, профессиональная и человеческая. На первом курсе Николай Иванович вел у нас практические занятия по древнерусской литературе, и он сразу же начал приучать нас к серьезной научной работе. Мы писали доклады по «Слову о полку Игореве» на очень узкие темы (у меня, например, была тема «География “Слова о полку Игореве”»), читали их перед аудиторией семинара и слушали отзывы своих товарищей.

Со второго курса начались спецсеминары. Я колебалась, в какой спецсеминар пойти, и выбирала писателя, а не преподавателя. Мою судьбу решил категоричный совет Эллы Венгеровой: «Если хочешь чему-нибудь научиться, иди к Николаю Ивановичу Либану». Тема спецсеминара, заявленная Николаем Ивановичем, – «Чернышевский и русские писатели» – не очень меня привлекала, но я послушалась мудрого совета Эллы и благодарна ей до сих пор. Николай Иванович буквально выстроил всю мою научную судьбу. Без его руководства меня могло занести куда-нибудь не туда. В конце второго курса мне предложили продолжить образование в Тиранском университете: понадобились специалисты по Албании. Соблазняли близостью Италии и возможностью кроме албанского выучить еще и итальянский язык. Николай Иванович сказал что-то вроде того, что надо быть сумасшедшей, чтобы променять Московский университет на какой-то Тиранский.

На третьем курсе я начала заниматься в семинаре Николая Ивановича Лесковым и продолжаю заниматься им до сих пор. В спецсеминарах Николая Ивановича мы осваивали технику написания научных работ: составление библиографии, учет работ предшественников, оформление сносок, умение аргументированно излагать свою точку зрения. Если кто-то из нас называл писателя по имени и отчеству, Николай Иванович насмешливо спрашивал: «Вы что, чай с ним пили?» Если мы долго раскачивались с выработкой концепции, Николай Иванович говорил: «Начинайте думать на бумаге».

По курсам литературы – русской и зарубежной – нам давали огромные списки произведений, которые необходимо прочесть к экзаменам. По моим подсчетам получалось, что читать надо по 360 страниц в день. Николай Иванович приучал нас к тому, что каждую книгу надо хотя бы подержать в руках и полистать, если уж нет времени на внимательное прочтение. Это в первую очередь относилось к старым книгам – из отдела редкой книги библиотек. Через эти книги можно было почувствовать дух ушедших эпох. И еще Николай Иванович учил нас тому, что на экзамене надо иметь, чем «убить» преподавателя, т. е. поразить его каким-нибудь редким знанием.

Николай Иванович учил меня первые три года, а на четвертом курсе отправил в семинар Г.Н. Поспелова, чтобы я прошла школу этого ученого, а диплом я писала под руководством Я.Е. Эльсберга, интереснейшие спецкурсы которого я слушала на третьем и четвертом курсах. Основным местом работы Якова Ефимовича был Институт мировой литературы АН СССР, дипломников в университете он брал редко, но, видимо, согласился на просьбу Николая Ивановича и взял меня. По замыслу Николая Ивановича, я должна была пройти еще эту, противоположную поспеловской, школу. Работать с Яковом Ефимовичем было очень интересно, но я не сразу поняла, что он от меня требует. Первый вариант моей первой главы его не удовлетворил. Я была в панике и не знала, что мне делать. Николай Иванович сумел объяснить, что хочет от меня Эльсберг. Прочитав второй вариант, Яков Ефимович сказал: «Это мне нравится».

И после окончания университета Николай Иванович продолжал оставаться моим учителем. Когда я начинала работать над кандидатской диссертацией, его парадоксальные суждения о Чехове помогли мне в выработке моего собственного представления о писателе. Николай Иванович читал все мои работы, написанные в Отделе русской классической литературы ИМЛИ до их напечатания, и его замечания зачастую были весомее и полезнее, чем все, что мне говорили коллеги на обсуждении. Когда я говорю, что Николай Иванович выстроил мою научную судьбу, я нисколько не преувеличиваю. Ему принадлежит идея подготовки Полного собрания сочинений Лескова в 30 томах и первые шаги к ее осуществлению. Он собрал вокруг себя небольшую группу заинтересованных людей, и работа, за которую не решился взяться ни один академический институт, успешно идет уже 12 лет. Вышло 9 томов, в среднем по 55 учетно-издательских листов каждый. Идет корректура десятого тома. В работе принимают участие специалисты по Лескову не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Орла, Петрозаводска, Кургана, Вильнюса, Киева, Ставрополя, Йошкар-Олы. Николай Иванович помог нам осуществить мечту всех, кто занимается творчеством Лескова, – создать первое Полное собрание сочинений с научно подготовлен-

ными текстами и комментариями. Этой работы хватит не на одно десятилетие.

Наблюдая за Николаем Ивановичем в течение многих лет, я поражалась, с какой легкостью он раздаёт направо и налево свои интереснейшие идеи, никак не закрепляя своего авторства. Ученики клали их в основу своих дипломных работ и диссертаций, а потом еще иногда обвиняли друг друга в плагиате, забывая, кто дал им эти идеи. Было обидно, что Николай Иванович ничего не публиковал. Но вот наконец, переступив девяностолетний рубеж, Николай Иванович начал выпускать книгу за книгой. Сначала вышли лекции-очерки «Литература Древней Руси», затем «Становление личности в русской литературе XVIII в.». Готовится к печати книга по истории русской литературы первой трети XIX в., куда вошли очерки о Жуковском, Пушкине, Лермонтове. Радует, что ученики начали отдавать долги Николаю Ивановичу: в основу двух вышедших книг положены магнитофонные записи его лекций, сделанные в свое время Таней Афанасьевой.

Уникальный педагогический дар Николая Ивановича включает в себя не только талант ученого и учителя, но редкую человеческую отзывчивость и искреннюю заинтересованность в судьбах учеников. Каждый желающий мог подойти к Николаю Ивановичу и излить душу, и мог быть уверен, что встретит понимание и желание помочь. Когда Николай Иванович шел по коридору, он с каждым шагом «обрастал» студентами, жаждущими о чем-то с ним поговорить. Николай Иванович поистине живая легенда. Где бы я ни встретила выпускника филфака, он в первую очередь вспоминает Николая Ивановича. Такое впечатление, что у него учились все закончившие филфак МГУ.

И еще приходит на память одна вроде бы незначительная, но на самом деле очень важная вещь: Николай Иванович воспитывал нас своим уважительным отношением к факультетским уборщицам и гардеробщицам, которых другие просто не замечали.

Лариса Васильева

Если у меня в процессе жизни появилась бы необходимость или возникло желание написать кандидатскую диссертацию на любую гуманитарную или окологуманитарную тему, я без особого труда сделала бы это. Ничего исключительного. На такое способны все, кто в 50-х годах прошел школу Либана, старшего преподавателя без степени. Незаметно для своих семинаристов он открыл нам секрет успешного подхода к тигру по имени Метод.

Как? Не понимаю. Не демонстрировал свои знания. Не учил. Не поучал. Говорил с нами, как будто с собой.

Тайна невысокого Либана, перед которым робели профессора, смущался Бонди, не казался величавым даже крупноформатный

декан А.Н. Соколов, неуловима, непостижима, и, в общем-то, никакой тайны нет.

Многие умеют смотреть свысока. Другие – с высоты. Либан смотрел с высоты и умел научить этому. После его семинаров самая захватывающая лекция была как пружинный детектив после гоголевского «Вия».

Думаю, Николаю Ивановичу от природы было дано понять то, что понял Пушкин при встрече с шестикрылым Серафимом:

И внял я Неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Смотрящий из Вселенной видит землю всю. Либан видел, показывал тем, кто хотел и мог.

Мне нередко задают вопросы: «Кто на вас влиял?», «Кто был вашим учителем?»

Кроме Либана – никто, но не называю его имени, сомневаюсь, захотел бы он ходить в чьих-то учителях.

Как влиял?

Смотреть Оттуда – это от него.

«И в небесах я вижу Бога» – от него.

Оплодотворение души.

Господи, Николай Иванович, мое счастье, что, далеко не робкая, я робела перед Вами.

Счастье, что не посмела приблизиться – «большое видится на расстоянии».

Счастье, что, ища свою свободу, была свободна от Вашей.

Но сколько потеряно, сколько не взято от Вас нами...

Валентин Хализев

Спецсеминар Николая Ивановича Либана на нашем втором курсе был посвящен русской литературной критике первой половины XIX века. Много народа, наверное, около пятнадцати человек. Предложены темы курсовых работ. Мною выбрано: «Пушкин-критик в борьбе за реализм». Пространные монологи руководителя семинара о необходимости тщательного изучения истории вопроса, об имеющихся библиографических указателях (Владиславлев, Мезьер и другие). Поначалу Н.И. требовал от нас подборки научных работ по избранной теме. Автор, название и выходные данные каждой работы должны были записываться на отдельных карточках, которые на консультациях просматривались и комментировались Либаном, указывалось наиболее важное. Запомнилась его фраза: «До тех пор, пока вы не изучили все написанное по данной теме, вы не имеете права начинать писать собственную работу». Остался в памяти и совет Николая Ивановича: «Не

обязательно иметь большую домашнюю библиотеку. Но библиографические указатели и вообще справочники покупайте при любой возможности».

Требуемые от нас курсовые сочинения Н.И. называл «научно-образными», подчеркивая этим их учебный характер. На занятиях семинара наши курсовые и их предварительные варианты обсуждались в соответствии со строгим академическим ритуалом. Заранее назначались два «официальных оппонента», которым вменялось в обязанность разносторонне охарактеризовать работу однокурсника: полноту раскрытия темы, убедительность аргументации, композицию, стиль.

Своего времени, затрачиваемого на нас, Николай Иванович не жалел. Помню, пригласил меня к себе домой, чтобы я прочитал ему вслух предварительный вариант своей работы. Подверг ее критическому обсуждению. Это была едва ли не многочасовая консультация. Один из советов был таков: «Когда вы ссылаетесь на кого-либо из ученых или обращаетесь к изучаемым произведениям, давайте цитаты скупой и экономно: только то, что нужно для подтверждения вашей мысли». Смутно припоминаю и то, что Либан советовал мне (осторожно и вместе с тем достаточно определенно) не уклоняться от господствовавших установок: «Меня за это критиковали; не хочу, чтобы и вам доставалось». А в конце учебного года сказал: «Идите в семинар Геннадия Николаевича (Поспелова). Он сможет дать вам больше, чем я».

Запомнилось мне, как Н.И. в наши аспирантские годы учил меня и Лизу Пульхритудову принимать экзамены. Мы с ней вели опрос первокурсников («Введение в литературоведение»), а Либан молча сидел рядом. Потом критиковал нас. Лизу предостерег от пространных рассуждений в процессе беседы с экзаменуемым: «Больше слушайте и задавайте вопросы». После того как кто-то из нас попросил студента назвать фамилии вульгарных социологов и, не получив ответа, упомянул Переверзева, Николай Иванович строго сказал: «Это имя вообще не должно произноситься».

Много позже, став преподавателем факультета, я однажды спросил у Н.И.: «В какой мере научному руководителю следует соучаствовать в написании студенческих работ?» Ответ был прост и тверд: «Чем больше, тем лучше». Эти слова я воспринял как «руководство к действию». Благодарен за них пожизненно. Главным лицом для специалиста-филолога Либан считал научного руководителя его дипломного сочинения.

О себе Николай Иванович (мне кажется, не без тайного лукавства) говорил: «Я не ученый, я педагог». Эти слова нуждаются в самой серьезной критической корректировке. Да, Либан проявил себя прежде всего как преподаватель. Филологический факультет на протяжении всех шестидесяти лет его существования без Николая Ивановича

непредставим. Диапазон, размах, масштаб его деятельности как лектора, еще более – как руководителя студенческих семинаров и дипломных сочинений, а также как неизменного участника всяческих обсуждений и дискуссий поистине беспрецедентен. В сопоставлении с ним другие преподаватели, даже имевшие в определенные периоды успех у широкого круга студентов, выглядят своего рода факирами на час.

Николай Иванович всецело сосредоточен на факультетской жизни. Неизменно следил и, думаю, следит ныне за тем, что публикуют его бывшие ученики. Привычны для нас его краткие устные рецензии на наши работы. Вот, например, его слова о моей (в соавторстве) брошюре о «Повестях Белкина»: «Книжка неплохая, но выйти за рамки узкого круга филологов она не сможет». Либану присущ живой интерес не только к его собственным ученикам (участникам семинаров и слушателям лекций), но и к факультетской студенческой среде в целом. Перед руководством факультета он неоднократно и весьма настойчиво выступал в роли защитника тех, кого считал настоящими филологами. О его поддержке помнят многие из давних выпускников...

В то же время Николай Иванович называл себя лишь педагогом, но «не ученым» совершенно безосновательно. Широкий круг филологических интересов, оригинальность высказываемых мыслей, четкость занимаемой позиции... В центре внимания – древнерусская литература. На втором месте (быть может, даже и на первом) – творчество Н.С. Лескова, которого Николай Иванович считает наиболее русским писателем. Работал над диссертацией о Помяловском (возможно, и написал ее, но защищать не стал)...

В сферу научных интересов и «педагогических штудий» Н.И. Либана (помимо древнерусской литературы и творчества Лескова) входили и русский фольклор, и отечественная литература XVIII–XIX веков в многообразии ее проявлений, и история русской критики, и теория литературы. Едва ли не по всем названным «сверхтемам» он читал лекционные курсы, оказываясь чем-то вроде устной литературоведческой энциклопедии.

Николай Иванович был и остается поборником строгого академизма: пристально-ответственного внимания к библиографической оснащенности работ и («в первую очередь», по его словам) к терминологии, которая должна быть ясной и четкой. Он всегда был нетерпим к подмене строгой науки вольной эссеистикой...

Говоря о мировоззренческой и научно-методологической позиции Н.И. Либана, назову его консерватором, или – человеком, склонным жить в русском XIX веке. К символистам он относится отрицательно, быть может, еще жестче, чем Н.С. Арсеньев, С.К. Маковский, И.А. Ильин. Крайне сурово отзываясь о Серебряном веке как таковом. Впрочем, здесь, возможно, сказалась порой присущая

Николаю Ивановичу расположенность к высказываниям предельно резким, запальчивым, даже эпатирующим: своего рода «закваска» времен его молодости, 1920-х годов.

К литературоведению, сформировавшемуся в дореволюционную пору, относится по-разному. Именитого и авторитетного ученого, к примеру, мог назвать «самым настоящим дубом» (естественно, в узком кругу собеседников). Высоко ценит М.Н. Сперанского и В.Ф. Переверзева, которые были его учителями. Науку о литературе советского периода, похоже, не очень-то признает. О плодах деятельности формалистов говорит как о «крупном явлении» и в то же время отмечает их односторонность. Утверждает даже, что русская наука о литературе в XX веке измельчала, что современное (в широком смысле) литературоведение – «это все-таки не наука», с чем, если вспомнить В.М. Жирмунского, А.П. Скафтымова, Д.Е. Максимова и ряд других ученых, согласиться невозможно. В то же время недавние слова Либана о «кодексе чести ученого», без которого наука существовать не может, и о его утрате в среде филологов на протяжении XX века («кодекса чести в науке давно нет») звучат убедительно, волнующе, будоражаще. Да, мы, литературоведы-гуманитарии, начиная, вероятно, с 1920-х годов, оказались во власти конкуренции и ожесточенных стычек, групповщины и сектантства, взаимной отчужденности, разобщенности, подозрительности, главное же – индивидуального самоутверждения. Спасибо Николаю Ивановичу за напоминание об этом. Право на слова о полузабытом кодексе чести ученого Н.И. Либан заслужил всей своей жизнью в мире литературоведения. Ему всегда были присущи нежелание обрести заметное место в научной среде, полное равнодушие к престижным степеням, званиям, должностям и органически свойственна готовность ставить себя на вторые и третьи места, оставаться в безвестности.

Интервью, на текст которого я опираюсь, опубликованное в Субботнике «Независимой газеты» 9 декабря 2000 года (№ 44) и перепечатанное (и дополненное) в книге «Филологический факультет. 1953–1958» (М., 2004), оставляет впечатление поистине неизгладимое: оно знакомит читателя с личностью необычайно цельной и яркой, с человеком, чье обаяние неотразимо, а биография беспрецедентно, можно сказать, даже фантастически богата.

Публикации Н.И. Либана немногочисленны и весьма оригинальны по жанру. Это не созданные им самим для печати тексты, а записи лекций и стенограммы разных лет: «Из спецкурса “Творчество Н.С. Лескова”» («Русская словесность», 1995, № 6), главное же – книги «Литература Древней Руси. Лекции-очерки» (М., 2000) и «Становление личности в русской литературе XVIII века» (М., 2003), где речь ведется не только о литературе, но также об отечественной духовной культуре и самой истории нашей страны...

Когда у С.М. Бонди спросили о публикациях Либана, он ответил примерно так: «Да какие там публикации! Николай Иванович акын еще больше, чем я». Да, с письменным словом Либан на публику не выходил. Почему? Загадка! Быть может, в силу максимальной требовательности к себе и письменным жанрам как таковым. Возможно, из-за полной и безоглядной сосредоточенности на педагогической работе. Но вероятнее всего, думаю, из-за присущей ему страстной, если можно так выразиться, приверженности к слову устному. Но так или иначе: Николай Иванович, подобно Бонди, – человек звучащей на публику речи и живого собеседования. К письменному монологу его не тянуло.

Мне, к сожалению, не довелось слушать лекции Николая Ивановича, о которых на протяжении уже половины века в среде выпускников филологического факультета широко бытуют высокие легенды. Об истоках «стилистики» лекционных монологов Либана четко и ясно сказал он сам, завершая рассказ о своей жизненной встрече с Георгием Чиновым, настоятелем одной из московских церквей: «У него я научился говорить».

Выступления Либана на собраниях кафедр и общемагистерских заседаниях были ярки и неизменно оставались в памяти. Вспоминается полемика Николая Ивановича с Д.Д. Благим по поводу пушкинской «Вольности» (конец 40-х годов) и в гораздо более поздние времена его гневный отклик на одно из суждений весьма именитого и авторитетного ученого: «Мы обязаны отмечать проявления невежества и у тех, кто имеет самые высокие звания». Свое выступление на очередных перевыборах декана Либан, вызвав общий смех, начал так: «Мне довелось пережить семь деканов».

Николай Иванович был и остается не только мастером публичного устного слова, блистательным оратором, но и замечательным собеседником. Он владеет искусством весомой и меткой реплики, как бы перенося свои лекторско-ораторские навыки в область бесед с отдельными людьми. В его словах всегда ощутимы убежденность в своей правоте и одновременно артистическая изысканность, игровое начало. Плотно, твердо сжатые губы (что запечатлено рядом фотопортретов), недолгое молчание и – неожиданно смелая, афористически броская, нередко звучащая как парадокс реплика – фраза лаконичная, меткая, как бы подчеркивающая свою весомость и окончательность. Высказывание завершается не многоточием, а интонационно обозначаемой точкой: оно обсуждению не подлежит, во всяком случае – не ожидает дополнений или возражений собеседника. Блистательные реплики Либана, говоря иначе, отмечены монологизмом. И – нередко – ироничностью: в глазах – задор и лукавство. Недаром Николай Иванович назвал себя «человеком ироническим». И далеко не случайно текст интервью, о котором шла речь, сопровождается ремарками: «с лукавой иро-

нией», «неожиданно и едко», «почти безразлично», «хитро улыбается». К тому же Н.И. любит пошутить, бесхитростно и просто, совершенно безобидно. Запомнилось, как он когда-то сообщил мне номер своего домашнего телефона: «Вам нужно запомнить только первые три цифры, остальное западет в память само: сначала лучший возраст женщины, потом – возраст, до которого я хотел бы дожить». И телефонный номер действительно запомнился: 203 27 95.

И вот что важно: ирония Либана напрочь свободна от надменности, самоуверенности, предвзятого взгляда на окружающее свысока. В стилистике поведения Николая Ивановича насмешливость и лукавство парадоксально, а в то же время и органически сочетаются с поистине человеческой мягкостью, доверительной открытостью, доброжелательностью. В подтексте отмеченных иронией либановских реплик – живой интерес и уважительно-теплое внимание к собеседнику. «Вид грозный, а глаза добрые». Так недавно высказалась о Н.И. Либане (на мой взгляд, с предельной точностью и меткостью) одна из выпускниц начала 60-х годов.

И несколько слов об одной из наших бесед с Н.И. В пору тяжелой болезни моей жены (середина 90-х годов) он, встретив меня на факультете, стал расспрашивать о ней, давал советы... Видно было, что происходившее в нашей семье Николай Иванович принимал близко к сердцу.

На протяжении последних месяцев мне довелось несколько раз разговаривать с Николаем Ивановичем по телефону. Чувствуется, конечно, что физические силы уже не те. Но волнуют, радуют, скажу, даже поражают прежние, хорошо мне знакомые со студенческих времен (более 55 лет прошло) уверенность тона, ясность и четкость мысли, поистине неистощимое остроумие. Перескажу то, что наиболее глубоко запало в сознание. Я рассказал Николаю Ивановичу о недавно появившейся книге В.В. Бибикина о Лосеве и Аверинцеве, после чего спросил, как он относится к этим ученым. Ответ: «К Лосеву – хорошо, к Аверинцеву – сдержанно». А в конце нашей беседы я попросил Н.И. сказать хотя бы две фразы о себе. Мгновенный отклик: «Две фразы? Пожалуйста. Первая: девяносто четыре. Вторая: Вам того же желаю».

И из совсем уж недавнего разговора (28 апреля этого года). Рассказав о своем нынешнем бахтинском спецкурсе, я спросил у Николая Ивановича, как он относится к этому ученому. Ответ: «Сложно. К книге о Достоевском лучше, чем о Рабле». После этого я коротко пересказал недавний (на конференции, посвященной литературе XX в.) «антибахтинский» доклад М.Л. Гаспарова. Отклик был критичным к Гаспарову: при всей его противоречивости Бахтин более проблемен. О Михаиле Леоновиче отозвался так: «Уж очень увлекается подсчетами, но это не просто крупный, это единственный у нас стиховед».

Завершая телефонную беседу, я попросил Н.И. что-нибудь сказать о себе. «Что именно Вы хотите услышать?» Эта фраза прозвучала как-то сурово. Я: «Да мне все интересно!» Ответ: «Пишу о Пушкине, работаю над моими лекциями».

Разговаривая с Николаем Ивановичем, я постоянно чувствую его прочную и глубокую связь с людьми нашего факультета, его неизменную заинтересованность в их работе и судьбе. Очень уважительно и тепло отзывался о В.А. Недзвецком как ученом и человеке; с тревогой говорил о его неважном здоровье. Сказал, что высоко ценит книгу А.И. Журавлевой об Островском как комедиографе.

Великое множество университетских филологов разных поколений вспоминают Н.И. Либана с глубокой ему благодарностью, тепло и восторженно.

Эльза Карпова

...Но самым замечательным, что дал мне университет, оказались мои учителя, наставники, замечательные ученые. Знакомство с этим миром началось с Николая Ивановича Либана. Он и М.Н. Зозуля беседовали со мной. М.Н. Зозуля приходил и уходил. Оказалось, что он замдекана. Более важные дела, чем разговор со мной, требовали его присутствия. А передо мной сидел небольшой человек с очень яркими черными глазами, в черной тройке (на улице было жаркое лето), белой рубашке. На столе лежала его трость. Я оробела и, отвечая на вопросы по истории (Николай Иванович всегда интереснейшим образом связывал историю с литературным процессом), понесла какую-то ахинею. Либан искренне и добро хохотал, вовлекая и меня в это действо. Но, несмотря на мои проколы, он принял меня в университет...

Трудно описать далекие уже, но не уходящие с давностью лет впечатления и радость учебы у замечательной профессуры филфака тех лет в своих коротких воспоминаниях, а просто назвать имена многих наших учителей, наверное, неуважительно. Но пусть они оживут в моих низжайших поклонах Н.И. Либану и В.Д. Дувакину.

Николай Иванович осчастливил нашу 9-ю группу тем, что полгода (семестр!) разбирал с нами и комментировал «Слово о полку Игореве». Это были не просто занятия, а вхождение в серьезное литературоведение. Либан для меня (да и для многих сокурсников) стал понятием совершенного педагога. Наши эмоции по поводу произведения, нисколько не гася их, он расширял и, хочется сказать, ограничивал научными изысканиями, почерпнутыми из предложенных им для ознакомления научных трудов, радовался нашим поползновениям по своему комментировать. Тогда уже засветились на занятиях таланты моих согруппников Володи Лопатина, Наташи Кожевниковой. И когда к концу учебы нам предложили список спецсеминаров на 2-й год, я

сразу выбрала семинар по Чернышевскому. Не он привлекал меня, а Николай Иванович Либан, который вел семинар. У него мы продолжали учиться работать. Очень запомнилось мне занятие, на котором Николай Иванович на примере моей полной невежественности, несколько не обижая меня, показал участникам семинара, как надо работать с библиографией, составлять ее, искать нужные труды, книги, журналы в библиографических отделах библиотек.

Заниматься творчеством критика, именно его критическими и литературоведческими изысканиями гораздо труднее, чем художественными текстами. Наверное, это можно превратить в тягомотину, сделав вторичное предметом нашего труда – третьей ступенью. Но семинар был интересным и живым. Либан читал нам интереснейшие лекции, показывая, как Чернышевский вписывался в русскую и мировую историю, как он оценивал современную ему литературу. Мы все старательно работали, стремясь соответствовать высоте своего учителя. На занятиях он учил нас общению докладчика с аудиторией, умению обращаться к коллегам, умению отвечать на вопросы, умению возражать и благодарить за научные советы и замечания. Часто учебная, стоящая последней в нашем расписании пара растягивалась еще на час и заканчивалась разговорами, смехом и провожанием Николая Ивановича. Весной, на последнем занятии, Либан каждого своего семинариста спросил, в какой следующий спецсеминар он намерен пойти, а неопределившимся дал очень точные советы, говорившие о хорошем знании возможностей и интересов своих учеников. Я собралась пойти к Виктору Дмитриевичу Дувакину в семинар по творчеству Маяковского. Николай Иванович горячо одобрил мой выбор. И в этом одобрении было большое уважение к коллеге.

Итак, я из одних хороших рук попала в другие, равные им. Виктор Дмитриевич в противоположность изящному, подчеркнуто вежливому, несколько церемонному Николаю Ивановичу, как бы принадлежащему миру «старой профессуры» (а ведь ему было около 40 лет), был крупным, с расплывшимися формами мужчиной в помятом костюме, со сдвинутым набок галстуком...

Я с великой благодарностью вспоминаю В.Д. Дувакина и думаю о Н.И. Либане. Они помогли мне стать учителем, педагогом – определить истинное место в жизни...

Екатерина Федорова

...Вряд ли найдется филолог, который не знал бы этого имени. Непревзойденный мастер устного жанра, не только лекционного монолога, но и филологической беседы, он в течение многих десятилетий умел влиять не только на непосредственных своих учеников, но и на всех тех, кто хоть раз слышал его блистательные лекции по древнерусской литературе, литературе XVIII века и другие спецкурсы. Все-

го Николаем Ивановичем прочитано в университете 26 различных курсов). Мало кто теперь может помнить, что этот кабинетный, академический ученый был страстным путешественником и этнографом. И ныне во внешне уравновешенном, невозмутимом человеке временами вспыхивает прежний «этнографический огонь», и остались неизменны понимание народной жизни, любовь к человеку из народа.

Даже сейчас, когда студенческий университетский мир изменился в сторону прагматичности и узкой специализации, если дело касается Н.И. Либана, то тут все по-прежнему, по-старому. И слава Богу! Те, кто избрал своей основной специальностью романские языки или, например, современную западную литературу, всегда находили время, чтобы посетить то его специальный курс по Лескову, а то и курс по русскому бульварному роману.

Но главная нота в нем – его московская вкусная речь, раз и навсегда заведенный московский уклад и обиход. Он и сам в себе ценит старинного московского обитателя, и памяти его важны все те детали старомосковской жизни, которые давно ушли и из реалий и почти не удержались в исторической памяти следующих поколений после революций, войн и репрессий. Не только привычки, но и многие представления, мнения о царях и царицах, общественных деятелях и политиках, о русской истории вынесены им не из книг (а он был великим книголюбом), но из домашних разговоров, из рассказов знакомцев и приятелей его семьи, из самого средоточья московской коренной жизни. Он и сейчас остается хранителем культурно-традиционного менталитета столичной дворянской русской среды. Потому редакцией «Независимой газеты», опубликовавшей фрагмент «Разговоров», Н.И. Либан назван «Живой историей». И от этого ближе других Николаю Либану – писатель Николай Лесков, наиболее «русский» (по его определению) из всех писателей, и главным образом, и прежде всего русский в языке.

Подчеркнуто старинный и в речи, и в манерах, – что Николаю Ивановичу чрезвычайно идет, – он несколько не старомоден и, не ища, находит общий язык с совсем молодыми людьми. И это оттого, что мир и люди ему интересны. Нет филолога, слушавшего хоть однажды Николая Ивановича, тем паче – у него учившегося, у которого бы при его имени не вспыхивало мгновенное любопытство: как он, что он? И сам Николай Иванович всем интересен. Недавно он сказал: «Я всю жизнь только тем и занимался, что пытался влезть в человеческую душу». И в самых ученых и учебных занятиях он вступает в глубоко личные отношения с каждым из исторических персонажей, любит – не любит, негодует и одобряет. И его собственная личность, незаурядная и оригинальная, нам, учившимся у него, делается едва ли не интереснее тех, о ком он говорит. «Психологический и историко-культурный портрет Либана, написанный им самим» – этого текста явно не хватает среди литерату-

роведческих эссе последних лет. Сколько раз мы поражались тому, как верно видит и жестко оценивает он, не участвуя в ней, ситуацию – и житейскую, и общественную. Вот чего уж нет в нем, так это приходящей с возрастом смягчающей сентиментальности.

При всей вежливости он не избегает прямых ответов и, надо сказать, реагирует горячо, беседуя на самые отвлеченные темы, упорно развивая свою мысль. Он очень приятный собеседник: сердится и радуется, удивляется и возмущается, т. е. терпеливо не оставляет ни одного моего иной раз глупого вопроса без внимания. Сарказм, ирония и трезвый взгляд на вещи. Причем сарказм не так уж тщательно скрывааемый. И чувствительность. Скрываемая тщательно. Николай Иванович доброжелателен ко всем без изъятия, – к тем, кто ищет его доброжелательности. Поэтому круг друзей Николая Ивановича Либана широк, и в него входят совершенно разные по характеру и устремлениям люди. Нам интересно просто разговаривать с ним. А ему, наверное, хотелось бы, чтобы в молодых и не очень молодых московских филологах формировалось то, без чего он не видит развития науки, – понятие научного общественного мнения, научной морали, отступления от которой как будто в жизни и не заметны и дело-то привычное, но, по его мнению, ведут к ее полному уничтожению. Вот он мнет в руках неизменную сигаретку, говоря точно, образно и кратко и неизменно «про себя» улыбаясь, поскольку всегда не договаривает, надеясь, видимо, на ум собеседника.

Никогда не показывавший свою религиозность, когда это было неодобряемо и опасно, Николай Иванович не поддался этому соблазну и теперь, когда это разрешено и даже «модно». Он даже до сих пор избегает сугубо «религиозной» терминологии в оценке явлений. Его религиозность угадывается в поступках и мнениях о жизненных событиях. Угадывалась она в Николае Ивановиче и раньше, хотя и слова об этом не говорилось.

Нельзя сказать, что всегда оживленный, но, безусловно, всегда умственно собранный, «острый», он готов и выслушать, и ответить. В его ответах есть перспектива глубины: хочешь – додумаешь, не хочешь – я не настаиваю, не навязываю. Есть в его манере разговаривать и взвешенная мудрость опыта, житейских горестей – тот, кто не хочет слышать, не услышит... «Великие иллюзии человечества рушатся под натиском событий и по слабости людей», – изредка повторяет он... Как только Николай Иванович находит в себе физические силы – а уникальный интеллект его как будто ничего не знает о недомоганиях, – он спешит поделиться тем, что, может быть, кроме него никто не помнит... Жаль только, что читатель не может слышать интонационно выверенную фразировку красивого, низкого и сочного голоса Николая Ивановича, позволяющую ощутить многие подтексты, нюансы смыслов в емких, «недоговаривающих» ответах.

В рассказах о жизни Московского университета им. М.В. Ломоносова старейший ныне преподаватель не боится быть пристрастным. И жизнь университета предстает совсем не приукрашенной и отнюдь не героической. Это особое умение – показать сложную научную обыденность. Не потеряв в 95 лет своего редкого темперамента, он позволяет себе эмоционально оценивать прошедшие события: ненавидеть и восхищаться. И это совершенно не мешает ему давать зоркую и трезвую оценку объективного научного веса той или иной личности, вне зависимости от личного отношения.

Татьяна Попова

Литературу XVIII века и допушкинской поры читал нам очень милый и любимый нами Николай Иванович Либан. Невысокий, приятный внешне, он весной ходил в каких-то белых полотняных брюках и рубашке навыпуск, был мягким и вежливым. Интеллигентным. Было в нем что-то несовременное, что очень мне импонировало. Лекции он читал своеобразно. Он давал почувствовать специфику литературного произведения и отдельного автора не теоретическими рассуждениями, а средствами самой литературы. Зачастую он просто пересказывал произведение, но стилистически так близко к манере автора, что у слушателей само собой создавалось понимание неповторимых особенностей стиля писателя. Так, мы упивались и Карамзиным, и Жуковским, и многими их современниками. «О меланхолия, нежнейший перелив...» – читал Николай Иванович, и мы прямо наслаждались его голосом и прекрасной литературой. Девчонки в Николая Иванoviча влюблялись.

Маргарита Зиновьева (Моторина)

Прочтение стенограммы лекций спецкурса «Становление личности в русской литературе XVIII века» Н.И. Либана оживило в моей памяти теплые воспоминания о работе в семинарах по русской литературе, которые вел этот замечательный, вдумчивый преподаватель. Учеба у Н.И. Либана оказала плодотворное влияние на всю мою дальнейшую педагогическую деятельность. Его изданные недавно в издательстве Московского университета книги «Литература Древней Руси. Лекции-очерки» (2000) и «Становление личности в русской литературе XVIII века» (2003) создают яркое представление о том, какими должны быть лекции по истории русской литературы, обращенные к студенческой молодежи, что характеризует их содержание и форму, какую нравственную позицию занимает лектор. Эти работы имеют большое патриотическое, историко-литературное, культурологическое значение, вызывают живой педагогический интерес. Как деятель культуры, педагог, он в каждой лекции стремится расширить культурные горизонты молодежи, говоря о значении образования, о

роли искусства в жизни человека, о путешествиях, открывающих людям родную страну и зарубежье. Н.И. Либан старается воспитывать в своих слушателях гражданские чувства, формируя из них людей, думающих, сравнивающих, оценивающих. А в целом преподаватель хочет, чтобы студенты стали личностями как главные герои его спецкурса – русские писатели XVIII века.

Мне, как ученице Н.И. Либана 50-х годов, было очень интересно познакомиться с этой книгой. Особенно важными, оригинальными мне, как специалисту, показались лекции о Н.И. Новикове и масонах, о Радищеве, о А.Т. Болотове, о системе образования в XVIII веке, о мемуарах и эпистолярном наследии этого столетия, о предшественнике трущобного романа XIX века – романе о Ваньке Каине. Меня филологически обогатила общая картина движения литературных явлений XVIII столетия от оды до трущобного романа, данная в спецкурсе. Оставила глубокий след мудрая основа курса – показать единство и последовательность развития историко-культурного процесса. Покорила замечательная эрудиция автора спецкурса – культуролога, литературоведа, историка, педагога.

Ольга Остроумова

Книга Николая Ивановича Либана, вышедшая в свет в 2003 году в издательстве Московского университета, носит название «Становление личности в русской литературе XVIII века». Как и предыдущий труд¹, новая книга – курс лекций, прочитанный для студентов филологического факультета МГУ.

Среди современных многочисленных изданий по теории и истории литературы книга «Становление личности в русской литературе XVIII века» уникальна. Как личность самого автора не подходит под определения «ученый», «лектор», «преподаватель», так и данная книга не учебник по истории русской литературы, в традиционном понимании этого слова. «Становление личности» представляет собой обработанную стенограмму лекций, это и определяет ее жанровые особенности. Во-первых, это прямой разговор со слушателями и читателями, временами переходящий в диалог (на такой шаг отваживается далеко не каждый преподаватель). Для многих поколений филологов, учившихся у Н.И. Либана, эта книга – возможность снова услышать его голос, интонацию, насладиться его речью, особым вниманием к слову, к способу выражения мысли, безукоризненностью стиля, вновь подпасть под обаяние этого удивительного человека. Во-вторых, предмет лекций настолько шире рамок учебника по истории литературы, что книгу можно было бы назвать «энциклопедией русской жиз-

¹ Либан Н.И. Литература Древней Руси: Лекции-очерки. М.: Изд-во МГУ, 2000.

ни», и не только XVIII века. В многочисленных лирических отступлениях, возникающих по ходу рассказа и сохранных в книге, Н. Либан затрагивает самые разные темы: университетская жизнь – ее традиции, воспоминания о преподавателях, студентах, прочитанных курсах, касается вопросов образования, экономики, роли женщины в русском обществе, рассуждает о культуре и искусстве разных столетий, о состоянии современной речи, о роли армии в русской жизни и т. д., из его лекций можно узнать, за счет чего создается хорошая акустика в храме и даже как лечить быка.

Причины выбора темы исследования, на наш взгляд, кроются в том, что автор – по призванию педагог. Что есть личность, как она формируется, что влияет на ее формирование – вот вопросы, на которые всю свою долгую жизнь ищет ответ преподаватель Либан.

Вопросы, поставленные автором, определили выбор предмета исследования: исторический процесс, формирование и развитие общественной мысли, история литературы и искусства, различные явления культурной и научной, общественной и частной жизни людей XVIII века – все это выводит работу Н. Либана за рамки учебника по литературе, превращая ее в культурологическое исследование.

Культура, искусство, история XVIII века показаны Н. И. Либаном не как ряд последовательно сменяющих друг друга событий и явлений (как это часто бывает в учебниках), но как единый, последовательный процесс, в котором, казалось бы, несопоставимые явления объединяются мыслью автора. Так, масонство и пугачевское движение рассматриваются в книге как две стороны одного явления – недовольства господствующей системой ценностей, зреющего как в дворянском сословии, так и в среде крестьянства. Автор сопрягает в едином обобщении такие явления, как реформы Петра I и увлечение поэтикой и риторикой в духовных академиях, кризис власти времен Екатерины II и интерес к старине. История XVIII века не дается изолированно: автор показывает ее связь с историей и литературой Древней Руси и прослеживает влияние идей, событий, открытий XVIII столетия на XIX и XX века.

Композиционно исследование состоит из трех частей: первая часть посвящена петровской эпохе, вторая – времени Екатерины II и третья – «карамзинскому периоду». Н. И. Либан развертывает перед читателем увлекательную картину формирования личности: от человека-деятели петровского времени (инженера, мореплавателя, строителя), человека-функции, проводящего в жизнь задачи, стоящие перед государством, к человеку екатерининской эпохи – уставшему от службы, от «тяжелых поручений, которые государство дает человеку»¹, погруженному в праздность. Завершается книга лекциями, посвященными становлению русской интеллигенции на материале жиз-

¹ Либан Н. И. Становление личности в русской литературе XVIII века: Лекции-очерки. – М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 169.

ни и творчества Н. Карамзина, человека «“нового” в полном смысле этого слова»¹. И сам этот период назван уже не по имени правителя, а по имени частного человека.

Время и личность диалектически взаимосвязаны в работе Н. Либана. «Не только среда формирует человека, но и человек формирует среду. То есть не только формирует, но и организует, не только организует, но вдохновляет, не только вдохновляет, но определяет собой тот или иной путь развития – экономического, духовного, художественного» (из неопубликованных лекций Н.И. Либана о Пушкине). Эта мысль прослеживается во всей работе.

Автор показывает, как в начале века люди, воспринявшие идеи Петра, активно преобразуют жизнь, осуществляя историческую задачу, стоящую перед государством, – приблизить Россию к Европе. Они постепенно становятся «на один уровень с европейской наукой, с европейской культурой, с европейским инженерным мышлением»². Империя расширяет свои географические границы, осваивает достижения научной и технической мысли Европы, строит города, но человек еще весьма смутно осознает себя самостоятельной личностью, обладающей не только правами и обязанностями, но и мыслями, чувствами, желаниями. Оттого «порождения гражданские и государственные куда выше и куда могущественнее, чем то, что дала литература того времени»³. Как пишет автор, «такая диспропорция энергии мускулов и энергии духовных исканий даже поражает читателя»⁴. От литературы и искусства в петровское время требовалось в первую очередь пропагандировать новые идеи. Это привело к развитию театра, ораторского искусства, но этим объясняется прикладной характер литературы, когда «поэзия была <...> приложением к карьере»⁵, где автор, сочинитель пока не вдохновенный творец, а талантливый ремесленник, подражатель европейской литературе (соратник Петра I Феофан Прокопович показан исследователем не только как талантливый оратор, писатель, но и как чиновник).

Характеризуя екатерининское время, Н. Либан показывает, как меняются желания человека: его меньше волнуют государственные дела, он хочет отдохнуть от службы, погрузиться в быт – это реакция на целеустремленность и неустанную деятельность петровского периода. Господствующая в дворянском сословии праздность, стремление к роскоши и удовольствиям, однако, также изменяют действительность: это время создания величайших творений в области архитектуры и градостроительства, развития торговли и ремесел, продолжения раз-

¹ Либан Н.И. Указ. соч. С. 171.

² Там же. С. 9.

³ Там же. С. 7.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 125.

вития связей с Европой, но одновременно – это период опустошения, отсутствия духовной жизни в дворянском сословии, «повреждение нравов». Отсюда господство в литературе классицизма, прославляющего существующий строй, развитие эпистолярной и мемуарной литературы, отражающей повседневную жизнь людей, появление сатиры (Фонвизин, Капнист), развитие журналистики. Здесь же возникает и первое крупное литературное явление – Г.Р. Державин, который в своем творчестве выразил характерное для этого времени ощущение человеком себя на грани двух бездн – духа и бездуховности, жизни и смерти: «Я телом в прахе истлеваю, // Умом громам повелеваю, // Я царь – я раб – я червь – я бог!»

Третья часть – карамзинский период; и здесь связь времени и личности переходит на новую ступень: человек оказывается способен познать время и себя в нем. Карамзин не случайно вырастает в человека-эпоху (рядом с ним почти никто больше не упоминается): говорить о сформированности личности можно тогда, когда она наделена не только способностью творчества, свободного самовыражения, но и способностью познания – самопознания и познания мира вокруг себя. Выдвинув тезис о том, что «народность, нация начинает себя осознавать как историческую силу с того момента, как она создает историю»¹, Н. Либан прослеживает, как на протяжении всего XVIII века неоднократно предпринимались попытки написать историю: М. Ломоносов, В. Татищев, И. Болтин... Но никто из них не смог справиться с такой задачей, поскольку «историк – это человек особый, это вроде как вдохновенный поэт. Историю надо писать, проникая в глубь истории, восстанавливая психологические, исторические, географические, этнографические особенности того народа, который проходит перед историком на протяжении многих веков»². И таким человеком стал Карамзин: европейски образованный, способный понимать процессы, совершающиеся на его глазах, для которого главным стало познать себя и понять внутренний мир другого человека – что им движет, чем он живет.

Автор выделяет следующие основные факторы, влияющие на формирование личности: это университет (и другие образовательные учреждения), театр, журналистика. Он подробно характеризует каждый из них, особое внимание уделяя развитию образования в России. Духовные академии, университет, военные образовательные учреждения, благородные пансионы для девочек, Воспитательный дом – вся эта система образования создана в XVIII веке. Автор отдает должное Екатерине II, благодаря которой развивалась эта система: «она считала, что для того, чтобы люди были счастливыми, нужно, чтобы не было скотинных, простаковых, митрофанов, чтобы сами люди

¹ Либан Н.И. Указ. соч. С. 230.

² Там же. С. 222.

были другими – то есть нужно создать новую породу людей»¹. С особым вдохновением Либан рассказывает об огромной роли филологического (шире – гуманитарного) образования, которое в первую очередь призвано формировать внутренний мир человека. Оно было обязательным почти во всех перечисленных выше учебных заведениях: языки (русский, французский, немецкий, английский, церковнославянский), литература, история, обучение сочинительству, стихосложению, театральные постановки.

Другой тезис, выдвинутый автором, опровергает сложившееся мнение о том, что духовные искания, попытки осознания себя как личности были ведомы в XVIII столетии лишь выходцам из дворянского сословия, что крестьянство, «эта темная, забитая масса», в целом не играло никакой роли. Крестьянство также выдвигает ярких людей, которые, в свою очередь, влияли на формирование нового человека. Это не только «исключение из правила» – Ломоносов, но и почти забытый нашей наукой Иван Посошков. «Конечно, – пишет автор, – этот факт не имеет прямого отношения к литературе. Но литературная деятельность Посошкова, его экономические прогнозы, его система мышления и система экономической переделки России – факт, изумительный по значению, заставляющий историка ставить Посошкова рядом с самыми видными экономистами Европы. <...> Значительно раньше, чем на эту тему писал Адам Смит или Маркс, наш русский мужичок, крестьянин Посошков, написал книжку, где сказал, “как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет”»².

Подробно Н.И. Либан останавливается и на другом факте духовной жизни «низших» сословий – на зарождении трущобного романа, на романе о Ваньке Каине. Появление этой «литературы лакейской, людской, кухни»³ свидетельствует о духовных запросах необразованной публики. И автор не иронизирует, сравнивая скучающего Ваньку с Печориным или Фаустом: «Мне скучно, бес». А в романе Д. Чулкова «Пригожая повариха» он видит преддверие Карамзина с его знаменитым «и крестьянки любить умеют». Из вышесказанного можно заметить, что история литературы не занимает в книге главенствующего положения, а рассматривается, с одной стороны, как форма самовыражения личности, как способ осмысления человеком себя и своего времени, а с другой – как источник, предоставляющий прекрасный материал для исследования происходящих в обществе процессов (в том числе процесса формирования личности).

Несомненную ценность книга представляет в том плане, что любой, даже самый традиционно «скучный» исторический персонаж

¹ Либан Н.И. Указ. соч. С. 91–92.

² Там же. С. 16.

³ Там же. С. 162.

или факт автор показывает в новом аспекте, говорит о них так, что ощущаешь, как ты был слеп, не увидев в этом глубины и смысла, и хочется поскорее взять в руки и перечитать и Тредьяковского, и Хераскова, и Ломоносова, найти то, что ты пропустил, а автор заметил. Н. Либан обладает уникальной способностью показать в любом литературном, бытовом факте огромную глубину, бездну содержания, сопричастность Идее, сделать его значимым, интересным, ярким, запоминающимся. Таков рассказ об уже упоминавшемся Иване Посошкове; таков рассказ о Тредьяковском (которого все знают как смешного и жалкого неудачника), чья жизнь рассматривается в книге как огромный «филологический подвиг», его открытие силлаботоники названо величайшим открытием, без которого «у нас Пушкина бы не было». Таково повествование о Державине, в поэзии которого впервые «на место правил поэтики и версификации пришло вдохновение»; о Радищеве – философе и социологе; о «рыцаре духа» Хераскове, сформулировавшем идею социальной гармонии.

Книгу Н. Либана можно рассматривать как пособие для начинающих, и не только начинающих, лекторов. Как сделать свой предмет интересным для слушателей, как построить рассказ о событии или лице, как вызвать у человека желание творить – вот что мастерски умеет делать автор. Она наполнена огромным количеством фактов либо малоизвестных, либо вовсе неизвестных даже специалистам. Это и рассказ о деятельности Болотова, Бецкого, Посошкова, о Воспитательном доме, это и отсутствующие в собраниях сочинений стихотворения и эпиграммы, это и исторические анекдоты. При чтении время от времени возникает ощущение, что некоторые факты сохранились только в уникальной памяти автора. Так, например, эпиграмма Державина на «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева до революции не печаталась по цензурным соображениям, после революции – как портящая репутацию талантливого поэта, а сейчас – она уже просто была бы забыта, если бы рассказ Либана не вернул ее в орбиту внимания читателей.

На многие общеизвестные факты Н. Либан заставляет взглянуть с новой точки зрения, разрушая литературоведческие штампы (например, о существовании «просветительского реализма» в литературе XVIII века), снимает «хрестоматийный глянец» с жизни многих исторических персонажей: «Новиков учился в Московской университетской гимназии. Плохо учился. Обычный барский мальчишка. Он был выгнан отсюда за неуспеваемость. Но это не так страшно: биографы написали, что он учился замечательно. Это неправда, ничего этого не было: его оттуда выгнали за неуспеваемость и непосещение, и, наоборот, правильно сделали»¹.

¹ Либан Н.И. Указ. соч. С. 81–82.

Многие исторические лица предстают в книге как живые. Временами перед читателем – страницы исторического романа (при всей строгости следования фактам). Вот перед нами Потемкин: «У него были периоды депрессии, когда он ничего не мог делать. Он призывал дежурного офицера и требовал, чтобы тот ему читал псалмы. Вот тот бубнит. Потемкин слушает, слушает, а потом говорит: “Ведь завтра надо в походы идти!” Всё это – пюпитр, молитвенник – всё летит. “Прошка, форму!” На него натягивают форму – и он уже совсем другой человек»¹. Таковы некоторые фрагменты повествования о Екатерине II, Елизавете Петровне, Новикове, Радищеве, о жизни воспитанников и воспитанниц в пансионах. Н. Либан с легкостью добивается эффекта присутствия, слушатель и читатель начинают жить жизнью людей другого столетия. И иногда возникает ощущение, что если автор рассказывает (в частных беседах) о своих встречах с Брусиловым и Маяковским, о кулачных боях на Москве-реке, о революционных днях в Москве, то почему бы ему вместе с Карамзиным не быть на обеде у Канта... Этого эффекта он достигает за счет соединения ярких бытовых деталей, исторических фактов и обобщений, соединения в речи художественного, научного, публицистического стиля и просторечия, применения приема несобственно прямой речи, когда в авторское повествование вплетаются голоса и крестьянина, и ученого, и чиновника, и императрицы.

Язык и стиль работы определяются жанром – живым разговором со слушателем и читателем. В речи Н.И. часто встречаются каламбуры, метафоры, ирония и, конечно же, контраст – излюбленный прием автора. В своих определениях он часто афористичен. Что касается стиля работы, то Либан свободно владеет любым стилем, о чем мы уже говорили, органично переходя от юмора к патетике. Но главное – по своему эмоциональному воздействию на читателя «Становление личности» подобно произведению художественной литературы. Либан, обращаясь к личному опыту слушателя и читателя, будит его самосознание, способность человека к рефлексии, побуждает его сравнивать свою жизнь, чувства, свои ценности, цели с жизнью героев лекций, открывает перед ним новые возможности, вдохновляет. Говоря об одном из героев своих лекций – Лафатере, Либан восхищается силой убеждения этого человека, «а вся сила убеждения заключена в слове, но не всякому дана власть слова»². Н.И. Либану такая власть дана.

Становление личности – не только тема исследования Н. Либана, но и задача, которую он ставит перед собой в каждой лекции: они учат слушателя думать, обучают его рефлексии, возвышают душу, рождают стремление к высоким целям.

¹ Либан Н.И. Указ. соч. С. 152.

² Там же. С. 212.

Николай Иванович Либан многие годы внушал своим студентам мысль о том, что каждый филолог мечтает написать историю литературы. Уже увидели свет его первые две книги (по древнерусской литературе и литературе XVIII века). Будем ждать появления и лекций по литературе XIX века, над которыми он в данное время работает.

Лев Аннинский

Врезался на всю жизнь. Хотя общение длилось считанные часы. По часу на каждое занятие, раз в неделю, когда на первом курсе нас в обязательном порядке (так что я и не выбирал) обязали посещать семинар по древнерусской литературе.

Древнерусская литература меня не влекла, но плотный невысокий черноволосый преподаватель приковал внимание сразу.

– Кто из вас помнит, в каком году произошло Крещение Руси? – спросил он.

Все замерли.

– В девятьсот восемьдесят восьмом! – рявкнул я и, чтобы скрыть смущение, прибавил ерническим тоном: – Нашей эры.

Преподаватель всмотрелся в меня и мгновенно задал следующий вопрос – тоже по хронологии. Я ответил. На третьей или четвертой дате он все-таки меня «посадил», и я честно склонил голову: игра мне понравилась. Уже тем, что он обыграл меня на равных, а не закнул рот, как малолетнему. Уважение!

Позднее мне объяснили старшекурсники, что все филологи должны пройти через руки Либана. «Почему?» – спросил я. «Он ставит руку».

Однажды он между делом вогнал в одну фразу «школьную схему анализа», от которого нам, профессиональным филологам, следует отучиться. «Тема – проблема – идея – средства – образительные – выразительные». Я отучился, разумеется. Но для этого мне нужно было ее, школьную схему, вогнуть в одну, блестяще сжатую фразу. Чтобы отказаться, следовало ее усвоить. Возможно, это и есть «поставить руку».

Чем-то он напомнил мне Халдея, моего любимого школьного словесника. Хотя тот читал нам партийные прописи, а этот – вирши и апокрифы, в том и другом было что-то мужское, «отцовское», по чему тосковала моя сиротская душа. Хотя обликом они контрастировали: тот был – носатый, очкастый, усатый, разлаписто-многотелесный в своей толстовской робе, а этот – крепко сбитый, строгий, с поджатыми смеющимися губами.

Заниматься с ним было – наслаждение. От него я узнал много того попутного, чем оперяется любое знание. Это было блистательное сочетание схемы и фактуры, моя мечта: железная схема и вольная фактура!

Он поразительно чувствовал стихи. И древние, и современные. Он отучил нас читать «смысл» («смысл читают плохие актеры») и научил слушать просодию, смыслы же – только через нее.

Он усадил нас за «Начальную русскую летопись», и с его легкой руки я просиживал дни в Исторической библиотеке за Буслаевым.

И наконец... он сказал мне при расставании, когда на втором курсе я записался в семинар по современной советской литературе:

– Вы делаете ошибку. Настоящим филологом можно стать только тут, на нашей кафедре.

Я опустил голову:

– Мне хотелось бы заниматься современностью...

– Вольному воля, – ответил он в своей насмешливой интонации. И прибавил, поняв мои мысли: – Литературной критикой хотите заниматься? Похвальное намерение. Но там Вас этому не научат.

– А где... научат? – проговорил я, пряча глаза.

– Где? Встречный вопрос: кто самый лучший критик в истории русской литературы, включая, конечно, и советскую?

– Писарев! – выпалил я, оправившись от оцепенения.

– Типичный ответ девятиклассника... Лучший критик – Чернышевский. Если говорить о литературной критике в собственном смысле слова, а не о попутных занятиях, иногда очень важных.

– Николай Иванович, – пробормотал я неуверенно, – Вы позволите мне... приходите к Вам... и... общаться? Мне там... в советской литературе... будет не хватать Буслаева, Нестора и... да... и Чернышевского.

Не помню, сказал ли он мне: «Я в Вас верю». Кажется, нет. (Это мне три года спустя весьма отчетливо сказал Лев Якименко.) Но от прощания с Либаном осталось именно это сложное чувство: сожаление и вера.

Четыре года спустя судьба дала случай убедиться в его отношении ко мне. Последующие редкие и лестные для меня разговоры (в частности о «Лесковском ожерелье») с уже совершенно седым учителем – я оставляю «за рамками кадра», а о том, что было «на краю рамки» – в 1956 году, – скажу. В числе других распределенных в аспирантуру выпускников я сдал вступительные экзамены (довольно тяжелые, кстати) и в числе этих выпускников, прошедших конкурс, получил документы обратно – как человек, не имеющий трудового стажа. Спорить было бесполезно: решение «орабочить» науку было принято на уровне ЦК партии – в связи с восстанием в Венгрии. Никому на советской кафедре и в голову не пришло защищать меня в такой ситуации: дело пахло политикой.

Единственный, кто пошел в деканат и попробовал меня «отстоять», был Николай Иванович, у которого я проучился-то один

семестр за пять лет до того. Разумеется, я не от него узнал, что он пытался мне помочь. Пересказали...

А от считанных часов семинара на первом курсе остался в моей памяти навсегда – невысокий, крепкий человек с ироническим взглядом из-под кустистых бровей и «прочными» согласными в ясной русской речи:

– Чтобы научиться слышать стих, надо набить себе ухо...

Инна Ерина (Пашинина)

Элегантный, как-то необыкновенно элегантно сложенный, с неизменной тросточкой, что, безусловно, придавало ему определенный шарм...

Он был замечен даже в толпе. Я до сих пор отчетливо вижу его, пробирающегося сквозь поток вечно шумных и хлопотливых студентов в нашем узком факультетском коридоре. Или на Моховой, направляющегося на факультет мимо университетской чугунной решетки. Сколько было потом разговоров: «Видели Либана...»

Мы любили его, цитировали, рассказывали, что сказал, как сказал... Впрочем, прошедшее время здесь некстати, потому что навсегда остается в сердце человек, который *не прошел мимо*, сумел сделать год, проведенный под его началом, важным этапом в интеллектуальном становлении и росте студента Московского университета. И дело, конечно, не только во внешности. Дело в его завораживающем остром уме. Да, нас не только поражала, нас завораживала его блестящая аналитическая мысль.

А если по порядку... Первые вести о Николае Ивановиче появились у нас уже на первом курсе. Он читал введение в литературоведение «славянам» и приезжал к нам в общежитие на Стромынку консультировать студентов. Так было принято у нас, и приезжали многие преподаватели. Помню Орлова, Зозулю... Я в тот вечер вернулась поздно из Ленинки. Девочки в комнате, убирая посуду, сообщили мне: «А у нас был Либан! – и с восторгом: – Чай пил!»

Я не знала, как реагировать, так как Николая Ивановича еще не слышала. Но восторженное отношение к нему запомнилось. На втором курсе семинар я выбрала по близкой мне теме «Чернышевский о русских писателях». А вел его Николай Иванович Либан. У меня была тема «Чернышевский о Белинском», у Зои Горбуновой – «Чернышевский о Некрасове». Еще с нами занимались Миша Хитров, Володя Этов, Тамара Матюхина...

Это был интересный год: великолепные лекции и консультации Николая Ивановича, его внимание к каждому студенту, работа в Ленинке... Уверена, каждый с благодарностью вспомнит, как читал Николай Иванович наизусть и стихи и прозу – целыми страницами. «Он лжет без конца, этот Невский проспект...» – для меня это не

Н.В. Гоголь, это – Н.И. Либан! Незабываемый год. Тайны несметной кладовой литературоведения открылись перед нами... Мы входили в науку. С ним. Учились не просто думать, задумываться, открывать. Потом это удачно наложилось сначала на прослушанные лекции Г.Н. Поспелова по истории русской литературы, а затем, в следующих курсах, на узнанное в семинарах Геннадия Николаевича.

Помню, в каком недоумении и огорчении была, узнав, что на третьем курсе Н.И. Либан не будет у нас вести семинар...

Огорчилась и в 2003 году, когда Николай Иванович не смог приехать из-за болезни на встречу с нашим курсом. Очень хотелось увидеть его, говорить с ним...

Дорогой Николай Иванович! С глубоким уважением и благодарностью низко кланяюсь Вам, Учитель! Всегда помню Вас, храню в своем сердце! В день Вашего юбилея желаю Вам главного – здоровья, здоровья и еще раз здоровья! И конечно, творческих успехов! Обнимаю Вас!

Инесса Рогачева (Логинова)

Первым своим учителем я безусловно называю Николая Ивановича Либана, пиетет, признательность и благодарность к которому навсегда остались в моем сознании и сердце. Я работала с Николаем Ивановичем на протяжении трех лет. Сначала – на семинарских занятиях по древнерусской литературе, где мы изучали «Слово о полку Игореве» с историко-литературными комментариями В.Ф. Ржиги. Николай Иванович поражал всех своей начитанностью, энциклопедическими знаниями в области русской истории, литературы, культуры, феноменальной памятью и – подлинной интеллигентностью, благородной сдержанностью и образцовым литературным языком. В своих лекциях-беседах с нами он никогда не пользовался никакими записками, кроме каких-то беглых замечаний на сигаретных и спичечных коробочках, которые тут же выбрасывались. Он прекрасно знал тексты, бесконечно мог цитировать отовсюду: из летописей, поэзии и прозы любого периода, эпистолярной и критической литературы. Он знал всё. И со студентами общался не как с учениками, а как с равными себе (впоследствии, уже в аспирантуре ЛГУ, я встретила ту же самую черту у академика Д.А. Ольдерогге, с которым занималась африканистикой).

Николай Иванович никогда ничего не требовал от студентов, но всем своим обликом как бы говорил: «Само собой разумеется, вы тоже должны знать всё». На древнюю литературу, как и на древние языки, он смотрел как на основу основ и любил повторять: «Не может быть лингвиста без знания санскрита, латыни, старославянского и древнегреческого языков; не может быть литературоведа без знаний фольклора и древних литератур». Семинарская работа

над текстом «Слова» учила широте взглядов на литературное творчество, но не той поверхностной – «чему-нибудь и как-нибудь», а основанной на глубоком понимании и толковании деталей, всех составляющих текста.

На II и III курсах я занималась в спецсеминарах Николая Ивановича с написанием курсовых работ. Семинар на II курсе был посвящен философским, эстетическим и литературоведческим воззрениям Н.Г. Чернышевского и предполагал глубокое сравнительное изучение общественной мысли и историко-литературного процесса в России 40–60-х годов XIX века. В рамках своей темы «Н.Г. Чернышевский о Н.В. Гоголе» я должна была поднять полемику вокруг сложного гоголевского творчества, отраженную в журнальном и эпистолярном наследии 40–60-х годов. На III курсе работа семинара была посвящена писателям-шестидесятникам, группировавшимся вокруг Н.Г. Чернышевского: Н.Г. Помяловскому, М.А. Воронову, А.И. Левитову, Н.В. Успенскому, Г.И. Успенскому, Ф.М. Решетникову, В.А. Слепцову. Николай Иванович учил нас: не стремитесь в 1001-й раз повторить уже известные истины о популярных и хорошо изученных писателях – таких как Л.Н. Толстой, – вы вряд ли скажете что-то новое на стадии своего обучения. Берите таких авторов, которые мало известны широким кругам, но без которых не могут сформироваться крупные писатели, являющиеся звездами первой величины. И Николай Иванович предлагал нам такие темы, которые стимулировали изучать творчество отдельных писателей в ретроспективе и перспективе по отношению к литературному процессу (так я работала над развитием темы «дна» у А.И. Левитова и А.М. Горького).

Нельзя сказать, чтобы Николай Иванович уделял большое внимание индивидуальной работе со студентами. Первые два-три месяца он проводил общие лекции-беседы, вводя студентов в проблематику семинара и останавливаясь на выбранных участниками семинара темах. Это было интересно и полезно для всех. В это время мы работали в каталогах, собирали библиографию и классифицировали ее по разделам, указанным Николаем Ивановичем. На первой индивидуальной консультации Николай Иванович просматривал библиографию (это была достаточно солидная пачка карточек), из которой отбрасывал всего несколько названий. Остальное надо было читать, и большую часть прочитать уже в первом семестре, чтобы осмыслить тему, составить сложный план и утвердить его у Николая Ивановича на второй консультации. Вот, кажется, и все. Дальше – самостоятельная работа. Николай Иванович мог просматривать уже готовые части. Защиты курсовых работ весной были значительным явлением в работе семинара, где принимали участие все или большинство студентов, которые должны были про-

читать работу и выступить с отзывом. При этом Николай Иванович распределял среди рецензентов темы для критического разбора каждой работы: обоснование проблематики работы, система аргументации, научный аппарат, иллюстративный материал, композиция работы, обоснованность выводов, язык и стиль работы. Анализируя несколько работ, рецензент получал различные темы. Зная эту систему, конечно, и в своей работе мне приходилось тщательно продумывать эти аспекты. Таким образом, работа с Николаем Ивановичем была настоящей школой научной организации труда, методологии научного творчества. Это возможно прежде всего в коллективе, связанном общими интересами. Поэтому система таких спецсеминаров очень благоприятна для воспитания специалистов, научных работников. Эта форма обучения существует на факультете и по сей день, чего, к великому сожалению, нет во многих других вузах.

Совсем недавно посчастливилось увидеть и услышать Николая Ивановича в Пушкинской гостиной факультета на Ленинских горах, где он выступал с воспоминаниями о филологическом факультете со времени его восстановления. Приятно было отметить, что время почти не изменило моего Учителя: снова строгий черный костюм, белые манжеты, неизменная трость в руках, спокойный, ровный голос и живой, острый, заинтересованный взгляд...

Арни Бергманн

Какие же были у нас преподаватели? Они были удивительно разными. Среди них были живые и мертвые души, и между ними – огромная пропасть. На курсах по литературе нас бросало от ортодоксального социологизма и вульгарного марксизма к увлекательным полетам мысли и восхитительной эрудиции таких ученых, как Гудзий и Бонди, Пospelов и Либан. У Пospelова я два года занимался Достоевским, которого тогда постепенно возвращали в литературный канон, и написал у него дипломную работу. Оппонентом на защите был Либан, у которого я посещал семинар по эстетике Чернышевского. Удивительно, как это было интересно у Николая Ивановича! Эти мои наставники, Пospelов и Либан, как бы осуществили обещание, данное в свое время датским философом Киркегором всем, кто готов взять в руки любую книгу и «прочитать ее с таким усердием, как будто это последняя книга на его веку» – вот тогда оживет и откроется все, что скрыто в тебе самом.

Была одна особенность духовной атмосферы, которая привязала меня к факультету и к России вообще – это культ литературы, толстовская традиция понимания литературы и искусства как своего рода секулярной церкви, в которой учат высшим ценностям. Несмотря на догматизм, идеологический деспотизм, запреты, славная тра-

диция русской интеллигенции была жива и придавала своим приверженцам бодрость духа. <...>

Валентина Боровицкая

ИЗ РОМАНА «СТАРЫЕ КАМНИ»¹

...Николай Петрович² начал свой курс лекций о древнерусской литературе. В холодной аудитории студенты сидели в шинелях и шапках; некоторые с костылями. В шинели ходил и Николай Петрович. Она мешковато, даже смешно сидела на его невысокой коренастой фигуре, но, когда он поднимался на кафедру, в зале воцарялась тишина. Он не читал свои лекции, он переносился во время, о котором говорил, и уносил туда слушателей.

– Что такое вся мировая литература, вся мировая история, если не вечная борьба добра и зла? – отчеканивал он каждое слово, гулко отдававшееся в высоких стенах. – И то и другое вечно, пока живет человечество, и вечно то, что каждому поколению, каждому человеку приходится делать выбор; князь Игорь его сделал: лучше убитому быти, чем полонену... Оскорбленная русская гордость повела князя в злополучный поход его...

...С тех пор прошло много лет. Портрет теперешнего Николая Петровича в его белоснежных рубашках с «каменными» воротничками и манжетами, в ослепительно черном чесучовом пиджаке, с умным и насмешливым взглядом из-под кустистых бровей, его теперешний портрет вполне вписался бы в профессорскую галерею нашего Alma mater, рядом с портретом Грановского, например.

Но он не профессор. Хотя по-прежнему на его лекциях аудитория битком набита. Все курсы. Все факультеты. Я забегаю послушать его при любой возможности и не устаю удивляться его превращениям. Кем он только не был – дружинником древнерусского князя, Александром Невским, Курбским, писавшим Ивану Грозному одно из ехиднейших писем...

...Николай Петрович в неизменных «каменных» манжетах, застегнутых янтарными запонками немножко по-чаадаевски (одна запонка светло-желтая в виде треугольника, вторая – овал цвета темного меда)...

...Сейчас он «странствует» по началу девятнадцатого века. Чаадаев – его последнее увлечение. К началу лекций мы с мамой опоздали и слушаем знакомый голос в коридоре. Незадолго до конца к нам присоединяется еще один слушатель. Важный и озабоченный, он как бы мимоходом останавливается у полуприкрытой двери и здороваётся с мамой кивком головы. «Доктор наук и декан», – тихо говорит она.

¹ М.: ГНТБ, 1990.

² Николай Иванович Либан – прототип Николая Петровича.

– Учтите еще одну деталь, – слышу я голос Николая Петровича, – отношение к моде. Чаадаеву не надо было заботиться о ней, он был слишком личностью для этого; так, как сегодня он завязывал галстук, завтра завязывала вся Москва. Но Чаадаев приподнимал левый уголок воротничка при опущенном правом – и это было естественно для философа и мыслителя, а тот же воротничок у круглолицего и краснощекого вьюноши выглядел карикатурой. Помните, друзья мои, мода – для посредственных людей, учитесь сами выражать себя, посмотрите, как много в наше время карикатур. Впрочем, много их было во все времена. – Голос Николая Петровича улыбается.

– Сколько ума, вкуса, энергии, – с сожалением говорит маме декан, – и так себя растрчивать. Каким бы мог стать ученым, сколько книг написать...

– Это поправимо, – отвечает мама с мимолетной улыбкой, – я записала очень многие из его лекций. Можно отредактировать, отпечатать. Вы назовете мне издательство, ожидающее их?

– Об этом можно подумать, – скороговоркой отвечают ей, уходя.

Я ничего не поняла.

– Пора понимать, – быстро говорит мама, глядя вслед уходящей спине. – Одна из распространенных житейских ситуаций: Николай Петрович никогда не станет ни доктором, ни кандидатом, потому что захоти он сегодня защититься, завтра же вспомнят, что он удаляется от программы, вводит слишком много лишнего материала, перегружает студентов семинарами, и вообще он кабинетный ученый, место ему в кабинете.

А так все прекрасно. Он перед глазами как некая точка отсчета. Можно смотреть на него с высоты своего докторского величия и думать: «Что ж ты, брат, такой умница, а не смог того, что смог я». И почувствовать свое превосходство и с высоты этого превосходства простить ему и талант, и эти аудитории.

Галина Григорьева

С 3-го курса, когда началась узкая специализация, я записалась в семинар Николая Ивановича Либана по литературе 60-х годов XIX века. Записалась не из любви к шестидесятникам, которые в то время были очень не в моде, а потому, что не могла забыть его лекций по древнерусской литературе (по ней он семинара не вел). Думаю, что для моих сверстников живое слово преподавателей значило гораздо больше, чем для тех, кто отличался от нас по возрасту даже и на небольшое количество лет. Как и теперь, тогда шел процесс переоценки ценностей, но книги выходили гораздо медленней, сильно калечились редакторами и содержали разного рода анахронизмы (особенно – в идеологическом плане). Поэтому я, любившая больше всего

пушкинскую эпоху, нисколько не колеблясь, выбрала семинар по 60-м годам: не сомневалась, что здесь получу те знания, которые ни из книг, ни от преподавателей менее ярких получить не смогу.

С момента юбилея Николая Ивановича в печати появилось много восторженных оценок его лекторского таланта и мастерства. Не хочу повторяться. Могу только подписаться под самой высокой оценкой и сказать о нем несколько слов как о педагоге и ученом.

Николай Иванович исподволь, но очень настойчиво старался привить нам, приученным в школе к пустой и звонкой фразе, навыки научного мышления. Помню первую, долгую его беседу в семинаре о том, что такое вступление и заключение к курсовой работе. К концу ее я с радостным чувством освобождения поняла, что в стенах университета мне не нужно будет ни сочинять демагогических преамбул к будущим работам, ни заключать их словами о всемирном признании, воспитательном значении, отношении к марксистско-ленинской теории и так далее и тому подобное того или иного писателя. Занозой сидели в памяти мучительные попытки не очень далеких еще школьных лет хоть в какой-то мере избежать фальшивых фраз, без которых невозможно было обойтись в сочинениях по советской литературе. Такие беседы Николай Иванович повторял каждый раз, когда замечал сколько-нибудь существенное пополнение в семинаре, излагая методику написания научной работы с исключительной четкостью и доходчивостью. Мне эта методика неизменно помогала до конца застойного периода. На нее всегда можно было опереться, противопоставив ее той набившей оскомину фразеологии, которая навязывалась «работникам идеологического фронта».

Вольно или невольно многие из участников семинара подражали его руководителю и в том, в чем подражать было можно, и в том, что было невозможно копировать. Нам тоже хотелось быть остроумными, и время от времени кто-нибудь из рецензентов осыпал рецензируемого колкостями. В конечном счёте первому доставалось больше, чем второму: Николай Иванович всегда вставал на защиту докладчика. Ради того, чтобы научить нас спокойному и благожелательному отношению к коллегам, умению увидеть в работе другого прежде всего положительную сторону, он не жалел ни времени, ни усилий. Более творческой атмосферы, большей заинтересованности и увлеченности общим делом, чем на семинарах Николая Ивановича, не помню нигде – ни в университете, ни за его стенами.

Спецкурсы Николая Ивановича я слушала и в студенческие, и в аспирантские годы; не пропустила ни одного. Беру на себя смелость утверждать, что ценнейших наблюдений над творчеством писателей, открытий в области литературного процесса, неординарных методологических решений в них было столько, что хватило бы на собрания сочинений нескольких академиков. Не имеет смысла обсуждать сей-

час вопрос о том, почему он не реализовывал всё это своевременно в печатных работах. Прочитанное им неизменно разносилось «по умам» и рано или поздно становилось достоянием науки. Бесконечно благодарна тем, кто, наконец, сумел тиражировать его лекции. Жалею об одном. Как-то, уже в конце аспирантского срока, я зашла на кафедру истории литературы и увидела на столе рецензию на монографию Николая Ивановича о Помяловском, рекомендуемую к печати. Не помню фамилий членов кафедры, подписавших рецензию, но фамилий было много, и оценка работе дана была самая высокая. Я много раз спрашивала Николая Ивановича о судьбе монографии. В ответ он только отшучивался, а через некоторое время кто-то мне сказал, что он так и не сдал эту работу в типографию. Мне и сейчас хочется спросить: «Николай Иванович, а где же книга о Помяловском?»

Николай Иванович не уставал повторять нам, что главное в изучаемой эпохе ее неповторимые, а не общечеловеческие черты. Атмосферу эпохи он как никто умел воспроизвести с помощью не всегда уловимых штрихов и точно отобранных реалий. Это в равной степени относилось и к древнерусской литературе, и к XVIII, и к XIX векам. А вот о явлениях культуры века XX говорить не любил, а если и говорил, то в лучшем случае с иронией, по большей же части с интонацией полного неприятия, почти враждебности. Мне казалось странным, что студенты, заполнив до отказа аудиторию, затаив дыхание слушают лектора, который как бы отгородился от современности, пребывает в другом времени и не желает вписываться в свой век. С большим опозданием понял, в чем привлекательность таких, казалось бы, несовременных лекций Николая Ивановича. За фигурами писателей и персонажей, им рассматриваемых, всегда чувствовалось биение живой мысли и пульса общества, перед которым стояли вечные для России «проклятые вопросы». При всей несхожести с нашими современниками люди тех отдаленных времен пережили то же, через что прошли и жившие в XX веке: крушение идеалов, переоценка ценностей, поиски выхода... Именно от Николая Ивановича вечерники впервые услышали о Сергее Михайловиче Бонди, читавшем свои спецкурсы в дневное время. «Обязательно побывайте на лекциях Бонди. Этот человек гениален в своем ощущении и в своих исследованиях метра и ритма. Он сам как бы является их олицетворением».

Юрий Суходольский

Передо мной – собрание сочинений Н.С. Лескова издательства Маркса. Год запойного чтения на втором курсе, от доски до доски и снова сначала. Выбор семинара – не составляет труда, кто ведет его – не важно. Фамилия «Либан» не говорила почти ничего. Думаю, многие замечали: если человек с первого мгновения производит самое благоприятное впечатление – отношениям с ним, как правило, отмерен короткий век.

Мне Николай Иванович сразу не понравился. Отравленный стихованием, семиотикой и постструктурализмом, я слушал его на первом семинаре с недоверием. То, что и как он говорил, казалось с первого взгляда слишком простым и даже несколько... старомодным. Но уже через полчаса меня настигло странное ощущение того, что я перестаю понимать Николая Ивановича – вовсе не потому, что значение слов ускользает от меня. Становилось очевидным – так мыслить я не умею... А потом пришлось привыкать и к тому, что многое из сказанного Либаном догонит тебя через годы, осветив брошенной когда-то вскользь фразой целый литературный этап с неожиданной, но крайне важной именно для твоей работы и размышлений стороны. И становилось ясно – он уже тогда, когда ты был на студенческой скамье, предвидел твой путь развития и, как некий мистический предмет, направленный в будущее, оставил там для тебя нужное слово.

Судьба подарила мне невероятную удачу – мне довелось не только встретиться на жизненном пути Николая Ивановича, который старше меня на шестьдесят лет, но вот уже более десяти лет пользоваться его неоценимым руководством сначала как студента, затем как аспиранта, а теперь готовить под его руководством свою первую монографию. Это время – незаслуженный дар судьбы – дало возможность проанализировать и постараться воспринять базовые принципы уникального педагогического и научного дарования Николая Ивановича Либана.

Мне представляется, что в основе того колоссального количества воспитанных и выращенных им качественных русских филологов лежит особый метод – метод формирования собственного знания. Либан очень редко дает прямую информацию, и то только там, где дело касается историко-литературных фактов, необходимых для нового понимания той или иной проблемы. В тонкой и глубокой беседе Либан растит внутри тебя твое собственное знание, которое ты получаешь не со стороны, как посторонний опыт, а формируешь внутри себя самостоятельно и органично. Можно сказать, что семинар Либана – это усложненный, протяженный во времени сократический диалог со своими учениками.

Эта маевтика становится возможной только при наличии колоссальной научной эрудиции, часто производящей впечатление настоящего чуда. И, признаюсь, по сей день нет для меня большей радости, чем обнаружить в своей относительно узкой сфере исследования какой-либо факт или научное мнение, неизвестное Николаю Ивановичу. Радость эта носит двоякий характер. Во-первых, это понятное желание ученика превзойти хоть в чем-то своего учителя. Второе, и главное, что заставляет радостно спешить к нему со своим открытием в старый московский переулок, – это возможность стать свидетелем той вспышки живого интереса, который вдруг осветит не только глаза, но и всю фигуру учителя при его встрече с чем-то новым, ему доселе неведомым в огромном океане русской культуры.

Масштабы этой эрудиции почти бесполезно описывать. В какой бы этап развития русской культуры, в какое бы десятилетие из этой более чем тысячи лет ни открыл ты двери, у Николая Ивановича всегда есть несколько выразительных, путеводных штрихов, которые обрисуют тебе не только литературную ситуацию, но и культурную, бытовую, языковую, общественно-политическую, художественную, архитектурную и так далее.

И здесь мы приближаемся к еще одному базовому принципу филологии по Либану. Она немислима без досконального знания отечественной истории. Остается только пожалеть, что такая очевидная мысль, как настоятельная необходимость углубленного курса истории для – вдумайтесь – историков литературы на филологическом факультете, не привела по сей день к изменению в учебных планах.

Собственное же знание Либана о русской культуре, то знание, которое он на протяжении значительно более чем полувека передает своим ученикам, отличает системность и концептуальность – у него есть свое, в высшей степени самостоятельное и глубоко продуманное понимание и видение того, как «сделана» русская культура. Это знание обладает способностью своеобразной культурной радиации – оно буквально проникает в тебя помимо твоей воли.

Николай Иванович Либан неустанно передает понимание того факта, что такое знание дает только университетское образование и это знание необходимо для развития страны, для существования самой русской цивилизации, возможно в гораздо бóльшей степени, чем остальные ее, более материальные атрибуты. Именно Николай Иванович способен посеять в сердце своих учеников и настоящее преклонение перед гуманитарным знанием, и столь необходимое филологу самоуважение, которое во все времена подвергается суровым испытаниям. Либан представляет собой высокий образец ученого, библейского мужа совета, если угодно – жреца, и показывает, что этот путь, путь ученого-филолога, требует самых ярких мужских качеств.

Все это само по себе могло бы лежать мертвым и бесполезным грузом, если бы Николай Иванович не только не обладал высочайшей культурой слова, но и не был бы, возможно, одним из лучших ораторов в истории Московского университета. Ораторское искусство, имевшее в истории русского слова замечательных представителей, столь необходимое на университетской кафедре, ныне в упадке, но он, несомненно, будет преодолен, и опыт неброской, но яркой и сбалансированной манеры Либана доносить до слушателя важнейшие места своих курсов по истории отечественной литературы, я уверен, сыграет в этом свою роль.

Таков научный и педагогический стиль Николая Ивановича Либана. Но каков его жизненный стиль, каким его знают те, кому довелось жить с ним рядом? Излишне и говорить, что Либан никогда не

относился к тому типу ученых, для которых его подопечный перестает существовать, едва за ним закрылась дверь университетской аудитории или его рабочего кабинета. Формирование и развитие личности ученика, весь его жизненный путь всегда были объектом пристального и сердечного внимания. Многие люди обязаны ему судьбой.

Но помимо людей из века XX и XXI есть один человек века девятнадцатого, который в силу своего горячего и благодарного сердца склонился бы перед его почтенной деятельностью. Этого человека зовут Николай Лесков, потому что своим возвращением в русскую культуру после столетия забвения, несправедливых и близоруких нападков этот великий русский писатель во многом обязан неутомимой деятельности Либана.

Таков он в отношении других людей, но каков же он в отношении самого себя? Если описать его личность максимально лаконично, то я бы сказал: Либан – это воплощенное личное мужество, доказанное всей жизнью, и негасимая юность в глазах.

Есть люди, которые, по выражению А.Ф. Кони, созерцают действительность с задней площадки уходящего вперед поезда. Часто к такому печальному явлению приводят прожитые годы. В свои 95 лет Николай Иванович сохраняет не только острый, даже озорной ум и широкий интерес к окружающему миру во всей его переменчивой сложности – он все время смотрит вперед, в будущее, и, посмеиваясь над недугами, готовит свои новые книги.

В своих курсах по истории русской литературы он часто употребляет выражение «работник русской жизни», повествуя о замечательных русских людях различных эпох. Но это – «работник русской жизни» – как нельзя лучше подходит к судьбе и самому строю личности и деятельности замечательного человека – Николая Либана, ветхого днями, но могучего духом и знанием.

Зоя Старкова

ЗА ДАЛЬЮ – ДАЛЬ

Рассказы о жизни одного из ярких и запоминающихся преподавателей на филфаке МГУ им. Ломоносова – Николае Ивановиче Либане – живут в памяти многих поколений студентов, аспирантов и просто читателей его книг по литературе Древней Руси и XIX века. Книги тем более незабываемы, что записаны с живого голоса автора – словно на волне фольклорной стихии: его текст доступен каждому, кому дорого разговорное русское слово, крепкое в его предметно-осязаемой корневой основе – в архетипе народного самосознания. О нем самом, как о человеке-педагоге с феноменальной памятью мы запоминаем навсегда.

Четыре главные вехи древнерусской культуры – «Слово о Законе и Благодати», «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет»,

«Житие протопопа Аввакума», где честь, совесть, сострадание русского человека к другому человеку неразлучны, – становятся незабываемо близкими и дорогими, как «передний край» нашей сегодняшней России.

Человек по своему рождению совершенен. И тем труднее стать совершенным – чем нужнее проявить этот природный дар. И мудрость Библии дает нам заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Есть такая универсальная связь между людьми – она в основе развития мировой культуры: ученик – учитель. Невозможно представить Пушкина без уроков Державина, Жуковского или басен Крылова... Но как и во имя чего учить? Или: с кафедры обнажить суть предмета, стать кумиром аудитории – и отойти в сторону. Или: учеба, сам процесс познания станет со-беседованием, со-участием – глаза в глаза, рука об руку, на равных... чтобы найти водораздел в традициях многих поколений – между правдой и истиной. Так учил своих студентов Николай Иванович Либан – и память о нем бесконечна.

Филология как любовь к слову – одна из величайших специальностей на Земле, с охранной грамотой защиты родного языка, его чистоты и точности. И книги Либана, написанные с живого голоса самого автора, уникальны. Словесная ткань в его лекциях по древнерусской литературе разговорно-проста, свободна от перегрузки иностранными терминами, от модернистских приемов в самой подаче слова. Она верна пушкинской традиции – в умении ответственно находить нужное слово в его видимой и слышимой точности. Верна посланию апостола Павла, где сказано: «...будет твердо всякое слово» (2Кор. 13, 1).

С Николаем Ивановичем интересно было говорить часами (в новой, после Остоженки, квартире на Фрунзенской набережной). На вопрос: «Что же помогло вам выжить в 30–50-е годы государственного режима Советского Союза?» – он ответил: «Инстинкт самосохранения». Самосохранение – как верность своему человеческому достоинству. На вопрос: «Не пора ли нам сократить количество употреблений словосочетания «великая держава»?» – он ответил, как древник: «Наоборот, увеличить, то есть углубить понимание лексического значения слова “державность”. Оно достойно для русского народа, которому предназначено держать “в государственном порядке свою землю в таких богатырских просторах”».

Ирина Столярова

Николай Иванович Либан – главный редактор Полного собрания сочинений Н.С. Лескова в 30-ти томах. Личность особой чеканки, значительность которой угадывалась за самой внешностью ученого, живая легенда московского филфака, Н.И. Либан отличался редкостной широтой своих научных интересов. Однако особое пристрастие он питал именно к Лескову, ценя в нем писателя, сумевшего загля-

нуть в самую глубь русской жизни и национального характера. Проявляя мужественную готовность идти «против течения», Н.И. Либан отстаивал свое право из года в год читать в стенах Московского Университета спецкурс о Лескове – в те времена, когда творчество этого писателя, никогда не разделявшего радикальные умонастроения современников, было искусственно выведено не только из школьных, но и из вузовских программ. В конце 1990-х годов, сплотив вокруг себя небольшую группу единомышленников, Н.И. Либан выступил с инициативой издания первого Полного собрания сочинений Н.С. Лескова – издание, за которое не решился взяться тогда ни один академический институт. На предложение Н.И. Либана, к нашей общей радости, откликнулось издательство «Терра» (впоследствии «ТЕРРА – книжный клуб»), справедливо увидев в осуществлении этого проекта дело национального значения. Невзирая на свой почтенный возраст, Н.И. Либан постоянно проявлял горячую заинтересованность в ходе нашей работы. В неспешных беседах с ним, которые велись у него дома, мы выверяли и общее направление своей деятельности, и трудные, спорные моменты в построении комментариев, и меру их полноты и точности. Н.И. Либан был душой этого издания, главным нашим советчиком, авторитет которого был для всех бесспорен. Опора на его выношенные суждения, на его чуткое восприятие самой изменчивой тональности лесковского слова всегда сообщали нам бóльшую уверенность в своих силах и побуждали к еще более энергичному труду. Мы благодарны своему Учителю за то, что он открыл перед нами поприще столь важной и желанной для всех нас деятельности, благодаря которой читателю может быть предоставлена, наконец, возможность увидеть фигуру Лескова в полный ее рост.

Сергей Жемайтис

Николай Иванович Либан родился в 1910 году в сердце Москвы в Неопалимовском переулке. Самые яркие впечатления детства: быт москвичей, служение посошником у патриарха Тихона, наставники и педагоги – и далее юношеские годы, странствования по всей России. Все это сыграло огромную роль в формировании его личности и характера. Свою жизнь Либан соизмерял с тем, что сам называл «требования вечности», и был глубоко верующим человеком. Это позволило ему постичь основы христианства и, несмотря на жестокое и бурное время, в которое он жил, следовать этим основам и служить им. При этом внешне Николай Иванович никогда не выказывал глубины своей веры. Он скептически относился к современной церкви, говоря ученикам, что настоящая церковь давно уничтожена.

Но самое поразительное для современного человека в том, что Либан не только верил, но каждый шаг жизни соизмерял с вечными ценностями. И именно с этим связаны многие его поступки, казавшиеся

окружению странными. Николай Иванович не вступал ни в комсомол, ни в партию. Написав три диссертации, не стал их защищать, прослужил до 97 лет старшим преподавателем филфака МГУ. Будучи крупным ученым, всегда говорил, что он педагог. Он напоминал древнерусского писателя или иконописца, который не ставит своего имени под творением, служа не времени, а Богу. В этом смысле главной его работой была работа духовная, великая и самая важная работа – в общении с учениками. Здесь он также следовал традиции наставления, заимствованной им из его любимой древнерусской литературы, которую он блистательно преподавал всю жизнь. Эти легендарные курсы восторженно и благодарно помнят десятки поколений. Мы сегодня можем видеть отражение его личности в душах учеников. Это и есть чудо, которое совершил Либан, понимающий подлинный смысл жизни. Сам же был тем, кем любил себя называть, – «работник русской жизни».

Ему был присущ энциклопедизм. Познания в различных областях и направлениях философии, культуры России и Запада, истории России, быта, нравов и философских основ общества разных эпох – говорят о выдающейся личности ученого и педагога. Безусловно, аристократизм. И при этом неизменный демократизм Н.И. Либана, предками которого по отцовской линии был виконт Либан, поднявший восстание во Франции, и по материнской – Иоасаф Белгородский.

Несмотря на все ужасы революционной и сталинской эпох, Николай Иванович оставался патриотом. Он говорил о выдающейся роли России для мирового развития и культуры. «Коммунистическая эпоха преходяща и уступит место новой эпохе, в которую Россия разовьет свой огромный потенциал», – говорил он еще десятки лет тому назад.

Связь времен – любимая идея Либана. Он часто говорил, что видит одну из целей своей жизни в том, чтобы донести до новых поколений основы русской культуры, безжалостно уничтожаемой, и сам был той эпохой, тем связующим духовным звеном между эпохами, и не только между XIX и XX веками, но между древнерусской культурой и современностью.

Роль личности Н.И. Либана в истории России, культуре, науке, педагогике огромна. Он сформировал многих и многих известных литературоведов, педагогов, писателей, общественных деятелей. Сам же он не думал о своей личной славе и известности, но служил Высшему назначению жизни, неся духовный свет людям.

Леонид Латынин

Известие о кончине Николая Ивановича Либана привело меня в крайнее волнение.

Конечно, у Н.К. Гудзия я занимался «Словом о полку Игореве» и писал работу о дохристианском пантеоне в «Слове», но Н.И. Либан на своем магическом семинаре доверил мне чтение вслух текста на языке

оригинала «Слова», и посему невольно весь этот текст я выучил наизусть. Позже именно эти интонации и эта стилистика пригодились мне в моей прозе.

Технология семинара была следующей – я читал вслух небольшой отрывок, Н.И. Либан его разбирал и пропускал КАЖДОЕ слово отрывка через сонм своих комментариев. Это были вдохновенные и свободные незабываемые тексты, скорее даже образцы высокой прозы, яркие, емкие – не профессорские, а скорее поэтические. Были и разговоры после занятий. Была и дача, которая поражала меня своей спартанской обстановкой, если не сказать проще, – бедностью.

В моей памяти Н.И. Либан – яркая духовная краткая вспышка, свет которой и через десятки лет остается таким же сильным.

Слава Богу, что филфак МГУ в мои времена был так богат людьми культуры, которые из слуха в слух, из рук в руки более двух столетий хранили и передавали атмосферу этой университетской духовной жизни. Это и Сергей Иванович Радциг, автор «Истории древнегреческой литературы» и «Античной мифологии», что еще в 1905 году преподавал древние языки и вел практические занятия по античной литературе на Московских Высших женских курсах, и, конечно, автор «Краткой грамматики древнегреческого языка» А.Н. Попов, и автор учебника «Истории древней русской литературы» Н.К. Гудзий, и автор «Хрестоматии по русской литературе XVIII века А.В. Кокорев.

И наконец, сам Николай Иванович Либан – потомок «виконта Либана, полковника французской армии, который объявил Эльзас независимой республикой. Эльзасцы ведь это не французы, это какая-то смесь французского и немецкого. Полковник Либан был казнен, лишен всех орденов, званий и состояния, а вся семья его выслана в Россию...» В России и появился на свет Николай Иванович Либан – славный, яркий, светлый, духовный – ученый и подвижник – один из наследников Великой Русской Филологии, которого по причине его родовой независимости и непокорности обошли и звания и награды, но он остался в памяти каждого, кто хоть раз слышал его волшебные речи – профессором Российской Словесности.

Анастасия Гачева

Николай Иванович Либан. Учитель. Филолог. Мыслитель. Человек-эпоха, вместивший в себя «некалендарный двадцатый век»...

В Культуре, явлением которой он был, свой масштаб и свой счет человеку. Там не играют роли внешние достижения, там мало что значат тщеславные подпорки в виде руководящих должностей, степеней, зарплат и наград, которыми наивно стремимся мы защититься от горьких превратностей бытия и истории. У Либана была другая, по-настоящему надежная опора: мысль, слово и совесть. Гениальная интуиция, огромный гуманитарный талант. А еще – тот «души высокий

строй», который воспел в свое время Тютчев, обращаясь к образу столь любимого Николаем Ивановичем Карамзина.

Приступая к воспоминаниям об учителе, сетую на слабость человеческой памяти. Настоящее, где так полны и разнообразны каждый день, час, минута, погружаясь в «пропасть забвенья», стремительно оскудевает. Нет больше полноводной, стремительно бегущей реки. Перед тобой молчащее черное озеро. Лишь изредка на глади темных вод возникают образы прошлого, а потом вновь растворяются в глуби, у которой нет дна. Вот и пытаешься уловить эти образы, перенести на бумагу, сделать бывшее пребывающим, умершее – снова живущим...

* * *

Середина восьмидесятых. Филфак. Начало учебного года. Мы, второкурсники, гудим, как рой вспугнутых пчел. Наконец-то – после строгой муштры первого курса – мы можем и должны *выбирать*: свой семинар, а в нем тему научной работы. В голове настойчиво стучит мысль, что этот выбор – нечто вроде первого судьбоносного шага, что ошибиться хотя и возможно, но совсем нежелательно. Что именно здесь начало твоего собственного незаемного пути в филологии, любовь к которой объединяет нашу студенческую, такую непричесанную, такую разношерстную братию.

Вот рафинированный семинар Владимира Турбина. Вот – А.Г. Соколова по литературе Серебряного века. Милая Анна Ивановна Журавлева ведет семинар по драматургии А.Н. Островского, В.В. Кусков – семинар по древнерусской литературе. А еще манит русский фольклор, источник вдохновений многих русских писателей. Во время летней экспедиции в русском Поволжье мы прикоснулись к таинству народной жизни и теперь в семинаре В.П. Аникина можем изучать чудо устного слова, вписанного в обряд, неразрывного с бытием.

Однако в гудении голосов, яростно спорящих, куда, к кому и зачем, все громче, все настойчивее, все неотступнее звучит: «К Либану!», «Только к Либану!»

Либан. И фамилия какая необычайная! И произносят ее с таким почтением, почти трепетом... А семинар, который он открывает, посвящен Лермонтову, любимому поэту юности, которая «и жить торопится, и чувствовать спешит».

В лермонтовский семинар тогда пришло более двадцати человек. С нашего второго и с третьего курса. Было несколько старшекурсников. Заходили и бывшие выпускники.

Первое занятие – в аудитории, соседней с кафедрой истории русской литературы. Светлые, большие окна. Мы за столами в нетерпеливом волнении. И Николай Иванович в черной тройке на фоне окна.

Эта черная тройка была его визитной карточкой. Даже летом, в страшную жару, он неизменно приходил в ней на занятия, не говоря уже об экзаменах и защитах дипломных работ – черта, роднившая его с традициями старой русской профессуры. И никогда не позволял себе даже расстегнуть, не то что скинуть пиджак. Университет, в наши дни все больше обретающий черты «дома торговли», для Либана был храмом, а можно ли представить, чтобы священник, служащий литургию, пренебрег облачением в угоду «погодным условиям»?

В школе мы привыкали к фамилиям, переставая помнить имя свое. На первом курсе преподаватели предпочитали вежливо-безличное «Вы», а если запоминали – обращались по имени. Николай Иванович называл по имени-отчеству.

– Ирина Владимировна! (Это Ира Вартанова.)

– Ольга Владимировна! (Олечка Мурысова.)

– Ирина Анатольевна! (Это Ирина Беляева, она на курс старше.)

– Настасья Егоровна! (Это ко мне.)

Когда Николай Иванович спросил: «А Вас как величать?» – и я с трудом выдавила из себя, заикаясь на каждом слове: «Анастасия Георгиевна», он, хитро улыбнувшись, сказал:

– Нет, Анастасия Георгиевна не годится. Будете Настасья Егоровна.

Так и звал меня все годы, что я была в его семинаре.

Первые полгода Николай Иванович больше говорил сам. О Лермонтове и его месте в литературном процессе, о лермонтовском стихе, о «Герое нашего времени» как первом психологическом романе в русской литературе и его соотношении с распространенным в 1930-е годы жанром светской повести, о возможных прототипах Печорина (целое занятие посвятил он фигуре русского эмигранта Печерина, «лишнего человека» не в литературе, но в жизни, сочетавшего ум и талант с болезненным эгоцентризмом, разъедающей и злой рефлексией). Учил работать с источниками, читать общие курсы – те, что создавались учеными дореволюционной эпохи: труды по русской литературе А.Н. Пыпина, А.Н. Веселовского, Н.А. Энгельгардта, Е.А. Соловьева-Андреевича, книгу К.Ф. Головина «Русский роман и русское общество». А еще «Историю русской интеллигенции» Овсяннико-Куликовского и двухтомник Иванова-Разумника «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века»... Из писавших в 1920-е годы советовал читать П.Н. Сакулина и В.Ф. Переверзева, создателей социологического метода. С Николаем Ивановичем постигали мы азы библиографии, которую его тезка философ Николай Федоров называл «ключами знания». Без знакомства с трудами С.А. Венгерова и Н.А. Рубакина Либан не мыслил серьезного исследования. А библиографию ежегод-

ных квалификационных работ заставлял выстраивать строго и стройно: «Источники», «Специальные статьи и монографии», «Общие курсы», «Мемуарно-эпистолярная литература».

Во втором полугодии начался разбор курсовых сочинений. Тут все было всерьез, все – по-настоящему. Халтуры Либан не терпел. Впрочем, любители «посачковать» либо вообще не шли в его семинар, либо долго в нем не задерживались.

Каждая работа читается вслух и обсуждается. На каждую пишется пять рецензий: общая рецензия, рецензия по проблематике, по аргументации, языку и стилю, библиографии и научному аппарату. До сих пор у меня сохранились опусы, написанные мной тогдашней на работы моих сокурсников, и соответственно их – на мои курсовые. Перелистывая пожелтевшие страницы, вижу, сколько старания, сколько ума и души вкладывали мы в эти рецензии, порой превращая их в своего рода мини-исследования, как вчитывались в тексты и вдумывались в темы друг друга, открывая новые повороты научного сюжета, щедро даря друг другу идеи: сотворчеству, взаимопомощи, а не конкуренции на короткой жизненной дистанции – вот чему учил нас Либан.

На обсуждениях порой спорили до хрипоты. Николай Иванович брал слово в конце. Говорил немного, но давал поистине мастерскую характеристику обсуждаемого. Он умел показать дальние горизонты любой, казалось бы, самой локальной темы. Если чувствовал в работе мысль, был очень доволен и подсказывал, как двигаться далее. Больше всего не любил пустых мест и общих фраз. Недостатки отмечал изящно-иронически, но отнюдь не унижающе. До сих пор помнятся его остроумные пассажи, рождавшие в душе и стыд, и восторг: стыд за свою неумелость и неуклюжесть и восторг перед точностью и красотой слова Учителя.

Не всегда точность его суждений понималась и принималась нами. Порой мы оценивали ее лишь спустя годы.

Помню, как один из участников нашего семинара, мексиканец Хосе Луис Флорес, писавший об образе мечтателя у раннего Достоевского, пропел в своей работе настоящий панегирик героям «Белых ночей», «Хозяйки», «Слабого сердца», «Неточки Незвановой», «Униженных и оскорбленных». Мечтатель получился идеальным героем, почти предшественником Алеши Карамазова.

Николай Иванович разгромил курсовое сочинение в пух и прах. Не принял во внимание даже яркий стиль текста. Главная претензия – неверная трактовка образа. У Достоевского, настаивал он, образ мечтателя совсем не так романтически-возвышен и положительно-однозначен. Страсть мечтательства оборачивается презрением к «живой жизни». Одинокая фантазия стремится подчинить себе мир – опасность такого стремления Достоевский очень хорошо создает. Автор не при-

нимает во внимание эволюцию образа мечтателя в позднем творчестве Достоевского. Увидеть линии этой эволюции – вот в чем задача.

Мы с автором работы были друг в друга тогда влюблены. Высокие чувствования и мечты героев раннего Достоевского были нам близки и понятны. А скепсис Николая Ивановича вызывал обиду и возмущение. «Это предвзятая оценка!», «Работа прекрасная, а Либан просто сердится, что ты пишешь о Достоевском, а не о Лермонтове» – утешала я своего милого друга.

И только позднее, когда творчество Достоевского стало предметом моих профессиональных занятий, я поняла, насколько Николай Иванович был прав и глубок. От мечтателя к подпольному человеку – вот перспектива эволюции образа мечтателя у Достоевского. Уход от реальности, как бы дисгармонична она ни была, в область прекрасной и ни к чему не обязывающей иллюзии, в конечном итоге оборачивается для него отъединенностью от мира и людей, «пустыней», «углом» и «подпольем». Возвышенно-неопределенную мечту сменяет идея: как раковая опухоль, съедает она ум и сердце героя.

Два года занимались мы в лермонтовском семинаре. На третий Николай Иванович оставил Лермонтова и открыл семинар по творчеству В.Г. Короленко. У некоторых участников резкая смена темы вызвала отторгающую реакцию, тем более что Либан требовал неукоснительной дисциплины: семинар по Короленко? – вот и пишите про Короленко! Он был твердо убежден, что настоящий филолог обязан справиться с любым автором и любой темой, что в этом и состоит профессионализм. Шаг за шагом вводил он нас, душевно и творчески сросшихся с первой третью XIX века, начавших – с его умной помощью – чувствовать и понимать ее искания и обретения, в литературу 1880 – начала 1900-х годов, учил видеть эту эпоху в ее сложности и разнообразии. Помню его характеристику декадентства: свидетельствует оно об утрате той целостности и органичности восприятия жизни, что была у писателей-классиков Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова... Серебряный век движим стремлением восстановить распавшееся единство духа на новых художественных и религиозных путях. А вот В.Г. Короленко, вскормленный девятнадцатым веком и творивший внутри него, сохраняет и мировоззренческую цельность, и душевную чистоту, и веру в человека.

...Школа Либана была подлинной «школой филологической точности», если перефразировать знаменитое определение, данное Пушкиным лирике Жуковского и Батюшкова. Эта школа объединяла и до сих пор объединяет исследователей разных поколений. Некоторые из них знают, другие не знают друг друга. Но даже если не знают, соприкоснувшись с письменными текстами или встретившись случайно где-нибудь на конференции или семинаре, тут же «находят» друг друга, улавливая в чужом слове характерные обертоны мысли, знако-

мые приемы анализа. И радуются, услышав в ответ на вопрос: «У кого Вы учились?» лаконичное: «В семинаре Либана».

* * *

Список тем для курсовых работ занимающимся в лермонтовском семинаре Николай Иванович прочел уже на втором занятии. «Мелодика лермонтовского стиха» (ее взяла Ирина Беляева и написала блестяще), «Тема природы в романе М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”» (досталась вальяжному болгарину Димитру Димитрову), «Историческая поэма М.Ю. Лермонтова “Песня о Купце Калашникове”» (будущий журналист Александр Шундрин, убежденный противник всякого строгого литературоведения, написал на эту тему изящное эссе), «М.Ю. Лермонтов. Послания» (ее выбрала трудолюбивая Катя Полянская и, в отличие от Шундрин, послушно следовала в курсовой работе всем велениям жанра).

Среди прочтенного промелькнуло «Дневник Печорина и...» – вторую половину заглавия я опрометчиво не расслышала.

Когда последовал опрос, кто какую тему берет, я бодро откликнулась:

– Я хотела бы писать о дневнике Печорина.

Николай Иванович лукаво прищурился:

– «Дневник Печорина и дневник Наполеона»? Прекрасно.

Что такое «дневник Наполеона», я, конечно, понятия не имела. С французским языком почти не дружила. Но отступить было уже невозможно. И засучив рукава – ах, как хороша ты, самонадеянность юности! – начала работать над темой. Восьмитомные «Записки со Св. Елены» Гурго и Монтолона, «Мемориал Св. Елены» Лас-Казаса... Исторические и литературоведческие труды, творения европейских и русских романтиков...

И тут меня ждало настоящее потрясение. Тема, обозначенная так аскетически-просто, заставляла обращаться к крупным историко-литературным и философским проблемам, к стержневым вопросам, которыми болел европейский и русский XIX век. Проблема индивидуализма, «самовласть человеческого я» (Ф.И. Тютчев), диалектика судьбы и свободы, антиномии человеческой природы, запечатленные романтизмом в знаменитой формуле «Во мне два человека». А еще вопрос о специфике дневникового жанра и его статусе в литературе... Об этом и о многом другом нудила говорить скромная по одежке тема курсовой работы в семинаре Либана.

И так было всегда. Локальные темы, предлагаемые им для разработки, выводили нас на большие темы литературы, давали почувствовать ее главные смысловые и художественные узлы, понять логику развития слова и образа в ту или иную эпоху.

После семинара, на котором состоялось чтение и обсуждение моей курсовой, мы остались одни в аудитории. И вдруг Николай Иванович обронил как бы между прочим:

– А ведь это была моя тема...

Тогда я не посмела продолжать разговор. Лишь много позднее, уже окончив филфак, в одну из встреч спросила, что имел он в виду.

– Это была тема моей кандидатской диссертации. Защитить мне ее, конечно, не дали.

...Понятно, почему не дали. Сталин, благосклонно встретивший в 1936 году книгу Е.В. Тарле «Наполеон» (к слову сказать, Николай Иванович эту книгу очень ценил), явно соотнес фигуру создателя великой империи с собственной личностью – недаром даже защитил автора от газетных нападок. Писать о годах падения и унижения титана, мнившего «заменить собой Провидение» (а ведь именно к этим годам относятся «Записки Наполеона») было, по меньшей мере, рискованно. А в 1941-м возникли другие аналогии: Великой Отечественной – с Отечественной войной 1812 года, и обращение к романтизированному образу императора стало невозможным со всех точек зрения.

Встал вопрос о смене темы, но Николай Иванович на компромисс не пошел. Памятью об этом совестном выборе стало значащее отсутствие ученой степени, которое все годы его преподавания в Университете так раздражало чиновников, восхищало студентов и удивляло неофитов от филологии, что явились на факультет в перестроечную и ельцинскую эпоху, в годы безудержного «разгула свободы». Впрочем, к этому «разгулу» Николай Иванович относился скептически: слишком часто подобная хмельная свобода оборачивалась свободой от знаний и традиций, а что хорошего в том, когда пишем «свобода» – подразумеваем «невежество»?

Идеологической конъюнктуры, ни советской, ни постсоветской, когда с ретивостью, достойной лучшего применения, отказывались от наследства и отрясали прах с ног своих, Либан не терпел. Помню, в начале 1990-х на одном из заседаний кафедры барственный Василий Иванович Кулешов, видом и голосом подчеркивая торжественность момента, провозгласил изменение *политики* преподавания литературы:

– Мы так долго и так много в прошлые годы принуждали студентов заниматься фигурами демократического лагеря. Пора оставить эту порочную практику и открыть широкий простор исследованиям других фигур. Нужно изучать творчество славянофилов, религиозных писателей и философов, изучать больше, шире, объемнее...

– А мне кажется, – откликнулся Николай Иванович, – что мы в последнее время мало и плохо занимались писателями и критиками демократического лагеря. И это недопустимо.

Историк до мозга костей, он требовал изучения каждого явления в его собственной внутренней логике и в логике общего движения литературы. Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский интересовали его не как идеологические марионетки в руках политически благонадежных или диссидентствующих писак, а как представители определенной традиции, которая нуждается в филологическом и эстетическом осмыслении.

Невозможность подстраивать свое видение художественной словесности под внешние идеологические каноны и была, на мой взгляд, главной причиной того, что Николай Иванович предельно сократил для себя сферу письменного, а значит печатного слова, ушел в сферу слова устного, свободного, нерегламентированного, неподвластного цензурному давлению. Здесь не было места деформирующей редакторской воле, но лишь воля автора и воля избранного им предмета. Целые научные исследования, настоящие устные монографии создавались Н.И. Либаном в рамках лекционных курсов, спецкурсов, спецсеминаров по древнерусской литературе, литературе XVIII и XIX веков, по творчеству Н.И. Новикова, Н.М. Карамзина, М.Ю. Лермонтова, Н.С. Лескова, А.Ф. Писемского, Н.Г. Чернышевского, В.Г. Короленко... А еще были лекции о писателях «второго ряда» и знаменитый спецкурс «Русский бульварный роман», открывавшие не только студентам, но и тем, кого принято называть «научной общественностью», *terra incognita* русской литературы.

Н.И. Либан творил не на бумаге, но в пространстве живого, звучащего слова, запечатлевая мысли и образы в умах и сердцах своих слушателей. Многие из его идей оживали затем в трудах учеников – на устное слово копирайт не поставишь, да Николай Иванович к этому и не стремился, напротив, был доволен, что брошенные им семена проросли и дали свой плод. Учитель, щедро раскрывающий ученику все богатства своего научного опыта, всегда побеждал в нем исследователя, ревниво пекущегося о собственном приоритете. И все же отрадно, что хотя бы малая часть того, что прозвучало в стенах МГУ за время почти семидесятилетней работы Н.И. Либана, окормляя многие поколения филологов, в последние годы его жизни все-таки появилась в печати...

* * *

На втором и третьем курсе мы, студенты дневного отделения, каждую неделю сбегали к счастливым вечерникам, которым Николай Иванович читал русскую литературу. Замирали за партой и, затаив дыхание, слушали. И так хотелось ухватить, удержать сказанное – хотя бы в неверной памяти, в несовершенных конспектах, а если повезет – на магнитной ленте, считавшейся тогда чудом техники.

На лекции Николая Ивановича многие ходили с магнитофоном, и если в самый интересный момент пленка кончалась, судорожно переворачивали кассету, чтобы не упустить ни одного драгоценного слова.

Прошло пятнадцать лет, и теперь эти слова запечатлены на бумаге. Сначала вышли две книги - «Литература Древней Руси: Лекции-очерки» (М.: Изд-во МГУ, 2000) и «Становление личности в русской литературе XVIII века» (М.: Изд-во МГУ, 2003). Потом они объединились под одной обложкой с третьей, вводящей читателя в девятнадцатый век, и возникла книга «Лекции по истории русской литературы» (М.: Изд-во МГУ, 2005).

Открываю эту книгу под зеленой обложкой, свежей и сочной, как весенняя трава, – таким же свежим и сочным было каждое выступление Николая Ивановича. Начинаю читать – оторваться уже невозможно. Не просто история литературы встает с этих страниц, а история времени и судьба человека во времени. В живом, поистине воскрешающем слове является мир наших предков. «Дела давно минувших дней, / Преданья старины глубокой...». В лекциях о литературе Древней Руси Николай Иванович ведет к самым истокам, помогая постигнуть, «откуда есть пошла Русская земля» и русская словесность. Звучит слово, прочитанное через историю, и история, отразившаяся в слове, – от князя Владимира, крестившего Русь и боявшегося казнить преступников, до Ивана Грозного, утверждавшего в письмах Курбскому свое право царствовать безраздельно и самовластно; от митрополита Илариона с его «Словом о Законе и Благодати» до бунтаря протопопа Аввакума, для которого не страшно потерять жизнь – страшнее потерять веру; от «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве» до «Сказания Авраамия Палицына», запечатлевшего думы современника о Смутном времени, его попытку понять, что же тогда сделалось со страной и с людьми.

А вот литература XVIII века и дерзновенные реформаторы, создававшие державу Российскую, прорубавшие окно в Европу, выходявшие к северным и южным морям, строившие Петербург наперекор всем природным стихиям... Тектонические сдвиги эпохи Петра, правление «веселой царицы Елизавет», властная и самоуверенная Екатерина II, говорящая своей тезке Екатерине Дашковой: «Женщина все может». Тут же – М. Ломоносов как «Петр Великий русской литературы»; В. Тредьяковский, открывший силлабо-тонический стих, без которого не было бы ни Пушкина, ни русской поэзии вообще; А. Сумароков, коему обязана Россия театром. История русского масонства и Н. Новиков с его знаменитыми журналами. И наконец Н. Карамзин, по пушкинскому точному слову, «последний летописец и первый историк» России, создатель многотомной «Истории государства Российского», на которой в XIX веке будут воспитываться и Пушкин, и Толстой, и Достоевский...

И что же? По мере чтения начинаешь вдруг понимать, что мы, перешагнувшие порог XXI века, летающие на самолетах, сидящие перед экраном компьютера и, казалось, постигшие всю земную премудрость, совсем не далеко ушли от тех, кто жил, мыслил, творил в те далекие годы. Что многие нынешние наши сюжеты, от общественных, политических, литературных до сюжетов нелитературной, обыденной жизни – в некотором смысле всего лишь повторенье пройденного. И что настоящее связано невидимыми, но прочными нитями с прошлым, питается и крепится им, создавая непрерывность движенья истории.

Быть может, это так потому, что и в жизни, и в литературе главный предмет один – человек. И задача историка литературы, как видел ее Н.И. Либан, – показать, каким предстает человек в те или иные эпохи истории, в каких формах отливается его труд самосознания, как формируется в нем то, что мы называем личностью. В лекциях о древнерусской литературе раскрывается мироощущение человека Древней Руси, державшееся живым чувством связи Бога и мира (вспомним знаменитый «Шестоднев» или «Слово на Антипасху» Кирилла Туровского, где радость Христова Воскресения становится радостью всей земли, где вся природа в своем весеннем обновлении откликается благой вести о победе над смертью). А в части, посвященной «Становлению личности в русской литературе XVIII века», перед нами проходят и петровский человек-преобразователь, и человек классицизма с его подчиненностью идее порядка, четкой иерархией планов и уровней бытия, и человек сентименталистской эпохи с его культом сердца, а не разума, вниманием к сокровенной, внутренней жизни души. Своими исканиями смысла существования, своей думой о назначении человека писатели XVIII века предварили и век девятнадцатый, и век двадцатый, и нынешний, только начавшийся век. Ломоносов, давший в знаменитой оде «Бог» образ человека как зиждительной связи миров, Державин с его размышлением о скоротечности человеческой жизни («Река времен в своем стремленье / Уносит все дела людей»), Радищев, вопрошавший «о человеке, его смертности и бессмертии», – наши «вечные спутники» в миропознании.

И вот, наконец, автор – умный Вергилий читателя – странника по пространству русской литературы – распахивает двери в ее золотой век. Жуковский, Пушкин, Лермонтов. Три фигуры – как титаны Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Им Николай Иванович посвящает очерки, исполненные подлинного вдохновения: рисуя образы поэтов, демонстрирует, как сквозь призму их творчества преломляются основные линии литературного процесса первой трети девятнадцатого столетия. Удивительный по стройности и глубине разбор «Евгения Онегина», главы о «Борисе Годунове», «Маленьких трагедиях», «Капитанской дочке» – каждая настоящий шедевр. Проникновенная характеристика Татьяны Лариной, «хранительницы

того миропорядка, той национально-исторической почвы, которая называется Россия». Poleмика с «теорией среды»: «...не только среда формирует человека, но и человек формирует среду. То есть не только формирует, но и организует, не только организует, но и вдохновляет, не только вдохновляет, но и определяет собой тот или иной путь развития – экономического, духовного, художественного».

Когда-то Н.Ф. Федоров, философ всечеловеческой памяти, призывал видеть за книгой создавшего ее автора. Читая лекции-очерки, я особенно чувствовала правду его призыва. Тексты Николая Ивановича сохранили свежесть живого, звучащего слова и совсем не похожи на сухие, наукообразные штудии, которые читать можно лишь на ночь глядя в качестве эффективного и безобидного снотворного средства. Они артистичны, пластичны и яркие, исполнены захватывающего динамизма – тут свои подъемы и кульминации, серьезные, порой трагические места и иронические пассажи, а порой – и уничтожающий, метко разящий сарказм. И при этом простота и доступность изложения, в которой нет ни капли поверхностности. Ибо за этой почти евангельской простотой – глубина знания и понимания русской литературы и жизни. А еще – собственная экзистенциальная позиция, достойно и мужественно пронесенная через многие годы.

Лекции-очерки, вышедшие в 2005 году, остановились на Лермонтове. Следующий цикл очерков должен был носить название: «Люди и книги сороковых годов». Николай Иванович был очень одушевлен этим замыслом, не раз говорил о нем при встречах, но завершить не успел...

* * *

От минирецензии в предыдущем фрагменте снова вернусь к лермонтовскому семинару.

То ли на первом, то ли на втором занятии прозвучал вопрос, которого я боялась с той самой минуты, как переступила порог семинарской аудитории:

– Вы имеете какое-то отношение к Гачеву?

– Нет, никакого, – твердо уверила я.

Николай Иванович посмотрел вопросительно, но ничего не сказал.

Разумеется, ложь скоро раскрылась.

– И зачем Вы меня обманули?

Я упорно созерцала линолеум, на котором, как ни трудись, нельзя было обнаружить ничего примечательного, и отчаянно боялась поднять глаза. Ну, как я могла объяснить, что совершенно не хочу, чтобы кто-то из преподавателей и сокурсников догадался о моих родственных связях с «тем самым Гачевым», автором «Ускоренного раз-

вития литературы» и концепции содержательности художественных форм, открывателем Бахтина и прочая, прочая, прочая.

Не знаю, понял Николай Иванович мои переживания или нет. Минуту помолчал, сказал:

– А ведь он у меня учился!

Я не нашлась, что ответить.

...Два года назад, после трагической гибели отца, разбирая его бумаги, обнаружила в «Жизнемыслях» последних лет «Жизнеописание», начатое моментом рождения и доведенное до лета 1972 года. Среди прочего отец описывал послевоенный филфак: его духовную атмосферу, студенческую среду, преподавателей, читавших общие курсы (В.Ф. Асмус, С.И. Радциг и других), проводивших спецсеминары. Пробегая глазами по строчкам, буквально замерла на маленьком машинописном абзаце:

«Анализ художественного произведения вел Либан. Я взял тему “Былина о Садко” – и там вдался в анализ метрики былинного стиха – и, используя свои уже музыкальные познания и слух, – обнаружил некие особенности: Либан похвалил, сказав, что я тут в полемике с Жирмунским что-то открыл, и работу забрал к себе».

К горькому моему стыду только тогда, спустя двадцать лет, мне стал до конца ясен смысл вопроса Николая Ивановича о моем родстве с Гачевым. Он не любопытствовал праздно, не искал повода для едкой насмешки («Знаем, чего они стоят, эти папины дочери!»), он просто радовался нечаянной преемственности, приведшей к нему теперь, спустя сорок лет, дочь того, кого он помнил семнадцатилетним юношей и кому когда-то вместе с другими преподавателями открывал еще неизвестные дороги в науке.

Он учил отца всего год, но всегда, когда мы встречались, справлялся о нем, передавал приветы и волновался, когда узнавал, что тот болен. Так же волновался за других своих учеников и их сродников. Когда мог – стремился помочь или просто ободрить – то сочувственным словом, то доброй шуткой.

Тетка Николая Ивановича Николай Федоров – как мне дорого, что оба они Николаи! – говорил, перефразируя евангельское слово Христа: «Учитель добрый душу свою полагает за детей». Николай Иванович и был таким учителем. Он помнил каждого ученика и каждого принимал в свое сердце.

Один из членов нашего семинара в годы поздней перестройки участвовал в студенческих волнениях, защищая тогда еще яркого и пассионарного Ельцина. Бдительный деканат принимал самые жесткие меры, студенту грозило отчисление. Узнав об этом, Николай Иванович пошел в деканат, настаивая на перемене решения.

Один эпизод мне особенно памятен. В июне 2007 года мы с Ириной Беляевой навестили Николая Ивановича. Ирина пришла

пораньше, а я по своему злосчастному обыкновению, конечно, опаздывала. Прибегаю, запыхавшись: под мышкой книжки, в руке связка бананов. Знакомая комната, все на своих местах, все привычно. И вдруг вижу то, от чего не могу сдержать громкого «оха»: на стене висит коврик. Четыре года назад, когда Луис, тот самый Луис, писавший о мечтателе Достоевского, приезжал в Москву, мы вдвоем заходили к Николаю Ивановичу, и он подарил учителю этот коврик. И вот надо же – висит на стене.

– Ой, Николай Иванович, как здорово, как замечательно. Коврик! – восклицаю я с глупо-счастливым видом.

Николай Иванович улыбается радостной и чуточку лукавой улыбкой и почему-то едва заметно подмигивает Ире Беляевой...

...Проходит полгода. Морозный, январский день. По белым, слепящим от солнца дорожкам мы идем с кладбища. Только что кончилась панихида. Служил муж Лены Рогалиной, отец Стефан. Было светло и проникновенно. Сорок дней. Уже сорок дней...

Обогнав шедших впереди, я оказалась рядом с Ирой Беляевой, и вдруг она спросила меня:

– А помнишь, в июне, когда мы с тобой были у Николая Ивановича, ты радовалась коврику, что висел у него на стене?

– Конечно, помню.

– Ведь Николай Иванович повесил его тогда специально для тебя. Я пришла раньше, мы сидели, разговаривали, и вдруг он показал рукой в угол: «Ира, сейчас должна прийти Гачева. Видите, вон там стоит коврик? Его мне Луис подарил. Возьмите и повесьте вот сюда, на эту стену». Я послушно достала коврик. А Николай Иванович продолжал: «Я вообще индейца этого не люблю. Что Вы так смотрите: все мексиканцы индейцы! Гачевой он голову заморочил. Но мы повесим: она придет, ей будет приятно».

Так учитель умел дарить радость. Каждый раз, вспоминая свой простодушный восторг и его улыбку с хитринкой, чувствую себя маленькой девочкой, в ночь Рождества нашедшей в башмачке у кровати серебряную монету – рукотворное чудо, милую примету родительской любви и заботы...

* * *

Николай Иванович не только учил, он – воспитывал. Его преподавание было в полном смысле слова *образованием*, творением образа. Уверенной рукой Либан придавал форму юному человеческому материалу, наносил четкий контур на размытые и нестройные очертания наших умов и сердец. Он учил нас тому, что сейчас называется маловыразительным сочетанием «культура общения». Общения профессионального, сопряженного с умением вести дискуссию,

вежливо, но компетентно отвечать на вопросы, даже самые провокативные. Общения человеческого, немыслимого без доверия, без нелицемерного внимания к личности другого, без уважения к чужому «я». Как бы между прочим учил и этикету – в духе традиций века, который мы изучали.

Каждое телефонное прощание заканчивалось словами:

– Целую Вашу руку.

Меня, привыкшую исключительно к норме товарищеских рукопожатий, это обращение повергало в священный трепет.

Помню, как-то летом, после окончания университета, я пыталась подарить учителю розы. Многое значил для меня этот букет. Чудесные живые цветы были даром восхищения и любви, символом благодарности за годы, проведенные в лермонтовском семинаре, и – мольбой о прощении: после четвертого курса, не совладав с Короленко, я ушла писать диплом к К.И. Тюткину. Увы, букет принят не был. Я расплакалась, так было обидно. А Николай Иванович мягко сказал:

– Ну, что Вы плачете? Я не принимаю цветы от женщин.

Всем – внешним обликом, манерой говорить и держаться – он был из того, безвозвратно ушедшего времени, в котором рождалась и крепла, достигая своего творческого акме, русская литература. Чем-то неуловимо напоминал Тютчева – впечатление усиливали яркие «mots», порой вспыхивавшие в его живой, умной речи. Увы, лишь некоторые из них остались в памяти:

Один из учеников Николая Ивановича решил выяснить его партийные убеждения:

Николай Иванович, а к какой партии Вы принадлежите?

– К партии КВД.

– Что это за партия – какая-то современная разновидность кадетов?

– Ах, вы не знаете? Ка – вз – дэ: куда ветер дует...

Николай Иванович в больнице после инфаркта. Каждый день – сплошные визиты. Коллеги с факультета, знакомые, ученики. Прибегает и наша семинарская стайка. Разговор идет обо всем – Лермонтов, Лесков, Чернышевский. Николай Иванович делится воспоминаниями об ИФЛИ, рассказывает о своей жизни. Мы забываем о времени и преступно гоним от себя мысль о том, что учителю переутомляться нельзя. Внезапно Либан достает сигарету.

– Николай Иванович, Вам же курить запрещено!

– Мне главврач разрешил. Я ему сказал: «Я пятьдесят лет курил. Если Вы сейчас лишите меня сигареты – я просто умру. А если разрешите – то точно выживу».

Эпизод, повторявшийся раза два или три: стоит мне заговорить о славянофилах и Тютчеве и начать рассуждать о высоких историсофских материях – Николай Иванович кладет ногу на ногу и с милыми неточностями цитирует эпиграмму М.А. Дмитриева, обращенную к моему любимому Ивану Аксакову:

Какое счастье Ване –
Женат на царской няне.
Какая ж ему честь –
Сам Тютчев ему тесть.
Какую дребедень
Печатать будет «День»!

Я хохочу и умеряю пафос своих речей: не любит Николай Иванович всяческих выпендренностей...

* * *

Еще в наши первые университетские годы Николай Иванович так учил запоминать свой телефон:

– 203-27-95. 203 – это, ничего не поделаешь, надо запомнить. А дальше все просто: 27 – возраст Лермонтова. 95 – до этих лет я хотел бы дожить.

Он дожил до 97-ми...

Тот июньский визит, где меня ждал сюрприз с ковриком, оказался последним. Мы с Ирой Беляевой долго сидели тогда у Николая Ивановича. Вспоминали лермонтовский семинар. Говорили обо всем – об университете, о жизни, о современности, о книге лекций по истории русской литературы, которую мы так любили.

И вдруг Николай Иванович спросил – спокойно и просто:

– Вы придете ко мне на отпевание?

Для меня вопрос прозвучал как гром среди ясного неба (Иру, как оказалось, он уже спрашивал об этом раньше). Внутренне холодея, я начала лепетать:

– Николай Иванович, какое может быть отпевание? Зачем Вы об этом думаете! Ведь столько еще нужно сделать. Вы же сами говорили о продолжении Вашей книги. Вспомните «Песенку фронтového шофера»: «А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела...»

Николай Иванович смеется – но задает вопрос снова:

– Так вы придете?

Хватаюсь за последнюю соломинку – только бы отвлечь его от мысли о смерти:

– Николай Иванович, хотите, расскажу грузинский анекдот. Старейшему в роде исполняется 100 лет, собираются родственники и гости, тамада поднимает бокал: «Да-ра-гой, желаю тебе дожить да

120 лет!”, а юбиляр хмурит брови: “Зачем полагаешь границы благодати и воле Господней?”

Либан снова смеется и снова спрашивает:

– Придете на отпевание?

Сдерживая слезы, сквозь комок, застревающий в горле, отвечаю:

– Конечно, приду!

Воцаряется пауза. В комнате тихо. Еле слышен ход часов и шелест листы за окном.

Николай Иванович поднимает голову:

– Если бы Вы знали, как хочется жить...

Его нет уже три года. Но все чаще рождается во мне ощущение, что он любит и помнит нас и оттуда, из Вечности. Что «цепь любви», связующая живых и умерших, о которой так глубоко и проникновенно писал Достоевский, крепка и нерушима. И что ничего не страшно нам здесь, на земле, ибо там предстоит пред Богом за нас наш учитель.

Юрий Суходольский

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛИБАН

Ведь филологи – это совершенно особая порода людей. То, что недоступно другому, то доступно нам, потому что филологическое мышление есть не что иное, как перекресток философских и естественнонаучных знаний, не выразившихся в формулах. Каждый филолог – врач, каждый – инженер, каждый – художник. Только он обладает всеми этими дарованиями.

Н.И. Либан. «Лекции по истории русской литературы»

Николай Иванович Либан занимает особое место в отечественной культуре, науке, истории. Он часто повторял строки поэта о беззаконной комете «в кругу расчисленном светил», останавливаясь на тех уникальных личностях в истории нашей словесности, которые особенно привлекали его научное внимание. Филология, возможно, одна из самых личностных гуманитарных дисциплин, потому что сфера научного поиска здесь во многом определяется характером и верованиями самого исследователя. В этой статье я попробую в самых сжатых формах определить основные черты мировоззрения Николая Ивановича Либана.

В понятии «история литературы» слово «история» для Либана стояло первым не случайно. Литературный процесс как «вещь в себе» его не интересовал совершенно. Так, «История государства российского» Карамзина имела для него огромное значение прежде всего потому, что появление этого труда являлось мощнейшим аргументом в пользу его позиции в старом споре о принадлежности русского народа к народам историческим, ибо, как писал он, «до тех пор пока нет истории, до тех пор нет осознания народом себя как исторической силы».

Национальная идея ему была ясна: «русский человек всё может». Я видел его серьезно рассерженным только один раз в жизни: когда позволил себе усомниться в наших исторических перспективах. Ровесник двадцатого века, он резко оборвал меня: «Если бы вы видели то, что видел в своей жизни я, вы бы не сказали такой глупости. Народ, переживший такое столетие, выйдет победителем из любых испытаний!»

«История, – говорил он, – машина, которая движется независимо, которой мы почти не можем управлять, но движение которой нужно все время понимать». Вот это и есть одна из основных задач той филологии, представителем которой явился Николай Иванович Либан. Его метод познания всегда находился на стыке филологии, истории и социологии. Задолго до возникновения самого понятия «культурология» он умел в лаконичных и точных формулировках выражать сложнейшие социокультурные процессы, определяющие лицо целых эпох.

Научные личности такого масштаба не могут явиться ниоткуда. Николай Либан совершенно определенно относил себя к социологической школе, полагая, что кличка «вульгарная» была ей присвоена совершенно напрасно, во всяком случае – крайне поспешно.

Начало XX века во многих областях культуры отмечено попыткой систематизировать несистематизируемое. Чем же соблазнилась социологическая школа? Она соблазнилась простотой. Именно Николай Иванович Либан избавил ее от этого первородного греха, хотя он всегда полагал, что «марксизм – очень интересная, глубокая и умная теория, сейчас не только забытая, но и как будто не существовавшая».

Литература для социологической школы замечательна прежде всего тем, что как животное чувствительно к землетрясению, так писатель чувствителен к социальным и, следовательно, историческим процессам. «Вот кажется, – пишет Либан, – что литература, журналистика, филология – вещь пустая. Но так кажется до тех пор, пока не увидишь, что через эти-то каналы и создается понимание всех процессов. Заниматься XVIII веком интересно, но не самим, а в перспективе: когда этот век уходит в XIX, в XX и где-то проглядывает наше время, когда все начала связаны и концов еще не видно». Фундаментальное значение филологии Николай Иванович Либан видел в том, что она важнейшая часть того механизма, который на исторических перекрестках позволяет дать правильную оценку перспектив тех или иных путей развития нации.

Роль отдельной личности в истории вообще и в филологии в частности Либан ценил чрезвычайно высоко. Эта отдельная личность, часто опережавшая свое время и потому обреченная, но вдохновляемая чувством долга, уважением к человеческому достоинству и лю-

бовью к родной земле, была в центре его научного и человеческого внимания.

Пожалуй, самым важным для понимания основ его мировоззрения я бы назвал понятие филологического открытия, ярчайшим примером которого он считал создание силлабо-тонической системы стихосложения Тредьяковским. Он сравнивает это событие с запуском первого спутника Земли, а значит, с началом космической эры. Принципиально важно, что при всей диалектике великих открытий, истинного творца которых иногда так трудно установить даже в естественнонаучных дисциплинах, для Либана за таким филологическим открытием всегда стоит судьба отдельного человека, его драма, а часто и трагедия.

С понятием филологического открытия для Либана тесно связано и другое понятие – филологического подвига. Тредьяковский едет в разные университеты Европы, чтобы изучить стихотворные системы. Сумароков считает своим гражданским долгом насытить русскую литературу теми жанрами, которые в ней до сих пор отсутствовали. Это ли не подвиг? – спрашивает нас Либан.

Не случайно один из его курсов называется «Становление личности в русской литературе XVIII века». Потому что вне человека, с его личным моральным выбором и жизненной инициативой, конечно, немислим ни филологический подвиг, ни филологическое открытие. Немислим и исторический прогресс, в который он, в отличие от многих, верил глубоко.

«Россия – та страна, которая воевала людьми, создавала людьми, строила людьми. Но человек, будучи в центре внимания, в сущности говоря, очень мало ценился», – пишет он.

Николай Иванович Екатерину Великую не любил. Он не мог простить ей Новикова – это крупнейшее явление частной инициативы на ниве русского просвещения. Не меньшее негодование вызывала у него участь Радищева. Ужасом и сарказмом веяло от его слов об обрuche Шешковского и взятке, которая спасла Радищева от пытки. Ужасна судьба Княжнина. Азиатское презрение к достоинству личности, впитанное на русской земле немкой из провинциального княжества, – вот что приводило Либана в негодование.

В связи с этим вспоминаются его слова о том, что все попытки увидеть в татарском иге пользу, мягко говоря, скудоумны. «Татарское иго, – утверждает он, не было плодотворным для национального характера... Все рассуждения о пользе восточного влияния, что потом даст дурные всходы евроазиатских учений, исторически не подтвердились».

Но он никогда не полагал, что России нечего противопоставить этой тенденции всеподавляющей государственности. Вот как он оценивал переписку Курбского с Грозным и тот исторический конфликт,

который выразился в этом противостоянии: «Они, в сущности говоря, люди различных полюсов, различных цивилизаций, но люди одной земли и – не будет преувеличением, если скажем – одной крови. Но здесь столкнулись деспотизм и личное достоинство, и так скрестились их мечи, что нужен был какой-то большой исторический перелом, чтобы разрешился этот исторический конфликт. Перелома не произошло, историки увидели в князе только эмигранта. А респондент понял его поступок как измену отечеству». Знакомый, не правда ли, сценарий?

Возможность этого исторического перелома Либан видел в эпохе Смутного времени, которое он понимал как столкновение новых идей с догматическим средневековым мышлением. Это столкновение он увидел в чрезвычайно важной для него личности князя Хворостинина – этого вольнодумца периода Московской Руси. «Тень, слабая тень осталась от Хворостинина, и заманчиво разглядеть эту тень, чтобы понять человека, а через него – век, который волнует нас сегодня», – пишет Либан. «Рационализм князя – это стремление человеческого сознания расширить свои границы через познание мира и человека, то, что я назвал бы гуманистическим рационализмом... Ему следовало бы родиться где-нибудь в XVIII веке. Но кто знает, если бы не такие лишние люди, не было бы и самого XVIII века в нашей истории. Хворостинин был предтечей Возрождения, которому не суждено было сложиться в русской жизни, в русской истории». Именно здесь Николай Иванович Либан видел одну из самых болевых точек русской цивилизации. Энергии нации на русское Возрождение так и не хватило.

Лесков писал, что более всего историю делают одинокие пошехонцы, которые, кажется, стоят далеко от торных путей ее. Это те, вторит ему Либан, «кто опережает свой век, мечтатели, фантазеры, романтики, желающие понять суть грядущих перемен. Это люди редкие. И всегда становятся бельмом на глазу современникам».

Не дать сорной траве забвения скрыть от потомков судьбы и значение таких людей Николай Иванович Либан считал делом своей филологической чести. Ф. Ушаков, Панин, Лесков, Хворостинин – в трудах его встает галерея русских праведников, жизнь которых в России часто является вариацией судьбы одного из персонажей любимого им Лескова, который, сойдя с ума, все сидел на печи и повторял: «Куда деваться? Некуда деваться!»

Но Либан был далек от исторического пессимизма. «Завещание Никиты Панина» Фонвизина он называл «программой будущей России, свободной, великой, просвещенной». Он верил в такую Россию и понимал себя как работника русской жизни. Отсюда та широта мысли, которая потрясает в него, теперь уже можно сказать, легендарных курсах.

Как-то Николай Иванович заметил: «Историческая наука за последние 50 лет страшно деградировала: утрачена главная идея истории – идея государственности». Вот эта идея государственности никогда не утрачивала своего значения для самого Либана.

Вот он рассказывает о литературе петровского времени, и перед слушателем неожиданно встают гидросооружения первого русского императора, рассказ о которых – своеобразная историко-литературная метафора, позволяющая постичь самый характер этой эпохи. И здесь же звучит возмущенный голос Либана: а теперь лес гонят мулём! Засоряются реки, гибнет лес! Петр бы этого не допустил...

На лекции он свободно переходил от московских масонских лож к обсуждению технической возможности бессмертия, от ощущений Карамзина в Соборе святого Павла к концерту органиста Александра Гедике и трубача Сергея Еремина! Эта широта охвата была не только следствием его могучей поэтической природы. Либан отчетливо понимал: цивилизация и культура отнюдь не одно и то же. «Цивилизация – это комфорт, внешнее устройство и даже – роскошь, а культура – создание внутреннего мира человека, созидание личности». Именно этой задаче, и прежде всего ей, была подчинена вся его деятельность.

Свой гражданский долг, свое служение он видел прежде всего в педагогике, понимаемой им широко. Он любил цитировать слова Бисмарка: войну выиграл прусский учитель. И здесь я позволю себе остановиться на основных принципах, которые лежали в основе его педагогической деятельности.

«Человек по природе своей, утверждает Либан, – художник в широком смысле слова. Это ученый, это артист, это врач, это архитектор. Направить его на эту стезю – вот самое трудное в педагогике!»

«Научить всему нельзя. И не надо. Надо только научить человека ко всему прикасаться и все понимать. То есть если ему что-то нужно, он должен уметь это найти. Вот этому умению находить и надо учить». Участники его семинаров прекрасно знают, что именно так Николай Иванович Либан строил работу в них и добивался потрясающих результатов, пробуждая к творчеству даже самые сонные и бескрылые натуры.

И именно поэтому он был убежден в необходимости университетского образования всякому, кто хочет быть серьезным работником на этом великом поприще – русского слова. Ведь особенность университетского образования в том и состоит, что оно подразумевает прежде всего самостоятельность в приобретении знаний.

Но не только многие поколения студентов Московского университета обязаны ему первыми шагами на научном поприще, которое начиналось для них со слов Либана «Уметь писать – это и значит уметь думать!» Лишенный возможности быть официальным научным

руководителем, он практически им являлся не только для будущих кандидатов, но и для докторов наук.

Ему была свойственна необыкновенная способность одним предложением осветить перспективу темы и указать верное направление научного поиска, которое никогда не оказывалось бесплодным. В этом смысле он был лишен всякого самолюбия и никогда ничего не прибегал для себя лично.

Целые пласты литературы, которые долго оставались «за бортом» филологической науки, обязаны своей разработкой ученикам, вышедшим из его семинаров. Значение этой стороны его деятельности просто сложно переоценить.

Когда речь идет о жизни такого масштаба, всегда возникает вопрос: где черпал человек силы, каким был внутренний строй его души, а значит, в той или иной мере мы касаемся вопросов религиозных.

«Мы живем в то время, – утверждал Либан, – когда не идет речи ни о материализме, ни об идеализме, потому что современная мысль боится как того, так и другого. Материализма боятся потому, что он бесперспективен, идеализма потому, что он внеисторичен и внеучен». Иначе говоря, мы живем в эпоху обостренного конфликта между верой и разумом.

У Либана есть и такие строки: «Печально заканчивал свою жизнь Фонвизин. Он каялся в своих юношеских атеистических заблуждениях. Это покаяние души – самое тяжелое, что выпадает на долю мыслящего человека...» Это очень личное свидетельство.

Однажды на пасхальной неделе я застал его в знаменитом кресле, погруженным в какие-то, очевидно, очень важные для него мысли. За окном полыхал апрельский вечер, по Бутиковскому переулку разливался звон далеких колоколов. Он прервал свое молчание неожиданно: «И все-таки я очень религиозный человек... Я чрезвычайно остро чувствую праздники!» Как мыслящий человек, он не мог не относиться критически к православной церкви и как-то заметил, что уже в те времена, когда он был посошником у патриарха Тихона, «в ней уже не было ничего живого». Но ему был глубоко чужд Хамов грех, и, как мне кажется, он всегда готов был прикрыть наготу православия, любя и уважая эту религию своих предков.

И думается мне, в историческом споре между «стяжателями» и «нестяжателями» он был на стороне последних. «Надо отметить, – пишет он, – что при всем своем несметном богатстве Волоколамский монастырь никогда не имел популярности: должно быть, церковь была недомолена». Иосифляне, по его мнению, положили начало разрушительным компромиссам с властью.

Мы знаем, что русское масонство входило в круг научных интересов Николая Ивановича Либана. Как и ко многим явлениям в нашей культуре, он и к этому относился критически, хорошо понимая, что в

этом движении преходящее, а что – вечное. «Идея внутреннего человека, идея совершенствования и слияния с природой – это идея, которая не изжила себя», – полагал он.

В творчестве Лескова можно встретиться с прекрасными чудачками, «зачитавшимися Библии». Либан был из этой породы лесковских праведников, которые на вопрос о своей вере отвечали: я из прихода Творца-вседержителя.

Очертив в самых общих чертах научных облик Николая Ивановича и характер его религиозности, я считаю уместным сказать несколько слов о чертах его человеческой личности.

Цитируя знаменитые слова Пушкина о том, что русские люди «ленивы и нелюбопытны», Либан замечал: «С первым еще можно согласиться, но со вторым – нет. Ведь русский человек по своей природе бродяга...»

Ромен Роллан как-то сказал: «Только тот может любить свою землю, кто исцеловал ее своими ногами. То есть только тот, кто странствовал по ней, кто познал физическую близость земли и своего тела». Либан именно исцеловал родную землю своими ногами – от алтайских чумов ойротов до изб Олонецкого края. В нем всегда оставались черты странника, путешественника, жадного к географическим просторам и уважительного к людям, их заселяющим. Уважение к человеку вообще, независимо от степени его развития и тем более социального статуса, было в высшей степени присуще ему.

Это рыцарская добродетель, а он и был рыцарем, только не рыцарем поля, а рыцарем духа. Он вел свою родословную от Карамзина, который, по его мнению, сам целый период русского самосознания, потому что первым в России заговорил о внутренней жизни человека.

Когда-то просвещенные французы прозвали И.С. Тургенева «белым негром». «Его гуманизм и всечеловечность, – пишет Либан, – кажутся французам смешными». Эта дряхлость сознания в лице постмодернистских ламентаций дожила и до наших дней. Либану и была глубоко чужда эта дряхлость именно в силу того, что она не совместима с тем действенным гуманизмом, который составлял основу его характера!

«И море, и Гомер – все движется любовью...» Это чувство Либан понимал не просто как бесценный, а абсолютно необходимый опыт для любой человеческой личности. «Крайне важно, чтобы человек пережил это чувство, это состояние на грани болезни и счастья – иначе он так и останется неполноценным». Либан не просто познал это чувство. Мне кажется, что все разновидности его сосуществовали в нем одновременно и, собственно, создавали основу его натуры.

Но там, где есть любовь, там всегда есть и жертва. Эта тема жертвы всегда волновала его как человека, возможно потому, что

своеобразной жертвой была вся его жизнь. «В жертве есть что-то таинственно-прекрасное. Жертва – это то, что необъяснимо». Необъяснима и жизнь Николая Ивановича Либана.

Для него уже наступила история. И историческое значение этого человека выявляется со всей простотой, глубиной и неотразимостью, которые свойственны его мысли, уникальной личности.

Думая о месте Либана в русской культуре, я бы поставил его имя в одном ряду с Новиковым, Лесковым, Чичериным и Кони – этими русскими европейцами, утверждавшими в России идеал свободной и просвещенной личности.

«Люди, о которых мы говорим, принадлежат разным мирам и разным поколениям. Объединяет их то, что многие из них были в каком-то смысле первопроходцами, проторившими дорогу новым поколениям. Свет этих людей озаряет будущее». Так Николай Иванович завершил свой курс «Литературы древней Руси». Здесь останавливаюсь и я...

КОММЕНТАРИИ

I

О ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Литература Древней Руси. М., 2000. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

«Повесть временных лет»

С. 11 – «*Повесть временных лет*» – о памятнике см. также: *Зиборов В.К.* Русское летописание XI–XVIII веков. СПб., 2002; *Лихачев Д.С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947; *Насонов А.Н.* История русского летописания: XI – начало XVIII века: Очерки и исследования. М., 1969; *Пауткин А.А.* Беседы с летописцем. Поэтика раннего русского летописания. М., 2002; *Приселков М.Д.* История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940 (переизд.: СПб., 1996); *Рыбаков Б.А.* Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. М.; Л., 1963.

С. 12 – «*Правда Ярослава Мудрого*» – «Русская Правда», свод древнерусского права, регламентирующий правовые обычаи X–XI вв. В составе «Русской Правды» выделяют в качестве отдельных частей «Правду Ярослава Мудрого», «Правду Ярославичей» (сыновей Ярослава), Устав Владимира Мономаха и др.

С. 15 – ...книгу *Алексея Александровича Шахматова* «*Повесть временных лет*» – в настоящее время фундаментальный труд А.А. Шахматова по истории начального русского летописания переиздан, см.: *Шахматов А.А.* Разыскания о русских летописях. М., 2001.

«Слово о полку Игореве»

С. 16 – «*Слово о полку Игореве*» – о памятнике см. также: Энциклопедия «Слова о полку Игореве». В 5 т. СПб., 1995; *Гаспаров Б.М.* Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000; *Зализняк А.А.* «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. 2-е изд. М., 2007; *Лихачев Д.С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд. Л., 1985; *Рыбаков Б.А.* «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971; *Рыбаков Б.А.* Петр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 1991.

...сборник, в котором был помещен «*Хронограф*» – по мнению исследователей, сборник, обнаруженный А.И. Мусиным-Пушкиным, представлял собой конволют, объединяющий под одним переплетом раз-

новременные части. Одна из них датируется XVII в., т. к. включала в себя «Хронограф Распространенной редакции 1617 г.». Вторая – XVI в., в ней читалась Новгородская I летопись младшего извода, первая редакция «Сказания об Индийском царстве», древнейшая редакция «Повести об Акире Премудром», «Слово о полку Игореве» и первая редакция «Девгениева деяния». Анализируя этот состав, исследователи неоднократно отмечали, что «Слово» находится в окружении очень редких в русской письменности памятников или редакций.

С. 21 – *Я читал его книгу в рукописи* – исследование А.А. Зимина в настоящее время опубликовано и доступно современным исследователям, см.: *Зимин А.А. «Слово о полку Игореве»*. СПб., 2006.

С. 23 – *...они совместно делали замечательный комментарий к «Слову...»* – см: Слово о полку Игореве / Ред. древнерус. текста и перевод С. Шамбинаго и В. Ржиги. Переводы С. Шервинского и Г. Шторма. Статьи и коммент. В. Ржиги и С. Шамбинаго. Ред. и вступ. ст. В. Невского. М.; Л., 1934.

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Поговорим о литературе XVIII века

Публиковалось в интервью Е.С. Федоровой «Пять разговоров с Либаном», см., напр.: *Время, оставшееся с нами: Филологический факультет в 1953–1958 гг.: Воспоминания выпускников*. М., 2004.

Из основных работ по истории русской литературы XVIII века см.: *Антюхов А.В. Русская мемуаристика XVIII – начала XIX века*. М., 1999; *Бухаркин П.Е. Православная церковь и русская литература в XVIII–XIX веках: Проблемы культурного диалога*. СПб., 1996; *Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века*. М., 1983; *Гончарова О.М. Власть традиции и «новая Россия» в литературном сознании второй половины XVIII века*. СПб., 2004; *Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры*. М., 2002; *Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века*. М., 1996; *Знаменитые русские масоны*. М., 1991; *Иванов В.Ф. Русская интеллигенция и масонство от Петра I до наших дней*. М., 2001; *Клейн И. Пути культурного импорта: Труды по русской литературе XVIII века*. М., 2005; *Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма: Эстетические и художественные искания*. Л., 1994; *Кулакова Л.И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века*. Л., 1968; *Курилов А.С. Литературоведение в России XVIII века*. М., 1981; *Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: XVIII – начало XIX века*. СПб., 1994; *Минералов Ю.И. Теория художественной словесности*. М., 1999; *Москвичева Г.В. Русский классицизм*. М., 1986; *Новиков В.И. Масонство и русская культура*. М., 1998; *Орлов П.А. Русский сентиментализм*. М., 1977; *Рак В.Д. Статьи о литературе XVIII века*. СПб., 2008; *Русская литература как форма национального самосознания: XVIII век*. М., 2005; *Русский и западноевропейский классицизм: Проза*. М., 1982; *Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма*. М., 1981; *Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической*

мысли XVIII – начала XIX века. СПб., 2004; *Тартаковский А.Г.* Русская меуаристика XVIII – первой половины XIX века. М., 1991.

С. 26 – *Тредиаковский первый открыл русское стихосложение* – см. трактат В.К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению стихов русских» (1735), с которого начинается реформа русского стихосложения и переход от силлабической поэзии к силлабо-тонической. Подробнее: *Гаспаров М.Л.* Очерк истории русского стиха: Метрика: Ритмика: Рифма: Строфика. М., 1984 (2-е изд. М., 2002).

С. 31 – *Была другая, которую тоже поймали и тоже заключили, но не в тюрьму, а в монастырь* – существует предание, зафиксированное в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, о княжне Августе Тимофеевне Таракановой (ок. 1744–1810), рожденной от морганатического брака императрицы Елизаветы Петровны с Алексеем Разумовским. «Место рождения её неизвестно. Неизвестно также, когда она была отправлена за границу, где получила воспитание и откуда силой в 1785 г. была привезена по повелению императрицы Екатерины II в московский Ивановский монастырь, который по указу 1761 г. предназначался «для призрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей». Постриженная под именем Досифеи, она прожила здесь до самой смерти (1810) в полнейшем уединении (даже церковное богослужение совершалось исключительно для нее одной), занимаясь благотворительностью, чтением «душеполезных» книг и рукоделием. Последние годы провела в безмолвии и считалась «праведной». Росту была среднего, худощава и редкой красоты. Только после смерти Екатерины её стали посещать митрополит Платон и некоторые знатные лица. На похоронах ее, при большом стечении народа, присутствовали родственники Разумовских и очень многие вельможи. Похоронена в Новоспасском монастыре, в усыпальнице бояр Романовых» (см.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона).

С. 33 – *Царевичу младому Хлору...* – цитата из знаменитой оды Г.Р. Державина «Фелица» (1782), в которой поэт использует основные образы из дидактического сочинения Екатерины II «Сказка о царевиче Хлоре» (1781).

Николай Новиков

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

О творчестве Н.И. Новикова см. также: *Берков П.Н.* История русской журналистики XVIII века. Л., 1977; *Западов А.В.* Новиков. М., 1968; *Западов А.В.* Русская журналистика XVIII века. М., 1964; *Мартынов И.Ф.* Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1980.

С. 35 – *Уложенная комиссия* – комиссия по созданию нового Уложения (свода законов Российской империи) была создана в 1767 г. и состояла из выборных представителей всех сословий тогдашнего государства, за исключением крепостных крестьян. К комиссии императрица об-

ратилась с собственноручно написанным «Наказом», содержащим либеральную программу ее царствования. Но законодательная деятельность довольно быстро зашла в тупик, и в 1768 г. работа была сначала свернута, а потом и полностью завершилась в связи с роспуском комиссии.

Александр Радищев

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

О творчестве А.Н. Радищева см. также: *Бегунов Ю.К.* «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. М., 1983; *Кулакова Л.И., Западов В.А.* А.Н. Радищев: «Путешествие из Петербурга в Москву»: Комментарий. Л., 1974; *Кулакова Л.И.* Композиция «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. М., 1972; *Подгородников М.И.* Нам вольность первый прорицал: Страницы жизни. М., 1984; *Старцев А.И.* Радищев: Годы испытаний. 2-е изд. М., 1990; *Шторм Г.П.* Потаенный Радищев: Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву». 3-е изд. М., 1974.

С. 46 – *М.М. Щербатов* только ходил около этой идеи и решал ее однопланово, предупреждая о гибели сословия, если оно не исправится – см. трактат М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России» (1786 или 1787); *Щербатов М.М., Радищев А.Н.* «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева. М., 1983.

Гавриил Державин

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

О творчестве Г.Р. Державина см. также: *Грот Я.К.* Жизнь Державина. М., 1997; *Западов А.В.* Гаврила Романович Державин. М.; Л., 1965; *Западов А.В.* Поэты XVIII века: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин: Литературные очерки. М., 1979; *Серман И.З.* Державин. Л., 1967.

С. 52 – *Державин перевел псалом «Властителям и судиям»* – ода Г.Р. Державина «Властителям и судиям» (1780) является вольным переложением 81-го псалма («Бог ста в сонме богов, посреде же боги рассудит. Доколе судите неправду, и лица грешников приемлете. Судите сиру и убогу, смиренна и нища оправдайте...»).

Андрей Болотов

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

Об А.Т. Болотове см. также: *Любченко О.Н.* Андрей Тимофеевич Болотов. Тула, 1988.

Мемуары А.Т. Болотова см.: *Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков.* В 3 т. М., 1993.

С. 54 – ...журнал «*Экономический магазин*» – издавался в 1780–1789 гг. и являлся своеобразным продолжением ранее издававшегося Болотовым журнала «*Сельский житель*» (1778–1779).

С. 58 – ...огромное имение в Тульской губернии – имение графа Бобринского, управляющим которого был А.Т. Болотов, находится в г. Богородицке Тульской обл.

С. 59 – *Русский Мирабо старого Гаврилу...* – неточная цитата из стихотворения Дениса Давыдова «*Современная песня*» (1836): «А глядишь: наш Мирабо / Старого Гаврилу / За измятое жабо / Хлещет в ус да в рыло»

Екатерина Дашкова

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

Изд. соч. Е.Р. Дашковой см.: *Дашкова Е.Р.* Литературные сочинения. М., 1990; *Записки княгини Е.Р. Дашковой.* М., 1990.

С. 63 – *При Дашковой Академия выпустила «Словарь Академии Российской»* – в 1783 г. Екатериной II и Е.Р. Дашковой была учреждена Российская академия, важнейшей задачей которой стало изучение русского языка. Главным научным предприятием Российской академии было издание толкового словаря русского языка. Словарь представляет собой результат коллективного труда; самой Дашковой принадлежит собирание слов на буквы Ц, Ш, Щ, дополнения ко многим другим буквам, а также объяснения значений многих слов (преимущественно обозначающих нравственные качества). 29 ноября 1783 года на заседании Российской Академии наук Дашкова предложила использовать печатную букву «Ё».

Екатерина II

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

О Екатерине II см. также: *Екатерина II и ее окружение.* М., 1996; *Павленко Н.И.* Екатерина Великая. М., 1999; *Титков Е.П.* Образовательная политика Екатерины Великой. М., 1999.

Соч. Екатерины II см.: *Екатерина II. Сочинения* / Сост. В.К. Былинин и М.П. Одесский. М., 1990; *Сочинения Екатерины II* / Сост. О.Н. Михайлов. М., 1990; *Записки императрицы Екатерины II.* М., 1990.

С. 64 – ...книгу, подготовленную <...> В.С. Лопатиным, «*Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка*» – см.: *Екатерина Вторая и Г.А. Потемкин: Личная переписка 1769–1791* / Подгот. В.С. Лопатин. М., 1997.

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. Переиздано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

О творчестве Н.М. Карамзина см. также: *Канунова Ф.З.* Из истории русской повести: Историко-литературное значение повестей Н.М. Карамзина. Томск, 1967; *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987; *Осетров Е.И.* Три жизни Карамзина. М., 1985; *Погодин М.П.* Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: В 2 т. М., 1966; *Смирнов А.Ф.* Николай Михайлович Карамзин. М., 2006; *Топоров В.Н.* «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995; *Эйдельман Н.Я.* Последний летописец. М., 1983 (переизд.: М., 2004).

С. 81 – ...прекрасную монографию В. Сиповского – Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899.

С. 83 – «Описание земли Камчатской» С.П. Крашенинникова – главный труд жизни ученого, географа и этнографа С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки», созданный на основе его собственных экспедиционных материалов. Первое издание вышло в год смерти исследователя (1755).

С. 86 – Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» – труд П.Я. Чаадаева «Апология сумасшедшего» (1837) остался неизданным при жизни автора. Из современных изданий см., напр.: *Чаадаев П.Я.* Апология сумасшедшего. СПб., 2004.

С. 87 – ...книжку Орлова – учебник П.А. Орлова «История русской литературы XVIII века» (издан посмертно в 1991 г.).

С. 88 – «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» – цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Кипренскому» (1827).

С. 89 – «Критика чистого разума» – работа И. Канта (1781), заложившая основы так наз. «критической философии», полемизирующей с догматической умозрительной метафизикой.

«Пролегомены» – работа И. Канта «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука» (1783), разъясняющая основные положения появившейся на два года раньше «Критики чистого разума» и отвечающая на критические рецензии в адрес одного из основополагающих трудов философа.

С. 91 – «Детское чтение» – «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789), первый русский журнал для детей, издавался Н.И. Новиковым как приложение к «Московским ведомостям». В издании журнала Н.М. Карамзин принимал участие как редактор и переводчик.

С. 96 – ...книга Руссо «Общественный договор» – трактат Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762).

С. 110 – ...французского историка Левека, который написал «Российскую историю» – труд французского историка Пьера-Шарля Левека «Российская история» (Levesque P. Histoire de Russie. Vol. 1–5. Paris, 1782).

Впоследствии труд трижды переиздавался на французском языке в 1783, 1800 и 1812 г., четыре раза на итальянском. Попытка русского издания завершилась выходом в свет первого тома. Материал для этого сочинения ученый собрал в Петербурге, где провел семь лет в качестве педагога. Он преподавал французский язык и логику в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе и историю и географию в Академии художеств. Ученые отмечают, что до выхода в свет «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина в дворянских семьях историю отечества изучали преимущественно по книге П.-Ш. Лёвека.

Одному Татищеву удалось начать писать историю России – «История Российская» В.Н. Татищева была опубликована по рукописи Г.Ф. Миллером в 1760–1780-х гг. Татищев открыл для русской науки такие документальные памятники, как «Русская Правда», «Судебник» Ивана Грозного и др., собрал богатейшие летописные материалы. По форме «История Российская» напоминала летопись, в которой в хронологической последовательности излагались события истории России с древнейших времен до 1577. В науке существует неоднозначное отношение к сочинению Татищева и к проблеме достоверности ряда использованных им источников. Из последних дискуссий на эту тему см.: Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия». М.; Киев, 2005; *Свердлов М.Б.* Василий Никитич Татищев – автор и редактор «Истории Российской», СПб., 2009; *Майоров А.В.* Политико-географические представления В.Н. Татищева и мнимые реалии древнерусской эпохи: по поводу работ А.П. Толочко // *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 2008. № 1.

С. 123 – «И на спокойное око слуги // Взирал испытующим оком» – цитата из баллады А.К. Толстого «Василий Шибанов» (1840-е гг.).

С. 124 – ... «ни самому мню всему миру вместити пишемых книг» – заключительная фраза Евангелия от Иоанна (Ин. 21, 25).

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Василий Жуковский

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

С 1999 г. в издательстве «Языки славянских культур» осуществляется издание Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского. В 20 т. В состав редколлегии вошли: А.С. Янушкевич (главный редактор), И.А. Айзикова, Э.М. Жилякова, Ф.З. Канунова, О.Б. Лебедева, И.А. Поплавская, Н.Е. Разумова, Н.Б. Реморова, Н.В. Серебренников. На сегодняшний день вышли I–IV и XIII–XIV тома.

См. также: *Афанасьев В.В.* Жизнь и лира. М., 1977; *Афанасьев В.В.* «Родного неба милый свет...»: В.А. Жуковский в Туле, Орле и Москве). М., 1980 (2-е изд. М., 1981); *Афанасьев В.В.* Василий Андреевич Жуковский. М., 1986; *Иезуитова Р.В.* Жуковский в Петербурге. Л., 1976; *Лазарев В.Я.* Уроки Василия Жуковского: Очерки о великом русском поэте. М., 1984; *Семенко И.М.* Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975.

С. 134 – ...вывел в карикатурном виде Жуковского под именем «балладника Фиалкина» – речь идет о комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815).

С. 140 – ...книгу А.Н. Веселовского «Поэзия чувства и “сердечно-го воображения”» – монография А.Н. Веселовского «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”» (СПб., 1904).

Александр Пушкин

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

См. также: *Алексеев М.П.* Пушкин: сравнительно-историческое исследование. Л., 1987; *Алексеев М.П.* Пушкин и мировая литература. – Л., 1987; *Бонди С.М.* О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978; *Бочаров С.Г.* О художественных мирах. М., 1985; *Бочаров С.Г.* Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974; *Вацуро В.Э.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994; *Вацуро В.Э.* Пушкинская пора: Сб. статей. СПб., 2000; *Винокур Г.О.* Полное собрание трудов: Статьи о Пушкине. М., 1999; *Гуковский Г.А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965; *Касаткина В.Н.* Романтическая муза Пушкина. М., 2001; *Красухин Г.Г.* Доверимся Пушкину: Анализ пушкинской поэзии, прозы и драматургии. М., 1999; *Лотман Ю.М.* А.С. Пушкин. Л., 1981; *Непомнящий В.С.* Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987; *Непомнящий В.С.* Поэзия и судьба: Книга о Пушкине. М., 1999; *Проскурин О.А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999; *Скатов Н.Н.* Далекое и близкое. М., 1981; *Скатов Н.Н.* Пушкин: Русский гений. М., 1999; *Сквозников В.Д.* Лирика Пушкина. М., 1975; *Сквозников В.Д.* Пушкин: Историческая мысль поэта. М., 1999; *Смирнов А.А.* Романтическая лирика А.С. Пушкина как художественная целостность. М., 2007; *Сурат И., Бочаров С.* Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002; *Томашевский Б.В.* Пушкин. Работы разных лет. М., 1990; *Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М., 1968; *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд. М., 1988; *Эйдельман Н.Я.* Пушкин: из биографии и творчества. М., 1984.

С. 183 – *Идея «Петриады», зарождавшаяся в XVIII веке и не осуществленная* – история русской литературы XVIII в. знает несколько попыток создания эпической поэмы (высшего жанра в иерархической системе классицизма) о деяниях Петра I, в частности неоконченные поэмы А.Д. Кантемира «Петрида» (начало 1730-х гг.) и М.В. Ломоносова «Петр Великий» (конец 1750 – начало 1760-х гг.).

Михаил Лермонтов

Впервые опубликовано: *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005.

См. также: *Лермонтовская энциклопедия.* М., 1981; *Андроников И.Л.* Лермонтов: Исследования и находки. 2-е изд. М., 1967; *Афанасьев В.В.* М.Ю. Лермонтов. М., 1991; *Герштейн Э.Г.* Судьба Лермонтова. 2-е изд. М., 1986; *Гинзбург Л.* Творческий путь Лермонтова. Л., 1940; *Ко-*

ровин В.И. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. М., 1973; Ломинадзе С.В. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985; Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова, М.; Л., 1964; Мануйлов В.А., Гиллельсон М.И., Вацуро В.Э. М.Ю. Лермонтов. Семинарий. Л., 1960; Михайлова Е. Проза Лермонтова. М., 1957; Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961; Эйхенбаум Б.М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки // Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987.

II

ИСТОРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ

БУРСАК В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА

Данная работа была разделом подготовленной к печати, но не увидевшей света монографии Н.И. Либана, посвященной творчеству Н.Г. Помяловского. Публикуется впервые.

С. 231 – *Труды экспедиции профессора А.В. Арциховского* – имеются в виду новгородские археологические экспедиции, открывшие берестяные грамоты. См. об этом: Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995 (2-е изд. М., 2004); Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. М., 2003; Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969; Янин В.Л. Я послал тебе бересту... М., 1965 (3-е изд. М., 1998);

С. 232 – *...исторических потрясений 1223 года* – в 1223 г. на Калке, небольшой речке в половецкой степи, произошло первое столкновение русских с монголо-татарами, закончившееся поражением русского войска. От битвы на Калке традиционно начинается история монголо-татарского завоевания Руси.

С. 233 – *Для прославления национальной победы 1380 года старорусский книжник не нашел ничего лучшего, как повторить классическую форму книжного эпоса, отлившегося в военно-героическую песню* – имеется в виду «Задонщина» (конец XIV – начало XV веков), которая рассказывает о событиях Куликовской битвы 1380 г., ориентируясь на поэтику и стилистику «Слова о полку Игореве» – памятника XII столетия.

С. 242 – *...изложенных в книге «Манна»* – в 1687 г. Сильвестр Медведев написал полемическую по отношению к позиции Епифания Славинецкого «Книгу о Манне хлеба животного».

ЛЮДИ И КНИГИ 40-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Данная работа является продолжением циклов лекций «Литература Древней Руси», «Становление личности в литературе XVIII века» и лекций по истории литературы первой трети XIX в. Публикуется впервые. К сожалению, Н.И. Либан не успел закончить эту книгу.

С. 262 – *«Мальчишки – самое сильное сословие в России»* – не совсем точная цитата из хроники Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» (1863): «Откуда этот успех? откуда эта победа? Все оттуда, милостивые государи, все из мальчишества. Как бы ни мал был успех, как бы ни нерешительна была победа, но они существуют, они чувству-

ются, источник их не в нас, благонамеренных, а в мальчишестве, в той неустанно-наступательной силе, которую оно представляет. Только «мальчишеству» обязана жизнь движением, подлинным «поступанием» к идеалу». К.И. Тюнькин отмечает, что этот фрагмент был запрещен цензурой. См.: Тюнькин К.И. Салтыков-Щедрин. М., 1989.

С. 268 – «Кто слезы лить способен о великом...» – цитата из поэмы Ап. Григорьева «Venezia la bella, дневник странствующего романтика» (1858).

С. 270 – «Семирамида» – незавершенная работа А.С. Хомякова, опубликованная уже после смерти автора, в которой он стремится к целостному изложению и определению смысла всемирной истории.

С. 272 – «С душой коленапреклоненной...» – цитата из стихотворения А.С. Хомякова «Тебя призвал на брань святую...» (1854).

Н.Г. ПОМЯЛОВСКИЙ «ОЧЕРКИ БУРСЫ»

(МАТЕРИАЛЫ К МОНОГРАФИИ)

Монография, посвященная творчеству Н.Г. Помяловского, была подготовлена Н.И. Либаном в 1950-х гг., но так и не была опубликована. В настоящем издании публикуется впервые.

Также по творчеству Н.Г. Помяловского см.: Десницкий В.А. Н.Г. Помяловский: Очерк жизни и творчества // Избранные статьи по русской литературе XVIII–XIX вв. М.; Л., 1958; Ждановский Н.П. Реализм Помяловского: Вопросы стиля. М., 1960; Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974; Пономарева Р.Д. Жанровые искания русской литературы 60-х гг. XIX века и творчество Н.Г. Помяловского: Учебное пособие. Якутск, 1988; Пономарева Р.Д. К проблеме жанрового своеобразия «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского // Проблемы метода и жанра. Томск, 1983. Вып. 9. С. 206–225; Ямпольский И. Н.Г. Помяловский: Личность и творчество. М., 1968.

С. 281 – ...в специальных работах, посвященных сопоставлению творчества Гоголя и Нарезного – см: Энгельгардт Н.А. Гоголь и романы двадцатых годов // «Исторический вестник». 1902, № 2; Энгельгардт Н.А. История русской литературы XIX столетия. Т. 1. 1800–1850. Критика, роман, поэзия и драма (2-е изд. СПб., 1913).

С. 295 – ...«сляцы его выю» – цитата из ветхозаветной «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова»: «Сляцы выю его в юности и сокруши ребра его, дондеже млад есть, да не когда ожестев не покоритися» (Сир. 30, 12).

...«любя сына, учащай ему раны» – цитата из «Домостроя», древнерусского памятника XVI в.: «Любя сына своего, учащай ему раны... сокруши ему ребро».

...локковскими афоризмами – трактат английского философа-просветителя Джона Локка «Некоторые мысли о воспитании» (1693) оказал чрезвычайно большое влияние на представления об образовании в России XVIII в.

СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ

Впервые опубликовано: Русские Писатели. Биобиблиографический словарь. М., 1971.

Статья о Н.Г. Помяловском дана в сокращении.

ТВОРЧЕСТВО Н.С. ЛЕСКОВА

Спецкурс по творчеству Н.С. Лескова Н.И. Либан читал на филологическом факультете МГУ несколько десятилетий. Лекции спецкурса «Творчество Н.С. Лескова», прочитанного в 1994–1995 и 1995–1996 уч. гг., публикуются по аудиозаписям, сделанным Т. Афанасьевой, и конспектам О. Остроумовой. Отрывки публиковались в журнале «Русская словесность» (1995, № 6). Полностью публикуется впервые.

Наиболее масштабным мероприятием, связанным с изданием произведений Н.С. Лескова, является подготовка и выпуск 30-ти томного Полного собрания сочинений, начатые в 1996 г. Главным редактором издания был Н.И. Либан (1996–2007), с 2007 – И.В. Столярова, в редколлегию вошли крупнейшие специалисты по творчеству Лескова в России: К. Богаевская, А. Горелов, И. Видуэцкая. На сегодняшний день вышло 10 томов (изд-во «Терра», впоследствии «Терра-клуб»).

Также по творчеству Н.С. Лескова см.: *Аннинский Л.А.* Лесковское ожерелье. М., 1982 (2-е изд. М., 1986); В мире Лескова: Сборник статей. М., 1983; *Видуэцкая И.П.* Николай Семенович Лесков. М., 2000; *Горелов А.А.* Н.С. Лесков и народная культура. Л., 1988; *Столярова И.В.* В поисках идеала: творчество Н.С. Лескова. Л., 1978.

С. 357 – *К.И. Чуковский* в книге «Жизнь и творчество Николая Успенского» – работа К.И. Чуковского об Успенском опубликована в: *Чуковский К.И.* Люди и книги. М., 1960 (переизд.: *Чуковский К.И.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 9. М., 2004).

С. 359 – ... в книге *Боголюбова «Новиков и его время» (1916)* – Боголюбов В.А. Новиков и его время. М., 1916. Из последних работ, посвященных масонству, см., напр.: *Серков А. И.* Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001.

С. 360 – ... *библейского общества Татариновой* – Е.Ф. Татаринова была активисткой сектантского движения в Петербурге с 1817 г. Первыми членами ее кружка были ее мать, брат, деверь, надворный советник Мартын Пилецкий-Урбанович, академик и живописец В.Л. Боровиковский и музыкант кадетского корпуса Никита Федоров, по своему пророческому дару игравший такую видную роль в секте, что она называлась иногда Никито-Татариновской. Потом к ней постепенно примкнуло еще человек до 40 разного пола и состояния. Собрания кружка посещал даже министр духовных дел кн. А.Н. Голицын, тоже веривший в прорицания пророков. В 1818 году тайный советник Г.П. Милорадович был сильно обеспокоен тем, что в общество Татариновой был вовлечен его сын. В 1837 году члены кружка были арестованы, дальнейшее существование общества было прекращено, а главные сектанты были сосланы в различные монастыри или отданы под надзор полиции.

С. 388 – ...вариант Юлиании Лазаревской – имеется в виду героиня житийной повести XVII в., в которой изображается благочестие повседневной мирской жизни. «Житие Юлиании Лазаревской» было написано одним из ее сыновей и характеризуется сильным бытовым началом и новаторством в жанровом отношении.

С. 404 – ...у Б.А. Грифцова в «Теории романа» – фундаментальная монография Б.А. Грифцова «Теория романа» (М., 1927) охватывает всю историю жанра от античности до начала XX века.

С. 413 – Когда восседал на троне Михаил, все зависело от его отца, патриарха – отец Михаила Романова – патриарх Филарет (в миру Феодор Никитич Романов-Юрьев; ок. 1553–1633).

С. 418 – ...иконы <...> строгановской работы – имеется в виду русская школа иконописи, сложившаяся в конце XVI в. и получившая свое название по имени богатых купцов-солепромышленников Строгановых.

КРИЗИС ХРИСТИАНСТВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И РУССКОЙ ЖИЗНИ

Впервые опубликовано: Русская литература XIX века и христианство. М., 1997.

III

Рассчитали

Рассказ написан для рукописного журнала «Начало» (1928 г.). Публикуется впервые.

Алтай

Очерки о путешествии на Алтай были опубликованы в географических журналах в 1930-х гг. Публиковались в интервью Е.С. Федоровой «Пять разговоров с Либаном», см., напр.: Время, оставшееся с нами: Филологический факультет в 1953–1958 гг.: Воспоминания выпускников. М., 2004. В сокращении этот очерк входил в лекцию № 6 по истории древнерусской литературы (Либан Н.И. Литература Древней Руси. М., 2000. Переиздано: Либан Н.И. Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. М., 2005).

IV

Человек красивого интеллекта

(о Г.Н. Пospelове)

Текст речи, с которой Н.И. Либан выступил на заседании кафедры теории литературы 18 декабря 1992 года. Запись Л.Я. Давтян, примеч. Л.В. Чернец. Опубликовано в журнале «Русская словесность», № 6, 1994.

С. 473 – «Социология творчества Пушкина» – монография Д.Д. Благого (2-е изд. М., 1931).

С. 475 – ... письмо против А. Синявского и Ю. Даниэля – подробнее об этом см.: Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1989.

«Я часто и благодарно вспоминаю...»

Впервые опубликовано: Островский, Чехов и литературный процесс XIX–XX в. / Сб. статей в память об А.И. Ревякине. М., 2003.

История филологического факультета МГУ за 60 лет

Последняя публичная лекция Н.И. Либана, состоявшаяся в 2002 г. в Пушкинской гостиной на филологическом факультете МГУ. Магнитофонная запись Т. Афанасьевой, видеозапись А. Гачевой. Расшифровка О. Остроумовой.

С. 489 – ...*дочь Айхенвальда* – Наталия Юльевна Шведова (1916–2009), русский филолог, лингвист, академик РАН. Автор фундаментальных трудов в области истории русского литературного языка, русской грамматики, лексикологии, лексикографии, теории грамматики.

С. 491 – ...*работу по истории русской поэмы* – имеется в виду фундаментальная монография А.Н. Соколова «Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX веков» (М., 1955).

Медиевисты

Впервые опубликовано в журнале «Знание – сила» (июль 1984 г.). Запись С. Жемайтиса.

С. 502 – ...*вы хотели услышать о Майкове* – древний род Майковых дал русской литературе нескольких известных авторов. В настоящем фрагменте речь идет о преподобном Ниле Сорском, основоположнике нестяжательства, происходившем из этого рода и в миру имевшем имя Николай.

С. 506 – *Сигизмунда Герберштейна, оставившего знаменитое описание русских нравов и обычаев XVI века* – см.: *Герберштейн Сигизмунд*. Записки о Московии (1549). М., 1988.

Час вне времени

Впервые опубликовано в журнале «Союзное государство» (январь–февраль 2007 г.). Запись В. Лихваря.

С. 517 – ...*статью Фохта о «Демоне» Лермонтова* – см.: *Фохт У.Р.* Лермонтов: Логика творчества. М., 1975.

...*история русской литературы, которую написал для духовных училищ... Дунаев* – см.: *Дунаев М.М.* Православие и русская литература: В 6 т. М., 1996–2000.

«Я родился в Москве»

Впервые опубликовано в сб.: Филологический факультет МГУ 1950–1955. Жизнь юбилейного выпуска (Воспоминания, документы, материалы). – М., 2003. Частично публиковались в интервью «Пять разговоров с Либаном». Запись Ек. Федоровой. В настоящем издании публикуется с изменениями и дополнениями.

С. 522 – *Церковь Неопалимой Купины* – по имени которой назван московский Неопалимовский переулок, была разрушена в 1930-е гг. В самом конце XX века недалеко от этого места, на Пречистенке, была

построена часовня Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при управлении противопожарной службы ГУВД Москвы.

С. 524 – ...*в церкви Покрова в Левшине* – располагалась в Денежном переулке, была разрушена в 1930-е гг.

...*в церкви Успения на Могильцах* – расположена в Большом Властьевском переулке, в 1932 г. была закрыта, а в 1992 г. в ней возобновилось богослужение.

С. 525 – *Шелапутинский институт* – известный московский предприниматель и меценат П.Г. Шелапутин финансировал строительство и участвовал в создании и организации в Москве Педагогического (Учительского) института, впоследствии названного его именем (1911). Институт, куда поступали мужчины с высшим образованием, имел прекрасно оборудованные специальные кабинеты, педагогический музей, издавал «Известия Педагогического института», проводил педагогические съезды.

С. 529–530 – «...*участвовали в журнале “Slavia”*» – речь идет о так наз. «деле славистов», судебном процессе, имевшем место в 1933–1934 гг. и направленном против представителей славистической интеллигенции Москвы и Ленинграда. Обвинялись по этому делу Н.Н. Дурново, А.М. Селищев, В.В. Виноградов, Г.А. Бонч-Осмоловский и др., зарубежными вдохновителями группы назывались Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, М. Фасмер. Всего было осуждено более 70 человек, некоторые из них впоследствии были расстреляны. Реабилитация участников «дела славистов» осуществлялась постепенно с 1956 по 1990 г. «Дело славистов» нанесло существенный урон развитию русской славистики. См. также: *Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М.* «Дело славистов». 30-е годы. М., 1994; *Робинсон М.А., Петровский Д.П.* Н.Н. Дурново и Н.С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ-НКВД) // *Славяноведение*, 1992, № 4. – С. 68–82; *Робинсон М.А.* Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004.

С. 534 – «*“Петербургские трущобы” сейчас экранизируют*» – телесериал «Петербургские тайны» по мотивам романа Вс.В. Крестовского «Петербургские трущобы» был снят в 1994 г.

С. 535 – *Формализм* – термином «формализм» или «формальная школа» в литературоведении принято обозначать группу литературоведов, выделившуюся в 1910-е гг. в Петербурге и Москве и проявившую себя в таких проектах, как «Опояз» (Общество изучения поэтического языка) в Петербурге-Петрограде и МЛК (Московский лингвистический кружок) в Москве. В группу входили В. Шкловский, Л. Якубинский, Е. Поливанов, О. Брик, Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский, Ю. Тынянов, Б. Ярхо, Р. Якобсон и др. Основным признаком школы является исключительное и пристальное внимание к вопросам поэтической формы. Методологические основания школы подготовили пражскую структурную лингвистику, тартуско-московскую структурную поэтику и весь европейский структурализм в целом.

«Я пережил три времени...»

Записано В.Л. Харламовой-Либан в 2005–2007 гг. Публикуется впервые.

С. 537 – ...книгой Авенариуса «Отроческие годы Пушкина» – см.: Авенариус В.П. Отроческие годы Пушкина. СПб., 1886.

С. 543 – Собачья площадка – площадь в центре Москвы, уничтожена в связи с прокладкой просп. Калинина (ныне – ул. Новый Арбат) в 1962 г.

«С душой коленопреклоненной...» – цитата из стихотворения А.С. Хомякова «Тебя призвал на брань святую» (1854).

С. 545 – Открытие памятника Александру II у Храма Христа – памятник Александру II в сквере у Храма Христа Спасителя был открыт 7 июня 2005 г. (скульптор А. Рукавишников, архитектор И. Воскресенский, художник С. Шаров).

С. 549 – Андрей Кончаловский очень талантливо поставил «Дядю Ваню» – имеется в виду художественный фильм Андрея Михалкова-Кончаловского (1970).

«Да, я вижу тебя, Божий дом...» – цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

С. 550 – А Сиповский – это лучший учебник... – см.: Сиповский В.В. История русской словесности: В 3-х ч. СПб., 1906–1908.

С. 552 – Хорошо, что книга о Ваньке Каине и «Записки» Болотова сейчас переиздаются – роман Матвея Комарова «Жизнь и приключения Ваньки Каина» (1779) переиздан в кн.: Комаров Матвей. История мошенника Ваньки Каина. Милорд Георг. СПб., 2000; автобиографические записки А.Т. Болотова переизданы в кн.: Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков: В 3 т. М., 1993.

С. 555 – Герой с таким именем есть у Боборыкина – имеется в виду роман П.Д. Боборыкина «Василий Теркин» (1892).

С. 561 – «Кто Царь-колокол поднимет? / Кто Царь-пушку повернет?» – цитата из стихотворения Ф.Н. Глинки «Москва» (1840).

Последние записи

Записано В.Л. Харламовой-Либан летом 2007 г. на даче в Домодедове. Публикуется впервые.

С. 571 – «Тяжкая доля, ужасная доля, ляжет в досках это мертвое тело» – неточная цитата из стихотворения Фердинанда Фрейлиграта «У гробовщика»: «Горькое дело! Страшное дело! Ляжет в досках этих мертвое тело» (1860; пер. М.Л. Михайлова).

С. 576 – ...у Юрки была чудная мать – первая жена Есенина – Анна Изряднова, первая гражданская жена Сергея Есенина. Они познакомились в 1913 г. в типографии Сытина. В 1914 г. у них родился сын Юрий, чья судьба закончилась трагически: в 22 года он был расстрелян в подвалах Лубянки.

С. 578 – ...бывший «Гужон» – завод «Серп и молот».

С. 585 – ...я тоже посылаю вам свой картель – «послать картель» – то же, что «вызвать на дуэль»; картель – письменный вызов на дуэль.

С. 586 – Он вообще выступил с двумя работами – о Гоголе и Достоевском – основные работы В.Ф. Переверзева: «Творчество Достоевского» (М., 1912; 3-е изд. М.; Л., 1928); «Творчество Гоголя» (4-е изд. Иваново-Вознесенск, 1928); «У истоков русского реалистического романа» (2-е изд. М., 1965); «Литература Древней Руси» (М., 1971); «Гоголь. Достоевский. Исследования» (М., 1982); «У истоков русского реализма» (М., 1989).

С. 588 – *Переверзев... оставил после себя очень существенный след в науке.* – в 1920-е годы В.Ф. Переверзев возглавил направление в литературоведении, названное тогда же «переверзевской школой» (программная статья Переверзева: Необходимые предпосылки марксистского литературоведения // Литературоведение: Сб. ст. / Под ред. В.Ф. Переверзева. М., 1928). Методологически Переверзев опирался на эстетическую теорию Г.В. Плеханова и разрабатывал социально-генетический (каузальный) метод в литературоведении, противопоставляя его как культурно-исторической, так и формальной школе. В 1929–1930 гг. состоялась дискуссия о «переверзевской школе», завершившаяся обвинениями Переверзева и его сторонников в ревизионизме. Из весьма немногочисленных работ на эту тему см.: О концепции Переверзева в изучении художественной литературы // Советское литературоведение за пятьдесят лет. М., 1967; Очерки истории русской советской журналистики. 1917–1932. М., 1966. С. 245–292; *Машинский С.И.* Наследие и наследники. М., 1967. С. 54–66; *Jackson R. L.* The sociological method of V. F. Perverzev: A rage for structure and determinism // Literature and society in imperial Russia, 1800–1914. Standford, 1978; *Раков В.* Из истории советского литературоведения: Теория «социального генезиса» литературы. Иваново, 1981; *Николаев П.А.* Переверзев Валерьян Федорович // Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 556–557.

С. 591 – *Министерство дворцового ведомства* – Министерство императорского двора, созданное в 1826 г.

С. 595 – *Я ему стал что-то говорить про Марра* – создатель нового учения о языке (так наз. «яфетической теории») см.: *Алпатов В.М.* История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991 (там же библиогр.; 2-е изд., доп. М., 2004).

V

Воспоминания о Николае Ивановиче Либане

С. 607 – *Видуэцкая Ирма Павловна* (1938–2007), филолог, историк литературы, текстолог. В качестве текстолога и комментатора принимала активное участие в подготовке академических изданий «Полного собрания сочинений и писем в тридцати томах» А.П. Чехова и «Полного собрания сочинений в ста томах» Л.Н. Толстого. Специалист по творчеству Н.С. Лескова; составитель и научный редактор «Полного собрания сочинений Н.С. Лескова» в 30 т., автор монографии «Николай Семенович Лесков» (М., 2000).

С. 609 – *Васильева Лариса Николаевна* (р. 1935), писатель и общественный деятель, автор более 20-ти поэтических сборников и поэм («Льняная луна», 1966; «Огневица», 1969; «Лебеда», «Синий сумрак», оба 1970; «Одна земля – одна любовь», 1973; «Радуга снега», 1974; «Поляна», 1975; «Огонь в окне», 1978; «Русские имена», 1980; «Василиса», 1981; «Роща», 1984; «Светильник», 1985; «Странное свойство», 1991, «Четыре женщины в окне», 2005), романа-воспоминания «Книга об отце» (1983), документально-публицистических книг «Кремлевские жены» (1993), «Дети Кремля» (1997), мемуарных, публицистических и литературно-критических работ.

С. 610 – *Хализев Валентин Евгеньевич* (р. 1930), филолог, профессор кафедры теории литературы филологического факультета Московского университета, специалист в области теории и истории литературы, автор монографий «Драма как явление искусства» (М., 1978); «Роман Л.Н. Толстого “Война и мир”» / (в соавторстве с С.И. Кормиловым; М., 1983); «Драма как род литературы: поэтика, генезис, функционирование» (М., 1986); «Цикл А.С. Пушкина “Повести Белкина”» (в соавторстве с С.В. Шешуновой; М., 1989); «Ценностные ориентации русской классики (М., 2005), учебника «Теория литературы» (М., 1989; 1999; 2000; 2002; 2004).

...об имеющихся библиографических указателях (*Владиславлев, Мезьер и др.*) – имеются в виду наиболее авторитетные библиографические указатели П.В. Владиславлева: «Что читать» (Вып. 1–4; М., 1911–1917), «Русские писатели. Опыт библиографического пособия по русской литературе XIX–XX ст.» (М., 1909, 4-е изд. М.; Л., 1924), «Библиографические ежегодники» (вып. 1–8, М., 1911–1914, 1921–1924 гг.) и др. и А.В. Мезьер «Русская словесность с XI по XIX ст. включительно» (Ч. 1–2, СПб., 1899, 1902), «Словарный указатель по книговедению» (Л., 1924 и доп. том: Л., 1931), «Указатель литературы о В.Г. Белинском» («Сочинения В.Г. Белинского». Т. IV. 2-е изд. СПб., 1900); «Указатель исторических романов, оригинальных и переводных, расположенных по странам и эпохам» (СПб., 1902) и др.

С. 613 – *Интервью, на текст которого я опираюсь...* – речь идет об интервью Е. Федоровой «Пять разговоров с Н.И. Либаном».

С. 615 – ...о недавно появившейся книге В.В. Бибикина о Лосеве и Аверинцеве – имеется в виду изданная посмертно монография В.В. Бибикина «Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев» (М., 2006).

К книге о Достоевском лучше, чем о Рабле – имеются в виду монографические исследования М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (М., 1963; 4-е изд. М., 1979) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (М., 1965; М., 1990).

...«антибахтинский» доклад М.Л. Гаспарова – см.: *Гаспаров М.Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения. Материалы Международной научной конференции Москва, 10–11 ноября 2004 г. М., 2004.*

С. 616 – ...книгу А.И. Журавлевой об Островском как комедиографе – см: Журавлева А.И. А.Н. Островский-комедиограф. М., 1981.

С. 616 – Карпова (Ларионова) Эльза Владимировна (р. 1934), филолог, литературовед, преподаватель истории литературы в средних специальных и высших учебных заведениях России (Москвы, Калуги), Венгрии, выпускница МГУ 1958 года.

С. 617 – Федорова Екатерина Сергеевна (р. 1961), филолог и культуролог, специалист в области истории русской культуры. Сфера научных интересов – русско-латинские культурные связи.

С. 618 – Потому редакцией «Независимой газеты», опубликовавшей фрагмент «Разговоров», Н.И. Либан назван «Живой историей» – цитируется фрагмент предисловия от редакции НГ к публикации фрагментов из «Пяти разговоров с Н.И. Либаном».

С. 620 – Попова Татьяна Протогеновна (р. 1924), филолог-славист, работала на кафедре славянской филологии МГУ, преподавала сербскохорватский язык на филологическом и историческом факультетах. Переводчик произведений многих югославянских писателей XIX–XX вв. Автор статей по теории перевода и учебника «Сербскохорватский язык» (М., 1986).

С. 620 – Зиновьева (Моторина) Маргарита Дмитриевна (р. 1933), филолог, преподаватель, автор пособий по методике преподавания русского языка как иностранного, преподаватель Академии музыки имени Гнесиных.

С. 621 – Остроумова Ольга Александровна (р. 1973), филолог, педагог, редактор, автор словаря-справочника «Трудности русской пунктуации: Словарь вводных слов» (в соавторстве с О.Д. Фрамполь; М., 2009).

С. 623 – ...из неопубликованных лекций Н.И. Либана о Пушкине – впоследствии лекции Н.И. Либана по истории русской литературы первой трети XIX в. были опубликованы и воспроизводятся в настоящем издании.

С. 626 – ...эпиграмма Державина на «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева – «Езда твоя в Москву со истиною сходна, Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна, Я слышу, наконец ямщик кричит: вирь, вирь! Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь» (Державин Г.Р. Записки. 1743–1812. М., 2000. С. 306.).

С. 628 – Аннинский Лев Александрович (р. 1934), литературный критик, литературовед, публицист, писатель, журналист. Автор книг: «Ядро ореха. Критические очерки» (1965), «Обрученный с идеей: "Как закалялась сталь" Николая Островского» (1971), «Василий Шукшин» (1976), «Тридцатые–семидесятые: Литературно-критические статьи» (1977), «Охота на Льва: Лев Толстой и кинематограф» (1980, 1998), «Лесковское ожерелье» (1982, 1986), «Контакты» (1982), «Михаил Луконин» (1982), «Солнце в ветвях: Очерки литовской фотографии» (1984), «Николай Губенко» (1986), «Три еретика: Повести о Писемском, Мельникове-Печерском, Лескове» (1988), «Culture's tapestry» («Гобелен культуры») (1991), «Локти и крылья: Литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы»

(1989), «Билет в рай: Размышления у театральных подъездов» (1989), «Отлетающий занавес: Литературно-критические статьи о Грузии» (1990), «Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не ставший историей» (1991), «Серебро и чернь: Русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века» (1997), «Барды» (1999) и др., а также циклов статей в периодической печати, программ на радио и телевидении. Лауреат премии ТЭФИ (2004).

С. 630 – *Ерина (Пашинина) Инна* (р. 1932), филолог, педагог, методист, журналист, автор ряда публикаций в журналах «Литература в школе» и «Русский язык в школе».

С. 631 – *Рогачева (Логонова) Инесса Михайловна*, филолог, профессор филологического факультета РУДН, доктор филологических наук, специалист по фонетике русского языка, автор более 170 печатных работ, в том числе монографии «Описание фонетики русского языка как иностранного (вокализм и ударение)» (М., 1992) и цикла учебных пособий по практической фонетике русского языка для иностранных учащихся.

«Слово о полку Игореве» с историко-литературными комментариями В.Ф. Ржиги – см.: Слово о полку Игореве / Ред. древнерусского текста и пер. С. Шамбинаго и В. Ржиги. Статьи и коммент. В. Ржиги и С. Шамбинаго. М.; Л., 1934.

С. 633 – ...выступал с воспоминаниями о филологическом факультете со времени его восстановления – последняя лекция Н.И. Либана публикуется в настоящем изд.

С. 633 – *Бергманн Арни* (р. 1935), исландский писатель и переводчик. Переводил «Слово о полку Игореве», произведения Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака, А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. Розова, А. Вампилова, Б. Акунина и других. Автор ряда статей о русской литературе. Читал курс истории русской литературы в университете Рейкьявика.

С. 634 – *Боровицкая Валентина Николаевна* (р. 1942), писатель, член Союза писателей РФ (с 1995). Автор стихотворных сборников («Элегия», 1984; «Старинная тетрадь», 1989; «Стихи о любви», 1991) и прозаических книг («Старые камни. Повести», 1990; «Эпилог. Роман об И.С. Тургеневе», 1989, 1996; «Синяя тетрадь с бронзовой застежкой. Роман в письмах», 1996; «Две пьесы по книге “Эпилог”», 2000) и др.

...немножко по-чаадаевски – пристрастие П.Я. Чаадаева к франтовству неоднократно отмечалось его современниками. О «дендизме» в культуре и литературе см., напр.: *Вайнштейн О.Б.* Денди: Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2005.

С. 635 – *Григорьева Галина Григорьевна*, филолог, искусствовед, фольклорист и архивист, более 35 лет проработала в архивах и рукописных отделах ЦГАЛИ, Государственном литературном музее, архиве издательства «Искусство», музее НИИ культурного и природного наследия, Государственном республиканском центре русского фольклора.

С. 637 – ...монографию *Николая Ивановича о Помяловском* – сохранившаяся часть монографии впервые публикуется в настоящем изд.

С. 637 – *Суходольский Юрий Сергеевич* (р. 1969), филолог и писатель, журналист, режиссер, сценарист.

...собрание сочинений *Н.С. Лескова* издательства *Маркса* – *Н.С. Лесков*. Полное собрание сочинений. В тридцати шести томах. В девяти книгах. СПб., 1902.

С. 640 – *Старкова Зоя Сергеевна* (р. 1929), педагог, автор книг по литературе и искусству («Литература и живопись». М., 1985; «Содружество искусств на уроках литературы: Из опыта работы». М., 1988 и других), издатель, литературный редактор.

С. 641 – *Столярова Ирина Владимировна* (р. 1931), филолог, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, специалист по истории русской литературы XIX в. Автор ряда работ, посвященных творчеству *Н.С. Лескова*, в том числе – монографии «В поисках идеала: творчество *Н.С. Лескова*» (Л., 1978), активный участник подготовки к изданию «Полного собрания сочинений *Н.С. Лескова*» в 30 томах. С 2007 года – главный редактор.

С. 642 – *Жемайтис Сергей Сергеевич* (р. 1952), писатель и журналист, член Союза журналистов Москвы, составитель сборника «Пламенное слово: Проза и поэзия Древней Руси» (М., 1978), автор романов «Абстрактный человек» (М., 1991), «Паря над бездной Райских врат», философской книги «Вальс истин на кресте миров» (М., 2009), трактата «Авангард и архитектура сознания» и др.

С. 643 – *Латынин Леонид Александрович* (р. 1938), писатель, автор книг стихов («Патриаршие пруды», 1977; «Осенние часы», 1983; «Перед прозой», 1988; «Обряд», 1993; «Сон серебряного века», 2000; «Фонетический шум “Диалоги с Евгением Витковским”», 2002; «На склоне света», 2006; «Дом врат», 2008; «Праздный дневник», 2010) и романов («Пример и Муза», 1988; «Спящий во время жатвы», 1993; «Ставр и Сара», 1993; «Жертвоприношение», 2003), искусствоведческих работ («Образы народного искусства»; «Язычество древней Руси в народном искусстве: Прялка, вышивка, игрушка», 1993; «Основные сюжеты русского народного искусства», 2006).

С. 644 – *Гачева Анастасия Георгиевна* (р. 1966), филолог, специалист по истории русской религиозной философии и русскому космизму, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, директор музея-библиотеки *Н. Федорова*. Составитель и автор научного коммент. к Полному собранию сочинений *Н. Федорова* (в соавт. с *С.Г. Семеновой*: «Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов», М., 2003.), публикатор философского наследия *А. Горского* и *Н. Сетницкого*, автор серии статей об их жизни и творчестве, автор книги «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» (*Достоевский* и *Тютчев*). М.: ИМЛИ, 2004.

С. 646 – ...книгу *К.Ф. Головина* «Русский роман и русское общество» – наиболее известная работа *К.Ф. Головина*-критика, выдержавшая три издания с 1897 по 1914 г. и удостоенная Пушкинской премии. См.: *Головин (Орловский) К.Ф.* Русский роман и русское общество. СПб., 1897.

...двухтомник *Иванова-Разумника «История русской общественной мысли»* – одна из наиболее известных и популярных книг Р.В. Иванова-Разумника, выдержавшая с 1907 г. четыре издания, посвященная истории интеллигенции в России. См.: *Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли.*: В 2 т. СПб., 1907.

С. 649 – *«Мемориал Святой Елены»* – дневник французского историка графа Эмманюэля де лас Казаса, бывшего секретарем Наполеона на острове Святой Елены.

С. 659 – *«Русский европеец. Николай Иванович Либан»* – доклад Ю.С. Суходольского был произнесен на конференции памяти Н.И. Либана на филологическом факультете Московского университета 10 декабря 2008 г. Публикуется впервые.

...о *беззаконной комете «в кругу расчисленном светил»* – цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Портрет» (1928).

С. 665 – ...я из *прихода Творца-вседержителя* – цитата из рассказа Н.С. Лескова «Несмертельный Голован» (1879).

«И море, и Гомер – все движется любовью...» – цитата из стихотворения О.Э. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» (1915).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.И. ЛИБАНА

1910, 15 сентября в Москве, в Неопалимовском переулке в семье Ивана Васильевича Лаврова и Марии Романовны Либан родился сын Николай. Крещен в церкви Неопалимой Купины.

1914 – смерть отца.

1920-е – учеба в школе (бывшая женская Хвостовская гимназия).

1924–1925 – дошел юнгой на корабле до Шпицбергена.

Конец 1920-х – учеба в школе со спецуклоном (8–9 класс): общественно-педагогические курсы.

Конец 1920-х – работа в РКИ (рабоче-крестьянская инспекция); разнорабочий в типографии «Искра».

1928–1929 – путешествия по России (Север России, Кавказ, Алтай)

1929–1931 – экскурсовод. Экскурсионная база НКП РСФСР (сельское отделение). Московская область, Пушкинский р-н, село Братовщина.

1930–1932 – преподаватель русского языка и литературы учебного комбината Центрального научно-исследовательского аэродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Москва, ул. Радио.

1932–1936 – преподаватель русского языка и литературы в 4-й школе БОНО, Ново-Кирочный пер.

1932 – начало учебы в Московском городском педагогическом институте им. В.П. Потемкина.

1936 – получение диплома преподавателя русского языка и литературы.

1935–1937 – преподаватель факультета особого назначения при Институте им. Г.В. Плеханова, Стремянный пер.

- 1937–1941** – учеба в аспирантуре МИФЛИ (официальный руководитель В.Ф. Переверзев – 1 год, параллельно занимается у М.Н. Сперанского). Тема: русский исторический роман.
- 1937–1942** – лектор Московского областного лекционного бюро. Москва, Ветошный пер.
- 1939–1940** – преподаватель Оршанского учительского института.
- 1939** – женитьба на Анне Алексеевне Куписко.
- 1939** – составитель сборника Задание по литературе для заочников VIII класса средней школы для взрослых. Гос. Учпед. М.: Изд-во наркомпрос РСФСР. Составители Э. Гофман, Н. Либан, С. Минц.
- 1940** – рождение сына Николая.
- 1942–1943** – ассистент кафедры русской и славянской литературы филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
- 1943–1949** – заместитель декана по заочному отделению филологического факультета МГУ. Провел огромное количество выездов и консультаций на дому с тяжело больными студентами, инвалидами послевоенного времени. В годы войны неоднократно выезжал с лекциями на фронт, выступал перед бойцами в госпиталях.
- За годы работы в университете руководил стажерами, слушателями ФПК, аспирантским объединением кафедры. Под его научным руководством защитилось более 200 дипломников. Постоянно консультировал аспирантов, докторантов, учителей и просто выпускников факультета.
- 1943–1968** – старший преподаватель кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ. Прочитал 23 авторских спецкурса.
- 1950–2004** – спецкурс и семинар по творчеству Н.С. Лескова («Лесков и русские писатели второй половины XIX века»), в пятидесятые-шестидесятые годы считавшегося «писателем второго ряда», имя которого было выведено из вузовских программ.
- 1955–1957** – работа над монографией «Творчество Н.Г. Помяловского».
- 1955–1985** – за успешную научно-исследовательскую работу и педагогическую деятельность объявлены благодарности.
- 1957–2000** – общий курс «Древняя русская литература (XI–XVII вв.)», ставший легендарным.

- 1957–1958** – спецкурс по литературе XVIII века; спецкурс по русской литературе XIX века на искусствоведческом отделении. Подготовлены статьи: «Бурсак в истории русского просвещения (в связи с изучением «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского)», «Повести Благовещенского».
- 1958** – смерть матери – М.Р. Либан.
- 1959** – редактор учебника А.Н. Соколова «История русской литературы XIX века», выдержавшего несколько изданий. Редактор «Хрестоматии по русскому фольклору».
- 1959–1963** – семинары по истории древнерусской литературы (чтение и комментарий «Слова о полку Игореве»); Идеи и художественные особенности русской повести XV века.
- 1960-е** – куратор подшефной школы № 16 города Москвы.
- 1961–1962** – общий курс русского фольклора. Спецкурсы: Просветительские идеи в русской литературе XVIII века; Русский очерк во второй половине XIX века; Из истории русской повести. Семинар: Чернышевский о русских писателях.
- 1962** – написаны статьи: Из истории русской повести XVIII – первой половины XIX века; Русские писатели о художниках Дрезденской галереи; Место очерка в истории русского реализма; О некоторых особенностях реализма в романе Лермонтова «Герой нашего времени»; «Очерки бурсы» Помяловского» (опыт монографического исследования); Творческий путь Помяловского; Северно-русская агиография; Фольклорно-литературные отношения во второй половине XVII века; Значение фольклорных элементов в «Повести временных лет»; К вопросу о построении синтетического курса по истории русской литературы (древняя литература и фольклор).
- 1962–1964** – спецкурсы: Просветительские идеи в русской литературе XVIII века; Творческий путь Радищева; О языке и стиле повестей Гоголя; Натуральная школа и ее место в истории развития русского реализма; Чернышевский о русских писателях; Повесть 60-х годов XIX века и ее место в развитии русского реализма; Идеино-художественные направления в беллетристике 70–80-х годов XIX века.
- 1963** – подготовлена монография «Н.Г. Помяловский. “Очерки бурсы”». Статьи: «Забытый писатель – Воскобойников», «Благовещенский – биограф Помяловского»; начата большая работа: «Писатели-очеркисты 60-х годов XIX века и их место в истории русского реализма».

- 1964** – редактор второго издания учебника А.Н. Соколова «История русской литературы XIX века», редактор методического пособия по древней русской литературе для заочников Л.Е. Татариновой.
- 1965–1966** – работа над очерками И.Г. Прыжова в связи с вопросом о месте очерка в русском реализме шестидесятых годов XIX века.
- 1967** – бессменный лектор открывшегося факультета повышения квалификации преподавателей вузов при МГУ.
- 1968–1972** – доцент филологического факультета МГУ.
- 1971** – напечатаны статьи о Помяловском, Левитове, Благовещенском в библиографическом словаре «Русские Писатели» (М.: Просвещение, 1971).
- 1972–2007** – старший преподаватель кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ.
- 1978** – спецкурс «Публицистика XVIII века». Этот курс в Московском университете на филологическом факультете читался впервые.
- 1980–2004** – спецкурс по творчеству Н.М. Карамзина, спецсеминар по творчеству М.Ю. Лермонтова.
- 1980–2007** – интервью с Н.И. Либаном опубликованы в журналах «Знание – сила», «Наследник», «Союзное государство», газетах «Газета», «Независимая газета».
- 1985** – 75-летие Н.И. Либана. Торжественное заседание кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ.
- 1986** – спецкурс: «Русский бульварный роман».
- 1994** – смерть жены – А.А. Куписко.
- 1996–2007** – главный редактор первых 10-ти томов Полного собрания сочинения Н.С. Лескова в 30 т. Изд-во Терра.
- 1997** – доклад на конференции «Кризис христианства в русской литературе и русской жизни». Спецкурс «Становление личности в литературе и искусстве XVIII века».
- 2000, 15 сентября** – 90-летие Н.И. Либана. Торжественное заседание кафедры.
- 2000** – выход книги «Литература Древней Руси. Лекции-очерки» (М.: Изд-во МГУ, 2000).

- 2001** – за значительные успехи в научно-педагогической деятельности и многолетний плодотворный труд награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ.
- 2002** – последняя публичная лекция в МГУ «История филологического факультета МГУ за 60 лет»
- 2002, 19 августа** – смерть сына – Н.Н. Либана.
- 2003** – выход книги «Становление личности в русской литературе XVIII века: Лекции-очерки» (М.: Изд-во МГУ, 2003).
- 2003** – премия Союза писателей России «Новая книга России» (в разделе литературоведение за книги «Литература Древней Руси. Лекции-очерки» и «Становление личности в русской литературе XVIII века: Лекции-очерки»)
- 2005** – работа над лекциями-очерками по литературе первой трети XIX века. Выход книги «Лекции по истории русской литературы (от Древней Руси до первой трети XIX в.)» (М.: Изд-во МГУ, 2005).
- 2005** – 95-летие Н.И. Либана. Торжественное заседание кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ. Награжден медалью Пушкина. В «Вестнике МГУ» опубликованы воспоминания учеников.
- 2005–2007** – работа над главами задуманной книги «Люди и книги 40-х годов XIX века».
- 2007, 5 декабря** – скончался на 98-м году жизни.
- 2007, 8 декабря** – похоронен на Востряковском кладбище.
- 2008** – съемка и выпуск телевизионного фильма «Филолог. Н.И. Либан».
- 2008, 10 декабря** – в МГУ прошли чтения памяти Н.И. Либана.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- А**ввакум (1620/1621–1682), лидер русского церковного раскола, протопоп, писатель – 415, 641, 652
- Авенариус Василий Петрович (1839–1923), русский писатель – 537
- Аверинцев Сергей Сергеевич (1937–2004), русский филолог, специалист по истории литературы позднеантичного периода, христианской литературы, литературы Средних веков и Нового времени, переводчик, поэт – 615
- Авраамий (в миру Аверкий Иванович) Палицын (? – 1625/1626/1627), русский писатель и историк, келарь Троице-Сергиева монастыря – 507, 652
- Адашев Алексей Федорович (? – ок. 1563), окольный, член Избранной рады – 122
- Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), русский литературный критик – 489, 555
- Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), русский общественный деятель, писатель, литературный критик, публицист, редактор, издатель, идеолог славянофильства – 135, 264, 658
- Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), русский писатель, литературный критик, историк, лингвист, публицист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства – 264
- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), русский писатель, мемуарист, театральный и литературный критик – 265
- Александр I Павлович (1777–1825), российский император с 1801 г. – 33, 37, 40, 42–44, 54, 60, 118, 157, 247, 255, 269, 396, 420–422
- Александр II Николаевич (1818–1881), российский император с 1855 г. – 136, 138–139, 545, 546
- Александр III Александрович (1845–1894), российский император с 1881 г. – 532, 562
- Александр Ярославич Невский (1220–1263), князь новгородский в 1236–1251 гг., великий князь владимирский с 1252 г. – 634
- Александра Федоровна (Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина; 1798–1860), российская императрица, жена (с 1817 г.) императора Николая I, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III – 137–138
- Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь с 1645 г. – 413, 415
- Алексий II (в миру – Алексей Михайлович Ридигер; 1929–2008), патриарх Московский и всея Руси с 1990 г. – 565

- Андреев Леонид Григорьевич (1922–2001), русский филолог, специалист по истории французской литературы XX в., истории бельгийской литературы и теории литературы – 494, 529, 556
- Аникин Владимир Прокопьевич (р. 1924), русский филолог, специалист в области русского устного народного творчества – 645
- Аннинский Лев Александрович (р. 1934), русский литературный критик и литературовед, писатель, публицист – 628
- Антоний Киево-Печерский (983–1073), основатель Киево-Печерского монастыря – 14
- Антонович Максим Алексеевич (1835–1918), русский литературный критик, публицист, философ – 258
- Аракин Владимир Дмитриевич (1904–1983), русский филолог, специалист в области германистики, истории английского и скандинавских языков – 528–529
- Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф, русский государственный деятель, генерал, всеильный временщик при Александре I – 154
- Аргунов Иван Петрович (1729–1802), русский художник – 386
- Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый – 506
- Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977), русский философ, историк религии и культуры – 612
- Арсеньева (урожденная Столыпина) Елизавета Алексеевна (1773–1845), бабушка М.Ю. Лермонтова – 191
- Арциховский Артемий Владимирович (1902–1978), русский археолог и историк – 231, 234
- Асмус Валентин Фердинандович (1894–1975), русский философ, логик, историк философии, историк и теоретик эстетики, литературовед – 530, 655
- Ахманова Ольга Сергеевна (1908–1991), русский филолог-германист, специалист в области германского языкознания – 529
- Ахматова (наст. фамилия – Горенко) Анна Андреевна (1889–1966), русский поэт – 49, 366, 531
- Бабанова Мария Ивановна (1900–1983), русская актриса – 557–558**
- Багрицкий Эдуард Георгиевич (наст. фамилия Дзюбин; 1895–1934), русский поэт – 550
- Багрянский Михаил Иванович (1762 или 1763–1813), выпускник Московского университета, врач – 39
- Баев Константин Львович (1881–1953), русский астроном – 525
- Баженов Василий Иванович (1737 или 1738–1779), русский архитектор, художник, теоретик искусства и педагог – 386
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт – 144
- Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737–1814), русский историк и археолог, руководитель Московского архива Коллегии иностранных дел – 17, 19
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), русский поэт – 76, 132, 138, 188
- Барков Иван Семенович (ок. 1732–1768), русский поэт – 197
- Бахметьев Владимир Матвеевич (1885–1963), русский писатель, публицист, литературный критик – 478
- Бахрушин Сергей Владимирович (1882–1950), русский историк и источниковед – 417, 524

- Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975), русский философ, литературовед и теоретик искусства – 475, 615, 655
- Белецкий Александр Иванович (1884–1961), русский филолог, литературовед, историк русской и украинской литературы – 492–493, 528
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), русский литературный критик – 140, 159, 171, 190, 207, 308, 309, 329, 548, 630, 651
- Белкин Абрам Александрович (1907–1970), русский филолог, специалист в области истории русской литературы XIX века – 471
- Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844), граф, русский государственный деятель, генерал от кавалерии – 137, 138
- Бергманн Арни (р. 1935), исландский писатель и переводчик – 633
- Бердяев Николай Александрович (1874–1948), русский религиозный философ – 271, 429, 431
- Беринг Витус Ионассен (1681–1741), мореплаватель, капитан-командор русского флота – 83
- Бернштейн Самуил Борисович (1911–1997), русский филолог, специалист в области славянского языкознания – 532, 602–603
- Бецкой Иван Иванович (1704–1795), русский общественный деятель – 216–218, 224, 626
- Бибиков Александр Ильич (1729–1774), русский государственный и военный деятель, генерал-аншеф, сенатор – 47, 397
- Бибихин Владимир Вениаминович (1938–2004), русский философ, переводчик философской классики – 615
- Бидо Жорж-Огюстен (1899–1983), французский политический и государственный деятель – 20
- Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), князь, первый рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 гг. – 93, 663
- Благовещенский Николай Александрович (1837–1889), русский беллетрист-этнограф, друг Н.Г. Помяловского, автор его биографии – 276, 345–347, 352
- Благой Дмитрий Дмитриевич (1893–1984), русский филолог, специалист в области истории русской литературы и теории литературы – 473, 550, 595, 614
- Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880), русский публицист и общественный деятель – 345
- Блок Александр Александрович (1880–1921), русский поэт – 77, 193, 516
- Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), русский государственный деятель – 134
- Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), русский писатель – 534, 555
- Бобринский Александр Григорьевич (1762–1813), граф – 58–59, 592
- Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833), русский писатель и естествоиспытатель, один из основоположников отечественной агрономической науки – 44, 53–60, 126, 218, 552, 592, 621, 626
- Болтин Иван Никитич (1735–1792), русский историк, государственный деятель, член военной коллегии – 111, 624
- Бомарше Пьер Огюстен (1732–1799), французский драматург – 106
- Бонди Сергей Михайлович (1891–1983), русский филолог, специалист в области истории русской литературы XIX в., текстолог, стиховед – 483, 528, 609, 614, 633, 637
- Борецкая Марфа Ивановна(?) (? – 1503), вдова новгородского по-

- садника Исаака Андреевича Борецкого, убежденная противница присоединения Новгорода к Москве – 81
- Боровицкая Валентина Николаевна (р. 1942), русский писатель – 634
- Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825), русский композитор – 386
- Боткин Василий Петрович (1812–1869), русский очеркист, литературный критик, переводчик – 512
- Бродский Николай Леонтьевич (1881–1951), русский филолог, специалист в области истории русской литературы XIX в. – 528
- Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), русский военачальник и военный педагог, командующий Юго-Западным фронтом в Первую мировую войну – 543–544, 627
- Брюллов Карл Павлович (1799–1852), русский живописец – 137–138
- Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), русский религиозный философ – 429, 431
- Булгарин Фаддей Венедиктович (урожденный Ян Тадеуш Булгарин; 1789–1859), русский писатель и журналист – 137
- Бунин Афанасий Иванович (? – 1791), отец В.А. Жуковского – 125
- Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), русский писатель – 392, 536
- Бунина Мария Григорьевна, жена А.И. Бунина, мачеха В.А. Жуковского – 128
- Буслаев Федор Иванович (1818–1897), русский филолог и искусствовед – 629
- Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886), русский химик – 259
- Бюргер Готфрид Август (1747–1794), немецкий поэт – 133, 134
- Васильева Лариса Николаевна** (р. 1935) – русский писатель – 549–550, 609
- Василько Ростиславич (ок. 1067 – 1125), князь теребовльский – 14
- Вельтман Александр Фомич (1800–1870), русский писатель – 22
- Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), русский литературный критик, историк литературы, библиограф и редактор – 646
- Венгерова Элла Владимировна (р. 1936), русский филолог, специалист в области немецкого языка и литературы, редактор, критик, переводчик – 607
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827), русский поэт – 547
- Вертинский Александр Николаевич (1889–1957), русский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец – 559
- Веселовский Александр Николаевич (1838–1906), русский филолог, специалист в области теории и истории литературы – 135, 140–141, 387, 470–471, 532, 546, 646
- Видуэцкая Ирма Павловна (1938–2007), русский филолог-литературовед, историк литературы, текстолог – 517, 530, 533, 607
- Виноградов Виктор Владимирович (1894/1895–1969), русский филолог – 482, 487–493, 602–603
- Винокур Григорий Осипович (1896–1947), русский филолог, специалист в области истории русского литературного языка и общего языкознания, текстолог – 482–483
- Владимир I Святославич (? – 1015), князь новгородский с 969 г., киевский с 980 г., креститель Руси – 14, 23, 110, 226–228, 652
- Владимир II Всеволодович Мономах (1053–1125), князь смоленский с

- 1067 г., черниговский с 1078 г., переславский с 1093 г., великий князь киевский с 1113 г. – 14, 23
- Владиславлев (Гульбинский) Игнатий Владиславович (1880–1962), русский библиограф – 610
- Воейков Александр Федорович (1779–1839), русский поэт – 127
- Волков Иван Федорович (1924–1995), русский филолог, специалист в области теории литературы, истории русской и немецкой литератур – 494, 556
- Волконская Зинаида Александровна (1792–1862), русская писательница, певица и композитор – 547
- Вольтер (наст. имя – Мари Франсуа Аруз; 1694–1778), французский писатель и философ-просветитель – 34, 52, 59–60, 67–68, 75–76, 84, 96, 105, 143, 158
- Воронов Михаил Алексеевич (1840–1873), русский писатель – 329, 348, 356, 361, 534, 632
- Воронцов Роман Илларионович (1717–1783), русский государственный деятель – 61
- Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969), русский военачальник и государственный деятель – 560
- Воскобойников Николай Николаевич (1838–1882), русский журналист – 362
- Врубель Михаил Александрович (1856–1910), русский художник – 202, 517
- Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1154–1212), великий князь владимирский – 22
- Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), русский писатель – 133, 188, 197
- Галкин Илья Саввич (1898–1990), русский историк, в 1943–1947 гг. ректор Московского университета – 481, 483–484
- Гамалея Семен Иванович (1743–1822), русский писатель и переводчик – 359
- Ганшина Клавдия Александровна (1881–1952), русский филолог, специалист по современному французскому языку – 529
- Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906), русский писатель – 392
- Гаспаров Михаил Леонович (1935–2005), русский филолог, специалист по истории античной и русской литературы, теории литературы, стиховед, переводчик – 615
- Гачев Георгий Дмитриевич (1929–2008), русский философ, филолог, культуролог, литературовед. Автор многотомной серии «Национальные образы мира», где каждая национальная целостность рассматривается как Космо-Психо-Логос. Работал в жанре жизненно-философского дневника – 654–655
- Гачева Анастасия Георгиевна (р. 1966), русский филолог и философ, специалист по истории русской религиозной философии и русскому космизму – 644, 656
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ, один из основателей немецкой классической философии – 75, 82, 89, 90, 259, 367, 461
- Гедике Александр Федорович (1877–1957), русский композитор, пианист, органист – 114, 663
- Геннадий (? – 1505), новгородский архиепископ в 1484–1504 гг. – 237
- Георгий Амартол (IX в.), византийский хронист – 14

- Герберштейн Сигизмунд фон (Зигмунд; 1486–1566), барон, австрийский дипломат – 506
- Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий философ – 84
- Герцен Александр Иванович (1812–1870), русский писатель – 119, 138, 191, 195, 203, 250, 258, 260–264, 268, 306, 317, 357, 367–368, 371, 394, 432, 534, 547
- Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель – 76, 84, 93, 132–134, 161, 512
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель – 135–136, 272–275, 277–278, 281–286, 288, 310, 312, 318, 342, 361, 424, 475, 546–547, 586–587, 589–591, 631
- Годунов Борис Федорович (ок. 1552–1605), русский царь с 1598 г. – 110, 157, 496
- Головин Константин Федорович (псевдоним – Орловский; 1843–1913), русский писатель и экономист – 646
- Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912), русский историк, специалист в области истории Церкви и церковной архитектуры – 226–230, 235, 237, 241, 252–253
- Гомер, древнегреческий эпический поэт – 134–135, 499, 666
- Гонкур, французские писатели, братья: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) – 86
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891), русский писатель – 82, 166, 173, 265–267, 318, 337, 338, 340, 356, 367, 377, 409, 423, 424, 426, 547, 548, 586, 589, 590
- Горький Максим (Алексей Максимович Пешков; 1868–1936), русский писатель – 312, 332, 334, 339, 349, 355–356, 370, 392, 518, 540, 632
- Гофман-Померанцева Эрна Васильевна (1899–1980), русский филолог, фольклорист – 531, 556
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), русский историк, медиовист, основоположник научного исследования западноевропейского Средневековья – 259, 634
- Грей Томас (1716–1771), английский поэт – 128
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), русский писатель и дипломат – 132, 176, 557
- Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899/1990), русский писатель – 82, 310, 318
- Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864), русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист – 267–268, 348
- Григорьева Галина Григорьевна, русский филолог, искусствовед, фольклорист и архивист – 635
- Гринева Евгения Федоровна (1922–2003), русский филолог, специалист по современному французскому языку – 529
- Грифцов Борис Александрович (1885–1950), русский искусствовед, литературовед и переводчик – 404
- Грихин Вячеслав Андрианович (1942–1987), русский филолог, специалист по истории древнерусской литературы и литературы XIX в., истории русской культуры – 531
- Громова (Опульская) Лидия Дмитриевна (1925–2003), русский филолог, литературовед, текстолог, специалист по творчеству Л.Н. Толстого – 530, 533
- Грушка Аполлон Аполлонович (1869–1929), русский филолог, специалист по латинскому языку и исто-

- рии античной литературы – 480, 530
- Гудзий Николай Каллиникович (1887–1965), русский филолог, литературовед, специалист по истории древнерусской литературы – 20, 483–487, 489, 530–531, 599–601, 633, 643, 644
- Гуковский Григорий Александрович (1902–1950), русский филолог, литературовед – 149, 550
- Гурго Гаспар (1783–1852), французский генерал-лейтенант, адъютант Наполеона – 649
- Даламбер Жан Лерон (1717–1783)**, французский математик, механик и философ-просветитель – 59
- Даль Владимир Иванович (1801–1872), русский писатель, врач, лексикограф – 356
- Даниил (до 1492 – 1547), русский митрополит в 1522–1539 гг., публицист – 506
- Данилевский Григорий Петрович (1829–1890), русский писатель – 395
- Даниэль Юлий Маркович (1925–1988), русский писатель, переводчик – 475
- Дантес Жорж Шарль (1812–1895), французский офицер, смертельно ранивший Пушкина на дуэли – 585
- Дантон Жорж Жак (1759–1794), деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев – 105, 111
- Дашков Михаил Иванович (1736–1764), князь, муж Е.Р. Дашковой – 61
- Дашкова Екатерина Романовна (1744–1810), княгиня, русский государственный деятель – 32, 60–63, 652
- Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), русский поэт – 188
- Демидов Алексей Алексеевич (1883–1934), русский писатель – 478, 523
- Дератани Николай Федорович (1884–1958), русский филолог, специалист в области истории античной литературы – 530
- Державин Гавриил Романович (1743–1816), русский поэт – 18, 19, 37, 47–53, 54, 60, 148, 387, 624, 626, 641, 653
- Дидро Дени (1713–1784), французский философ-просветитель – 34, 52, 59, 67
- Диккенс Чарльз (1812–1870), английский писатель – 114, 552, 569
- Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало; 1651–1709), митрополит ростовский, писатель – 414
- Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866), русский поэт, критик, мемуарист – 658
- Дмитрий Иванович (1582–1591), царевич, князь Угличский, младший сын Ивана Грозного, погиб при загадочных обстоятельствах – 157
- Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), русский литературный критик и публицист – 258, 328
- Добрыня, киевский воевода при великом князе Владимире Святославиче, брат его матери Малуши – 14
- Долматовские Евгений Аронович (1915–1994), русский писатель и Юрий Аронович (1913–1999), русский автоконструктор и писатель, братья, сыновья Арона Моисеевича Долматовского (1880–1939), русского юриста, адвоката – 526, 540
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский писатель – 51, 63, 76, 171, 173, 174, 265, 271, 310, 329, 330, 334, 340, 343, 355–356, 358, 360, 362, 364, 366–376, 382–385, 389, 392, 395, 397–399,

- 401, 403, 408, 409, 422, 423, 425–428, 430–433, 475, 498, 504, 534–535, 547–548, 551, 586, 589–591, 594, 615, 647–648, 652, 656, 659, 686
- Дубровский Богдан (Нежданов) Мич (XVII в.), русский дипломат и государственный деятель – 508
- Дувакин Виктор Дмитриевич (1909–1982), русский филолог, специалист по истории русской литературы и культуры XX в. – 616–617
- Дунаев Михаил Михайлович (1945–2008), русский богослов и литературовед – 517
- Дынник (Соколова) Валентина Александровна (1898–1979), русский филолог, литературовед, переводчик, специалист в области истории зарубежных литератур – 487, 531
- Дюма Александр (1802–1870), французский писатель – 411
- Дюма Александр (сын; 1824–1895), французский писатель – 400
- Евгений** (в миру – Евфимий Алексеевич Болховитинов; 1767–1837), русский историк, археограф, библиограф; с 1822 г. митрополит киевский – 17–18
- Евфимий Чудовский (? – 1705), русский писатель, переводчик, библиограф – 242
- Еголин Александр Михайлович (1896–1959), советский партийный работник, литературовед – 469, 491, 555
- Екатерина II Алексеевна (урожденная Софья Фредерика Августа, принцесса Анхальт-Цербстская; 1729–1796), российская императрица с 1762 г. – 16, 18, 32–42, 52, 54, 58, 60, 62–70, 83, 114, 118, 215, 255, 331, 396, 592, 622, 624, 627, 652, 661
- Елизавета Петровна (1709–1761/1762), российская императрица с 1741 г. – 31–32, 54, 56, 58, 65–67, 83, 627, 652
- Елисеев Григорий Захарович (1821–1891), русский журналист и публицист – 258
- Епифаний Премудрый (? – 1420), древнерусский писатель-агиограф – 122
- Епифаний Славинецкий (? – 1675), русский иеромонах, филолог, проповедник – 242
- Еремин Сергей Николаевич (1903–1978), русский трубач и педагог – 114, 663
- Ерина (Пашинина) Инна (р. 1932), русский филолог, педагог, методист, журналист – 630
- Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), русский военачальник, генерал от инфантерии – 29, 193, 195, 397
- Есенин Сергей Александрович (1895–1925), русский поэт – 550, 575–576, 578
- Ефрем Сирий (? – 373), святой подвижник и богослов, автор покаянной великопостной молитвы «Господи и Владыко живота моего» – 143
- Жемайтис Сергей Сергеевич** (р. 1952), русский писатель и журналист – 496, 642
- Жемчугова (наст. фамилия – Ковалева) Прасковья Ивановна (1763–1803), русская актриса, певица – 80, 267
- Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), русский филолог, автор фундаментальных трудов по сравнительному литературоведению

- нию, теории эпоса, стиховедению, истории немецкой и английской литературы, теории грамматики, тюркологии, истории германских языков – 613
- Жуков Георгий Константинович (1896–1974), русский военачальник – 560
- Жуковский Андрей Григорьевич, друг А.И. Бунина, крестный отец В.А. Жуковского – 125
- Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), русский поэт – 125–141, 143, 153, 197, 203, 387, 546, 609, 620, 641, 648, 653
- Журавлева Анна Ивановна (1938–2009), русский филолог, литературовед, специалист по истории русской литературы XIX в. – 616, 645
- З**авадовский Петр Васильевич (1739–1812), граф, русский государственный деятель – 44
- Зимин Александр Александрович (1920–1980), русский историк – 21
- Зиновьева (Моторина) Маргарита Дмитриевна (р. 1933), русский филолог, специалист в области методики преподавания русского языка как иностранного – 620
- Зозуля Михаил Никитич (1904–1983), русский филолог, специалист по истории украинской и русской литератур – 616, 630
- Зубов Платон Александрович (1767–1822), русский государственный деятель – 70, 397
- И**ван III Васильевич (1440–1505), великий князь московский с 1462 г. – 236, 502, 505
- Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь «всёя Руси» с 1533 г., первый русский царь с 1547 г. – 122–123, 157, 237, 652
- Иванов-Разумник Разумник Васильевич (наст. фамилия – Иванов; 1878–1946), русский критик, публицист, социолог, писатель – 646
- Игорь Рюрикович (? – 945), великий князь киевский с 912 г. – 13
- Игорь Святославович (1150–1202), князь новгород-северский с 1178, черниговский с 1199 г. – 21, 23, 634
- Игумнов Константин Николаевич (1873–1948), русский пианист и педагог, один из основателей русской пианистической школы – 474
- Иларион Киевский (XI в.), древнерусский писатель, первый киевский митрополит из русских в 1050–1055 гг. – 652
- Ильин Иван Александрович (1883–1954), русский мыслитель, правовед, политолог – 612
- Иннокентий (Гизель; ок. 1600 – 1683), украинский историк, литератор, политический и церковный деятель – 258, 414
- Иноземцев Федор Иванович (1802–1869), русский врач – 259, 338
- Иоанн Дамаскин (VII–VIII вв.), христианский святой, один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф – 499
- Иоасаф Белгородский (1705–1754), епископ Белгородский (1748–1754), канонизирован в 1911 г. в чине святителя – 538
- Иоасаф II (? – 1772), патриарх Московский и всея Руси с 1667 г. – 242
- Иоиль (в миру – Иван Быковский; 1726–1798), русский церковный деятель, архимандрит Спасо-Ярославского монастыря – 16–17, 20–21

- Кайсаров Андрей Сергеевич** (1782–1813), русский просветитель, историк – 127
- Калайдович Константин Федорович** (1792–1832), русский историк, археограф – 20
- Каменев Гавриил Петрович** (1772–1803), русский поэт – 132
- Кант Иммануил** (1724–1804), немецкий философ, основоположник немецкой классической философии – 84, 88–91, 99, 259, 461, 627
- Капнист Василий Васильевич** (1758–1823), русский писатель – 624
- Карамзин Николай Михайлович** (1766–1826), русский писатель, историк – 14, 15, 19, 63, 71–124, 139, 143, 154, 318–319, 387, 623–625, 627, 645, 651, 660, 663
- Карл Великий** (742–814), франкский король с 768 г., император с 800 г. – 110, 116
- Карпов Федор Иванович** (ок. 1475/1480 – ок. 1540/1545), русский политический деятель, дипломат, публицист и писатель – 505–508, 512, 513
- Карпова Эльза Владимировна** (р. 1934), русский филолог, литературовед, преподаватель истории литературы – 616
- Катенин Павел Александрович** (1792–1853), русский поэт, переводчик, критик, театральный деятель – 132
- Катон Марк Порций** (234–149 до н. э.), римский политик, полководец и писатель – 280
- Каченовский Михаил Трофимович** (1775–1842), русский историк, основоположник скептической школы – 18
- Кипренский Орест Адамович** (1782–1836), русский художник – 386
- Киреевский Иван Васильевич** (1806–1856), русский религиозный философ, литературный критик, публицист – 138, 264
- Кирилл Туровский** (ок. 1130–х гг. – не позднее 1182), древнерусский писатель, проповедник, епископ г. Турова – 499, 653
- Ключевский Василий Осипович** (1841–1911), русский историк – 15, 111, 124, 190, 219, 230–231, 240, 250, 294, 338, 502
- Клюшников Виктор Петрович** (1841–1892), русский писатель – 368
- Княжнин Яков Борисович** (ок. 1740 – 1791), русский драматург и поэт – 143, 661
- Козлов Иван Иванович** (1779–1840), русский поэт, переводчик – 139
- Козлов Никита**, крепостной дядька А.С. Пушкина – 178
- Кокорев Александр Васильевич** (1883–1965), русский филолог, специалист в области истории русской литературы XVIII в. – 493, 644
- Коллонтай Александра Михайловна** (урожд. Домонтович; 1872–1952), русский общественный и политический деятель, дипломат – 538
- Кони Анатолий Федорович** (1844–1927), русский юрист, общественный деятель, литератор – 640, 666
- Константин Павлович** (1779–1831), русский великий князь – 69
- Кончаловский** (Михалков-Кончаловский) **Андрей Сергеевич** (р. 1937), русский режиссер и сценарист – 549
- Коонен Алиса Георгиевна** (1889–1974), русская актриса, жена А.Я. Таирова – 558
- Корин Павел Дмитриевич** (1892–1967), русский художник – 559–560, 562

- Корнель Пьер (1606–1684), французский драматург – 106, 154
- Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), русский писатель – 308, 517, 648, 657
- Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), русский филолог, литературовед – 188
- Кочергина Вера Александровна (р. 1924), русский филолог, специалист в области общего и сравнительно-исторического языкознания, германистики и санскритологии – 529
- Кочубей Виктор Павлович (1768–1834), князь, русский государственный деятель и дипломат – 43
- Крашенинников Степан Петрович (1711–1755), русский путешественник, исследователь Камчатки – 83
- Крестовский Всеволод Владимирович (1839–1895), русский писатель – 361, 371
- Кромвель Томас (1485–1540), лорд, правитель Англии с 1539 г. при Генрихе VIII – 110, 116
- Крылов Иван Андреевич (1769–1844), русский писатель и баснописец – 387
- Крючков Сергей Ефимович (1897–1969), русский филолог, лингвист, специалист в области русского языка – 487–488
- Кулешов Василий Иванович (1919–2006), русский филолог, специалист в области истории русской литературы и литературной критики XIX века – 474, 481, 650
- Куницкий Ростислав Владимирович (1890–1975), русский астроном – 525
- Куприн Александр Иванович (1870–1938), русский писатель – 536
- Куракин Алексей Борисович (1759–1829), князь, русский государственный деятель – 247
- Курбский Андрей Михайлович (1528–1583), русский князь, боярин, писатель – 124, 413, 634, 652, 662
- Кусков Владимир Владимирович (1920–1999), русский филолог, специалист в области древнерусской литературы и культуры – 485, 645
- Кусто Жак-Ив (1910–1997), французский исследователь мирового океана, фотограф, режиссер, изобретатель – 533
- Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), русский полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь – 411
- Кьеркегор Серен Обю (1813–1855), датский философ, теолог и писатель – 633
- Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), русский поэт – 132, 138, 188
- Л**акшин Владимир Яковлевич (1933–1993), русский литературный критик, литературовед – 531
- Лас Казас Эманнюзель де (), французский историк, секретарь Наполеона на острове Святой Елены – 649
- Латынин Леонид Александрович (р. 1938), русский писатель – 643
- Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801), швейцарский писатель, мыслитель и богослов – 97, 99–103, 627
- Леваневский Сигизмунд Александрович (1902–1937), русский летчик польского происхождения, Герой Советского Союза – 525
- Левек Пьер-Шарль (1737–1812), французский историк – 110
- Левитов Александр Иванович (1835–1877), русский писатель – 258,

- 329, 337, 347–350, 356, 358, 361–362, 365, 386, 419, 534, 632
- Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735–1822), русский художник – 386
- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, лингвист – 27
- Леон (XII в.), епископ Ростовский и Суздальский – 235
- Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1452–1519), итальянский художник, ученый, инженер, основатель Высокого Возрождения – 424, 653
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1914–1941), русский писатель – 188–212, 263, 356, 516–517, 609, 645, 648–649, 653–654, 657, 658
- Лесков Николай Семенович (1831–1895), русский писатель – 13, 343, 355–429, 432–433, 498, 517–518, 535, 554, 607–608, 612–613, 618, 637, 640–642, 648, 651, 657, 662–663, 665–666
- Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик – 84
- Либан Мария Романовна (1888–1958), мать Н.И. Либана, воспитатель, педагог, библиотекарь, основатель дошкольного образования в Москве – 522–523, 537–538, 543, 565, 568–571, 575, 597–598
- Либан Николай Николаевич (1940–2002), сын Н.И. Либана, историк-классик, специалист в области античной литературы и истории, сотрудник музея-усадьбы Кусково, автор «Путеводителя “Музей-усадьба Кусково”» – 597
- Лившиц Михаил Александрович (1905–1983), русский философ-марксист, литературовед – 470
- Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999), русский филолог, специа-
- лист в области истории древнерусской литературы, основатель отечественной школы медиевистики – 23
- Лихуды Иоанникий (1633–1717) и Софроний (1652–1730), братья, деятели русского просвещения – 242–243
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), русский ученый-естествоиспытатель, поэт, художник, поборник отечественного просвещения – 26–27, 46, 48, 110, 624–626, 652–653
- Лосев Алексей Федорович (1893–1988), русский философ и филолог, автор фундаментальных трудов по теории мифа, теории символа, истории и теории эстетики – 493, 530, 615
- Лощиц Юрий Михайлович (р. 1938), русский писатель, публицист, литературовед – 549
- Лукач Георг (венгерское имя – Дьёрдь Бернат Лукач Сегедский; в немецкой транскрипции – Георг Бернхард Лукач фон Сегедин; наст. имя – Дьёрдь Бернат Лёвингер; 1885–1971), венгерский философ-марксист, литературный критик – 470
- Лукашенко Александр Григорьевич (р. 1954), белорусский политический деятель, президент Белоруссии с 1994 г. – 521
- Лукин Владимир Игнатьевич (1737–1794), русский писатель – 112
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), русский писатель, общественный и политический деятель, переводчик, публицист, критик, искусствовед, в 1917–1929 гг. нарком просвещения – 582
- Львов Алексей Федорович (1798–1870), русский скрипач, компози-

- тор, дирижер, писатель и общественный деятель – 28, 386, 397
- Людовик XIV (1638–1715), французский король с 1643 г. – 73
- Лютер Мартин (1483–1546), деятель Реформации в Германии – 93
- Мазон** Андре (1881–1967), французский филолог-славист – 19–20
- Майков** Аполлон Николаевич (1821–1897), русский поэт – 530
- Макаренко** Антон Семенович (1888–1939), русский педагог – 331
- Маковский** Сергей Константинович (1877–1962), русский поэт, художественный критик, организатор художественных выставок – 612
- Максимов** Дмитрий Евгеньевич (1904–1987), русский филолог, литературовед – 613
- Малала** Иоанн (491–578), греческий историк – 14
- Малевич** Казимир Северинович (1878–1835), русский художник – 103
- Малиновский** Алексей Федорович (1762–1840), историк-архивист, писатель, переводчик – 17
- Марат** Жан-Поль (1743–1793), в период Великой французской революции один из вождей якобинцев – 105, 112
- Мария** Федоровна (до крещения в православие – Мария-София-Фредерика-Дагмара; 1847–1928), российская императрица, жена Александра III – 532–533
- Маркс** Карл (1818–1883), немецкий философ – 367, 563, 625
- Март** Николай Яковлевич (1864–1934), русский филолог, историк, этнограф, археолог, востоковед и кавказовед, создатель нового учения о языке («яфетической теории») – 595
- Маяковский** Владимир Владимирович (1893–1930), русский поэт – 550, 617, 627
- Медведев** Сильвестр (в миру Симеон Агафонникович; 1641–1691), русский писатель, переводчик, педагог, библиограф – 241–242, 258
- Мезьер** Августа Владимировна (1869–1935), русский библиограф, переводчик, писатель – 610
- Мейерхольд** Всеволод Эмильевич (1874–1940), русский режиссер и актер – 557–559
- Менделеев** Дмитрий Иванович (1834–1907), русский ученый-химик и общественный деятель – 553
- Мережковский** Дмитрий Сергеевич (1865–1941), русский писатель, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ – 429
- Мерзляков** Алексей Федорович (1778–1830), русский поэт, переводчик – 127
- Мериме** Проспер (1803–1870), французский писатель – 511
- Мещерский** Александр Иванович (1730–1779), князь, друг Г.Р. Державина – 50
- Микеланджело** Буонарроти (полное имя – Микеланджело де Франческо де Нери де Миниато дель Сера и Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони; 1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель эпохи Ренессанса – 653
- Мирошенкова** Валентина Иосифовна (1924–1991), русский филолог, специалист в области древнегреческого и латинского языков – 530
- Михаил** Федорович (1596–1645), русский царь с 1613 г., первый из рода Романовых – 241, 413

- Мойер Иван Филиппович (1786–1858), хирург, профессор Дерптского университета – 128
- Мошотт Якоб (1822–1893), немецкий философ, физиолог – 356
- Молотов (наст. фамилия – Скрыбин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), советский политический и государственный деятель – 596
- Мольер (наст. имя и фамилия – Жан Батист Поклен; 1622–1673), французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор сценического искусства – 106, 143
- Монтлон Шарль-Тристан (1783–1853), адъютант императора Наполеона, последовал за ним на остров Святой Елены – 649
- Мордвинов Николай Семенович (1754–1845), граф, русский государственный и общественный деятель, адмирал – 151
- Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905), русский писатель – 395, 534
- Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744–1817), граф, русский историк, археолог – 16–18
- Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), русский композитор – 341
- Набоков Владимир Владимирович** (1899–1977), русский и американский писатель, переводчик, литературовед – 207, 536
- Надеждин Василий Федорович (священномученик Василий Московский; 1895–1930), священник РПЦ – 557
- Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский император в 1804–1814 и в марте-июне 1815 г. – 106, 175, 190, 198, 422, 649–650
- Нарежный Василий Трофимович (1780–1825), русский писатель – 277–287, 318, 342
- Недзвецкий Валентин Александрович (р. 1936), русский филолог, специалист в области истории русской литературы XIX в. и русской литературной критики – 616
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878), русский поэт – 193, 309, 324, 360, 364, 475, 549, 630
- Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), русский режиссер, педагог, драматург и театральный деятель – 559
- Нестор, древнерусский писатель, летописец конца XI – начала XII вв. – 14, 629
- Нефедов Филипп Диомидович (1838–1902), русский писатель, публицист, ученый-этнограф – 258
- Никитин Иван Савич (1824–1861), русский поэт – 337, 549
- Николай I Павлович (1796–1855), российский император с 1825 г. – 60, 138, 155, 255, 269–271, 396, 421
- Николай II Александрович (1868–1918), последний российский император (1894–1917) – 429
- Никон (в миру – Минон Никита; 1605–1681), русский патриарх в 1652–1666 гг., провел церковные реформы, вызвавшие раскол – 242, 412–415
- Никон Великий (? – .1088), древнерусский писатель, игумен Киево-Печерского монастыря с 1074 г. – 14
- Нил Сорский (в миру – Николай Майков; ок. 1433–1508), основатель и глава нестяжательства в России – 502–504, 506, 512, 513, 561, 565
- Новиков Николай Иванович (1744–1818), русский просветитель, писатель, журналист, издатель – 30, 33–40, 42, 54–55, 61, 271, 359, 397, 621, 626, 627, 651, 652, 661, 666
- Новосильцев Николай Николаевич (1768–1838), граф, русский государственный деятель, член Негласного комитета – 43

- Огарев Николай** Платонович (1813–1877), русский писатель – 195, 197, 203, 260, 262–264
- Одоевский Владимир** Федорович (1803–1869), русский писатель – 356
- Ожегов Сергей** Иванович (1900–1964), российский филолог, лингвист, лексикограф – 555, 602
- Озеров Владислав** Александрович (1769–1816), русский драматург – 143
- Ольга** (? – 969), княгиня киевская – 13–14
- Ольдерогге Дмитрий** Алексеевич (1903–1987), русский африканист, этнограф, историк и лингвист, один из основателей африканистики в СССР – 631
- Ордин-Нащокин Афанасий** Лаврентьевич (1605/1606–1680), русский дипломат и политик – 507–509, 512, 513
- Орлов Алексей** Григорьевич (1737–1807/1808), граф, генерал-аншеф, русский государственный деятель – 31, 58, 66, 68
- Орлов Григорий** Григорьевич (1734–1783), граф, русский государственный деятель – 32, 62
- Орлов Павел** Александрович (1921–1990), русский филолог, специалист по истории русской литературы и критики XVIII – начала XIX в. – 87, 550
- Островский Александр** Николаевич (1823–1886), русский драматург – 366, 374, 392, 411, 476, 530, 558, 616, 645
- Остроградский Михаил** Васильевич (1801–1861/1862), русский математик и механик – 259
- Остроумова Ольга** Александровна (р. 1973), русский филолог, педагог, редактор – 621
- Павел I Петрович** (1754–1801), российский император с 1796 г. – 30, 40, 42, 54, 60, 118, 157, 255, 396
- Пален Петр** Алексеевич (1745–1826), граф, русский генерал от кавалерии, петербургский генерал-губернатор в 1798–1801 гг. – 40
- Палицын Авраамий** (? – 1626), келарь Троице-Сергиева монастыря в 1608–1619 гг., русский писатель – 507, 652
- Панин Никита** Иванович (1718–1783), русский дипломат и государственный деятель – 663
- Пастернак Борис** Леонидович (1890–1960), русский писатель – 549
- Пекарский Петр** Петрович (1827–1872), русский историк, библиограф – 18
- Пелевин Виктор** Олегович (р. 1962), русский писатель – 518
- Переверзев Валериан** Федорович (1882–1968), русский литературовед, историк русской литературы – 472–474, 492, 500, 527, 585–590, 594–595, 611, 613, 646
- Пересветов Иван** Семенович (XVI в.), русский писатель-публицист – 507
- Перов Василий** Григорьевич (наст. фамилия Криденер; 1833–1882), русский художник – 341, 399
- Песталоцци Иоганн** Генрих (1746–1827), швейцарский педагог – 331
- Петерсон Михаил** Николаевич (1885–1962), русский филолог, специалист в области индоевропейского языкознания и санскритологии, современной русистики – 480, 529
- Петр I Алексеевич** (1672–1725), русский царь с 1682 г. (правил с 1689), первый российский император (с 1721) – 27, 29, 83, 109, 118, 151, 175, 183, 185, 215, 243–244, 416, 566, 622–623, 652, 663

- Петр III Федорович (1728–1762), российский император с 1761 г. – 32, 34, 54, 60, 65–66, 387
- Петр Могила (? – 1647), киевский митрополит с 1632 г., основатель Киево-Могилянской коллегии – 238, 241, 414
- Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт – 128, 133
- Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866), русский революционер – 260
- Петров Александр Андреевич (ок. 1760 – 1793), русский переводчик – 91
- Петровский Иван Георгиевич (1901–1973), русский математик, в 1951–1973 гг. ректор Московского университета – 493–494, 534
- Печерин Владимир Сергеевич (1807–1885), русский общественный деятель, философ, поэт – 195, 261, 264
- Пирогов Николай Иванович (1810–1881), русский хирург и анатом, естествоиспытатель, педагог – 259, 311, 338
- Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868), русский публицист и литературный критик – 96, 258, 311, 356, 629, 651
- Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881), русский писатель – 358–360, 368, 369, 498, 651
- Платов Матвей Иванович (1753–1818), российский военный, граф, генерал от кавалерии, казак, атаман Донского казачьего войска с 1801 г. – 420–421
- Платон (428–348 до н. э.), древнегреческий философ, ученик Сократа, основатель Академии в Афинах – 362
- Платон (в миру Николай Иванович Городецкий; 1803–1891) – митрополит киевский и галицкий – 416
- Платон Лёвшин (1737–1812), митрополит московский с 1775 г. – 39, 246–247, 246, 258
- Плевако Федор Никифорович (1842–1908/1909), русский юрист, адвокат, судебный оратор – 537
- Плетнев Петр Александрович (1792–1865/1866), русский поэт и литературный критик – 139
- Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), русский философ, деятель международного социалистического движения, теоретик и пропагандист марксизма – 473
- Подъячев Семен Павлович (1865–1934), русский писатель – 478
- Покровский Михаил Михайлович (1869–1942), русский филолог, специалист в области классической филологии и сравнительно-исторического языкознания – 481
- Покровский Феофилакт Гаврилович (1763 – до 1843), русский писатель, философ и педагог – 126
- Полонский Яков Петрович (1819–1898), русский поэт и прозаик – 530
- Померанцева (Гофман) Эрна Васильевна (1899–1980), русский историк, фольклорист – 531, 556
- Помяловский Николай Герасимович (1835–1863), русский писатель – 225, 249, 251, 252, 254, 257, 258, 276–278, 286–314; 318–344, 346, 350–354, 356, 361, 365, 534, 552, 632, 637
- Попов Александр Николаевич (1881–1972), русский филолог, специалист в области классической филологии – 480, 530, 533, 644
- Попова Татьяна Протогеновна (р. 1924), русский филолог, специалист в области славянской филологии – 620
- Порфирий (в миру – Константин Александрович Успенский; 1804–1885), епископ Чигиринский, ви-

- карий Киевской митрополии, русский востоковед, византолог и археолог – 345
- Посошков Иван Тихонович (1652–1726), русский экономист и публицист – 625–626
- Поспелов Геннадий Николаевич (1899–1992), русский филолог, специалист в области теории и истории литературы – 469–475, 492, 528, 589, 608, 611, 631, 633
- Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891), русский филолог, языковед, литературовед, философ, теоретик лингвистики, автор фундаментальных работ по соотношению языка и мышления – 89, 475, 531
- Потемкин Владимир Петрович (1878–1946), русский государственный деятель, дипломат, ученый, в 1940–1946 гг. комиссар народного просвещения РСФСР – 476, 527, 582
- Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), русский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал – 64, 66–70, 83–84, 383–384, 387, 397, 627
- Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), русский писатель – 519
- Протасова Екатерина Афанасьевна (2-я пол. XVIII – 1-я пол. XIX в.), сводная сестра В.А. Жуковского по отцу, А.И. Бунину – 127, 136
- Протасова Мария Андреевна (1793–1823), дочь Е.А. Протасовой – 127, 128
- Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775), предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг., донской казак – 41, 42, 47, 176
- Пульхритудова Елизавета Михайловна (1931–1992), русский филолог, специалист в области теории литературы – 611
- Пустовойт Петр Григорьевич (1918–2006), русский филолог, специалист по истории русской литературы XIX в. – 481
- Пуятя, киевский тысяцкий при великом князе Владимире Святославиче, участвовавший в 990 г. в крещении Новгорода Великого – 14
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), русский писатель – 14, 18, 51, 59, 64, 74, 85, 117, 133, 138, 140, 141–165, 169, 171–178, 180, 182–189, 203, 274–275, 329, 339, 378, 386, 398, 400, 425, 473, 483, 490, 511, 537, 546, 552, 585–586, 589, 591, 609–610, 616, 623, 626, 641, 648, 652, 653, 665
- Рабле Франсуа (? – 1553), французский писатель – 615
- Радищев Александр Николаевич (1749–1802), русский писатель – 41–46, 51, 53, 108, 319–320, 364, 397, 621, 626, 627, 653, 661
- Радциг Сергей Иванович (1882–1968), русский филолог, специалист в области античной литературы, текстолог, переводчик – 480, 530, 533, 644, 655
- Раевский Николай Николаевич (1771–1829), русский полководец, генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 г. – 147
- Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771), граф, генерал-фельдмаршал, с 1742 г. мorganатический супруг Елизаветы Петровны – 66
- Расин Жан (1639–1699), французский драматург – 106, 143, 154
- Распутин (Новых) Григорий Ефимович (? – 1916), приближенный семьи последнего российского императора Николая II – 518
- Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец, график, архи-

- тектор, представитель флорентийской школы – 653
- Ревякин Александр Иванович (1900–1983), русский литературовед и литературный критик – 476–479, 527, 582–583
- Редкин Петр Григорьевич (1808–1891), русский правовед, историк философии и педагог – 259
- Ремнева Марина Леонтьевна (р. 1936), русский филолог, специалист в области истории русского литературного языка и старославянского языка – 495
- Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), французский писатель, историк, филолог – 432
- Рерих Николай Константинович (1874–1947), русский художник, ученый, писатель, путешественник, общественный деятель и философ – 401
- Решетников Федор Михайлович (1841–1871), русский писатель – 258, 309, 310, 337, 356, 358, 361, 419, 534, 535, 632
- Реформатский Александр Александрович (1900–1978), русский филолог, специалист в области общего и сравнительного языкознания, один из основателей МФШ – 482, 484
- Ржига Вячеслав Федорович (1883–1960), русский филолог, специалист в области древнерусской литературы – 22–23, 631
- Ризнич Амалия (около 1803 – 1825), дочь венского банкира, одесская знакомая А.С. Пушкина – 187
- Ричардсон Сэмюэл (1689–1761), английский писатель – 163
- Ришелье (полное имя и титул – Арман Жан дю Плесси, кардинал, герцог де Ришелье; 1585–1642), французский государственный деятель – 411
- Рогачева (Логинава) Инесса Михайловна, русский филолог, специалист в области фонетики русского языка – 631
- Родзянко Семен Емельянович (1782–1808), русский поэт – 127
- Розанов Василий Васильевич (1856–1919), русский религиозный философ, литературный критик, публицист – 430, 431
- Розен Андрей Евгеньевич (1800–1884), барон, поручик, декабрист – 139, 158
- Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель, музыковед, общественный деятель – 552, 665
- Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938), русский писатель – 473
- Ртищев Федор Михайлович (1626–1673), русский государственный деятель, просветитель, меценат – 241
- Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), русский пианист, композитор, дирижер, музыкальный и общественный деятель – 202
- Рубакин Николай Александрович (1862–1946), русский книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель – 646
- Рубан Василий Григорьевич (1742–1795), издатель, поэт, переводчик – 40
- Рублев Андрей (ок. 1360–1370 – ок. 1430), древнерусский иконописец – 122, 516
- Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф, русский государственный деятель, дипломат – 16
- Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский просветитель, писатель и философ – 60, 67–68, 73, 75–76, 84–85, 96–97, 105, 130, 143, 144, 163

- Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), русский поэт-декабрист – 394
- Савонарола Джироламо** (1452–1498), итальянский доминиканский священник, монах, реформатор, глава Флоренции в 1494–1498 гг. – 400
- Садовский Михаил Михайлович (1909–1977), русский актер театра и кино – 540
- Салиас (Салиас де Турнемир) Евгений Андреевич (1842–1908), русский писатель – 395, 534
- Сакулин Павел Никитич (1868–1930), русский филолог, литературовед, историк – 27, 46, 360, 478, 556, 582, 588, 646
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889), русский писатель – 262, 312–313, 318, 325, 361, 383, 392, 397, 421, 422, 512
- Салтыкова Дарья Николаевна (Салтычиха; 1730–1801), русская помещица, известная своей жестокостью в отношении крестьян – 46
- Сальха (в крещении – Елизавета Деметьевна Турчанинова), турчанка, мать В.А. Жуковского – 125
- Самарин Роман Михайлович (1911–1974), русский филолог, специалист в области истории западно-европейских литератур – 492
- Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989), русский физик и политический деятель, один из создателей водородной бомбы в СССР – 556
- Светлов Михаил Аркадьевич (наст. фамилия – Шейнкман; 1903–1964), русский писатель – 550
- Святослав Всеволодович (ок. 1125–1194), князь черниговский, великий князь киевский с 1180 г. – 21, 23–24
- Северянин Игорь (наст. имя – Игорь Васильевич Лотарев; 1887–1941), русский поэт – 356
- Селищев Афанасий Матвеевич (1886–1942), русский филолог славист, автор фундаментальных трудов по истории и современному состоянию славянских языков – 530
- Сенека Луций Анней (4 до н. э. – 65 н. э.), римский философ-стоик, поэт и государственный деятель – 280
- Серафим (в миру – Степан Васильевич Глаголевский; 1757–1843), русский митрополит – 256
- Серафим Саровский (1760–1833), преподобный, монах Саровской пустыни – 176–177, 552
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616), испанский писатель – 134
- Сергиевский Максим Владимирович (1892–1946), русский филолог, специалист в области общего и сравнительно-исторического языкознания, а также истории и сравнительной грамматики романских языков – 528, 533
- Сергий Радонежский (ок. 1321–1391), преподобный, основатель Троице-Сергиевой Лавры – 121–122, 516
- Сергий (Старгородский) (1867–1944), Патриарх Московский и всея Руси с 1943 г., богослов, автор богослужебных текстов и духовных стихов – 429
- Сеченов Иван Михайлович (1829–1905), русский психолог и физиолог – 311
- Сильвестр (? – 1123), древнерусский писатель, игумен Выдубецкого монастыря – 14
- Сильвестр (? – ок. 1566), священник московского Благовещенского

- собора с конца 1540-х гг., член «Избранной рады» – 122
- Симеон Иванович Гордый (1317–1353), великий князь московский с 1341 г. – 121
- Симеон Полоцкий (в миру – Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович; 1629–1680), русский писатель, общественный и церковный деятель – 240–241, 258
- Синявский Андрей Донатович (1925–1997), русский филолог, литературовед, литературный критик, писатель – 475
- Сиповский Василий Васильевич (1872–1930), историк литературы – 81, 550
- Скафтымов Александр Павлович (1890–1968), русский филолог, историк литературы, фольклорист – 613
- Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), русский военачальник, генерал от инфантерии – 422
- Скотт Вальтер (1771–1832), английский писатель – 134, 155, 175
- Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878), русский писатель – 310, 632
- Смирницкий Александр Иванович (1903–1954), русский филолог-германист, специалист по английскому языкознанию, теоретик, лексикограф – 528
- Смит Адам (1723–1790), шотландский экономист и философ – 625
- Соколов Александр Николаевич (1895–1970), русский филолог, специалист в области истории русской литературы XVIII–XIX вв. и теории литературы – 469–470, 491–492, 556, 557, 610
- Соколов Алексей Георгиевич (1921–2004), русский филолог, специалист в области истории русской литературы рубежа XIX–XX вв. и русского зарубежья – 493–494, 536, 555, 556, 601, 645
- Соколов Юрий Матвеевич (1889–1941), русский филолог, фольклорист, музеевед, библиотечный работник – 531
- Сократ (ок. 469 – 399 до н. э.), древнегреческий философ – 280
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), русский религиозный философ – 90, 190, 259
- Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903), русский писатель – 395
- Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), русский историк – 15, 254, 256, 257, 258, 338
- Соловьев-Андреевич Евгений Андреевич (1867–1905), русский литературный критик, историк литературы, беллетрист – 646
- Сорокин Владимир Георгиевич (р. 1955), русский писатель, представитель концептуализма – 518–519
- Сперанский Георгий Несторович (1873–1969), русский врач-педиатр, один из основоположников российской педиатрии – 498
- Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, русский государственный деятель – 43, 222–224, 247–249, 256–257, 360
- Сперанский Михаил Несторович (1863–1938), русский филолог, автор фундаментальных трудов в области славяноведения и византистики – 472–473, 498–500, 528, 613
- Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия – Джугашвили; 1879–1953), русский государственный деятель – 650
- Станиславский Константин Сергеевич (наст. фамилия – Алексеев;

- 1863–1938), русский театральный режиссер, актер и педагог – 417, 559
- Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), русский писатель, мыслитель, публицист – 260, 264
- Старкова Зоя Сергеевна (р. 1929), русский филолог, педагог, редактор, издатель – 640
- Стогов Илья Юрьевич (р. 1970), русский писатель и журналист – 518
- Столярова Ирина Владимировна (р. 1931), русский филолог, специалист по истории русской литературы XIX в. – 382, 517, 641
- Строганов Павел Александрович (1772–1817), граф, русский государственный деятель – 43
- Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854), русский православный философ – 135
- Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730–1800), русский полководец, генералиссимус – 42, 559
- Сумароков Александр Петрович (1717–1777), русский писатель – 29, 31, 56, 179, 218, 661
- Суриков Василий Иванович (1848–1916), русский художник – 414
- Суходольский Юрий Сергеевич (р. 1969), русский филолог и писатель, журналист, публицист – 637, 659
- Таиров Александр Яковлевич** (наст. фамилия – Корнблит; 1885–1950), русский актер и режиссер – 558
- Тараканова Елизавета (ок. 1745–1775), претендентка на русский престол, выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского – 31, 58
- Тарасова Алла Константиновна (1898–1973), русская актриса – 558
- Тарле Евгений Викторович (1874–1955), русский историк – 650
- Татаринова Екатерина Филипповна (урожденная Буксгевден; 1783–1856), русская сектантка, основательница «духовного союза» – 360
- Татищев Василий Никитич (1686–1750), русский историк, государственный деятель – 110, 117, 230–231, 624
- Тацит (ок. 58 – ок. 117), римский историк – 28–29, 124
- Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), русский писатель – 555
- Тихон (1865–1925), патриарх Московский и всея Руси в 1917–1925 гг., первый после восстановления Патриаршества; в 1989 г. канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви в чине святителя – 524, 539, 642, 664
- Толстой Алексей Константинович (1817–1875), русский писатель – 59, 473, 530, 549
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910), русский писатель – 49, 51, 140, 163, 166, 177, 186, 193, 194, 265, 266, 315, 318, 322–323, 331, 334, 337–340, 343, 355–357, 360–362, 364, 367, 370, 374, 383, 385, 391–393, 397–399, 401, 403, 408, 409, 411, 423, 426–428, 432–433, 473, 496, 504, 510–513, 519, 534–535, 547, 548, 552, 586, 600, 632, 648, 652
- Томашевский Борис Викторович (1890–1957), русский филолог, литературовед, текстолог, писатель – 535
- Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1768), русский писатель и филолог – 26, 51, 626, 652, 661

- Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981), русский писатель – 536
- Тропинин Василий Андреевич (1776–1857), русский художник – 386
- Тузов Василий Васильевич, писатель и переводчик XVIII в. – 40
- Турбин Владимир Николаевич (1927–1993), русский филолог, специалист по истории русской литературы XIX в. – 531, 645
- Тургенев Александр Иванович (1784–1845), русский общественный деятель, историк, писатель – 126, 133, 178
- Тургенев Андрей Иванович (1781–1803), сын И.П. Тургенева, друг В.А. Жуковского и адресат нескольких его стихотворений – 126–128
- Тургенев Иван Петрович (1752–1807), директор Московского университета с 1796 г. – 126
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), русский писатель – 51, 86, 166, 203, 207, 310, 318, 320–321, 323, 325, 332, 337–340, 356–357, 360, 362, 364, 366–367, 369, 374, 379, 383, 385–386, 391, 392, 398, 409, 423, 475, 512, 515–516, 534, 648, 665
- Тургенев Николай Иванович (1789–1871), декабрист – 126
- Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), русский писатель, литературовед, литературный критик – 535
- Тюнькин Константин Иванович, русский филолог, литературовед, специалист по истории русской литературы XIX в. – 657
- Тютчев Федор Иванович (1803–1873), русский поэт – 132, 139, 140, 431, 645, 649, 657, 658, 686
- Успенский Глеб Иванович (1843–1902), русский писатель – 308, 329, 349, 350, 362, 534, 632
- Успенский Николай Васильевич (1837–1889), русский писатель – 309, 329, 337, 349, 356–357, 362–365, 419, 534, 632
- Ухалов Ефим Степанович, русский филолог, литературовед, основатель курса истории русской журналистики – 471, 490
- Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942), русский филолог, языковед, диалектолог, лексикограф, основоположник русской орфоэпии – 482–483, 528
- Ушаков Федор Васильевич (XVIII в.), друг А.Н. Радищева – 42, 44, 364
- Ушаков Федор Федорович (1744–1817), русский флотоводец, адмирал – 83, 662
- Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870), русский педагог – 330, 351
- Ф**альконе Этьенн Морис (1716–1791), французский скульптор – 184
- Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872), немецкий философ – 259, 329, 367
- Феофан Прокопович (1681–1736), русский государственный и церковный деятель, писатель – 623
- Федор Иоаннович (1557–1598), царь всяя Руси с 1584 г. – 241
- Федоров Анатолий Алексеевич (1927–1985), русский филолог, специалист в области истории немецкой литературы, театровед – 528
- Федоров Николай Алексеевич (р. 1925), специалист в области классической филологии, латинист, переводчик – 528

- Федоров Николай Федорович (1829–1903), русский мыслитель, религиозный философ и футуролог, один из основоположников русского космизма, библиотековед, педагог – 646, 654, 655
- Федорова Екатерина Сергеевна (р. 1961), русский филолог, специалист в области истории русской культуры – 617
- Феодосий Киево-Печерский (? – 1074), древнерусский писатель, игумен Киево-Печерского монастыря с 1060-х гг. – 14
- Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), русский геохимик и минералог – 458, 476–477
- Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892), русский поэт – 550
- Филарет (в миру – Василий Михайлович) Дроздов (1782–1867), русский церковный деятель, с 1826 г. митрополит московский – 257–258
- Филипп (в миру – Федор Степанович Колычев; 1507–1569), русский митрополит с 1566 г. – 123, 413
- Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ – 75, 89, 90
- Флоренский Павел Александрович (1882–1937), русский православный богослов, ученый и писатель – 373
- Фонвизин Денис Иванович (1744/1745–1792), русский писатель – 57, 85, 143–144, 387, 624, 663, 664
- Фохт Ульрих Рихардович (1902–1979), русский филолог, литературовед, специалист по истории русской литературы XIX в. – 472, 517, 589, 594–595
- Франк Семен Людвигович (1877–1950), русский религиозный философ и психолог – 429, 431
- Фридрих II (1712–1786), прусский король с 1740 г. – 54
- Фромгольд Егор Егорович (1881–1942), русский врач, терапевт, с 1920 г. – директор клиники врачебной диагностики – 477
- Фурье Шарль (1772–1837), французский социалист – 260, 268
- Хализев Валентин Евгеньевич** (р. 1930), русский филолог, специалист в области теории и истории литературы – 610
- Хворостинин-Старков Иван Андреевич (? – 1625), князь, русский государственный деятель, писатель – 507, 662
- Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835), русский писатель – 144
- Хвостов Михаил Михайлович (1872–1920), русский историк античности – 480
- Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), русский писатель – 29–30, 38, 53, 180, 271, 561, 626
- Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), русский писатель, философ, богослов, публицист, один из основоположников славянофильства – 264, 270–271, 394, 543, 547
- Цвейг Стефан** (1881–1942), австрийский писатель и литературный критик – 551
- Цейтлин Александр Григорьевич (1901–1962), русский филолог, литературовед, специалист по истории русской литературы XIX в. – 589
- Цуринов Константин Валерьянович (1923–1982), русский филолог, специалист в области истории зарубежной литературы и культуры, медиевист – 528
- Чаадаев Петр Яковлевич** (1794–1856), российский мыслитель и общественный деятель – 74, 86,

- 105, 147, 268–270, 394, 397, 543, 635
- Чарторыжский (Чарторыйский) Адам Ежи (Адам Адамович) (1770–1861), князь, русский государственный деятель – 43
- Чебышев Пафнутий Львович (1821–1894), русский математик и механик – 259
- Чернышев Александр Иванович (1786–1857), генерал-адъютант, генерал от кавалерии, светлейший князь, военный министр в 1827–1852 гг. – 421, 422
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), русский писатель и литературный критик – 258, 268, 309, 311, 324, 328, 334, 349, 351, 356–357, 362, 367, 607, 617, 629, 630, 632, 633, 651, 657
- Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель – 308, 392, 476, 549, 608
- Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), русский юрист, историк, философ – 512, 666
- Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фамилия – Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969), русский писатель, переводчик, литературовед – 357
- Чумиков Александр Александрович (1819–1902), русский педагог и писатель – 290, 305
- Чулков Михаил Дмитриевич (1743 или 1744–1792), русский писатель, публицист, журналист – 40
- Ш**аликов Петр Иванович (1767–1852), русский писатель и переводчик, князь – 319
- Шалапин Федор Иванович (1973–1938), русский певец – 562
- Шамбинаго Сергей Константинович (1871–1948), русский филолог, литературовед – 19–20, 23, 488
- Шахматов Алексей Александрович (1864–1920), русский филолог, историк, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы – 15, 226, 475
- Шаховской Семен Иванович (? – после 1653), князь, русский писатель – 134
- Шварц Иван Григорьевич (1751–1784), филолог, профессор Московского университета, друг Новикова Н.И. – 91
- Шведова Наталия Юльевна (1916–2009), русский филолог, лингвист, специалист в области структурно-функционального описания русского языка – 555
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт и художник – 137
- Шевырев Степан Петрович (1806–1864), русский литературный критик, историк литературы, поэт – 135, 360
- Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 84, 114, 155
- Шеллапутин Павел Григорьевич (1837–1914), русский предприниматель и меценат – 581
- Шеллер Александр Константинович (псевд.: А. Михайлов, Шелер-Михайлов; 1838–1900), русский писатель – 347
- Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854), немецкий философ – 75, 89, 90, 161
- Шендяпин Павел Матвеевич (1886–1949), русский филолог, преподаватель латинской словесности – 525, 530, 533
- Шереметев Николай Петрович (1751–1809), граф, русский государственный деятель – 80, 267

- Шешковский Степан Иванович (1727–1793), следователь Тайной канцелярии – 42, 661
- Шибанов Василий (XVI в.), слуга князя А.М. Курбского, доставивший его первое письмо к Ивану Грозному в Москву – 123
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства – 133, 134, 161
- Шкотт Александр Яковлевич, муж тетки Н.С. Лескова по матери, один из руководителей английской компании «Шкотт и Вилькенс» – 418
- Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), русский писатель – 536
- Щебальский** Петр Карлович (1810–1886), русский историк, критик, публицист – 404
- Щеглов Марк Александрович (1925–1956), русский литературный критик, литературовед – 531
- Щепкин Михаил Семенович (1788–1863), русский актер, основоположник русской актерской школы – 386
- Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790), князь, русский историк, публицист – 46, 218, 396
- Щербина Владимир Родионович (1908–1989), русский филолог, литературовед, литературный критик – 469
- Эйхенбаум** Борис Михайлович (1886–1959), русский филолог-литературовед – 511, 535
- Эльсберг Яков Ефимович (1901–1972), русский литературовед и литературный критик – 608
- Эмин Федор Александрович (ок. 1735 – 1770), русский писатель – 40, 63
- Энгельгардт Николай Александрович (1867–1942), русский писатель, поэт, публицист, литературный критик – 281, 646
- Ювенал** Децим Юний (ок. 60 – ок. 127), римский поэт-сатирик – 59
- Юсупов Николай Борисович (1750–1831), князь, министр, член Государственного совета, директор императорских театров и Эрмитажа – 56
- Юшин Петр Федорович (1917–1983), русский филолог, специалист по истории русской литературы и критики XX в. – 470
- Яворский** Стефан (в миру – Симеон; 1658–1722), русский иерарх и духовный писатель – 243, 258
- Якименко Лев Григорьевич (1921–1978), русский филолог, специалист в области теории литературы и истории русской литературы XX в., писатель – 629
- Якоби Борис Семенович (1801–1874), русский физик и электротехник – 259
- Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978 – 1054), великий князь киевский с 1019 г. – 12, 228

ОГЛАВЛЕНИЕ

А.А. Пауткин. Хранитель русской культуры	3
--	---

I

О литературе Древней Руси	
Повесть временных лет	11
Слово о полку Игореве	16
Становление личности в русской литературе XVIII века	
Поговорим о литературе XVIII века... ..	25
Николай Новиков	33
Александр Радищев	41
Гавриил Державин	47
Андрей Болотов	53
Екатерина Дашкова	61
Екатерина II	63
Николай Карамзин	71
Золотой век русской литературы	
Василий Жуковский	125
Александр Пушкин	141
Михаил Лермонтов	188

II

История просвещения в России (Бурсак в общественной жизни России середины XIX века)	215
Люди и книги 40-х годов XIX века	260
Н.Г. Помяловский «Очерки бурсы» (материалы к монографии)	276
Словарные статьи	
Александр Благовещенский	345
Александр Левитов	347
Николай Помяловский	350
Творчество Н.С. Лескова (60–80-х годов XIX века)	355
Кризис христианства в русской литературе и русской жизни	427

III

Рассчитали (<i>рассказ</i>)	437
Алтай (<i>художественно-этнографический очерк</i>)	458

IV

Человек красивого интеллекта	469
«Я часто и благодарно вспоминаю...»	476
История филологического факультета МГУ за 60 лет	480
Медиевисты	496
Час вне времени	514
Я родился в Москве... ..	522
«Я пережил три времени...»	537
Последние записи	568

V

Воспоминания о Николае Ивановиче Либане	607
КОММЕНТАРИИ	667
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.И. ЛИБАНА	688
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	693

Николай ЛИБАН

ИЗБРАННОЕ

Слово о русской литературе

Редактор *В.П. Балашов*
Художественный редактор *Д.С. Мухин*
Верстка, сверка – *Л.А. Шелкова*
Корректор – *Н.П. Селенина*
Оператор – *Ирина Чижикова*

*Информационная поддержка –
журнал «Новое время» («The New Times»)*

Подписано в печать 8.07.2010. Формат 90x60¹/₁₆
Бумага офсетная. Печ. л. 45. Тираж 1000 экз.

Издательство «Прогресс-Плеяда»
Гл. редактор С.С. Лесневский
125009, Москва, Тверской бульвар, 14, стр. 1, офис 705
Тел./факс: (495) 648-07-86, 648-07-87
E-mail: progresspl@yandex.ru

ISBN 978-5-93006-027-0



Отпечатано в ППП «Типография «Наука»»,
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 1279



Мария Романовна Либан с дочерью Оленькой
Коленька на руках тети Александры Дмитриевны

1912



Варвара Сергеевна Смирнова, учитель, друг

1930 годы



Предок по материнской линии Иосаф Горленко,
епископ Белградский (1705-1754)

*Фото с портрета масляными красками,
принадлежащего Киевской Духовной Академии*



Николай Иванович Либан, зам. декана заочного
обучения филфака МГУ

1945-1949



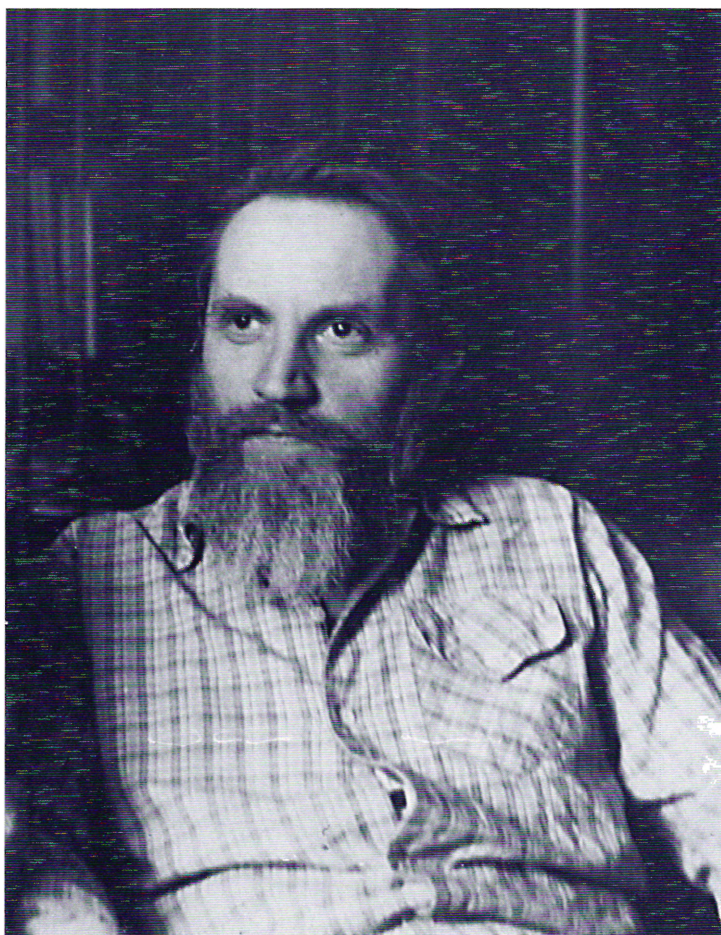
Николай Либан (верхний ряд) с группой преподавателей
около старого здания МГУ на Моховой

1950 годы



На кафедре русской литературы в МГУ
Николай Иванович крайний справа в нижнем ряду

1960 годы



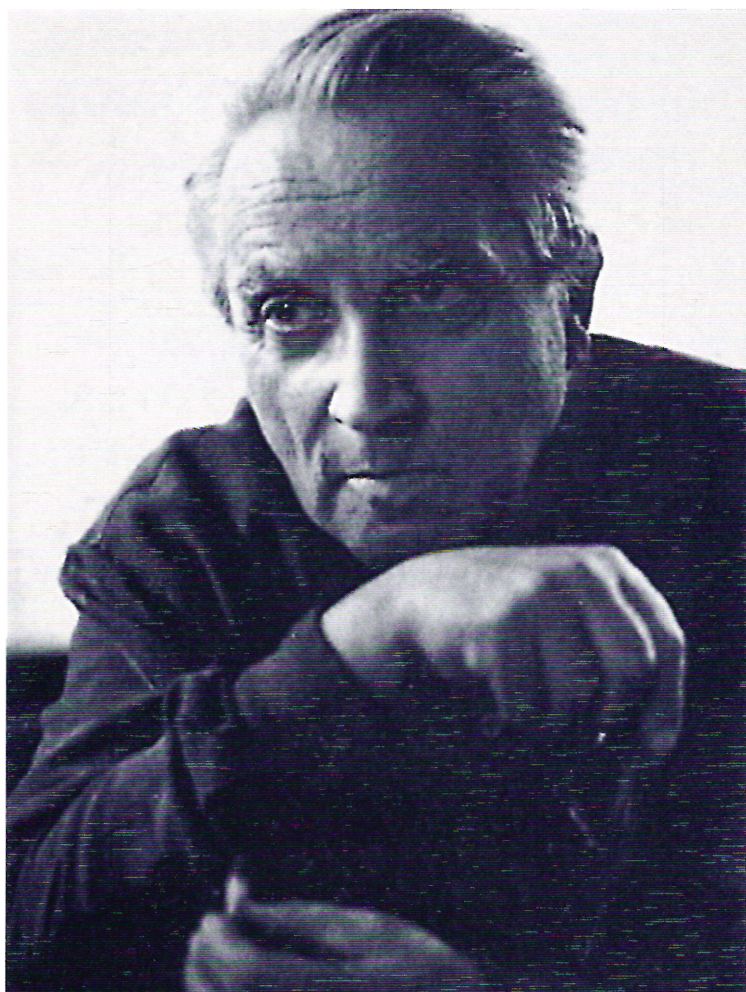
Николай Иванович Либан

Конец 1950 годов



На даче в Домодедово с сыном Николаем и женой
Анной Алексеевной

1960 годы



Н. И. Либан
1980 годы



Студенты в гостях у Николая Ивановича

16 июня 1989



Николай Иванович с женой Верой Львовной
Харламовой - Либан на даче в Домодедово

2002



На даче в Домодедово
Фото О. Остроумовой. 2002



В минуты отдыха...



Николай Иванович Либан
Фото П. Черёмушкина. 2003




Храм Пророка Божия Или, что в Обыденском
переулке — любимый храм Николая Ивановича

Фото Д. Мухина. 2010



Николай Иванович Либан

2004



*Ни одна литература
так не возвысилась,
как русская.
И возвысилась своим
пониманием
человека.*

Н. И. Либан

